

ЖЕНЩИНЫ

РОМАН

ПЕРЕВОД С КИРГИЗСКОГО

М. ЧЕЧАНОВСКОГО

Советский писатель

Москва 1972

Тугельбай Сыдыкбеков — известный киргизский прозаик и поэт, лауреат Государственной премии СССР, автор многих талантливых произведений. Перед нами две книги трилогии Т. Сыдыкбекова «Женщины». В этом эпическом произведении изображена историческая судьба киргизского народа, киргизской женщины.

Его героини — сильные духом и беспомощные, красивые и незаметные. Однако при всем различии их объединяет общее стремление — вырваться из липкой паутины шариата, отстоять свое человеческое достоинство, право на личное счастье. Именно к счастью, к свободе и стремится главная героиня романа Батийна, проданная в ранней молодости за калым ненавистному человеку.

Народный писатель Киргизии Т. Сыдыкбеков естественно и впечатляюще живописует обычаи, психологию, труд бывших кочевников, показывает, как вместе с укладом жизни менялось и их самосознание.

Художники: В. А. и Р. А. В о л ь с к и е

СВАТОВСТВО

— Э-эх, сестрички, о чем толковать? Иногда счастье наше завязано еще в утробе матери. Странно, не правда ли? С чужих слов не сразу поверишь, что такое бывает. Немало горечи я извела на своем долгом пути, пробираясь каменистой тропой через бесконечные перевалы. словно бездомная странница, шла я с единственным желанием — добраться хотя бы до ближнего склона и свалиться там на отдых. Тяжкое бремя оттягивало спину, немилосердно давило к земле, и лишь смутная надежда, что не все еще потеряно, вела дальше. Откровенно скажу, погасни вдруг во мне фитилек жизни, пожалуй, не о чем было бы, тужить. И все-таки наступают дни, когда перед человеком раскрывается вся его судьба, вся его личная история. Иной словно искорка может погаснуть на лету, так и не дав сильного пламени. Можно уйти из жизни, не выплавав всех слез, с глухой душой ко всему, что есть прекрасного в жизни. Однако как бы скоротечны ни были наши земные сроки, все равно человек сознает себя хозяином земли. Не знаю, как складывалось у других, но моя жизнь прошла именно так.

Батийна говорила о давно прожитых днях неторопливо и обстоятельно, словно распутывала большой клубок старой пряжи.

— С давних времен наши отцы жили охотой, приторочив добычу к луке седла. Шкуры медведя, тигра, черно-бурых лис ценились непомерно высоко. Шубу из тигровой или шапку из лисьей шкуры носили только баи и беки...

...Абдыраман был охотник удивительно меткий. Бывало, подбросит высоко монету и на лету с первого же выстрела попадает в нее. Он безошибочно находил берлогу медведя, логово тигра, без усталости бродил по горам,

продирался сквозь вековые чащобы на снежных перевалах. Годы бурной молодости у Абдырамана прошли на казахской земле среди чужих людей. Там, у казахских баев, Он слыл ловким охотником. На чужбине жена родила ему сына, которого на счастье называли Казаком. Но суровая жизнь добычливого охотника была далека от благоденствия. Баи, на которых Абдыраман сначала надеялся, его безжалостно обирали. «Что ни говори, а чужие они, надо возвращаться к своему народу», — решил Абдыраман.

Вернувшись на киргизскую землю, он нашел стоянку отцов. С той поры подпиравшие небо белоснежные горы не раз сбрасывали ледяной покров. Реки неизменно несли свои пенистые шумные воды. В потоке жизни годы брали свое, и, сноровистый когда-то охотник, Абдыраман состарился и все ниже склонял голову. А Казак за это время вырос в плечистого джигита и встал на охотничью, тропу отца. Полный юных сил, Казак неутомимо, словно ветер, носился по ложбинам и склонам и тоже стал умелым и удачливым охотником.

На старости лет Абдыраман облюбывал себе местечко на зимовье бая Сатылгана — из крупного рода Барак-хана. Юрта Абдырамана разместились в самом конце большого аила, но хозяин довольствовался и этим. Ему казалось, что за спиной Сатылгана он заживет спокойно, как за неприступной скалой. Старый охотник испытывал горделивую радость и, чувствуя себя обязанным, велел сыну часть добычи доставлять к юрте благодетеля.

Сатылган, видя, что можно пожить, решил похвастать показной щедростью:

— Живи хоть всю зиму на моей земле, бедный Саяку тебя нет скота, и некому будет траву топтать...

Ласковое слово согрело душу Абдырамана. На старости лет ему хотелось поверить в добрые намерения Сатылгана. Тем не менее умудренный опытом старик осторожно предупредил сына:

— Запомни, слишком жаркий день кончается обычно бурей или ливнем, сынок. Сатылган что-то чересчур расщедрился. Как бы все это не обернулось печально для нас.

Однажды Казак сбил крупного архара-рогача и притащил на плечах к юрте Сатылгана. Абдыраман с раннего утра ублажал сказками слух бая.

— Э, мой бай, — сказал он. — Ты из рода бека, счастье которому всегда дает народ. Сегодня мой сын Казак принес тебе в подарок винторогого архара. Благослови же молодого охотника.

Сатылган, улыбнувшись одними масляными глазками, вскинул бородку и слегка прикоснулся к ней пальцами:

— Никогда чтоб дичь не ускользала от тебя, сынок. Пусть не будет пустым твое седло, Казак... Аминь!

Абдыраман, польщенный благословением Сатылгана, обратился к сыну. Устав под тяжелой ношей, тот вытирал с лица пот.

— Утоли-ка жажду, дорогой, и освежуй архара для байбиче¹. Твой друг Адыке, пожалуй, не сможет этого сделать.

Казак не заставил отца дважды повторять просьбу. Он быстро снял шкуру с архара, выпотрошил внутренности и ловко разделал тушу.

Абдыраман продолжал услаждать Сатылгана сказками. Он их рассказывал одну за другой — так опытная рука не дает погаснуть костру, бросая непрерывно в огонь жесткую горную сорму.

Сатылган, блаженствуя, изредка кивал головой, вздыхал:

— Слава батырам! Но жизнь и их не щадила. Какие люди были! Великаны! Да с кем она считается? Все мы ей подвластны.

Он сощуренным левым глазком с завистью следил за быстрыми руками Казака. «О боже, а почему мои дети рыхлые, тучные, неуклюжие? Разве мой Адыке сумеет сделать все так ловко и проворно, как сын бедного охотника?» — мысленно сокрушался он.

Абдыраман прервал свой рассказ и несмело протянул к баю заскорузлую ладонь.

— Э, бай, сегодняшние сказки и легенды сильно воодушевили меня. Разрешите для пущей услады щепотку насвая?

Сатылган вскинул плечом. Похоже, бай готов отсыпать зеленых крупинок.

Абдыраман улыбнулся и увереннее протянул ладонь:

— Ну разрешите и мне хоть разок поблаженствовать, мой бай...

Сатылган резко повернулся к нему, словно вспомнил что-то давнишнее и важное, отрывисто сказал:

— Блаженство... Ты хочешь сказать, получил все, что просил у бога. Не забудь, однако, что ты пришлый бедный саяк. Это я разрешил тебе поставить свой шалаш возле моего аила. Захотел бы я показать строптивый характер своих предков — и тебе не нашлось бы здесь места. Это полностью в моей власти. Не так ли? Но бог дал тебе звезду в руки. Жена твоего сына-охотника Татыгуль, кажется, ждет ребенка? Моя невестка Сейилкан тоже собирается рожать. Скажи мне: «Давай станем нареченными сватами. Пусть нас бог благословит». Если у тебя хватит на это смелости, я тотчас отсыплю на твою ладошку горсть насвая.

Слова Сатылгана показались старому охотнику просто шуткой. «Неужели бог даст породниться с человеком знатного, богатого рода? Не может быть!»

Абдыраман радостно улыбнулся.

— Если правда, что самому богу угодно связать нас родством, то я вовсе не против. А насчет калыма, наверное, можно бы столковаться потом...

— А разве уговора не будет?

— Один бог знает, кого родит Сейилкан, а кого принесет Татыгуль! Зачем же уговор? *

— Нет, я хочу, чтоб был уговор! Родится у моей снохи дочь—калым платишь ты, и братья я буду с добычи твоего охотника-сына. Если же твоя сноха принесет дочь... Вот тебе мой калым — щепотка насвая!

Он достал костяную табакерку с серебряной крышкой, потряс ее и не спеша отсыпал насвая на ладонь Абдырамана.

— Получай, нареченный сват!

Абдыраман повеселел, приняв на веру, что навеки породнился с Сатылганом. — Сам бог породнил нас, мой бай. Думаю, что наш уговор не пустой звук? Дайте вашу руку! Закрепим же родственные узы между нами.

Сатылган протянул мизинец Абдыраману:

— Хорошо, сват. Рука — божья печать. Клятва одинаково обязательна для нас обоих. Да покарает бог того из нас, кто ее первым нарушит.

Слова Сатылгана заставили Абдырамана окончательно поверить баю.

Мечталось ли когда-нибудь бедняку-охотнику на склоне лет связать свою судьбу с потомком бека? И во сне такое не увидишь.

На обратном пути к дому еще кряжистый старик, словно не по земле шел, а над облаками парил. «О создатель, кто Сатылган и кто я? Он — лев, протянувший лапу к луне. Я же — букашка земная. Дано ли мне сравняться с ним? А что, если Сатылган просто потешался надо мной?»

Он не мог успокоиться, пока не рассказал дома своей жене, какой клятвой связан отныне с самим Сатылганом:

— «Долог путь, зато особенно радостно, когда он завершается», — говорят у нас, байбиче. Тернистым был мой путь по горам и долам на казахской и киргизской земле. Наша мать, сидящая тут, это хорошо помнит. В высоких горах нет такого перевала, такого камня, где бы не "ступала моя нога.

Бывало, я стрелял и по десятку козлов на дню, наповал валил медведей и тигров. Никогда, однако, шуба из волчьих шкур не красовалась на моих плечах. Я не вылезал из домотканого кементая¹ да кожаных штанов. Я чувствовал себя на седьмом небе, когда мои дети были сыты, но не терял надежды и веры в создателя. Быть может, удачливый Кызыр² порадел мне за мои долгие испытания, кто его знает, но я посватался к богатому роду.

Думаю, это нам дарованное свыше счастье. Жена, теперь ты должна распить пиалу чая со свахой. А ты, сынок, всю дичь отныне доставляй к юрте свата.

Нам ничего не надо. Только аллаху ведомо, кого нам принесут молодухи.

Вдруг нам выпадет брать невесту у Сатылгана. Откуда возьмем скот для калыма? Легче выплатить калым шкурами зверей. Если же у Адыке родится сын и нам суждено отдать за него невесту, то у бая скота вдоволь, пригонят, сколько надо... Теперь, мой сын Казак, Адыке твой сват... Нам с матерью осталось жить столько же, сколько старой овце. Нашу жизнь продолжите вы с Татыгуль. Если Сатылган почитает своих предков, он не посмеет отвернуться от вас...

И охотник, гордый своим новым родством, то и дело наставлял домашних:

«Уважайте своих сватов». Чуть забрезжит рассвет, он спешит к Сатылгану.

Словоохотливые старики до позднего вечера не наговорятся, перебирают по косточкам своих родичей, поминают чтимые обычаи, в который раз восхищаются былыми батырами, блеснувшими чудовищной силой в битвах между родами бугу и сарбагыш.

Абдыраман постоянно восхвалял предков Сатылгана. «Род Барак-хана, кажется, долго правил множеством киргизских племен. Не так ли, мой сват?» — угодливо заискивал он перед богатым родственником.

Сатылган давно уже не расправлявший согнутых в калачик ног, вытягивал их, самодовольно откидывался на подушки. По его лоснящемуся лицу пробежала ухмылка: «Эх ты, нищета рваная!.. Не только ты, весь ваш род саяков — кулы³. Но он лишь думал так, не произнося этих слов, чтобы не обидеть свата. И то сказать, говорливый Абдыраман проник в душу старому баю. С каждым днем Сатылган сильнее к нему привязывался.

Казак всю зиму носил добычу своей удачливой охоты. Шкуры волка, тигра, черно-бурых лис украсили и без того пышную юрту свата.

С запада подул теплый ветер, с полей и пригорков сошел снег, показалась первая зелень. День был особенно мягкий, ласковый. Сатылган, накинув на плечи пятнистую тигровую шубу, вошел в юрту сына Адыке.

— Пришло время разъехаться на разные стоянки. Сходил бы, сынок, к свату — у нас с ним состоялся уговор. Попрощайся, как положено. И сведи к нему барана.

В тот же день Адыке пригнал крупного валуха к свату. Абдыраман распорядился тут же прирезать барана и созвал стариков аила. Пришел, конечно, и Сатылган. На этот раз они закрепили узы сватовства при участии аксакалов. Обменялись обоюдным заверением — держать свое слово и неотступно соблюдать обряды предков. Сатылган при всех благословил Казака, пожелал ему богатой добычи на охотничьей тропе...

На другой день аил Сатылгана откочевал на весенние пастбища. Земля гудела от топота многотысячного стада. Позади гарцевали пестро одетые всадники и всадницы, они везли вьюками домашнее добро.

А в противоположную сторону, к Базартуруку, захудалая лошадка тащилась с дырявой юртой Абдырамана. Впереди брела горстка баранов.

В ШУТКУ ИЛИ ВСЕРЬЕЗ!

Неприступные горы четырежды сменили свое зеленое убранство. Белопенные бурные стремнины четырежды украшались хрустальными бусами. Старики, жизнь которых осталась далеко позади, словно засыпанный песком в бурю след каравана, сидя на пригорке, сокрушались: «Сегодня жив — завтра нет, человек — песчинка. Что мы на своем веку видели, а?» И с каждым днем редели их ряды.

Время неудержимо несется. И у каждого — своя судьба. Кому-то светит солнце, а кто-то никак не может выбраться из беспросветности, словно над ним постоянно кружит тень стервятника. Счастье, вспорхнувший жаворонок, не просто дается в руки. Бедняки, перебиваясь день ото дня, едва тащат ноги. Со слезами хоронят усопших, спотыкаясь и поддерживая друг друга, возвращаются к опустелым юртам, утешают вдову или старца. Неохватная жизнь с множеством перепутанных горестных дорог никогда, кажется, не изменит своему вековечному обычаю: она подчиняет своей всеильной власти и умную голову, и дурака, она укрощает строптивого, умиряет буйного — словом, всегда ее верх над любым смертным.

Старый Абдыраман, наставлявший сына на верный путь, закрыл глаза навсегда. А других родственников, на кого Казак мог бы понадеяться, не осталось.

Дошли слухи, что умер и Сатылган. От его сына — свата Адыке — не было пока вестей. Да помнит ли он еще о Казаке? Скот его кочует с одного пастбища на другое, молодой бай устремился за Великие горы, в Каракаман, Балгарт. А Казак после смерти отца не покидал Джумгалской долины. И чем стройнее, чем гибче становилась его шустрая дочь Батийна, тем чаще Казак вспоминал про уговор отцов. Чистит ли он издававшее виды ружье с сошками, крошит ли свежее мясо для нахохлившегося на нашесте беркута, — неизменно говорит жене:

— Неужели наш сват, Адыке решился преступить клятвенное обещание? Его жена родила сына. Когда же он придет смотреть невесту?

Смуглая узколицая Татыгуль однажды раздумчиво ответила:

— Да разве мы ровня ему?

— Замолчи, жена! — так и вскинулся охотник. — Первым дал клятву верности не мой отец, а его. Если же Адыке вздумал меня унижить, значит, он не уважает прах родного отца. Духи предков покарают его!

Татыгуль тихо добавила:

— Неужели ты думаешь, отец, что у Адыке не хватит решимости отвернуться и от покойников?

У Казака встопорщились жесткие усы, он нахмурил лоб.

— Хоть бы узнать, как нарекли нашего будущего зятя...

Пришла поздняя осень. Великие горы ниже пояса укутались в белый наряд. Холод щиплет лицо и руки. Самое время скакать с ловчей птицей да с гончей. Между холмов всадники охотятся с беркутами. Внизу цепочка загонщиков. С лихим криком и гиканьем они прочесывают заросли кустарника, заглядывают в укромные щели. Стоит в ложбинке показаться лисе, тут же ^ад ней со свистом распластается хищная тень птицы. Всадник стремглав пускает коня по следу. Беркутчи получает двойную радость: радость от богатой добычи, а уж нестись наперегонки с горным ветром — ни с чем не сравнимое блаженство!

Следопыты по пороше неделями подряд пропадают у предгорий, без устали носятся между увалами, оставляя позади ущелья, холмы, скалы.

Торжественно возвращение их в аил: болтаются притороченные к седлу лисьи, волчьи шкуры; гордо восседает на левой руке хозяина беркут, парвалит из ноздрей разгоряченного коня.

Судя по тому как Казак готовится к охоте, можно подумать, что он вознамерился собрать всю копытную дичь гор. Казак берет с собой не только смышленного остроглазого беркута, но и ружье с сошками, складной нож, патроны, гончую собаку. И никогда не чувствует себя одиноким в горах: под любым кустом можжевельника, рябины или таволги ему приуготовлена теплая постель. На пламенеющих угольках таволги лучше всего доходит жаркое из козьих почек и печенки. И как утоляет жажду сушеное кислое молоко, растворенное в щемящей зубы родниковой воде!

Однажды по первопутку Казак надолго задержался в горах и на обратном пути неожиданно выехал к большому аилу своего свата Адыке. Присмотрелся.

Неужели так рано здесь начали готовиться к зиме? Или что другое? Возле юрт лежат туши животных, дымится горячая кровь, кругом на снегу кровавые пятна. Красным измазаны поленья, к которым прислонены бараньи головы. Псы, нажравшиеся крови и потрохов, лениво брешут. Их лай перекачивается гулким эхом. Не псы,— настоящие волкодавы. Каждый шутя-играючи может сбросить с седла всадника.

Ярые псы преградили путь лошади, стараясь добраться до охотника. Собачий лай уже взбудоражил весь аил, когда полог юрты откинулся и показался дюжий джигит:

— Пошли вон! Взбесились, что ли, проклятые!

Псы с прижатыми хвостами, огрызаясь, сверкая красными глазами, завернули за юрту.

Краснощекий плотный джигит поздоровался с Казаком, спросил, кто он и какого рода, и лишь потом указал на белую большую юрту. Казак искренне обрадовался: в этой самой юрте живет его сват Адыке. Джигит оказался словоохотливым, добрым малым. Выслушав Казака, он повел нареченного свата Адыке к юрте бая.

После смерти отца вся власть над родом и все богатства перешли в руки Адыке. Он раздобыл, отпустил окладистую бороду, вид у него был важный. Когда охотник вошел в юрту, Адыке, раздувая широкие ноздри, сидел на почетном месте на медвежьей шкуре, разостланной поверх шелковых цветастых одеял, и пил кумыс. Казак сразу узнал бурую медвежью шкуру. Это был крупный зверь, сваленный им когда-то в местечке Койлуу. Медведь захлопотался, усердно откапывая из норы сурка, и не заметил охотника. Первый выстрел только ранил зверя. Встав на задние лапы, медведь с ревом устремился на человека. Казак, не став делать второго выстрела, ударом по голове свалил зверя. Дома он сказал: «Благодарение богу, жив... чуть было медведь не задрал меня. Ну и матерый попался».

Мягкая шкура зверя, который чуть не отправил на тот свет Казака, теперь мялась под ногами его свата.

Казак поздоровался вторично. Раскрасневшийся Адыке нехотя промычал: - А-а, это ты, сват? Ну здравствуй...

Он не шевельнулся, не подобрал полы волчьей шубы, накинутой на плечи, поднес расписную деревянную чашу с кумысом к губам.

Сильно изменилась и сваха Сейилкан. Раньше она в пояс кланялась свекрови, покорно выполняла ее поручения и была легкой на подъем. Прыткую молодуху не узнать. Она потучнела, нажила тройной подбородок и двигается неторопливо, важно. Лицо ее все-таки еще хранит следы былой красоты. Ясные глаза, точеный нос, нежный румянец, заостренные к вискам густо-черные, подвижные брови. Особую миловидность придает Сейилкан родинка с просяное зернышко на правой щеке. В ушах свисающие посеребренные серьги с янтарными подвесками, от малейшего движения головы они колышутся, словно два блестящих лепестка. Блеск сережек оттеняет нежную белизну открытой шеи.

Сейилкан, видимо, не признает элечека¹, какой обычно носят женщины ее возраста. Голова ее покрыта белым шелковым платком с бахромой. Нет осуждающих глаз свекрови, уж она непременно заворчала бы: «Бесстыдница! Молодая женщина не должна показывать мужчине свои уши и волосы». Теперь Сейилкан сама себе хозяйка, мать детей, полновластная байбиче в многолюдном роду. Даже сам Адыке слушается ее без лишних слов. Сейилкан довольно обходительно поздоровалась с Казак, коротко расспросила о здоровье свахи и сказала мужу:

— Бай, очнись от своих дум! Погляди, к нам пришел сват, ты не видел его много лет. Глотаешь кумыс как ни в чем не бывало.

Адыке чуть подвинулся, дал Казаку сесть с левой стороны. Горько было охотнику: ни разу сват не посетил его юрту, не хочет его признавать. Однако Казак с веселым видом спросил:

— Как поживаешь сват, все живы-здоровы? Все благополучно?

Адыке оставался надменно-холодным. Вялый разговор поддерживала Сейилкан.

Казак не интересовался богатым убранством юрты своего свата. Честь для него была превыше всего. «Будь я не охотник, а такой же бай, ровня тебе, наверное, ты встретил бы меня как дорогого гостя. Даже не спросишь, нечестивец, как зовут твою невестку»,— досадовал Казак.

— Наши отцы посватались давно,—обратился он к Адыке.— Нас разделяет широкая стена. Далекий путь к тебе, и короткая рука у твоего свата. Но все равно, если бы Сейилкан родила дочь, я б из кожи лез, а нашел бы скот и обязательно выкупил свою невестку. Бог распорядился иначе, моя жена родила дочь. Я гол, да не вор; беден, да честен.— И продолжил, обращаясь к Сейилкан: — Уговор — святое дело, сваха. Вы должны были первыми приехать к нам. Узнать о невесте. Я на это, однако, не обиделся и сам приехал к вам. Скажу, как зовут вашу будущую сноху: Батийна! Уже семь лет моей звездочке. На роду писано быть ей красивой, умной, трудолюбивой... Адыке, до того безмолвно сидевший, вдруг пришел в ужас:

— Значит, негодный саяк, ты явился за калымом?

— Если ты не забыл зарок наших отцов, то калым, конечно, остается за тобой. Скажи, как зовут моего зятя? Я приехал узнать его имя и увидеть его самого.

Адыке усмехнулся:

— Зятя зовут Абдырахман. Про клятву отцов я помню. Но свой калым ты уже получил. А дочь свою привезешь сам, когда она станет взрослой, ясно? — И Адыке громко рассмеялся.

Казак не понял, что стоит за его смехом. «Шутит, наверно, бай, ждет, что я ему возражу. Где это видано, чтобы невесту доставляли жениху ее родители? Если ты кичишься своим богатством, бай, то я придерживаюсь справедливости и соблюдаю обычаи отцов»,— подумал охотник.

Две ночи провел Казак у свата. Оставил ему в подарок волчьи шкуры и хмуро собрался в обратный путь. «Зачем он так унижил меня? Чтоб показать, что я не ровня?» — горько размышлял всю дорогу охотник.

БАТИЙНА

В семье бедняка, где кругом нехватки, дети взрослеют быстро, рано набираются ума, в них скорее пробуждаются добрые чувства. Бедняк не станет пускаться на хитрости, вертеться лисой и подличать: человек, привыкший умываться в чистом источнике, побрезгает мутной водой. Бедняк гостеприимен, добродушен, прост. Он богат по-своему: чем беднее, тем щедрее. Человек, который сам повседневно в трудах, обычно отзывчив и великодушен.

Казак и все его предки — так уж повелось в роду — промышляли охотой на зверя. Он подолгу пропадал в горах. Удачливый стрелок, Казак возвращался с обильной добычей, но ему самому мало что доставалось после покрытия обязательных поборов и приношений баям. Все ценное словно в прорву уходило. В юрте было голо и пусто.

Батийна день ото дня хорошела, раскрывалась, как цветок на свету. Миндалевидные глаза девочки светились умом. Татыгуль не могла без слез и горечи смотреть на дочь, не снимавшей с плеч потертый полушубок из рыжих шкурок. Как бы хотелось видеть Батийну одетой не хуже других. Ведь сват — богатый, важный бай. А зять — сын бая. «Пусть умру, буду рыть землю, но дочь свою обряжу как следует.

Что скажет сват, если узнает, что его невеста сверкает голыми икрами? Оборванцы, мол, несчастные, даже приодеть не могут свою дочь, а тоже в родню лезут».

Не раз эти слова шептала Татыгуль и шла на заработки: не жалея себя, женщина могла за день выделать добрый десяток овчин, а то свалять большую кошму или сбить десятки аршин домотканой дерюги. Приходилось беспрекословно выполнять любое поручение старшей жены бая. В жестких кожаных штанах, по-мужски подпоясавшись веревкой с воткнутым за нее топором, Татыгуль корчевала далеко в горах крепкий, как железо, стланик. Надсаживаясь на изнурительной работе, она получала жалкие гроши. Татыгуль никогда не спрашивала, сколько ей следует, брала, что давали, не смела потребовать должное.

Батийна видела, как бьются родители, чтобы прокормить, одеть и обути многодетную семью. И она с головой ушла в домашние заботы. День-деньской присматривала за малышами, шила, кроила, вышивала орнаменты, чему ее усердно учила мать с малых лет. «Рукоделие для девушки, — говорила Татыгуль, — все равно что хлеб насущный. Если она не хочет, выйдя замуж, услышать от золовки словечко — салбар¹. Золовка поддразнит: «Бедняжка, не можешь даже заштопать свой подол. Смотри же, возьмет твой муж вторую жену, а тебе одной корчиться в холодной постели».

И действительно, сколько в киргизских аилах покинутых при живом-то муже женщин?! Вот почему каждая мать приучает девочку с малолетства к ремеслам.

Не так-то просто празднично и со вкусом одеть девушку в киргизских аилах, разбросанных по склонам гор, в стороне от торговых дорог. До самого ближнего базара в Кара-Коо всадник на хорошем коне добирался добрых два дня. А на дальние базары, что в Чуйской долине, в Токмаке, в Пишпеке, не только бедняки, но и те, у кого горячие кони и теплые шубы, не отваживаются ехать.

Кочевой народ, не привычный к торговле, вел простой обмен. Лошадь, к примеру, меняли на пять баранов; скакуна — на десять. За верблюда давали коня и сколько-то в придачу баранов. Стоило в горах появиться на муле или осле кашгарскому или кокандскому торговцу ситцем, бязью, шелком и всякой мелочью, как юрты мгновенно пустели, женщины высыпали на лужайку. Торговцев встречали шумным восторгом, словно вестников весны. И те не стеснялись за ситцевое платье сорвать трехгодовалую овцу.

Свой товар торговец расхваливал по-узбекски или по-уйгурски на всю округу: — Кто хочет — берите. Кто не хочет — прочь идите! Атлас и шелка, снимаю с пояска! Есть парча и есть тут бязь — налетайте хоть сейчас... Хи, дрянной осел, нука дальше шагай, шагай!..

Пройдошливая бойкая речь, заигрывающий взгляд выжиги и цветастые ткани — все поражало бесхитростных горцев. Раззадорив народ, торговец трогал своего ишака, повергая в трепет покупательниц. Женщины бросались ему вслед:

— Дорогой купец! Попридержи своего осла. У меня есть хороший каракуль, есть овчины, что дашь за них?

Картинно вскинув мелко плетенную камчу, торговец обращался к ослу:

— Лаппай, подожди, ослик, свежей травки пощипи... Осел, как по мановению, опускал уши-лопухи к земле и

принимался щипать траву. Ученость осла приводила в изумление детишек:

— Смотрите, осел понимает слова!

— Он сказал: лаппай — и тот сразу остановился.

— Говорят, городской осел перехитрит иного жителя степей и гор,— на разные голоса кричали они.

Наконец открывалась торговля. Блестящие, с изморозью, в мелких завиточках кудрявые мерлушки шли в обмен на пуговицы, на иголки и мыло.

Матери взрослых дочерей всю зиму заготавливают шкурки, плетут волосяные крепкие веревки, собирают длинный конский волос, чтобы выменять это хотя бы на красный жилет или пунцовое платье. Но опытный плут за все предлагает лишь ситец, иголки да мыло. Обескураженная мать причитает:

— Чтoб тебе пусто было! Не колдун, не дьявол ли это верхом на осле? Я столько маялась, копила, выделявала это шкурки, а он сунул в руку иголку и был таков! О, бедная моя дочь опять, как была, раздетая. О треклятый жаднюга, забери свою иголку, верни мои мерлушки!

Торговец, сдвинув набок узорчатую тарелочку-тюбетейку, бубнит себе под нос молитву, делает вид, что ничего не слышит. Женщины, проводив его до ближнего поворота, ни с чем возвращаются обратно.

Если же женщина начинала браниться, перекупщик придерживал осла, хватался рукой за грудь и торопливо убеждал:

— Ну что ты раскричалась? Мы уже ударили по рукам. А кто нарушит торг, тот идет против божеских законов, ему прямая дорога в ад. Тебе нечего обижаться, дорогая. Прощай!

Бедная женщина, страшась адова наказания и гнева аллаха, шарахалась от торговца, шептала молитву.

Бывало, Татыгуль зиму напролет до боли натруживала глаза у желтой лучины, по горсточке, по клочку на шиповнике собирала овечью шерсть, откладывала на черный день лучшие овчинки ягнят, а тут не успеешь оглянуться, как приезжий перекупщик выманит все задарма. И горемычная Татыгуль снова и снова оставалась ни с чем.

Батийна росла неприхотливой, совестливой девушкой. Она не плакалась родителям, не требовала нарядов, как дочери более зажиточных людей. Довольствовалась тем, что было, не вздыхала о том, чего не было. Конечно, Батийне не весело было глядеть на подружек, которые украшали свои головы тебе-теями с бортами в четыре пальца, с нежной выдровой опушкой, носили бархатные расшитые жилеты и платья из белого или розового атласа с пышными оборками. На шее у них красовались янтарные камни, разноцветный бисер, в ушах сверкали колышущиеся серьги; туго сплетенные косички свисали с плеч по самые щиколотки. Вздуроченные хмелем молодости, девушки выплывали на пригорок, где загодя были построены высокие качели. Одни невесты тихо и скромно стояли в сторонке, другие резвились, визжали. Тут же выявлялись и певуны. Стоило одной звонко начать песню, как она мгновенно подхватывалась на разные голоса и летела по дремотным ложбинам, уносилась по склонам вверх, вторгаясь в безмолвие ночи.

В играх и забавах Батийна никому не уступала: вместе со всеми распевала хороводные песни, была заводилой в акыйнеке¹. У нее был высокий, как трель жаворонка, голос. Множество шуток-прибауток, скороговорок и присказок, самодельных острот так и слетали у Батийны с языка. Батийну тянуло на девичьи игры, но она нет-нет да застесняется, почувствует себя неловко в своей линялой шапке из выдры, в постыдном рыжем полушубке среди принаряженных подружек.

Как-то Батийна пришла в своем будничном платье на игры и встала в сторонке. Байские дочери пустили по кругу оскорбительный стишок:

В быстрой горной речке

Аркан не достигает дна.

Дочь ловца сурков.

Не играет с нами.

Акый-акый, акый-ай...

Батийна без оглядки пустилась бежать и тайком от матери долго рыдала. С тех пор она перестала ходить на игрища. Забавляла младших, вышивала, а услышав звонкий смех, украдкой выглядывала в приоткрытый полог юрты.

Запоют про селкинчек² — как в лунную ночь девушки и парни веселятся на качелях, Батийна вздыхает, томится. А то накатит на нее волна тревожных чувств, и прозрачный голос ее, словно испуганный сизый голубок, летел высоко над куполом старой юрты и разносился в вечерней тишине. Певуны на игрищах замолкали.

— Это Батийна.

— Девушки, послушайте, какой голос!

— Стесняется дочь ловца сурков выйти к нам. Она же босоногая...

Едкие, как полынь, слова больно ранили сердце Батийны. Эх, выскочить бы из юрты да исцарапать лицо обидчицы, посмевающей ее унижить! Она бы гневно отчитала свою оскорбительницу: «Разве бедность — позор? Хотела бы я видеть, как бы ты выглядела, будь твой отец бедняком...»

Горечь обиды, однако, затаивается в груди. Батийна виду не подает, что с ней творится. Стыдно показаться на люди. Она и поет, и смеется, и плачет, и грустит — все в одиночестве. Но вечером, когда возвращаются мать с отцом, Батийна как ни в чем не бывало забавляет младших, резвится, заботливо помогает по хозяйству.

Чуткое сердце матери не обманешь. По мимолетной тени на лице дочери она догадывается, что Батийна день протосковала.

Однажды Татыгуль озабоченно сказала Казаку:

— Наша Батийна уже взрослая. А вдруг посмотреть на нее приедет жених?

Что тогда? Если ты любишь свою дочь, надо ее одеть по-людски.

Слова обычно рассудительной жены показались Казаку несвоевременными.

— Ай, Рыжая (так он звал свою жену в шутку), неужели ты не видишь — того, что я добываю, не хватает даже оплатить пастбище. А чем я рассчитаюсь со старейшинами? Не дашь им — со света сживут. Пока им глотку затыкаем — молчат. Сейчас не до нарядов, потерпят наши дети. Лишь бы прокормиться. Казак резко поднялся и оставил юрту. Батийна почувствовала, что отец обиделся, и вступилась за него:

— Помнишь, мама, я тебе однажды сказала: «Как это ты можешь делать кошму для бая и при этом петь песни?» Ты ответила: «Смотрите, она учит меня уму-разуму. Что ж теперь, по-твоему, я должна слезы проливать, что я в рваном хожу?» Тогда мне по душе прились твои слова. Я вся в тебя. Я не очень-то нарядно одета, — ничего. А приедет ко мне жених, что ж, и в этой шубе я с песней встречу его. Надо будет, так уеду с ним. Только не обижай нашего отца, мама. Ладно?

ПЕШИЙ ВСАДНИКУ НЕ ПОПУТЧИК

Широколобий, быстроглазый Казак был человек крепкий и выносливый. В его походке, в ровном характере чувствовалась скрытая недюжинная сила. Он с детства не любил жаловаться и сетовать на судьбу. Часто Казак говаривал: «Если ты задыхаешься при ходьбе, тебе не догнать подранка, не сделать большого перехода. Охотник не должен знать усталости, даже кашлять не смеет в горах. Настоящий зверолов бесшумно ступает по сыпучим камням и ловит тишайший звук за смежным склоном, а по едва заметному следу угадает повадки зверя. Кому этого не дано, тот не охотник».

Казак был не только метким охотником и выносливым ходоком, но и общительным собеседником. С детства он запомнил целый короб сказок, легенд и преданий, которые когда-то слышал от своего отца. После первопутка дети Казака рады были узнать от него все, что он видел на охоте в горах. Затаив дыхание, слушали, не спуская широко раскрытых глаз с клинообразной черной бородки отца. Все услышанное копилось в цепкой памяти Батийны, и когда отца не было дома, она пересказывала его байки младшим братьям и сестрам, ловко подделываясь под его голос. «Пеший всаднику не попутчик», «Близ человеческого жилья лиса всегда прокормится», — говорила она отцовские присловья. Малыши не понимали их значения, и Батийна поясняла: всадник пешему не попутчик — это значит, что богат не ровня бедному. А лиса среди людей не будет голодной — это значит, что плуты, обманщики баи и старейшины не страдают от голода, — их кормит народ.

Размышляя о богатых и бедных, Батийна как-то сказала матери:

— Мама, я хочу у тебя кое-что спросить. Ответишь?

— А почему бы и нет? Если смогу, конечно...

— Зачем вы сосватали меня в юрту бая? Наверное, наш отец тоже захотел стать богатым?

Как ни трудно было, Татыгуль попробовала открыть дочери глаза на правду:

— Твой дедушка не просил бая свататься. Сатылган первый подал руку.

Видно, доченька, это божье предзнаменование. Бог сам засылал сватов, сам обручил вас. Такова воля старших. Если Адыке уважает прах своего отца, он не должен насмехаться над своими сватами, и, если он нарушит клятву отцов, его покарают духи умерших. А сможешь ли ты быть равной байскому сыну, сможешь ли править его хозяйством, — это будет зависеть, доченька, только от тебя. В народе говорят: «Не годами девка красна, а делами». Знаю я и видела на своем веку многих байских дочерей. Уйдет такая от родителей разодетая в пух и прах — в парче, шелку и блестках, — а муж быстро находит другую. Почему? Потому что не умеют они ничего делать путного. Разговора у них и то не получается. И много знаю женщин-тружениц. Хоть они часто родом из небогатой семьи, но своим умом, достоинством, добротой быстро заслуживают уважение не только среди мужниной родни, не только берут в руки своячениц и пользуются расположением мужа, но со временем даже управляют всем аилом на новом месте: главное, доченька, зависит от того, что написано тебе на роду, былинка моя.

О, если бы судьба девушки всегда складывалась так, как этого желает каждая мать! Есть, правда, женщины, что находят свое счастье замужем. Но таких мало. У большинства другая судьба. Стоит девушке лишь уйти из-под родительского крова, заменить тебетей на женский платок, как она превращается в рабыню своего мужа, свекрови, свекра, в невольницу всей мужниной семьи. Она обязана прислуживать каждому, а старшим кланяться в пояс. В доме мужа она гнется от забот, словно лоза под тяжелым снегом. О, если бы только одни заботы! А сколько бедняжке приходится сносить побоев!

По ее плечам извивается плеть, сапог мужа втаптывает ее в грязь, по ее рукам и голове свистит палка разгневанной свекрови. За молодой невесткой неотступно следит золовка и разносит о ней ворох сплетен. Жизнь со всеми тяготами валится на плечи молодой женщины, и пока она не пройдет через весь ад осуждений, она не имеет права на ребенка, на свое хозяйство. Склоняя имя молодой женщины, злые языки суесловят и насчет ее родителей. — А муж дочери таких-то родителей супружеской жизнью перестал жить со своей женой! Забытая и покинутая, она ночует вместе с ягнятами на овечьем помете,— печет одна.

— О, она непутевая! Знаю, знаю,—поддакивает другая.— Ее мать часто, бывало, бросал муж. Не умела вдеть нитку в иголку и зашить свой замызганный подол, вечно ходила в дырявом платке. Что мать, то и дочь. Никчемная женщина, какая она пара молодцу!

Татыгуль не раз слышала подобные сплетни. Сама держалась подальше от них и жалела молодых женщин, забитых нуждой и заботами.

— О боже,— вздыхала Татыгуль,— и зачем только ты создал на свет белый женщин?

Она жалела чужую сноху, проливала по ней слезы, молила бога, чтобы он смилостивился над ее Батийной, приходила на помощь женщинам, что стали «салбар».

Раньше Татыгуль радовалась, что Батийна сосватана в богатую семью. «Бог даст, дочь вырастет здоровой и пойдет замуж за богатого,— мечтала не раз мать,— будет самостоятельно хозяйничать в просторной юрте... Пойдут дети. Ее будет уважать и ценить весь род, и она станет зваться — байбиче».

Опьяненная сладостной мечтой о безоблачном будущем дочери, мать прижимала к себе свою Батийну, целовала ее в лоб и гладила косички. И от радости в эти минуты из ее переполненной груди капало молоко.

Но и солнце не всегда одинаково ярко светит. Шли годы, дочь росла.

Заманчивая надежда улетучилась, словно пестрая

бабочка. Приятные ожидания сменились страхом и горечью.

«Бедная доченька,— думала Татыгуль,— ты уже совсем взрослая. О боже, скажи, какую судьбу ты ей приготовил? А вдруг ее муж возьмет вторую жену? Или будет изменять ей? Что станет тогда с моей звездочкой? Проклятие свекрови, сплетни снохи и золовок...»

Голова Татыгуль идет кругом. Но она скрывает от дочери свое смятение, улыбается ей и учит уму-разуму:

— Старайся угодить свекрови, доченька. Вежливая, почтительная невестка нравится не только мужу, но и его родственникам. Она может распоряжаться всем достоянием мужа. Мы бедные люди. Но не хуже богатых знаем обычаи. Будь учтива. Делай людям добро. Добро помни, зло забывай. Доброе слово камень плавит; злое, едкое слово сердце травит. Пусть лишь умное слово сходит с твоего языка. Лучше промолчать, чем обидное слово сказать. Будь покорна. Покорное слово гнев укрощает. Слушай свекровь, пряди нитки, с золовкой дружи. Сплетни не слушай, будь чуткой во сне и быстрой в работе.

Сонливая женщина часто краснеет, попадая впросак. Такую невестку могут возненавидеть свекровь и золовка. Что можно сделать днем, не оставляй на вечер, что можно сделать вечером, не откладывая до утра.— И снова Татыгуль внушала дочери, чтобы та не гнушалась любой работы.

Чем больше Татыгуль поучала дочь, тем сильнее сжималось ее сердце и печаль вызывала слезы. Это и понятно. Невеста уже выросла, а от сватов пока никаких вестей. Дурное предзнаменование. Адыке до сих пор не сказал, что невеста из рода саяк ему не нужна. Да он и не имеет права так сказать: сватал-то его покойный отец. Он обязан чтить прах отца. В таком случае ему уже давно следует прислать сватов, а с ними— и часть калыма. Ведь он должен хоть словом обмолвиться об узах сватовства. Так повелось испокон веку. Отец жениха первым должен приехать к невесте и склониться перед сватом. Но Адыке пока не был у Казака.

Много раз небо пересекли журавли и белые лебеди. Адыке между тем упорно молчал, будто сгинул со света. Не приезжал полюбоваться невесткой. Дошли слухи, что сват Адыке очень зол на Казака: не приехал охотник вопить причитания на похоронах свахи Сейилкан. «Я ему припомню это,— грозился Адыке,— вот встречу с ним в темном месте и заставлю его, жалкого кула, узнать, кто я!»

Когда Сейилкан, мать Абдырахмана, ушла из этого мира, Адыке не очень горевал: женщина для него все равно что своя плетка. За пятьсот овец и девять голов крупного скота он взял себе в жены молоденькую девушку. Недолго пустовала постель Сейилкан.

Эта весть ожесточила сердце Казака: ишь, на свою женитьбу сколько скота не пожалел, а за сноху и паршивой овцы не дал.

Между тем Батийне исполнилось шестнадцать. От Адыке по-прежнему вестей не было. Зная, что она просватана, люди не засылали посредников. Если бы даже и пришли другие сваты, Казак все равно не дал бы согласия: как ни говори, а Батийна уже обручена. Пока дочь не свободна от уз сватовства, он связан по рукам обычаем предков. Казак не вправе отдать дочь за другого. Единственно, что могло освободить отца от невидимых пут родового обычая, это если бы к Батийне посватался не менее зажиточный человек, чем Адыке. Но посмей Казак так поступить, Адыке наверняка пожалуется бию. Отняли, мол, у него невестку. Разразится скандал, в него втянутся обе стороны: кто отдал девушку и кто ее взял.

Все это, конечно, отлично понимал и хитрец Адыке. Возможно, он выжидал, чтобы толкнуть Казака на позор, кто его знает... Беспокойнее становилось на сердце у родителей. «Свахи Сейилкан больше нет в живых,— думали они.— Только она могла желать своему сыну счастья. Нужны ли мы теперь мачехе? Зачем ей чужой сын? Ребенку, оставшемуся от Сейилкан, она и не подумает невесту искать!»

Не дождавшись отца жениха с почестями, Казак сам отправился к Адыке. У рода, с древних времен богатого и могучего, обычаи и нравы свои. По широкому зеленому ущелью, по горным склонам, как звезды, рассыпаны

стада коз, лошадей, коров, верблюдов. Немного поодаль от серых юрт красуются белые, с высокими куполами просторные юрты бая.

Как только аил перекочевал на новое место, Адыке распорядился: никто не должен тревожить бая и байбиче. Скот держать подалеже.

Вторая жена бая, Салкынай, дочь родовитого манапа по имени Караберк, была с норовом. Высокочтимый манап лелеял свою Дочь. Лет до пятнадцати она ходила одетая, как мальчик, была лихой наездницей и вместе с отцом разъезжала по аилам на иноходце с пером филина на голове. Отец звал ее Салышбеком, словно у нее не было девичьего имени. Люди привыкли ее считать храбрым и достойным сыном батыра Караберка. Постепенно девушка возомнила себя на самом деле отважной и бесстрашной. Случалось, что плеть Салкынай взлетала над головой того, кто осмеливался ее разгневаться. Она любила возиться с охотничьими собаками, нередко выезжала в горы с ловчей птицей. Никто не решался к ней посвататься. С годами, однако, строптивой красавице пришлось расстаться с нарядом Салышбека. Теперь она сидела в юрте, на девичьем месте, ожидая своего счастья, в пышном тебетее с выдровой опушкой, шею украсили несколько низок бус. Платье с оборками и красный жилет подчеркивали ее гибкий стан. Салкынай сидела недвижимо, как кукла, с постоянно незанятыми руками, потому что ей не было дела до иголки и ниток, до вышивки и шитья. Мать Салкынай часто говорила Караберку: «Моей дочери суждено быть байбиче. Незачем ей мучиться с иголкой и ниткой, терять драгоценное зрение. Для всякой черной работы хватает жен бедняков. А моя дочь — хозяйка над скотом. Она у меня войдет только в богатую юрту, ей каждый там будет кланяться в пояс».

Нежданно-негаданно старшая жена Адыке Сейилкан ушла из жизни, и бай тут же решил взять жену из знатного рода. Он знал, что Караберк с готовностью отдаст за него свою дочь. Адыке, долго не раздумывая, погнал много скота к батыру и в свои сорок лет стал мужем восемнадцатилетней Салкынай.

Судьба улыбнулась ей. Не прошло десяти лет, и она стала полновластной хозяйкой в юрте. Адыке не мог на нее насмотреться. Салкынай не только уважали, но и побаивались. На людях никто не обращался к ней по имени. Старшие звали ее — «Салкын байбиче», дети — «мать Салкын». Она управляла не только мужем, но и многолюдным аилом. Дважды ее слова не повторялись. Адыке считал себя и львом и тигром, но при дочери батыра Караберка превращался в трусливую кошку.

Говорят, даже зола соперницы опасна для ее преемницы. Салкынай сразу же, как утвердилась в юрте бая, стала поносить покойницу.

— О, бедняжка, моя умершая сестра! Оказывается, она и хозяйничать толком не умела. Посмотрите на ее туш-кийиз¹ который она вешала в юрте... Я такую кошму дворовому псу бы не подостлала. Конечно, пусть бог простит меня за такие слова!

Вскоре из юрты стали исчезать вещи покойной Сейилкан. Салкынай их раздавала близким родственникам, знакомым, проезжим гостям.

Властная хозяйка также не постеснялась сказать то, что она думала насчет Абдырахмана — сына Сейилкан и Адыке:

— От кого только она родила такого последыша? Хоть бы чем-нибудь смахивал на моего батыра. Жаль, что мужчина. А то бы без сожаления выменяла его на черного мерина!

Довольная своей шуткой, мачеха громко рассмеялась. Приехал сват Казак. Само слово «сват» заставило ее вздрогнуть.

— Что еще за сват,—возмутилась она и чуть было не выгнала из юрты почтенного охотника. «И зачем только проклятый старик когда-то допустил эту глупость? Неужели для сына столь храброго человека, как Адыке, не нашлось бы невесты из достойной семьи? Зачем было связываться узами родства с какой-то голытьбой»,— неотступно думала байбиче. Адыке как-то со смехом сказал жене:

— Что поделаешь, воля всевышнего, жена. Мой покойный отец был человеком добрейшей души. Из-за насвая в шутку сосватался тогда с Абдыраманом — пришлым охотником. Я был молод и не смел возразить. Случись это сейчас — дело другое. Отец тогда сказал, что охотник наш сват. Ну, а я вслед за ним повторил это. Теперь бесстыжий проходимец требует с нас калым.

Салкынай, выслушав мужа, посоветовала:

— Заставь его привести дочь, батыр. Щепотка насвая — достойный калым для оборванца. Пусть еще радуется, что их дочь будет покорно сидеть у моего порога.

Она с нескрываемым презрением поглядывала на охотника-свата и думала: «Смотри, да он не один приехал! С товарищем! Очень нужен тут его товарищ. Лучше бы свою дочь привез... А держится-то! Как настоящий, добропорядочный сват». Губы у Салкынай задрожали, и она чуть было не сказала все это вслух, но сдержалась.

Раздался топот конских копыт, и в юрту, громко разговаривая, ввалился Адыке со своими джигитами. Салкынай облегченно вздохнула.

Адыке приветствовал Казака без особой радости. Поглаживая бороду, он перекинулся с ним незначительными словами.

Сваты сидели хмурые, явно недовольные друг другом. Казак давно вынашивал смертельную обиду на свата и сейчас прикидывал, с какой стороны лучше поддеть этого бесстыжего бека. «Чем, собственно, я хуже тебя,— думал охотник,— даже заветы предков для тебя пустой звук. Не выпало счастье, а то быть бы мне вольным наскальным орлом. Уж ты трепетал бы передо мною, просил бы пощады. Увы, я не в силах заставить тебя выплатить калым, должный мне по всем нашим законам. Неравенство поставило меня на колени перед тобою, хищник».

Обида скопилась в груди охотника, вот-вот неудержимо прорвется. В горле запершило, смоляно-черная борода задрожала. И тут Адыке подлил масла в огонь.

— По моим подсчетам,— надменно обронил он,— твоя дочь уже давно засиделась в девках, сват. Не так ли, кул? Почему же ты не привез ее? — И он ядовито рассмеялся.— Неужели ты все еще надеешься получить калым? — Правда, что я кул. Правда и то, что ты бек.— Казак глядел на Адыке бесстрашным соколом.— Однако я приехал сюда не меряться с тобой, кто над кем. Меня привело незабвенное благословение наших благочестивых отцов. Адыке резко махнул рукой: дескать, будет язык чесать.

— Ах ты вонючий кул! — взъярился он.— Мой-то отец, спору нет, исполнен благочестивости. А вот кем твой отец был?

— Покойников не тревожь, бай,— не стерпел Казак.— Довольно, что ты оскорбляешь меня. Не угодно — можешь не считать меня за своего. Но бойся бога. Клятву отцов не забывай. Уважай свой род.

Адыке притих, словно Казак его убедил. На самом же деле его разозлила прямота и решительность свата. «О боже, как это возможно, чтобы какой-то голодранец возвышался надо мной? Приказать своим джигитам, что ли, прирезать его тут же, как паршивую овцу?»

Казак не догадывался, что замышляет его сват. «Авось удастся убедить его достойными речами»,—решил охотник и назидательно, с жаром заговорил о добрых старых обычаях, о заветах предков, о сватовстве.

Но чем дальше он вдавался в историю, тем неистовее багровело лицо Адыке. «Ишь ты, как разошелся, тупой болван»,— весь кипел он.

— Не думай, Адыке, что я приехал за скотом. Просто я не хочу нарушать обычай отцов. Если ты не желаешь брать мою дочь в невестки, что же, неволить не буду. Тогда освободи ее от уз сватовства. Пусть она ищет себе равного.

Адыке даже вздрогнул:

— Похоже, ты совсем рехнулся, несчастный голодранец? Мыслимое ли дело взять да отказаться от члена семьи, за которого давно уплачен калым?

От горькой обиды у Казака перехватило дыхание:

— Что за калым? Когда ты его давал мне?

— Забыл? — Адыке сощурил глаза.— А насвай, которым мой почтенный отец услаждал твоего отца — кула? Разве того кумара¹ и доброты моего отца не достаточно для выкупа твоей дочери?

Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения Казака.

— Не оскорбляй, Адыке! Духи предков покарают тебя! Я призову их гнев на твою голову!

У Адыке кровью налились глаза. Вращая зрачками, он приказал джигитам, сидевшим у порога:

— Эй вы, олухи и болваны! Сейчас же распять его на кереге!² Пусть попробует, каково вызывать духов!

Джигиты, кажется, только этого и ожидали. Они вцепились в Казака и поволокли его к кереге и так крепко привязали к жердям юрты, что Казак не мог шевельнуться.

Подперев бока мясистыми руками, Адыке злорадно рассмеялся в лицо Казака.

— Ну как себя чувствуешь теперь, мой сват? Значит, тебе понадобился калым? Видишь, до чего сладко богатство? Ха-ха-ха!

Салкынай быстро смекнула, что затеял ее бек. Зачем мешать мужчинам? Пусть делают свое мужское дело. Звякнув тяжелыми подвесками в косах, в пышной брошенной на плечи шубе, она зашагала к выходу.

— Не притворяйся, будто ты чужая, сваха! — крикнул Казак. — Остановись! Я был вам сватом, посланным богом. Прикажи отвязать меня от кереге! Ведь я не какой-нибудь конокрад, схваченный на месте преступления. И калыма я у вас не брал. Предоставьте моей дочери свободу, и мне от вас ничего не надо.

— Ах ты нечестивец! — повела Салкынай презрительно плечиком, вроде отмахиваясь от назойливой мухи. — Чужая, говоришь? А ну-ка, батыр, вразуми его! Какая я тебе чужая? Он что-то слишком заважничал, этот сват. Впиши ему как следует, батыр!

— Если ты не чужая, то послушай меня, сваха... Адыке рявкнул, словно бешеный:

— Заткнись, собака!

Кокетливо виляя бедрами, Салкынай вышла. Адыке вырвал заткнутую под кереге плетку и принялся хлестать Казака.

— Вот тебе калым! Получай его, кул! Собака осмеливается лаять на тигра! Неужели ты успел забыть, что мой уважаемый отец приютил на своей земле твоего нищего родителя? Если забыл, то вот тебе, получай! А ты хоть подсчитал, сколько вреда принес моим владениям в горах? Всех моих архаров и эликов кто перестрелял? Ты! А про усладу насвая тоже забыл? Предками пугаешь? А сам-то их хорошо помнишь?

Он продолжал хлестать избитого в кровь Казака, приговаривая:

— Чтоб через три дня доставил сюда свою дочь! Сам доставишь! Понял? Нет — подведу тебя под суд. Мне ничего не стоит. А захочу, так мои джигиты в два счета разнесут твой аил!

Тугая, тонкая, как змея, плетъ взлетала и опускалась на тело Казака, стуча по жердям кереге.

— Так получай, собака, свой калым. Вот тебе, проходимец! — визжал Адыке иступленно.

Никто не посмел остановить его руку, хотя Казак никому не сделал зла. Все тут были для него чужие. Недаром говорится, что пеший всаднику не попутчик, что овца не друг волку...

НЕ НАСТУПАЙ НА ХВОСТ ЛЬВУ

Дед Адыке, Арстаналы, как-то сидел на холме неподалеку от юрты и чистил ружье. Посредине аила женщины взбивали шерсть на кошмы. Арстаналы, прочистив ствол ружья, заглянул в него и, видимо, остался доволен своей работой. Он еще посидел, поскучал немного и велел своему джигиту принести патронташ. Зарядив ружье, решил: «Дай-ка попаду в самую большую грешницу» — и выстрелил в работавших поодаль женщин. Слепая пуля угодила в грудь как раз его жене. Узнав, что он застрелил свою верную жену, бек только и сказал: «Значит, была грешна, раз уж пуля ее поразила. Похороните ее безо всяких почестей».

Хвастливые и заносчивые отпрыски бекского племени, жирные и самодовольные, Адыке и его друзья восхищались самодурством своего предка Арстаналы.

— Вот это власть у человека! Справедливо, что пуля сама находит грешника! Они только и думали, как насолить людям другого рода, обидеть и оскорбить бедного, избить невинного, плеткой подкрепить свое превосходство. При случае они козыряли громкими словами—«клятва», «дух предков», «обычай народа». Это были только слова для прикрытия. Каждый бай, каждый манап любил побахвалиться своим высоким происхождением да и застрашать простых людей, уподобляя себя «льву», которому небезопасно наступать на хвост. Чабаны и табунщики нередко шепотком предупреждали друг друга:

— Берегись, бедняжка, случайно не наступи на хвост льва. Казак не раз повторял эти слова. И в его роду немало было свирепых властолюбцев. На его глазах оклеветали невинного человека, терзали беззащитного. Когда близкий его родственник, Вексултан, не смог вовремя расплатиться с баем, у которого брал займы овец, неисправного должника немилосердно отстегали. А Казаку досталось за то, что взял под защиту своего родственника.

Казак откровенно говорил с женой:

— Э-э, Рыжая, по нынешним временам опасно стало даже за своего вступаться. Слово скажи — беды не оберешься. Хищники коршунами на тебя налетят. Лучше, Рыжая, держаться нам в сторонке. Что бог пошлет на охоте, тем и будем довольны.

Татыгуль соглашалась с мужем.

С первыми признаками весны, когда исхудавшие за зиму дикие козы уходили в верховья, семья Казака устраивалась где-нибудь подальше от чужих глаз или ставила юрту рядом с мирным аилом. Татыгуль нанималась доить коров, валяла кошмы, ткала дерюгу. Казак тоже не сидел без дела. Возьмет топорик с длинной ручкой и мастачит новые уук и кереге — оснащение для юрты.

— Э-э, Рыжая,— скажет Казак,— прошу тебя, не жалуйся, что мы голы и босы. Была бы полна наша чаша, чтоб детям не пришлось голодать. Пусть не гаснет огонь в очаге, да пусть висит над ним казан. Бог даст, и наши дети будут есть-пить из золотых чашек... Вот дождемся осени, козы нагуляют жиру, поднимемся тогда выше в горы и заживем спокойно, Рыжая.

Казак все ждал, что у Адыке проснется совесть и он пришлет сватов, но потомок бека не раскаивался в своем поступке. Допусти столь дерзкую выходку не Адыке из богатого рода, а кто-нибудь победней, его без особого труда пристыдили бы аксакалы: «Побойся бога, бай,—не хвастай своим скотом. Кто восстает против духа предков, того сам аллах может покарать. Лучше отгони, сколько положено, за калым скота и бери свою невесту, как это у нас принято». Баю ничего бы не оставалось, как их послушать.

Аксакалы еще раз подтвердили бы свою власть. Другое дело —Адыке. Подступиться к нему не решались самые почтенные старцы. Лишь один аксакал вступился за Казака и уговорил Адыке отвязать свата от кереге. Казак вернулся домой со скрытыми слезами на глазах.

— О боже, где твоя справедливость, если ты позволяешь человеку издеваться над другим человеком? За что мне такая обида? Чем я провинился перед тобой, господи? Я хотел лишь защитить честь моей дочери.

Так неумолимая жизнь, которой не в диковинку опалить крылья сокола, останавливать бег скакуна, оскорблять батыра и смеяться над красивой женщиной, обернулась к охотнику мрачной стороной. Она растоптала его заветные чаяния и развеяла по ветру все его надежды.

Родственник Казака Сарала, сероглазый старичок, слыл в округе краснобаем. «Когда ты только наговоришься и уступишь слово другому?» — подшучивали сверстники Саралы. Вскинув взлохмаченную бородку, сядет он, бывало, сложив ноги калачиком, и примется говорить, говорить без умолку. Откуда он только черпал забытые пословицы и поговорки, стародавние легенды... И, рассказывая о прошлом, Сарала не упускал случая связать историю с текущими событиями.

— Итак, сколько ни совершал подвигов бесстрашный батыр Азирет-Али-Шер,— с разящим ножом Зулпукора в руках или поднимая на дыбы коня Дулдула,— все равно он попал в руки врага. А где уж нам равняться с этим батыром? Дунет с гор ветерок, и мы летим, как перекасти-поле. Глянет сурово почтенный аксакал, и мы теряемся, не знаем, куда нам укрыться. Если я вру, то прикоснись языком к моему ногтю, и мне будет стыдно.

— Правильно говорите, Саке,— без пререканий соглашался со стариками родственник Казака Бексултан.

В народе говорили, что свою многоречивость Сарала обретает с помощам) самого дьявола. Будто черт плюет ему в рот словами. Может, это и верно? Сероглазый коротыш Сарала любого мог заткнуть за пояс своими речами. Хотя он редко бывал у Казака и не очень-то уважал, все же не преминул вступить за охотника, попавшего в беду. Откажись он это сделать, его могли бы осудить старейшины рода. Честь рода превыше всего. Любой из рода в трудную минуту мог рассчитывать на поддержку. Веками укоренилось это неписаное, но твердо установленное самой жизнью правило.

Если в аиле люди жили разобщено, такой аил народ считал не заслуживающим уважения. Он быстро утрачивал свою независимость. Более сплоченные аилы отнимали скот, пороли мужчин и принуждали их на себя работать.

Если человек становился на путь предательства, его ненавидели и презирали аксакалы и молодежь, баи и бедняки. Никто при любых обстоятельствах не смел нарушать общее согласие. Если соплеменник совершал проступок и должен был понести кару, то ответственность за него ложилась на весь род. Случись, кто-то отказывался выдать замуж дочь за нареченного предками жениха, родитель представал перед судилищем биев. Упаси бог от такого схода! Горе аилу, если бий на сходе разгневается: тяжесть ответственности несли не только виновные, но и все его племя.

Решив не отдавать Батийну за сына Адыке, Казак тем самым наступил на хвост разъяренного льва, хоть и знал, что Адыке не смирится, пойдет с

жалобой к бию: мол, у него отняли засватанную невесту и что он намерен ее забрать в свою юрту, как члена семьи. Эта скандальная для всего рода история может повести к печальным раздорам.

Старик Сарала это хорошо понимал: он был осмотрителен. На пригорке, где собрались все старейшины из аила, Сарала, взвешивая каждое слово, старался быть справедливым. Люди возмущались поступком Адыке, но предпочитали степенно молчать. Лишь немногие решились открыто обличать Адыке.

Поднялся Асан, человек не очень богатый, но умело пользовавшийся силой своего красноречия. Он сказал:

— Даже к сорной траве не стоит относиться небрежно... Неужели мы с вами хуже сорной травы? Зачем Адыке так оскорбляет наш род? Если он бай, то и в нашем роду есть баи. Если он манап, то и в нашем роду есть манапы. Пусть он вызывает сколько угодно к бию, мы не дадим себя застращать. И молчать не будем. Мы скажем, что Адыке первый нарушил обычай предков и в кровь избил свата. Ведь он, Адыке, пошел против бога. Неужели он не боится гнева господнего? Есть ли хоть капелька неправды в том, что я говорю?

Бексултан, тоже осуждавший Адыке, поддержал Асана.

— Слова Асана я нахожу справедливыми,— сказал он.— Неужели мы не сможем постоять за обиженного Казака? Наш род не обсевок в поле, что одним дыханием Адыке волен сдуть с земли. Всем своим родом мы встанем на защиту Казака. Дочь Казака — она и наша дочь! А за нашу дочь Адыке еще не пригонял скота. Не позволим, чтобы над нашей дочерью издевались. Саке, мы обращаемся к вам от имени рода и говорим, что Адыке виноват дважды. Во-первых, он не уплатил калыма за невесту. Во-вторых, избил своего свата. Разве справедливый и достопочтенный бий не примет это во внимание?

Старейший рода Сарала, не перебивая, выслушал подряд всех своих родственников и подумал, что они правы. Но вместе с тем Сарала смотрел дальше и видел зорче тех, кто так пылко выступал. Он упорно не поддавался несдержанной горячности, сидел с низко опущенной головой и словно подремывал. Наконец что-то невнятно промывчал, моргая по-кошачьи прижмуренными серыми глазами.

— Ну, все сказали?—И он, покряхтивая, неторопливо обвел взглядом собравшихся.— Если кто хочет, говорите. А если нет, послушайте меня... Все, что знает бай, хорошо известно и рабу. Но у него нет прав высказать то, что он знает. Ваше рассуждение правильное и совершенно справедливое. Будь на то моя воля, я бы выразил полное согласие с вами. Но кто знает, как все обернется. Представьте себе, я готов вместе с вами постоять за нашу честь. Не отдадим Батийну. Все пойдем к бию на суд. Но скажите, кто нас там станет слушать? Кто нас поддержит?

У Адыке за спиной большая слава. Он из рода могущественного Арстаналы. Этого человека боялись сами судьи. А сколько у Адыке скота? Его отары покрыли ближние и дальние склоны гор. Подобное богатство соблазнит не одного бия. Любой джигит его рода считает себя важной птицей. Стоит Адыке

мизинцем шевельнуть, и он подкупит сколько угодно биев. А наш Казак? Что он имеет кроме полудохлой лошадки, черного беркута да ружья на сошках? Казак — всего лишь бедный пришелец на земле, ему впору еле-еле прокормить своих детишек. Чем тут бию удовлетвориться? Лошаденкой его или беркутом? Ну, скажите откровенно, на чьей стороне окажется бий? Он заморгал серыми глазками, крикнул. Все молчали и, кажется, соглашались с Саралой. Люди еще раздумывали, а Сарала снова заговорил, еще более настойчиво:

— Конечно, нам нелегко... Перед боем и вовсе будем тише воды, ниже травы, словно нам рты забили кляпом. Нечего рассчитывать, что Адыке испугается. Он беркутом будет парить над нами — жалкими козлятами. Потом он нас загонит в тупик, — куда мы денемся? Бию как раз это и надо. Он прижмет не только Казака, весь род наш пострадает. Нет, братья мои, напрасно это затевать. Мы бы оказались в положении людей, которые на пустой желудок ввязались в драку с сильным и сытым врагом. Конечно, нам бы крепко досталось. Будем благоразумны. Не лучше ли меня отрядить к Адыке? Попытаюсь с ним потягаться один на один. Норовистого коня обуздывают арканом. Глупца останавливает дубинка. Не помогут ли развязать узел ссоры истинные и к месту сказанные слова? В роду

Адыке, вероятно, найдутся еще аксакалы, которые с толком вникнут в дело. Взвесив все выводы Саралы, родственники согласились с ним:

— Правильно говорит Саке! Не поддадимся озлобленности и возмущению, ибо недолго и наступить на хвост льву.

— Адыке нарушил клятву. Верно. Но мы-то ее не станем нарушать. Ни за что!

— Казак, укроти свой гнев и откажись от своего зарока не глядеть в глаза свата Адыке. Все само собой уладится...

ОБИДА

С малых лет Батийна привыкла уважать своих родителей. Она рано повзрослела и все, что надо было, делала не спеша и старательно. Худенькой, стройной девчонке все было по плечу. Она поднималась вместе с матерью и хозяйничала весь день. Проворно ставила казан на треногу, разводила огонь и кипятила молоко, потом через сито пропускала толокно, малышам варила кашу.

Завтракать семья Казака садилась за разостланный достархан, и Батийна всех угощала.

— С тех пор, как наша Батийна подросла, — говорила мать отцу, довольная проворными руками дочери, — я чувствую себя свободной от всех домашних обязанностей. Считай, и дети, и хозяйство — все на ее плечах...

Отец, нежно глядя на Батийну, хвалил ее:

— Ты старшая в семье, доченька. Молодец что помогаешь матери. По тебе будут равняться и младшие. Всякое умение пригодится в жизни.

Великие горы снова запорошил снег. Казак день-деньской пропадает на охотничьей тропе. С ним гончая собака и беркут.

Батийна провозилась с ребятишками и забыла сегодня привязать теленка и согреть воду в медном кашгарском кумгане.

Отец вернулся хмурый: охота ныне была неудачной. Попросил теплой воды, а ее как раз и не оказалось. Батийна схватила туесок и бегом помчалась вниз к речке.

Пока вода грелась, Казак опоздал на вечернюю молитву. И без того скверное, настроение охотника совсем испортилось. Он не стерпел и пожурил дочь, когда она, запыхавшись, вернулась с тяжелой посудинной.

— Доченька, я, кажется, тебе говорил, чтобы в нашем доме всегда была теплая вода. Неужели ты забыла?

От стыда щеки у Батийны ярко зарделись. Впредь медный кумган с водой всегда стоял на горячих углях очага наготове к возвращению отца с гор.

Батийна как-то слышала — отец говорил матери:

— Если бог сохранит дочке жизнь, она будет у нас умным, честным человеком и хорошей хозяйкой.

Доброе слово отца были поддержкой, когда, устав за день, Батийна отсиживалась в юрте, — стыдно было показаться в своем убогом платье среди девушек на играх. «Бедный мой отец! — думала она. — Откуда ему знать, какой я буду взрослой? Говорят, что у меня открытый лоб. Ну и что? Говорят, у меня отзывчивая душа. А откуда это видно? Просто я не хочу обижать своих стариков. Когда их нет, я самая печальная в аиле девушка. Как хорошо, что они этого не видят».

Грустные мысли теснятся и невзначай изливаются в песне:

Девушки богатого рода Одеваются в пестрый наряд. Я же в сурковой шубенке Мерзну годами подряд.

И снова наплывали мысли, бредили душу.

Отец сам поехал к свату, и там его жестоко избили. Почему же отец, всегда посвящавший домашних в свои дела, на этот раз умолчал, зачем отправился к Адыке? Разве отец спрашивал у нее, у Батийны, хочет ли она идти замуж за сына Адыке? Ведь она его никогда в глаза не видела. Разве любящий свою дочь отец может продавать ее все равно как лишнюю, никчемную? Хороший хозяин зря не продаст и не обменяет любимую скотину, неужели Батийна хуже скотины? Да любит ли он ее? Аксакалы, старейшины, почтенные люди целый день сидели на пригорке и решали ее судьбу. Потом Сарала поехал к Адыке, чтобы встретиться с ним «на божьей тропе». Ну и чего достиг Сарала? Разве он освободил Батийну? Конечно нет. Он только всего-навсего пригнал от свата десяток голов захудалого скота «за калым», и на том все притихли, смирились. А сколько разговоров идет в аиле о ее замужестве? И все вертятся вокруг калыма да скота. Значит, взрослых интересуется лишь одно — взять побольше за нее, Батийну? Отец, видимо, недоволен, что богатый сват мало прислал скота за выкуп невесты. Зачем отец меняет дочь на животных? Батийна, досадуя на свою судьбу, по молодости еще не задумывалась над обычаями народа. Она напрасно злилась на беззащитного отца, который и без того изнывал под тяжким бременем жизни. Однако Батийна не показывала своей обиды. «Раз уж я создана человеком, то у меня будет своя судьба. Я ее сама поверну», — думала она.

Батийна погрузнела, ушла в себя, реже советовалась с матерью. На лице появился налет желтизны, девушка таяла на глазах. Каждое слово, сказанное о ней, точно стрела попадало ей в сердце и больно ранило.

В эту пору выходила замуж Калыйча—дочь Зарпека, дальнего родственника Казака. На встречу с невестой приехал жених. Целую неделю девушки устраивали качели, пели веселые

2 Т. Сыдыкбеков

свадебные песни. Приглашали и Батийну. Она постыдилась, ненарядная, появиться среди молодежи. О том, что было на свадебных играх, ей подробно рассказала молодая джене¹ Сайра.

В просторной высокой юрте собрались молодые парни и джигиты. Веселые игры затеяла родная тетя Калыйчи—Сабийра, жизнерадостная молодая женщина, и петь и шутить большая мастерица. У нее добрый и щедрый муж, Муса. Его все уважают в аиле. Муса загодя предупреждал жену: «Ты там смотри. Чтобы у людей было веселое настроение. Собери всех певцов, балагуров и комузистов. И чтоб сестренка от души порадовалась».

Сабийра попросила оседлать коней и разослала джигитов за лучшими певцами и музыкантами. На торжество пришло много нарядных девушек. Они расселись рядом по одну сторону юрты. Свадебную игру повела сама Сабийра. Потом табунщик из верхнего аила очаровал всех своим могучим голосом. Игры и песни продолжались до полуночи. Жених оказался вежливым, добрым, проворным джигитом — подходящая пара для Калыйчи. Три дружки, приехавшие с ним, тоже пели без устали. Один из них играл на комузе, а двое ему подпевали. Гости остались довольны и пением и игрой. — Это была не настоящая свадьба, лишь первая встреча жениха с невестой, — пояснила Сабийра. — Жених будет еще приезжать. И совсем заберет Калыйчу ближе к осеннему урожаю, когда все поспеет. Пусть даст им бог большого и долгого счастья.

Сайра, стараясь развеселить Батийну и не замечая, что каждым своим словом только ранит ее душу, еще долго рассказывала все мелочи о встрече жениха и невесты.

— Подожди, кызыке², — говорила она, смеясь. — Скоро и к тебе приедет женишок. Все игры я сама буду вести. Хоть мы и небогатые люди, но встречу с женихом сможем сделать веселой. Лишь бы он появился, пока стоят теплые дни. Для тебя я соберу всех до одного певцов и шутников. А уж ты держись около женишка степенно, словно лебедь. Калыйча, конечно, не лучше тебя, но все равно на нее многие заглядывались, многие по ней вздыхали. Ты же у меня красавица из красавиц, сияющая звезда на безлунном небе. Покажись-ка всему аилу. Ничего, что твой жених из богатого рода. Ты его затмишь своей красотой. Он будет стесняться тебя, кызыке, краснеть, как мак. Добрые слова Сайры не оживили удрученную Батийну. На ресницах по-прежнему сверкали слезы.

ЖЕНИХ ПРИЕХАЛ

Батийна, глубоко утаившая свою печаль, могла целый день молчать, избегала каких бы то же было разговоров. В таком возрасте девушка особенно

стесняются отца. Впрочем, не только отца. И с матерью она уже не совсем откровенна, держится как-то настороженно, уединяясь возле джуга¹. В такое время джигиты слагают восторженные песни в честь девушки,— она недостижимая мечта, неоценимая драгоценность, священная и чистая. Дочь на выданье — немалая забота отцу и матери. На то, чтобы сносно одеть девушку, понадобились все скопленные шкуры добытых отцом зверей и в придачу овчины, что мать заработала по найму у баев. Голову Батийны украсил тебетей из половинки выдриной шкурки. Будь у Казака на руках целая шкурка, конечно, борта тебетей можно бы расширить вдвое. И Татыгуль горестно вздыхала, что головной убор не получился, как хотелось. — Что поделаешь, доченька,— сказала мать.— Отец за эту шкурку отдал двухлетку-лошадь. Он тогда сокрушался: «Ах, дьявол, нет у меня настоящего коня, а то достал бы выдру на пышный головной убор». Но где бы он, бедняга, взял такого коня? Для своей дочери ему ничего не жаль. Ты это сама хорошо знаешь. Давай же довольствоваться тем, что у нас есть, доченька. Лишь бы ты у нас была счастлива.

Камзол из ярко-красного бархата облегал талию девушки. Мать жалела, что жакет не коричневый,— именно коричневый цвет к лицу Батийны, с ее нежной белой кожей, открытыми блестящими глазами, длинной, ниже пояса, косой и черными в разлет крыльев ласточки бровям!.

В платье из белой шелковой ткани с оборками, с подолом до земли Батийна словно плывет по воздуху, не касаясь земли. Что говорить, грубоваты сапожки с кожаными тупоносими калошами. Но остроносые не под силу оказались Казаку.

— Что бог дал, тем и богаты, Рыжая,— повторял Казак.— Пусть дочь не дуется на меня. Не получилось у меня с резиновыми остроносими калошами. Да и выдра на тебетей попалась скудная. Нынче что-то невест развелось много, будто все договорились в одном году выйти замуж. На базаре отцы толкуются, наперебой ищут шкурки выдры. А спекулянтам на руку. Раньше вещь стоила овцу, теперь она меняется на годовалого жеребенка. Та, что стоила жеребенка, теперь отдается только за коня. Не сердись, что смог, то раздобыл...

За это время на лбу Казака прибавилось морщин. Он осунулся, почернел и ниже склонял голову, чаще глядел себе под ноги.

— И за то слава богу, что нам удалось, отец. Вон как нарядили дочку. Ей нечего на нас обижаться,— говорила Татыгуль, желая подбодрить мужа. Казак молил бога, чтобы ему никогда не довелось встретиться с подлецом Адыке, но он знал, что не может не выдать свою дочь, если она просватана еще в утробе матери. Так повелось испокон веку. Освободить ее от уз сватовства можно лишь дорогой ценой — нужны отары скота. А где у Казака скот? Хочешь не хочешь, он обречен повиноваться этой черной силе — доставить Батийну жениху. Да и потом ему придется краснеть от стыда. Ему ткнут в глаза: «Додержал, черт старый, свою дочь, пока засиделась в девках! Теперь кому она нужна?» Нет большего позора, чем пренебречь обычаями

племени. Девушке не к лицу задерживаться в доме отца. Одно из двух — либо муж, либо земля обязательно ее заберут из родительской юрты. Иначе поползут, как змеи, слухи: «Дочь, мол, твоя оказалась никому не нужной». Эти слова несут боль родителям и одновременно стыд и позор всему племени.

Адыке прекрасно это знал. Не мудрено, что он и не спешил." Куда бедняк денется, обязательно доставит свою дочь. В противном случае Адыке пожалуется бию: какой-то голодранец не отдает невесту, за которую еще предки получили положенный выкуп, нарушает все обычаи народа. Тяжкая вина ляжет не только на Казака, но обрушится на весь его род...

Дочь выросла, а сваты все не появлялись. Казак терял покой и против своей воли и совести вынужден был подчиниться несправедливой власти, несправедливым обычаям.

Он послал гонца сказать Адыке:

— Хватит выжидать. Присылай сватов. Невеста Батийна вполне взрослая. Близились осень, на вершины гор уже лег синий снег. Чабаны покидали летние горные пастбища, спускались со скотом на равнину. В разгаре была стрижка овец, люди готовились к свадьбам и поминкам. Те, у кого были невесты на выданье, спешили на дальние базары — за свадебными покупками.

Бывало, в такое время Казак навьючит домашний скарб на корову и отправляется куда-нибудь в глухое ущелье в одиночку охотиться. Нынче же он готовился проводить дочь замуж и остался вместе с родственниками в местечке Чон-Кокту. В старенькой юрте жил младший брат Мукамбет. Тут же ютилась близкая родня Казака. Неподалеку была и Сайра — лучшая жене и подруга Батийны. Они вместе с Батийной расшивали потник для свадебного коня.

Стоило Батийне всплакнуть, вслед за ней из сочувствия плакала Сайра... Все шло не так, как следовало. Ожидали, что сваты приедут вовремя и пригонят подходящий калым, у Батийны поднялось бы настроение, и Сайра устроила бы веселые игры. Знай они, что сваты вот-вот приедут, Сайра с Батийной давно бы сшили нарядную одежду для невесты и гостей, отделали бы украшениями из серебра и ожерелий, да и конусообразная шапка для будущей молодухи была бы наготове. К свадьбе откармливался бы скот, в город поехали бы гонцы, доставить оттуда сладости, нават, чай, подарки. Одним словом, калым пришелся бы Казаку очень кстати, — он смог бы проводить свою Батийну по всем правилам и с большими почестями. Но счастье, словно белокрылый лебедь, проносилось от Батийны стороной. Однажды по тропе с верховий спустились двое всадников. Одного из них Казак посылал к свату. Другой был незнакомый, неважно одетый рыжий подросток.

Перед дорогой Адыке напутствовал гонца:

— Пусть жалкий кул не воображает, что он человек. Пусть радуется, что я беру его дочь. Никакого калыма он не дождетсЯ, и на отару овец ему нечего

рассчитывать. Сын мой сам поедет за своей женой. Будет на то моя воля, следом пошлю людей. Не захочу — и того не будет. Пусть он безоговорочно, как подобает кулу, отправляет свою дочь ко мне. Но земляк не захотел обижать Казака, пересказывая точные слова свата. — Казак, можешь готовиться к проводам Батийны. Сам сват приедет попозже,— сказал он.

Услышав, что вот-вот приедет жених, Батийна спряталась в юрте. Она наблюдала сквозь дырявую кошму туурдука¹ за приближающимися всадниками. Когда Батийна увидела белобрысого, неказистого юношу, сердце у нее заглодело.

— О боже, неужели это мой будущий муж? Неужели я рождена несчастной? Господи, спаси мою душу,— шептали ее пересохшие губы.

По обычаю жениха ссаживали с лошади за аилом, он низко кланялся теще и тестю, одаривая деньгами девчат и молодых, пришедших на смотрины. Но жених спешил, как мальчишка, приехавший в гости из другого аила. Мать Батийны, вытирая слезы рукавом платья, подошла к нему и для приличия, чтоб избежать дурных разговоров, поцеловала будущего зятя в лоб. Казак злился. Разве так встречают зятя? Вон у Калыйчи всю неделю шло веселье. Девушки хохотали, дергали зятя за уши, просили монеты за смотрины. А тут...

— Пусть эту свинью Адыке покарает сам бог за жадность,— говорил Казак.— Кичится своим богатством, самодур проклятый.

Татыгуль успокаивала разгневанного мужа:

— Потерпи, отец. Не показывай свою печаль. У Батийны и без того камень на душе, вся осунулась и почернела.

ИСПОЛНЯТСЯ ЛИ ЖЕЛАНИЯ!

Когда двор опустел и гости заняли положенные места в юрте Мукамбета, Сайра вывела Батийну.

— А что, если жених не так уж дурашлив, как нам показалось с первого взгляда? Масть коня определишь по его шерсти. Человека же трудно сразу узнать. Недаром говорится, чужая душа — потемки. Даже догадливые люди нередко ошибаются в людях, моя хорошая,— повторяла джене, и Батийне захотелось самой получше разглядеть жениха.

Она вместе с джене бесшумно приблизилась к юрте, где сидел Абдырахман. — Старайся, чтобы тебя никто не заметил, кызыке,— шепнула Сайра и ловко шмыгнула к пологу юрты. Батийна осталась снаружи и сквозь полоску туурдука заглянула в жилище. На почетном месте разостлан достархан, все гости заняты чаепитием. Наклонив щупленькую фигурку вперед и слегка подбоченясь, мальчишка ел сразу два боорсока. Не было в нем ни важности, ни достоинства жениха. Он походил на подростка, играющего в альчики².

«О-о, бедняжка, проделав дальний путь, он, видно, здорово проголодался»,— Батийне стало жалко жениха. Она чуть не рассмеялась. Все-таки пора бы уже в эти годы соблюдать обычаи.

Батийна помрачнела. И одет жених не нарядно, и лицом неказист, и умом, кажется, «не удался. Да еще подслеповатый правый глаз на желтом скуластом лице. Издалека на коне жених казался белесым. Теперь она разглядела, что он рыжий.

Батийна едва сдержалась, чтобы громко не вздохнуть. Пошатываясь и ничего не видя перед собой, она шла от юрты неизвестно куда. Нет, лучше умереть, чем жить с таким мужем.

Она мечтала о светлой любви, с замирающим сердцем ждала своей судьбы.

Одна лишь джене знала, о чем мечтает Батийна, о ее сердечной тайне...

Все заманчивые ожидания разлетелись в пух и прах. И, оборачиваясь, Батийна шла куда глаза глядят, выше и выше по ложбине...

Сайра своим настороженным слухом уловила всхлипывание за юртой.

«Неужели кызыке плачет?» Женщина вышла. Батийна удалялась в горы.

«Куда это она?.. А что, если, подавленная горем, она потеряет власть над собой?»

Боорсоки — жаренные в жире кусочки теста. Альчики — игра в кости.

Джене побежала за Ватийной и вскоре настигла ее.

— Пстой, кызыке, милая, родная, куда это ты? Батийна, услышав ласковый воркующий голос молодухи, навзрыд заплакала. Сайра взяла младшую сестру мужа за руку, нежные пальцы были холодны.

Сайра испугалась и сама уронила слезу.

— Терпи, кызыке, терпи, родная. Бог, видимо, и создал нас, чтобы мы слезами умывались. Такова наша женская доля. Не плачь...

Джене обняла Батийну, стала горячо целовать ее в шею, в виски, в разгоряченное и мокрое от слез лицо.

Батийна, обессилена положив руки на плечи джене, всхлипывала и причитала:

— Я тянулась зазеленеть веткой, раскрыться цветком, родная джене,— сквозь слезы жаловалась Батийна.— И все мои надежды мигом рухнули, словно камень с горы. Как же мне быть? Пусть простят меня чтимый отец, моя любимая мама, подружки мои и ты, моя дорогая джене, не осуждайте меня, лучше я брошусь в воды бурливой горной реки. Лучше умру...

— Не говори мне таких слов, кызыке. Злобу наш ум осиливает. Не поддавайся злобе и тоске, моя белая козочка. Пожалей отца и мать. Их самих гложет тоска и печаль. Если узнают, что ты задумала, умрут преждевременно. Успокой свое сердце, мой свет. Люди услышат — разлюбят тебя, пойдут всякие слухи; иные скажут: «Возомнила о себе эта беспутная, сама хочет выбрать себе жениха». И все тебя будут чернить.

Открытое лицо Сайры побледнело. Она дрожащими пальцами гладила иссиня-черные косички.

— Милая девочка,— шептала она жарко,— ты единственный светильник в юрте своего нищего отца. Не приноси же горя своему айлу, который и так невелик. Не заставляй нас оплакивать тебя. И не помышляй о смерти! Смерть

— это обвалившаяся мрачная могила. Жизнь — это неугасимый светоч. Крепись, моя былиночка.

Девушка смотрела куда-то вдаль невидящим взором и прислушивалась к звукам, которых не было, ждала ответа неизвестно от кого.

— О джене, где мой желанный? Как мне его найти? Как я расстанусь с Абылом, которого ты сама нарекла моей судьбой? Кривой Абдырахман и мизинца Абыла не стоит. Прости меня за эти слова, но кривого мне противно даже сравнивать с Абылжаном...

Длинная тень от высокой скалы давно перекрыла солнцепек. С верховий подул прохладный шальной ветер. Он торопился вниз, как запоздавший всадник. По ложбине перезванивал хрустальный ручей, кидавший на берег янтарные брызги и пухлую пену. Он не замирает, не глохнет ни днем, ни ночью.

И сквозь этот перезвон будто слышится лепет родника: «Даже если весь шар земной запылает в огне и обрушатся Великие горы, я не прекращу все равно свой стремительный бег я не перестану петь».

Многочисленные отары, блаженно и мирно щипавшие траву по впадинам и выемкам, сплошной лавиной потекли к стойбищам.

Мукамбет вышел из юрты поискать жену и сестрешису и увидел их в дальней ложбине. Они сидели на берегу ручейка, под густой кроной раскинувшейся таволги. Брат пожурил Сайру за то, что далеко увела невесту, и вдвоем они уговорили Батийну вернуться в юрту.

Будь ее отец в самом деле жаден до богатства и захоти он отдать Батийну насильно за нелюбимого человека, возможно, она не покорила бы его воле и убежала бы с любимым Абылом,— его бедность не помешала бы. Тогда никто бы ее не корил. Батийну не мучила бы совесть, что она, неблагодарная дочь, презрела доверие отца. Она нашла бы себе оправдание, что не подчиняется алчному отцу, который из-за корысти вознамерился сбыть ее за нелюбимого человека. Но так поступить Батийна не имела права. Виноваты ли родители, что ее судьба сложилась печально?

Борода отца поредела, губы побледнели, а глаза матери не высыхают от слез. «Горемычная доченька,— шепчет Татыгуль,— в какой только ненастный день родилась ты у меня на свет?» Скорбь матери щиплет сердце, как дым выедаёт легкие. Старая едва волочит ноги, спотыкаясь на ровном месте. Батийна сердцем почувствовала, как приуныли отец, мать, да и вся родня, и нашла в себе силы отбросить черную мысль — уйти из этого мира. Покончи она с собой, она стала бы виновницей общего горя. Батийна твердо рассудила: «Ничего не поделаешь, лучше уж мне мучиться одной, чем ввергать наш род в тягостные страдания и невзгоды. Байская семья хочет видеть меня своей рабыней. Но этого я не допущу. Буду драться за свою свободу. И найду свой путь. Свою судьбу. Пусть моя жизнь будет коротка, но я проведу ее с желанным, с любимым человеком. Иначе мне жизнь не мила. Ищу, ищу и не знаю, как повернуть, чтобы не причинить боли родителям и не опозорить мой аил».

И когда Батийне стало невмочь от раздумий, она обратилась к матери.

— Мне хочется у отца спросить... Как ты думаешь, ответит он мне?

— А что ты хотела спросить, доченька?

На кого вина больше ложится, если девушка или жен-тали? отказывается жить с человеком, за которого ее просева.

Настрадавшееся сердце матери почуяло недоброе.

— Не обижай такими словами нашего отца, доченька. На твой вопрос смогу и я ответить. За девушку, пока она еще в тебетее, полностью отвечают ее родители. Мать с отцом обязаны беречь честь дочери, вдеть ей в ушки венчальные серьги и благополучно проводить к нареченному жениху. Если дочь тайком выйдет замуж за другого, то в ответе за такое непослушание не только мать и отец, но и весь аил, где жила будущая невестка. Родители ослушницы навлекут на себя гнев всевышнего аллаха, и в аиле от них отрекутся даже близкие, как от нарушителей святого обычая сватовства. Это вина непростительная. Если же родители доставят свою дочь к жениху честь по чести и с нее уже спадет тебетей и ей повяжут платок, но потом случится, что родители заберут свою дочь обратно, тут уж они несут меньшую ответственность.

Мать говорила в глубокой задумчивости, будто черная туча нависла над горой. Вдруг, словно спохватившись, добавила:

— Зачем ты об этом спрашиваешь, доченька? И в том, и в другом случае вина ложится большая. Ведь ее назначает сам бий. А мысли и поступки бия непостижимы. Не дай бог его разгневать, он может по ветру пустить не одну семью, а целый аил, доченька.

Батийна, будто не замечая уныния в голосе матери, вдруг оживилась.

— Раз уж нет выхода, мама, отправляйте меня к жениху. Значит, на роду у всех девушек одно — замужество. Что я могу поделать? Отсылайте меня скорее...

За крупного валуха, которого Татыгуль держала на откорме («Авось пригодится к свадьбе»), она выменяла у торгаша сверкающие посеребренные серьги. Еще раньше, слезно умоляя умельца и рукодельного мастера Карыпбая, Татыгуль за немалую цену запаслась цветастым лошадиным нагрудником. Теперь Татыгуль мучил лишь чачпак — кисти из разноцветных ниток и монет, вплетаемых в девичьи две косы, да еще бой-тумар — амулет, который предохраняет женщин от злых духов. Стоит невесту проводить без чачпака, и молодайки в богатом аиле обязательно засмеют ее: «Смотрите, бедные саяки прислали нам невесту с простыми косами. Сразу, видно, что не знают обычаев». Отправить ее без бой-тумара, опять скажут: «Смотрите, бедные саяки прислали нам невесту с открытой грудью». Оскорбительные слова потом ничем не смоешь. Глядишь, через десяток-другой лет Батийна станет многодетной матерью, а золовки все еще будут попрекать ее: «Эх, простоволосая, открытогрудая».

Мать думала: «Серьги у невесты, хоть дешевенькие, взятые только за одного валуха, все-таки есть. Значит, Батийну уже не посмеют высмеять, что у нее уши без дырочек для сережек».

Татыгуль ломала голову, как и где достать чачпак и бойтумар, и ничего не могла придумать. Батийна видела беспокойство матери.

-- Мама, не мучайся,— сказала она.— Не такая я важная невеста, чтобы вам горевать из-за моих нарядов. В какой бы одежде я туда ни приехала, все равно останусь для них рабыней. Как-нибудь проводите, и хорошо. Я согласна хоть сейчас.

В пересохшем колодце нет больше воды. Так и слезы у Батийны иссякли. Может, она смирилась со своей долей? Она с удивительным спокойствием, как о чем-то решенном, сказала матери и своей джене — Сайре:

— Прошу вас, не созывайте девушек и джигитов из аилов и не устраивайте девичьих игр. Мне было бы тяжело сидеть рядом с дурашливым женихом на виду у моих знакомых, близких и родных. Не хочу, чтобы они в моих глазах видели унылую тоску. У меня один-единственный друг, который по-настоящему достоин меня...

Надо же было случиться, что как раз в это время в соседнем аиле сваты Зарпека затеяли жыгач-тушурду¹ перед тем как увезти Калыйчу. Вместе с именитыми гостями, сватами и свахами приехали близкие родственники жениха, его старшие братья, мать с отцом, молодухи. Говорили, что это люди из богатого аила, где живут дружно и в согласии, умеют ценить обычаи предков, и приехали, строго соблюдая традиции сватовства. Говорили, что свату, свахе, близким братьям Калыйчи, ее старшим и младшим сестрам привезли множество подарков и вкусных лакомств. Хорошо, говорят, подготовились к встрече сватов и мать с отцом невесты: всем сватам надели на плечи дорогие чапаны и платья, для дочери установили пышную юрту, заготовили приданое, сшили богато украшенную конусообразную шапку с махровыми перьями павлина на макушке. Чтобы достать это редкое перо у торговца, свой человек ездил в Андижан, где за несколько разноцветных перышек павлина отдал двухгодовалую лошадь.

В юрте невесты всеми, цветами радуги переливались и сверкали тяжелые серебряные серьги с воздушными цепочками, крупные янтарные бусы, мелкое жемчужное ожерелье, амулеты, украшения для кос, расшитый орнаментами камзол. Говорили, что жених с невестой такая милая парочка, как две спелые вишенки на одной сережке. Шумело свадебное веселье, и все чинно соблюдали обычаи проводов девушки. Каждый день Устраивались игры. Вест о том, что свадебное пиршество в аиле Зарпека продол. Кажется, что родители собираются отправлять Калыйчу в юрту жениха, быстрее молнии обошла горы.

Гонцы на взмыленных конях разлетелись по аилам, заскочили и в аил охотника Казака, позвать молодежь на свадьбу, собрать самых задорных джигитов и девушек. Сайру тоже приглашали, но она не поехала. Она даже постаралась, чтобы о проводах Калыйчи, о том, что там было, не знала и не

слышала Батийна. Ни Сайре, ни матери с отцом не хотелось лишней раз беречь душу девушки, и каждый старался чем-нибудь поднять ей настроение, вызвать улыбку и радость на лице.

Аилы только что спустились со скотом с летовий и располагались на осенних стойбищах. Мужчины и подростки с утра допоздна стригли овец, отару за отарой; женщины, склонившись над ткацкими станками, готовили ткань-дерюгу; старухи, сгорбившись, пряли пряжу, вили арканы, взбивали шерсть, делали заготовки для кошм. Кто-то обматывал разноцветными шерстяными нитками веточки чия для полога юрты; другие сучили короткие арканчики для скрепления деревянного остова юрты. Скотоводы дубили и выделывали кожи; они громко разговаривали, подтрунивали друг над другом, спорили и шутили. Мужчины в летах кроили выделанные шкуры то ли подстреленного оленя, то ли дикого козла на равные, как ленты, дольки; плели камчу, трудились над сбруей и нехитрыми вещами домашнего обихода, изредка перебрасываясь маловажными словами.

Вездесущие ребятишки, которые в обычные дни шумно бегали вдогонялки за аилом, состязались в чижа, катались на смирных, объезженных телятах или до упаду стреляли в костяшки-альчики, теперь вертелись около своих родителей, выполняя посильные поручения.

Даже почтенные аксакалы, обычно гревшиеся где-нибудь на солнышке или на пригорке или за пиалой терпкого кумыса, пересказывая страницы неписанных книг, теперь были поглощены разными делами.

Одни с зорькой взбирались в седло и гнали на пастбище присмотреть за скотом и, увидев, что скот вернулся с летовий в хорошей упитанности, говорили: «Слава тебе, господи! Лошади вернулись с блеском в шерстинке, с серебром на спинке; овцы возвратились с жирком и тяжелым курдючком; если зима не покажет строптивного норова и не принесет с собой джут — зловещий падеж овец из-за бескормицы в гололед, то скот не убавит в весе до самой весны, до зеленой травы».

Иные аксакалы, тоже верхами, обследовали зимние пастбища, где все дышало еще медом разнотравья, где зимой бывает теплее скоту и вольготнее людям. Да, аилы скоро, скоро разъедутся по зимовьям. Осенние стойбища опустеют.

И в эти последние дни равно богатые и бедные спешили взять у золотой осени все ее дары, впитать в себя побольше тепла осеннего белого солнца.

То в одном, то в другом аиле ярким соцветьем вспыхивали свадьбы; разгорались поминальные пиры; исполнялись обряды обрезания; люди рассчитывались с долгами и всевозможными налогами и обложениями.

Осень — самая благоприятная пора для приезда женихов, за невестами.

Желтая осень — самая красивая пора для проводов, невесты. Разноцветная осень — самое щедрое, ласковое время года, когда каждому всего вдоволь — сыт младенец, и у воробья пиво, сыт человек, убогатворен и хищник.

Великодушная осень словно мать, кормящая грудью ребенка.

Девушки, молодухи, джигиты и подростки — все опьянены этим временем года, ждут прихода лунной ночи, когда девушки и brave джигиты соберутся за аилом на желтеющей пот лянке и тешатся до рассвета, до росного утренника. В эту пору самая сварливая свекровь не решилась бы запретить своей снохе участвовать в игрищах. Даже иной муж и тот отпустит, жену повеселиться. Молоденькие девушки, которые привыкли чураться чужого человека, покидали насиженное место у сложенной постели.

Лишь мать, учуяв что-то недоброе, поостережет неопытную дочь:

— Ты там, доченька, долго не задерживайся. Отец обидится.

Но про себя подумает: «Пусть дочка порезвится немного в эти прекрасные осенние ночи. Ближе зима, и снова придется просиживать дома целыми днями и долгими вечерами».

К парням и девушкам присоединялись и более взрослые, любящие веселье люди. С громкими криками толпа бросалась догонять джигита с белой палочкой в руках.

Каждая игра по-своему захватывающая, забавна и требует юного задора и жаркой крови. Но Батийна предпочитала веревочные качели: в этой веселой и шумной игре — движение, полет и много песен. Девушки, раскачиваясь, взлетали ввысь. Шальной ветер играл их косами, развеивал и дергал за рукава, раздувал подолы на широких юбках. Молодухи вытягивались тетивой, летели вверх-вниз, снова вверх-вниз, с губ срывалась призывная мягкая песня, бередила душу, учащала Дыхание.

На качелях Батийна пела вволю, стараясь песней, веселой шуткой и смехом перебороть сердечную тоску.

— Тетя,— сказала однажды Сайра, задумав отвлечь Батийну от горьких мыслей,— наша милая девочка вот-вот улетит от нас, как перелетная птица. Жениха мы все видели — в нем нет ничего мужского. Нашей девочке с первых же дней нелегко будет жить в юрте хилого мужа. У нее, наверное, прибавится печали. Так разрешите мне хоть немного развеселить девушку, поднять ей настроение... Татыгуль осторожно спросила:

— Счастье дочки еще в утробе было предрешено. Убавится ли ее тоска когда-нибудь? И не грешно ли будет, Сайраш, если ты выведешь ее из дома?

— Стоит ли толковать о грехе? Сам Адыке — выходец из именитого рода — нарушает все обычаи и не считает себя грешным. Не тревожьтесь! Позвольте нам с Батийной походить на качели эти последние дни...

Мать в душе была не прочь, чтобы эта умная, добрая женщина была рядом с ее Батийной, но все-таки предупредила:

— Не станьте посмешищем для злых языков. Вот, мол, и жених приезжал свататься, а невеста, будто не замечая его, веселится на качелях... Будьте осторожны, а уж люди все равно судачат вкось и вкривь, что им заблагорассудится.

Полная луна скрылась за дальней вершиной. Черные тени окутали высокие горы, грозно помрачневшие ложбины напоминали темные пасти драконов,

готовых вот-вот проглотить аил. Вокруг реял призрачный полумрак. Лишь на остроконечных скалах играли еще не потускневшие блики луны.

Ночью в горах ощутимее прохлада, звонче тишина; переливчатая мелодия родничка, бурный пережат волн реки слышны издали; то там, то здесь по скалам прокатится эхо: пошаливают круторогие козлы.

Ветерок повеет то мягкий, ласкающий, то внезапно порывистый, студеной, пронизывающий до дрожи в теле. Где-то заржал одинокий жеребенок; ухо ловит кашель овцы, всхрап кобылы. Едва различимо сверкнув белой грудкой при замирающем свете луны, проносится ночная сторожиха — сова.

С почтительного расстояния проступают очертания юрт что в больших аилах, что в маленьких. И каждая живет своей жизнью: из одной еще клубится дымок, другая погрузилась в ранний сон. Вокруг юрт прилег на отдых скот, лай брехливых псов многократно повторяет эхо в сумеречной мгле.

Из аила в аил на резвых лошадах скачут горячие головы — джигиты. Они исподволь приглядываются к красивым девушкам, шутят, заигрывают.

На взгорбок, где стояли качели, прискакал из другого аила Абыл. Одна Сайра знает, что он приехал к Батийне. Кроме нее, никому и невдомек, что это два любящих сердца,— настолько их встречи утаены от чужих глаз. Расторопная Сайра ни на шаг не отходит от девушки и неустанно оберегает ее от молодых джигитов. Если ж кто и осмелится заговорить с Батийной, Сайра моментально оказывается рядом.

— Вы, молодой человек, не слишком приставайте. У нашей девочки есть уже свой хозяин. Поищи-ка, милоч, лучше другую...

При других с такими же словами она обращалась и к Абылу — конечно, для отвода глаз. И Абыл не сомневался, что только он и есть хозяин Батийны, ее избранный джигит, и с воодушевлением во всеуслышание вскрикивал:

— Правильно, Сайра, джене. Дай бог счастья Батийнаш! Попросите ее, пусть споет нам еще раз, хотим насладиться ее милым голоском.

— Абыл прав,— поддерживали его со всех сторон,— спела бы Батийнаш еще... А то она ведь вот-вот уедет, и мы ее больше не увидим.

«Неужели Батийна скоро покинет нас? — сокрушался Абыл.— А как же я? Нет! Головой буду рыть землю, блуждать вечным странником, но Батийну никому не уступлю. Батийна для меня рождена. Я рожден для Батийны!»

И он бесшумно, словно робкий ветерок, подступал к своей Батийне. Каждое нежное движение, вся теплота дыхания, каждое слово от сердца к сердцу — все было для любимой. Лишь для нее одной.

Не только сверстники уважали смышленного джигита Абыла. Бывало, пожилые люди просили его спеть газели древних поэтов, что он всегда исполнял с немалой охотой. Друзья-одногодки не то шутя, не то всерьез звали его ученым, знатоком Корана и газелей. Абыл всеми своими мыслями был с Батийной. Он готов был совершить любой отчаянный поступок, лишь бы вызволить любимую Батийну.

Абыл видел одну преграду — черную власть бая и тучи его скота. Скот еще с полбеда: задумай Абыл жениться, каждый хороший человек, каждый родственник выручит на первых порах. Другое дело — власть. Где взять силы, чтобы подняться против столь жестокого врага, как Адыке? Да и какое имел он право ради своего личного счастья (один бог знает, сможет ли он достичь этого счастья) обременять целый аил непомерной пошей ответственности. Он тайком проливал скупые мужские слезы из-за предстоящей разлуки с Батийной, мучился и стонал от бессилия, как брошенный серый верблюжонок.

Они давно уже ушли с того места, где девушки и джигиты резвились на качелях. Никто не заметил, как они исчезли. Абыл сделал вид, что возвращается домой. Батийну будто увела Сайра. Они встретились в ложбине у своего излюбленного родника.

— Мой родной, мой дорогой,— шептала девушка,— возьми У меня все: душу, сердце, кровь, мои чувства, я вся твоя... Разве могут расстаться два любящих сердца, два горячих желания, Две светлые надежды?

— Конечно, Батийнаш! Если два желанных сердца могут расстаться, где же их любовь? Ты будешь жить в моем сердце, пока иней не покроет моих не выросших еще усов, не появившейся еще бороды... Ой, зачем я говорю такие безрадостные слова? Мы с тобой не расстанемся до конца нашей жизни. Мы всегда будем вместе! Завтра ты поедешь туда только временно. А потом я тебя заберу, и Адыке окажется бессилён чем-либо повредить нам и твоему аилу. Обязательно придумаем, как тебя освободить.

Абыл умолк, словно скакун, преодолевший длинный путь, тяжело вздохнул и поник головой.

Батийна вполголоса утешала его и гладила по щеке:

— Родной, тебе не долго придется меня ждать. Я буду готовиться и убегу в подходящий час: говорят, на молодую женщину в косынке падает меньшая вина, чем на девушку в тебетее. Отныне мне нечего бояться.

ОХОТНИК ЭМИЛЬ

Рано осиротев, Абдырахман, сын Адыке, рос у своевольной мачехи, она и не думала учить его обычаям.

— Кто только выродил на свет этого косоглазого чурбана?— рассуждала про себя вторая жена Адыке Салкынай.— Бог, видимо, создал его, чтобы на земле месту сему песту не быть. И появится же на посмешище такой уродец!

Абдырахман рос хилым ребенком, предоставленный самому себе. Взглянешь на мальчика и невольно задумаешься, так похож он на сиротливого жеребенка, которого рано оседлали и заездили — чахлый и взъерошенный. Жених, как появился у невесты, на другой же день пустился играть с ребяташками. Вместе с ними стрелял и сбивал альчики, катался на спинах строптивых телят, ничем не отличаясь от мальчишек. Батийна от стыда не находила себе места.

— Ну разве такой, джене, должен быть жених? — говорила она Сайре. Джене старалась утешить Батийну:

— Не терзай себя. Худая скотина и та поправляется. Плохая земля и та зеленеет. Придет время — и из него человек получится. Молод еще. Мужчину нельзя сравнивать с женщиной. Ум к ним приходит гораздо позже...

— Ай, кто его знает, кто его знает, джене!

Казак из уважения к будущему зятю оседлал ему жеребка по третьему году и сказал:

— Чем спорить с мальчишками из-за альчиков, сынок, ты лучше покатайся, посмотри наши горы и соседние аилы.

Но и на коне вид у жениха был далеко не бравый.

Пришло наконец время провожать Батийну. Вечером собрались у Казака все близкие и родственники, благословили невесту и разошлись. Завтра она покинет родительский очаг и навсегда уедет. Батийне захотелось услышать напоследок свою любимую еще с детства сказку.

— Акийма, попроси отца, пусть расскажет какую-нибудь сказку.

Девятилетняя Акийма по-взрослому разделяла горе и тоску старшей сестры, вертелась все время около нее: помогала вышивать; вместе с Батийной ходила за хворостом; кроила платье. Батийна, глядя девочку по косичкам, внушала ей:

— Вот когда я уеду, Акийма, не забывай вскипятить чай для отца и матери, постелить постель, убрать в юрте. Ведь ты останешься за меня.

Худенькая, белолицая Акийма, слушая сестру, тяжело вздыхала и обнимала ее за шею:

— Эжеке¹, когда тебя будем провожать, я сложу прощальную песню. Тетя Сайра научила меня петь кошок². А через год ты приедешь к нам в гости, правда?

Потом она попросила отца:

— Ата, мы хотим послушать вашу сказку. Вы так давно ничего не рассказывали нам.

Казак рассмеялся, словно нашел то, что давно потерял:

— Хорошо, дети мои. Я расскажу вам сказку.

В юрте воцарилась тишина, и отец, поглаживая жесткие усы, начал повествование про молодого охотника Эмиля. Слушать его было одно удовольствие.

— В давние-предавние времена в горах жил молодой охотник, не знавший усталости ни днем, ни ночью. Однажды к вечеру, подстрелив винторогого козла на высокой скале, охотник освежевал его, дочиста выпотрошил, развел костер, из плоских камней соорудил жаровню, нажарил сочного мяса и принялся есть. Пламенели ветки высушенного солнцем можжевельника, далеко кругом отбрасывая свет. Вдруг словно ветерок прошелестел, и прямо против Эмиля присела красивая молодая женщина в блестящей колышущейся одежде. При каждом движении ее одежда издавала такие мелодичные звуки, будто где-то рядом переливалась в хрустальном сосуде драгоценная жидкость. Но Эмиль заметил, что женщина правой кистью и широким рукавом все время почему-то закрывала себе рот. Бросив на нее мимолетный взгляд,

охотник спокойно продолжал жевать жареное мясо. Насытившись, вытер о зеленую траву жирное лезвие стального ножа.

Молодая женщина, увидев это, вздрогнула, съежилась и кокетливо сказала: «Ой, что вы за человек? Разве жирное точат о жирное?»

Эмиль пропустил мимо ушей слова странной женщины, из Углей достал бедренную кость и стал точить об нее свой стальной нож.

«Ой,— опять воскликнула женщина,— разве сталь режут сталью?»

Эмиль, отрезав кусок мяса, наколот его на кончик стального ножа и протянул женщине. Воздушная, нежная, она ловко схватила мясо. Но охотник ясно услышал, как о нож стукнулось что-то твердое, и сразу же догадался, что перед ним сидит настоящая ведьма жезтумшук, у нее медные когти и медный нос.

Женщина быстро съела мясо, встала и молча попятилась от костра. Она уходила все дальше и дальше, оставляя за собой таинственное сияние, а отойдя на почтительное расстояние, мигом исчезла, будто провалилась сквозь землю.

Оставаться здесь охотнику было опасно. Тем не менее он решил остаться. Найдя поблизости большую корягу, он приволок ее к костру, уложил, укутал своей одеждой, а сам взобрался на высокую ель, что шумела рядом. Медленно протекала ночь. Когда подул предрассветный прохладный ветерок, показалась таинственная женщина. Она шла осторожно, словно подкрадываясь. Подойдя вплотную к «спящему охотнику», она совершила несколько невероятных прыжков, злорадно хохотнула: эх, молодой охотник, пропал, мол, ты! — и, отрывисто вскрикнув, бросилась на него. Охотник только и ждал этой минуты. Прицелившись, он выстрелил ей прямо в макушку. Спустился с дерева и увидел бездыханную демоническую старуху. Медные ее когти и такой же нос глубоко вонзились в трухлявое дерево. Эмиль достал нож, отрезал ей когти и нос и положил в свою охотничью суму. Сняв с женщины весь ее сверкающий драгоценный наряд, он с богатой добычей возвратился домой.

У Эмиля была взрослая, прелестная дочь, он собирался отправить ее к жениху из богатого, знатного рода.

Приехали сваты с подарками. Затеялся шумный той. Устроили девичьи игры, на завтра невесту решили отправить к жениху.

Драгоценная одежда, которую отец привез с гор, хранилась в окованном сундуке. Девушка не раз доставала ее, разглядывала, примеряла, ей нестерпимо хотелось покрасоваться в этом чудесно дивном платье и жилете. Когда у нее лопнуло терпение, девушка умолила свою джене, чтобы та сказала отцу об ее страстном желании.

Эмилю не было жалко наряда, — он остерегался последствий. На запах этой одежды как бы не слетелись другие ведьмы, и тогда его дочери несдобровать. Она обиделась на отца: «Жалко вам для своей дочери? Ну и берегите вещи, сколько хотите». Охотник решил не огорчать дочь, достал из

сундука драгоценную одежду и обрядил свою любимицу. Люди отзывались с похвалой об охотнике:

«Смотрите, все отцы, завидуйте, как Эмиль любит свою дочь! Он добыл для нее редкой красоты одежду, никто и никогда не видел и не носил ничего похожего». Охотник, однако, сильно помрачнел.

«Дочь моя,— сказал он,— наряд к тебе очень идет, но будь осмотрительна. Два года — не меньше — джигиты твоего мужа должны зорко охранять окрестности аила. Больше бодрствуй и никогда не расставайся с оружием. Иначе навлечешь серьезную беду на себя и на свой род».

Время шло. Кочевники погнали скот на летовья, были заняты своим извечным делом. Эмиль же, о котором каждый на киргизской земле был хорошо наслышан, по-прежнему неумоимо бродил по горам и долинам. Однажды, словно ветер, пронесся слух: «На большое стойбище в Зеленом ущелье неожиданно-негаданно напали страшные люди с медными когтями и медными носами. За одну ночь они передушили много людей и скрылись в горах. Эту беду накликala, мол, дочь охотника Эмиля, выданная замуж в одежде демонической жезтумшук. Вся вина за учиненное побоище падает на Эмиля, поэтому он обязан внести большой выкуп за гибель несчастных людей».

Расплатиться за уничтоженных людей не смог бы даже самый богатый человек, не то что Эмиль. Но о заслуженном возмездии охотник крепко призадумался: одевшись потеплее, он к поясу приторочил свой стальной нож, мешочек для кремня и огнива, за плечо повесил ружье и оседлал верного, быстрого коня Чабдара.

В полном снаряжении Эмиль приехал в аил, где жила его замужняя дочь, и сказал родственникам и близким убитых:

«О дорогие и уважаемые свояки и братья! Я вас давно предупреждал: будьте бдительны, года два зорко охраняйте свой аил. Послушайся вы меня в свое время, не случилось бы этой беды. Воля аллаха, что тут поделаешь... Но сколько бы скота я вам ни дал, вам не утешить ваши полные скорби сердца. Я много думал и решил, если это мне удастся, уничтожить весь род жезтумшуков, а все их богатство предоставить вам. Кто знает, может, умру в сражении, тогда пусть смерть моя послужит расплатой за ваши слезы и печали. К вам у меня одна просьба — дать мне бесстрашного джигита в помощники. Если умру, он привезет вам весть о моей смерти». Но храброго человека не нашлось, и Эмиль отважился ехать один. Только он вскинул ногу в стремя, как подбегает к нему мальчишка-сирота в грязных лохмотьях и вечно голодный: «Возьмите меня, дядя». И Эмиль взял его.

Путь всадников лежал через широкие доли и ложбины, через бурные реки и густые леса к Великим горам. Долго ли, коротко ли ехали, никто не знает. На обширной зеленой лужайке, со всех сторон окруженной скалами, перед ними оказалась отара овец, рассыпанных словно песок по траве. За овцами присматривал богатырский старик с длиннющей бородой, он восседал на гороподобном сивом воле. Необыкновенный старик вызвал у путников интерес. Эмиль, внимательно рассмотрев в подозрную трубу пастуха, сказал:

«Сынок, тут что-то не просто. Понаблюдаем за ним». А сирота-подросток быстро все смекнул. «Дядя,— говорит мальчик, шмыгнув носом,— разрешите мне мигом сбегать туда и высмотреть все самому. Поверьте, я буду пониже травы и потише воды». Охотник разрешил. Малыш проворнее зайца метнулся к таинственному пастуху. Эмиль не успел оглянуться, как мальчика и след простыл. Вернулся он так же неожиданно и говорит: «Ой, дядя! На воле в домашнем плаще сидит одноглазый дэв-великан. Я пробежал возле него, он даже не заметил меня. Глаз у него огнем горит».

«Ой, не дэв-великан он,— подумал про себя охотник.— То, скорее всего, отец красивой женщины-жезтумшук, которую я тогда убил».

Охотник и его помощник, спрятав своих коней в укромном месте, затерялись среди овец, которых пас одноглазый дэв. Они на четвереньках ползли среди животных, и никто не смог их заметить.

Красные лучи солнца позолотили горные вершины, и над долинами простерлась густо-черная тень, когда дэв собрал своих овец и пригнал их к подножью неприступной скалы. Тут он спешился с сизого вола, крикнул, взялся за огромный серый валун и сдвинул его с места. Открылась бездонная пасть пещеры. «Ну, серый козел, води отару на ночлег»,— приказал дэв, и козел, у которого до земли свисала борода и рога подпирали небосвод, вошел в пещеру. Все многочисленное поголовье овец потекло, как песок, следом за ним. Вместе с ними, с овцами, в пещеру на четвереньках вползли Эмиль и его верный помощник.

Перед ними открылась неопишуемая картина. Во все стороны уходили лабиринты, где-то совсем рядом звенел ручеек. На вешалках из ветвистых рогов древних архаров и козлов, прикрепленных прямо к скалам, висела пестрая переливчатая одежда. Сколько здесь было драгоценностей и добра — слов не хватит все описать. Это была не пещера, а дворец, выложенный из разноцветных камней.

Когда овцы улеглись на покой, дэв шумно втянул в нос воздух и громко сказал: «Э-э, я чую человеческий запах. Сам бог послал мне пищу на сегодняшний ужин. Кто-то пожаловал ко мне на убой. Ну, сейчас я всласть наемся».

Упомню вам, дети мои, что дэв, когда вся отара оказалась в пещере, снова завалил вход глыбастым валуном. Теперь из пещеры не только сын человеческого рода, даже крохотная мышка не смогла бы проскочить. И в пещере снова раздался громовой голос дэва: «Ох и проголодался я нынче. Вот поймаю человека, осмелившегося явиться в мой дом, и зажарю его на жарком костре. Славный ужин!» Дэв давай искать незваных гостей. Вот-вот он их поймает, и тогда им несдобровать. Мальчик шепчет на ухо Эмилю: «Дядя, вы прячьтесь в темном углу, а я сейчас как закричу, как завизжу и пущусь убежать. Пока он за мной будет гоняться, вы как-нибудь уходите из пещеры». Сирота забежал по пещере, прячась среди овец, прыгая по их спинам. За ним, раскатисто хохоча, разбросав крупные ноги и рук», гонялся дэв. Вот он схватил мальчишку, сразу же сунул в полыхающий костер,

изжарил его целиком и в один присест съел. Немного посидел и начал дремать. Дремал-дремал и захрапел, да так громко, что вся пещера задрожала. Эмиль тихо вышел из своего укрытия, подкрался к спящему великану, из раскаленных углей выхватил багровый железный кол-вертел и с размаху вонзил его в единственный глаз людоеда. «О-о, проклятье! — закричал дэв.— Это мог сделать только охотник Эмиль! Я знал, что мой конец наступит от его рук!»

Великан вскочил на ноги и в страшном гневе начал рыскать по пещере, чтобы поймать охотника и жестоко с ним расправиться. Но глаз его вытек, и он ничего не видел.

Пока он орал и шарил по всей пещере, куда же девался Эмиль, охотник взял да и зарезал козла-вожака. Искусно содрал с него шкуру и забрался в нее. Он стал похож на настоящего козла, и овцы уж не боялись присутствия человека.

Вскоре наступило время, когда выгоняют овец на пастбище. Дэв, устав в поисках охотника, крикнул, снова отодвинул черный валун и сказал: «Ну, серый козел, води стадо!» Эмиль, облачившийся в мягкую шкуру козла, звонко стуча копытцами и кивая длинной козлиной бородой, размахивая высокими рогами, пошел к выходу из темницы. Дэв тщательно обследовал его спину, шерсть, копыта и, не обнаружив ничего подозрительного, пропустил к выходу. Ощупал каждую овцу и, когда все копытные вышли, обыскал пещеру еще раз. Эмиля-охотника нигде не было. Дэв, хватаясь за вытекший большой глаз, вылез из пещеры. Тут его с ружьем наготове ожидал Эмиль, «Эй, проклятый отец всех жезтумшуков! — крикнул он властно. — Эй, ненасытный хозяин этих тварей! Это ты учинил расправу над людьми целого аила! Получай же за свои злодеяния. Умри. А твое богатство достанется людям». Дэв резко повернулся на голос Эмиля, хотел его схватить, но охотник выстрелом сшиб его с ног...

Так погиб людоед, принеший много слез и страданий аилам. Все добытое богатство Эмиль роздал пострадавшему роду.

Кончив сказку, Казак помолчал и добавил: Дети мои я тоже был заядлым охотником, как Эмиль. До Эмиль оказался более удачливым, чем я. Он встретился с отцом жезтумшуков-людоедов и победил его. А мою судьбу зажал в своих руках человекоподобный людоед Адыке. Избавлюсь ли я когда-нибудь от него? Будет ли счастлива моя единственная любимица? Если мне суждено увидеть этот, день, не страшно было бы и умереть. Не знаю, где такая сиди на земле, которая бы освободила нас от Адыке?

Охотник тяжело вздохнул и вытер глаза.

В очаге давно погасли тлевшие угли кизяка, юрта медленно погружалась во мрак.

НЕВОЛЬНОЕ ПРОЩАНИЕ

Сказка отца приободрила Батийну. «Неужели,—подумала она, засыпая,—в конце концов не найдется сила, которая одолеет Адыке?» .

Ночью ей приснился сон. Идет она по красивым горным местам, а на душе — форах. Кажется, вот-вот что-то случится. Вдруг раздается оглушительный

шум, даже в ушах звенит. Она вскидывает голову: из поднебесья, сложив крылья, стрелой летит вниз не то беркут, не то орел. Мгновение — он снова взмывает вверх. В его острых когтях темнеет и трепещется что-то черное, похожее на клочок овчины.

Набрав высоту, хищник заклекотал и выпустил свою добычу. Она рухнула рядом с Батийной. «Что это?» — подумала Батийна и только хотела подойти, чтобы рассмотреть, как рядом вдруг раздался радостный голос Абыла. В белом кементае он сидел верхом на сером крупном жеребце.

«Батийна! — крикнул джигит. — Давай скорее мне суюнчи! ¹ Ты разве не видишь, кто свалился с неба? Ведь это Адыке, он ехал на мельницу, а беркут твоего отца как раз гнался за добычей. Увидев Адыке, он схватил его за шиворот и с высоты сбросил к твоим ногам. Вот он лежит. Больше его нет... Теперь ты свободна. И мы поженимся. Никто не будет стоять нам поперек дороги».

Абыл соскочил с седла, устремился обнять любимую, но какая-то неведомая, таинственная сила, словно магнитом, оторвала ее от земли и понесла.

«Абылжан, скорее, скорее держи меня за подол!» — закричала Батийна и проснулась. Сердце билось в груди рывками, девушка по пояс высунулась из-под одеяла.

— Что с тобой? — Сайра потрогала ее лоб.

В последние дни Сайра не отходила от Батийны ни днем, ни ночью из опасения, как бы она, поддавшись горю, не наложила на себя руки.

Сайра погладила ее по щеке, и девушка окончательно пробудилась.

— Меня навсегда оторвали от Абыла. Неужели я расстанусь с ним на веки вечные, родная джене? — сказала Батийна.

Сайра заговорила откровенно, чего уж тут скрывать:

— Что поделаешь? Очень редко молодые люди устраивают свою жизнь по любви. Женщину бог создал подобно верблюдице: куда за повод ее поведут, туда и пойдет...

Джене чуть было не сказала: «О, моя несчастная», но вовремя прикусила язык. Зачем бередить и без того раненное предстоящей разлукой сердце Батийны?

Она ласкала, гладила, утешала исхудавшую, тоненькую как былинка девушку, шептала ей нежные слова, целовала в щеки, перебирала мелкие косички, делала все, чтобы отвлечь невесту от горьких дум.

Проснулись они задолго до рассвета и лежали, пока не стало чуть-чуть сереть небо в отверстии купола юрты. Когда вышли на улицу, с гор дул прохладный рассветный ветерок, одна выше другой громады гор обнажались, сбрасывая с себя покрывало сна. Дальние суровые вершины остроконечными пиками подпирали подернутый кое-где белесой дымкой пронзительно голубой небосвод. А выше на горных высотах серебряным блеском отсвечивали вечные ледники, неприступные скалы.

Рождался новый, чистый день. Он распалял мысли, отрадой тешил сердце, вселяя новую надежду. Такой рассвет встречать бы только влюбленным,

неразлучным парам: резво гоняться друг за другом по лужайкам и лугам; играть в прятки среди огромных валунов; взлетать на головокружительную высоту на качелях; петь звонкие песни-перепевки и заливисто смеяться; вдыхать сладчайший горный воздух,— неповторимо прекрасен мир на рассвете.

Но ваш охотника недоброе затишье. Странно, ведь как раз сегодня проводы невесты. Однако и невеста печальна, и аил приумолк, словно в трауре. Молчалива и грустна Батийна. Помрачнела джене. Они мучительно ищут подходящих слов, хотят как-то успокоить друг дружку и тешат себя тщетными надеждами...

Неуклюжими копнами у загона громоздятся коровы, тяжело дыша в сонной дреме. Мирно жуют жвачку овцы в кошаре. Изредка покашливают козы... Даже собаки к рассвету перестали брехать.

Батийна и Сайра ушли далеко от юрты. Шли задумчивые. Из кустарника с южного на северный склон перелетела сова. Они безмолвно проводили ее глазами.

— Джене,— Батийна остановилась.

— Что, моя бийкеч?¹

— Как мне встретиться с Абылом? — Голос девушки задрожал.— Неужели я больше его не увижу?

Склонив голову на плечо Сайры, Батийна в голос зарыдала.

— Мой ты желанный, отзовись! Меня увозят от тебя навсегда, а ты и не знаешь, милый! О, как мне быть? Милая джене! Неужели вся жизнь пройдет в тоске?

— Бедняжка моя, безутешная! Соловушка ты моя, рожденная в клетке! Что прикажешь делать? Спрашиваешь, как найти твоего желанного? Будь это в руках твоей джене, я вас соединила бы хоть сейчас. Но твоя джене бессильна, как и ты.

— Джене, сможет ли Абыл сюда прийти? Увижу ли я своего любимого? Мне очень-очень нужно с ним повидаться еще раз перед долгой разлукой.

Джене, не зная, что сказать, промолвила:

— Конечно, встречу вашу можно бы устроить. Но твой отец не хочет, чтобы он приезжал в наш аил.

Голос девушки прозвучал тихо, беспомощно:

— Джене, своди меня к роднику, где мы с Абылом встречались.

Они поднялись повыше, откуда доносился перезвон родничка, словно перешептывались капля с каплей.

— Мы с Абылом здесь часто сживали. Ай, нет со мной желанного, моего сокола.

Девушка приосанилась, теснее прильнула к Сайре. Сделав несколько шагов, она тоненьким голосом запела:

Полдень станет вечерком,—

Кривой станет дурачком —

То барашком, то бычком.

Ой, джене, что мне поделать?
Наземь упаду ничком.
Я любви глотнула яд.

Тучки белые летят,
Застилают душу тьмой.
Ой, джене, что мне поделать?
Где теперь желанный мой?

Сев на серого коня
И сквозь ночь его гоня,
Я забыла солнце дня.

Ой, джене, что мне поделать?
Яд любви бы спас меня...

Сев на черного коня,
Поскачу сквозь сумрак дня,
Жжет печаль сильнее огня.

Где, скажи, джене родная,
Яд смертельный для меня?
Больно жалит скорпион.

Отравил мне сердце он.
Ты прости меня, желанный,
Коль услышишь смертный стон.¹

Сайра, сама певунья, да еще какая, едва сдержалась, чтобы не подхватить «Печальную песню девушки». Все-таки решила, что не будет терзать душу бедняжки.

Ничего здесь не изменилось — квадратный валун, словно кованный сундук на мшистой земле, а рядом раскидистый куст рябины! Когда Батийна с Абылом встретились здесь первый раз, к горам подступала весна: по верхним склонам бежали еще ручейки талых вод, щебетали крохотные пичужки, в солнечных блестках вспыхивали нежные, пушистые лютики. Своей желтизной лютики укрыли все пространство вокруг камня, вокруг этой рябины и вдоль ручья. Абыл гладил мягкие белые руки девушки. Посверкивая шальными быстрыми глазами, в которых светился острый ум, джигит с ласковой щедростью весеннего солнца обнял Батийну за тоненькую талию и теснее придвинулся к ней.

Они с Сайрой оказались у памятного валуна. Батийна, заголосив, грудью упала на холодный камень.

— Милый мой... Абыл... дорогой... желанный! Прощай, мой драгоценный. Я пришла сюда, чтобы навеки проститься с тобой! Где же ты?

Она не чувствовала ни ледяного холода, ни суровой жесткости камня, безутешно изливая свою душу.

«Что ж, мерзлый камень чуточку остудит разгоряченное сердце»,—подумала джене и, склонив голову, безмолвно стояла перед Батийной. А Батийна все причитала и причитала:

Все узлы я развяжу

И мечту заворюжу.
Если не добыюсь я цели,
К богу в гости угожу.
Где ты, верный мой джигит,
Что сберег бы от обид?
От невзгоды по свободе
У меня душа болит.
Коль не вызволишь из мглы,
Вся сгорю я до золы,
Иль пойду я за кривого —
Не увижу я зари.

Полная тоски и слез песня острым ножом полоснула по сердцу Сайры.
— Душа моя, Батийна, не страдай. Мой соловушка, не пой так грустно,—
умоляла Сайра.— Не сокрушайся, светильник мой в темную ночь, отрада моя
в траурный час. Уйдем-ка лучше отсюда, а? В аиле, пожалуй, люди
проснулись. Нехорошо, если кто нас увидит здесь. Злоязычницы с охотой
раззвонят из юрты в юрту: «Дочь Казака, мол, отказывается от нареченного и
ищет себе другого женихе». Придется краснеть отцу, матери, всему аилу.
Перестань, моя тихая козочка, уйдем отсюда.

Словно что-то вспомнив, Батийна подняла голову от студеного камня и
недвижимо прислушалась к звукам, только ей слышимым.

— Скажи Абылу,— голос девушки явно дрожал,— что я оплакивала нашу
разлуку у этого белого камня. Завещаю это сказать ему. Пусть не забывает
меня. Возможно, он, бедняжка, не дождетсЯ меня. Найдется хорошая
девушка, пусть женится. Желаю ему счастья... А мне горе испытать полной
чашею... Сейчас я оплесну лицо... в этом родничке умывался мой Абыл, из
него воду пил мой Абыл.

Батийну не провожали, как полагалось по обычаям, нарядно одетые девушки,
молодые женщины в цветных косынках, почтенные старухи, уважаемые
аксакалы.

Мать с отцом понимали, что шумные проводы не утешат растревоженную
душу дочери. И родителям нельзя было провожать ее до юрты жениха: Адыке
со своим родом навсегда бы возгордился: «Несчастный, дескать, бедняк, сам
с низким поклоном привез свою дочь».

Оседлали коня для Сайры,— пусть проводит Батийну до полпути. Сняли с
Батийны девичье платье с оборками, кунью шапку с перьями, на голову
надели элечек. Батийна стала похожа на худенькую стройную женщину в
накинутом на плечи чапане из полушелковой ткани.

Прощальные песни одну вслед за другой исполняли сестры, младшие и
старшие, мать, джене, жены родственников и близких. Первой вышла
прощаться с дочерью убитая фюрем мать. Она опустилась на колени перед
плачущей дочерью и запела нежно ясным, звучным голосом:

Мой свет,
Сплетай косички туже,

Благочестивой будь к тому же
И, лишних слов не говоря,
Живи, считая равной мужу.
Мой свет,
Любила ты смеяться,
К злу памятью не возвращаться.

Никто не скажет о тебе:

«Дочь нищенки и голодранца».

Как только песня матери оборвалась на высокой ноте, к Батийне подбежала младшая сестренка Акийма и упала в ее объятия. Шалунья заплакала так горько, словно ее жестоко и несправедливо обидели. Немного успокоившись, она перевела дыхание и, совсем как взрослая, начала слагать кошок:

Солнце вспыхнет из-за гор,
Поглядит луна в упор. —
Кто же заплетет косички,
Старшая из всех сестер,
Младшенькой твоей сестричке?
Ярче всех ночных светил
Озарит луна аил.

А сестрица уезжает —

Мне никто не будет мил

И никто не приласкает.

Прощальным песням ее учила Сайра. Но никто не мог ожидать, что Акийма станет прощаться с сестрой кошками.

Она хоть и маленькая, но видела, как мучается и страдает Батийна, знала, что сестра скоро покинет родной аил, и всеми силами старалась разделить ее печаль: во всем угождала, неотлучной пичужкой щебетала около нее. А то вдруг, крепко обхватив сестру за шею и не зная, как выразить свою любовь и родственную близость, целовала ее, шепча на ухо ласковые, слышанные от матери слова.

— Милая сестричка, счастье мое!..

Батийна, бывало, потреплет ее по косичкам и прервет:

— Ну, хватит, говорунья, нежничать и по-старушечьи причитать надо мной...

Когда Акийма принялась слагать прощальную песню и над толпой провожающих взвился ее по-детски тоненький голосок, взрослые не сдержали слез и вздохов. Плакали родители, вздыхали посторонние люди, мужчины смотрели в землю, плеткой чертили осеннюю серую пыль около юрты, женщины всхлипывали, вытирая слезы рукавами.

— Ой, до чего тяжело им расставаться!

— А Батийна, смотрите, какая разнесчастная! Младшая сестренка еще ребенок, а все чувствует, все понимает.

— О, непутевый бай! Чтоб ему в могиле перевернуться. Мог бы, по обычаю, заслать сватов, как положено исстари у нас, и законно взял бы невестку. И проводы были бы другие...

Акийма, кончив свой кошок, так разрыдалась, что женщинам пришлось чуть не силой оторвать ее от Батийны и увести в другую юрту. А к Батийне подседа Сайра, самая близкая ее советчица. С нею в аиле считались все женщины: дельная, спокойная Сайра внушала к себе уважение. Она и на слово, и на песни, и на забавы была мастерицей. Сайра протяжно повела прощальную песню. Голос ее заставил всех притихнуть, вслушаться и запомнить надолго, может и на всю жизнь.

Неразлучны были мы,

Свет мой,

Все делили мы.

Пусть печаль тебя не сломит,

Свет мой,

Что испили мы.

Кто же приласкает, кроме

Той, с кем так дружили мы.

Были мы душой одной,

Свет мой.

Ты была со мной.

Но потом расстались вскоре.

Свет мой.

Человек родной,

Пусть тебя не сломит горе.

Хвори вызовут печаль,

Никому тебя не жаль...

Новая джене подругой

Станет для тебя едва ль.

Женщины приговаривали:

— Бедняжка! Она смотрела за Батийной, как за своей родной сестрой.

— Пусть выскажет свои наставления. Они пригодятся молодой женщине.

И Сайра продолжала:

Деверь оскорбит тебя,

Свет мой,—

Помолчи, терпя.

Оскорбит тебя свекровь,

Свет мой,—

Не взрывайся вновь.

Будет грубым муж с тобой,

Свет мой,—

Примиись с судьбой.

Голос ее звучал все выше, звонче, щемя сердце каждого. Люди слушали, захваченные одухотворенной мелодией.

Никто Сайру не перебивал. «Что ни говори, джене всех ближе невесте»,— шептались женщины.

Голос Сайры в последний раз прокатился высоким переливчатым эхом по голубым скалам и затих.

Мужчины, сидевшие неподвижно, зашевелились.

— Пора седлать коней. Путь далек. День короток. Засветло нужно добраться до первой ночевки. Хватит слагать кошоки.

В толпе послышался надтреснутый сипловатый голос вдовы старшего брата Казака по отцу. Давно больная Кундуз последние годы не вставала с постели.

Перед отправкой Батийны старуха, при поддержке двух молодаяек, кое-как доплелась сюда. Едва Сайра кончила петь, Кундуз, дрожа всем телом, почти свалилась на войлок и своим дребезжащим голосом завела кошек:

Чтоб не прозвали тебя бесчестной,

Соблюдай все приличия рода,

Моя звездочка,

И храни доброе имя отца,

Чтоб не прозвали тебя негодницей,

Веди себя прилично,

Моя звездочка,

И храни доброе имя матери.

Песня Кундуз длилась недолго, больная быстро запыхалась, хватая ртом воздух, и женщины, что стояли полукругом, сочувственно сказали:

— Хватит, бабушка, спасибо и за это. Теперь разрешите нам проводить невесту,— и тут же под руки увели старую домой.

Наступило время прощания.

-- До свидания, родная. Пусть тебе счастье сопутствует, куда ты прибудешь,—говорили старшие родственники, целуя Батийну в открытый широкий лоб.

Младшие подставляли щеки:

— Прощай сестра. Не плачь, ладно?

— Моя звездочка, моя радость,— говорил отец — не печалься и не падай духом. Да пошлет тебе бог радости в детях. Благоденствуй в своей юрте, сокровище мое!

Осеннее солнце уже омыло величавые горы, когда вокруг воцарилась благодатная тишина и родители простились с Батийной.

— Доброго, безмятежного пути, наша радость! Будь счастливой и всеми уважаемой на новом месте.

Вместе с Батийной пустилась в путь Сайра. Жених ехал со своим сопровождающим — остроносый старичком с коротко подстриженной бородкой и розовыми щеками.

Аил остался позади, всадники отпустили поводья, и кони пошли бодрой рысцой.

Они ехали равниной. Дальше, перевалив холмистые бугры, оказались на извилистой тропке, что вела в глубину гор.

Ветер играл гривами коней, которые цокали копытами по камням, и невеста на время забылась. Печаль и тоска улетучились, как тает лед на ладони.

Сопровождающий веселил своих спутников. Женщины слушали шутника и смеялись. Сайра, где нужно, вставляла острое словцо, жених изредка улыбался, но больше молчал.

За поворотом, где тропинки пересеклись, брякнули уздечки и показались два всадника. Еще издали было видно, что один из них поменьше ростом. Тот, что выше, сидел на рыжем коне в белом калпаке, в бешмете из серой верблюжьей шерсти. Бравый черноусый джигит.

Всадники приближались. Сайра узнала джигита и шепнула Батийне:

— Видишь, кто едет? Абыл!

Батийна, даже не пытаясь рассмотреть джигита, безучастно сказала:

— Ой, бедняжка, зачем он теперь... джене?

Всадники поравнялись. Абыл приветствовал путников, положив правую руку на грудь, мелкосплетенная камча с рукояткой из красной таволги небрежно на петле подвешена на средний палец. Лицо его без тени волнения расплылось в улыбке, обнажая белые крепкие зубы, в глазах сверкает озорной огонек, лишь черные густые брови сошлись на изгибе.

— Э-э, сват,— обратился он к сопровождающему,— да благословит аллах ваш путь. Вижу, вы везете невесту?

Разговаривая на ходу, не останавливая коня, он поздоровался со всеми, будто с хорошими знакомыми. Батийну он приветствовал не как чужой человек, а как родственник и брат.

— Будь счастлива, Батийна,— сказал он с едва заметной грустью.

Сайра, не выдавая тайны, поблагодарила джигита:

— Пусть сбудутся твои слова, красавец! Батийна то краснела, то бледнела.

— Крепись, кызыке,— с жаром шепнула ей Сайра,— как бы муж чего не заподозрил.

Все поднялись на высокий холм. Абыл тем временем спешил, подзывая к себе подростка на молодой лошади и сказал сопровождающему:

— Здесь мы и расстанемся, сват. Выпейте на добрый путь хорошего кумыса.

Кони, только преодолевшие крутой подъем, дымились, тяжело и прерывно дышали. Батийна сошла с седла. Абыл, ловко отвязавший небольшой чанач¹ от луки седла, держа его под мышкой, подошел к любимой. Передав чейчек² подростку, налил в него кумыс и первую чашечку протянул Батийне.

— Пусть сват не обижается,— сказал он добродушно — У нас говорят: «Священны сорок косичек девушки». Милая Батийнаш, утоли жажду на дорогу. Из моих рук...

Сердце девушки сжалось, она качнулась перед тем, как взять в дрожащие руки расписную чашку с кумысом,— он чуть не переливался через край.

«Выпью до последней капли!» — поклялась про себя Батийна и, коснувшись губами края чашки, малыми глотками стала отпивать кумыс. Сайра бережно поддерживала ее под руку.

— Спасибо, милый, и прощай,— вполголоса сказала Батийна, возвращая Абылу чашечку.— Сможешь, жди шесть месяцев. Не будет от меня вестей за это время, так нести меня, дорогой. Найдешь и ты твою суженую...

— Нет, нет, мое сокровище. Ищи, ищи выход. А я не то что шесть месяцев, я готов тебя и шесть лет дожидаться! — прошептал он.

Кони пощипывали траву, всадники взбодрились кумысом из рук щедрого джигита и тронулись дальше. Абыл с щемящим сердцем и взбудораженной головой замешкался, неотрывно глядя вслед удаляющейся любимой.

Сопровождающий, видимо что-то заподозрив, спросил у Сайры:

— Сваха, а кем доводится вам этот джигит? Сайра не растерялась:

— Это сын лучшего Друга моего дяди-охотника.

— Видно, умный джигит, все обычаи наши знает, хоть и молодой человек.

— Хороший джигит, жаль, что из захудалого рода. Бедность подрезает счастье молодцу, уважаемый сват.

— Правду говоришь, сваха. Храбрый джигит только со своим народом найдет удачу. Человек в одиночку, без народа — лишь блудный нищий.

Кони, отдохнувшие на пригорке, ускорили шаг.

ЯРОСТЬ СВЕКРОВИ

Три года подряд аил Адыке зимовал в местечке Бёлёту. К старости Адыке совсем попал под начало строптивой Салкынай, любую ее прихоть и желание он спешил исполнить. Хмурая, с резким голосом, байбиче самолично решала, где будут летовки и зимовья скота. Полновластная хозяйка, она вольна была принимать любых сватов, родственников, гостей, наделять их ценными подарками, как ей заблагорассудится.

— Ты, бай, помолчи! — обычно говорила она.— Как сказала, так и будет.

Адыке мог про себя сколько угодно не соглашаться с ней и даже для вида пробовал сопротивляться, чтобы не ронять своего мужского достоинства, однако тут же запинаясь на полуслове и умолкал. Жестокая байбиче, управлявшая не менее жестоким Адыке, умела держать в страхе и повиновении всех родственников. Даже старшие в роду откровенно ее побаивались.

— Что говорить,—вздыхали они,— байбиче ведь не кто-нибудь, а наследница самого батыра Караберка, мать всему аилу, от нее — благоденствие нашего рода.

Молодые женщины должны поклоняться ей, а свояченицы не смеют за ней следить.

Прискакал гонец с вестью, чтобы забирали невесту. Салкынай небрежно поправила полы пятнистой шубы из звериных лапок и распорядилась:

— Жалкий оборванец наконец-то взялся за ум. И правильно. Иначе кому нужна его дочь — паршивая коза?! Я приказываю: без всяких обычаев пошлите за ней ее кривого муженька. Пусть сам ее и привезет. Слышали меня? Исполняйте!

Когда Абдырахман с сопровождающим отправлялся в путь, мачеха и не подумала подготовить встречу невестке по народным обычаям. Не поставили особенно юрту для молодых, не вели кёшөгё — занавес, отделяющий невесту

от посторонних глаз; не собирали посуду; не пекли боорсоки, не заготавливали сушеный урюк и изюм, чтобы щедро бросать на дастархан перед гостями и перед невестой, когда ее будут вводить.

— Если сноху привезут,— обронила Салкынай не терпящим возражений голосом,— то ее привезут со своим приданым, со своей юртой. Вы ее установите, и достаточно. А там видно будет.

...Сайра, проводив до полпути свою любимицу, оплакала ее судьбу в последний раз и повернула поводья коня.

Заночевав в пути и преодолев нелегкую горную дорогу весь последующий день, всадники глубокой ночью добрались до стойбища Бёлёту. Издали уже показались сереющие юрты. Тут сопровождающий, обогнав молодых, поспешил с радостной вестью к юрте Адыке:

— Невестка едет, Салкын байбиче! Суюнчи с вас!

Она будто ждала эти слова — так стремителен был ее гневный ответ:

— Что раскричался, безумный? Ишь ты, просишь суюнчи, словно родился мальчик с золотыми кудрями. Неужели ты думаешь, что мы поднесем тебе суюнчи за такую весть... Жди-до-ждидайся... А эту дочь охотника ссадите пока что в юрте Сатара.

Послышался конский топот, залаяли сторожевые псы, и вскоре все стихло. Никто не оповещал о том, что привезли невесту, никто не получил подарка за радостную весть.

Батийну ввели в юрту Сатара, он со своей старухой только и жил тем, что доил байских коров. В полумрачной юрте еще тлел сухой можжевельник. Навстречу Батийне встала пожилая женщина, с удивлением посмотрела на нее и как бы между прочим сказала:

— О-о, бедняжка, тебя уже привезли? — и поцеловала ее в лоб холодными губами.— Будь счастлива, светик.

Батийна, уставшая за дальнюю дорогу в тряском седле, перешагнув незнакомый порог, едва держалась на ногах. «Разве меня полагалось привезти в эту юрту? — подумала она.— Неужели это моя свекровь? И юрта бая похожа на эту?»

Батийна тяжело вздохнула. Снаружи донесся тонкий металлический перезвон. Так обычно звучат монеты, подвешенные к косам.

— Сюда направляется Салкынай байбиче,—заторопилась старуха.— Твоя свекровь. Кланяйся, низко кланяйся ей!

В юрту вплыла белолицая, надменная женщина в снежно-белом высоком элечеке, в накинутой на плечи пятнистой шубе.

Батийна, скрестив руки на груди, обвесила низкий поклон. Салкынай едва слышно что-то прошептала, но не прикоснулась ко лбу невестки. Даже не изволив присесть, она окинула ее с ног до головы презрительно-хищным взглядом.

— Разве тебя прислали безо всего? — сказала она.— А где же приданое, где драгоценности?

Батийна стояла, словно ее облили ледяной водой, низко опустив голову. А свекровь продолжала:

— Сколько голов скота, сколько богатых вещей мы передали этому безродному, бесчестному саяку за его дочь! А он, неблагодарный, прислал ее почти нагую. Где богато украшенная шапка, а где серьги? Возмутительно, что ее прислали с открытой грудью и без дырочек в ушах!

Дешевые блестящие серьги, купленные матерью за целого барана, лежали у Батийны в наружном кармане. Пробираясь по зарослям, она где-то зацепилась за колючие ветки шиповника, и глазок от серьги потерялся.

Батийна сняла их и спрятала. Когда свекровь напустилась на нее, Батийна быстро достала сережки из кармана:

— Нет, мама, серьги со мной!

— Ты они, покажи?

И, выкатив у девушки серьги, причем одна была без глазка, свекровь швырнула их в темный провал открытой двери.

— Вот тебе серьги! А еще лопочет: «Серьги со мной». Какие-то железки она, видишь ли, называет серьгами!

Зарезали крупного валуха, позвали знатных людей аила. Мулла Акмат, прочитав длинную молитву, повенчал Абдырахмана с Батийной.

В последние годы киргизские муллы, подражая ходжам из Андижана, на головы стали накручивать круглые чалмы и носили длинные разноцветные халаты. На Акмат-мулле болтался просторный зеленый халат, на голове кое-как накрученная неряшливая чалма, а в руках четки из финиковых продолговатых косточек. Бесконечно повторяя имя аллаха, он что-то невнятно бубнил. Остроносый, с реденькой дрожащей бородкой, с беспрестанно шепчущими губами и круглыми плутоватыми глазками, мулла Акмат был похож на колдуна-заклинателя. Богобоязненные люди поговаривали, что мулла Акмат может вызывать даже ангелов и вступать с ними в разговор. Акмат сидел в юрте бая и долго шептался со «своими ангелами» и с «их ангелами».

Когда наступило время бракосочетания, мулла повесил четки между большим и указательным пальцами худой скрюченной руки и, простирая к небу ладони, с подчеркнутым достоинством начал причитать:

— Чистая чаша, чистая вода — не расплещется никуда. Эта чаша с белой полоской по краям священная, дно ее бесценно. Пусть вода останется всегда чистой как снаружи, так и изнутри. Ну-ка, чистая вода, замри.

Салкынай едва сдерживала себя, чтобы не сказать: «Кончай, старый хрыч, свой никчемный бред. Кажется, в Коране ничего подобного не сказано».

Муллу, прочитав молитву, освятил воду в чаше и важно протянул ее свидетелям.

— Держите чашу крепко, говорите веско, только правда ваша, истина божья наша! Исполняйте свой долг святых свидетелей.

Один из двух джигитов с особым старанием взял чашу с водой.

Батийна со дня приезда находилась у старика соседа и лишь накануне бракосочетания ее ввели в юрту к свекру, поклониться его очагу. Она сидела за занавеской в окружении младшей сестренки мужа Апал, девушек и молодых женщин. В это время в ее честь зарезали жертвенного белого ягненка. Мулла совершил молитву и попросил свидетелей подойти к невесте с чашей. Батийна подумала: «Нет, мулла, я все равно не дам согласия быть женой нелюбимого. Можешь меня хоть в ад отправлять».

Свидетели подошли к ней вплотную, бормоча в один голос:

— Ради высшего аллаха, всемогущего феллаха, мы в свидетели пришли, чашу жизни принесли. Скажи, о дочь Казака Батийна, согласна ли ты стать женой сына Адыке Абдырахмана?

Батийна промолчала.

— Скажи, что ты согласна! Батийна вполголоса проронила:

— Нет. Не согласна.

— Нельзя так говорить,— настаивали свидетели.— Скажи что согласна!

Батийна молчала.

— Молчание — знак согласия. Как ни говорите, она еще девчонка, смущается. Будем считать, что она согласна.

Бракосочетание состоялось. И потянулись невыносимые дни. Громадная черная скала словно навалилась на Батийну. С каждым днем свекровь злее ненавидела и изводила ее, и у Батийны набухало чувство ненависти к свекрови.

— Вы посмотрите только на эту дочь голодранца,— вопила Салкынай,— шлялась нищенкой по белу свету, никогда вкусно не ела. И ей, видишь ли, не по нраву мой сын, она еще смеет его презирать!.. В моем доме бродит темнее ночи! Погоди, несчастная, я тебе покажу, как кривляться!

Байбиче, грозно нахмутив брови, гремя украшениями длинных кос и шелестя шелковым платьем с оборками, то и дело поправляя сползающую с плеч шубу, остервенело кидалась на Батийну, но та с удивительной невозмутимостью смотрела на свекровь, и ее взгляд как бы говорил: «Хоть убей меня, но я тебе не покорюсь». И спокойствие молодой женщины лишь сильнее бесило Салкынай.

— Подумать только! Ее ничуть не страшат мои угрозы! Кромсай ее, режь, и капельки крови не увидишь. Ах ты бесстыжая, я тебя сейчас!..

Схватив хлыст таволги, которым пушат овечью шерсть, она стегала Батийну по плечам, по спине. Сжав зубы, невестка терпела, переносила побои безмолвно и не просила пощады.

Не покорив невестку побоями, устрашениями, байбиче приказывала:

— Вон на улицу, замухрышка! Возьми большого верблюда и привези с речки льда. Видать, ты очень сильна!.. Я посмотрю, как ты умеешь заготавливать арчевник и возить лед.

Батийне только этого и надо было. Пустяки, что ее белое тело посечено розгами. Она быстро седлала верблюда, взбиралась на него и ехала за льдом

в местечко Чон-Бёлёту. Ночью охраняла овец у овчарни, а с рассветом держала путь в дальнее ущелье, где было много сухого арчевника. Батийна ходила в больших черных валенках и в дырявом зипуне. Далеко не всегда ей доставалась горячая еда, а груз тяжелых забот лежал на ее плечах от зари до заката. Проклятья и побои, работа и заботы — теперешний удел Батийны. Свекровь бесповоротно решила выдрессировать невестку, которая с первых же дней «не желала такого мужа».

Мало того, что Салкынай была невестку и проклинала ее, она стала подзадоривать Абдырахмана:

— И на кого только ты похож, кривая рохля? Где твое мужское достоинство? Ведь ты из знатного, прославленного рода, сын бека! Какая-то замухрышка, которая не стоит даже золы из твоего очага, не признает нас, а ты ходишь лопухом. Эх ты, трусливый паршивец! Возьми-ка вот эту, подлиннее, плетку. Хорошему коню одна плеть, а плохому — тысяча. Я требую от тебя, слюнтяй, приведи к покорности эту замухрышку.Пусти попробует командовать тобой, так я тебя самого из юрты погоню. Заруби себе эти слова навсегда!

Абдырахман измывался над Батийной. А сопротивляться она не могла: выступить против мужа все равно что совершить преступление перед богом. Терпела, сцепив зубы. «Что же мне делать? — размышляла Батийна.— Ведь бог создал и меня человеком, так неужели он не смилостивится надо мной? Если же аллах не смилостивится, проживу вечной мученицей. Значит, «акова доля бедной женщины. Со всех четырех сторон окружена невысокими, непроходимыми скалами...»

ЗОВ ЖЕЛАННОГО

Батийна не покорилась. Горячую кровь и сильное сердце не подчинить было жгучей плетке и жестким розгам. Чем больше побоев она получала, тем выносливее становилось ее тело. Кожа ее, казалось, задубела. Батийна не плакала напрасно, подобно незащитному человеку, попавшему в безвыходное положение. Она лишь окрепла, закалилась, как тополе, пробивший нежным стебельком гранитную черную скалу.

В первые дни, получив ни заметки про что побои, она спешила убраться в ущелье, присаживалась на камешек, тяжело вздыхала. В кровь раздирая руки и ноги, она взваливала на вола корявые колючие, скрюченные ветки арчевника и брела назад с таким видом, будто шла навстречу своей смерти. Так было в первые дни.

Постепенно Батийна стала быстра и сноровиста, как хороший джигит. Она ловко привязывала один конец крепкого волосяного аркана к седлу вола, который стоял с шершавым носом, Б поту, перекидывала громадную вязанку дров на животное, стягивала потуже веревку и шла обратно. Хлопоты, выпавшие на долю расторопной Батийны, постепенно стали для нее и легкими и утешительными... Будь муж любимым человеком, Батийна, наверно, испытывала бы радость от работы.

О, молодая женщина и без того пела. Но это была песня не любовного счастья, а душевной боли и разлуки, песня обездоленной женщины,

насильственно разлученной со своим желанным. Это была песня-арман — жалоба на горькую судьбу, на несбывшиеся надежды.

Стоило кривому Абдырахману подойти к ней или же ночью, когда они лежали в постели, прикоснуться телом к ее телу, она сжималась в комочек, ее охватывало отвращение к мужу. Сердце замирало, и тело становилось бесчувственным.

— И когда только ты согреешься? Вечно холодная как лед! — бесновался Абдырахман.

«О господи милостивый! Где же твоя справедливость? Чем мучить свое сердце в этой ненавистной шелковой постели,— с болью думала Батийна,— лучше бы я под открытым небом укрывалась подолом кементая моего желанного».

Долгими зимними ночами она была готова, не смыкая глаз, петь свои бекбекей¹. «Лучше всю ночь напролет сторожить скот и петь бекбекей, чем находиться рядом с Абдырахманом». Наедине со своими мыслями она вспоминала любимого. Даже засыпая, она только и мечтала увидеть его хотя бы в коротком сне.

И Абыл снился ей почти каждую ночь. Они встречались, смотрели в глаза друг другу, но он всегда был невеселый. Нередко отвернется, пройдет мимо и даже не удостоит ее своим взглядом. «Милый мой Абыл. Ведь это я, твоя Батийна, посмотри хоть разочек на меня». Увы, он уходил. Она кричала ему вслед. Просыпалась.

Сон окончательно покидал ее, от мыслей ныло в висках.

Абыл виделся ей, даже когда, обессиленная, она возила дрова на быке и дремала на ходу. Звал он ее: «Батийнаш, где же ты? Ну, приди ко мне!» Махнет рукой, снова исчезнет, и она опять одна среди безмолвия.

Наступали суровые дни со снегопадами и лютыми морозами. Но и в эту пору Батийне не было покоя. Не щадя себя, она забиралась в глубь ущелья заготавливала впрок арчевник.

Взобравшись как-то на солнечный склон, она увидела узловатую корягу, как раз между расщелинами валунов, и, измаявшись, выломала ее и тут же разогнула спину, поправляя сползающий платок. Усталый взгляд ее упал далеко в темноту ущелья, где скользили полуденные тени. И вдруг откуда-то из дальней дали возник ее Абыл. На вороном коне и в своем обычном белом калпаке. Она не сомневалась — это он. Одной рукой джигит понукал коня, в другой держал уздечку второй лошади. «Значит, едет все-таки за мной», — подумала облегченно. И Абыл мигом растворился легким призрачным видением. Исчез. Он не заворачивал на ближний холм, не направлялся прямо к ней. Точно призрак возник и растаял там, где и появился. Батийна, охваченная ознобом, опустила на стылый камень.

— Боже ты мой! Наверно, моего Абыла нет в живых. А это мне попался на глаза его дух,— застонала Батийна и обняла камень.

Придя в себя, она увидела, что солнце давно уже село. Увязав дрова, Батийна поздно добралась до юрты. Как только переступила порог, на нее с воплями набросилась свекровь, а муж схватил камчу.

— Где тебя, потаскуха, дьявол носит допоздна?

Стало нестерпимо больно, сердце облилось кровью, но Батийна сказала:

— Ты можешь меня зарезать, несчастный кривой. Я успокоилась, увидев его дух. Режь меня!

Не выказывая своего волнения, Батийна, как обычно, сварила ужин для свекрови и свекра, накормила их, постлала постель, сгребла красные угли овечьего кизяка и, чтобы они не погасли до утра, присыпала золой. Потом вышла на улицу и затянула кошмой дымовое отверстие юрты. Все уже непробудно спали, а Батийна и не думала ложиться. Давно уснул Абдырахман,— наверно, подумал, что жена сторожит овчарню.

Тем временем Батийна вывела из стойла быстроногую гнедую кобылку, поспешно оседлала ее, облачилась в загодя припасенную одежду табунщика (свою аккуратно сложила в переметную суму — куржун — и подвесила к луке седла). Застоявшаяся лошадь сразу же наддала ходу и понесла Батийну. А она тряслась в седле и шептала:

— Господи, если ты создал меня, свою рабу, то открой предо мной ясный путь. Дай мне увидеть любимого. Помоги его найти, ведь он зовет меня...

Даже искушенный всадник, проезжая по горной тропе, с первого раза едва ли запомнит все ее извилистые сплетения, повороты, зигзаги. А женщинам которые ездят меньше мужчин, тем более трудно удержать в памяти бесконечные изгибы на горных дорогах.

Таинственные, суровые горы окружали Батийну; темнеющие пасти ущелий, низкое тяжелое небо и — безлюдье. Еще в детстве она не раз слышала, греясь у костра, историю обездоленной женщины, бежавшей от бесчестного мужа. Ехала она темной-претемной ночью, на нее напали голодные волки и съели.

Батийна живо представила себя на месте той беглянки и стала прислушиваться к мельчайшим звукам и шорохам, то и дело придерживая гнедую. Страх страхом, но мечта и надежда гнали ее все вперед. Гнедая кобылка постепенно сдавала. Направляя ее то в ложбину, то понукая на подъем, Батийна думала:

«Кажется, еще тогда мы ехали по этой дороге. Не должна я заблудиться...

Ночь длинная. Они хватятся только утром. Еще до утра я махну далеко...»

Беглянка рвалась вперед и совершенно не задумывалась, что голодная лошадь долго не выдержит.

Сперва гнедая бежала резвой рысцой. Но вот ее бег спал, и она пошла размеренным шагом. Вершины гор, хребты стали двигаться медленнее, словно плыли на огромных крыльях земли. Горы зияли пропастями ущелий. Где-то, похоже, выл отощавший волк, эхо унесло его вопль далеко за мрачные скалы. Впереди замаячило что-то серое. «Будь что будет. Чем мучиться заживо, пусть лучше волки сожрут»,— подумала Батийна и, шумно

понукая гнедую, двинулась вперед. Но нет, оказалось, это трепещущий на ветру куст.

На рассвете беглянка вброд преодолела почти замерзшую речку Тёлёк. На другом берегу неожиданно повстречался белобородый старик на крупном сером коне. Батийна, одетая под табунщика, показалась ему, вероятно, ничем не примечательным путником. Она первая приветствовала старика, чтоб избежать лишних подозрений.

— Ассалом алейкум, отец!

Старец из-под густых бровей окинул ее цепким взглядом и, ответив на приветствие, как бы недоверчиво спросил:

— Сынок, откуда ты в такую рань держишь путь?

— Вчера скончался божий наставник Шамен-ажы, отец еду гонцом в Джумгал, чтобы передать эту скорбную весть его сватьям.

Лукавые глаза старика, кажется, заметили, что кобыла ковыляет.

— Эх, сынок,— сказал он,— хорошо, что ты едешь гонцом. Но у твоего конька слишком усталый вид. Тебе следовало бы его немножко подкормить. Иначе он не довезет тебя до цели.

Старик проехал мимо. Но его слова насторожили Батийну: второпях собираясь в путь, она совершенно упустила из виду, что кобылке недолго и проголодаться. «Вдруг в самом деле она пристанет с голодухи? Рухнет бездыханно на землю? Меня тогда догонят, и я пропала. Беглянок, говорят, не оставляют в живых».

Вскоре кобыла уже едва передвигала ногами и качалась из стороны в сторону. Вот-вот упадет. Дорога стала сокращаться очень медленно. А случится подъем, лошадь, пожалуй, совсем станет. Батийна спешила, освободила удила и подвела кобылку к жиденьким верхушкам травы, торчащей из-под снега. «Как же это я, растяпа, забыла прихватить овсеца. Сам дьявол, что ли, попутал мои мысли. Не будет мне спасения!» Беглянка взнузда мухортенькую кобылку и — в седло. Не успела проехать и десяти шагов, как сзади послышалось:

— Эй, позорница., а ну-ка остановись!

Оглянувшись, Батийна по-детски залилась слезами. К ней приближались три здоровенных всадника. Один из них — свекор Адыке. Он угрожающе рявкнул, обращаясь к провожатым джигитам:

— Держите ее, стерву. Снимите с нее три шкуры. Вы только подумайте, от кого хотела бежать эта дочь нечестивого голодранца! Покажите ей, как у нас расплачиваются за побег!

Батийна знала, что следует за побег женщине от нареченного мужа.

Она была еще подростком, когда ее отец жил рядом с богатым баем Сарымсаком, а у того была невестка по имени Асыл. Асыл не любила своего мужа и однажды сбежала от него. Но бедняжку вскоре поймали и распяли между четырьмя вбитыми в землю кольями. Она была похожа на шкурку освежеванного сурка, из тех, что отец часто распяливал. Молодая женщина

отчаянно стонала, раздираемая болью, но два джигита не уставали ее пороть. Платье ее излохматилось, все тело покрылось кровавыми пятнами. Картина эта зримо встала сейчас перед Батийной, и, как живая, мелькала перед глазами юная Асыл. Обмерев от страха, Батийна громко плакала и умоляла пощадить ее. Случись это в юрте и муж бы там рукоприкладствовал, она бы так не струхнула. Но здесь пощады не будет, накажут по всей строгости. Ясно, как день, что Адыке по праву свекра и бая прирежет ее, словно овечку, за дерзкий побег от его достопочтенного сына. И отдела за это самое большое куном¹ в двадцать — тридцать голов скота.

Озверевшие джигиты, по воле своего хозяина, с плетками накинудись на беззащитную женщину. Спасаясь от ударов, она сползла с седла и с плачем бросилась под копыта гнедой кобылы.

В это самое время появились еще пять всадников. Никто не успел заметить, откуда они подъехали. Один из них был крупного сложения чернородый джигит с краснощеким скуластым лицом.

— Эй, остановитесь! Вы кто такие? В чем обвиняете этого беднягу? — гаркнул он.

Голос его показался знакомым, и Батийна выглянула из-под лошади. Никаких сомнений: это был Джусуп, лучший друг отца и тоже охотник на барсов.

— Джусуке! Я Батийна... Меня убивают. Остановите их. Вы таки были другом моего отца! — взмолилась Батийна.

Джусуп опешил, едва узнал в табунщике Батийну.

— Милая, ты старшая дочь Казака? — переспросил охотник.

— Да, да, Джусуке, я Батийна.

Джусуп, понукая запотевшего коня, въехал в кучу размахивающих плетками людей.

- Эй, бесстыжие, а ну-ка опустите свои плетки! — гаркнул он.— Прекратите! Батийна для меня что дочь. Убавьте-ка пыл, иначе будете иметь дело со мной.

— Эй, Джусуп, а меня ты не знаешь случайно? Я — Адыке! А это моя невестка. Она вздумала убежать от моего сына. Сам знаешь, что ей полагается за измену. Я волен даже прирезать ее. Если она близкая тебе, то изволь рассчитаться за ее побег, еще лучше — не встречай и не стой на моем пути.

Но Джусупа не так-то было легко запугать.

— Что ты Адыке, я хорошо знаю,— сказал он внушительно.— Я тоже тебе не последний пастух. Дочь моего друга — моя дочь. И я не позволю расправляться с ней. Кто виноват, что у тебя сын чурбан... Если тебе стыдно за сына, постарайся из него сделать человека. А дочь своего друга я в обиду не дам! Садись в седло, доченька! Я увезу тебя в свою юрту.

Адыке и его дружки и не пытались ополчиться против тех, у кого плясали горячие кони, кто напирал грудью, и остались ни с чем, как волки, у которых прямо из пасти отняли добычу. Спутники Джусупа, окружив Батийну со всех сторон, тронули коней и вскоре скрылись с глаз Адыке.

Джусуп был сыном человека, который уступал Адыке лишь по силе власти и по своей родословной, но отнюдь не по богатству. Деда и прадеды его из рода жарбан — одной из ветвей рода сарбагыш — не были ни богатырями, ни беками. Род этот имел, правда, большие отары скота и немалое благосостояние, но все равно он считался малосильным перед крупным родом Адыке.

В последнее время в степи развелось много волков. Они нападали на скот прямо белым днем. Встревоженные скотоводы сказали охотникам: «Мы сегодня видели изрядную стаю волков. Она ушла в сторону соседней ложбины». Уничтожить этих хищников выехал по следу Джусуп со своими помощниками. У двоих были ружья. Серых они так и не нашли, зато повстречались с Адыке. Отняли у него Батийну, возвратились в верхний аил, где стояла юрта Джусупа. Мать охотника, могучая, степенная, добрая женщина, с расprostертыми объятиями встретила девушку, обласкала ее, ввела в теплую юрту, обмыла, обогрела и передела в женское платье. Все понимали, что приезд Батийны в аил не останется без последствий. Обязательно за ней прискачут гонцы с тяжбой. Поэтому ее нарядили, накормили и припрятали в другом аиле. Джусуп хотел послать человека к Казаку и попросить, чтобы друг приехал за своей дочерью. «Дальше,— решил Джусуп,— пусть сваты сами разбираются, кто прав, а кто виноват. Я тут ни при чем, заступился за бедняжку, и достаточно».

Все обернулось не так гладко, как представлял Джусуп. Вскоре к нему явился гонец и сказал, что его, Джусупа, ожидает сам Кобёгён-ажы из рода сегизбек. Охотник важно выехал на крупном гнедом коне, но вскоре возвратился пришибленный, словно побывал в горячей перепалке. Он понял, что Адыке жаловался на него старейшине Кобёгёну-ажы. Это Джусуп почувствовал сразу же, как вошел в юрту ажы. Тот был зол. Когда Джусуп поздоровался с ним, он даже не ответил на приветствие, а сразу обрушился на него с проклятиями и угрозами.

— Что это ты беснуешься как свинья, которой померещилась свобода! — вскричал ажы.

— Я не беснуюсь. В чем, собственно, меня обвиняют?

— В том, что ты лезешь в дела чужой семьи! Ну-ка попробуй оправдаться!

Виданное ли дело, чтобы кулы топтали то место, где им не положено ступать? Откуда, интересно знать, у них появилось столько силы и бесстрашия? Молодая женщина, которую ты увез к себе, пусть тебе будет известно, входит в мою семью. Адыке и я — дети одного жеребца. А жеребец этот не простой, всемогущий. С ним шутить никто не посмеет. А ты кто? Одна лишь почечка на маленькой нашей ветке. Вот ты кто! Я могу выслать своих джигитов, чтобы они разорили твой аил и угнали весь твой скот. Я этого пока не стану делать. Ты сейчас же поедешь и сам привезешь сюда ту, которую отнял у Адыке.

Угроза не предвещала ничего хорошего, сбитый с толку Джусуп возвратился домой, вызвал к себе Батийну и умоляюще сказал:

— Милая Батийна, я был уверен, что смогу тебя защитить от любой беды, от любого несчастья. Но руки у меня, оказывается, коротки, и я наступил на хвост питона. Теперь меня одолевает страх перед силой зла. Только не обижайся на меня. Рад был помочь, но ничего не вышло. Сейчас мы с тобой поедem к Кобёгёну-ажы. Собирайся в дорогу, дочь моя.

— Неужели, Джусуке, передо мной снова встанет непроходимая черная скала?

— Да, дочь моя, и нам с тобой не обойти ее. Пора трогаться в дальний путь. Батийна в слезах взобралась в седло. Женщины из аила сокрушенно проводили ее.

— Ай, бедняжка, тяжкие испытания ожидают ее.

Адыке, заполучив невестку, оставил ее кобылу у ажы, взял у него другую лошадь и, чтобы никто не видел, как он возвращается с беглянкой, уже в сумерках отправился домой. Ехал и думал: «А правильно я сделал, что все-таки собрался попозже. Увидят знакомые, начнут судачить: вот, мол, сам Адыке гонялся за невесткой, которая не хочет жить с его сыном».

Женщина не чувствовала, жива ли она, едут они или топчутся на месте. Равнодушная ко всему, будто у ней окончательно вышибли разум, она бросила поводья и не управляла лошадей. Джигиты, что сопровождали ее, всю дорогу подсказывали к ней, бранили, пинали, куда придется, орали:

— Что уснула, сука! Пошевеливайся! Удирать умеешь, а как управлять лошадей, позабыла?! Осрамила нашего бая, стерва! Ну, погоди, дай добраться до аила!

Ни живую ни мертвую на рассвете ее привезли в аил. Салкынай, любительница понежиться в постели, услышала топот коней и бубнящие голоса всадников, разом вскочила.

— Что, привезли эту шлюху-беглянку? Ну-ка, где там она? Распят! Пока ее не проучим как следует, из нее толку, очевидно, не будет. Где мои верные джигиты?

Байбиче еще с вечера приказала трем верзилам не ложиться спать и приготовить необходимое для распятия беглянки. Злые от бессонницы, три джигита принялись выполнять ее указания.

Батийну накрепко привязали к решетке юрты.

— Можете спустить с беглянки три шкуры!! — подбадривала Салкынай. — Проучить так, чтобы знала, от кого решила убежать.

— Через мою седую голову захотела перешагнуть, замухрышка? — орал Адыке. — Можете ее прикончить! За нее уже давно оплачен иск сполна...

СЕРДЦЕ ОТЦА

После того, как Адыке увез Батийну, Джусуп не мог успокоиться. «Если родственники не поднимутся на защиту, — думал Джусуп, — то бедняжке грозит опасность... Надо немедленно сообщить другу, что Батийна убегала от мужа, но ее поймали».

Незамедлительно Джусуп послал гонца в аил к родителям Батийны. Казак и Татыгуль и без того терзались сомнениями, как там живет дочь, а тут совсем пали духом.

— Несчастное дитя! — сказал отец сокрушенно. — Убьет ее тиран Адыке. Не жди от него пощады. Проклятье нечестивцу, к которому попало мое сокровище...

Отец пошел к почтенному старцу Сарале и сквозь стон и слезы сказал: — О уважаемый всеми мудрец! Если бы не ты, я продал бы сына, но не отдал бы дочь тирану. Ты тогда сказал: «Отдай дочь, ибо на нас нападут, уничтожат людей, угонят скот» — и настоял на своем. Теперь я не знаю, жива ли, нет ли моя радость. Я, видишь, занемог, не могу ехать. Да и ехать мне нельзя, опасно, Батийна не только моя дочь, она и твоя дочь. О уважаемый аксакал! Прошу тебя, поезжай сам и привези мне весточку от моей любимицы. Если она еще жива, пусть Адыке над ней не глумится. Покажи Адыке наши узы родства, мудрец Сарала. Если тебе трудно ехать одному, то прихвати в попутчики моего друга Джусупа. Ради меня он готов хоть в огонь, хоть в воду. Скажи, что я просил.

Могущественные родственники — подспорье для девушки. Если Казак сам поедет, Адыке в ярости может избить его вместе с дочерью. Но с Саралой Адыке не осмелится так поступить. Сарала — уважаемый старец аила, сват прославленного достопочтенного Акимкана, — он тоже из знатного рода беков, и ему нечего опасаться Адыке. Акимкан выше стоял Адыке как по богатству, так и по положению и славе. Именно эту сторону имел в виду Казак, посылая к свату Адыке Саралу в качестве посредника и заступника дочери. Сарала не стал отказываться. Быстро собравшись в дорогу, он оседлал коня и, не по возрасту легко, встал на стремя. Казак напутствовал его: — Дорогой Саке, если моей дочери уже нет в живых, то виру — штраф за убийство — требуй сам. Если она жива, заступись за нее и проси, чтобы поменьше издевались.

Предположения Казака оправдались: Акимкан был тем человеком, которому, при желании, ничего не стоило проучить Адыке. Они происходили от одного отца, только матери были разные: Адыке был от младшей жены, Акимкан же — сын байбиче. Хотя они и жили в разных местах и Адыке был уважаем соплеменниками, однако он должен был подчиняться своему старшему брату, но любую распрю между собой они могли решить спокойно по закону: «ворон у ворона глаз не выклюет», братья были готовы помочь друг другу в случае внезапной напасти извне. Но беда в том, что в последнее время (особенно с осени прошлого года) их родственные связи были прерваны разыгравшимися ссорами из-за пастбищ. На той неделе Акимкан совершил налет на табун лошадей Адыке. Теперь Сарала приехал к Акимкану с новой тяжбой. И снова в сторону Адыке подул ветер гнева Акимкана. Ветер этот разжигался красноречием Саралы, который после долгого пути сидел у очага свата и говорил:

— Сват, если вспомнить о твоих предках, то их корень уходит далеко в древность и упирается в Карачи-хана, заботливого из заботливейших повелителей. Твои прадеды были вольными и сильными батырами, из рук которых не выпадали заостренные стрелы и разящие врага пики. Да, великие

и мудрые были это люди! Царство им небесное! Но и ты, продолжатель их рода, всемогущ и всесилен. А возьмем твоего брата Адыке. Он не близок по матери, зато одна кровь по отцу. Все равно брат. Однако совсем не такой, как ты. Нарушая обычаи предков, унижая великий прах своего отца, он без калыма взял невесту для сына и, говорят, сам, как баба, затевает с ней тяжбу, унижает и разрешает бить ее. Батийна не рабыня, которую выиграли на скачках. Она младшая наша сестра, и я люблю ее все равно что свою дочь. Сегодня я не знаю, жива ли она или нет. Я приехал к тебе, сват, к самому близкому человеку, способному помочь мне и поддержать мою честь, защитить от Адыке. Сам я остерегаюсь к нему ехать. У нас говорят: «Чем приветствовать пса, лучше пади в ноги дурному человеку». Ты, мой сват, дальнзоркий и великодушный. Я прошу тебя, пошли гонца, узнай: жива ли Батийна или уже мертва? И еще прошу тебя, мой сват, укроти малость своего строптивого братца Адыке, подтяни ему подпруги...

Сарала — уважаемый человек в своем аиле. С ним советуются о всех делах рода, к нему прислушиваются. О нем говорят: «Будь Сакем знатного происхождения, ему бы управлять большим родом». Жаль, что он живет в небогатом аиле, где мало скота, мало зерна и нет большой поддержки.

Бай внимательно, кажется, выслушал свата, изредка в знак согласия кивал головой. Когда Сарала говорил о богатстве Адыке, Акимкан думал про себя с наслаждением: «Да, только наша кровь может иметь столько скота и богатства», а когда Сарала обзывал брата «скрягой, скандалистом и хвастуном», в нем загоралась искорка протеста. Эти слова задевали его чувство родовой гордости и достоинства, и он, важно восседая на медвежьей шкуре, недовольно кричал и краснел от натуги.

Они сидели в огромной байской юрте, похожей снаружи на громадное белое яйцо, одна только конская сбруя чего стоила. Серебряные вешалки гнулись от дорогих принадлежностей всадника: отделанный серебряными бляхами куюкан — подхвостник, комолдурок — нагрудник. Казалось, эти вещи были сделаны не из кожи животных, а из блестящих пластинок чистого серебра. Золотые и позолоченные удила, уздечки, подпруги с шелковыми бубенчиками — все было мастерски отшлифовано и предназначалось для байских дочерей и молодаяков. Драгоценные сбруи украшают их коней, когда семья переезжает на новые места. Эти совершенные изделия вышли из золотых рук лучших мастеров ближнего Андижана, дальнего Кашгара, еще более отдаленного Индостана. Много добра хранил у себя Акимкан. Это была слава отцов и дедов. Акимкан гордился наследством и считал себя вправе управлять им, ни на минуту не допуская мысли, что кто-то может стоять выше его.

Прямая, открытая речь о брате Адыке, об его стяжательстве и тиранстве задела Акимкана за живое. Но он скрыл свои настоящие чувства, подавленный справедливым словом старца. Про себя же зло подумал: «Ах ты негодный Адыке, даже посторонние люди знают, что ты не чтишь добрую память нашего отца, нарушил святые обычаи. Ну, погоди, жадная собака!» Скрыв внутреннее раздражение, Акимкан самодовольно крикнул:

— Я слышал, что его неблагодарная невестка убежала и он сам гонялся за ней, как мальчишка. Тогда я подумал, что беглянка вполне заслуживает, чтобы вспороть ей живот. Оказывается, это ваша, сват, младшая сестра? Довольный своей шуткой, он залился утробным смехом.

— Правильно, мой сват. Дочери из рода саяков всегда были сильны духом и своевольны. Недаром же нашу дочь сосватали за вашего дурня еще почтенные предки. Они знали, что делают.

— И Сарала в поддержку богатого свата звонко, со смешком добавил:

— Да, сват, правда, что хорошая жена рядом с отменным мужем становится матерью целого рода. Хорошая жена у плохого мужа превращается в рабыню... Так случилось с нашей девочкой. Досталась она в недобрые руки. Меня удивляет одно: разве в роду знатных людей тоже рождаются слабоумные уроды? И почему старейшины-аксакалы не обучат их уму-разуму? Сарала поставил Акимкана в безвыходное положение. Хочешь не хочешь, он вынужден был выделить джигита и, провожая его вместе с Саралой и Джусупом, сказал:

— Ну-ка, поезжай, сват, к брату Адыке и узнай, что там происходит. Мне кажется, с беглянкой ничего страшного не случилось. Иначе нам бы давно стало известно. Слухом земля полнится.

...А Батийну тем временем чуть было не прикончили. Когда ее тело стало бесчувственным к побоям, ее отвязали от решетки, волоком вытащили на снег и привязали к столбу. На холоде она пришла в себя, застонала. Глотнув немного воды, она открыла глаза, и свекор Адыке приказал опять бить несчастную. От первых же ударов она потеряла сознание.

Кенжеккан,— в ее юрте поместили Батийну, когда она была схвачена джигитами Адыке,— одинокая старая женщина, стояла, прислонясь к своей юрте, и широким рукавом то и дело вытирала глаза. Когда Батийну привязали к столбу, Кенжеккан не вытерпела: схватила веревку от старой овцевязи и, повесив себе на шею, вбежала в юрту и припала к ногам Адыке. Тот спокойно сидел на обычном своем месте, будто ничего на дворе не происходило.

— Мой великодушный бай! Я мать пятерых детей. Но создатель не пожелал мне оставить ни одного из них: забрал в свое царство небесное, всех я отдала земле. А эта бедняжка еще совсем молода, от нее можно вам ждать детей, внуков... Не нужны внучата, так нужны рабочие руки. Они будут ухаживать за вашим же скотом. Простите ее за неразумный проступок. Я со слезами прошу вас, о великодушный!..

— Молчать! — взъярился Адыке.— Ты что мелешь, безголовая женщина? Разве могу я простить ту, которая презирает моего единственного сына и пытается уйти от него?

Старушка обняла колени бая и, целуя подол его халата, страстно взмолилась:

— У нас говорят, если враг твой падет на колени перед тобой, прости его вражду,— повинную голову меч не рубит, пощади невестку, и она будет верной рабыней у твоего очага. Я очень прошу — подари ее жизнь мне, смени гнев на милость, о великодушный бай.

Старуха Кенжеккан своими причитаниями изрядно надоела Адыке, он резко махнул короткой жирной рукой:

— Хорошо. Прекратите побои!

Джигиты, услышав громкий окрик хозяина, опустили плети и оставили Батийну.

Постанывая над женщиной, старуха смыла с нее кровь, сделала примочки, перевязала ссадины. Едва открыв заплывшие глаза, Батийна вполголоса попросила:

— Пи-ить... Пи-ить!

Кенжеккан с радостью поднесла чашку к ее бледным губам. —Бедняжечка, и зачем только ты родилась на свет? Лучше бы умерла еще маленькой, чем вот так мучиться!

С разрешения бая Батийну отвязали от столба, и старуха проводила ее в свою юрту и уложила в постель.

— Ох, отец, отец...—металась Батийна, теряя сознание.— Зачем ты не отдал меня за Абыла? Теперь, видишь, меня нет в живых. Что ты будешь делать без меня? Мой желанный Абыл, где ты, отзовись! Спой мне песенку, милый.

Скорей спой. Ой, я сгораю!

— И тебя горькая жизнь разлучила с любимым. Абылом, говоришь, звали. Вон кто, оказывается, избранник сердца?!

Старушка смачивает тряпочку в холодной воде, прикладывает к разгоряченному лбу Батийны и опасливо шепчет: «Хотя б никто не услышал ее бред. Услышат — ей несдобровать, да и мне, ее заступнице».

Батийна постепенно приходила в себя. Тело, избитое плетками, надсадно ныло, раны заживали медленно, покрываясь шершавой желтоватой корочкой. Она еще не вставала на ноги, но уже самостоятельно могла сидеть в подушках.

Снаружи слышались знакомые голоса,— говорили мужчины. Адыке кого-то изругал, раздались гулкие удары и визгливый свист плетей. Батийна не догадывалась, что там происходило. Вдруг в юрту вбежала Кенжеккан.

— Ой, безжалостный стервец, не приведи господь! — всплеснув руками, заохала старуха.— Кто еще видел подобного ему изверга? Хоть бы скорее пришла весна. Отсюда надо уезжать!

Батийна, все еще ничего не понимая, с замирающим сердцем спросила:

— Что там, тетя? Вроде бы кто-то дерется?

— От твоих родственников приехали люди. Среди них пожилой человек Сарала. «Я, говорит, старший брат Батийны». Спокойный, видно, хороший человек. С ним еще Джусуп и джигит от Акимкана. Говорят, Сарала и Джусуп побоялись одни сюда приезжать, так Акимкан подбавил помощника. Адыке к Сарале не притронулся, как ни говори, престарелый человек, с осанистой бородой. А джигита и Джусупа твой свекор велел привязать к столбам и как следует взгреть. Возможно, он зол на Джусупа? Может, тот чего-то задолжал свекру? Не знаю, доченька.

Батийна представила себе добродушное, открытое лицо Джусупа, с иссиня-черной бородой.

— Боже мой, из-за меня сейчас выпороли безвинного дядю Джусупа!

Бубнящие голоса, возня и гулкие удары на улице долго не утихали.

Акимкан, узнав, что Джусупа и его верного джигита привязали к столбу, не на шутку обозлился и поспешно направил гонца.

— Пусть Адыке не сходит с ума. Я с ним рассчитаюсь, и довольно быстро.

Джусуп — мой гость, значит, он лицо неприкосновенное. Пусть Адыке не наступает на мой хвост, иначе пропадет,— ужалю.

Гонец донес слово в слово. Их хорошо слышала и Батийна.

— О боже,— прошептала она,— неужели нашлись люди, которые осмелятся пойти наперекор моему свекру?

Угроза Акимкана возымела свое действие,—Адыке поубавил свой пыл, хотя еще и огрызнулся:

— Я тоже сын бека! Пусть Акимкан мне не приказывает! Сам знаю, что делаю!

Но все-таки присмирел. Даже в голосе его слышалось меньше злобы, словно он склонил голову перед всемогущим человеком. Прибывший гонец между тем без смущения, громко продолжал пересказывать волю Акимкана:

— Великодушный батыр Акимкан настаивает, чтобы безумец Адыке не ронял своей родовой чести и почитал своих достопочтенных предков. Чтобы должным образом встретил свата и не топтал обычаев народа. Пусть Адыке запомнит: если он будет самовольничать, то управа на него найдется.

Стараясь не показать, что волнуется, Адыке возможно равнодушнее сказал:

— Сообщи своему батыру, чтобы напрасно не кипятился. Тут нет вора, который у бога соль украл.

— Как знаешь, Адыке. Я тебе передал то, что было мне велено передать.

Во дворе настала непродолжительная тишина, затем послышался удаляющийся конский топот.

— Разве дядя Сарала так и уехал, не повидав меня? Столько ехал, ехал...— спросила испуганная Батийна.

Адыке все-таки не решился нарушить обычай гостеприимства,— наверное, из чувства страха он оставил Саралу на ночь. Гость, чувствуя за собой верную поддержку в лице Акимкана, сказал: -

— Батийна — наша младшая сестра, Адыке. Ты не очень-то ее оскорбляй.

Если считаешь меня из недостойного уважения племени, то знай, что твой брат Акимкан тоже приходится родственником Батийне. Не забывай, что и мы не простой народ и унижать нашу дочь не позволим.

Адыке, краснея и бледнея,. Длился на Саралу. Но против справедливых упреков ничего не поделаешь.

Перед тем как пуститься в обратный путь, Сарала зашел в соседнюю юрту (попрощаться с Батийной. Собрав все силы, чтобы не жаловаться

родственнику на свои мытарства, она приподнялась на локтях и села.

Сарала молча прошел, молча опустил на колени и поцеловал Батийну в лоб. Рассказав новости, какие произошли в аиле после ее отъезда, передавал

привет от отца и матери, он послушал у нее пульс, — сердце билось учащенно, как птичка в неволе. «Ну и кровожадный пес! Допустимо ли так издеваться над человеком?» — мысленно возмущался старший дядя, а вслух сказал:

— Тебе уже немного лучше, родная моя. Правда, еще держится жарок. Полежи спокойно. И попей день-другой кёк-су¹.

— Скажите отцу, что я живу из последних сил,—Батийна едва сдерживала рыдания.—Он мне часто рассказывал про охотника Эмиля. Правда, отец проводил меня без таких почестей, с которыми охотник Эмиль провожал свою дочь. Зато Эмиль уберег свою дочь от козней джезтумшука, а мой отец сдал меня прямо в руки свирепому людоеду. Скажите ему, пусть торопится, если еще может меня спасти от ненавистного злодея. Это вам аманат — моя сокровенная просьба. Не подумайте, что я говорю сгоряча... Смерть моя будет на вашей совести.

Сарала попробовал утешить Батийну:

— Не делай глупости, Батийжан. Хоть ты и наше дитя, но вошла в чужую семью. Теперь власть над тобой у других. За строптивость и непокорство тебя не пощадят. Бедный твой отец далеко отсюда. Даже будь он рядом, все равно ему нечем помочь. Приведись ему услышать что дурное про любящую дочь свою, он будет страдать. Не бери его больное сердце. Конечно, твои слова передам, обязательно передам Казаку. Не падай духом, не унывай, если помощь придет не так быстро. Прощай, дорогая, будь здорова!

Прежде чем встать на ноги, Батийна еще дней десять пролежала в постели. Жизнь ее ничуть не стала легче. Никто ее не пожалел. Она уединялась в ущелье, заготавливая дрова, и, чтобы немного утолить душевную боль, пела: Из синей ленты пояса не делай..

Не подпоясывай лентой белой

И дочек не рожай рабынь

Чья доля горше, чем полынь.

Отец, зачем нашел ты мне злодея —

На мужа я взираю холодея.

День страшен, но страшнее ночь.

Отец, зачем сгубил дочь?

Ну от кого мне ждать подмогу —

От горного зверья иль-от луны и бога?

Или спасения не ждать

И молодую пропадать?

Наверное, напрасны все усилия,

Не слушаются молодые крылья,

Дни облегченья не придут,

И счастья ждать — напрасный труд.

А в небе звезды — красками палитры,

Полощутся в ручьях прозрачных выдры,

И сладко девушкам опять

Любимых с грустью вспоминать.
 За что, за что попала я в немилость,
 Звезда моя так рано закатилась?
 И одиночества страшной
 Гряда моих семейных дней.
 Из глаз моих ручьями льются слезы,
 И гнутся станы девичьи, как лозы.
 О если б кто-нибудь, храня,
 Стал, словно крепость, для меня.
 Я б ртутью растеклась — что хочешь делай.
 Я б к облакам взвилась, как сокол белый.

Лебедушкой под облака

Взвилась, бела бы и легка.

Наступит ли конец моим страданиям,

Наступит ли конец моим рыданием,

Когда я распрощаюсь с тьмой,

Когда придет желанный мой?

...Много снега навалила зима в ту пору. Не стихая, завывал бурой, мела пурга, по отшлифованным скалам крутило порошей. Даже неприступные вершины звенели от холода как натянутая тетива. Снег высоченными сугробами залёг ложбинах, у рек и речушек, шапками висел на таволге на елях.

День-деньской и ночи напролет бушевал колючий ветер. Горы оставили не только люди и скот, белые винторогие архары, которым, казалось бы, нипочем любая стужа, и те покинули их. Великие горы долго не сбрасывали своей пышной, ослепительно белой шубы. Трудно досталось людям. И скот в ту зимнюю завируху отоцал,— кожа да кости.

Предусмотрительные хозяева откормили одного-двух валухов. Но их давно съели. Беда голода и холода прокралась в юрту бедняка, коснулась и баев, отняла силу, лишила веселья. Эта доля не миновала и Адыке. Почти весь его скот дошел до истощения; в косяках лошадей, что паслись на лучших травяных склонах-солнцепеках, даже там нередко найдешь одну-две головы на убой. В подобную лихую годину даже не последние манапы шли с поклоном к баю, выпрашивая на убой крупного барана или отходившую свой срок кобылу.

На еще пригодных на мясо лошадей Адыке зарился и его брат Акимкан, считавший, что Адыке все лето стравливал лучшие его, Акийкана, выпасы. Адыке был обязан помимо этого уплатить виру за то, что избил его джигита и гостя Джусупа. Едва подошло время убоя, Акимкан послал к младшему брату гонца с такими словами:

— Адыке виноват передо мной дважды: за выпасы и за избиение моих людей. Пусть за это злодеяние расплатится скотом на зимний убой.

Гонцом был все тот же громкоголосый, плечистый Балбак, что однажды смело приезжал к нему. Ничуть не смущаясь и на этот раз, он передал слова хозяина:

— Меня снова прислал батыр Акимкан. Он говорит, что твой скот все лето и всю осень выбирал травы его пастбищ. Бай просит согум¹.

Адыке разобиделся и чуть было не выпалил:

«Пошел ты к дьяволу со своим Акимканом. Разве твой батыр мало получил от меня согума? Разве он забыл, как без спроса зарезал мою лучшую кобылу и не расплатился за нее? Или я тот человек, который все время должен давать согум твоему батыру? Нет уж, лучше иди своей дорогой».

Но вовремя спохватился, испугавшись гнева Акимкана, и, накиннув на открытые плечи шубу из волчьих шкур, недовольно пробурчал себе под нос:

— И наши лошади сильно отощали. Ни одной нет на убой. Так и скажи своему батыру.

Балбак, решив потешиться междоусобицей двух ненавидевших друг друга братьев, переиначил слова Адыке.

— Батыр, ваш бай не намерен давать вам согум. Мой скот,— так он сказал,— находится на своих пастбищах. А твой батыр пусть вымещает свою злость на других.

Акимкан, восседавший на горке шелковых одеял, застланных сверху огромной шкурой белого медведя, в накинутой на плечи мягкой и пушистой шубе, побряхтывая от удовольствия (младшая жена нежно растирала ему колени), захохотал:

— Значит, этот щенок мнит себя снежным барсом и дерзко показывает мне клыки? Немедленно поезжайте и пригоните из его косяка самых лучших и жирных кобыл!

Расторопному джигиту Балбаку как раз это и было на руку.

На пастбище Адыке он поймал трех упитанных кобыл. Одну проворные джигиты прирезали вместо овцы и свезли мясо к юрте Акимкана.

Такое покушение со стороны родовитого батыра отнюдь не считалось зазорным. Разумеется, Адыке не станет жаловаться на Акимкана, что тот угнал его кобыл и перерезал им горло. Закон не писан Акимкану — сыну старшей почтенной жены Барак-хана, да, кроме того, Акимкан старший брат Адыке. А по исконным обычаям, старший брат безоговорочно вправе распоряжаться богатствами младшего. Адыке отдавал себе ясный отчет: он просто боялся Акимкана. Грозное страшилище для окружающих, Адыке тут заставил себя смириться, затаил мстительную обиду: «Ничего, мы еще посмотрим. Придет и мой черед... А пока что надо держаться подальше от этого питона». Он понимал, что лучше ему отсюда уйти подальше, но долго не решался, куда именно перекочевать. Ведь каждый склон ущелья, любая лощина, устья рек — все имело своих хозяев с древних времен. «Пожалуй, лучше всего перебраться на пастбища Кара-Коо», — подумал было он, но, поразмыслив, от этой затеи отказался. Но в конце концов, не найдя другого стойбища, Адыке обосновался в Кара-Коо.

...Давно прошла весна, отягнились матки, скот набрал в весе,— жизнь возвращалась в свои берега. Мужчины сменили на белые легкие калпаки свои зимние теплые, пропахшие потом, тебетей, на плечи накинули легкие халаты—чепкены, они снова садились на крупных коней, разъезжали по аилам, попивали душистый кумыс,— каждый делал свое дело.

Сменили зимний наряд и женщины. Их головы теперь украшали пестрые косынки и белые платки. Одни крутили веретено, заготавливая пряжу, другие выволакивали мешки с шерстью, расстилали ее на дерюгу и розгами взбивали и пушили, третьи топтали серые кошмы. Девушки, что всю зиму сидели в юртах за рукоделием — вышиванием, раскройкой платья, отделкой домашней утвари, теперь появлялись на улице, ходили друг к другу в гости, 5а ребята не могли наиграться на солнышке.

Ветвистый род Адыке рассыпал свои юрты по просторной солнечной долине. Подслеповатые старцы грели свои озябшие за зиму кости. Возле белой юрты Адыке с самого утра группа женщин трудилась над укладкой промытой шерсти в продолговатые циновки из жесткого стебля чия,— они готовили кошму.

Салкынай, которая своими руками не прикасалась к работе, распоряжалась кошмовницами: «Делай так, делай этак». Из снежно-белой шерсти, пушисто взбитой тоненькими палочками— розгами, она заставляла изготавливать кошму для жайнамаза. Зеленую и красную шерстяную пряжу по ее указанию мотали в круглые тугие клубки, а другие женщины покрывали кошмы разноцветными орнаментами. Под звонкий смех и веселые шутки женщины взбивали белую, черную, бурую овечью шерсть.

Когда требовалась большая сила на уминании и взбивке кошм, байбиче рядом с Женщинами ставила выносливых жилистых джигитов. У Батийны было свое дело. На рослом быке она волокла, уложенную в циновку почти готовую тяжело набрякшую кошму. Расстояние от аула до большого белого камня вол еле шел, как могут тащиться одни вола. Батийна словно плыла по воздуху, щеки у нее жарко пылали от выпитого весеннего крепкого кумыса. Она доехала последний раз до заветного белого камня уже поворачивала назад, как тут показался пожилой всадник,— коротко подстриженная борода, лукавые глазки.

— Постой, доченька. Скажи, чья ты сноха?

— Я невестка батыра, дядя,— Батийна всегда свекра величала батыром.

— А родом откуда? — не унимался старик.— Где твои родители?

— Мы из джумгалских саяков.

Старик ближе подъехал к Батийне и стал показывать какие-то вышивки.

— Доченька вот это не узнаешь, случайно?

Да, этот амулет и наволочку для подушечки она вышивала еще девчонкой.

— А как они попали к вам? — вскрикнула удивленная Батийна.

— Хорошо, что ты помнишь изделия своих рук спустя столько лет,— сказал всадник. — Я тоже женат на дочери из рода саяков. Мы с тобой, значит, близкие. Доверься мне. Как только стемнеет, приходи вон к той серой юрте,

из нее курится дымок... Это моя юрта. Там тебя ожидает младший брат отца Мукамбет... Так не забудь: мы ждем тебя вечером.

Батийна чуть не расплакалась от радости.

— Конечно, дядя, обязательно приду. Вам заранее спасибо. Если вы меня спасете, никогда не забуду вашей доброты.

— Бог свидетель, постараемся, доченька. Приходи.— И как ни в чем не бывало он поскакал своей тропинкой.

Батийна не помнила, как доехала до аила и как слезла с вола. Чтобы не выдать своей тайны, она еще усерднее работала

Жайнамаз — коврик. Подстилается под ноги во время намаза.

по хозяйству и между делом собрала одежонку и вещи, не соблазнившись на байские наряды. «Пусть подавятся своим добром,— шептала Батийна.— Оно им когда-нибудь боком выйдет». С собой решила взять вышивки, подседельник, стремяна, нагрудник, подхвостник, подпругу — все, что она мастерила сама или ей дали отец и мать.

В сумеречной тишине, когда в аиле прекратилось всякое движение, Батийна с узелком под мышкой бесшумно подошла к серой юрте. Дядя Мукамбет уже держал за повод оседланного коня. Увидев племянницу, зашептал:

— Вот хорошо, что ты пришла. Слава богу, жива и здорова. Отец твой ждет тебя в горах, там повыше. Бог даст, уйдешь от смерти... Сейчас поедем

Батийна в знак признательности оставила старику подседельник и стремяна.

Глубоко за полночь всадник и рядом с ним пешая Батийна приблизились к высокогорному аилу. Весь путь 4 по горным тропкам она шла вровень с лошадью. И лишь когда стали карабкаться вверх, запыхалась и ухватилась за стремя коня.

Тут их встретил залиvistый лай собак и неожиданно выросший будто из-под земли человек. Батийна вздрогнула.

— Это отец,— успокоил ее Мукамбет Бедняга, заждавшись, наверно, нас.

Батийна бросилась к отцу в объятия Казак плакал, целуя дочь, и сквозь слезы, бежавшие по его поредевшей бороде, шептал

О невинное мое дитя! Сколько тебе пришлось пережить,

бедняжке! И все из-за того, что угораздило тебя родиться девочкой.

Проклятый Адыке не пощадил тебя... Много слез принес нам нечестивец. О, с каким бы наслаждением я выбил клыки этому кабану! Но, увы, нет у меня на то воли. И в какой только черный день угораздило моего отца породниться с этим коварным псом? Яркая моя звездочка! Не погасли ли твои лучи?.. Жива и здорова, моя милая?

Упав ему на грудь, обнимая отца за шею, Батийна никак не могла успокоиться.

— Неужели это правда, отец, что я вижу Икс? Вы здоровы? Утешая дочь, Казак говорил:

— Ты теперь снова со мной. Здоров я, но тоска по тебе истерзала мне сердце, доченька. Мысли тебе забрали у твоего отца всю радость, всю С1ру, всю волю. Не боялся твой отец встретиться даже со львой а теперь страшится и

зайца. Даже не верится, что я вырвал тебя из пасти этого хищника. Неужели, не к ночи будь скажы мы еще раз попадем в расставленные ловушки?

СОЛНЦЕ ОСВЕЩАЕТ НЕ ВСЕ ГОРЫ

Асантай и Барман возглавляли крупные ветвистые роды. По богатству, по власти они стоили друг друга, не было случая, чтобы кто-нибудь из них по своей воле подчинился другому, склонил колени перед другим. Они были на равных даже по количеству зависимых кочевников. Род Асантая насчитывал около полутора тысяч юрт- Род Бармана тоже превышал тысячу юрт. Эти аилы так и назывались по имени их властелинов: народ Асантая, народ Бармана.

Слава их разнеслась далеко по округе и достигла рода буту из Заозерья, и рода солто из Чуйских степей, и рода кучу из Таласской долины. Асантая, Бармана знали не только киргизские племена, но и соседи — казахи.

Достаточно назвать имена Асантай и Барман, и каждый киргиз или казах как бы видел двух мощных баев и заодно многолюдные племена этих аилов.

Братья Асантай и Барман хотя и возглавляли родственные племена, но очаги их не горели рядом. Не жили они друг с другом в мире и согласии. Но стоило появиться малейшей угрозе со стороны более крупного рода, как братья сплывали свои силы и ожесточенно дрались за «поруганную честь». Иное дело — внутренние споры между Асантаем и Барманом, возникавшие из-за неподделанных пастбищ или из-за смешавшегося скота. Они кончались кровавыми схватками с оружием в руках. Лишь аксакалам и судьям из других племен удавалось тушить возникшие распри. Сторона, повинная в гибели воина, вынуждена была платить изрядную виру — штраф за смерть, а пострадавшие надолго затаивали месть и злобу. В аиле наступали смутные, беспокойные дни/ Особенно тяжело в таких случаях приходилось бедному люду,— на него сваливались непосильные налоги. Многие бедняки расставались с последней кормилицей — коровой или с последней лошадкой за убийство человека.

Междоусобные распри в аилах Бармана и Асантая вылились этой весной в кровавую рукопашную из-за дележа горных пастбищ. Нападающей стороной был аил Асантая. В драке рассекли щеку старшему сыну Бармана — Карыпбаю. Позорный отпечаток на лице сына почтенного предводителя рода означал, что ощутимо задета честь всего рода Бармана.

— Если они украсили лицо Карыпбая узорчатым шрамом,— клятвенно пригрозила барманская сторона,— то мы выьем глаз у сына Асантая — Асека.

Они стали выслеживать Асека. Там, где встречались люди двух родов, сразу же разгорались стычки, звучали бранные слова, раздавались удары плеток, вместо, обычных приветствий — угрозы. Наступили тревожные времена.

— Они изуродовали красивейшее лицо почтенного Карыпбая. Они также опозорили нашего аксакала. И мы не согласимся восстанавливать спокойствие и благоденствие, пока

Асантай не уплатит нам за этот шрам столько, сколько бы причиталось за убийство самого храброго джигита,— сказали старцы из рода Бармана.

— Нет,— возразила противная сторона,— столько мы отказываемся платить! Ведь мы на самом деле никого не убивали и нашего общего союза не нарушали. Что из того, что рассекли лицо Карыпбая? Что за это надо уплатить, мы сами знаем. У нас тоже свои изувеченные лица. Значит, мы квиты. Это должны учесть судьи.

Все аксакалы из рода Асантая сошлись на едином мнении. Сторонники же Бармана их и слушать не пожелали. Страсти неудержимо разгорались. Великие горы снова окутал снег, айлы очередной раз перекочевали в места потеплей и поукромней — на зимние пастбища. Имущие точили ножи к забою скота. Бедняки варили бозо¹ угощали джигитов, возбуждая кровь и воображение.

По айлам, словно молния, распространился слух о том, что подвыпившие джигиты, встретив сына Асантая — Асека, связали ему руки-ноги. И это была не сплетня, а сущая правда.

Асек с десятью своими джигитами выехал поохотиться с ловчим беркутом в горы. Это подсмотрели дозорные из айла Бармана, и вскоре более десятка дюжих захмелевших джигитов, прихватив с собою увесистые дубинки, незаметно выехали следом за Асеком и его друзьями. Ничего не подозревая, те втянулись в азартную охоту с соколом на диких индеек и горных пестрых куропадок — кекликов. В самый разгар охоты с гиканьем и посвистом на них налетели джигиты Бармана, а Асека — стыд и срам! — спеленали веревкой. Джигиты обоих родов седлали резвых и горячих коней, вооружались булавами, дубинками, плетками. Уже готовились к кровопролитной схватке. Участились внезапные налеты на стада, а угон скота, избиение пастухов и первых попавшихся людей стали повторяться изо дня в день. Все старания красноречивых аксакалов уговорить горячие головы, прекратить вражду оказались тщетными. Народ Асантая был до крайности возмущен тем, что над их соколом надругались, «Они задели нашу честь! — кричали горячие головы.— Мы никому не позволим топтать ее!» К Барману спешно послали гонцов.

— Мы не убивали ваших джигитов, Бармап. Мы не нападали на ваши айлы, Барман. Почему же вы напали на наших славных молодцов и оскорбили их честь? Мы не можем с этим смириться и за нанесенные оскорбления отомстим. Где ваши воины? Мы готовы сразиться. Но вспыхни такое сражение, и пожар ненависти охватит все земли между нашими племенами, многие джигиты погибнут и получат увечья. Впоследствии каждой стороне придется расплачиваться своим скотом, Люди обнищают.

Никто, пожалуй, не понимал лучше грозившей опасности, чем старшая жена Бармана Гульгаакы.

— Властелин рода,— так Гульгаакы всегда величала Бармана,— в распре иногда и богатыри погибают. Прекрати же смуту и останови сражение. Пусть наши джигиты, оскорбившие Асека, встанут перед ним на колени и попросят прощения. О властелин, решительно отведи горе и несчастье от своих людей!

«Кажется, она права,— подумал Барман.— Зря мои джигиты унизили благочестивого юношу».

Барман прислушивался к голосу байбиче. Он сказал:

— Конечно, в твоих словах много правды, сокровищу моей семьи. Один разок можно бы поклониться Асантак. Но оценит ли он должным образом мое великодушие? А вдруг на следующий день еще яростнее полезет на рожон?

Подождем, не стоит преждевременно признавать себя виноватым.

Гульгаакы,— муж называл ее не иначе как «сокровищу моей семьи», а другие величали ее владычицей племени,— могла бы, не будь она женщиной, превзойти любого почтенного мужчину. Каждое произнесенное байбиче слово было продумано и взвешено. Даже самые почтенные аксакалы знали цену Гульгаакы, и нередко можно было слышать: «Все, что скажет наша мать, нам на пользу».

Гульгаакы, никогда не ронявшая своей высокой чести, попросила оседлать ей лучшего иноходца с ровным, но быстрым ходом, в дорогой шубе, высоком белом элечеке, с множеством ожерелий и бус, амулетом, звонкими блестящими монетками старой чеканки, вплетенными в тугие косы, словно грациозная и красивая молодайка, явилась к старейшинам. Тугая платка из тонкой желтой кожи, прикрепленная к ножке косули, красовалась у нее на пальце. Обычно плетку так небрежно де>ржали brave джигиты.

С простым людом она не поздоровалась. По обычаям женщина не должна приветствовать мужчин. Байбиче склонилась в низком поклоне, по ложа руку на сердце.

— Люди мои, не вините меня, что я, женщина, приехала на сход мужчин. Но по чести я обязана находиться сейчас среди вас. Я хочу сберечь спокойствие моего народа. Пусть междоусобицы раздирают лишь стан наших врагов. Нам нужно умиротворение. Я думаю, уважаемые аксакалы, Асантай никакой не враг наш. Мы с ним две ветки с одного дерева... Целое лето же утихала смута из-за пастбищ, причинившая нам всем много волнений. Теперь из-за каких-то мелочей опять разгораются страсти, снова назревают горячие споры. Вы воображаете, что задета наша честь. Неправда! Из-за пустяков честь не пятнается. Джигиты, которые считают себя оскорбленными, не свалились с неба. У Карыпбая чуть рассечена щека. Он мой сын. Когда я родила его и Нарекла Карыпбаем, мне хотелось, чтобы он не единожды падал с верблюжонка, чтобы закалялся и крепчал в драках со сверстниками. Мой выросший сын подрался, и его побили. Ну и что? Неужели из-за этого скандального происшествия мы все, сотни и тысячи людей, полезем драться... Не верьте, что задета ваша честь. Я, как мать, прощаю того, кто плеткой нанес удар моему сыну. Помирятся. Не горячите понапрасну свою кровь. Помиритесь со своими родственниками, с Асантаем. Где царит согласие и взаимопонимание, там и счастье прочнее. Асантай — не враг нам... Свой же, близкий человек.

Все, кто раньше шумно рвался в драку, приостыли. А старейшины, и до того не очень-то жаждавшие мести, одобрительно подхватили слова байбиче Гульгаакы.

— Правильно, надо прекратить раздоры и успокоиться. Ведь мы — две три на одном дереве. Зачем оно нам, напрасное кровопролитие? Асантая надо успокоить,— решили они и направили к нему гонца.

Но Асантай, то ли в него вселился бес, то ли его сердцем завладела неистовая буря, никак не соглашался мирно покончить с тягостной междоусобицей.

— Не я первый затронул Бармана. Он меня крепко обидел и оскорбил мою родовую честь. Пусть сам приезжает на откровенную беседу. Иначе не пойду на перемирие. И успокоюсь лишь на поле битвы!

В конце концов гаснет и самый неистовый пожар и сумасшедшая буря утихает. Суровая жизнь сама рассудила двух властелинов. Кровь не пролилась. Страсти улеглись. И достигнуто это было благоразумием и красноречивыми словами Гульгаакы байбиче.

— Вот это женщина — байбиче Бармана! Чистая, дальноркая, умная...

Прямо-таки нынешняя Каныкей¹. Барман стал Барманом лишь благодаря ей — этой лучезарной и целомудренной женщине! А кто он, собственно, Барман? Такой же черный киргиз, ничем он от нас не отличается. Господь бог подвалил ему счастье в образе этой женщины в белом элечеке. Нашим женам есть чему поучиться у Гульгаакы байбиче,— восторженно отзывались многие. Некоторые баи подумывали даже взять в невестки ее дочь. Недаром народ говорит: «Погляди сперва на мать, потом бери в жены ее дочь, посмотри на дверь, а потом входи в юрту». В роду Бармана мужчины в общем недалекие, а девушки башковиты. Лучшие люди у них прячутся на женской половине. Имя байбиче Гульгаакы с быстротой молнии распространилось и среди дальних родов. Даже Асантай и тот восхищался ею теперь, восседая громадной тушей на сером грудастом жеребце с блестящей гривой. Закусив губы, мысленно соглашаясь с Гульгаакы, он почесывал висок рукоятью плетки и с завистью думал: «И умная женщина досталась брату Барману. О, господи, почему мне не выпало такое счастье, как Гульгаакы».

Краснощекий весельчак Мырзакан, на черном коне, лучший друг и советчик Асантая, как бы между прочим бросил:

— Мой бай, у Бармана есть младшая дочь, красавица Айнагуль. Не послать ли сватов и не положить ли таким образом конец всем распрям?

«А за кого же ее сватать? Может, мне взять второй женой? А то, недурно придумано!» От этой великолепной мысли у Асантая вмиг поднялось настроение.

Мырзакан, предлагая посвататься к Барману, не успел подумать, за кого, собственно, будут сватать Айнагуль. Он привык ценить и уважать женщину-мать, женщину-труженицу и презирал мужчин, бравших по нескольку жен, которыми с легкой душой помыкали, при случае и рукам своим давали волю. Сам Мырзакан женился на шестнадцатилетней, и она подарила ему

двенадцать детей,— он очень гордился женой и называл ее не иначе как «матерью своих детей, богатством семьи». О том, чтобы взять себе еще жену, Мырзакан и не помышлял: где там, когда уже дети взрослые, впору их самих женить. Хорошо бы женить на Айнагуль старшего сына и дожидаться, когда от его семьи, как от могучего ветвистого дерева, пойдет многолюдный сильный род.

Но бессовестно брать второй женой девушку, которая вполне годится тебе во внучки. Мырзакан чуял, что Асантай хотел бы сам жениться на Айнагуль, чтобы лишний раз козырнуть своим богатством перед другими баями.

— Ваш младший сын Рамазан уже стал джигитом,— поглаживая шелковисто-черную бородку, повел речь Мырзакан.— Я буду откровенен, не утаю от вас истинной правды. Хотя и Рамазан вашей крови, но, увы, не в вас он ни лицом, ни умом, ни красноречием, ни силой. Грубый он какой-то, неотесанный. Не обижайся на меня... Рамазана надо бы женить на умной девушке. Иначе он может запятнать ваше доброе имя. Нам нужно прямо взять быка за рога. Скажем, давай побратаемся, свяжем наши узы сватовством и успокоимся: впредь не будет между нами распрей. Увидите, Барман не откажется породниться через свою младшую дочь.

Асантай, выслушав Мырзакана, согласился с ним: советчик хотя и говорит редко, но метко. Первым сватом к Барману направился Мырзакан.

Мырзакан,— он не однажды гасил возникавшие перебранки между аилами, разнимал, можно сказать, дерущихся, — умел дать своевременный совет, желая людям мира и благоденствия.

Не теряя достоинства, поглаживая бородку, он внушительно сказал Барману: — «Молодцы мирятся в борьбе»,— говорят в народе. Живем мы всегда рядом. Хорошо знаем друг друга, считай и в радости, и в горести вместе. Жить и жить нашим родам в мире и согласии. Вы с Асантаем — не кровные враги, а кровные братья. Ваше братство должно быть еще крепче. Поэтому свою младшую Айнагуль нареки младшему сыну Асантая Рамазану. Что может быть выше уз сватовства? Посватайтесь и забудьте все обиды...

Барман чуть было не вспылал, но Гульгааки, внимательно выслушав Мырзакана, остановила мужа:

— Согласись, властелин рода! Нет лучше места для нашей дочери, чем род Асантая. Правда, сын его, Рамазан, я заметила, немного с придурью. С ним будет трудно. — Но тут же байбиче себя поправила: — Что поделаешь... Умная женщина удлинит короткое, выравнивает кривое и безумному возвращает рассудок. Пора навсегда покончить со злобой между нашими родами. Согласись, милостивый властелин.

— Кого же мне слушаться, как не тебя, благоденствие семьи? Ослушаться тебя, могу накликать гнев Умай-эне¹, святой праматери. Хорошо, даю свое согласие. Пусть отныне счастье сопутствует нашей дочери!

Асантай, подвязав к челке породистого жеребца клочок белой ваты, велел гнать к Барману косяк в сорок лошадей. Отправил и Рамазана повидать невесту. Вместе с ним поехали комузисты, голосистые певцы, весельчаки и шутники,

отлично знавшие традиции сватовства. Жених был в шапке с куньей опушкой и верхом из красного бархата, в жеребковой дохе, в блестящих, со скрипом сапогах. Но как там жених ни был торжествен, как ни сверкал новеньким нарядом, все равно он не очень понравился невесте.

По случаю приезда Рамазану отвели большую белую юрту, он прожил три дня, и все время не прекращалось веселье, затевались игры. Однако безрадостное настроение не покидало Айнагуль. Не по годам проницательная, она с первого же взгляда поняла, что нареченный жених — человек весьма недалекий. Девушка со смешком подсаживалась к жениху, поддразнивала его игривыми, колкими словами, старалась вовлечь в разговор. Рамазан все так же вяло отзывался — ни рыба ни мясо. Ни речами своими, ни своим пухлым, похожим на сдобную пышку лицом он не согрел девичьего сердца. Айнагуль ясно представляла свою будущую жизнь с этим недорослем и чувствовала себя самой несчастной из несчастных девушек по всей округе. «А что, если я сама пущусь на поиски своего счастья?» — пришла ей на минуту в голову шальная мысль.

Айнагуль верилось, что вся ее жизнь будет протекать в беспечном и шумном веселье. Но как солнце не одинаково освещает пространство между гор, так и дети, даже у самых зажиточных людей, имеют разные судьбы; у каждого свои радости, свои печали. Свою дальнейшую жизнь с мужем Айнагуль видела довольно смутно, словно в белом молоке тумана. Одно было ясно: быть ей непоправимо несчастной, если выйдет за Рамазана. То, что Айнагуль невзлюбила жениха, к хорошему привести не могло. От зорких глаз матери ничего не могло укрыться. Не теряя напрасно времени, Гульгаакы стала внушать ей, что женщине с характером и выдержкой дано переделать даже самого дурного, недалекого человека, что девушка не должна противиться своей судьбе, что жестокие пытки и муки ожидают ее, если она посмеет отказаться от своего нареченного. Гульгаакы, чтобы не ранить нежное сердце дочери, внушала это не прямо, а больше намеками. Как говорится: «Я обращаюсь к кереге, слушай меня ты, моя сноха». Поглаживая ее косички, Гульгаакы байбиче ласково говорила словно кому-то, а не Айнагуль:

— Каждому светит свое солнце. Человек в трудные дни не теряет самообладания, не верит лестным и пышным словам, не боится отвечать прямо. Даже тяжкую работу, которой страшатся глаза, все равно выполняют руки. Даже юродивого умная женщина может исправить. Сплетни и ложь сеют смуту в аиле. Не прислушивайся ко лжи, а если и услышишь ложь, то наглухо закрой свои уши. Справедливый совет всегда запоминай. Зерно, выращенное от чистых семян, приносит богатство. От хороших, душевных слов человеку становится приятно. Даже сырые дрова загорятся, если их умело разжечь. Даже в стужу тепло, если рядом с тобой добрый друг. От скандалов может расколоться голова. Согласие в юрте зависит одинаково что от мужа, что от жены. Богатство, нажитое годами, может разлететься в один день. Если ты, доченька, уважаешь меня, свою мать, то запомни на всю

жизнь: не думай, что всегда и везде тебе будет так же хорошо, как хорошо было у родительского очага.

Айнагуль не вняла голосу матери. Она не смирилась со своей судьбой.

Сладостные мечты рисовали перед богатой девушкой совсем другую жизнь, и Айнагуль поделилась сокровенными мыслями с любимой джене, сказав, что, пока она жива, она ни за что не пойдет за Рамазана. Секрет Айнагуль недолго оставался в тайне. Пошли суды-пересуды, что дочь Бармана не желает себе в мужья сына Асантая.

Прошла цветущая весна, и все снова выехали со скотом на летние выпасы.

Караван верблюдов Бармана растянулся почти на целый километр пестрой лентой. Мужчины темной массой выехали вперед. Женщины в белых высоких элечеках, молодайки в косынках и платках вели за поводья верблюдов.

Айнагуль ехала на молодой, горячей серой лошадке ровной иноходью. От нее ни на шаг не отставала джене. Другие девушки держались обособленной цветистой стайкой: их головы украшали шапки из шкурок выдры с совиными перьями, грудь и шея поблескивали от множества янтарных ожерелий, бус, амулетов; в косах позванивали, переливаясь мелодичным звоном, пышные украшения; их талию стягивали нарядные платья с оборками.

И кони под девушками были красиво убраны. Кожаные потники с серебряными бляшками по краям, двуглавые посеребренные просторные седла, чересседельники, нагрудники, уздечки, подхвостники — все на них сверкало и переливалось на горном солнце. У каждого верблюда на шее подвешен колокольчик, и от их размеренного плавного хода в горах стоит мелодичный перезвон.

Когда богатый караван (ковры, домашняя утварь были увязаны на верблюдах и сверху укутаны плотными покрывалами) оказался на перешейке, им повстречалось человек пятнадцать всадников. У всех были горячие, быстрые кони — хоть разом на скачки. Молодые всадники, все как на подбор, в добротной одежде. На гнедом, как огонь, иноходце гордо восседал привлекательный широкоплечий джигит. Он выделялся своим бравым видом и осанкой.

Рядом с ним на черном как смола иноходце сидел высокий джигит, видимо его лучший друг. Поравнявшись с кочевниками, всадники первыми приветствовали девушек.

— Здравствуйте, нежные красавицы. Да будет благословен ваш путь, счастья и добра желаем вам на новом месте.

— Пусть сбудутся ваши пожелания, добрые молодцы,— отвечала за всех Асылкан.

Тот, что был на черном иноходце, весело спросил:

— Красавицы, мы держим свой путь издалека. На усталость не жалуемся, но нас измучила жажда. Не найдется ли среди вас добрая душа, которая из своих рук даст нам попить?

Обнажая белые-белые зубы в ответной улыбке, джене Асылкан с задором проговорила:

— Мы готовы утолить вашу жажду, молодцы.

— Аке¹, эти люди очень пить хотят. Останови-ка верблюда,— обратилась она к человеку с короткой бородкой, который на поводу вел верблюда с двумя большими бурдюками.

Не успела она это сказать, как верблюд, сверкая блестящими, круглыми, в детскую ладонь глазами, остановился, его заставили опуститься на колени, и Асылкан проворно извлекла из переметной сумы завернутые в белую скатерть чистые пиалы, чернобородый развязал горловину бурдюка, и резкий напиток полился в посуду. Джигиты, не покидая седел, принимали из рук Асылкан полные пиалы кумыса, пили с наслаждением, и каждый благодарил:

— Пусть за лето у вас прибавится кобылиц и жеребят, пусть вам будет просторно на джайлоо.

— И вам, байбиче, спасибо. Пусть ваш караван еще больше возрастет. Аке — дядя.

— Да сбудутся ваши слова, дети мои,— ответила Гульгаакы байбиче.— И вам желаю, чтобы исполнились ваши мечты. Счастливого вам пути.

Джигиты, что утолили жажду, не слезая с коней, были из многочисленного рода кулбарак. На огненно-гнедом горячем скакуне сидел сын Назарбая Болот, человек норовистый и на слово острый. Молодой вдовец Болот не стал долго оплакивать свою судьбу и, в компании близких джигитов, пустился по аилам, присмотреть себе новую невесту, чтобы с ней обновить свою постель. В пути он повстречался с байбиче Гульгаакы,— она давно знала об этом племени, как и о ней были наслышаны кулбараки. Слух о том, что дочь Гульгаакы не хочет иметь мужем придурковатого сына Асантая, давно дошел и до этих мест.

На черном, блестящем коне ехал лучший друг Болота Сулайман. Высокий, стройный, плечистый Сулайман был настоящим сорвиголовой.

Красноречивый, напористый, он мог бы в одиночку противостоять хоть трем бравым всадникам.

— Люди твердят,— сказал Сулайман Болоту,— что дочь Бармана Айнагуль не желает сына Асантая. Так ли это, нет ли, все равно увезти ее необходимо. Пропади все пропадом, ничего не бойся. За все в ответе буду я! Асантай, самое большее, заплатил за нее табун лошадей в сто голов. Дадим двести, и род кулбарака ничуть не обеднеет.

Встреча в горах группы молодых джигитов с караваном Бармана была не случайной. Болот, увидев Айнагуль, влюбился в нее с первого взгляда. Когда же отъехали немного, Сулайман заговорил возбужденно:

— А что, такую девушку можно взять в жены. Я думаю, дурачок Асантая недостоин подобной красавицы. Если придется, заплатим штраф по девять голов верблюдов, лошадей, овец и коз — от этого богатство нашего аила ни капельки не убавится. А! Пойдем на риск, возьмем ее!

Джигиты готовы были сделать приятное Болоту и дружно поддерживали Сулаймана. Размахивая плетками, они зашумели:

— Джигиты кулбарака никогда не содрогались от пуль и огня. Давайте заворачивать назад. Заберем ее прямо с ходу и умчимся стремительнее ветра.

— Да, да, куй железо, пока горячо!

— Налетим на караван, схватим ее — ищи-свищи нас. Я полагаю, у них сейчас даже погнаться-то некому.

На Болот и Сулайман не решились.

— Если мы налетим на них, это рискованно. У них тоже хватает мужчин. Они впереди и все на хороших, быстроногих конях. Оторваться от них едва ли удастся. А путь наш дальний. Если они догонят, завяжется потасовка... Потом позора не оберешься... Нет, надо толком обмозговать. Попробуем договориться с ней самой. Лишь бы получить ее согласие, тогда увезем ее шито. А иначе туго придется перед старейшими.

Так и порешили: через несколько дней Сулайман приедет один в аил Бармана, сделает вид, что хочет навестить друга детства Калдана, а через этого прониру втихую сделать свое дело. Калдан пользовался уважением у Бармана, был вхож в его юрту, мог за дастарханом беседовать, угощаться. Сулайман, слепо надеясь на Калдана и доверяя ему, как самому себе, разыскал местечко Чон-Тёр, где разбил свою новую стоянку многочисленный род Бармана. Чтобы не вызвать излишнего подозрения у джигитов и злоязычниц, Сулайман, хорошо понимавший, сколь хитроумна задача, встретился с Калданом скрытно.

— У меня, друг, к тебе большое дело. Но я боюсь за тебя. Поэтому будь осторожен. Надо тихо умыкнуть дочь Бармана. Если же твой хозяин узнает, что ты сообщник, могут до смерти запороть. Будет всего лишь два свидетеля: я да бог. Попробуй поговорить с Айнагуль. Кажется, она умная девушка, хотя и юная. Она видела Болота, когда вы переезжали сюда. Не по нраву он ей, тогда никакого разговора быть не может. Если же запал ей в душу, пусть готовится тайно. Мы увезем ее. Конечно, расскандалится, поднимет Барман шум, — задета, мол, его честь.... Но постепенно мы его успокоим, и все уладится. Ведь род кулбарака тоже почетный. Впоследствии Барману самому захочется с ним породниться. Болот не боится впасть в немилость. Он парень хоть куда! Если осилишь это щекотливое дельце, знай, не пропадешь: станешь личным и близким другом Болота... Богатство — не столь важная вещь в нашей жизни. Человеку главное — нужен человек. Иметь сильного друга превыше всех богатств. Давай, Калдан, хорошенько обдумай и решайся на подвиг.

Калдан давно знал Сулаймана и верил, что он хозяин своего слова и не любит говорить на ветер. Он охотно взялся исполнить его поручение. Он знал, что умная, как и мать, Айнагуль решительно отвергнет Рамазана, знал, что она готова пойти за тем джигитом, который освободил бы ее от этого дурня. Еще не встретившись с девушкой, Калдан сказал Сулайману:

— Можешь обрадовать Болота хоть сейчас. Уговорить Айнагуль я беру на себя. Не сомневаюсь — она согласится.

Вскоре распространился слух, что просватанную дочь Бармана похитил красавец Болот. Раз, мол, выкрал уже просватанную невесту, то одно из двух: или опьянен ее любовью и красотой, или сильно верит в свое могущество. . Слух был достоверен. Болоту девушка полюбилась, и вместе с тем он считал, что от скандальной тяжбы в конце концов откупится. Если пожара не миновать, то род кулбарака тоже не сдуешь с земли одним порывом ветра. Дело, однако, повернулось не совсем так, как предполагал Болот. Асантай послал гонца, которого уполномочил передать Барману свое возмущение:

— Мою невестку, за которую выплачен калым и уши которой уже украсили венчальные серьги, средь бела дня увозит какой-то кулбарак? Разве это не нарушение святого обряда сватовства? Где это видано? Если Барман сам не соучастник в побеге дочери и желает сохранить со мной добрые отношения, то пусть выделит своих джигитов для совместной борьбы против нарушителей спокойствия и согласия. Я не позволю топтать мою честь! Не успокоюсь, пока не разобью войско наглого обидчика!

Барман, довольный, что удачно сосватал Айнагуль, что теперь она с серьгами в ушах и никуда не денется, опечалился, узнав, что его дочь сбежала с каким-то молодчиком. Произойди нечто подобное в семье безродного бедняка, люди просто сказали бы: «Голодранцы родители не смогли воспитать свою дочь. Она не послушалась их и сбежала с первым попавшимся мужчиной. Беглянку, нарушившую обычай, не возбраняется прирезать на месте, и никто за это не будет отвечать».

Даже сам Барман, случись такое с чужой дочерью, потребовал бы сурово ее наказать. Но брачный союз нарушила его дочь, дочь почтенного предводителя рода, дочь всеми уважаемой женщины. У него в голове не укладывалось, как же это Айнагуль пошла против воли отца и матери, как это она, нерасцветший цветок в юрте родителей, осмелилась выбрать себе мужа.

Что дочь бая наложила позорное пятно на своих родителей, каждый знал, но вслух никто не дерзал говорить из уважения к Барману и одновременно из страха перед ним. Дошло до того, что мужа строго-настрога предупредили своих жен:

— Язык отрежу, если услышу про эту сплетню. Дочь батыра неприкосновенна, и чтоб никакой молвы. Внуши это всем своим злоязычницам. Розгами изобьем, если будете шушукаться...

Барман и Гульгааки, сломленные поступком дочери, избегали показываться людям на глаза, сгорая от позора и теряясь в поисках какого-то выхода. Услышав о решении свата Асантая, разгневанный Барман не мог оставаться в положении бесстрастного наблюдателя. В доказательство, что он не участвовал в бегстве дочери, Барман оседлал коня. К нему примкнули те, кто был готов постоять за своего оскорбленного батыра, и те, кто не прочь был подраться и потешиться случайной ссорой между главами родов. Лишь старики, протяжно вздыхая, сокрушались джигитам вослед:

— Как дерево точат черви, так народ сбивают с толку смутьяны. Откуда явился этот дьявол, совративший девушку? Или они выследили и похитили ее? Как бы там ни было, род кулбарака на этот раз поступил несправедливо. Разве так женится молодой человек? Вообще-то надо бы их проучить как следует и помочь Асантаю.

Слова аксакалов, подобно ветерку, лишь раздули тлевшую в душе Бармана искру. «Надо во что бы то ни стало проучить малого, чтобы на будущее знал, каково заглядывать в чужие постели»,— решил он и сказал приближенным:

— Собирайтесь в поход!

Многие горячие головы, только и ожидавшие воинственного призыва, помчались по аилам с воплями:

— По велению Бармана! Седлайте лучших лошадей! За оружие! Идем драться с кул бараками!

— От имени Бармана! Все мужчины, собирайтесь выступить против кулбараков!

Кочевники, привыкшие к беспокойной жизни и частым налетам врагов, стянулись быстро — многие на породистых жеребцах, быстроногих конях. Подоткнув за пояс длинные полы стеганых серых чепкенов, в верхней одежде из верблюжьей мягкой шерсти, в белых калпаках, а некоторые в красных косынках, они составили мгновенно войско, вооруженное дубинками и заранее выделанными палицами из крепчайшей ирги. А кое-кто был оснащен тугими плетками.

Шумное волнение, бестолковый гомон нарастали с каждой минутой. Кто размахивал плетками над головой, кто вертел дубинками, горячил коней со стянутыми узлом хвостами, чтобы не мешали и не путались при беге. Голые, без мягкой подстилки, седла крепко подтянуты чересседельником.

Взнузданные кони грызут от нетерпения удила. У каждого всадника длинный повод накрепко приторочен к луке седла (если чумбур держать в руках, как обычно, то будет неловко замахиваться палицей на поле сражения). Те, у кого от сильного возбуждения пересыхало во рту, жевали конский волос, вызывающий обильную слюну. Джигиты из разных аилов заполнили обширную зеленую поляну. Шумный живой круг боевых всадников имел устрашающую силу, способную, кажется, смести все, что попадется на его пути.

Только от народа Бармана в сторону неприятеля направились более пятисот всадников. Не меньше пятисот вооруженных верховых также выставил от своего племени оскорбленный Асантай. Рать за ратью лился людской поток по ложбинам, овражкам и впадинам.

В аилах остались немощные старики, женщины и дети. Аксакалы сощуренным взглядом из-под ладоней провожали всадников.

— О всевышний,— взывали они,— принеси нам победу и славу!

Женщины в белых высоких элечеках, стоявшие на пригорках около аилов, возносили молитву:

— О духи наших предков, поддержите наших детей! Противник, хорошо знавший, что похищение невесты им дешево не обойдется, тоже не сидел сложа на коленях руки. Кул-

бараки готовились к ответу. Можно было всего ожидать: и вооруженного нападения, и налетов на табуны лошадей. Иные аксакалы предполагали, что за невестой могут и не погнаться, вероятнее, что пришлют лишь гонцов за калымом. На этот случай у кулбараков вполне достаточно и овец, и коней, и верблюдов.

Отец Болота Назарбай считал себя виноватым и готов был за все держать ответ, хотя никто в аиле не сказал ему слова упрека — твой-де сын вышел из повиновения, украв чужую невесту, вот и отвечай теперь перед сватами.

Аксакалы, прикинув в уме все обстоятельства, предупредили мужчин:

— Всем находиться в сборе и быть в полной готовности. Табунщики подгоняли звонкие косяки лошадей поближе к аилам, лихие джигиты наготове держали оседланных коней. У кулбараков собралось тоже немало вооруженных всадников.

Дозорные сообщили, что неприятель приближается. Земля дрожала, когда эта лавина двинулась на восток, чтобы не допустить сражения в аилах среди юрт.

Как огромная чаша, зеленая ложбина, окруженная горами, наполнилась морем людей, бряцанием оружия и несмолкающим грохотом. По одну сторону, готовые к бою, стояли всадники Асантая и Бармана, по другую, тоже готовые к отражению атаки, всадники кулбарака. Почти двухтысячное войско. Выбивая нежную траву копытами, осатанело ржали кони, грызли удила, кусали друг друга и затравленно таращили глаза на небывалое конское скопище. Всадники выстроились ровными рядами и поспешно двинулись навстречу друг другу с перекошенными лицами.

Лишь немногие аксакалы, желавшие избежать драки, вполголоса рассуждали:

— Прежде чем устремляться друг на друга, следовало бы сперва провести переговоры. Возможно, противная сторона и согласилась бы на перемирие. Интересно, что скажут Асантай и Барман?

Конечно, в схватке с оружием в руках не все уцелеют, кто-то останется калеккой. И после сражения племена надолго потеряют покой и согласие.

Но каждая сторона чувствовала, что задета честь и совесть рода, и требовала отмщения.

Перед тем как тронуться в поход, Барман выслушал свою байбиче Гульгаакы. Старшая жена, как всегда, спокойно и рассудительно сказала:

— Вражда никогда не приносила пользы народам. Если ты в силах, правитель племени, прошу тебя, предотврати кровавые междоусобицы.

«А ведь права байбиче,— думал неотступно Барман всю дорогу.— Кулбараки, конечно, виноваты, поэтому первыми не кинутся в бой. Если оскорбленный Асантай придет к согласию, то лучше всего мирно решить наш спор. Пусть обида покинет наши сердца и единодушие возвратится к народам...»

Враждующие стороны черной тучей съехались на полверсты, кулбараки остановились, как один человек. Группа всадников направилась к ближайшему холму, разделявшему противников. Сразу было видно, что эти почтенные люди не вооружены и что у них мирные намерения. Впереди — Назарбай, Абдылда, Санжар, старейшины и наставники кулбараков. Остановились и Асантай с Барманом. Ненадолго. Затем Асантай вырвался вперед на своем упитанном, лоснящемся коне,— он грыз удила и брызгал пеной.

— Зачем остановились, Барман?! — громогласно прокричал Асантай.— Я не собираюсь с ними мириться!

В это время от группы Назарбая отделились три всадника и галопом направилась к Асантаю и Барману. Подъехав почти вплотную, они скрестили руки на груди в знак особого почтения и передали приветственный салам.

— Ассалом алейкум, аксакалы! Там, на пригорке, вас ждут все старейшины рода кулбарак во главе с Назарбаем и Санжаром,— заговорил Сулайман, сидевший на вороном коне.— С древних времен мы жили по-добрососедски. Джигиты по молодости совершили ошибку. За это мы готовы держать перед вами ответ, каким бы суровым он ни был... Не только Назарбай, весь род кулбараков чувствует себя виновным перед вами.

Сулайман сложил вдвое свою плетъ и склонился в легком поклоне,— так повелось с древних времен. Подобный знак почтения обычно унимал гнев даже самого разъяренного человека.

Барман, на первый взгляд, казался грозным и непреклонным в своем решении отомстить за поруганную честь, однако про себя он думал иначе: «А ведь именно о таком почтительном извинении говорила мне байбиче Гульгаакы. Раз уж дочь моя ушла по своей воле, не лучше ль все покончить миром?» Но тут в справедливый ход мыслей Бармана вторгся Асантай.

— Ну и язычок у тебя остер, как я послушал твоих речей,— сказал он Сулайману.— Поезжай назад и доложи своему Назарбаю: он заживо похоронил меня своим поступком. Поэтому я отклоняю любое перемирие! Пока не разобью кулбараков на этом месте и не заберу свою невестку, пощады вам не будет. Поезжай и передай мои слова своим старейшинам. Но посредники не трогались с места. Аксакалы, отправляя их сюда, внушили строго-настрого: «Вздумают вас избить — не сопротивляйтесь. Станут бранить — молчите. Толкуйте одно: мы виноваты, и распри нам ни к чему, желаем мирно разрешить нашу тяжбу. Помните, от добрых, теплых слов даже камни тают. На ласковое слово даже змея из норы вылезет. Склонитесь все трое — вы лучшие сыны рода кулбарак, мирные посланники — перед разгневанными предводителями Асантаем и Барманом»..

Негодование Асантая не утихло, и он опять зычно крикнул, чтобы посланцы возвращались. Они же спешили, протягивая поводья коней Асантаю и Барману, встали на колени и в знак покорности склонили головы.

— Внемлите голосу благоразумия. Всю вину, какая бы она ни была, берет на себя не один Назарбай, мы отвечаем всем родом кулбараков. Мы согласны на любое наказание.

Асантай заколебался, когда со всех сторон, перебивая друг друга, зашумели старейшины двух родов.

— Асантайбатыр, если пред тобой молодец склонил голову, ему прощается хоть какая вина. Так говорится у нас в народе. А тут лучшие сына рода кулбарак. Они призывают нас к здравомыслию. Давайте встретимся с их старейшинами. Если они заупрямятся, то показать свою силу нам никогда не поздно, батыр.

Асантай, убежденный в своей власти, отвергал все уговоры кулбараков.

— Если даже они готовы возратить за каждую голову скота из моего калыма по девять голов, все равно я не соглашусь,— твердил он всю дорогу Барману.— Скот меня не интересует. Я заставлю их аксакалов встать на колени передо мной, заставлю рыдать их джигитов и заберу свою невестку. Она ведь сосватана по стародавним обычаям за моего сына и носит наши серьги. Если ты, Барман, настоящий мой сват, ты должен во всем меня поддержать.

Барман больше всего боялся этих слов. Конечно, он не может отрицать, что благословил свою дочь выйти замуж за сына Асантая Рамазана. Это значило бы стать клятвопреступником, выступить против бога. «Но,— взвешивал Барман,— Назарбай побогаче живет, чем Асантай, его первый сват. У него многочисленное племя, и слава его гремит далеко за горами. А сын Назарбая Болот? Он и красив, и умен, и серьезен, и степенен, куда до него этому Рамазану! Что предпринять, чтобы все обошлось тихо и мирно, чтобы моя дочь осталась с избранником своего сердца? Не зря говорится, что камень тяжел там, где он упал. А вдруг Асантай останется недоволен таким исходом дела? — И мысли Бармана потекли в ином направлении: — И обратится он, все возможно, к судье и скажет, что я сам нарушаю обычай сватовства? Тогда не жди мирной жизни. Опять наступят смутные дни».

И снова Барману пришли на ум слова Гульгаакы, когда она провожала его в поход: «Айнагуль была младшей дочерью, баловнем нашей семьи. С тех пор, как на ее головке появились косички, послушная девочка не выходила дальше родительской юрты. Она еще не научилась отличать добро от зла, хорошее от плохого, не могла она, находясь под нашим кровом, выбирать себе жениха и самовольно убегать. Что-то не то. То ли ее кто обманул, то ли увезли тайком и насильственно. Поговори, отец, с ней и выведай, кто мог совратить нашу дочь с истинного пути.

Если паче чаяния она сама признается, что нашла свой очаг, и попросит оставить ее в покое, что ж, не будем валить всю вину на бедное дитя. Кому она суждена, тому и достанется... Соберитесь, аксакалы трех родов, и придите к общему согласию,— пусть Айнагуль живет там, где ей нравится. Назарбай для нас, пожалуй, более ценный сват, чем тот же Асантай, все-таки он из гораздо более крупного и именитого рода. В случае же если Асантай не

даст согласия и затеет побоище, что тут можно поделаться? Не столько во имя Асантая, сколько ради своего благословения ты вынужден будешь занять его сторону. Другого выхода у тебя нет. Подумай хорошенько над моими словами, батыр».

Группа всадников, предводительствуемая Асантаем, пустилась к холму навстречу Назарбаю,— там кулбараки черной толпой настороженно застыли. Барман, низко опустив на глаза кунью шапку, вспоминал последние наставления Гульгаакы. Ему даже казалось, что байбиче, в накинутой на плечи шубе, задумчиво-грустная, рядом с ним и тихим, упавшим голосом что-то внушает ему...

Барман напряженно прислушивался: не скажет ли Асантай что-нибудь утешительное. Но по-прежнему Асантай оставался нем и глух. Глядя на них, другие отмалчивались.

Ехали сплошной лавиной, хмурые и безмолвные. Как только всадники поднялись на холмик, Назарбай и его сторонники поспешили их приветствовать. И в этом был скрытый смысл. Они как бы подтверждали: «Много ли, мало ли, но мы виноваты перед вами. Но и нас не очень-то вините. Давайте договоримся обо всем. Совместно найдем справедливое решение».

Лишь Асантай, закусив губы, был надменно-холоден. Остальные кивком ответили «алейкум ассалом», ни о чем не стали расспрашивать.

В это время со стороны Назарбая вперед на полкорпуса коня выдвинулся тщедушный Санжар — низенький человек с короткой, как хвост у перепела, сидящей бородкой, красными щечками и крохотными черными глазками. — О высокочтимые Асантай и Барман! — Подбирая каждое слово, он часто-часто моргал. — Если вспомнить нашего древнего прародителя Манаса, то он собирал всех воинов из сорока племен киргизов, брал в руки древко со знаменем, защищая земли от Великих гор до дальних перевалов. Храбрые воины погибали в стремени, но отстояли честь и славу своего народа. — И Санжар, вдвое сложив камчу, широким жестом обвел ею окрестные горы. — Асантай и Барман, вон ваши воины застыли неприступной стеной... Неужели вы думаете, что кулбараки такие слабосильные, что одним махом удастся их разбить? Нет, за мной тоже стоит немало всадников моего племени, и они готовы драться, если вы на это вынудите: нас вы, а вас мы. Ну и какую пользу получим мы с вами? Разве оттого, что одно племя разграбит другое и киргизы перебьют киргизов, окрепнут наши границы?

Асантай посинел до ушей от прилива бешенства.

— Ты, Санжар, много не разглагольствуй! Все мы хорошо запоем, какой ты красноречивый. С меня достаточно и того, что вы увезли из моей семьи засватанную девушку. А прах пращура Манаса оставь в покое! Я сюда явился, чтобы защитить честь свою и своего рода. Я давно на вас в обиде, кулбарак! И вы еще поплатитесь мне за свою дерзость.

— Мы все виноваты перед тобой, батыр Асантай, и все старейшины кулбарака склоняют свои седые головы перед вами. Мы понесем свою вину.

Назарбай, представительно сидевший на гнедом коне с легкой, как шелк, гривой и понукая его стремями, двинулся вперед, ловко, по-молодому соскочил на землю и в низком поклоне протянул поводок Асантаю.

— Ты прав, Асантайбатыр. Мы знаем, что Айнагуль носит твои сережки. Ты сватался с Барманом. Но что поделаешь, если бог сам послал ее нам? За ней гнался ты, а досталась она нам. Не вини нас. За это я отдаю своего лучшего коня. Коня мало, кладу свою старую голову. Отгони прочь от себя обиду, Асантай-аке. Сосватанная девушка стала нам келин¹. Она подвязана уже платком женщины. Пусть теперь останется у нас снохой. И наш род тоже богат красавицами, достойными ваших славные джигитов. Мы согласны выдать за вашего сына любую, какая ему приглянется. Давайте же скрепим узы сватовства, и станем друзьями, Асантайбатыр!

Старейшины кулбараков во главе с Санжаром подхватили слова Назарбая:

— Не надо раздоров...

— Назарбай — сам Назарбай склонил свою голову, на коленях стоит перед вами. Простите нас.

Но Асантай не унимался:

— Не успокоюсь, пока не отомщу за свою честь!

Асантай заставил кулбараков подумать и о своей чести. В них тоже заговорила гордость.

Барман терялся в догадках: то ли поддержать Асантая и выступить против кулбараков, то ли идти против Асантая? Нахмутив брови, он думал про себя: «Хорошо бы, дело окончилось миром, дочь бы осталась у кулбараков», но вслух звонким голосом вымолвил, будто на самом деле защищал Асантая:

— Где моя дочь? Я хочу от нее услышать: сама ли она дала согласие или же вы ее похитили? Пока я не узнаю все как следует, я не дам ответа. Привезите сюда мою дочь!

Вскоре Сулайман на вороном коне, держа другого иноходца за поводок, доставил Айнагуль на место,— там не было ни одной женщины и девушки, одни аксакалы и влиятельные люди трех родов. Предусмотрительный Сулайман всю дорогу наставлял Айнагуль;

— Ты смышленная и милая девушка, Айнагуль. Ты воспитывалась и росла у Гульгаакы, самой умной, красивой и чистой женщины. Все считают ее матерью вашего рода. Не пятнай своей чести, храни и нашу. Скажи, что за Болота ты пошла по собственному желанию, что ты ни в коем случае не расстанешься с тем, кто тебе по нраву, с кем тебя соединил сам бог. Там, на холме, сейчас спорят и препираются старейшины и властелины трех племен и никак не придут к единому решению. Единственно ты, Айнагуль, способна примирить их и отвести беду от трех больших родов. Когда отец спросит у тебя: сама ли ты пошла за Болота или тебя похитили, отвечай точно, как я научил. Если ответишь так, то знай, тысячи людей останутся тобой довольны и скажут: «Смотрите, а ведь Айнагуль вся в мать Гульгаакы».

Но как там Сулайман ни наставлял, ни учил ее уму-разуму, юная девушка, оказавшись перед скоплением белобородых аксакалов, растерялась, и вся уверенность мигом слетела с нее. Увидев, как выстроились сотни всадников, угрожая друг другу, Айнагуль, словно провинившаяся шалунья, прижавшись к плечу отца, горько разрыдалась.

Аксакалы с пышными бородами пугали девушку. Чьи-то громкие слова не доходили до ее сознания. Одни старики кряхтели, другие тихо бормотали себе под нос и тяжело вздыхали, третьи, вскинув кверху бороду, скребли ее. А может, кто из них думал: «Запеленать бы эту блудню, нарушившую обычай, в колючий шиповник да привязать к хвосту бешеной лошади».

Даже отец, бледный, с взлохмаченной бородой, замкнулся. Жалел: «Моя бабочка. Моя крошка» — или ругал: «В кого только ты выродилась, такая непокорная и строптивая,—ведь ты опозорила, осмеяла меня перед всем честным миром?»

Айнагуль тянуло ему сказать: «Отец, не брани меня. Оставь меня с любимым Болотом, и прекратите все раздоры». Она так и не произнесла эти слова и только проливала слезы...

У отца проснулась жалость.

— Не плачь, дитя мое. Я тебя никому не отдам. Лучше увезу домой, и ты снова будешь с нами.

Он обессиленно оторвал дочь от себя и увел ее отсюда. Айнагуль вполголоса сказала:

— Отец, ты всегда твердил, что место девушки там, куда ее увезут. Куда же ты меня увозишь?

Сулайман быстро подошел к Барману и, ловко отняв у него руку Айнагуль, увел ее к себе.

— Что вы делаете, уважаемый батыр? Где это видано, чтобы уже повязанную женским платком дочь уводил родной отец? Мы готовы искупить любую вину. Но свою невестку не отдадим. И она сама этого не хочет.

Асантай разъярился и бросил клич:

— Асаантай!

Всадники, нажимая на стремяна, приподнялись в седлах, готовые с двух сторон броситься в атаку. В это время раздался гулкий бас Назарбая, восседавшего на гнедом жеребце:

— О люди! Прекратите распри! Не сейте смуту и страх. Асантай! Ты не захотел прислушаться к голосу благоразумия-Хорошо, забирай свою невестку... Сын мой Болот! Не сокрушайся и не падай духом. Назови имя любой красавицы, куда может дойти самый лучший скакун, и я женю тебя, не будоража людей.

Молодой джигит, чуть не загнав коня, прискакал к Гульгаакы байбиче и сообщил:

— О уважаемая байбиче, суюнчи! Стороны разъехались без сражения. Все обошлось благополучно. Асантай забрал свою невестку, и все возвращаются. Меня к вам послал Барман-аке. Он сказал: «Сообщи матери: Айнагуль

забрали, что будем делать? Пусть дальше все решает байбиче — сокровище моей семьи».

Услышав эту весть, Гульгаакы тут же распорядилась увязать все приданое Айнагуль на белого верблюда. Огромная белая юрта для новобрачных со всеми украшениями и принадлежностями,— мастерили ее не один месяц,— была навьючена на трех верблюдов. Не были позабыты и сват со свахой, сватья и ближние родственники жениха,— для них Гульгаакы заготовила шубы из барсовых и волчьих шкур, халаты и платья из шелковой лощеной ткани в мелкую полоску, бархата, плюша, парчи и шелка; для девушек и молодых — ожерелья, бусы, амулеты, шелковые косынки, душистое мыло, серебряные кольца, браслеты, шкурки чернобурок, выдры, куницы. Приданое дочери было богатым. Многоцветные шелковые одеяла, ковры, коврики, подстилки, разная посуда, слитки серебра для стрельбищ из лука, парча, женские сапожки без каблука и твердого задника с мягкой подошвой и мягкими голенищами — ичиги, золотые серьги, золотой браслет — в приданое входило все, что продавали торговцы из Андижана, куда мог добраться сын киргиза.

Эх, провожай она свою Айнагуль мирно и по-хорошему, байбиче, наверно, разостлала бы все это богатство на коврах и устроила всенародные смотрины. Она собрала бы веселых молодых со всей округи, затеяла бы девичьи игры и хороводы, а местные и приглашенные певцы-импровизаторы воспевали бы любимую дочь во всем блеске ее красоты и богатства. Свадьба была бы уж не меньше недели, с играми, весельем, смехом, с прощальными песнями — кошоками, что в живом соревновании слагают молодухи, младшие и старшие сестры, даже пожилые женщины.

Нежданное несчастье разрушило все замыслы высокородной байбиче. Что делать, дочь не должна больше сюда возвращаться. Если она вернется, с быстротой ветра разлетятся слухи, что «это уже не невеста, а ранняя вдова». Гульгаакы байбиче, сокрушаясь и вздыхая, все-таки решила проводить свою дочь по всем правилам.

Вскоре пестрый караван во главе с байбиче тронулся из аила Бармана.

Провожая гонца в обратный путь, она повелела:

— Пока от меня не будет известий, дочь мою не привозите сюда, пусть не везут ее и в новую юрту Асантая. Я долго вас в пути не задержу. Так и передай властелину рода Барману.

Прошло совсем немного времени, и, словно в сказке, свалился с неба радужный караван: Гульгаакы байбиче повстречалась с всадниками, что везли ее дочь. Верблюды, доверху груженные домашним скарбом, брызгали белой пеной, иноходец под Гульгаакы был мокрый от пота. Караван шел быстро. Все, кому предстало это чудесное зрелище, хвалили расторопность байбиче, ее ловкость и сноровку.

— Вот это женщина! — удивлялись аксакалы.— Не человек, а слиток золота. Надменные властелины и те подобострастно приветствовали Гульгаакы:

— Пусть счастье сопутствует твоей дочери, байбиче! Гульгаакы уж постаралась, чтобы проводы были достойны ее дочери, а не то что схваченной в пути какой-то беглянки. Она пригласила аксакалов завернуть в один из аилов Бармана, люди там утолят жажду, коням хватит пощипать травы. В просторной юрте байбиче переодела дочь в свадебный наряд. Ту одежду, в которой Айнагуль была до того, дорогую и пышную, Гульгаакы раздала бедным девушкам из этого аила.

— Пусть благословят мою дочь на лучшую жизнь,— сказала она.

В новом свадебном халате из парчи, ее, чуть живую, посадили на серого иноходца, и процессия тронулась к аилу Асантая. Айнагуль, глаза которой не высохали все это время, ухватившись за руку матери, простонала:

— Мама, ты можешь меня закутать не только в шелка и парчу, даже в золото, но горе мое останется безутешным. Не лежит моя душа к тому, куда ты меня везешь. Чем на горячем иноходце ехать к нелюбимому, лучше б я на осле добиралась до желанного.

— Не говори мне таких слов! — строго одернула ее мать.— Позор нам, если это услышат чужие уши. Разве можно отвергать сына такого почтенного человека, как Асантай?

Айнагуль тяжело вздохнула.

ГДЕ ТЫ, ПТИЦА НАДЕЖДЫ!

Абыл, услышав, что Батийна убегала от мужа, но ее поймали в дороге, помрачнел. Татына терялась в догадках: у сына пропала всякая охота к еде, в лице появилась подозрительная серость.

Татына не рожала девочек, Абыл — последний из ее семерых сыновей, самый любимый. Когда он встречался с Батийной, тайно мечтая жениться, ему исполнилось двадцать лет.

Татына через каждые два года приносила сына, словно сам бог для нее точно рассчитал. Старшему, будь он жив, исполнилось бы нынче тридцать четыре. «Бог щедро дарил мне сыновей и столь же щедро их забирал к себе,— частенько повторяла Татына сочувствовавшим ей соседкам.— Все шесть сыновей так и не пожили на земле и не спели своих песен».

Похоронив одного за другим, мать с отцом согнулись, скрючились, как тугие ветви арчевника. Татына ходила желтее горящей свечи, подолгу отлеживаясь в постели, и сама не понимала, о чем она говорила и с кем, жива ли она или все происходит в каком-то сне? Лишь через год поднялась на ноги. «Богу, видимо, так угодно,— вздыхала она.— Все шесть соколов улетели от меня и остался единственный птенчик. Хотя бы он выжил и окрепли его крылышки». Отец же Абыла от дум и страданий на четвертый год последовал за сыновьями, так и не изведав радости жизни.

Татына с Абылом на руках хотела прожить оставшуюся жизнь вдовой. Но родственники, как-то собравшись, решили ее судьбу иначе.

— Добрая Татына,— сказали они,— отважный джигит не может жить без народа, живой женщине не жить без мужа. Выходи за вдовца Канжара. Он тоже добрый, незлобивый, мухи не обидит. Он станет тебе вторым нареченным мужем, а Абылу настоящим отцом.

Так у Абыла появился отчим. «Обрезки кожи тоже кожа, отчим тоже отец», — говорят киргизы.

Абыл, испытавший в сиротском детстве большую нужду, привык самостоятельно справляться с любой работой и рос крепким и смышленным джигитом. Грамотный мулла за валуха научил Абыла читать Коран. Уже тогда его стали называть муллою, способным читать даже суры Корана. Вскоре он сам учил детей, и его уже величали учителем. Слава о нем, как о грамотном человеке, дошла до киргизских аилов, и его приглашали наперебой.

Джигитом Абыл попал в аил, где жила семья Батийны. Девушка потянулась было читать Коран, но отец не пустил Батийну в школу, которую вел Абыл: «Где ты слышала, чтобы среди женщин бьешь ученые муллы?» Судьба улыбнулась, и их тропки скрестились. А свела эти тропки Сайра. Позже, когда Батийну отправили в чужой аил, Сайра не раз корила себя: «Глупая я женщина! Зачем только я их свела? Обе жизни загубила. Бог мне никогда, наверное, этого не простит! Как-то они проживут свою жизнь?»

Мать Абыла, видя, что сын пожелтел, как свет лучины, не ест и не пьет, устремляет мутные глаза куда-то в верхний купол старой юрты, позвала знахаря. Тот склонился над постелью больного, потрогал пульс и сказал: — У джигита с сердцем что-то не в порядке. Болезнь у него запущена.

Давайте ему больше кипяченой воды, подбеленной молоком.

Однажды Абыла пришел проводить безбородый шутник и балагур по имени Торпок-телок. Пощупав пульс, он пробормотал и без того напуганной матери: — Эх, Татына, Татына, проморгали мы с тобой. Болезнь-то у него не простая, а опасная. В него, как я погляжу, вселился чистый бес. Этот бес сбил его с толку и не дает ему учить детей. Ведь он свою школу, кажется, закрыл, не так ли?

Татына, затаив дыхание, смотрела на Торпока немигающими глазами.

— В твоего сына, — продолжал он, — вселился пери¹. Чтобы он избавил твоего сына от недуга, ты должна найти черного-пречерного, без единой белой шерстинки барана. — Для пущей убедительности шутник Торпок даже глаза закрыл. — Но я опять же думаю, а где твой подслеповатый старик найдет черного барана, а? Не найдет он. Хоть имя-то у него грозное — Канжар², но, по-моему, его кинжал куда тупее ножа моей старухи, которым она режет кошмы... Если все-таки вам удастся найти черного барана, пусть мулла прочитает стих из Корана, зарежьте жертвенное животное, а на перекрестке трех дорог бросьте кёчёт³. Тогда, возможно, милому полегчает... Плутватый шутник, высыпав семь коробов страшных и непонятных слов, кряхтя и охая, всунул ноги в стоптанные калоши и покинул юрту. Абыл открыл глаза, громко вздохнул и попросил воды. Перепутанная мать, про себя шепча молитву, дрожащими руками подала ему миску с водой.

Абыл, утолив жажду, ладонью вытер губы.

— Мама, не ищите напрасно черного барана. Он нам не понадобится.

Татына удивилась.

— Сынок, ты разве все слышал, что говорил знахарь?

— Да, мама. Не бойся, ни божий ангел, ни злой дух меня не коснулся. Я болею безо всякой болезни. Чтоб скрывать от тебя, мама, я скучаю по своей любимой, она далеко-далеко отсюда, в неволе. Мне очень жаль ее...

«О чем он толкует? Не жар ли у него? Не бредит? Или это ангелы заставляют его говорить?»

Сердце матери разрывалось на части. Она про себя стала подряд читать все молитвы, которые знала. «Господи,— шептала она,— спаси моего единственного сыночка, избавь его от всяких бед и напастей, сохрани от болезней».

Наконец нашли черного барана, прирезали его, позвали муллу и Топока. Они прочитали молитвы, написали талисман, погрузили его в воду и дали выпить эту воду Абылу, хотя он отказался бросить на перекрестке трех дорог заклинательный амулет.

Никакие заклинания и нашептывания не излечили Абыла. Зато он сразу поднялся с постели, когда стало известно, что Батийна вторично бежала и добралась, невредимая, до юрты отца. Абыл спешно отправился в аил, где жил охотник Казак, но ему не удалось встретиться с Батийной: помешали родственники Казака. "Как раз в это время они горестно обсуждали поступок Батийны, покинувшей юрту Адыке.

— Девушка что тебе верблюдца,— где ее привяжут, там она и должна стоять. Постепенно она привыкает. И ты привыкла бы. Не привыкла бы, так стерпела. Теперь нам стыдно людям в глаза смотреть: все будут корить, дочь охотника-де на выбор ищет себе жениха,— судил один родственник.

— Стыд — куда ни шло...— вторил другой.— Не пришлось бы головой отвечать, если нас завтра же вызовут к бию. Кого судья больше послушает: сына бека, богатого и грозного Адыке, или же бедного Казака, добывающего охотой свой хлеб насущный? Наши судьи не удостоят Казака и косым взглядом. Адыке за каждую крупинку злополучного насвая, что принес усладу нашему деду, затребует по трехлетнему иноходцу. Куда мы денемся тогда?"

— А я думаю,— запальчиво вставил третий,— если дело дойдет только до бия, возможно, мы еще и выкрутимся. А вдруг Адыке соберет своих джигитов и разнесет в пух и прах наш аил?

В этих спорах родственники совсем потеряли голову: то ли им отправить Батийну обратно к ненавистному мужу; то ли ждать и выяснить, сколько им придется за нее платить; то ли готовиться к отражению налета джигитов Адыке.

Абыл так и не дождался встречи с Батийной,— она ни на шаг не отлучалась из родительской юрты. Он нашел Сайру и сказал:

— Джене, от меня пожмите руку Батийны и передайте мой привет.

Дома Абыл открыл перед матерью гнетущую тайну своей души.

— Нужды нет, что Батийна побывала замужем, я не откажусь от нее. Из-за своей любимой я пролежал в постели всю зиму.

Да, Абыл, хоть калыма не платил за Батийну и ее давно просватали за другого, называл ее своей любимой.

Татына смотрела на сына с надеждой, не перебивала его, опасаясь неосторожным движением испугнуть Абыла, за жизнь которого она столько перестрадала. Изредка у нее вырывал, глубокий вздох, кончиками пальцев она касалась лба, словно спрашивая себя: «Что сказать? Что ему посоветовать?»

— Мама,— продолжал Абыл,— Батийну нельзя оставлять одну. Мы должны ее вызволить. Скажи своему старику, пусть он поговорит с аксакалами, чтоб помогли, кто чем сможет. Мы с Батийной в долгу не останемся. Надо спасать девушку.— Абыл назвал Батийну девушкой сознательно: она для него оставалась самым дорогим и близким человеком.— Нет на свете большего счастья для меня, чем Батийна... А будет счастье, будет сила и богатство...

Татына не замедлила передать своему старику Канжару слова сына.

— Э-э, длинноволосая, но с коротким умом женщина! — помолчав, заговорил он.— Сын твой — опьяненный молодостью ярый бычок. Оба вы не видите дальше своего носа. Не знаете, что к чему. Я хорошо знаю и Казака, хорошо помню и его дочь. Сам он замечательный охотник, способный воробья сбить на лету, но самый бедный человек на свете. А бедный потому, что его проклинали все козлы и козероги. Весь их род, все его деды и прадеды были прокляты дикими зверями... Иначе зачем было отцу Казака, покойному Абдыраману, самому лезть в пасть дива, тоже покойного Сатылгана?..

Правда, Батийна у охотника красива и приглядна. Рукодельница. Царевна. Но хоть и царевна, а счастья у нее нет. Бог ее лишил счастья. Еще в утробе матери ее просватали за щепотку зеленого насвая. Вся жизнь ее пройдет в муках и обидах. От этого ее может избавить лишь богатство и большая власть. Но, увы, ни богатства, ни власти у Казака нет. Теперь она сбежала от нареченного судьбой мужа и прячется у отца. Муж с женой ругайся, а третий не мешайся. В юрту Казака вернулась не его дочь, а сам дьявол с волосами... Ты думаешь, что ее побег так легко обойдется Казаку? Адыке — этот потомок клыкастого льва — немедля пожалуется на охотника судье. А судья подумает, как бы ему больше понравиться баю да побольше у него урвать за услугу. А что он может урвать у Казака? Дырявый халат? И придется из-за какой-то беглянки платить выкуп всему племени. Еще вопрос, не коснется ли это дело самого Саралы?

Старик Канжар на мгновение умолк, словно наевшийся половы теленок.

— Но пусть твой сын не думает, что я ему чужой. Помогу, чем смогу. Пусть к вечеру зарежет овцу с белой отметиной на макушке. Позовем родственников, посоветуемся. Если все придут к соглашению и если у нас хватит скота, чтоб собрать на выкуп беглянки, то попробуем и посвататься. Но надо помнить, что выкуп будет изрядный. Нам вчинят иск о возврате калыма как родственникам ушедшей от мужа жены. Еще неизвестно, сколько Адыке запросит за отцову щепотку насвая. Если же у пас, вместе взятых, не хватит мочи оплатить иск, то вы с сыном не обижайтесь на меня, не обессудьте...

Да, Канжар, хорошо знавший обычаи народа, сказал правду. Далеко видит старик. Родственники, приглашённые на сход, с упоением уничтожали вкусное мясо молодого барашка и советовались, как лучше поступить. — Э-э, наш сынок Абыл,—повел речь бедняк Мамыт,— ты единственный наследник всеми нами уважаемого покойного брата. Разве можем мы отказываться помочь тебе в том, к чему ты стремишься? Пусть мы все бедные. Но почти в каждой семье найдется теленок или овечка. Нам не жаль скота. Да и дочь Казака подходящая для тебя пара. Будет хорошая хозяйка и жена, если ты на ней женишься. С приходом молодой жены и в нашу юрту заглянуло бы счастье, которого мы все тебе желаем, Абылжан. Но, как у нас говорится, что знает бай, знает и раб, рад бы сказать, да не решится. Если дочь Казака — крепкий кумыс для любящего джигита, то Адыке в него давно подсыпал яду. Кто невзначай выпьет этот кумыс, тут же и протянет ноги. Если дочь Казака — острый кинжал и лучший друг джигита, то проклятый Адыке раскалил кинжал до того, что о него недолго и обжечься. Ты знаешь, что Батийна просватана. Этот обычай нашей жизни, Абылжан, ни обойдешь, ни объедешь. Не то что мы, десяток семей каких-то пастухов,— обычаю этому не смог воспротивиться даже всесильный Назарбай из рода кулбарак. Ты, может, думаешь, он пожалел отдать скот? Ничуть. За каждую голову выданного калыма Назарбаю ничего не стоит отогнать хотя бы и по девять голов. Честолюбивый, но щедрый Назарбай не стал бы скупиться. Дело в другом: он пожалел свой народ, чтобы избежать кровопролития. А как быть нам, Абылжан? Неужто нечего бояться пожара, который может зажечь Адыке?

Бедняк Мамыт, доводившийся дальним родственником Абылу, не снимал с плеч выдавшую все непогоды шубу и, кроме захудалой лошаденки, ничего не нажил. Да, бедность, как говорится, не порок. Но именно бедность лишила его всех радостей жизни. Красноречивый, глубокого ума человек, не будь он бедняком, многое свершил бы для своего обездоленного рода. Время сделало свое: когда-то высокий и плечистый, он ссутулился, покрылся ржавчиной жизни, подобно охотничьему ножу, оброненному между камней или в густой траве. Лишь язык у Мамыта по-прежнему не притупился: как бритва острый для врагов, мягкий и даже нежный для своих. Все присутствующие слушали Мамыта, словно он исполнял задушевную мелодию на древнем комузе. Одни вздыхали, другие побрякивали, а когда он умолк на мгновенье, в юрте воцарилась сосредоточенная тишина.

— Да,— продолжал Мамыт, поудобнее усаживаясь около разостланного дастархана с яствами и медленно окинув взглядом собравшуюся родню,— жаль, когда лучший скакун не приходит первым к призовому месту, и очень горько, когда влюбленный джигит теряет свою желанную. У нас говорят: у скупых родственников иной молодец может отощать. В нашем аиле Абыл, считайте, один из лучших парней. И мы не допустим, чтобы он затаил обиду на всех нас. Я так думаю: с миру по нитке... кто побогаче — даст коня,

корову, кто победнее — овцу, ягненка. Не оставим его в беде. Что скажете на это, братья мои?

С предложением Мамыта согласились все родственники.

— Что имеем, не пожалеет. Дочь охотника Казака, правда, побывала за другим, но хорошая пара для Абыла. Раз Батийна пришлась ему по душе, пусть женится... Но как мы будем держать ответ перед судьями? Какую меру наказания они собираются наложить на бедного охотника, мы не знаем. Поэтому надо переждать, пока они там решат. И если у нас хватит скота, чтобы покрыть иск за беглянку, тогда пошлем сватов.

На этом и порешили. Но Абыл не мог спокойно ожидать своей судьбы. Горячий джигит пристрастился ездить в аил Казака и навещать Батийну. Люди в аиле не сразу поняли, что это к Батийне зачастил жених. Абыла считали молодым муллой. Чтобы послушать Коран в его чтении, Абыла приглашали к себе даже аксакалы. И молодежь любила слушать, как он читает стихи.словно путник, которому некуда спешить, он садился поудобнее, широко расставив колени, и, разложив длинные, узкие, как бычьи языки, листы серой бумаги, мог часами читать газели древних поэтов. Приятный, бархатистый голос Абыла звучал то высоко, торжественно, то печально и приглушенно.

Но вдохновеннее всего он читал стихи, когда оставался где-нибудь на холме один на один с собой. Никого не стесняясь, расчувствовавшись, молодой джигит говорил с любимой, словно Батийна была рядом с ним. «Как еще читать газели, чтобы они тебе нравились всю жизнь, Батийна? О моя милая! Когда мы наконец останемся вместе? Я готов всю свою короткую жизнь прожить с тобой в дырявом шалаше. А ты? Я верю — ты тоже. И я нескончаемо пел бы тебе газели, пел бы каждый день. И ты научишься читать. Знаешь, как это здорово! Ты сама читала бы книгу «Сорок ремесел». О боже, когда настанет мой желанный день?»

Счастье немного улыбнулось Абылу: в каждый свой приезд он видел Батийну. Надолго ли это счастье? Прочно ли оно? И тут опять помогло его умение читать газели. В какой бы юрте ни сидел Абыл, послушать его собирались джигиты, девушки и молодайки. Приходила вместе с Батийной ее джене Сайра. Она заверила Татыгуль, мать Батийны: «Нас не ищите. Никуда мы не денемся и пораньше вернемся».

Мать была не против: «Надо же дочке немного передохнуть... Досталось бедняжке. Пусть хоть в родительском доме порезвится. Недолго уже ей дома оставаться».

Печальный голос читавшего газели Абыла обращался единственно к Батийне. Она смотрела на любимого широко открытыми глазами, полными горячих слез. Но это были не слезы пережитой обиды и не жалоба сердца, скорее — слезы радости, слезы надежды на лучшее будущее.

Юноша в действительности был далеко не красавец. Негустые нахорхленные брови, не очень тонкий нос книзу как бы расползался по лицу. Ровные белые зубы сверкали в мягкой улыбке.

Но в этом не очень красивом лице было что-то притягательное, родное. И еще ей нравилось, что Абыл уравновешен и рассудителен. Глядя на него, Батийна вздыхала: «Господи, когда ты исполнишь желание двух любящих сердец? Я сгораю от тоски и печали...»

Уже неделя позади, как отца вызвали к бию. Гонец так и объявил: «Эй, бедняк, тебя вызывает бий, ответишь за свою дочь-беглянку».

Никаких вестей. Охотник захватил с собой только ружье и ловчего беркута. Он готов был отдать бию и ружье, и любимого беркута, лишь бы его оставили в покое. При этом он бы сказал: «О справедливые судьи, вот моя голова, отрежьте ее. Но я не позволю, чтобы моя дочь вторично перешагнула порог Адыке».

За такие слова они, наверное, наказали бы отца. Батийна с нетерпением ожидала его возвращения. «Отец,— скажет она,— если ты не хочешь, чтобы твоя дочь дальше мучилась, проводи ее за Абыла».

Сайра тому свидетель,— Абыл и Батийна совсем недавно поделили лепешку и поклялись друг другу:

— Если умрем, пусть похоронят вместе. Но живых нас никто больше не разлучит.

И молодые крепко обнялись. С тех пор Абыла словно подменили. Заломив поля белого калпака, он ходил с гордо поднятой головой, с сияющим лицом. Шептал смущенной Батийне:

— Наш род, Батийна, бедный, но мои родственники для меня ничего не пожалеют. Мать пригласила всех на сход. Люди помогут кто чем: лошадью, коровой, овцой. Посмотрим. Судьи, самое большее, предъявят иск за тебя в двадцать голов крупного скота. А такое стадо у нас в аиле найдется. Не тревожись, Батийнаш.

— Дал бы нам аллах счастья, милый,— прошептала она, опустив глаза, застыдившись, что он обнимал ее за талию, и погладила его руки.— Помощь твоих родственников мы не забудем. Пока есть сила и человек здоров, он в долгу не останется...

Абыл, кажется, порывался что-то сказать, но передумал. По его лицу скользнула беглая тень. Батийна, прильнув к Абылу, ласково говорила:

— Абыш, как только отец возвратится, подвязывай белую вату к челке лошади и присылай сватов. Свою судьбу я на этот раз сама решу.

Абыл еще сильнее прижал к себе любимую.

— Хватит. Я никогда, никогда не вернусь туда. И ты меня, милый, больше не отпускай от себя к этим тиранам,— добавила Батийна.

Искусница слагать песни, Батийна, стыдливо поглядывая на Абыла из-под длинных ресниц, пропела:

Жить ли голову склоня?

Или, может, для меня

Мой любимый у калитки

Оседлает вдруг коня?

Разорву тиски оков.

Видно, груз тоски суров.
Со своим любимым счастьем
Поищу среди лугов.
Горьким дымом по тропе
Я стелилась по судьбе,
У того,
Кто стал пророком,
Я спросила путь к тебе.
Ничего не тяготит —
Сразу сброшу груз обид,
Лишь открой мне путь к свободе,
Мой любимый, мой джигит.
На нежное, белое лицо Батийны набежала тень, в глазах затаилась грусть.
— Не обижай меня, судьба, и открой предо мной путь к свободе,—
прошептала Батийна,
Они не заметили, как зарозовел рассвет.

Лишь на пятнадцатые сутки Казак вернулся домой, почернев от горя, измученный дальней дорогой. Он постарел, словно преодолел тысячу препятствий на многотрудном пути длиной в пятнадцать лет. Посеревшие щеки покрылись сеткой мелких морщин, и губы потрескались. В волосах и бороде серебрилась седина, он старчески сутулился. Глаза у Казака покраснели, потеряли свою былую зоркость. То ли он не спал ночи напролет, то ли плакал.

Добрался Казак до аила не на своем коне, а на неказистой кляче. Ни ружья за плечом, ни любимого ловчего беркута на правой руке. Дырявая шуба с комьями репейника на подоле вся истрепалась. Похоже, ехал по бездорожью, пробирался через горные завалы. То ли бежал от преследователей, то ли кто его жестоко избил. Потеки соленого пота на лице. Разодранные штанины кожаных брюк торчат из голенищ большими собачьими ушами. Задники на изодранных камнями и колючками сапогах стерлись до основания.

Татыгуль мгновенно, с первого же взгляда, поняла, что случилось страшное, но не посмела спросить: «Что с тобой? На тебе лица нет!», а про себя думала: «Все кончено. О создатель, чем так мучиться, лучше бы не родиться на свет!»

Татыгуль поспешно встала, охнув, загремела посудой, поставила большую чашку с айраном перед мужем.

— На, выпей кисленького, может, полегчает.

Без единого слова он взял протянутую чашку, залпом проглотил терпкое молоко и шумно выдохнул. Держа посуду кончиками согнутых пальцев на весу, прислушался, посидел некоторое время, глядя в одну точку, как лунатик, затем протянул пустую чашку:

— Налей-ка, Рыжая, еще.

Лишь допив до середины вторую чашку, он перевел дыхание, вытер левой рукой усы и внимательно осмотрел юрту.

— А где дочь?

— Куда-то ушла со своей джене. Отец сокрушенно вздохнул.

— Ты хоть бы рассказал, что там было и чем все кончилось? Или еще будут вызывать?

Казак смотрел вдаль, шевелил беззвучно губами. Временами он привскакивал, словно хотел ударить кого или отвести душу крепким словом. Слух о возвращении Казака быстрее ветра облетел все юрты, стоило ему показаться на кляче из-за поворота. Родственники спешили к Казаку — разделить его горе. Каждый заходил в юрту бесшумно, настороженно. Здоровались с Казаком, будто он только что поднялся с постели после тяжелой болезни, и занимали места, подобрав под себя ноги. Плачущие женщины, вытирая слезы кончиками рукавов, садились подальше от мужчин, поближе к выходу, и кажется, это были не люди, а безмолвные, безропотные тени.

Усатые, бородатые и безбородые, усаживаясь и покашливая, сочувственно смотрели на Казака. Казак допил айран, вытер рот и усы и заговорил, будто прислушиваясь к собственному голосу:

— Если сказать, что я мертвый, вы не поверите, потому что еще в теле душа теплится. Сказать, что я живой, опять-таки я не совсем чувствую себя в числе живых людей. Зачем только аллах пустил меня на белый свет? Неужели мне выпало всю жизнь маяться? Зачем он создал такими разнесчастными нас вместе с дочерью? Этот Адые, черт его побери, напустил на меня целую свору судей, они съехались со всех отдаленных стоянок и даже с низовий. На судилище прибыли старейшие из родов бугу, сарбагыш, черик, их угодники. Для них поставили просторные белые юрты, где с утра и до вечера дымились костры, пахло свежим вареным мясом и паленой шерстью. В сторонке, со своими лошадами, разместились подсудимые. Для них никто ничего не резал, и особые юрты им не ставили. Скот, который пригнали на убой — отары овец, косяки лошадей, — пасся тут же поблизости. Подошли караваны верблюдов, навьюченные серыми мешками с одеялами, коврами, подушками, с чаем, сахаром, урюком, изюмом.

Овец порезали великое множество. Псов тут не водилось: где им быть, коль вокруг ни одного аила. Вся кровь животных сливалась в вырытые ямы и заваливалась большими пластами дерна.

У каждого болуша свои подручные, предводители пятидесяти и ста всадников, — старшины, есаулы. А надо всеми ними возвышался всевластный уездный начальник. Все ему безропотно подчинялись.

Стоило увидеть своими глазами эту грозную силу, как ответчики терялись и задолго до допроса уже не соображали, как им держаться и что отвечать... Казак, словно не утолил еще жажду, бросил взгляд на пустую чашку, облизал губы и продолжал:

— О других не буду вспоминать. Допрашиваемых было столько, что мой черед дошел аж на восьмые сутки. Зажав шапку под мышкой, почтительно склонился я и встал на колени перед судьей — человеком грузным,

заплывшим жиром. Тут же присутствовал и Адыке, этот собачий сын, наш треклятый сват. Я еще не успел рта открыть, а он стал наговаривать бию: «С этим голоштанником нас породнил мой покойный отец. Он посватался к будущей внучке. И я не отвергал его, считая, значит, такая судьба у моего сына жениться на дочери бедного охотника. Что касается калыма, переданного моим отцом, покойным Сатылганом, его отцу Абдыраману, пусть он хорошенько вспомнит, сколько всякого разного скота переполучил он за свою дочь. Я отгонял лошадей, отгонял и овец и не счесть, сколько верблюдов перегнал с ценным добром... Но дочь голяка осмелилась перешагнуть через меня, отказалась от моего почтенного сына, оскорбила его, как мужчину, бежала. Вместо того, чтобы хорошенько проучить свою непокорную дочь, Казак потворствовал ее бегству. О высокоуважаемые судьи, этот жалкий человек в большом долгу передо мной и перед моей совестью и честью. Прошу вас быть справедливыми ко мне и разрешить наш спор; пусть он уплатит мне все, что взял, сполна, и тогда я решу отстать от него».

Проклятый Адыке,— продолжал рассказ Казак,— потребовал, чтобы я пригнал ему табун в шестьдесят коней. Я встал перед ним на колени, вспомнил про обычаи предков, привел в свидетели все наше племя, всех вас. Я сказал:

«То, что его отец Сатылган и мой отец Абдыраман посватались,— это правда, о уважаемые судьи. Правда и то, что бай прирезал барана и пригласил всех нас на ужин, чтобы закрепить узы сватовства. На этом кончается вся правда Адыке. Больше он мне ничего не давал за дочь, наоборот, безо всякого стеснения забирал всю мою добычу. Если я лгу, пусть меня покарает дух моих предков».

«Эй, ничтожество,—крикнул Адыке,—неужели ты забыл про щепотку паевая, которой мой отец усладил твоего отца!»

«Нет, Адыке,— сказал я,— я этой щепотки не забыл. Но где ты видел, чтобы за невестку расплачивались какой-то щепоткой насвая? Побойся бога и ты! Разве ты забыл, сколько я тебе и твоему отцу перетаскал диких козлов, козерогов и косуль?»

«Дичь не идет в счет калыма. Это божий дар. Ты ее не выращивал, не выхаживал... Если ж тебе не угодно было с нами породниться, пусть твой отец не лез бы к моему отцу со своим подобострастием».

«Адыке,— сказал я,— ты моего отца лучше не тревожь. Я хорошо помню, что мне втолковал отец: «Сынок, мы стали сватами с баем. Если у тебя родится сын и нам придется у него брать невесту, то расплачивайся с ним дичью, она куда ценнее мяса домашнего животного, да и шкура чего стоит». Мой отец свято чтит и хранил обычаи народа. О почтенные судьи, Адыке только что сказал, что он платил мне двугорбыми верблюдами, табунами лошадей, отарами овец. Все это от начала до конца ложь! Не видел я от него даже верблюжьего хвоста, не то что взрослого верблюда...»

Нечаянно я чуть-чуть прикоснулся к коленке судьи. Он вздрогнул, словно от ожога, и сказал: «Если допрашивать всех свидетелей по делу каких-то беглянок, нам тогда и зимой не увидеть свой очаг. Судьи обязаны прислушаться к голосу Адыке, отпрыска из рода бека. Раз он требует, что ж, отгони косяк в шестьдесят коней и освободишь свою дочь от обязанностей брачной жизни с сыном бая... Если тебе не под силу найти столько скакунов, изволь доставить дочь в юрту Адыке. Покинувшая мужа женщина совершила непростительную вольность, а отец еще смеет ей потворствовать. Если ты, несчастный, вздумаешь чересчур умничать, мы наложим на тебя более строгую повинность».

Бий махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. Я оказался в затруднительном, вернее, в безвыходном положении. Мне показалось, само небо свалилось на голову, в глазах у меня помутилось. Я долго не мог встать с места. Кто-то поднял меня: «Бедняжка, выпей кисленького айрана и умой свое лицо». Слышу, голос очень знакомый, смотрю, а это Джусуп, мой лучший друг. Век не забуду его поддержку.

«Разве их так просто уговоришь? Взятка нужна», — посоветовал мне Джусуп. О родные мои, язык пересыхает, когда я все это вспоминаю... Но я послушался Джусупа. И беркута, и ружье, и коня своего отправил судье в глотку. Лишь после этого бий сократил иск на двадцать коней. И еще мне отдавать сорок скакунов. Наверное, в той щепотке насвая, что мой отец положил себе за щеку, не было и сорока крупинок. Кто знает, может, каждая крупинка дурманного зелья обошлась мне в пару коней?.. И я, родные мои, не сдержался. Язык ведь без костей. Я громогласно покрыл этого негодяя Адыке последними словами. Я готов был прирезать его на месте. Все зашумели, загалдели. И я оказался один против всех. Что я мог поделать, когда они стегали розгами меня, как взбивают шерсть.

Глаза Казака наполнились слезами, он тяжело вздохнул:

— И сейчас не помню, как я вырвался из объятий смерти и покинул судилище. Пришлось долго плестись на этой кляче, ночевать под открытым небом. Во рту ни крошки, да я и не думал о еде, — всю дорогу не мог забыть — подай им сорок отличных коней! Если за три месяца не отгоню табун, они меня, конечно, потянут к бию да еще прибавят сколько-то голов в покрытие пени! Беда, беда, как мне из нее выпутаться? Скажи, о несправедливый создатель!..

Казак умолк. Мужчины, нахмурившись, соломинками ковыряли землю, женщины тихо всхлипывали. В темной от копоти и гари юрте воцарилась мрачная тишина.

— Там, на сходе, были и наши дальние родственники, приехавшие с северных гор. Я через них передал сыну старшей сестры, племяннику Кыдырбаю:

«Попал, мол, в беду. Приневолили платить сорок лошадей за побег Батийны от сына бая Адыке. Если хочешь взять в невестки Батийну, то выплати иск и бери ее. Я согласен. Твой младший брат, я слышал, уже жених. Пусть бедная

девочка найдет свое счастье у твоего очага. Не оскорбляйте ее, что она беглянка».

Не знаю, согласится на это Кыдырбай или нет? Если б племянник приехал свататься, это было бы счастьем для Батийны. Как ни говорите, они дальние родственники, значит, свои, не обидят мою дочь... Да и живут побогаче нас... Батийна незаметно прокралась в юрту. Со страхом и стыдом слушала отца.

Как безумная, смотрела в темноту немигающими глазами.

Родственники понуро расходились по своим юртам, опасливо шепча:

— О несчастный Казак...

— Обездоленная Батийна! Родилась на муки страдания...

— Вы думаете, их мало, таких, как Казак, как Батийна, на этом несправедливом свете?

Казак, проводив гостей, свалился в постель. Татыгуль укутала его одеялом, а сама занялась детьми. Батийна втихомолку выскользнула из юрты и поспешила к своей джене.

Всхлипывая, она снова стала жаловаться на жизнь.

— Радость моя, ведь тебе не раз говорили,—увещевала Сайра,— что девушка подобна верблюдице, которую привязали к костылю. Придется еще потерпеть. Ты, наверно, слышала, дочь знатного человека Бармана Айнагуль и та не смогла найти свое счастье. Значит, у вас с ней общая доля. Терпи, мой свет, терпи.

— Ой, джене, сколько можно терпеть? Птица моего счастья снова улетает от меня выше и выше в небо и скоро исчезнет.

Да, в складках Великих гор таится немало тайн. Остропикие скалы, вонзаясь в свисающее чрево небосвода, дремлют, словно невыспавшиеся великаны. От них исходит звонкая тишина. Укромные уголки, где не ступала нога человека урочища, ущелья, пологие и круги склоны, зеленые лужайки, обширные выпасы, заросли, где бегают куницы и шныряют черно-бурые лисы, сыпучие галечники, где скачут легкие серны, джейраны, винторогие архары и цветистые берега рек с родниковой водой, от которой ломит зубы,—вся неохватная ширь и неизбывная щедрость, все неисчислимое богатство Великих гор растворились в легендах моих предков, вызывая гордость за свою землю и восхищение у пришлых людей.

У моего народа, привыкшего к размеренной, скромной жизни, и знания, и мастерство, все самое дорогое укрыто в складках Великих гор. И каждый раз белоголовый и белобровый аксакал, нанизывая слова, словно монисто на нитку, своим рассказом о древности приоткрывает завесу над тайнами этих гор. Любая ложбина и впадина, что южный и что северный склон, каждый водопад и спуск имеют свою многотомную историю. Это бесконечное повествование запечатлено на скалах, на склонах, у водопад ев, и никогда ему не померкнуть, как вовеки не померкнет и сама земля и не потускнеет потерянный охотником золотой нож.

О великодушный человек, зорче оберегай вековые тайны Великих гор, выше этих гор только горы и красивей этих гор только горы. Пристальней

вглядывайся в здешние склоны, вершины, седловины, перевалы, и перед тобой откроется под пологом небес небывалая история: красоты. Да, эта история не буквами выбита, она в образе таинственной птицы летает среди гор и клекочет. В горж этих и смех, и радость, и слезы, и печаль. В горах этих жили и бесстрашные и трусы, и мудрецы и глупцы.

Молода женщина, что сидит на своем любимом камне у устья ручья, глядит на обступившие горы, прислушивается к звонкому пению воды, думает свою думу, роняя чистые, как этот ручей, слёзы на шершавый камень.

Сквозь пелену слез она видит своего Абыла. Он в белом кем-селе из верблюжьей шерсти, в черной курчавой мерлушковой шапке. Глаза его сияют радостью. Он то приближается к ней, то удаляется, словно дразнит ее. А вспоминает сказку, которую Абыл когда-то поведал ей, сидя на этом холодном камне.

— В давние-предавние времена в девушку по имени Джумагуль влюбился парень по имени Джумадыл. Его любовь была так искренна и горяча, что ни дня не мог он прожить, не посмотрев ей в глаза. Сердце джигита билось лишь для нее, и сердце девушки билось лишь для него. Но между ними лежала бездна неравенства, лежали коварные обычаи сватовства.

Веселая, умная, зоркоглазая Джумагуль была из знатной семьи. Ее давно просватали за другого, и сватовские серьги украшали ее маленькие ушки. Красивый джигит Джумадыл был из небогатого рода. Единственный его недостаток — бедность отца. Несколько голов скота — все его богатство. Во сне Джумадыл видел Джумагуль, звал ее: «Где ты, моя милая?» Во сне Джумагуль видела Джумадыла, звала его: «Где ты, мой милый?» Они искали друг друга повсюду, днем и ночью, чтобы встретиться. Когда это удавалось, их сердца громко стучали в груди, они говорили самые нежные слова: «Нет мне жизни без тебя, мой милый». — «Расстанусь с тобой, тогда я расстанусь и с жизнью».

Но не сбылась их мечта. Тогда они решили: «Убежим в Великие горы и будем там жить». И они скрылись в горных ущельях. Погоня вскоре настигла беглецов та доставила их в аил.

Не было до того случая, чтобы от родителей убегала просватанная дочь. Пусть жених ненавистен, все равно невеста должна стать его женой и рабыней.

Привезли беглецов, и старейшины начали ломать голову над мерой наказания.

«За то, что они попрали народный обычай, заслуживают только смерти», — сказали одни.

«Надо наказать их самой жестокой смертью и обязательно по отдельности. Давайте закинем их на разные вершины в горах и там прирежем», — сказали другие.

Как старейшины порешили, так тому и быть. Родители приговоренных напрасно проливали слезы. Джигиты оторвали молодых друг от друга, поволокли в горы к противоположным вершинам и отсеки головы обоим

влюбленным. Ослушаться никто не посмел: воля старших превыше всего. Сколько угодно было тогда людей, готовых в слепом подчинении исполнить любую расправу! Сколько угодно было!

Вот так-то... милая,— продолжал Абыл.— Влюбленных зарезали. И тогда произошло невиданное в веках чудо. Кровь Джумагуль и кровь Джумадыла образовали живой родник. Кровь их давно очистилась, подобно слезе, и остыла, как лед. Этот родник и в наши дни утоляет жаждущего человека. Народ прозвал родник, взявший начало с двух вершин, «Женихом и невестой». Я тоже, любимая Батийна, пил из этого родника, но не смог утолить жажду. А почему не знаю.

Когда Абыл поведал сказку, Батийна сказала любимому:

— Не уживемся среди киргизов, уйдем тогда в Андижан. Будем кипятить чай у самоварщика, стирать белье у татарских баловней... Давай, милый, убежим отсюда!

Поглаживая волосы Батийны Абыл поцеловал ее в мокрые глаза:

— Не плачь, родная, я не так уж одинок. У меня есть родственники. Они мне помогут. Скоро, скоро я пришлю своих сватов. Как только увидишь на подходе к твоему аилу всадника с подвязанной к челке коня ватой, знай — это за тобой.

Прошло трое суток — никаких вестей. Батийна терялась в догадках: «Что могло случиться? Ведь он никогда не обманывал меня. Он любит меня, значит, должен был приехать. Или ему не удалось собрать столько скота, чтобы выплатить иск?»

Батийна, погруженная в свои думы, сидела на любимом камне возле родника. К ней подошла Сайра.

— Идем, милая. Там за тобой сваты приехали.

Какие сваты? Родители Абыла? Или племянник отца Кыдырбай, за младшего брата которого отец договорился ее выдать? Кровь отлила от лица, и слышно было, как стучит у нее сердце.

Они обошли знакомый пригорок, и перед ними, как на ладони, показался аил. Чьи там кони стоят? Увидит ли она гнедого двухлетку, украшенного свадебным убранством?

Около юрты на привязи стояли три крупные лошади. На них — дорогая сбруя, дорогие седла. Хвосты до земли, грива до передних чашечек. На таких конях разъезжают лишь баи или те, кто считает себя властелином рода. Таких коней Батийна уже видела у Адыке. На таких конях гнались за ней.

Батийна вздохнула: «Мне нечего ожидать. Все повторяется сначала».

За юртой находились еще какие-то люди: женщина и двое мужчин на конях, с ними человек пять пеших.

Около юрты в своей обычной позе молельщика сидел аксакал Сарала. Он кому-то махнул рукой, невнятно что-то сказал.

«Кто те, что за юртой? Зачем они приехали?» — подумала Батийна.

У всадников в руках поводки от верблюда и трех лошадей. Они стояли покорным видом,— казалось, скажи им — поезжайте дорогой — и они тут же тронутся.

Сайра шепнула Батийне:

— Вон те, что за юртой, знаешь, кто такие, кызыке? Женщина — это мать Абыла. Рядом с ней близкие его родственники, сваты. Они приехали с верблюдом и пригнали три лошади. Они сказали «Это для начала сватовства. Об остальном потом договоримся. Пусть аллах нас породнит. В долгу перед вами и аллахом не останемся». Но Сафша-аке возражает: «На отца девушки наложен большой иск. Помимо иска, охотник едва сводит концы с концами. У него отняли ружье, беркута, коня. Мы согласны на ваше предложение. Но будем откровенны. Сможете ли вы покрыть иск в сорок скакунов? А то, что вы сейчас пригнали, не хватит расплатиться с баем Адыеке».

«Прав дедушка Сарала,— подумала Батийна.— Несколько голов скота, конечно, не смогут выволить отца. И без того малые дети голы и босы... О глупая я! Хотела наложить на себя руки...»

Она шла, спотыкаясь на ровном месте, равнодушная ко всему. Ей трудно было дышать. Весь тяжелый груз жизни свалился на ее женские плечи.

Сердце щемило, словно зажатое между двумя плоскими камнями.

Упитанные кони принадлежали племяннику Казака Кыдырбаю, приехавшему из-за дальних гор. Сам Кыдырбай — кряжистый тяжеловес лет пятидесяти, остроносый, с впалыми щеками и короткой козлиной бородкой, с длинной шеей и большими черными глазами, с скользящим во время разговора кадыком — был влиятельным, знатным человеком в своем аиле.

Он невозмутимо сидел в юрте, прислушивался к речам приезжих сватов и аксакала Саралы и хитро рассчитывал: «Видимо, эти люди хорошо знают друг друга, они хотели бы посвататься, но у них маловато скота на выкуп. Значит, «из бедного, нищего аила. В таком случае не так-то им легко будет достать сорок скакунов. А если это и удастся, разве дядя мне откажет? Ведь он первым изъявил желание, чтобы я взял его дочь в невестки? Как я погляжу, напрасно стараются эти сваты».

Он угодливо прищурил левый глаз и спросил у охотника:

— Э-э, дядя, что там у тебя за люди? Или вы у них в долгу?

— От тебя, племянник, у нас никаких тайн,— сказал Казак.— Сам прекрасно знаешь: когда девушка свободна от нареченного жениха, к ней может приезжать много сватов. А это приехали свататься и просить руку Батийны из дальнего рода корукчу. Жених, что сватается, ровесник Батийны, умный парень, хорошо читает. Как-то одну зиму обучал детей из нашего аила. Хоть и рос без отца, а джигит толковый, люди уважают его. Мне, откровенно говоря, Абыл нравится, и я бы от него не отказался. По словам женщин, а ты сам знаешь, чтоб и иногда бывают чрезмерно болтливы, вроде бы и Батийна равнодушна к нему. Но где им сорок скакунов найти... А отправить ее без калыма — у меня нет на то ни возможностей, ни прав. Бий сказал: если не уплачу иск в эти три месяца, то он еще прикинет по крупному барану на

каждого скакуна. Если я не смогу расплатиться за год, то сорок скакунов обернутся восемьюдесятью. Отказаться от выплаты — значит играть с огнем. Попробуй не отдай. Снова вызовут на судилище. Этим могу навлечь страшную беду не только на аил, но и на все свое племя..:

Кыдырбай, выпятив грудь вытянув шею, с хохотком сказал:

— О дядя, вы все так хорошо сами понимаете, в чем же дело? Отправьте в таком случае сватов туда, откуда они при были. Батийна нам самим нужна. Вы же помните Алымбая — младшего сына вашей покойной старшей сестры Данакан? Ему нынче пошла двадцать первая весна. Мы еще не женили его, холостой пока. По виду джигит должен вырасти хорошим хозяином. Любит четвероногих, так и вертится около них. Если вы не против, давайте договоримся: пусть Батийна станет его женой. А она не чужая нам. Жить молодые будут отдельно в своей юрте, со своим очагом. Если Батийна окажется умной женщиной и хорошей хозяйкой, она будет управлять не только нашим скотом, богатством, но и нашими головами. Лишь бы они с мужем жили дружно около нас...

Вразумительные речи Кыдырбая явно пришлись по душе Казаку, и он подумал: «А что, правду говорит. Все-таки мы в родстве. Живут они в полном достатке. Если Батийна поведет себя достойно, то будет наконец счастлива». И Казак не кривил душой, когда обратился к посланцам Абыла:

— Мы вас ничуть не хотим унижить. Вы хорошие сваты, и я рад бы с вами породниться. Да что поделаешь: решишь я отправить ее вам, завтра же мой аил сотрут с лица земли. Что я могу выставить против Адыке? Сами знаете, что он за человек! А на свете разве мало не достигших своих желаний влюбленных? Вспомните хотя бы Кукук и Сейнеп¹?

Казак отвернулся, чтобы не показать своего смущения. А Татыгуль сердцем почувствовала, как больно дочери расставаться с Абылом. «Ай, как жаль, что отказали такому умному и видному джигиту! Чем все это кончится?»

— Что ж, руки у нас коротки,— сказали мужчины и повернули своих коней прочь.

Только мать Абыла, Татына, потеряв последнюю надежду и чувствуя себя напрасно оскорбленной, не сдержала слез:

— О аллах, где твоя справедливость? Единственный сын и тот несчастный. Бедность наша поперек твоих надежд, сынок.

— Не плачь, милая моя сверстница,— сказала мать Батийны, Татыгуль— Такова божья воля. Мы хотели бы породниться с вами, дай аллаху это не угодно. Пожелаем нашим детям, чтобы каждый нашел свое счастье...

Татыгуль, прощаясь, тронула руку Татыны, и они в слезах расстались.

Батийна тайком наблюдала за посланцами Абыла и, увидев, что они уехали ни с чем, стояла ни жива ни мертва, вся дрожа и закусывая до крови губы. Сайра, неотступной тенью ходившая за Батийной, не оставляла ее одну в беде:

— Умница моя, терпи, кызыке. Сам аллах разлучает тебя. Значит, Абыл не суженый тебе. Надо смириться со своей судьбой. Может, и над тобой взойдет солнце? Не отчаивайся.

Батийна расплакалась, причитая:

— Почему жизнь так безжалостна? Чем я провинилась перед богом, что он обрушил на меня беспросветную ночь? О мой желанный Абыл, почему мы с тобой такие бессильные? Если б навсегда нам соединить кровь с кровью, сердце с сердцем, как это было у Джумадыла и Джумагуль!

«МЕДВЕДЬ»

Отец говорит спокойно, веско:

— Не скорби, доченька. Дочь должна почитать своих родителей, не идти против их воли. Родители не желают плохого своему ребенку. Ты знаешь: ради скота я не стал бы лишать тебя счастья. И за калымом я меньше всего гонюсь.— Борода и усы охотника нахохлились, словно он прозяб.—Но что поделаешь? Мне очень больно. И ты не мало перенесла горя... Я хочу, чтобы остальная твоя жизнь сложилась счастливо. Твоя бабушка когда-то не смогла своими руками выдать замуж двенадцатилетнюю Данаке. Ей не дали вырастить девочку и справить ей той. Говорят, у бедного деда на то не было воли. Старики жили около большого рода Барак-хана, рядом с Арстаналы и прислуживали именитому беку, как могли. Этот Арстаналы был очень свирепый человек. Донесут из подвластного ему аила, что бедняк замуж отправляет красивую девушку, своевольный отпрыск ханского рода немедленно отрядит своих джигитов в погоню. Они любым путем опозорят невесту... Родители были в полной зависимости от бая и терпеливо сносили все обиды. Бедная твоя бабушка мечтала с честью выдать свою Данакан за Человека, который бы ей приглянулся. Жених у девочки уже был. Бабушка твоя все делала тайно, не прознал бы бек, что Данакан просватана, что к ней приезжал жених. Выбрав однажды темную и глухую ночь, она усадила Данакан на круп лошади и сама отвезла ее в юрту нареченного жениха. Кыдырбай, приезжавший на днях к нам в аил, как раз и есть сын этой Данакан. Бог послал тогда нашей сестре счастье. Она попала в хорошую, состоятельную семью. Племянник Кыдырбай — самый старший сын нашей сестры. Впоследствии Кыдырбай стал видным человеком в своем роду. Алымбай — его младший брат. Джигиту этому чуть больше двадцати. Я, правда, давно был у них (тогда наша сестра Данакан была еще жива) и в тот приезд видел мальчугана Алымбая. Обыкновенный был ребенок. Но кто его знает? В жизни всякое бывает: из одной и той же кладки яиц может вылететь и сокол, случается и болтун, неплодное яйцо. Словом, если он удался в старшего брата, то из него выйдет человек. Если он еще малость сыроват, что ли, так ты, доченька Батийна, его как следует сама продубишь. Лишь бы он напрасно не обижал тебя. Милая моя, хоть бы твое счастье раскрылось. Для твоего отца нет радости сильнее, чем эта. Как увижу твои слезы, у меня сердце готово разорваться. Бог даст — сбудется твоя мечта.

Казак вместе с тем чувствовал свою вину перед дочерью: не сумел выдать ее замуж за любимого человека. Утешая Батийну и желая немного облегчить собственную вину, он всячески расхваливал родственников, с кем ей суждено жить. «Пусть привыкает к новому месту и скорее забывает Абыла. Кто знает, может, Алымбай на самом деле окажется лучше?»

Поглаживая поредевшие усы, Казак воодушевлялся:

— Наш зять Атантай тоже неплохой человек. Они с нашей старшей сестрой Данакан, да будет пухом ей земля, прожили достойную жизнь. В их юрте всегда царили мир и согласие. Думаю, в такой семье не мог родиться плохой питомец. Он, увидишь, станет тебе желанной парой и заслужит твое уважение...

Слова отца не могли бесследно пройти для Батийны. Сердечная рана постепенно рубцевалась. «И то сказать, разве мой любимый отец может желать мне зла и толкать в пропасть? Из-за меня ему пришлось пережить, сколько иной не переживет за всю жизнь: его всенародно оскорбили, вдобавок все отняли и пустили в обратный путь пешком и одиноким. Был первый охотник, а кем он стал? Где его зоркоглазый беркут и меткое, быющее без промаха ружье? И все из-за меня, несчастной. А мать? Родила на свет девятерых и до сих пор не сносила ни одного целого платья. С утра до ночи в непосильных заботах. И все из-за нас, чтобы прокормить и одеть нас.

Братишки и сестренки неокрепшие малыши. Что с ними станет, если я буду думать лишь о себе?»

Батийна ясно представила себе бабушку, которую очень любила. Она прожила долгую жизнь. Батийна тогда только познавала мир и была непоседой, чем немало досаждала старой, больной женщине.

У бабушки были натруженные, узловатые пальцы, заскорузлые ладони сбитые уродливые ногти, потресканные, в мелких морщина Явуки. Девочка не раз спрашивала:

— Бабушка, это злой дядя покусал твои руки, да?

— Да, доченька, лучше с этим злым дядей никогда не встречаться. Он был хуже самого Арстаналы, из потомков Барак-хана. Я жила у него в прислугах. Да что там жила, едва волочила ноги! Злой дядя заставлял приносить с гор сухие дрова, разводить очаг, варить пищу, смотреть за скотом, за его детьми. От такой работы у меня и покривились, скрючились руки.

Когда бабушка говорила, ее одутловатое, мягкое лицо мелко тряслось и нижняя губа отвисала.

— Не приведи господь переживать то, что мне довелось. Выпало бы хоть на вашу долю счастье свободной жизни, милая ты моя крошка.

Маленькая резвушка еще не могла разобраться в непонятных словах бабушки. Она с жалостью смотрела на нее. Согнутая в пояснице старушка ходила, будто переломившись надвое, почти касаясь руками земли, словно она была без костей. Это удивляло и смешило девочку Батийну.

Согбенная, изборожденная морщинами бабушка, словно ожившая тень, явилась перед взором Батийны. Уж теперь, когда на ее долю пришлось

немало тяжких дней, она все осознала. Повседневные обиды, оскорбления, побои и унижения отняли у Батийны молодую радость.

Раскаленное добела железо, опущенное в воду, зашипит, задымит белым жарким паром и постепенно остынет. Так остыла у Батийны ее нерасцветшая, нежная страсть. Ее остудили повседневные беды и несбывшиеся мечты. Что теперь? Зачем покинула ее любовь? И вернется ли она когда-нибудь? Такое чувство может быть у человека, забредшего далеко в открытую и бескрайнюю степь и растерявшегося посреди бездорожья. Слезы она все выплакала, завтрашний день не сулил ничего отрадного. «Бедная бабушка, страдальца моя. Пусть пухом будет тебе сырая матушка-земля. Почему твое лицо так и стоит предо мной? Хочешь ты поддержать меня? Или передать в наследство свои муки и испытания?»

Словно усталый путник, издалека увидевший мерцающий огонек, Батийна утешалась смутной надеждой, которую укрепляла в ней Татыгуль.

— Как-никак, доченька, они доводятся нам племянниками. Отец твой проснется среди ночи и повторяет, что они уважают тебя... Я тоже так думаю. Кыдырбая ты сама видела. Неплохой человек. Пожалуй, если старший брат хороший, младший не должен быть хуже. Ведь яблоко не падает далеко от своих веток, свет мой. Напрасно не переживай. И не плачь. Знай, каждая капля твоих слез — это капля яда на мое сердце. Твои слезы сушат и твоего отца. Пожалей и себя и нас, ясная наша звездочка.

С лица Батийны сходила грусть. Образ Абыла понемногу меркнул и удалялся, и вот уже он силуэт путника, постаявшего в безбрежной степи. Душевная рана молодой женщины, казалось бы, затягивалась.

Красное лето, словно девушка в яркой косынке, уступало золотистым дням осени. Чисто голубое прозрачное небо: ни единого облачка, хотя бы с яблоко. Те, кто жил без своего скота, переехали поближе к тем, кто имел скот,— чем-то помочь поглядишь, подработать на зиму кусок масла или сумку сушеного творога.

На желтеющих лужайках, по ложбинам, вдоль берегов рек и горных озер, на пологих склонах — всюду и везде кочевники раскинули свои юрты.

Всадники кучно гарцевали по путям-дорожкам, куда-то торопились, громко балагуря меж собой, и со стороны казалось, что джигиты решали важные дела. А разъезжали-то они по гостям в поисках хмельного кумыса. Были и такие хитрецы, что под предлогом кумыса тайком высматривали невесту себе или достойную девушку для друга.

Щедрая осень — пора тоев, поминок. В аилах на длинноухих ослах и мулах появлялись в пестрых халатах спекулянты из Андижана и Самарканда.

Вызывая злобный лай у псов, они шумно, на всю округу, расхваливали свой товар.

Семья Казака со своим аилом перебралась на ровную обширную поляну у устья реки, что впадала в озеро. Охотник, попав в беду из-за дочери, совсем разорился и вынужден был держаться поближе к людям,— тут хоть молочка выпросишь малышам. Многочисленная родня в аиле поддерживала семью

Казака, не забывая его всегдашнего благородства и заботы о них в свое время.

Отец нередко говорил Батийне: «Бог даст, выдам тебя замуж и рассчитаюсь с Адыке. А там как-нибудь достану лошадь, ружье, беркута и снова заберусь в горы... И пропади пропадом эти баи, пусть лопаются от собственного жира». Батийна думала про себя: «И то правда, раз уж я просватана, скорее бы меня забирали. А то сижу на шее у отца с матерью и объедаю братишек и сестренек».

Солнце пошло на спад. Пестро одетые девушки и молодухи, засидевшиеся по юртам, резво высыпали на зеленый берег. Река здесь широко разлилась, и в ее медленном течении виднелся каждый камушек на дне.

Шум и визг висели над рекой, девушки купались, брызгали друг в друга водой.

Из-за округлого хама показались несколько всадников, направлявшихся прямо к силу.

Батийна никак не хотела вылезать на берег. Сайра мылась, стоя по колено в воде.

— Хватит купаться, кызыке,— вдруг заторопила она Батийну.— Скорей одевайся. Сюда едут посторонние люди!

Всадники спустились к реке, и кони, рассекая воду крепкими ногами, пошли вброд. Впереди выделялась кряжистая широкоплечая фигура Кыдырбая на гнедом рослом жеребце.

Кыдырбай, которого Батийна узнала с первого взгляда, был в дорогом кашгарском широченном халате с ослепительными блестками. Деловой человек, он поддерживал постоянную связь с торговцами, барышниками и спекулянтами, приезжавшими из Андижана, из Кашгара. Ранней весной Кыдырбай закупал истощенный скот по дешевке, летом выгуливал его на сочных пастбищах и ближе к осени, когда сотни овец, коров набирали в весе и лоснились от жира, продавал их втридорога торговцам из города.

Приметливый глаз Кыдырбая разглядел среди девушек Батийну и ее джене Сайру. Кыдырбай держался непринужденно, как свой человек, а не как сват, соблюдающий все правила сватовства.

Завидев невесту младшего брата, он сразу же повернул коня к девушкам: — О милые племянницы! Вижу, все вы посвежели, что ж, дай-ка я пожелаю вам румянца на щеках, бодрости в теле. Будьте же всегда веселы и чтоб улыбка не сходила с ваших чистых лиц!

Путники, люди средних лет, поехали дальше. Среди них только два-три джигита. «Кто же из них мой будущий муж?» — на лице Батийны мелькнула усмешка.

Кряжистый, неуклюжий джигит,— он показался Батийне моложе всех, — в черном халате и на вороном коне зайлал шествие всадников. Халат явно был не по нему — болтались рукава и подол, и джигит выглядел смешно. Батийна внимательно рассмотрела его склоненную набок фигуру, — он ей сразу не понравился.

— Мне кажется,—шепнула она Сайре,—что мой будущий муж именно этот, в черном халате. Неужели аллах снова послал на мое несчастье какого-то увальня, а, джене?

Сайра, в утешение Батийне, сказала:

— Нет, почему же, человек как человек. Он, видимо, еще очень молод. Подрастет, приосанится. Не унывай, дорогая. С первого взгляда трудно оценить человека. Увидим...

— Да ты всмотрись хорошенько, джене! Настоящий медведь. Он и на лошади сидеть-то не умеет.

Молодайки старались отвлечь Бативду от дурных мыслей, но разве сердцу прикажешь любить, корено разом возненавидит?

И она не ошиблась. Прав был отец,— в одном и том же гнезде получают и орлы и пустые яйца-болтуны.

Алымбай в семье Данакан слыл недорослем. Кыдырбай, его старший брат, хорошо знавший все недостатки Алымбая, решил: «Если я его женю на умной девушке, возможно, она постепенно сделает из него человека».

Догадливый Кыдырбай еще в первый свой приезд оценил Батийну по достоинству. При мысли, что ему придется отогнать за нее целый косяк лошадей-пятилеток, у него сразу защемило где-то под ложечкой. Но раз уж он решил женить своего брата на дельной девушке, поневоле заплатишь большой выкуп. Единственно, чем он немного утешался: «Не чужим отгоняю этих коней. Идут к моему же дяде. Благословит бог, они еще вернутся ко мне. Тогда возместятся все понесенные убытки».

Не раз Кыдырбай, злясь на младшего брата за его невероятное тупоумие, с обидой в голосе сокрушался:

— Сколько ни пробовал, толку от него не добыюсь. Кажется, лишь женщина с умом вправит ему мозги.

Понятно, почему, загнав коня дальней дорогой и решив отдать за невесту изрядный калым, он приезжал тогда договариваться о сватовстве. Теперь же он привез жениха не на смотрины, а чтобы забрать невесту. Он рассчитывал, кроме того, взять с собой дядю Казака, ставшего сватом, и освободить его от расплаты за беглянку. Это он решил потому, что Адыке нынче передвигался со своим скотом к Балгарту. Следовало этим воспользоваться и отогнать ему вовремя лошадей. Иначе Адыке может откочевать в отдаленные места.

Казак и его родня с радушием и гостеприимством встретили сватов и немедленно начали готовиться к отправке Батийны.

Вечером по обычаям устроили смотрины невесты. Батийна пристально разглядывала Алымбая: он сидел недвижимым пнем. Толстые, мясистые губы отвисли, широкий нос раздулся, словно принюхивался к запахам; узенькие, заплывшие жиром глазки, казалось, ничего не видели.

Девушки и молодухи, что пришли на смотрины невесты, весело взялись подшучивать над женихом:

— Что, джезде¹, вы сильно утомились от дальней дороги, не правда ли?

— Ничего. Сейчас мы вам надерем уши,—так полагалось по обычаям,— и вы сразу повеселеете. Ха-ха-ха!

Свояченицы тормошили джезде, дергали за уши, потешались над ним. Он лишь безучастно отмалчивался. Девушки смеялись, поддразнивали — ему хоть бы что.

— Ой-ой, девочки, кажется, наш джезде уснул? Давайте его разбудим, а?

— Где уж спать? Просто он голоден!

Неуклюжий жених зашевелился, взглянул на Батийну глазами-щелочками и пробасил:

— Да я что! Я вовсе не сплю и вовсе не проголодался. По дороге одного бая выпили кумыса...

Батийна оторопела, глаза защемило от сухого жара. Новый ее жених был не только похож на медведя, он оказался и с придурью. Но подружкам ласково сказала:

— Спасибо вам, что пришли. Джезде вы уже повидали, теперь можно и по домам расходиться.

— Что ты говоришь, кызыке, наша радость? — взмолилась Сайра.— Мы пришли повеселиться на твоих проводах.

— Чего, собственно, веселиться? Ведь я не девушка на первом выданье. Да и джезде приустал с дороги.

Игры явно не клеились. Батийна замкнулась, с тоской глядя на хмурого Алымбая. Вскоре все разошлись.

Батийна все-таки пробовала растормошить своего нового жениха.

— Видел, какие у нас боевые, языкастые молодки? Ты не нашелся даже, что им ответить. Рассказал бы нам что-нибудь... Интересно, как поживают твои родители, сколько юрт в вашем аиле, когда вы выехали из дома, что видели в пути...

Алымбай угрюмо посмотрел на Батийну.

— А мне нечего рассказывать,— буркнул он.— Здесь какие-то чудачки собрались...

— Да, да, такие мы чудачки,— подхватила Батийна.— Любим посмеяться, позабавиться. А кто приезжает к нам за невестой, тому наши молодайки не дают покоя... Не жди от них пощады. Самый молчаливый жених, попав к нам, заговорит. Они не постесняются у тебя просить выкупные подарки. И бесцеремонно могут оттащить за уши своего джезде. А если жених увалень и колода, невеста вправе от него даже отказаться. Вдруг и твоя откажется, что тогда?

— Ой, а что мне делать, чудачка какая-то...— И Алымбай обиженно насупился.

Батийна сказала:

— Идем, джене, нам пора.

Сайра воспротивилась, но Батийна не послушала ее и покинула юрту. В смятении Батийна упала на колени перед матерью.

— О дорогая мама, неужели дочери твоей всю жизнь суждено прожить несчастной? За кого вы отдаете меня замуж? И рею-то жизнь терпеть этого медведя!.. Чем отдавать меня за таайго увальня, лучше незаметно отрави меня, мамочка. Прошу тебя... Пожалей свою дочь. Иначе я наложу на себя руки. Не пойду за него, даже если меня в кровь избьете.

Татыгуль отпустила дочь и с горькими упреками обрушилась на мужа:

— Сколько раз ты повторял: лучше продам сына; только бы её видеть больше слез своей дочери. Посмотри, какими слезами она сейчас заливается. Твой племянник — последний человек на свете. Будет ли она с ним счастлива?

Опять бедняжке тайком проливать слезы... Чем всю жизнь мучиться, говорит, лучше один раз умереть. Не пойду, говорит, за этого двуногого медведя. И я с ней согласна. Подумай, старый. Чем преждевременно гасить нашу Чолпон ты, отец, лучше уж отдай меня в рабыни к этому Адыке, но освободи дочь...

Голос Татыгуль дрогнул, ее старое сердце готово было разорваться.

— Эх, Рыжая, Рыжая,— укоризненно сказал Казак,— волос у тебя длинный, а ум совсем короткий. Это потому, что ты женщина. Я сам себе не враг, чтобы своей дочери пожелать столь тяжкую жизнь. Я сам вижу, что наш новый жених, быть может, и не совсем умный джигит. Но подумай, Рыжая, сама: у них будет своя юрта, своя постель. Дочь наша станет самостоятельной хозяйкой и, глядишь, превратит бестолкового дурня в человека. Успокойся, Рыжая, и скажи ей, что стыдно теперь искать другого жениха.

Казак провел бессонную ночь, а едва забрезжил рассвет, покинул юрту и одиноко уселся на вершине ближнего холма, откуда весь аил хорошо просматривался...

Долго ворочался этой ночью и Кыдырбай, он еще с вечера заметил, что происходят какие-то разногласия и неполадки. Он лучше других знал истинную цену Алымбаю, поэтому ни в чем не мог упрекнуть дальнорукую Батийну. Он предвидел, что жених не понравится невесте, и не питал обиды на охотника и его дочь.

Увидев одинокого Казака, маячившего на холме, Кыдырбай медленно, подавленный раздумьями, подошел к нему.

Они долго сидели рядом и, наговорившись, подозревали Татыгуль и Батийну.

— Присаживайся, о почтенная таэже 2,— сказал Кыдырбай, обращаясь по-родственному к Батийне,— кажется, я своего младшего брата с самого начала не расхваливал перед вами. Не скажу также, что он настолько плохой человек, чтобы ему пожелать смерти. Мы с ним дети от одной матери. А наша мать доводится вам эже — старшей сестрой. Значит, мы с вами связаны родством, я и посватался к вам, чтобы возродить нашу общую кровь. Я ничуть не позволяю себе возвышаться над вами,, потому что богат. И не думаю принижать вас, потому что вы люди бедные. Если я такое себе когда-нибудь позволю, пусть меня покарает дух матери... Для Батийны я буду не деверь, а старший брат. Она смело может входить в нашу семью. Пока меня будет носить земля, к ней, полновластной хозяйке в своей юрте, не прикоснется плетка мужа. И я, и каждый наш соплеменник желаем Батийне

добра и кучу детей. Батийна,— обратился Кыдырбай к невестке,— не отказывайся от Алымбая. Мы совместно сделаем из него человека. Обидев сейчас его, ты обидишь меня. Будь же благоразумной, родная.

С поникшей головой Казак слушал свата. Батийна, стесняясь, а также из жалости к отцу немного смягчилась. Сейчас у нее язык не поворачивался сказать: «Убейте меня и мертвой отправляйте куда хотите. А живой я не пойду за него».

— От вас я, конечно, не отказываюсь,— сказала она упавшим голосом.— Вы старший племянник отца. Вы сами признали, что женщина с золотой головой куда лучше мужчины с лягушечьей. Так пожалейте меня. Перед кем я провинилась, за что мне выпала такая судьба? Вчера собрались в юрте мой сверстницы и лучшие подружки. Хотелось что-нибудь услышать от вашего младшего брата. Подшучивали беззлобно над ним. Он не шелохнулся, все равно что стылый камень. Попыталась я его разговорить. Тоже без толку... Он и видом какой-то странный, невольно пугаешься...

Кыдырбай ничуть не обиделся на откровенную речь Батийны.

— О умница, дорогая моя невестка,— начал он издали,— все, что ты сейчас сказала,— чистейшая правда. Своего младшего брата, повторяю, я ничуть не хвалю. И недостатки у него есть, и джигит он пока неважный. Но вспомни-ка народную сказку про некоего дрался с покрытой паршой головой. Умная красавица жена сумела вернуть ему разум, и он стал впоследствии ханом. А мой младший брат — он вполне здоровый человек, может и за скотом ходить, и горы ворочать: силы, сноровки у него хватит. Послушай, Батийна, я поведаю небольшую историю.

Давно это случилось. У одной женщины родился ребенок: голова покрыта паршой, тело в струпьях и язвах. К мальчику страшно было подойти. И люди обходили юрту стороной. Никто не хотел жить с ними по соседству.

Кочевники оставили мать с сыном — к этому времени он уже вырос в большого джигита — в одинокой юрте, а сами сменили место стоянки. Лишь одна девушка, дочь умного человека Долотбека, по имени Акылай, решила здесь остаться. Парень со струпьями на теле чем-то ей приглянулся. «Чем он хуже прочих людей? — подумала девушка.— Если и хуже, то я берусь ему помочь». И она по своей воле вышла за него замуж. Вышла и решила, вылечить его от парши и струпьев. День-деньской Акылай бродила по горам, собирала разные травы и цветы, готовила отвары и всякие соки, неутомимо лечила своего мужа. Вскоре парша пропала на голове, ее покрыл густой, черный волос. И каждый раз, когда они ложились спать или вставали с постели, садились за дастархан, она говорила: «Э-э, мой бай, не я ли должна нежиться с тобою, не ты ли должен лнуть ко мне? Полюбит народ меня, полюбит и тебя. Не плюй в голубое небо, не бей сапогом по земле. Будь честен, что в мыслях, что в делах своих. Взял взаймы овцу, верни коровой. Купил козу, знай, она может дать двойню. Кобылу выбирай не по крупу, а по зубам. При встрече с человеком не забудь его приветствовать. При встрече с младшим будь с ним вежлив. Со временем, если ты не пойдешь по торной

дорожке и никому не сделаешь зла, счастье, будь уверен, и тебе улыбнется. Если к нам придет чужой, разреши мне называть тебя моим баем. И держись, как господин. Если придет должник, держись достойно. Никогда не бубни себе под нос скверные слова, это делают лишь дрянные мужчины. Всегда смотри вперед, не унывай и не грусти напрасно. Знай, веселому легче живется. Ни с кем не препирайся и по-пустому не шути. И не говори лишнего. Смейся в подходящее время и в подходящем месте. Если в юрту забежит собака, не гони ее, она ведь голодная. Если на чамгарак¹ сядет сокол, не вспугни его, размахивая руками, и он тебе послужит, мой господин...»

Не прошло и трех лет, как слова Акылай «Чем один человек хуже другого?» распространились по всей земле, среди всех племен.

Джигит стал красивым и умным, и за сделанное им добро люди избрали его в том округе своим ханом. С тех пор народ сложил пословицу: «У славной жены и муж отменный. У башковитого визиря и хан мудрец»...

Кыдырбай повел могучими плечами и закончил так:

— В руках хорошей женщины — чудодейственная сила, лучистый свет от ее лица озаряет семью. С плохой женой у самого хана дома царит мрак и беспорядок. Пусть мой брат недоумок, но умным его сделать сможешь лишь ты, Батийна.

Она задумчиво слушала Кыдырбая, когда он кончил, дала свое согласие.

— Ваша чудесная сказка,— сказала она,— чуть размягчила мое остуженное сердце. Хорошо, племянник отца. Я согласна терпеть года три. Если ваш брат за это время и вправду станет человеком, я остаюсь с ним жить и дальше. Если не выйдет, как я захочу, вы отпустите мою душу на свободу по всем правилам шариата.

Кыдырбай обрадовался и льстиво воскликнул:

— Спасибо тебе за ум, невестка моя! У тебя светлая голова, и отныне я раб твоего ума. Да, потерпи каких-нибудь три года. Не станет он человеком, каким ты хотела бы, я не стану тебя неволить.

Батийна, несколько не стесняясь, откровенно высказала свои мысли:

— Усохшее дерево, сколько его ни поливай, не зазеленеет. Безжизненный корень лучше и не поливать. Но я попробую в течение трех лет оживить это дерево — вашего брата. Если в Алымбае окажется хоть немного человеческого, то он, надеюсь, исправится. Если же он трухлявый пень, то уж не взыщите... Я душа, жаждущая свободы. После трех лет я покину вас. Не корите за это моего отца и не взыскивайте с него. Согласны?

Всей своей неуклюжей фигурой Кыдырбай склонился над Батийной.

— Хорошо! Дай руку, невестка. Рука — божья печать. Впредь не называй своего жениха медведем. Постарайся, сделай все, чтобы он стал человеком. Пусть будет по-твоему, я не нарушу своей клятвы.

После уговора скрепили брачный союз, и Казак отправил Батийну к жениху вместе со сватами, чтобы оттуда перегнать косяк лошадей Адыке.

ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ СВЕТИТ СОРОК ЗВЕЗД

Айнагуль укутали в парчу, снарядили богатым приданым и доставили в богатую юрту. Однако боль в ее сердце не утихала. Став женой ненавистного

Рамазана, после разлуки с храбрым джигитом Болотом, она в первые же дни сникла. Миловидное, с нежным румянцем лицо поблекло. В довершение Айнагуль изводили сплетни злоязычниц.

— Дочь Бармана потеряла всякую цену. Она преступила все наши обычаи, само святое благословение и еще девчонкой своевольно дерзнула выбирать себе жениха. Звезда ее никогда не засияет. Подумаешь, есть из-за кого затевать смуту между двумя крупными родами. Худосочная замарашка, место ей разве что у казана и посуды,— перемывали косточки Айнагуль молодайки.

— А вспомни, байбиче, когда мы были в ее возрасте",— вторили и седовласые старухи, которые обычно' не вмешивались в сплетни.— Да разве смели мы убежать по своей охоте? Ни за что! Шли безропотно, куда нас просватают. Теперь, боже мой, все пошло кувырком... Где это видано, чтобы от сына такого почтенного бая отказывалась дочь бесподобного человека другого рода, притом открыто, с вызывающим шумом...

— Нечестивица! Старики давно предвидели. Чем ближе конец света, тем легче скверные жены начинают-изменять мужьям и заваривают смуту в аилах. Эта распутная дочь Бармана грозит нам чем-то зловещим...

— Перед светопреставлением сын перестанет уважать отца, а дочь — стыдиться матери. Виданное ли дело, чтобы полынь выросла в дерево, а плохая жена стала соколом над мужем?

— Все это верно. Дочь Бармана пренебрегла девичьей стыдливостью, и по ее милости чуть не вспыхнула кровопролитная схватка. А вдруг еще одна поганка вздумает бежать? Что тогда?..

— Все по миру пойдем! И несогласие окончательно погубит людей...

Кто знает, во что обернулись бы эти сплетни, не будь Айнагуль сама знатного происхождения. Ее могли возненавидеть и стар и млад. Но слава отца и добропорядочность матери были для Айнагуль защитой. Айнагуль и не думала подчиняться насильному замужеству и отказывалась считать Рамазана своим нареченным мужем. Одна слава, что был ой сыном бека. Чем мог достойно сравниться с Айнагуль неотесанный Рамазан? Нет, не дано ему было отогреть сердце Айнагуль, и с каждым днем оно больше остывало.

Явная и все обострявшаяся неприязнь к мужу и вместе с тем мучительное чувство стыда из-за болтливых сплетниц привели Айнагуль к твердому решению постоять за свое человеческое достоинство и уйти отсюда. Она все чаще открыто признавалась подругам: «Все равно теперь на всю жизнь за мной сохранится молва, что ищу мужчин. Чем с постылым человеком провести тысячу ночей под шелковым покрывалом, лучше с любимым одна ночь под дырявой рогожкой».

Айнагуль, словно вырвавшийся из клетки кобчик, сызнова искала свою судьбу, своего суженого.

Асантай ревниво охранял благополучие сыновнего очага и, узнав, что чересчур своенравная невестка намерена порвать с его сыном вторично, взбеленился. «С каким бы удовольствием,— прохрипел он своим друзьям, вращая налитыми кровью глазами,—я приказал бы запеленать ее в

шиповник». Удержало его пока от злобной расправы с невесткой лишь уважение к чести свата Бармана и рассудительной Гульгаакы. Правда, не стерпев, он вызвал однажды к себе Гульгаакы и предупредил ее: — Внушите своей дочери, чтоб не нарушала наших обычаев. Если она вздумает отвергнуть моего сына, во мне тоже проснется обида и заговорит гордость!

Гульгаакы, в изрядном переливающимся луговыми цветами платье, в присутствии свекра со всей откровенностью сказала дочери:

— Я, конечно, тебя в обиду не дам, мой свет. Но и ты почитай свою мать и не позорь ее перед народом. Женщина может иногда отречься от мужа, но отречься от своего рода она не вольна. Ты у меня умная девочка. Не дай бог, прогневаешь народ и заслужишь всеобщее презрение.

Айнагуль немного притихла, но остуженное Рамазаном сердце втайне страдало. <

Айнагуль, правда, покрыла себе дурной славой, ведь она вызвала опасную междоусобицу, но: эта не мешало сыновьям именитых и знатных родителей издали влюбляться, мечтать о ней и питать какие-то надежды.

В аилах было немало джигитов, желавших хоть уголком глаза взглянуть на прославленную молодайку. Иные под предлогом осмотреть пастбища, обменять скакуна, а кто в поисках якобы пропавшего верблюда осмеливались невзначай очутиться в аиле Асантая и тайком рассмотреть всю в шелках и в блеске Айнагуль.

— Драгоценная жемчужина, а досталась какому-то телку Асантая,— вздыхал иной молодец.— Где ж я был раньше? Почему не заметил ее? Ведь хорошая жена, считай, уже полсчастья! Ай-ай-ай, жемчужина, да не наша.

Да, многие скрытно мечтали и сохли по ней.

Пришло время, когда горы и долины снова покрылись разноцветным ковром. Скот уже дал свое шумное потомство, пошел на жировку. Во всех аилах полными бурдюками лился кумыс.

Аил Асантая расположился на зеленом просторном плато, и скот его гудел и блеял окрест. Многоголосие и многоцветие царило в аиле. Джигиты оседлали коней, мотались по гостям, девушки и молодухи, покинув опостылевшие за зиму юрты, бегали друг к дружке. Степенные женщины, в накинутом на плечи чепкене и легких шубейках, выходили отогреться на солнце, посудачить о том о сем. Белые тюрбаны на их головах издали бросались в глаза на фоне этого зеленого царства.

Асантай со своими советниками, старейшины и аксакалы собрались на вершине усеянного желтыми лютиками холма и распивали кумыс, когда из-за пригорка, похожего на лежащего верблюда, показалась группа всадников на откормленных конях. Скакали они друг за дружкой, и за плечами у них виднелись черные стволы ружей. Но ехали всадники спокойно, и, кажется, не было оснований бить тревогу.

На подступах к аилу всадники повернули своих коней к мужчинам на холме. Они важно и с достоинством приветствовали Асантая и всех аксакалов.

Оказалось, это младший сын прославленного Арстаналы Манапбай со своими дружками. Манапбай — в жеребковой дохе, представительный джигит лет тридцати, с черными открытыми глазами. Густые брови лоснятся, словно смазанные. С белого лица не сходит самоуверенная улыбка. Тебетей, отделанный блестящей шкуркой куницы и крытый светло-коричневым плюшем, очень шел Манапбаю.

Жгучее внимание привлек иссиня-черный, как ночь, иноходец с белой звездочкой во лбу. Он грациозно шел ровным, но быстрым ходом и, мотнув головой, остановился как вкопанный, не дойдя пятнадцати шагов до людей. Санжар, что ехал рядом на крупном гнедом коне, проворно соскочил с седла и принял поводок у хозяина. Джигиты Асантая приняли коней у остальных неожиданных гостей.

Манапбай смолodu любил жить роскошно и всегда с собой возил певцов, комузистов, охотников. Они не только веселили и развлекали сына бека, но веселили и развлекали всех, у кого им доводилось гостить.

Многие из окружения Асантая хорошо знали Манапбая, а те, кто лично не знал, были о нем достаточно наслышаны.

Гостям быстро освободили удобные места и тут же им поднесли полные чаши освежающего кумыса.

Если Асантай мог даже не взглянуть на приезжих гостей из какого-нибудь скромного рода и отправить их прямо с порога, то поступить так с Манапбаем, конечно, было нельзя.

— Вы видите, кто к нам приехал? А ну-ка немедля поставьте самую большую юрту! И прирежьте бычка, да пожирней!..

«Пусть джигиты этого хвастуна увидят,— думал он про себя,— насколько Асантай добр и щедр. Потом будут слагать легенды о нашем широкодушном гостеприимстве. И это лишь на пользу моему роду. Да будет везде и всюду известно, как мы чтим обычаи предков».

Приказания выполнялись с удивительной расторопностью. Одни джигиты кололи дрова, таскали воду, разводили огонь; другие устанавливали белую юрту; третьи на резвых конях мчались по всем направлениям за певцами, комузистами, шутниками и сказочниками.

Манапбай сидел колено в колено с видным властелином Асантаем среди белобородых и чернобородых старейшин и, наблюдая за поспешными, словно праздничными, приготовлениями, чувствовал себя сначала как-то неловко, особенно вспомнив о цели своего приезда. От кисловатого кумыса и теплого вечернего ветерка щеки у всех покраснелись. Всем было весело и приятно. Хотя у Манапбая еще и не отекала нога, он, показывая свое высокое достоинство, небрежно протянул правую ногу в сторону. При старейшинах, высиживающих подолгу в одной и той же позе, вытягивать ногу было не принято. А Манапбай позволил это себе. И Асантай вместо того, чтобы возмутиться за явную вольность, машинально посмотрел на черный блестящий сапог гостя осмотрел и подумал:

«Еще ни один из моих сыновей подобных сапог не носил. Хотя бы и обул кто-нибудь из них дорогие сапоги, все равно не осмелился бы вытянуть так бесцеремонно свои ноги перед высокочтимыми аксакалами. Чтоб у тебя желчный пузырь лопнул! Кичится, что из рода бека».

Два дня и две ночи Асантай угощал Манапбая, считая его своим дорогим гостем. Два дня они пили кумыс и поглощали мясо, слушали песни и ублажающие слух легенды. Акыны неумоимо восхваляли достоинства Манапбая и Асантая. Комузисты исполняли древние мелодии. Когда кто-то из местных комузистов в шутку сыграл народную игровую мелодию, Асантай грозно прервал его:

— Ты, парень, ступай отсюда. Бренчишь что-то непонятное... Никому здесь твои песенки не нужны, исполняй их где-нибудь на захудалой пирушке... После этого комузисты и музыканты, играющие на кияке¹, исполняли те мелодии и пели лишь те песни, которые могли бесспорно заслужить похвалу и одобрение Манапбая и не вызвали гнев Асантая.

В гостеприимстве Асантая все узрели его добрые намерения и старание угодить высокородному беку. Свою личную признательность выразил ему и сам Манапбай: он уезжал отсюда с радостным чувством, словно совершил важное дело.

Асантай, не заметив ничего дурного с его стороны, в знак высшего расположения подарил Манапбаю лучшего ловчего сокола. В окрестных аилах эту зоркую птицу звали Черный сокол. Минувшей осенью Асантай купил ее за сто баранов, полагая, что она может пригодиться для Рамазана, если тот увлечется охотой. Но Рамазан не загорелся ни охотой, ни Черным соколом, по которому тосковал не один настоящий охотник. Рамазан не только не знал, как держать ловчую птицу, он мог сбить ее с дрессировки. И Черный сокол перестал бы ловить даже мышей. Вот почему отличный сокол достался Манапбаю. Отдавая его, Асантай смотрел далеко: «Пусть подаренный сокол задобрит самого мирзу».

— Видишь, какими бывают сыновья у знатных родителей: и статные, и умные, и гордые,— сказал Асантай Рамазану после отъезда гостей.—Захочешь жить настоящим человеком, так подружись вот с такими, не жалея ничего, и ты не пропадешь. Человек только в дружбе с человеком сам становится человеком. Если б и ты вот так выезжал в чужой аил и держался с таким достоинством, как Манапбай, далеко бы разнеслась слава о нас, и моя власть и влияние еще бы возросли. «Если сын хорош, то отца даже судья уважит. Если сын плохой, даже благородного отца может укусить иная собака». Почему я так щедро встретил и вознаградил Манапбая? Да потому, что он держался с великим достоинством. Я не посмотрел бы, что он бек, не имей он этого достоинства. Асантай говорил нарочито громко: чтобы слышали все свои, кто был в юрте. Слышала свекра и Айнагуль, сидевшая в юрте новобрачных. Она внутренне торжествовала свою маленькую победу. Ведь за эти два дня, что гости находились здесь, у

Айнагуль сердце изныло от тоски. «Какой замечательный человек этот Манапбай! А мой дурень не стоит его мизинца. Мы, девушки, как привязанные буйла² к верблюдам... Будь я свободна, сама бы его разыскала. Он вполне достоин моей светлой любви».

Девушки и молодайки, словно распаляя ее влечение к Манапбаю, на все лады восхваляли его учтивость, доброту и осанистость. Пусть молодухи-плутовки могли в порыве мимолетного увлечения ошибиться. Ну, а свекор Асантай, способный раскусить человека с первого же взгляда?! Похвалы Манапбаю лишь сильнее разжигали Айнагуль. «Ах, почему он не появился, когда я девчонкой в тебетея сидела у родительского очага? Попался бы в мои сети, как острокрылый сокол в погоне за добычей. Но что я могу поделывать теперь? Счастье мое пронеслось бесследно стороной, не видать мне его больше».

— Мой господин,— обратился к Манапбаю его доверенный друг и правая рука,— видел ты Айнагуль? Что, хороша, красавица? Очаровательна, хоть и замужем, вся в свою мать. Гульгаакы и сейчас не потеряла своего обаяния. Айнагуль, как я поглядел и поразмыслил, наилучшая для тебя пара. Напрасно она мается с этим телком бая. У нас говорится: «Иная лошадка лучше, чем скакун. Иная женщина лучше, чем девушка». Истинное слово, мой господин. Думаю, не помешало бы вам взять ее в токол³, а? Нежилась бы она около вас. Она лишь украсит вашу юрту...

Манапбай громко рассмеялся:

— Что ты говоришь, мой друг Санжар? Твоя речь услаждает мой слух. Я не напрасно ездил сюда. Стоило ли совершать длинное путешествие ради "того, чтобы провести две ночи у какого-то Асантая? Не сомневайся, Санжар, мои мысли устремлены вперед. Я знаю, что мне делать. Покойный мой дед, бывало, говорил: «Сам назначаю цену, сам же ее и отменяю». Я внук великого батыра, и слава его не потеряла для меня своей силы. Подвернись случай, кто откажется от нежной, ласковой токол?

Джигиты во хмелю льстиво наперебой горланили:

— Правильно, наш господин! Если тебе угодно будет, Асантай не только сноху, даже родную дочь сам тебе доставит...

— Да, да, золото разве ржавеет? А Айнагуль женщина золотая. Что, если в самом деле вы ее возьмете? Пустяки, что она замужняя.

В разговоре и шутках Манапбай вспоминал своего деда, который любил говорить: «Горы колыхнутся, я их остановлю. Но если я колыхнусь, кто меня остановит?»

«Да,— улыбался он своим сладким мечтам,— и правда Айнагуль золотая женщина. Раз я в силах ее взять, почему бы это и не сделать?»

Айнагуль приглянулась Манапбаю с первого взгляда. И теперь он непрестанно думал о ней. В ту пору до него быстрее пули дошел слух, что Айнагуль отправилась погостить к родителям. Манапбай очень обрадовался и тут же вызвал к себе Санжара. Посовещавшись, Манапбай в сопровождении своих джигитов спешно покинул аил. Под ними были самые выносливые и ходкие кони. Всадники держали путь к Барману, и ни у кого это не могло

вызвать подозрения: мало ли куда разъезжают по аилам джигиты со своим мирзой? Одеты они так, что ни солнце им не страшно, ни дождь не опасен. За плечами у двоих или троих ружья на случай погони. «Для устрашения и стрелнуть неплохо,— прикидывал Манапбай.— А сделаем свое дело, нас выручат быстроногие скакуны».

Конечно, ружья есть и у Бармана, есть у него и скакуны. Но по мирным нынешним временам, когда давно уже не слышно о разбойничьих налетах, едва ли они готовы будут оказать настоящее сопротивление.

Покинув аил, Манапбай пустил коня вскачь и далеко оторвался от своих джигитов. Всю дорогу мирза ехал один, и лишь когда с пригорка на обширной зеленой поляне показался аил с многочисленными юртами, он попрердержал коня.

— Ну, мои оболтусы, придумали что-нибудь? Как будем умыкать Айнагуль? — спросил Манапбай.

Щеки у мирзы горели румянцем, в озорных глазах светилась решимость, он довольно улыбался, словно этой улыбкой хотел сказать: «Не ломайте голову. Я сам давно придумал, как увезем Айнагуль».

Санжар откинул на затылок калпак и, сдерживая на месте разгоряченного гнедого коня, громко за всех ответил:

— Э-э, господин, наша голова — ваша голова. Мы весь свой ум вам отдали. А вы как думаете?

Манапбай раскатисто смеялся.

— Не могу что-то понять, на какой стоянке сейчас аил Бармана?

— Говорили, его аил все еще на Большой стоянке,— опять за всех ответил Санжар, будто он сам видел.— До Большой стоянки на плато отсюда рукой подать. Вокруг плато редкий кустарник. Западная сторона нас совсем не интересует. Если ехать восточной,¹ то надо перебраться через перевал Кок-Мойнока, спуститься вниз и перейти вброд речушку Балгынды. Берега ее заросли таволгой, жимолостью и ветвистой вербой.

Манапбай прервал джигита:

— А нам слишком густые заросли и не понадобятся. Мы прямо подъедем вроде странствующих путников к юрте Бармана и спешимся. Думаю, бай не откажет нам в ночлеге, а? На ночь мы не останемся. Тогда бай, вероятно, зарежет нам ягненка, покормит в дорогу. Нежное мясо ягненка сварится быстро. Поев, поблагодарим Бармана за гостеприимство и снова поднимемся в седла. Перед тем как тронуться, у Санжара мучительно разболится зуб. Санжар замычит по-бычьему и станет извиваться, как ящерица. Он останется даже почти голодный.— Манапбай, довольный своей находчивостью, подбодрил Санжара:— Не падай духом. Проживешь день и впроголодь. Когда вернемся из этого похода, в случае удачи для тебя одного зарежу годовалого жеребчика... Слушайте дальше. У Санжара, значит, сильно разболятся зубы. Мы, не обращая на тебя, Санжар, внимания, словно не пожелали тут заночевать, поспешим в путь. Делать тебе нечего, зуб ноет, слез не жалеи, дурень... Ночью, когда все улягутся, найдешь Айнагуль,

расскажи ей, что мы ждем невдалеке... Коня не расседлывай. Ну, остальное... делай как знаешь. Будем ждать вас вон в тех зарослях... На этом и порешим. Солнце уперлось в зенит, когда Манапбай вместе с джигитами добрался до аила Бармана. Бармана дома не оказалось. Манапбай очень обрадовался. А Гульгаакы байбиче было совершенно безразлично, дома ли, нет ли ее бай. Любого гостя она могла сама принять. Знала, кого чем покормить, кого чем одарить — лошастью, шубой, чапаном,— смотря по необходимости. И что бы Гульгаакы ни делала, Барману это нравилось, и он никогда ее не корил. Наоборот, был доволен прославленной байбиче, гордился ею и восторженно спрашивал:

— О, сокровище моей юрты, кто сегодня твои гости? Благословила ты их в путь-дорогу?

Гости застали Гульгаакы без элечека, в яркой легкой котике, и она показалась приезжим молодой, красивой женщиной. Поразило гостей и убранство юрты: валики цветных одеял, вышитых и расшитых кошм, ковриков, подстилок, шелковый занавес, за которым спал с женой бай Барман, золотые и серебряные уздечки, подвешенные на ала бакан¹, удила, женские и мужские седла. Все сверкало и блестело, словно было выставлено напоказ заезжим гостям.

«Смотри, прекрасная женщина и юрту свою содержит, как в сказке,—подумал Санжар, озираясь по сторонам.—Известное дело, раз уж мать хороша, то и дочь, наверное, не хуже. Как уж на нее тут не засмотреться, мой мирза?» Гульгаакы байбиче встретила гостей с присущим только ей гостеприимством. Мгновенно был разостлан дастархан, на скатерти появились жаренные в особом душистом масле боорсоки с изюмом, масло, холодное мясо, целые миски разного творога, эджигей сметаны. В большой черной блестящей чаше с высокими изогнутыми краями бродил кумыс. Джигит размешивал его цветной деревянной ложкой, наливал в пиалы и подавал гостям.

Манапбай соблюдал все правила обычая и не протягивал дерзко свои ноги к дастархану. Он держался скромно и учтиво. «Может, еще стану зятем»,—прикинул он и даже попросил извинения у Гульгаакы за столь неожиданное беспокойство.

Все шло именно так, как он задумал.

Манапбай с радостью отметил, что щеки у Айнагуль горели румянцем, глаза озорно сверкали из-под длинных черных ресниц и удивленная улыбка не сходила с лица. Айнагуль появлялась и исчезала, и все ее движения были легки и плавны, словно полет бабочки.

Белое атласное платье с двумя широкими оборками, в талию сшитый камзол из парчи подчеркивали ее женственное изящество и красоту, на которую не каждый джигит осмелился бы открыто посмотреть. Маленькие ножки Айнагуль были обуты в сапожки с блестящими, мягкими подошвами и голенищами, расшитыми узорчатым орнаментом. Белую шею украшали блестящие бусы и ожерелья. На голове Айнагуль возвышался мастерски сделанный снежно-белый тюрбан. Он очень шел к ее округло-мягкому лицу.

Манапбай, внимательно оглядев женщину, решил: он пойдет на все, чтобы овладеть Айнагуль. «Пусть я буду изгой, но только с Айнагуль. Мне и жизни своей не жаль ради нее».

Отдавшись сладостным мыслям о совместной жизни с Айнагуль, Манапбай позабыл, что слишком долго и пристально разглядывает свою избранницу. Это, конечно, не могло ускользнуть от умной, наблюдательной Гульгаакы. Но тут же она подумала: «А кто не zalюбуется прекрасным?»

Не всякая дочь посмела бы появиться в юрте, где находились почтенные гости. Айнагуль же чувствовала себя свободно и сидела с именитыми людьми за общим дастарханом. Да и боялась ли она чего-нибудь, прославленная в округе красавица? Айнагуль уже не девочка с косичками, а видная женщина в элечеке. Почему бы и ей не посидеть здесь в качестве равного достопочтенного гостя?

Не «жди беду, она сама придет. Беда неожиданно-негаданно посетила и эту милую юрту. Не успели гости как следует поесть, как у Санжара страшно разболелся зуб. Бедный малый не

— Зачем такие страшные слова? Что скажут люди, если услышат вас?

Стыдно...Айнагуль резко обернулась к Санжару.

— Какой еще стыд ты видишь? Мне не было стыдно, когда у лучшего джигита Манапбая «разболелся зуб». Стыдиться должны вы, что обманули и похитили меня из родительской юрты и навлекли на меня гнев и беду. Мне, дочери прославленной Гульгаакы и достопочтенного Бармана, ничуть не стыдно. И мне некого бояться. Я не устану рассказывать встречному-поперечному, что когда-то бравый джигит Манапбай испугался какой-то беззубой старухи, подвязал голову платком и сейчас кряхтит у очага. Пусть над ним и другие посмеются. А я по дороге домой буду громко распевать:

Расколов ядро урюка,

Я услышал:

«Кто твой дед?

Ты достоин зваться внуком

Манапбая или нет?»

Я ответил:

«Манапбай

И хвастун и негодяй!»

Перед дальнею дорогой

Съем я сладкий плод хурмы,

И меня, наверно, строго

Спросят мудрые умы:

«Схож ли

Ты, поведай миру,

Манапбай, с отцом-батыром?»

Я отвечу:

«Сей сынок —

У ствола сухой сучок».

Манапбай не сразу нашелся что сказать Айнагуль, только про себя подумал: «А что, она права. Ведь я сам ее искал, первый возгорелся к ней желанием, сам украл из родительской юрты... А сколько в ней обаяния, красоты и мужества. Красноречивая тигрица!»

%И он мягко проговорил, не желая показывать свою растерянность:

— Брось, Айнашжан, не будем ссориться. Как-то неловко получается...

— Значит, ты не клятвы своей, а стыда и позора боишься?

— Да, милая, позор хуже смерти.

— Почему же ты не стыдишься того, что хочешь отречься от своей жены?

— Айнашжан, да я от тебя вовсе и не отрекаюсь,— Манапбай пробовал даже улыбнуться и приблизиться к ней.— Моя юрта — твоя юрта, наша с тобой обитель. Ты освещаешь ее своими светильниками, и я не посмею потушить ни один из них... Прости меня, Айнашжан...

ДЕВОЧКА-СВЕКРОВЬ

Данакан покинула белый свет в прошлом году, оставив у потухшего очага престарелого мужа Атанта. Данакан рано вышла замуж, стала матерью десятерых детей и хорошей хозяйкой. За все годы замужества она не позволила Атантаю взять себе вторую жену или хотя бы замахнуться на нее камчой. Младшему сыну Данакан — Алымбаю — исполнилось двадцать, когда мать закрыла глаза. Старик Атантай остался вдовцом, а неповоротливый сын — сиротой. Изменить что-нибудь в облике и характере Алымбая было уже поздно.

Отец с посеревшим лицом часами неподвижно высиживал на почетном месте в юрте. Издали он казался воплощением святости и добра. Но при всем видимом благочестии «старик не считал зазорным признаться своему старшему сыну Кыдыр-баю, что надумал жениться. «Уж я совсем старый... Стынут мои колени, одеревенели мои косточки. Как ни говори, девчонка что тебе ребенок на побегушках. Бывалую молодайку не стоит брать в жены,— едва ли она оценит меня, старого... Только вы плохо не думайте обо мне, что я возжелал молодую жену. Не один я такой, у меня хоть денег хватает и сыновья славные. Гундосый Тилеп и тот взял себе совсем молодую девчонку».

Кыдырбаю не по душе пришлись слова отца, который давно уже достиг почтенного возраста. Том не менее ради уважения к отцу он исполнил его желание: привел в юрту разменявшего восьмой десяток старца пятнадцатилетнюю Гульсун — дочь сапожника Карыпбая.

Но Гульсун, судьба которой оказалась столь печальной, и не считала вовсе, что замужем. Она продолжала все так же резвиться, как и дома у себя, а когда старик засыпал, даже играла в куклы. Пятнадцатилетней девочке выпало стать главной управительницей или старшей советчицей в этой большой семье, хотя она была самой юной.

Теперь она стала «матерью» для седобородого Кыдырбая, для всех его братьев и сестер и одновременно хозяйкой многочисленного скота. И, как ни странно, отныне она и «свекровь» для жены Кыдырбая — Турумтай, женщины средних лет. Никто не пробовал учить ее уму-разуму или попрекать

молодостью. Сыновья старика Атантая вместе с женами величали ее «матерью» и нигде не смели переходить ей дорогу — знак высокого почитания Гульсун, подобно покойной матери. Вступить с ней, как с молодой, в пререкания все равно что ослушаться отца родного и вызвать с его стороны гнев и возмущение. Учить уму-разуму или же корить почему-либо Гульсун единственно вправе сам отец Атантай, раз уж она стала женой старика. С первого же дня, как появилась Гульсун, Кыдырбай строго-настрого предупредил и свою Турумтай и остальных в семье:

— Эту девочку прошу уважать всех до единого. Не повышайте на нее голос и не грубите. Теперь она наша мать. А если случится что не так, пусть сам отец ее воспитывает.

Предупредил он и Батийну, которая теперь считалась полноправной невесткой и хозяйкой.

— Не обижайся, таэже, если я тебе скажу... После смерти нашей матери мы сменили постель нашему отцу. Твоя новая, теперешняя свекровь младше тебя, в ней еще много детского. И все равно она мать нам, и все мы зовем ее матерью — эне Гульсун. Уважай ее и ты, как свою родную свекровь. Если заметишь какие ребячьи выходки, не оскорбляй, а осторожно подкажи, таэже!

Предупредил Батийну и сам свекор:

— Дитя мое, Батийна,— сказал он внушительно,— не обижай нашу мать Гульсун. Она иногда, как козочка, любит поиграть со сверстницами. Пусть играет, она еще совсем молоденькая. Лишь бы слала мне постель да грела мои старые стылые кости.

Хорошо было Батийне жить с Гульсун, ничуть не похожей на обычную сварливую свекровь. Гульсун было мало дела до снохи: «свекровь» возвращалась иногда с игр с элечком под мышкой, разгоряченная, худенькая, проворная. Открытые чистосердечные глаза ее улыбочиво смотрели на окружающее, по лицу пробегала ребячья, озаренная солнцем, беспечная радость. Немного смущаясь Батийны, как старшей, Гульсун виновато спрашивала:

— Что, поздно пришла, да? Батийна мягко и тепло отвечала:

— Скажи, наигралась ты или нет? Ну ладно. Положи элечек на место и повяжись платком.

Гульсун усмешливо переспрашивала:

— А что, старик идет? Ой, как же я с открытой головой! Стыдно ведь...

— Какой же тут стыд, эне? Ведь он твой старик, не чужой.

— Ой, не говори, что он мой, Батийна. Зачем мне дряхлый старикашка?

«И то правда,— думала Батийна,— зачем этот белый как лунь старик взял ее в свою юрту? Она ему во внучки годится! А то и в правнучки! Наступит ли когда равноправный для женщин день?»

Гульсун положила тюрбан на полочку и ловко повязала платок.

— Зачем, невестка моя, ты плачешь? Обидел тебя, что ли, не совсем умный муж твой? Из всех моих детей, пожалуй, только он кажется слабоумным.

Сколько здесь живу, не слышала от него слова «мама». Если он не поумнеет когда-нибудь, ох, и получит от меня...— Глаза Гульсун сверкнули озорством.— Если вдруг он поднимет на тебя плетку, сразу же мне скажи, я проучу его, как обижать жену. Скажу отцу, чтобы выгнал его из юрты.

Она старалась говорить уверенно, как опытная, настоящая мать, тем не менее в самых ее словах и в голосе чувствовалась своя воля и решительность. И Батийна оказывала честь Гульсун. Не сядет на место, пока не займет своего Гульсун; уступала Гульсун дорогу, когда та выходила из юрты; делала работу, положенную лишь невестке; при посторонних отвешивала уважительный поклон. Порой Батийна незаметно давала Гульсун полезные советы и открывала перед ней женские тайны.

— Эже,— как-то обратилась Батийна к Гульсун,— а не злитесь ли твой старик, когда ты уходишь куда-нибудь?

— Ой, зачем ему злиться? — Гульсун даже расхохоталась.— Он одной ногой уже давно в могиле, чего ему дуться на свою «старуху». Не посмеет. Хоть я еще и девчонка, а ему кажусь, наверное, семидесятилетней. Пусть попробует позлиться, черт старый. Я пожалуюсь детям, и они прочитают ему молитву. Пусть радуется, что я с ним сплю и отогреваю его холодные, как камни, колени.— Зардевшись от стыда, Гульсун добавила: — Хоть и дряхлый старик, а ночью целоваться лезет, обниматься. А борода у него такая длинная, мягкая, щекочет мне лицо, шею, мне стыдно, и я смеюсь, убегаю от него, он скрипит мне вослед: «Чтобы тебе было пусто, резвушка! Считаешь, что старик никуда не гожий? Ладно, посмотрим. Я еще заберу тебя на тот свет». Говорят, этому старику сопутствует сам Кызыр, правда это или нет? У проклятого старика и веки и глаза красные, все тело трясется. Я его просто боюсь. Он меня когда-нибудь задушит. Скажи, Батийна, разве не позор спать мне с красноглазым страшным стариком? И зачем только мой несчастный отец отдал меня за такую развалину?

Батийна посмотрит сочувственно на свекровь и, не зная, чем ее утешить, подумает про себя: «Невинное дитя, жеребеночек ты, сиротка моя. Одна у нас, у обеих, горькая доля» — и мягко скажет Гульсун:

— Дай-ка я тебе хорошенько отмою голову и заплету косы, эже.

Гульсун, сияя глазами, игриво спросит:

— А что, у меня грязная голова?

— Нет, но лучше еще раз помыть. А на старика не обращай внимания. Береги свою молодость...

Батийна проворно развела огонь и в кашгарском медном кумгане с изогнутым носиком согрела воды. Намылив голову свекрови черным щелочным мылом, она промыла ей волосы. Гульсун по-детски сопела, играла кончиками волос, закручивая их на палец.

Батийна расчесала ей косы густым гребешком.

— Невестка, я хочу спросить у тебя про одну тайну... откроешь ее мне? — склонив головку набок, спросила Гульсун.

— Почему бы и не открыть... Если можно...

— Не стесняйся меня,— ведь я твоя свекровь.

— Ну, тогда спрашивай, эже.

— Скажи, мой младший сын когда-нибудь разговаривает с тобой?

Батийну словно ударили по голове, и она лишилась дара речи.

— Да,— продолжала Гульсун,— сколько живу здесь, не слышала от него ни единого слова. Какой-то он странный, на людей не похож. Как-то слышу, старик говорит Кыдырбаю: «Мой младший сын не совсем, что называется, человек среди людей. Поэтому не жалея скота, сынок, постарайся женить его на хорошей женщине. Лишь бы она из него человека сделала». И они привезли тебя. Я еще не знала тебя, Батийна, но мне было жаль тебя. «Какую она проживет с ним жизнь? Будет несчастной из несчастных»,— сокрушалась я. И вот ты здесь, но я все еще не пойму, как вы живете между собой. Он, вижу, насупится и молчит. Даже как следует поесть не умеет. А ты все равно живешь с легким сердцем. Или это у тебя наружное спокойствие, а в душе ты скрытно возмущаешься, негодуешь? Возьму себя. Я, не таюсь, презираю своего старика. Во сне увижу его и то вздрагиваю от страха. Как-то вижу, гоняется он за мной с ножом и кричит: «Все равно, постреленок, тебя зарежу». Ой, как я испугалась! Однажды ужас что привиделось: будто я сплю со своим отцом. «Ой, как не стыдно!» — вскричала я и проснулась. Гляжу, а это щекочет мое тело длинная борода беспутного старика. Я аж содрогнулась до последней ниточки в теле. Страшно с ним было оставаться в ту ночь, я тихонько вылезла из-под одеяла. Хотелось бежать домой, да крошечной ночи испугалась. Накрылась чапаном в уголке и уснула... Слышу, кто-то меня корит скрипучим голосом, бурчит недовольно: «Ишь постреленок бедовый.

Покинула мою постель. Погоди, дойдет до бога всемогущего гнев моей бороды. Вот захочу и заколдую тебя. Знай, от меня так легко не отделаешься. Я и в могилу тебя с собой захвачу». Я вся сжалась, сейчас подойдет ко мне и начнет бить. Похрустывая костями, кряхтя и охая, он поднялся с постели, накинул на плечи темно-синий халат, вышел совершать утреннее омовение. Я кое-как оделась, выскочила тайком и бежать к старшему сыну Кыдырбаю. Я очень боялась, что старик остановит меня и станет ругать... Я же надумала сказать Кыдырбаю: «Отец твой грозит забрать меня с собой в могилу. Не хочу с ним жить и уйду к своим». Но старик, слава богу, ничего не сказал, а потом стал даже гладить меня по голове и приговаривать: «Цветочек мой, не бойся меня». Я постепенно привыкаю к нему и не так боюсь, как раньше.

Гульсун, словно что-то припоминая, задумчиво и веско, в пору мудрецу, добавила:

— Значит, сам всемогущий создал нас на беду и несчастье, невестка. Что нам остается? Говорят же, что в теле у женщин одним хрящиком меньше, чем у мужчин. Потому, наверное, и приходится нам терпеть такие унижения. Мне теперь, видно, не уйти от своего старика. И тебе от этого медведя. И бежать нам некуда, не в пример дочери Бармана Айнагуль. У нее властный отец. За нее вступится разумная мать. Потомки видных беков не дадут ее в обиду. А

кто нами интересуется? Пастух? Попробуй сбеги с пастухом, прирежут тут же на месте, где догонят... Что, Батийна, плачешь? Хоть он и дурень, твой муж, но вы одногодки. Ты все-таки старайся из него человека сделать. Часто мой отец говорил: «У хорошей жены и недалекий муж попадет в судьи, скверный муж и чудесную жену сделает рабыней». Одним словом, я и сама толком не пойму, чему мне верить...

СОГРЕЕТСЯ ЛИ СЕРДЦЕ!

Батийна в один тот день, кажется, повзрослела на несколько лет. «О господи, совсем еще девчонка, а вон какие мысли ее одолевают. Мой же увалень станет ли когда-нибудь человеком и согреет мое сердце или навсегда закоснеет в своей тупой неподвижности? — мучительно размышляла Батийна. И со спокойствием дрессировщика ловчих птиц она стала изо дня в день наставлять мужа. Решила сперва покрасивей обрядить его.

Из снежно-белой шерсти и мягкого пуха сваяла чепкен, сшила калпак с шелковой кисточкой, а его края оторочила черным плюшем, по четырем полям провела, что называется, муравьиным следом мелкие-мелкие стежки. Надевая калпак на голову мужа, Батийна подумала: «Может, хоть чем-нибудь он напомнит мне Абыла, который ходил в схожем головном уборе. А вдруг новый калпак подействует на Алымбая, он воспрянет духом, проснется его сонное тело и станет он человеком, о боже?»

Широконосый, узкоглазый Алымбай, однако, не испытывал ни малейшего восторга. Он вяло засопел, набычился, не сказав слова благодарности¹ жене, набросил на плечи чепкен со всунутым рукавом и, волоча его по земле, головой откинул полог юрты, чуть не упав. Новый калпак сполз на правое ухо, и кисточка щелкнула по короткой жердине.

«Да поосторожней ты, непутевый! — чуть не вскрикнула Батийна, но лишь горестно шевельнула губами. — Эх, человечек, даже калпак не научился носить».

Батийне опять вспомнился Абыл, веселый, легкий, с открытой душой и, главное, ласковый, словно мягкий утренний ветерок.

Ночи подряд Батийна не смыкала глаз, терзалась наедине с обступившими ее мыслями. Невмоготу было одной оставаться в юрте, казавшейся чужой, нелюдимой, давно брошенной. Порой хотелось закрыть глаза, махнуть на все рукой и уйти, сгнуться на ветру. «О, несчастная я... Будь мои родители знатные, как Гульгаакы байбиче, я тоже нашла бы свое счастье, как их дочь, — невольно сравнивала Батийна свою судьбу с судьбой Айнагуль. — Но сейчас попробуй я поступить так, меня растянут на кольях и забьют до смерти. Счастливая все-таки Айнагуль... Своего добилась, вышла за Манапбая. Даже суровые судьи, видно, пикнуть не смеют против потомка бека. А когда же я убежала, все ополоумели, сразу нашлись бии, готовые пустить по миру мой аил. Почему аксакалы и бии не решают все достойно и справедливо, без разделения: зажиточный ты человек или бедный, великий или совсем малый? Где-то ведь должна быть справедливость?

Будь на месте Батийны другая женщина, она, пожалуй, и стерпела бы такую жизнь. Что еще надо молодой: юрта — полная чаша, одета, обута, а что муж

чурбан чурбаном, ну и ладно. Угождала бы его прихотям — и только. Но Батийна, с ее неутолимой жаждой светлого чувства, не могла утешиться тем, что никто не следил за ней, как обычно за молодухами.

Она старалась соблюсти правила приличия, хорошо зная свое место, учтиво встречала старших, кланялась им в пояс, была обходительна с младшими родственниками.

Кыдырбай тоже старался выполнять свои обещания: он заставил родню признавать невестку, с его поддержкой она стала полновластной хозяйкой в своей юрте. Правда, он не упускал случая тайком понаблюдать за ней, — не соблазнилась бы невестка покинуть Алымбая раньше времени. Человек предусмотрительный, Кыдырбай не забывал, что ему удалось сосватать за тупоумного братца женщину, которая смогла бы составить честь любому сыну из самого богатого и видного рода. Он в глубине души чувствовал, что Алымбаю не добиться настоящего расположения Батийны. «Но, — подумал Кыдырбай, — пусть хотя бы привыкла к нашему медведю, да еще лучший если бог даст понесет от нашей крови».

Сияя подкупающей улыбкой, Кыдырбай обратился к Батийне:

— О таэже моего рода! Ты прекрасно знаешь, что от меня ты никогда не услышишь дурного слова. Если кто-либо из сидящих здесь, — Кыдырбай движением длинной руки обвел всю юрту, — откажет тебе в почете, его немедленно покарает дух нашей святой матери. И ты будь своим человеком, хорошей невесткой. Живем мы, слава богу, сама видишь, всего вдоволь у нас. Все это твое, возглавляй, управляй... Грустные мысли гони от >себя. Не смотри в землю, как невольница. Будь полновластной хозяйкой своей мягкой постели, своей просторной юрты. Живи, блаженствуй, радуйся. Приедут гости, встречай сама, угощай, режь, что твоей душе угодно... Кому что подарить и что у кого взять — опять же ты сама хозяйка. И никто тебе не воспротивится. Сияй яркой звездой в своей юрте, милая таэже! Будь ее полной чашей! Лишь бы ты нашего брата Алымбая направила на путь. Не такой уж он и безмозглый. Иногда он поступает просто как малое дитя. Дай бог тебе счастья и исполнения желаний. Главное — хорошо вам жить меж собой, и тогда весь род престарелого нашего отца Атантая будет вас почитать и благословлять. И скот, и власть, и наследие — все ваше, дорогая невестушка.

Как жить дальше? С кем поведешься, от того наберешься... Да разве она хотела замуж за этого несуразного медведя, от него слова толком не добьешься. А он, считай, днем и ночью рядом. Батийна попробовала шутить с ним, заигрывала, даже находила в себе силы приласкать. А он только бубнил свое:

— А ну тебя!

— Ну улыбнись же!

— Отстань! Кому говорю!

— Не могу отстать. Ведь ты мужчина. Ты едешь по аилам. Что ты видел? Что там слышно? Я же нигде не бываю.

Алымбай поворачивался к ней широкой, сутулой спиной, прятал голову, затихал. Слушая подолгу его безучастное дыхание, женщине казалось, что она не с человеком лежит, а действительно с медведем. И все-таки, переборов страх и обиду, пробовала растормошить Алымбая.

— Послушай, муж,—не унималась Батийна,—ты, правда, самый младший в вашей семье, но лет тебе уже немало. Приходит время, и младший сын берет власть над всей юртой и кормит стариков. Не забывай, мы с тобой многим обязаны своим отцам и матерям...

Алымбай, словно его осенило, приподнял голову и с задором сказал:

— А откуда ты взяла, что у меня есть мать?

— Не то говоришь. Разве нет у нас матери? А кто же нам эне?

Алымбай плюхнулся на подушку, его трясло от безудержного смеха.

— А по-моему, ничего смешного... У нас и отец и мать. И мы должны их одинаково ценить — ты как сын, я как невестка.

— Чудачка... Отец скоро подохнет. Думаешь, стану я кормить эту Гульсун? На кой она мне сдалась? Выгоню ее... Да и тебе хватит верещать под ухом. Спать хочу. Еще хоть слово услышу, голову расколю, дьявол тебя возьми.

Батийна убито смотрит в темноту, ворочается с боку на бок, вздыхает, сон не идет к ней. Ночь мучительно долго тянется в неотвязных думах...

Днем Батийна старается казаться бодрой, веселой. Быстро и ловко справляется с дойкой добрых двух Десятков кобылиц. Слив все молоко в большое саба¹, она терпеливо взбивает и перемешивает его, чтобы лучше скисло. Прибрав в юрте и накормив всех, подсаживается к племяннице мужа Эркеган, учит ее рукодельничать, показывает, как шить одежду по выкройке. В семнадцать лет Эркеган, дочь Кыдырбая, сосватали. На старшую невестку ложилась обязанность — до того, как отправить девушку к мужу, научить ее вышивать, шить, варить, ведь женщина все должна уметь делать, чтобы с первых же дней ее уважали на новом месте и чтобы за ум ее любил молодой муж. Батийна внушала Эркеган:

— Хорошо, когда молодая женщина все умеет делать и любое дело у нее спорится. Научись одежду мужу шить своими руками. Вот, смотри, и ты сама сошьешь чепкен для брата Алымбая.

Понемногу Батийна нарядила Алымбая с иголочки, и он стал похож на настоящего мирзу. «Будет он во всем новом, чистом, глядишь, и настроение у него поднимется. Почаще будет выходить из юрты к товарищам, прислушиваться к разговорам, а там постепенно переменится».

Это была последняя надежда поднять Алымбая до себя.

Всю старую конскую сбрую Батийна раздала соседям и сшила новые потники, попону из черного вельвета, уширила подстилку. Послав людей продать скот, Батийна выхлопотала из Андижана новое монгольское седло с широкой передней лукой. Уздечка, недоуздок, нагрудник, подхвостник, чересседельник — все сверкало серебром и медью. Крупный конь с лоснящимися боками был так убран и разукрашен, что с первого взгляда казалось, будто в аил появился кто-то очень знаменитый. На коне в сверкающей переливами сбруе

и во всем новом Алымбай был неузнаваем. «Боже мой,— воодушевилась Батийна,— на людях он и сам станет человеком! Как я завидую молодухам, у которых путные мужья. О, если б он стал настоящим мужем! Согреется ли мое сердце?»

«ОВЧИНКА»

Рядом с аилом старика Атантая, где теперь жила Батийна, разбило свои юрты малочисленное племя катаганов, ободранных и впроголодь живущих людей,— всего их было пять семей. Большие роды издевались над ними: «Какие-то жалкие, бродячие семейки». И никогда им не оказывали помощи те, у кого от скота было тесно на пастбищах.

Кому хочется выглядеть бедным и обездоленным? С нищетой особенно не могли мириться молодые люди. Их манили светлые надежды. «Эх, будь у меня на плечах добротная шуба, а подо мной горячий конь! — вздыхал двадцатилетний Асанбай.— Поездить бы по аилам, послушать, о чем там толкуют аксакалы, набраться у них ума-разума да самому стать человеком. Может, и я потом пригодился бы своему аилу...»

Еще не окрепший, не обломанный жизнью джигит рано понял, что надо по-людски одеваться, не клонить головы, быть равным среди взрослых, чтоб аил видел в нем своего защитника. Джигит, одним словом, загорелся мечтой обзавестись конем и хотя бы недраной шубой. На первых порах съездил к зажиточному дяде в дальний аил Торпу и выпросил у него осиротевшего шестимесячного сосунка. Не пройдет и года, хорошо ухоженный жеребенок будет вполне пригоден для верховой езды.

Мать не нарадуется: помрачневший было сын оживился, возмужал. По клубочку, по шерстинке она насобираала верблюжьей шерсти и пряжи, сбила полотно в белую и черную полоску — и готов ладный серый бешмант. Дело теперь за хорошим тебетеем.

Но где раздобыть мерлушку ягненка? Асанбай, поразмыслив, пошел к ростовщику Тилепу. Тилеп был всегда чем-то недоволен, неустанно ворчал. Лицо у него вытянулось и почернело, словно потехи ради его кто-то вымазал сажей. Ростовщик знал свою мечту: одна голова скота должна обернуться двумя, а две — четырьмя. Юноша торопливо изложил свою просьбу. Тилеп не очень-то его слушал, носился по юрте, чего-то искал.

— Э-э, парень, мерлушка на шапку очень дорогая вещь,— прищурив глаз, сказал Тилеп.— Чтобы выделать такую шкурку, надо прирезать обязательно новорожденного ягненка. Если хочешь, скоси мне десятину травы.

Тилеп засуетился, словно торопясь уйти.

Но Асанбай твердо решил заиметь шапку из мерлушки. В народе говорят: «Женщину узнают по походке, а джигита по шапке». Овцы у Тилепа приносили кудрявых, серебристых ягнят. И Асанбай тут же согласился. — Хорошо, дядя Тилеп. Я вам скошу десятину.

Долго пришлось Асанбаю ждать, пока он получил наконец мерлушку у Тилепа, превратившуюся в красивый блестящий тебетей. Как раз в то время, когда травы созрели для косовицы, джигит занемог и надолго слег в постель.

Тилеп обрадовался и не напомнил джигиту о его обещании. Уже по зимнему первопутку он вызвал к себе Асанбая, нахмурился и с важным видом сказал: — Эй, парень, ты, кажется, обещал мне скосить и убрать десятину травы? Где же твое обещание? Теперь видишь, пришла белая зима в белых косах, завьюжило. Если выпадет много снега, — а я наперед знаю, — у меня не хватит сена. Придется подкупать. И все ты виноват: не сдержал своего обещания. Давай подсчитаем. С каждой десятины я всегда получал добрых три стога сена. Стог сена — три-четыре овцы. Мне известно, ты бедный человек. Я тебя пожалею — вместо двенадцати овец заплатишь мне только четыре, и хватит.

У Асанбая от удивления широко раскрылись глаза. Он хорошо знал, что и четырех овец ему не найти. Парень давай упрашивать Тилепа:

— Уважаемый дядя Тилеп, подождите до следующего сенокоса. За свою провинность я обязуюсь скосить вам полторы десятины.

— Нет, парень, ты мне мозги не забивай. — Тилеп, вскинув бороду, почесал подбородок. — В суровую нынешнюю зиму, если только случится падеж скота, ты мне восстановишь все погибшее поголовье. И придется платить еще больше, так что лучше сейчас рассчитывайся.

У Асанбая так и не набралось четырех овец, и он пропустил все сроки. Однако зима выдалась мягкая, не причинила вреда ни Тилепу, ни другим кочевникам. Весна засверкала, и зеленью покрылись горные вершины. Скот вошел в былую силу, по склонам с бешеным шумом и гамом резвились жеребята и остроухие ягнята. Сытая жизнь наступила для всех: земля кругом запестрела цветами, и скот отъедался на вольных кормах на радость людям, кумыс и молоко снова полились рекой. Как раз в эту пору Тилеп созвал к себе аксакалов, вызвал и Асанбая.

— О старейшины, — с обидой в голосе и злостью на лице начал Тилеп, — простите меня, что я потревожил ваш покой. Но я позвал вас во имя попорнанной справедливости. Вот этот джигит, — он ткнул пальцем в сторону Асанбая, — мой бесспорный должник. Зима давно позади, а он не уплатил мне долг — четыре овцы. Весна уже на дворе. Умные люди говорят: «Все дорого ко времени». Скоси он мне летом десятину травы, у меня бы никакого падежа не случилось. Отдай он мне четыре положенные овцы вовремя, они нынче весной дали бы свой приплод, какая одного ягненка, а какая и двойню бы принесла, возможно, и тройню. Подсчитать все это, так у парня волос на голове не хватит. По моему расчету, он должен сейчас сорок овец. Поэтому, аксакалы, сами разрешите наш спор и заставьте его по-справедливому рассчитаться со мной. Если откажетесь помочь, я подожду до осени и потащу его на большое судилище. В таком случае пусть на меня не обижаются...

Тилеп кончил говорить, и никто ему не сказал, что он хватил лишку. Хозяин законно требовал свой долг. Правда и то, что Асанбай взял шкурку ягненка, правда и то, что он обещал скосить десятину, правда, что ростовщик оценил ее в четыре овцы, и правда, что Асанбай не покрыл своей задолженности.

Теперь уже речи не могло быть о том, чтобы он рассчитался, возвратив взятую мерлушку или же скосив десятину травы.

Аксакалы попробовали было уговорить Тилепа, чтобы он уступил. Но Тилеп ничего и слушать не пожелал.

— Как вам угодно, но я отказываюсь прощать ему долг по бедности, пусть где хочет ищет скот и рассчитывается чем может. Иначе он предстанет перед судом бия...

Асанбай, потеряв покой и со слезами на глазах, обратился за помощью к родственникам. Собрали сход, думали так, думали этак, но пришли к плачевному заключению: сорок овец даже всем сообща ни за что не собрать. Тогда слово взял Касым, старейший в этом небогатом аиле.

— Покойный мой отец частенько повторял: когда человеку суждено попасть в капкан беды, он сам идет ему навстречу. Зачем тебе понадобился этот тебетей? Разве ты не знал раньше, что за человек Тилеп? Он готов каждого заживо сожрать и не поперхнется. Теперь сам расхлебывай свое ребячество. Мы, конечно, всей душой хотели бы спасти тебя... Как ни говори, ты наш человек. Ну соберем, что сможем, а сколько это выйдет! Сгребь весь наш скарб, живой и мертвый, и подпали его, так дыма настоящего и то не получишь. Если отдать Тилепу весь скот, чем, спрашивается, мы прокормим наших детей, стариков, больных? Окончательно разоримся. Ну скажи сам, что нам делать — пустить ли по белу свету все пять семей или предоставить тебе самому искать спасения от неожиданной напасти?

Касым склонил голову набок, будто прислушиваясь к посторонним звукам. Остальные молча ковыряли землю прутиками.

Касым, сощутив глаза, обвел каждого внимательным взглядом, потом, хлопнув себя по бедру, оживленно заговорил:

— Ну, вот видишь? Твои бедные родственники устали в землю, небось стыдно поднять голову... Нищие они. Брось, Асанбай. Сколько ни рой овраг, а вода уж не потечет... Мне пришла одна мысль. Как вы думаете, сколько лет старшей дочери нашей вдовы Сыяды? Девочку, кажется, Канымбюбю зовут? Лет двенадцать, пожалуй, есть. Вот я и думаю, а что, если ей породниться с Тилепом? Отдать ему Канымбюбю и рассчитаться за долг.

Другого выхода, в самом деле, не найти. Жаль, правда, девчонку но все согласили с аксакалами. Канымбюбю исполнилось нынче двенадцать лет. Кроме Канымбюбю у вдовы еще три мальчика и девочка. Женщине неведомо прокормить пятерых сирот. Вода ценная заботами и беспросветной нищетой, она трижды на дню оплакивала покойного мужа и причитала:

— На кого только нас оставил, наш кормилец? Как я выведу твоих сирот в люди?

Узнав, что на сходе старейшины порешили выдать замуж ее Канымбюбю, старшую помощницу и будущую надежду, женщина чуть не лишилась рассудка. Словно кто-то невидимый душил ее косматыми руками. Хватая воздух открытым ртом, она пала на колени перед старейшинами. Но судьбы ее девочки уже не изменить: Канымбюбю предназначена в покрытие долга.

— О проклятая смерть... Будь жив отец, не пришлось бы моей сиротке страдать... О старейшины,— взмолилась мать,— пожалейте хоть вы беспомощную вдову и ее сирот!..

Старейшины решили успокоить убитую горем женщину:

— Не сокрушайся, Сыяда! Не думай, что твоя дочь уходит, как проигранная на скачках. Она идет в руки Тилепа-аке, у которого юрта — полная чаша. Там ей хорошо будет. Сама знаешь, зерно идет — на мельницу, а дочь — в юрту мужа. Дочь твоя и отправляется в свою юрту. Радуйся же этому!..

Напрасные утешения, пустые слова. Сокрушаясь и рыдая, Сыяда проклинала жизнь со всеми ее несправедливостями.

Вскоре люди Тилепа приехали, чтобы забрать Канымбюбю. Зная, что ее хотят отнять от матери, Канымбюбю попыталась скрыться, перепрыгнула через головы сидящих у входа юрты стариков и кинулась к стойбищу. Овцы шарахнулись и нагнали страху на перепуганную до смерти Девочку.

Канымбюбю мчалась изо всех силенок, словно за ней гнались не люди, а целый клубок змей: прыгала через камни, пыталась укрыться в ямке, в речке, но всадники неумолимо настигали ее. Хватающий за душу плач эхом разнесся по горам, и существуй бог на свете — он непременно должен был бы откликнуться на от— янный зов девочки. И вскоре она упала, тяжело дыша и глядя на своих преследователей широко открытыми от ужаса глазами.

Так за овчинку-мерлушку, из которой сшили один тебетей, расплатилась двенадцатилетняя Канымбюбю. После побега Айнагуль по аилам и кыштакам ширился слух об «овчинке». Только о ней и говорили. Имя беззащитной Канымбюбю исчезло, и постепенно ее стали звать Биркорпе — Овчинка. Старшая жена Тилепа, широколицая рыжая байбиче, попробовала уговорить мужа:

— Канымбюбю еще ребенок, мой бай. Я присмотрю за ней, как за младшей сестренкой. Пусть подрастет.

Беспутный Тилеп не стал ее слушать.

На другой же день безбородый мулла своей длинной, как Млечный Путь, молитвой закрепил брачный союз между пятидесятилетним Тилепом и девочкой Канымбюбю.

ПЯТЬСОТ ВАЛУХОВ

Серкебай,— пожалуй, самый богатый человек в округе,— Давно собирался в Андижан. К этой поездке он готовился тщательно и не спеша, слуги откармливали и обихаживали не только коня, но и пятьсот лучших валухов. Когда склоны гор покрылись осенней позолотой, в дальнюю дорогу погнали отару упитанных животных. Серкебая торжественно провожали все родственники и друзья.

— Пусть дорога ваша будет ровной и сам Кызыр вам сопутствует. Желаем вам совершить много удачных покупок и благополучно вернуться. Аминь!

Джигиты, не раз сопровождавшие бая на ярмарки и базары, медленно погнали валухов. Овцы не торопясь пощипывали жухлую траву. Сам бай, чтобы не тащиться с отарой, выехал вперед с дружками, как бы показывая путь. Серкебай не торопился и никого не торопил. Он отдавал себе отчет:

если валухов гнать своим ходом, давая им возможность щипать траву, пить воду и отдыхать, они не потеряют своей упитанности до самого Андижана и пройдут все по сходной цене. Отара шла в западном направлении по незаселенному, с обильным травостоем ущелью. Текли, брели овцы, словно крупные белые жемчужины.

Уже более десяти дней, как бий сменил свое насиженное место в теплой юрте на тряское седло. К этому времени Серкебай со своей свитой подъезжал к аилам большого рода чоро, занимавшего пологие склоны гор с открытыми, обширными пастбищами.

Серкебай восседал в седле, предвкушая скорую бойкую торговлю.

Сопровождавшие джигиты вселили в него уверенность в удаче:

— С благословения покровителя коммерции Иман-мазама наше дело нынче должно увенчаться успехом. Валухи откормлены на славу. Можете надеяться, мирза, вас ждет полная пазуха денег.

Желая показать великодушие, доброту и щедрость, Серкебай сказал, подделываясь под муллу, многозначительно поглаживая бородку:

— Слава аллаху, он милостив и всемогущ. Да не напрасной будет наша многотрудная, многодневная дорога... Завтра — всеобщий молебен мусульман. Где-то надо передневать, — в пятницу нельзя продолжать даже самый необходимый и далекий путь. Надо помыться и сменить пропыленное белье.

Из-за круглого склона открылось обширное пастбище, где паслось многочисленное стадо, а поодаль на еще зеленой лужайке раскинулся большой аил. Уже на подходе бросалось в глаза, что аил зажиточный, многолюдный: около юрт на привязи переминались крупные, упитанные кони, а на коновязи — кобылицы и жеребята. Невдалеке от аила на годовалых лошадках вездесущие Оребята «драли козла», с шумом и визгом гоняясь друг за другом и отнимая драгоценный трофей — растрепанный кусок старой овчины. Во многих юртах варили, жарили, кипятили — над куполами курился светло-голубой дымок, медленно стлавшийся под легким осенним ветерком. В самой вместительной юрте, по-видимому байской кухне, в кипяченом масле жарили боорсоки, — оттуда тянуло приятно щекочущим ноздри запахом. На пригорке толпились мужчины, о чем-то спорили.

— А, будь что будет, заглянемка в этот аил, — сказал Серкебай, понукая коня. Погонщики со скотом остались позади: до захода солнца еще далеко, и не было нужды торопить отару.

Под drobный стук конских копыт поднялись на пригорок...

— Ассалом алейкум, — хором приветствовали проезжие сидящих на бугре. Они рассматривали Серкебая и его провожатых изучающим взглядом: «Кто такие? Откуда и куда держите путь?»

Первым ответил на приветствие гостей сидевший в центре чернобородый, краснощекий человек.

— Алейкумо ассалом, братья наши. Добрый путь! Учтивости ради мы должны познакомиться. Какого вы будете племени?

Серкебай горделиво промолчал. За него ответил безбородый балагур Абыке:

— Э, уважаемые, конечно, люди прежде всего знакомятся словами, а лошади ржанием. Можете у нас спрашивать, мы будем отвечать. Вот этот человек — главный властитель Кара-саза — Серкебай,— и Абыке плеткой указал в сторону хозяина.— Он гонит к андижанским торговцам полтысячи валухов, откормленных на душистых травах наших пастбищ. Мы тоже под шумок, так сказать, гоним десять — пятнадцать баранов,— на город посмотреть и вещи дорогие заиметь. Не продашь — не купишь, не пойдешь — не увидишь. Едем вместе, делим еду, ночлег, коротаем путь, помогаем баю.— И Абыке самодовольно пробасил: — Теперь вам все про нас известно, и мы не прочь узнать про вас. Чей это аил раскинулся? Кто его старейшины?

Слово взял рыжебородый, плотный человек, сидевший колено к колену с чернородым.

— Надеюсь, вы не заблудились? И не потеряли свой аил? Этот аил наш,— говорил он зычным, надменным, почти повелительным голосом.— Хозяин этого рода — всеми уважаемый, всеми чтимый человек,— и рыжебородый, склонившись в поклоне, качнул головой в сторону чернородого.— Зовут его Темирканом. Правда, у нашего мирзы нет пятисот валухов, он не владеет и пятью паршивыми ягнятами, которые бы паслись около аила. Так что ему в Андижан нечего гонять. Живет тем, что сам аллах пошлет или что на дороге выйдет. Но вчера ему повстречался святой дух,—рыжебородый продолжал с лукавой усмешкой,— ему повстречался Кызыр — и поведал, что завтра, то есть сегодня, какой-то чужак торговец пригонит сверху пятьсот баранов. Жди, мол, его на этом бугре. Он к тебе сам

Подъедет... бот мы и собрались здесь, чтобы встретить того торговца.

«Э-э, да с ними, видимо, шутки плохи»,— подумал Абыке, но, не показав растерянности, попытался пошутить:

— О учтивый господин. Этот Кызыр — святой Дух — повстречался, значит, и нам на Зеленом перешейке. «Уважаемые,— сказал он,— езжайте прямо, и как только тропинка выведет вас из-за выступа шершавой, покрытой лишайниками скалы, вы увидите на лужайке много-много юрт. Вас уже будут ожидать почтенные люди этого аила на ближнем холме. В центре полукруга аксакалов увидите предводителя рода. Его приметы — черная борода, как сажа черные усы и красные кровавые щеки. Человек будет больше молчать. Зато сидящий рядом с ним рыжебородый, сероглазый, бледнолицый человек, скорее похожий на рыжую корову, любит поговорить, но вы меньше его слушайте. Не бойтесь и его хозяина — серого волка. Не верьте рыжему, если он станет вас пугать. Ведь у вас, как я вижу, есть чем его самого утешить». Вот что поведал нам Кызыр — добрый дух. Значит, именно вас он имел в виду?

Темиркан от души рассмеялся шутке Абыке и сказал:

— Эх, борода, птенцом куропатки ты оказался, а наш милый гость — ясноглазым соколом. Ты и попался в его когти. Крепко же он тебя потрепал, общипал. Ха-ха-ха. Ну, джигиты, принимайте коней у гостей, у бая!

Темиркан не так чтоб слишком богатый, но и не бедный, умел постоять за своих людей что словами, что с оружием в руках. За преданность своему роду его уважали, а с его мнением крепко считались.

Убедившись, что его красноречивейший говорун побежден в поединке с Абыке, он мысленно прикинул: «Видно, этот бай большой человек, если возит с собой вместе с храбрыми джигитами и искусных мудрецов, что не теряются в словесных схватках. Надо встретить их как следует».

И гости во главе с Серкебаем были приняты в главной юрте аила, которую занимал сам Темиркан.

Темиркан — лет ему за сорок — отец трех сыновей и трех дочерей. Он не мог нарадоваться на старшую — Гульбюбю. Она вышивала, сидя около сложенной валиком постели. Даже при гостях она оставалась в юрте, и Темиркан часто бросал на нее нежный отцовский взгляд. Гости заметили, что Гульбюбю не слишком стесняется посторонних людей. Положив пальцы на колени и взяв длинную иглу с острым жалом и кусок белой материи, девушка проворно сучила мягкими, словно без суставных косточек, белыми пальцами, а ее розоватые, блестящие ноготки, казалось, обтачивал искусный мастер. Из вышивки прямо на глазах возникал сложный рисунок орнамента.

Обычно не приятно, когда приезжают посторонние, да ещё именитые гости, оставлять взрослую дочь в юрте. «Пойди-ка, доченька, к подружке. У нас гости сегодня», — говорили родители. А Гульбюбю оставалась в своей юрте, и ее меньше всего интересовало, кто и зачем к ним приехал. Здесь не боялись за дочь: она росла самостоятельной, своевольной и все делала до-своему.

Казалось, девушка светится изнутри и этим светом озаряет всех в юрте.

Серкебай подумал: поднимись сейчас Гульбюбю и уйди из своего уголка мягкой, плавной походкой, шелестя и звеня украшениями кос, и сразу половина просторной юрты Темир-кана опустеет. Но, к его радости, Гульбюбю не уходила, и Серкебай мысленно желал ей счастья и добрых дел. Черные открытые глаза стреляли в сторону гостей. Она как бы спрашивала мимолетным взглядом: «Вы кто такие? Почему вы люди уже в годах, а озорно, как джигиты, смотрите на меня?»

Изредка по ее румяным щекам нет-нет да мелькала лучезарная улыбка.

Пожалуй, больше всех пялил на нее глаза Серкебай, которому уже было за сорок. В жизни своей он не знал ни горя, ни печали. Не мудрено, что он выглядел еще совсем молодым джигитом, даже при его рыхловатой полноте. Глаза у него еще не утратили блеска и щеки горели. Он часто не то в шутку, не то всерьез говорил своему Абыке: «Э-э, дружок, мы еще ъ тобой, даст бог, и в шестьдесят возьмем молоденьких девушек согревать нам колени в постели». Но, увидев Гульбюбю и полюбив ее с первого взгляда, Серкебай, похоже, не собирался откладывать дело до своего шестидесятилетия.

«За такую красотку не жалко отдать все состояние. Жизнь за нее не задумаюсь положить. Что за прелестные красотки, черт возьми, живут среди нас, увы, мы их не замечаем до поры до времени. Чудо, ягодка, свет луны». Серкебай совсем тихо шепнул Абыке:

— Друг мой, осторожно выведай, просватана ли эта жемчужина. Узнай, куда и за сколько, если просватана. Может, нам не придется ехать в Андижан... Закончим торговлю прямо в этой юрте.

Абыке дотошно все пронюхал: еще лет пять назад человек из этого же рода просил выдать Гульбюбю за сына. Молодых посватали. Жених был не очень богат и не очень представительен,— средний джигит в аиле, и только. Правда, за невесту уже уплачен калым. По слухам, жених давно намеревался забрать Гульбюбю, но заболел какой-то затяжной болезнью и Долго пролежал в постели.

— Если Темиркан не побоится преступить обычай сватовства, он отдаст свою дочь за вас,—добавил Адыке.—Только придется нам перекрыть их калым.

Непременно надо показать

высокое свое достоинство, мирза. Ну, если она вам приглянулась, соглашайтесь на все, что запросят.

Абыке подбодрил Серкебая, и тот обрадованно воскликнул: — Да пусть меня бог покарает, если я откажусь от своих намерений! Разве киргиз, не доехавший до Андижана, лишается коня? Нет. Подвязывай к челке моего коня вату, а пятьсот валухов загоняй прямо в овчарню Темиркана. А покажется мало, даю слово пригнать еще сорок лошадей. И без колебаний пусть отправляет свою дочь вместе с нами.

Темиркан и его братья очень обрадовались Серкебаю,— видать, сам Кызыр распорядился послать его сюда. Им и не снилось столь щедрое богатство... Поди откажись, если оно само подвалило?

Не прошло и недели, как Темиркан заботливо подготовил свою дочь в путь к жениху Серкебаю. Серкебай хоть уже и в солидном возрасте, но не такой мужчина, чтобы им гнушались девушки.

Да и Гульбюбю не очень-то была опечалена, что ее отдают за человека в летах. Сперва, как только она услышала, что ее просватали за знатного гостя, девушка немного растерялась, точно хлебнув пересоленной воды. Но высокая слава Серкебая, несчетные его богатства рассеяли сомнения. Ловкие на язык джене напомнили ей, что в народе говорят: «Дочь отдай тому, кто ее просит, кумыс подавай тому, кто его умеет пить».

Всю дорогу джигиты Серкебая развлекали и смешили Гульбюбю. Ехала она не с пустыми руками, а с достойным нареченной невесты приданым.

Родственники и близкие, узнав, что хозяин женился по второму разу, все-таки оказали Гульбюбю пышную встречу.

Конечно, Гульбюбю была бы вдвойне счастлива, если б, народив детей, могла стать главной хозяйкой рода и почитаемой женщиной. С ней считались бы все люди в аиле и называли ее не иначе, как звезда и благополучие рода.

Теперь же ей, несмотря на лучезарную красоту и то, что привезли с великими почестями, пришлось войти второй женой.

О, первая жена Серкебая — байбиче Букен — не из тех женщин, что безропотно уступают свое место и власть. Про нее не скажешь, что она под пятой у Серкебая. Дети Букен были уже в том возрасте, когда отец, если решился взять токол — вторую жену, непременно должен был просить разрешения у них и у старшей жены. И более правильно поступил бы отец, прежде чем приводить токол, женив старших сыновей. Этого ждали от Серкебая и жена, и дети, и родственники. И вдруг отец, погнавший в Андижан скот, с полпути вернулся со второй женой. Этим легкомысленным шагом он уронил себя в глазах взрослых детей.

Букен байбиче ходила с надменно поднятой головой и ледяным лицом; старший сын, Асаке, который раньше без разрешения не смел переступить порог, настолько осмелел, что, входя к отцу, садился рядом и дерзко острил. — Отец, я тоже надумал погнать скот в Андижан, — говорил он с ехидной улыбкой. — Ты как думаешь, правильно я решил? Может, и мне случится повстречать такую красавицу? Прекрасные девушки не перевелись, пожалуй, после того, как вы привезли младшую мать?

Братишка Асаке, подросток Усеке, не растерялся и одним духом выпалил: — Ну да, так я вам с отцом позволю разгонять наш скот! Остальной весь скот — мой, и я сам отгоню его за калым. Не только же вам жениться?!

Букен байбиче, бросив испепеляющий взгляд на мужа, ядовито сказала: — Не спорьте, дети мои. Дайте сперва вашему отцу удовлетворить свои желания. А до этого тебе, Асаке, Андижана не видать, а тебе, мой младший сын, рано еще о невесте думать. Ваш отец захотел взять себе молодую девушку в жены. Ну и пусть берет! Только огненные, игривые, кокетливые девушки добьются его расположения. А я теперь кто для него? Старая, давно потерявшая красоту и прелесть мать своих детей. Вы лучше не спорьте с отцом и не отнимайте у него девушек. Пусть уж он сначала насладится!.. Серкебай стыдился старшей жены и даже побаивался ее. Но чем упорнее она подсмеивалась над ним, тем больше ее спокойствие бесило его.

— Кончай! — яростно закричал он. — Разве я единственный киргиз, кто взял себе токол? И не балуй детей. Один дурит потому, что вырос и хочет жениться, другой дурит по ребячьей глупости. Если ты не в силах утихомирить сыновей, я сам возьмусь за всех вас.

Разгневанный Серкебай чуть было не заехал плеткой по голове старшей жены. Надулся и долго не разговаривал с байбиче, целую неделю не высывал носа из юрты Гульбюбю и блаженствовал на горке шелковых, атласных одеял и подушек. Голова его покоилась на жарких коленях юной красавицы. Гульбюбю перебирала его волосы беленькими, мягкими пальцами с розоватыми ноготками. От сладости и неги бай щурил глаза, изредка покрхтывая и небрежно шевеля кончик редкой бородки. Лишь этим едва уловимым движением бай давал знать, что не спит, а то казалось, что он сладко уснул на коленях второй жены. Изредка, вскинув бородку, он крякал:

— О цветочек мой, а если ты меня духами опрыснешь а? Молодая жена была нежна и чиста, словно горный снег.

И покорна. «Я сюда затем и приехала, мой дорогой»,—говорили ее лучистые, искрящиеся глаза, и она мгновенно исполнила просьбу своего господина. При каждом мягком, беззвучном движении ее белое шелковое платье шелестело, шуршало, обдавая юрту чарующим ароматом. Она вскидывала брови, мягко поводила кистями рук. Белый шелк рукавов колыхался, острый локоток поднимался над глазами Серкебая, и ему казалось, что это лебедь чистит свои перья. Из нагрудного кармана коричневатого-красного плюшевого жакета Гульбюбю доставала плоскую, пухленькую коробочку и спрыскивала бороду Серкебая благовонными духами.

Томно прикрывая глаза, он умолял:

— Какая ты у меня милая... Еще немножко побрызгай. Побрызгай, моя небесная красота. О Гульюнжан, моя дорогая звездочка... Где твой платочек? Помаши-ка мне в лицо. Ну и блаженство!..

Гульбюбю помахивала невесомым шелковым платочком над лицом мужа. А он, затаив дыхание, стонал от блаженства:

— Какой восхитительный дух исходит от моего птенчика. Моя нежная, милая. Ласковая. Ага-ага, вот так маши. Помягче. О, ласковый шелк волос у моей Гулю... Да, я первый заметил всю твою прелесть. Ты и солнце, ты и цветок мой... Да, перед тем, как выехать в дорогу с пятьюстами баранами, я видел сон: мне на руку села невиданной красоты птица. На пышные ее перья больно смотреть, от ее пения разливается улада в душе. А за мной народу — тьма-тьмушая... Проснулся, когда солнце поднялось уже к обеду. В теле свежее бодрость, будто я искупался в озере Сон-Куль... Я позвал аксакалов, просил их дать благословение за упокой черного ягненка с белой отметиной на лбу. Но о виденном сне никому ничего не сказал, сам стал его разгадывать... О, какие у тебя ручки, Гульюнжан! Моя ты радость, мое блаженство. Ты возвратила мне тридцать лет жизни... О, положи свою нежную ручку мне на сердце. Я раб этой ручки, маленькой и сладкой, как детская ладошка...

КЛЕВЕТА

Молодой женой Серкебая не восхищались разве лишь дряхлые старцы да малые дети. Остальные мужчины, от горделивых байских сынков и вплоть до табунщиков, искали встречи, слагали о ней песни и целые легенды.

— Да на нее больно смотреть, как на слепительное солнце. Какое совершенство!

— Не говори. Слиток золота, не девушка.

Проезжая мимо юрты Гульбюбю, мужчины то и дело оглядывались, словно забыли там что дорогое, радовались любому поводу, чтобы подольше задержаться в аиле. «Хоть бы разок увидеть эту лучезарную, солнцеликую красавицу»,— вздыхали оттаянные юные головы, и кое-кто даже осмеливался переступить порог белой юрты Серкебая.

А Серкебай все блаженствовал на шелковых одеялах, голова его покоилась на коленях возлюбленной, он сладко кряхтел, дотягиваясь, полусонно спрашивал:

— И-и-ээ... Гульнжан, кажется, кто-то заходил в юрту, мой свет?

Расправляя нежными пальцами морщинки на лбу бая, она медленно поднимала длинные ресницы, бросая лучистый взгляд на полог юрты, едва улыбалась и, не отвечая на вопрос мужа, кивком головы приветствовала вошедшего смельчака. «Куда ты пришел, бесстыжий юнец? Разве не видишь, что нет здесь твоей пары?» — говорил себе джигит, и для него эта женщина становилась еще недостижимей и желанней.

Серкебай, точно подозревая что-то неладное, переспрашивал:

— Скажи, милая, кто это к нам заходил?

— Аильные ребятишки на минутку заглянули... — отвечала она небрежно, сквозь приятный смешок, похожий на перезвон серебряных украшений в ее косах.

— Да, да, вроде бы полог открывался и закрывался, мой свет. Полцарства отдал бы за твои мягкие, как вата, руки. Потри-ка еще спину, мой птенчик... Брачное ложе покоилось за расписным тяжелым занавесом из белого с блестками атласа. Занавес слегка приподнят, и край его аккуратно, чтобы не помять, приткнут за унину¹. Против ложа висит ковер, отороченный переливающейся куньей шкуркой.

В просторной юрте собраны ткани всех расцветок — глаза разбегаются. Благоухает пряным ароматом, какой источают лишь новый и чистый шелк, атлас, плюш, парча. Около порога нет привычной свалки седел, конской сбруи, охотничьих принадлежностей. Чисто и то место в юрте, где обычно висят толстые, в локоть, шесты, — на них вялят впрок мясо. Нет и закутка в правой половине юрты, где хранится кухонная посуда и запасы продовольствия. В юрте, где бай почивал, тренога не ставится, казан не кипит, огонь не разводится. Иначе юрта закоптится, мухи и комары будут донимать бая, помешают наслаждаться покоем. Серкебай все эти дни наверху блаженства со своей ласковой токол. Он распорядился, чтобы в его юрте выдерживалась строжайшая тишина. С тех пор, как появилась Гульбюбю, женщины варили, жарили, кипятили только на кухне.

К обеду или к чаепитию женщина с подносом на цыпочках (не вспугнуть бы спящего или дремлющего бая) входила в юрту. Все было готово — и руки помыты, и дастархан разостлан. Теперь около бая и Гульбюбю оставался джигит, — на его обязанности искрошить мясо, — да женщина наливала чай в пиалки.

Кроме obsługi, никого не было рядом с баем и его токол. Серкебай строго наказал: в юрту, где пребывает его несравненная красotka, нет нужды никому заходить. И чем тише было в юрте, тем спокойнее чувствовал себя Серкебай: любил он подолгу дремать.

Байбиче Букен, старшая жена бая, не смирилась с тем, что муж взял себе токол. Она с злым пылом корила Серкебая:

— Ты перешагнул через мою голову. Без моего согласия взял себе вторую жену. Ты унизил меня в то время, когда слава о моих детях стала повсеместной. Одно из двух — оставайся ты со своей избранницей, или я вместе с детьми.

Серкебай пробовал и ласковым словом, и уговорами, и просьбой о прощении утишить разгневанную байбиче.

— Ты была полновластной хозяйкой аила и нашей юрты, ею и оставайся. Не я первый киргиз беру себе вторую жену... Но я хочу, чтоб Гульбюбю была тебе младшей сестрой. Будь с ней поласковой, она еще совсем юная. Наивная девочка нуждается в твоей поддержке.

Где там! Букен и слышать ничего не хотела: разбушевалась не на шутку. Все имеет, однако, свой предел. Неуемная вороня байбиче взбесила Серкебая. «Ах ты вздорная баба! — мысленно произнес он.— Я ей уважение оказываю, а она этого в толк не возьмет. Ладно же! Я напому ей, что лишь со мной она стала почитаемой байбиче. Я думал, у нее благоразумия хватит... Но раз она так...»

Серкебай не выходил из юрты токол. Он тешился в объятиях молодой красавицы, любовался ею и не замечал, как проходят дни. Он забыл, кажется, про все на свете: и про семью, и про скот. Байбиче терзалась ревностью и муками оскорбленного достоинства. Скрипя зубами, она, если б только могла, готова была сунуть змею в постель бая и токол. Женщина потеряла покой: как отомстить Серкебаю?

По годам он был намного старше Гульбюбю, но своей живостью, горячностью, обходительностью мало уступал даже лучшим джигитам, и, видимо, эти привлекательные свойства характера помогли ему завладеть сердцем девушки. Куда девалась ее грустная задумчивость первых дней! Нежность, внимание и отзывчивость бая на любую ее прихоть преобразили Гульбюбю. В глазах у нее зажглись огоньки радости, щеки ярче горели румянцем. Вскинув брови и кокетничая лучистым взглядом из-под длинных черных ресниц, Гульбюбю доводила Серкебая до самозабвения. Он прямо упивался и легкой, неуловимой ее походкой, и белой, нежной шеей, и шелковым шелестящим платьем с двумя оборками, изящной ее фигуркой в красной, в талию сшитой парчовой жилеткой, и тугими косами.

Утопая в пухово-мягкой медвежьей шкуре, брошенной поверх одеяла, толстяк с лоснящимися пылающими щеками шептал: «О лучистый мой свет. Слава аллаху, что он не пожалел для меня одно из своих самых прелестных созданий.— И глаза у Серкебая озорно блестели, то и дело он поглаживал смолисто-черную бородку, закрывающую его шею.— Если самое безжалостное наводнение унесет когда-нибудь мой скот, если даже свалится на меня лютая нечистая сила, я все равно ни за что не расстанусь со своим ангелочком».

Однажды Серкебай, заглядевшись на тоненькую, как ивовая лозинка, Гульбюбю, решительно сказал:

— Неженка моя, а что, если мы заплетем твои волосы в пять мелких косичек, как обычно носят девушки, и украсим твою прелестную головку куньим тебетеем, а? Высокий белый тюрбан не слишком идет к твоему милому, лучезарному лицу. Ты солнце, ласка, нега и райский соловей наивысшего властелина, самого богатого и щедрого Серкебая, слава которого достойна его необозримых богатств. Даже в аду я вижу тебя махровой розой. Я одену тебя в девичий наряд, моя ласка. Твою голову украсит куний тебетей. И до самой моей смерти ты будешь в облике девушки. Хорошо?

Гульбюбю, не решаясь нарушить обычай, игриво заперечила:

— Ой, бай! Неужели вы думаете, в тебетее с пятью косичками я превращусь для вас в безгрешную девочку?

Но Серкебая было трудно переубедить. Лениво махнув рукой, он сонно добавил:

— Раз уж такова воля твоего мужа, лучше согласись, моя неженка. Заплети волосы в пять косичек. В сундуке у сварливой байбиче, помнится, запрятана чудесная шкурка куницы, в свое время ее выменяли за быстрого скакуна. Пусть она достанет коричневый плюш и сошьет тебе великолепный тебетей с куньей опушкой. Эх, вспоминаю, сколько батыров ушло с этого света с одной мечтой — полюбить красавицу со сладким детским запахом, прокатиться на скакуне с шелковистой блестящей гривой. Да, я благодарен аллаху: он посадил на мою руку столь прекрасное создание. В элечеках ходят третьи и четвертые, давно позабытые жены захудалых баев. Не хочу видеть на твоей головке такой же элечек. Неужели Серкебай, который из года в год отгоняет в Андижан по пятьсот валухов, не в состоянии угодить своей несказанной радости? Я ничего не пожалею, чтобы ты оставалась в девичьем наряде до своих тридцати лет. Провалиться мне сквозь землю, если я не сдержу своего слова. Если же ты, избави бог, изменишь мне, то провались ты сквозь землю. И кто из нас нарушит священную клятву, того да покарает дух предков и навечно опозорит перед всем народом.

Серкебай, воодушевленный своими мыслями, не замедлил распорядиться прирезать крупную серую кобылу. И начался роскошный той. Самая почтенная женщина в аиле заплела волосы Гульбюбю в пять косичек, убрав каждую блестящими украшениями, какие носят байские дочери, на голову надела красивейший тебетей, отороченный куницей, а на шею и грудь Гульбюбю — в несколько рядов бусы и крупный янтарь.

Отныне золовки и свояченицы стали величать Гульбюбю — Эркеган¹. Так высоко вознести свою жену, в отступление от вековых обычаев, решались богатые баи, манапы, наиболее чтимые старейшины. Но это не означало, что женщина, «у которой одним ребром меньше», уравнилась с мужчиной в правах. Нет. Подобное своеволие, недоступное беднякам, баи и манапы совершали ради того, чтобы прошел добрый слух: «Манап или бай имярек одел в девичий наряд свою избалованную жену». И Серкебай, опьяненный величием и манией власти, кичившийся своим богатством и скотом, снимая платок и надевая на голову второй жены Гульбюбю куний тебетей, делал это

не столько из сильной любви к ней, сколько из тщеславного желания ошеломить народ и прошуметь на всю округу.

Надо сказать, что не нашлось смельчаков, кто бы во всеуслышание осудил вышедший далеко за рамки обычаев постыдный поступок. Если его и осуждали, то между собой и тихим шепотком: не дай бог услышит Серкебай. А звезда Гульбюбю еще ярче воссияла. Теперь в юрту новобрачной лунноликой красавицы не смел заглянуть не только простой джигит, но и вхожий до того хвастливый байский или манапский сынок. Далеко по аилам и кишлакам прокатилась молва о Серкебае, нашедшем свое счастье за пятьсот валухов на пути в Андижан.

В последние годы в народе только и было разговора, что о побеге Айнагуль с Манапбаем. То, что сын бека Манапбай влюбился в замужнюю женщину и в сознании собственной безнаказанности увез ее среди белого дня от родителей и мужа, было чрезвычайным событием, дерзким нарушением исконных правил и обычаев. Никто даже среди больших родов и племен не одобрял Манапбая за похищение невестки у почтенного Асантая: ведь это совсем не то, что женитьба влюбленного молодого человека на влюбленной молодой свободной женщине.

Окрестный народ не успел забыть деяний Барак-хана. Возомнив себя правителем всех киргизов, он долго помахивал плеткой над головой бедных кочевников, шумно жил в свое удовольствие и бессовестно грабил бедняков. Когда раздутая слава Барак-хана окончательно вскружила ему голову, он подчинил себе слабые роды, обложив их непомерными податями, а старейшин родов беспрекословно держал под башмаком. Наступили тревожные времена. Стоило какому-либо роду попытаться воспротивиться Барак-хану, как на смельчаков обрушивались нескончаемые бедствия. Барак-хан грозил забрать в рабство девушек, женщин и даже мужчин. Он затевал междоусобные распри, в которых гибли лучшие джигиты. Владычество Барак-хана длилось до тех пор, пока кто-то не прикончил его самого.

Наследник хана — старший сын Арстаналы — жестокостью и коварством далеко превзошел отца. Бесноватый Арстаналы совсем свихнулся на мании слепого властолюбия.

— Если черный люд — это вороны и галки, то я белый сокол, перед которым они должны трепетать. Кто осмелится раньше меня попробовать сладкую пищу и напитки, объездить лучших скакунов? Кто осмелится взять девушку, которой я первым не задрал бы подол? — презрительно грозился хан, запрокинув голову.

Манапбай, сын Арстаналы, одно имя которого леденило сердца людей, похитивший замужнюю женщину Айнагуль, вовсе и не считал, что преступил в чем-то родовые обычаи. Для Асантая же, чью невестку увезли среди ясного дня, это было равносильно смерти. Он скрипел зубами, подобно волку, у которого прямо из-под клыков вырвали добычу.

Асантай не мог примириться с мыслью, что кровно задета честь его ханского рода. Но даже под тяжестью жестокого оскорбления он не посмел, как раньше, двинуть войско против рода багыш, как, бывало, выступал против кулбараков. Теперь не обелить свою запятнанную честь одними возгласами «разобью, уничтожу!». Сколько бы Асантай ни храбрился, сколько бы ни рвался в поход, род хана Арстаналы, привыкший всех подряд ставить на колени, быстро остудил бы его гнев.

Арстаналы, которому перевалило за сто лет, услышав, что Асантай намерен отомстить похитителям его невестки, расхохотался и внушительно сказал: — Достаточно, как говорится, подходящей дубинки, тогда и кол из кошмы в землю влезет. Я еще не так стар, чтобы просто ему подчиниться. Неужели зловонный Асантай запомнил, что ворона всегда была пищей сокола? Слышал я, этот нечестивец намерен жаловаться старейшинам Токмака и Пишпека и с помощью биев надеется еще мстить мне. Ха-ха-ха! Какой-то кул готов поднять руку против своего владыки! Значит, он ищет опору в лице царских старшин и уездных? Неужели он в толк не возьмет, что сам могучий лев Великих гор Арстаналы рычит на него и точит против него свои когти? Ну, что тут страшного, если мой младшенький жеребеночек, которого жена мне подарила в мои семьдесят пять лет, малость побаловался, взяв полюбившуюся ему кобылицу? И этот безнадежный глупец еще осмеливается скулить, что похитили-де его невестку? Ах ты нечестивец! Забыл он, что ли, что не только невестка его и дочь, но сам он мой кул! — Арстаналы, возлежавший в просторной юрте, на горке наложенных одно на другое мягких, как пух, шелковых одеял, гневно выкрикнул: — О аллах справедливый! А кто осмелится меня допрашивать? Родился ли такой бий? Ведь самый главный судья — батыр Шабдан. А какого Шабдан рода? Не нашего ли? Э-э, память подводит этого вонючего Асантая! Бес его знает, куда его только занесло!

Столетний Арстаналы закрывал глаза на то, что невидимые нити старости давно опутали его по ногам и рукам, согнули в три дуги; закрывал он глаза и на то, что когда-то богатырское тело усохло, подобно рогоже, а белые брови нахохлились, борода поредела, словно кто ее выщипал по волосинке. Не хотел он видеть и того, что солнце его давно отсветило и вот-вот погаснет в бездне. Однако же Арстаналы еще цепко держался за власть над старейшинами родов и никому не собирался ее уступать.

Внутренне, правда, он не был согласен с тем, что его баловень Манапбай самовольно привез в юрту молодую замужнюю женщину. С глазу на глаз он даже пожурил сына, поддержав требование байбиче:

— Отправь-ка, сынок, назад эту кудлатую ведьму.

Когда же до его слуха дошли пересуды, что-де у Арстаналы и силенок-то не осталось, чтобы тягаться с богатым правителем Асантаем, который постарается жестоко расплатиться с ханскими потомками, старик весь скорчился, будто загорелась его борода. Он тут же позабыл свои укоряющие

слова сыну и, считая, что честь его глубоко задета, захрипел, затрясся в крике:

— О боже! Посмотри, что делается? Кем себя возомнил этот смрадный Асантай? Вольно моему баловню захотеть, он не только невестку, и дочь его возьмет б жены, и тот ничего с ним не сделает. Смешно! С кем вздумал тягаться? Радовался бы лучше, кул, что сам уцелел, чем думать о своей похабной чести. Люди добрые, кто он, недостойный Асантай? Давно ли я мог беспрепятственно, по усмотрению своему, взять весь его поганый род себе в безропотные рабы. Почему же он это запомнил?

Окинув красными воспаленными глазами круг старейшин и сподвижников в юрте, Арстаналы, подобно раненому тигру, не меняя лежачего положения, прорычал:

— Слышали вы, благоверные мои, какой иск предъявляет к нам это ничтожество? Он, видите ли, преисполнился дерзостью оскорбить нашу непогрешимую честь! О боже! Неужели ржавчина покрыла мой меч? Ну-ка, дайте его сюда

Подавшись всем корпусом вперед, он потянулся было встать, но, увы, обессилено свалился на постель. Старейшины, считавшие, что их честь тоже затронута, взирали на своего повелителя, как бы говоря решительным и полным ярости взглядом: «Верно ты рассудил, о мудрейший из мудрых. Не будь войска белого царя, этого Асантая давно бы следовало поставить на колени. Но мы и сейчас готовы на все. Только прикажите. За честь нашего рода, за вашу достопочтенную честь мы немедля хоть в огонь, хоть в воду!» Справа от Арстаналы сидела его младшая жена (женился он на ней уже на восьмом десятке, с единственной целью, чтобы она грела его остывающие колени. Но Алтын успела даже родить ему сына Манапбая). Алтын байбиче — ей было далеко за пятьдесят — ни на шаг не отходила от своего господина Арстаналы.

По левую сторону сидел Манапбай.

Мать с сыном, поддерживая старика под мышки, кое-как усадили его в подушки. Он попросил положить перед ним старую саблю с серебряным эфесом и выгравированной арабской надписью и черную берданку, с которой был неразлучен долгие-долгие годы владычества. Хрипловатым, одышливым голосом он проговорил:

— Вот сабля, она всегда наготове у моего изголовья, — память о наших предках. И берданка передается по наследству из поколения в поколение; Чтобы проверить ее меткость, я брал на мушку каждого чужака, кто проезжал через мой аил... Неужели о моей былой отваге люди уже стали забывать! О боже! А скажите, кем был этот зловонный кул?

Арстаналы озлобился до такой степени, что не хотел называть даже имени Асантая.

— Пусть эта вонючка никогда не забывает, кем он был и кто есть! — хрипел он, окинув всех приближенных воспаленными глазами.

Нахмутив брови, старик обратился к Манапбаю:

— Отныне, мой баловень счастья, ты единственный хозяин этого серебряного эфеса и точной берданки. А старейшины нашего рода — твои советники в сражении и наставники на истинный путь в жизни. Обращайся к ним в любой беде. Приказываю тебе, чтобы нога этого зловонного полудурка не появлялась рядом с твоим аилом. Мои слова пусть дойдут до каждого здесь сидящего. Кто воспротивится моему желанию, того покарает прах самого Барак-хана.

Арстаналы говорил с яростью раненого тигра, и родовитые аксакалы, вняв крутому голосу своего властительного бая, отказались отвечать за поступок Манапбая перед бием и законом мусульман, больше того, они решили проучить жалобщика Асантая. Поистине у хитроумного вора хозяин украденного сам же кругом виноват.

Более отчаянные головы даже грозились:

— Непременно посадим этого кула в седло задом наперед, чтоб знал, на кого замахнулся.

И они принялись выслеживать Асантая, стремясь пленить его тайком. Слухом земля полнится. Стало известно, что Асантай собрался в город продать много скота, а на вырученные деньги задобрить царских чиновников. Арстаналы послал наперерез отряд джигитов на быстрых и выносливых скакунах — перехватить Асантая в пути и помешать ему жаловаться властям. Встреча враждующих сторон произошла близ Бозсенира. Асантая схватили вместе с погонщиками скота. На породистом жеребце с седеющей гривой выделялась крупная фигура нарядно одетого бая. Бекташ, предводитель перехватчиков Манапбая, на полном скаку приблизился к Асантаю и без приветствий и церемоний дернул его коня за узду. Вооруженные джигиты плотным кольцом окружили погонщиков Асантая и прижали их к берегу бурливой речки.

Еще за минуту до того, как попасть в руки ханских джигитов, Асантай ехал торжественно и шумно во главе сопровождающей его свиты. Но как только он вместе со своими людьми оказался в кольце враждебных молодцов, с него мигом слетела важность и он безропотно сдался насильникам среди бела дня. Подобно схваченному с поличным мелкому воришке, Асантай пробовал было сделать обиженный вид и своим красноречием как-нибудь выпутаться из этой заварухи, но Бекташ и его джигиты не дали ему и рта открыть. Заставив Асантая спешиться, они недвусмысленно сказали:

— Дай иной свинье свободу, она взберется на гору и еще объявит себя царем зверей. Ты, свинья, вообразившая себя властелином, затеял жаловаться на нашего батыра? Скажи, от кого ты получил свободу и вольность? Неужели ты, нечестивец, забыл, что твой бек, твой бог, твой святой дух — это и есть наш батыр! (Батыром Бекташ называл, конечно, Арстаналы.) До чего же у тебя дырявая память! Ее надо срочно промыть в этой водичке... Эй, джигиты мои, помогите ему... заставьте-ка его побродить прямо в сапогах в студеной воде. Расчешите его бритую голову тугими плетками! Подумать, на кого он хотел замахнуться?.. На божьего сына, на святого и всемогущего, на единственного

наследника Барак-хана! Он, оказывается, считает нашего владыку равноценным этому глупцу Назарбаю из недостойного рода кулбарак! Волочите его в воду! В бурной речке наших предков вонючий кул искупит свои грехи! Авось опомнится и поймет, с кем имеет дело. Ишь ты, поганец, жаловаться вздумал на великодушного батыра!..

Люди Асантая не в силах были сопротивляться, впору умереть от стыда на месте. У них на глазах принудили властительного бая вступить в быструю реку, перейти на другой берег и вернуться назад. Леденящие брызги расхлестали гладкую с проседью бородку, били по лицу, волны обдавали жирный вислый живот казалось, вот-вот свалят и покатыт бая, словно камешек. Он едва держался среди бешеного пенистого потока, спотыкался, ошалело тарашил глаза, моля о пощаде.

Бекташ на иссиня-черном коне напирал на Асантая, пытался сбить его с ног, с размаху прикладывая толстую плеть к широким плечам бая.

— Будешь знать вперед,— приговаривал он,— кто твой настоящий владыка, поганый кул. Наш бог в небе, а твой на земле: батыр Арстаналы.

Небось теперь не забудешь на всю Жизнь... Жалуешься, что у тебя похитили сноху? Если мало себе, изволь доставить старшему сыну бека еще дочь свою, падай перед ним на колени и проси пощады у батыра! ?

Покрытый несмываемым позором, Асантай никуда не подал жалобу и долго не показывался на людях. Да что там Асантай! Даже всеми почитаемый Барман, отец Айнагуль, из-за которой, наступили смутные времена вражды между двумя родами и на-> рушились покой и мирная жизнь, даже Гульгаакы, считавшаяся самой дальновидной и прозорливой женщиной в округе оба они краснели перед людьми и не знали, куда деваться от пог - стыдного бесчестия. Барман раньше никогда не посягал на достоинство жены, а теперь то и дело попрекал ее: «Это ты вырастила дочь вольной и бездумной. Вот что она натворила!»

О порченных, распутных женщинах заговорили повсеместно, в каждом аиле. «Ох, эти женщины! Это они с древних времен становились роковыми виновниками смерти самонадеянных ханов и беков, они разжигали распри между родами, лишали покоя и сна могучих батыров. Не приведи бог встретиться с бесстыжей женщиной. Мужчина, попавший в ее сети, считай — пропащий человек. Беспутная не посмотрит на твою учтивость. Бесстыжую не остановит и твоя слава».

Иные старейшины в смятении даже приглашали к себе мулл — прочесть заклинание от злых духов и открыть тайну беспутства по шариату. Муллы терпеливо разъясняли, что жена-изменница на том свете превратится в черного вислоухого осла, что женщины, любящие болтать напраслину и разносить сплетни, не попадут в рай и обречены бродить в аду с длинными, волочащимися языками, а те, кто не уважает аксакалов, будут вечно кипеть в адской смоле.

Редко кто из горцев не толковал об оскорблении, выпавшем на долю Асантая из-за невестки Айнагуль. И акыны тут же сложили на этот случай забавную песню:

Если жажда одолеет, Конь с уздечкой воду пьет. Если гонит страх джигита, Он шагает прямо вброд.

В то время, как молва широкой волной шла по аилам и имена Манапбая и Айнагуль были у всех на устах, Серкебай по-прежнему ласкал и лелеял свою красавицу токол Гульбюбю.

Букен вне себя от бешенства придумывала кару мужу в отместку за поруганную любовь. Настал ее час: Букен решила не только проучить Серкебая, но и сжить со свету злосчастную соперницу.

Дождавшись, когда с гор вернулся табунщик Дубана — грузный, широкоплечий детина,— она оставила его у себя в юрте и приказала молодой работнице постирать его белье.

— О несчастные жалчи. Зимой и летом пропадаете вы где-то в горах, ходите за скотом, и никто не заботится о вас,— сокрушалась Букен.— Ваш же бесноватый бай никак не насладится своей Неженкой. Как женился, проклятый, позабыл про все на свете: про детей, про скот, про вас —жалчи. Только и знает ласкать эту потаскуху, что, как сучка, валяется в его постели. Ежели присмотреться, так эта ведьма не стоит и сломанной куклы, а он ее балует, как дитя... Позор-то какой?! Упаси боже!

Букен то рыдала, то смеялась, то злилась на соперницу и мужа, то снова жалела Дубану и не отпускала из юрты. Целый день угощала его ароматной бараниной, поила терпким дурманым кумысом.

— Ешь, ешь, не стесняйся,— слащаво приговаривала Букен,— небось оголодал, натерпелся один.

Вечером, когда Дубана собрался было уходить, байбиче подсунула ему дело — сварить сладкий творог — эджигей. Дубана, не подозревая подвоха, провозился у казана до глубокой ночи.

Едва забрезжило, как сонный аил: огласился пронзительными криками байбиче Букен.

— Ой, неслыханный срам! — вопила она, надрываясь.— Отец, проснись ты скорей! Двадцать пять лет прошло, как я переступила порог твоей юрты! Твоя постель и твой очаг — святыня моей жизни. На наше с тобой ложе не ступила чужая грязная нога. Я была покорной женой и не переходила твою дорогу. О мой повелитель! Взгляни, кого ты пригрел у своего сердца! Ах, потаскуха, ах, несчастная! Я ведь ее считала своей родней, радовалась, что ты с ней счастлив. Д она, змея, пренебрегла уважением к тебе и осквернила твою постель! О боже, какая мерзавка, гнусная тварь! С ней в постели всенародно почитаемый человек, а она... Вы только посмотрите, кому она ночью подставляла свою обратную сторону?!

Ярый, полный гнева голос байбиче разбудил наконец Серкебая. Он потянулся, словно объевшийся сметаной кот, заморгал глазами-щелочками и безмятежно промямлил:

— Ну, что ты разоралась? Скажи на милость, что с тобой? Байбиче, небрежным жестом одернув полу меховой шубы, сокрушенно сказала:
— Э-э, беспечный кряхтун! Спроси лучше у своего ангелочка, который лежит рядом с тобой в постели, что случилось этой ночью. С рассветом я вышла на улицу, взяв чугунный кувшин, чтобы совершить утреннее омовение перед молитвой. Открываю полог юрты, и что же я вижу? Из твоей юрты выскочил обнаженный Кызыр. Сперва я подумала, что это мне только показалось, Совершив омовение и наскоро прочитав намаз, я заглянула в вашу юрту, чтобы убедиться, не случилось ли какой беды. Приоткрыв полог, я в полумраке не сразу увидела лохмотья этого Кызыра. Он, оказывается, в большой спешке бросил их у твоего изголовья.

И байбиче презрительным движением ноги поддала рогожные штаны и черный кементай — потрепанную одежку батрака.

— Вот, полюбуйся на проделки своей ненаглядной Неженки. Протри, обманутый муж, свои глаза этим тряпьем Кызы-расоблазнителя. А я-то, дурочка, рожала ему детей, воспитывала их, никогда слова поперек не смела сказать. Видимо, мужьям нравятся подобные потаскухи. А ты еще как радовался, заплетал ей девичьи косы, когда она нежилась с мужчинами. То же мне нашел красавицу! Полюбуйся, полюбуйся на ту, что ночью при живом-то муже раскрывала свои объятия грязному жалчи. А вдруг ты уехал бы на суд, на свадьбу или там угнал скот в Андижан? Что бы эта бесстыжая потаскушка тогда натворила? Не приведи бог, чтобы люди услышали или увидели мерзкое прелюбодеяние... в постели бая.

Сокрушаясь упавшим голосом, байбиче ногами откинула рогожные штаны к выходу. Видавшие и дождь, и грязь, и ветер, продубевшие штаны табунщика громко шаркнули иссохшей, потрескавшейся кожей. К их шороху с каждым ударом ноги прибавлялся перестук богатого набора монет и украшений, вплетенных в длинные косы байбиче Букен, да перезвон воздушных, легких сережек.

Сон как рукой сняло. Догадавшись, что произошло что-то страшное, но не зная, что предпринять, Серкебай продолжал лежать с приподнятой головой на подушках. А байбиче все не могла утихнуть:

— А-а, глупая я! Надо бы и мне не теряться: с правой стороны ласкать любовника, с левой нежить мужа. И мне уже давно заплели бы девичьи косы. Уж тогда, наверное, бай любил бы меня и лелеял. О, где были мои глаза? Где был мой рассудок?

Готовые пролиться в любую минуту слезы Букен не заставили себя долго ждать, они обильно потекли по довольно свежему, со следами былой красоты лицу первой жены Серкебая.

Проснулась и Гульбюбю. Она вопросительно смотрела то на причитающую байбиче, то на каменное лицо своего повелителя. Холодный пот выступил у нее на спине, она хрипловато спросила:

— Что случилось? О боже, что там еще увидели? Скажите, что бывает с красивой, разноцветной бабочкой, когда она попадает на открытом летнем

просторе в сети цепкого паука? Кто ее освободит из плена? Никто, пожалуй. Паук высосет ее кровь, и останутся трепыхать одни высохшие крылышки. Солнечные зайчики больше не будут в них отражаться...

Невидимая глазу человеческому, паутина есть и в людской жизни, плотная, липучая. Особенно она страшна для беспомощных, незащитных женщин, ничем не отличавшихся от хрупкой бабочки. О, если бы прозванная баем Серкебаем Неженкой Гульбюбю была вольна выпорхнуть из невидимых густых сетей жизни! Но где она, эта воля?

Пока бедняжка терялась в догадках, что же произошло, по аилу холодной змеей прополз слух: «Неженка Серкебая попалась в постели с любовником. Говорят, у нее в объятиях лежал, как кошка, сам бай, а с другой-то стороны ее обнимал табунщик Дубана. Бесстыдница! Донежил ее бай!»

Слухи эти особенно задели тех, кто имел токол — вторую жену. А не изменяют ли и их жены, подобно Гульбюбю? Старшие жены — байбиче — торжествовали, готовые немедля выгнать этих пакостниц из юрт и вновь добиться расположения мужа. :

— О бранные души! — восклицали аксакалы.—.Когда женщины становятся беспутными, говорят, приходит конец света. Там убежала невестка бая Асантая, здесь Неженка Серкебая лежит между двумя мужчинами. Что нас ждет на этом свете?

— Ай-ай, бесстыдница! А как он ее холи лелеял! Косы заплетал, чтобы всегда казалась ему девчонкой. Ни на шаг не отходил... А она баю пыль в глаза. И где только нашел он себе овощную ведьму? Накличет беду на весь наш род! ? Некоторые байбиче, потерявшие власть над мужьями, которые предпочитали жаркую кровь молодых жен, лишь подлива-масла в огонь:

— Если уж она Серкебая не уважает, добра от нее, конечно, не ждите. О боже, что за жизнь пошла — солидные мужчины и те идут на поводу у токол!

— Однако, с другой стороны, пусть бог благословит эту Гульбюбю. Пусть хоть одна проучит наших меринов. Давно бы так. Если не нравимся мы, честные, пусть себе живут с беспутными. Заплыли жиром наши мужья, вот и бесятся. Пусть их проучат те же токол. Может, поумнеют.

— Ой, не приведи бог. Тогда в мире все пойдет вверх тормашками. Люди позабудут про честь и благородство...

— Ну и пусть все летит к дьяволу. Если этого боятся беснующиеся мужчины, пусть попридержат свой пыл и любовную ярости. Нет, таких беспутных, как Гульбюбю, надо .хорошенько проучить натянуть уздечку вторым женам. Раньше, если случалось, что вторая жена позволяла мызгать семейную постель, ее пеленали в шиповник, брили голову, а лицо смазывали сажей. А эта Гульбюбю как ни в чем не бывало разгуливает в красивом тебетее из куницы, постреливает в мужчин похабными глазками и дразнит их соболями бровями...

Слух распространялся с быстротой огня, охватившего высохший по осени куст жирганака. Серкебай в аиле не показывался: было стыдно. Он не раз намеревался защитить свою Неженку, раскрыть до конца истинную правду,

но Букен, первая жена, мать его дочерей и сыновей, давно разнесла по айлу свою скандальную новость. Случилось, мол, так, что она вышла почитать раннюю молитву и вдруг... своими глазами увидела убегающего голого человека, им оказался не кто иной, как табунщик Дубана. Ну, куда ни шло, был бы сын богача. А то грязный кул — и на тебе, в постели своего владыки и повелителя. Какой позор! Дубана оставил в юрте новобрачных, у изголовья самого бая, кожаные штаны и черный кементай.

Женщины от стыда щипали себе щеки, всплескивали руками

— Ну и времечко! Чтимый, как сам аллах, муж лежит с ней рядом, а она, бесстыжая, с негодным кулом... Опозорила каждую, кто ходил в белом платке.

— И поделом, сжечь обоих на костре. Серкебай наверняка получил бы божье благословение.

Услышав, что его ждет, табунщик Дубана потерял голову. Он не посмел явиться к старейшинам и заявить: «Я совсем не причастен к этой клевете, аксакалы».

От обуявшего его страха Дубана сбежал.

Гульбюбю старейшины даже слушать не захотели. А ближние родственники Серкебая, считая, что их честь глубоко задета, лишь распаляли гнев и ярость бая:

— Ты ее охранял, как цветок, и лелеял, как ангела, заплетал ей девичьи косы, не позволял на мужчин смотреть, а она наплевала на тебя, запачкала свой подол. Как хочешь, она должна полностью расплатиться, даже если принесет тебе златокудрого сына. Ты не должен жалеть эту беспутную гадину! Если мы! оставим это безнаказанным, то над нами будут смеяться: кара-сазцы, мол, бессильны даже перед женщинами, слюнтяи они, мол, не мужчины... Надо всенародно проучить развратницу, иначе нам не носить тебетей на людях.

— Да, да, Серкебай, остается одно — безжалостно вздуть эту сучку!.. Губы у Серкебая посинели, усы вздыбились...

— Раз эта женщина покрыла мое лицо сажей позора, я разрешаю вам смыть наш позор,— через силу, сцепив зубы, процедил он.

Байбиче Букен торжествовала победу: «А что, разве я не созданный богом человек? Чем я хуже ее? Нет, я добьюсь, бай снова восплачет любовью ко мне».

Утаив свое злорадное чувство, она напоказ дала волю слезам и, чтобы не видеть и не слышать, как будут пытать Гульбюбю, накинула шубу на плечи и ушла к себе в белую юрту.

Родственники, получив полномочия от самого Серкебая, вывели Гульбюбю из-за ширмы. Она словно омертвела от страшного предчувствия, безмолвно глядя на людей. Лишь глаза на обескровленном лице спрашивали: «Что вы решили со мной делать?»

За юртой на пригорке чинно расселись старейшины и все почтенные аксакалы. На безмятежных, каменных лицах словно было написано: «Приговор должен быть исполнен! Мы тут ни при чем».

Вездесущие дети прижались к юртам. Куда-то исчезли праздно шатающиеся джигиты, а молодухи и девушки с перепугу попрятались. Изредка слышался сдавленный, недовольный шепот старушек:

— И чего пристали к бедной женщине? О боже, зачем ты нас создаешь на белый свет?

Откуда-то явственно донесся громкий плач...

Притихли неугомонные, брехливые сторожевые псы с толстыми хвостами. И они, видимо, почуяли что-то неладное. Иные вяло дремотным глазом смотрели на происходящее, другие, жалобно скуля и прижав хвост, уходили прочь.

Судилищем командовал громкоголосый Абыке. Он, высоко засучив рукава белой рубашки, будто собрался резать целое поголовье скота, заговорил: — Давайте пошевеливайтесь живей, живей. Нечего ее жалеть! Никто ее под защиту не возьмет. Не только отец ее Темиркан, все племя чоро теперь не вправе заступиться. Платить выкуп мы не обязаны. Он давно с лихвой покрыт: пятьсот отборных валухов, каждый из которых, дойди он до Андижана, стоил бы доброго скакуна... Мне первому досталось тогда от нашей достопочтенной байбиче Букен за то, что, мол, будто я совратил бая. За то, что байбиче обругала меня за эту албарсты, ее родители мне должны десять верблюдов. Довольно, тащите ее. Нет снисхождения потаскухе! Укутайте ее хорошенько в сухой куст шиповника, сдерите три шкуры со спины, сбейте наголо волосы. Пока солнце не село, покажем ее людям! Когда на розовое, как молозиво, и нежное тело Гульбюбю легли первые удары плетки, бедняжка громко вскрикнула:

— Добрые люди, скажите, за что вы меня бьете, чем я провинилась перед вами?

Четыре дюжих джигита вмиг укутали ее в колючий куст шиповника. С каждым посвистом плеток на розовом теле выступало все больше липкой крови.

Абыке, приятель Серкебая, разъярясь, каждый удар своих молодцов сопровождал бешеным окриком:

— Так ее! Так ее, распутницу! Мы безжалостно наказываем эту женщину, она осмелилась опозорить своего мужа. Подобная участь ждет каждую изменницу! Выбейте из этой сучки всю блажь и дурь!

О незапятнанная Гульбюбю! Ей не выдержать мучительной пытки. Но когда цель ее палачей — проучить несчастную в назидание другим женщинам — была достигнута, Гульбюбю вытряхнули из колючего кустарника, окатили ледяной водой и Орцвели в чувство. Девичьи косы распустили, а лицо натерли сажей. На двугорбого верблюда швырнули завалящую подстилку и усадили Гульбюбю задом наперед. Набросив ей на плечи охапку разноцветных лохмотьев, поручили джигиту вести верблюда с девушкой напоказ из аила в аил.

Она не могла ни плакать, ни молить о пощаде. Абыке заставил ее повторять: — Подобная кара и возмездие настигнет каждую женщину, которая изменит своему мужу и осквернит чистую брачную постель. О люди, берегитесь женщин, которые приносят несчастье!

НАПЕРСНИЦЫ

Батийна увидела, как беззащитную, измазанную угольной сажей Гульбюбю провозят по аилам. Сердце у нее сжалось от боли, и она поспешила в свою юрту. Ноги не слушались, Батийна едва доволочилась до постели. Красавица Гульбюбю! За что ее так?

Чьи-то ласковые дрожащие ладони коснулись ее мокрого лица.

— Что с тобой, дитя мое? Не плачь, не печалься. Бедняжка Гульбюбю отвечает головой за то, что согрешила телом. Зачем же тебе напрасно терзаться?

Батийна по голосу узнала юную свекровь Гульсун.

— О мамочка, зачем на свете существует несправедливость? Расскажи об этом ате, попроси его заступиться.

— Бедное мое дитя! — Гульсун проговорила тихо и сердечно. — Хорошо, я скажу. Не побоюсь. Но прислушается ли окаянный старик к жалобе нашего с тобой сердца? Возможно, и прислушается, но кто послушает его? Что дельного можно ожидать от дряхлого старика? А вдруг старейшины скажут ему: «Бог с вами, бай, вы с ума спятили? Кого вы защищаете? Если дать свободу нечестивицам, они, пожалуй, при всем народе начнут задирать подолы. Через вашу же седую голову перепрыгнет и ваша молодая байбиче». От таких слов Атантай, глядишь, согнется, как старые носилки под тяжестью земли. Так и знай, Батийна. Во всей этой скандальной суматохе виновата дочь Бармана. Это она постыдным поступком навлекла тень на наши головы. — Гульсун вела себя, как многоопытная байбиче. Погладив сноху по косам, добавила: — Брось, напрасно не сокрушайся. Чего нам с тобой не хватает? Над нами свои юрты, в постели рядом свои мужья. А престарелому отцу лучше не знать о твоих горестях. Не стоит его тревожить. А то он сокрушенно скажет: «Что это с нашей невесткой? Разве кто над ней издевается?» Всегда будь веселой. Я замечаю, некоторые жены наших родственников шепчутся тайком про тебя, Батийна. Иногда я слышу, как о тебе недовольно поговаривает и старший мой сын — Кыдырбай: «Чего, мол, не хватает нашей невестке Батийне? Юрта у нее своя, казан и очаг свой. Может, ей бы хотелось, чтобы мы всем родом Атантай прислуживали ей?» А моя сноха Турумтай, сама знаешь, очень жадная. Ей совсем не нравится, что ты помогаешь беднякам. Я сама слышала, как она внушала Кыдырбаю: «Твоя сноха, кажется, готова раздать все наше богатство. Раздает и меха, и шкуры, и шерсть, и еду. Надо укоротить ей руки». Послушай моего совета, дорогая, и не делай глупостей.

Батийна задумалась. Ее устремленный в открытый полог юрты взгляд как бы говорил: «А разве неправду говорит Гульсун? Чей груз души мне дано сдвинуть с места? Да ничей».

В это время в полусумрак юрты скользнула тихая, осторожная тень. Женщины еще вглядывались туда, где мелькнула эта тень, а крохотная Канымбюбю в белой косынке уже стояла у очага. У нее был ошалело-перепуганный вид, по лицу катились слезы, маленькая грудь трепетала — совсем воробушек в клетке.

Батийна и рта не успела открыть, как Гульсун, будто у младшей сестренки, ласково спросила:

— А-а, это ты, Овчинка? Заходи... Кто тебя так напугал? Что ты увидела? Что с тобой?

Подавленная, обиженная судьбой Канымбюбю моргала широко открытыми глазами. Не будь она повязана белой косынкой, по обычаю замужних женщин, ни ростом, ни впалой грудью ее не отличить от девочки-подростка. Да и косынка, небрежно завязанная концами на затылке, совсем не шла к ее детскому лицу.

Канымбюбю вздрагивала, она все еще не могла избавиться от пережитого недавнего страха.

— Чего плачешь, бедняжка? И тебя муж побил, что ли? Испуганным голосом Канымбюбю прерывисто заговорила:

— Да-а, сестры мои... Боюсь... Как только темнеет, мне страшно... Старик Тилеп, мой муж, чтобы он переломился пополам, грозит, что задушит меня, как только я усну... Я видела, как провозили на верблюде эту бедную молодую женщину. Смотрю на нее, а мой старик кричит: «Что уставилась? Ну что, нравится тебе такой наряд, бесстыдница? Попробуй только изменить! Я тоже покрою твоё лицо сажеей, как этой Гульбюбю». Я сбежала и теперь не знаю, как мне вернуться. Если эже Батийна позволит, я хотела бы у нее остаться на ночь.— Канымбюбю снова разрыдалась.— Если нельзя, то я совсем не знаю, куда мне податься...

«Эх, тоже нашла заступницу. Чем же я тебе помогу?» — подумала про себя Батийна, с нескрываемым сожалением глядя на Кайымбюбю, и, чтобы немного ее утешить, погладив по головке, с материнской лаской сказала:

— Не бойся, милая. Ты не одинока. Мы с тобой. У старика Тилепа руки коротки. Он пугает тебя. Если он замахнется, ты с криком беги в аил. И старик застыдится.

— Пстой, пстой,— вмешалась Гульсун.— Бежать вовсе не надо. Ты уже не малое дитя. У Тилепа есть старшая жена, взрослые дети, среди родственников тоже разумные люди. Сперва пожалуйся им: «Я тоже, мол, человек. Единственная дочь у своих родителей. Не дал мне ваш старик как следует расцвести — взял в жены. Мало того, что лишил меня молодости, так теперь грозит еще убить. Разве у вас не такие же дети, как и я? Угмоните своего старика. Если и дальше будет пугать, я вас всех прокляну, а сама утоплюсь в озере. Тогда вас покарает дух предков». Прямо так и скажи. Старiku будет боязно. Если же вот так убегать из дома, о тебе еще, пожалуй, пойдут сплетни, и ты же окажешься виноватой.

Щеки у Канымбюбю высохли, словно росинки под солнцем; бесхитростным своим умом она поверила Гульсун.

— А правда, эжеке, они перепугаются, если я скажу, что умру?

Гульсун уверенно добавила:

— Конечно, росинка моя. Если ты утопишься в озере, значит, в твоей смерти виноват Тилеп. Он побоится держать ответ за твою смерть перед твоим родом. Не такой уж он смельчак!..

На шершавых щечках Канымбюбю появился румянец. Словно что-то вспенив, она наивно улыбнулась и весело сказала:

— Ох, как вы? о бы хорошо сгнуть в озере! А то я, что ни день, всею боюсь, а старик Тилеп меня ничуть не жалеет. Пугает бородой, лохматой головой. На дне озера он меня ни за что не найдет. Как было бы приятно там лежать.

— Не говори глупых слов, доченька! — горячо воскликнула Гульсун. — Ведь утонуть означает, что ты умрешь. А в смерти ничего хорошего. Смерть — тьма, тишина. Не умирай! Живи, и придет час твоего октё¹.

— А что это — октё? — вспыхнула Канымбюбю.

— Бедняжка, — сказала Гульсун, — ты не знаешь даже, что это за слово.

Ничего, подрастешь — поймешь: и твой Тилеп когда-нибудь расплатится за то, что взял тебя в жены за овчинку...

Из детских глаз Канымбюбю снова хлынули готовые всегда пролиться слезы.

— Ай-ий, эжеке! Ко мне и мама, и родственники редко ходят. Очень хочется повидать их, но Тилеп ругается: «Чтоб тебя бог покарал, замарашку! Разве ты не знаешь, что ты стана женщиной? Рановато тебе разъезжать по своей родне». А я очень соскучилась по младшим братишкам и сестрам...

— Не думай так плохо, милая. Придут еще к тебе и мать, и родственники.

Они, вероятно, пока очень заняты. Скоро ты сама сможешь сходить к ним.

Ведь ты сперва должна прожить у мужа год. Не плачь. А то Тилеп разозлится и совсем не пустит тебя к родителям. — И Батийна, и Гульсун наперебой утешали попавшую в беду простодушную Канымбюбю.

Канымбюбю, прозванная Овчинкой, воспрянула, в глазах у нее блеснула искорка радости. Потом, вспомнив, наверное, о чем-то страшном, погрустнела. И вдруг вскочила, будто что-то важное забыла сделать.

Гульсун улыбнулась всем своим в мелких конопушках личиком.

— Садись, милая. Зачем встала? Если снега навалит тебе в рост, как ты для Тилепа будешь носить дрова?

Батийна по-своему возразила Гульсун:

— Эх, эже. Сколько раз мне довелось ходить в лес будто за хворостом — с мечтой встретить там желанного. Мы, женщины, привыкли к слезам и вьюку. Кого проймает наша печаль? На свете счастливых девушек раз-два и обчелся. Сколько их сгорают от тоски по любимому? И никто не выслушает их жалобу. Не встречался мне болуш, который бы вступился за права женщины. Даже божьи люди — муллы в белых фесках — и то вычитывают из Корана одни гадости: «У сплетницы на том свете просверлят губы. А женщину, что много огрызается, муж там превратит в ослиху. У той, что чужому мужчине

показывает из-под платка свои косы, на том свете адский огонь сожжет щеки...» Не найдешь мужчины, который остановил бы другого, кто сапогом до полусмерти истязает свою жену. Никто не скажет: «Убери руки! На том свете сам будешь скрюченной корягой». Какой бы ни был мужчина, пусть даже у него лягушечья голова, все равно считается достойным человеком. Даже иной дурачок сойдет за умного. Старик — дружок молодому. Что за время, ни у кого не сыщешь справедливости... Или это стародавний обычай предков? Неужели не настанет время, когда девушка найдет своего желанного, чтобы с ним жить душа в душу до глубокой старости. Не видать, наверное, нам такого счастья! Канымбюбю, милая, куда ты? Посидела бы еще немного. Канымбюбю робко посматривала то на Батийну, то на Гульсун. В ее растерянном взгляде можно было прочесть: «Ой, уже совсем темнеет. Старик Тилеп опять за свое... Куда мне пойти и где скрыться от него? О боже! Где ты, мама? Почему не приходишь? Я боюсь, очень боюсь без тебя!» Гульсун улыбнулась одними глазами, в юрте раздался ее ровный, спокойный голос, обращенный к Батийне:

— Э-э, сношенька, где они, наши дружочки, наши милые? Мне бы повстречался и не ох какой умница, но одногодок, уж я бы не жаловалась на судьбу. А тут... ночью холодные колени старика коснутся моего тела, от омерзения я аж подскакиваю в постели. А куда уйдешь? Терпи, терпи... Батийна тоскливо добавила:

— Не приведи бог пережить такое! Зачернить сажей светлое, как луна, лицо! До чего жестоки, до чего беспощадны иные люди!..

Канымбюбю нахохлилась, съежилась, как мокрый зайчонок.

— Ой, эжекабай¹, этот Тилеп пакостный человек. Хотела я не бояться, да страшно. Едва сгущаются сумерки и в юрте темнеет, сердце у меня обрывается... Куда мне теперь деваться, эжеке?

То Батийна, то Гульсун, позабыв про свою печаль, гладили Канымбюбю по взъерошенным, замызганным косичкам.

— Не бойся, Овчинка. Пропади он пропадом, этот Тилеп! Его первая жена тебе в бабушки годится. Она добрая. Когда старик взъерепенится, беги к ней, она тебя спрячет. «Не пускай его ко мне,— скажи ей.— Если будет ко мне приставать, то убеги, опозорю весь ваш аил»,— внушала Батийна.

— О-о, несчастная! Ну, убежишь к матери, неужели ты думаешь, она тебя спасет? Она сама переживает нелегкие дни. Старенькая и беспомощная. Что поделаешь?.. Не плачь. Мы же с тобой,— подбадривала ее Гульсун.

ЧТО БУДЕТ С НАМИ!

Батийна, казалось, примирилась со своей судьбой. Раньше и днем и ночью Абыл не покидал ее. Неизменно веселый, ласковый, он улыбался ей, брал за руку и уводил куда-то вдаль. «Пошли,— говорил он.— Кобылы на привязи. Я подпущу жеребят, чтобы тебе легче было доить». Бывало, подъедет к ней на саврасом с гривой, растекающейся шелковистой волной, и скажет: «Собирайся, Батийна. Пора нам на джайлоо — откочевывать».

Еще с полмесяца назад она в полудремоте видела его в войлочном кементае на породистом сером коне в белых яблоках по бокам. На правой его руке взмахивал крыльями белоснежный сокол. Внезапно сокол превратился в блестящий серп. Абыл заторопил Батийну: «Скорей, Батийна, поспешай, созрело просо, что мы с тобой сеяли там в местечке Курбу. Ну и просо! Пожалуй, гуще волоса гривастого коня. Даже под тяжестью моего кемента не полегло, выстояло. Когда соберем весь урожай, всю зиму наверняка будем со своей крепкой бузой».

Наутро Батийна улыбалась сама себе: «Просо — это хорошо. Просо — это хлеб нашей жизни. Даст бог, я еще встречу с Абылом, и мы с ним проживем до смерти».

Вечером она шла с ведрами от ближнего ручья и снова видела Абыла на гнедом жеребце. Джигит был легко одет, будто запросто проехал по аилу. Батийна нерешительно остановилась и подумала: «Откуда тут мог взяться мой Абылжан?» Протерев хорошенько глаза натруженными ладонями, Батийна потеряла его из виду. Будто он сквозь землю провалился...

Абыл часто попадался ей на глаза днем и неизменно исчезал ночью. Но в этот раз она особенно расстроилась. Руки ее опустились, плечи одеревенели, вода расплескалась, замочив подол и ноги. Но она и не почувствовала, что стоит мокрая.

После жестоких недавних событий Абыл реже стал возникать перед Батийной. И произошло это потому, что она все чаще задавала себе вопрос: «Чего я ропщу? А если бы моя судьба сложилась еще хуже, чем сейчас?» И постепенно как бы примирилась со своей судьбой, меньше задумывалась о своем прошлом. Порой она и расшутится с Алымбаем, затормошит его, дергая за полу шубы:

— О мой неуклюжий медведь! Правда, что ты мой хозяин? Хоть бы разок с тобой на горячих конях прокатиться по аилам, погостить у людей! Может, ты нынче сделаешь мне тёркюлётү [2](#) и свезешь к родителям? Кажется, год позади, как я за тобой?

Неповоротливый и скупой на слова Алымбай надувал и без того мясистые губы.

— Ну и чудачка! Разве я обязан возить тебя к родителям?

— Боже мой, а кто же, кроме тебя? Черный пень, что ли? Обычно муж везет жену на встречу с матерью и отцом. Тебе же, я вижу, и дела нет, даже когда я свалюсь больная в постель.

Алымбай, насупившись, молчал.

— Слышишь, что я говорю? Когда повезешь меня к родителям?

Кажется, он в состоянии молчать, даже если отрезать у него кусок щеки. И лишь когда бойкая жена окончательно его допечет, он резко отвернется, гневно бормоча:

— Ой, откуда мне знать? Бог бы тебя покарал..

Раньше жгучая обида нахлынула бы на нее, одолели бы грустные мысли, она стала бы искать во сне встречи с Абыл-жаном. Но сейчас думала: «А что бы

со мной было, подвернись мне еще хуже человек, чем Алымбай! Нет, не будуча я слишком привередничать».

Богата Батийна боялась. Страшно думать плохо о муже — не прогневать бы создателя. Теперь ее так не оскорбляла неотесанная грубость ее медведя, как спервоначалу. — Она поймала себя на том, что стала как-то жалеть и ближе присматриваться к Алымбаю. «Подожду-ка еще годик-другой. Может, все-таки вылепится из него человек».

Последнее время Батийна особенно опекала муяшийу бесенку Эркеган, решительно за нее вступалась: «Я не нашла свою судьбу, и Гульсун, и Овчинка, и Гульбюбу не встретили свое счастье. Хоть бы Эркеган была счастливой. Интересно знать, наступит ли день на земле, когда все, все девушки обретут наконец свою судьбу и радость?»

Батийна готовилась к проводам Эркеган замуж, как ее главная джене — наставница. Наставница обучает невесту вышивать гладью, кроить любую одежду, вкусно готовить, слагать прощальные песни — одним словом, все, без чего замужней женщине не обойтись.

Эркеган оказалась способной и любознательной девушкой. Она могла и шить, и кроить, и варить, в чистоте и опрятности содержать очаг, встречать и провожать гостей, она усвоила нелегкое искусство угощений и правила обращения к свекрови, свекру, к мужу и его родственникам. Всему этому научила ее Батийна.

Целый год готовилось приданое Эркеган., Шили одеяла, покрывала, кроили длиннополые домотканые чейкены, платья, дорогие меховые шубы.

— Не знаю, как буду жить без тебя... когда нас разлучат,— горячо шептала Эркеган на ухо своей джене.

Батийна гладила невестку по голове.

— Ничего, моя бийкеч! Моли создателя, чтобы дослал тебе доброго, дельного и нестарого мужа. С ним ты быстро забудешь и про родителей, и про близкую джене. Всех тебе заменит он, желанный и единственный.

Эркеган смущенно поводи́ла плечиком:

— Ой, не говорите таких слов. «

— Э-э, моя веселенькая козочка,—добавила Батийна,— я тебе про жизнь толкую. Хватит и того, что мы вот стреножены. Сама видишь, как унижают женщин. Но тебе я желаю счастья. Следи же всегда за своей честью, родная. Девушка с пятью косичками, баловень семьи, едва ли догадывалась, на что намекала Батийна. В эти минуты Эркеган походила на оторопелого постреленка, неожиданно потерявшего дорогу к матери.

Батийна сосредоточенно помолчала, и вдруг высокий, звонкий ее голос взвился в протяжной песне:

У ягненочка мерлушкой

Я была. Ой-дай!

У родителей шалуньей

Я слыла. Ой-дай!

Пробыла в невестах мало,

Став женой. Ой-дай!

Муж попался недостойный —

Глупый, злой... Ой-дай!

На ресницах Батийны сверкнули слезы жалости к себе, к своей судьбе. Голос ее дрогнул, оборвался, как перетянутая струна комуза.

— Ой, неженка ты моя, ой, милая ты моя,— вздохнула она.— С тех пор как я переступила порог этой юрты, лишь с тобой я делилась своими тайными мыслями, делилась душевной болью. Очень грустно, что девушки — всего лишь временные гости, перелетные птицы. Настает время, и улетают они в чужую юрту, в иные края. Пришла и твоя пора, моя веселая. Но постель твоя останется здесь. А за кого ты пойдешь, родная?

Горести мои

Лисицей Рыскают вокруг.

Остается примириться

Закрывать тюндюк

Я ищу джигита долго.

Забывая страх.

Я иду за серым волком,

Что бредет в горах.

Милые!

Судите сами —

Иначе нельзя:

Только горькими слезами

Промывать глаза.

Щеки у Батийны разгорелись.

— Мой ты душистый лепесток,—поглаживая мелкие косички Эркеган, сказала Батийна,— лишь бы печаль не коснулась души твоей. Когда приеду к тебе с подарками или когда ты через год наведишь своих родителей, я хочу тебя видеть веселой и юной, как сейчас. Если исполнится это мое желание, я век буду благодарить бога!

— О-о, великодушная джене,—пролепетала Эркеган,— я в большом долгу перед тобой и, наверное, никогда не рассчитаюсь.

Батийна погладила ее пять косичек и поцеловала в открытый лоб.

— Ничего ты мне не должна. Я делала все по долгу твоей джене. О боже, будь на то моя власть, я сама объездила бы все горы и нашла бы тебе достойного жениха. Но обычай предков не допускает этого. Наши девушки все равно что овечки. Куда поведут, туда мы — хочешь не хочешь — повинны следовать. Недаром говорится, что бог посылает свата, а отец находит жениха. Что поделаешь? Придется согласиться. Свёкор твой, видать, умный человек. Степенный. Свекровь не знаю. Твой святой долг, бийкеч, милая, добрая, уважать их. Избави бог, если про тебя пойдет молва: «Ни обычаев не знает, ни делать ничего не умеет, грязнуля и неряха». Эти слова мне часто напоминала родная моя джене Сайра. Как-то она там поживает? Они с мужем, моим дядей, жили очень дружно, душа в душу.— Батийна задумчиво

посмотрела вдаль.— Муж у тебя молодой. Похоже, что хороший человек, если в отца. Правда, я пока не знаю его. Главное — уважал бы тебя и ценил по достоинству. Эркеган по-ребячьи повела плечиками:

— Пусть только попробует не ценить, я сразу уйду.

— Уйти, думаешь, легко будет? Эркеган с удивлением переспросила:

— Джене, почему ты повторяешь, что потом нелегко уйти? Разве ты не вольна бросить моего брата?

— Нет, светильник ты мой. Просто кое-что человеку не дано понять, пока сам не переживет. Как-то, слышала я, в год Зайца¹ на скот пришел джут².

Беднякам пришлось очень туго. Одна байская сноха якобы сказала: «Ишь ты, жалуются — мяса нет! А масло? Чем голодать, лучше б масло ели».— Батийна усмехнулась.— Наивная сноха думала, что у бедняков масла хоть завались, как и у них. Да и откуда байской дочке знать, что у бедняков нет масла, коль она не водилась с ними? Но ты, мне думается, не будешь глупышкой вроде этой снохи.

Не прошло и месяца, как сваты приехали с женихом для жыгач-тушурду.

Кыдырбай принял сватов с особым гостеприимством и радушием.

Незадолго перед отъездом Эркеган несколько ночей провела то у близких родственников, то у братьев и сестер: получала последнее благословение.

Проводы невесты длились три дня и три ночи. Молоденькие девушки ожерельем опоясали юрту. Певцы, сказители, острословы-весельчаки изощрялись в мастерстве и красноречии.

Далеко в горы летела песня:

Ива плачет у воды,

Ты пасешь свои гурты.

Как их вырастет полсотни,

Пусть идут твои сваты.

Кто-то звонкой песней не успел проститься со своей милой, и тут же ее подхватил тот, кому начинать токмок салуу¹:

Зайца я в горах спугнул,

Только он улепетнул:

Видно, конь был слишком сытым —

Грунт лениво скреб копытом.

Не сбылась моя мечта.

Мне сказали: «Беднота!

За невесту нужен выкуп,

У тебя же нет скота!»

Девичьи игры Батийна провела по всем правилам. Джигит обычно берет в руки скрученный платок и поет, стоя лицом к лицу с избранной девушкой.

Батийна сделала по-другому. В юрте она прочертила чек!. Двух девушек поставила у чека, а двух парней отослала за юрту. Медленно переступая, они с песней входили в юрту, дойдя до черты, останавливались и, не прикасаясь к черте подолом или рукавом чапана, должны были поцеловать девушек. Кто

сбился в песне или коснулся одеждой черты, тот «горел»: обязан был сызнова петь.

Настал день проводов. На всеобщее обозрение вывесили чапаны и платья, дорогие шубы для сватов и свах, одеяла и ковры, кожаную сбрую и украшения. Все блестело, сверкало, было больно глазам от пестроты. Мать невесты, Турумтай, выигрышно разложила и развесила вещи. Любопытные, критически рассмотрев приданое, зашушукались.

— Молодец Кыдырбай! Ничего не пожалел для единственной дочери. Таким приданым останутся довольны все сваты. Пожелаем Эркеган счастья на новом месте!

— Пусть всевышний пошлет ей радость в детях и полную чашу достатка. Молодые и пожилые женщины, девушки и девочки слагали прощальные свадебные песни — кошоки, которые заставили прослезиться, вздохнуть многих участников проводов. Сколько же было сказано от сердца и ума идущих слов, сколько пропето печальных песен! Сколько этих кошоков из живой непрочитанной книги сохранилось в устах женщин аила!

Девонька,
Есть серебро?
В узелок свяжи добро.
Наше горе —
Не тужи,
А веревочкой свяжи.
Чем сидеть и убиваться,
Лучше с милым повстречаться.

Девонька,
Кольцо в горсти
Постарайся унести,
Вытряхни свои печали —
Лучше налегке в пути.

Девонька,
Не в деньгах прок!
Все должно прийти в свой срок.
И, хотя любимый беден,
Счастья в жизни дай вам бог!

Высокий звонкий, как колокольчик, голос Батийны разносился над аилом и, кажется, надолго повис в чистом, высокогорном воздухе.

При всем том, что Эркеган покидала родной очаг с большими почестями, на душе у нее была тревога: она выходит замуж за человека, которого почти не видела и не знала.

Еще долго у нее в ушах звучало напутствие любимой наставницы. И чем дальше удалялась от своего аила, тем сильнее западало в душу прощальное благословение Батийны:

Вытряхни свои печали — Лучше налегке в пути.

«Золотая джене,— думала она,— вот и с тобой я рассталась и уезжаю навсегда. А что я могла поделаться? Ты говорила: «Жизнь наша могла обернуться еще хуже, не правда ли?» Поневоле миришься. Не только человек,— скакун и то устает от бега. Но ему приходится терпеть. Потерплю и я».

ДЕСЯТЬ ПОВИННОСТЕЙ

После того как Батийна с большим старанием устроила проводы Эркеган, в аиле похвалили Батийну: «Были бы все такие молодайки, как невестка Кыдырбая: и кошки слагать мастерица, и словечко кстати скажет. Любое дело горит у нее в руках. Жаль, правда, что такая хорошая жена досталась увальню Алымбаю. Видать, женская половина на этом свете обижена самим аллахом».

И молодые женщины, что пряли пряжу, доили овец, вышивали ковры, день-деньской пропадали около казанов, оценивали Батийну по достоинству, в особенности ее талант слагать прощальные песни.

Джигиты, что любят покрасоваться своей бравой осанкой в седле, небрежным взмахом плетки и ухарски сдвинутым на затылок тебетеем из курчавой мерлушки, те, что при виде молодой женщины норовят поддеть ее колючим словом, а то и стегнуть плеткой, с Батийной не смели так обходиться. Увидев ее, лихие всадники напускали на себя степенность, старались и так и этак привлечь ее внимание, покрасивее усаживались в седле, поправляли тебетей, одергивали задравшиеся полы чепкена, взбадривали коня, чтобы шел с приподнятой головой. И, лишь далеко миновав Батийну, развязывали языки: — Э-э, дьявол, так и подмывало ее кольнуть. А страшно, больно у нее язычок остер, не посмотрит, что при народе,— обрежет.

— Да, с такой опасно заигрывать. Скажет, как отрежет.

— Не гневи бога, аке. Какая бы она золотая ни была, все равно ей не подняться выше даже самого захудалого мужчины.

— Э-э, батыр, что там толковать? Хороший человек и есть хороший. Батийну от настоящего мужчины отличает разве что белая косынка. Батийна на все горазда. Досталась бы мне такая умница, посадил бы я ее в седло своего серого иноходца, нарядил бы во все лучшее да повез показывать отцу-матери. Через все аилы и кишлаки... И кто бы встретился по пути, непременно пялил бы на нас глаза: «Смотри, с какой красавицей он едет!.. Где это он отхватил прелестную фею?» Я попросил бы ее спеть своим залиvistым голосом. И ехал бы я, ехал с ней хоть на край света!

Кыдырбай по-хорошему оценил добро, сделанное Батийной для его дочери Эркеган. Да и Турумтай с той поры перестала дуться и морщить лоб: чересчур, дескать, бойкая и строптивая невестка.

Батийна, как полновластная хозяйка, по своему усмотрению могла привечать званых и незваных гостей, могла распоряжаться, кому резать ягненка, а кому — барана, какие дать подарки, а кого наградить конями.

Величаво восседая за дастарханом, Кыдырбай бахвалился перед своей Турумтай: «Видишь, жаркын (в прекраснoдушном настроении он всегда называл жену ласковым словом «жаркын»—милая), все-таки я не напрасно

отогнал Адыке сорок лучших коней из моих табунов. Не вслепую отдал ему это сокровище. Я вперед знал, что Батийна заслужит почет среди женщин нашего рода. За какую-нибудь плюгавую неряху Кыдырбай не отдал бы и самой шелудивой лошаденки...»

Раскрасневшись от выпитого кумыса, довольный благами жизни и процветанием семьи, Кыдырбай, позвал к себе Батийну.

Она вошла с низким поклоном.

— Садись, милая таэже. Ты, наверное, догадываешься, зачем я тебя позвал. Дело важное для меня...— сказал он, сверкая еще очень живыми глазками.— Ты хорошо знаешь Эсена-мирзу. Он мой лучший друг. Не раз он бывал нашим гостем, покрывали мы его плечи меховыми шубами, седлали ему отменных коней. В последний приезд он сказал: «Друг, пришли мне своего человека. Я для тебя вырастил несравненного коня, второго по всей округе не сыщешь. Но имени Тигренок. Мой тебе подарок». Алымбай, чтоб его бог покарал, не справится с делом, как того требует обычай. Поэтому поезжай-ка за Тигренком ты. Немедля отловите в табуне — хочешь скакуна, хочешь кобылу. Оденешься получше и передай другу Эсену большой салам. Скажи, мол, так и так. Я прискакала за обещанным Тигренком.

Батийне, которая по своей воле раньше не могла отлучаться из аила, пришлось по душе это предложение. Она проворно собралась: надела расшитый орнаментом белдемчи¹, голову украсила белым высоким тюрбаном и с видом бывалого всадника, прошедшего жизнь в седле, покинула аил. Те, что провожали ее из аила, что встречались в пути, все невольно отмечали, как свободно держится в седле и уверенно управляет конем Батийна.

— Вот келин — загляденье! Интересно, кается ли тот, чья она жена, о создатель!

Встречные верховые то и дело оглядывались, вот-вот, казалось, свалятся наземь. Долгим пристальным взглядом провожали одинокую всадницу.

— Крепкая у нее, видать, кость. Под стать любому батыру. Эсен издали узнал Батийну. Он приветливо улыбнулся ей, когда она подала ему повод от коня, и сказал:

— О-о, я-то подумал, что за красавица пожаловала к нам?.. Оказывается, наша любимая невестка. Да, где нашим молодайкам тягаться с тобой! Иная сядет в седло, так у нее и подолом и рукавами ветер вволю играет... Спасибо, что приехала.

Покачиваясь на коротких ножках своим грузным телом, Эсен принял у Батийны коня и крикнул в сторону юрты:

— Эй, байбиче, постели-ка нам на почетном месте лучший кёлдёлён².

Видишь, кто к нам приехал? Твоя любимая Батийна, которую ты частенько поминаешь добрым словом.

Эсен не был ни баем, ни бедняком, но жил безбедно. Весельчак и советчик, он был уважаемый человек в своем аиле. Щедрый и добродушный, он умел брать, умел и отдавать. Любил слушать песни, любил и сам играть на комузе. Краснолицый, с коротенькой козлиной бородкой, он бывал особенно потешен,

когда брался за инструмент. Озорно поглядывал на своих слушателей, раскачиваясь из стороны в сторону в такт мелодии, он играл древние, идущие из поколения в поколение песни. Эсен не сочинял свои, зато быстро схватывал их у других. Понравится ему какой напев, он, проиграв, говорил: «Это я подслушал у одного комузиста». И мелодия в его исполнении звучала не менее совершенно, чем у того, у кого Эсен ее позаимствовал.

Эсен всегда радовался гостям и щедропривечал: мог и коня прирезать, мог и подарить скакуна. Иные любители вкусно поесть, порой даже именитые баи, аильная знать, волостные, нет-нет да заглядывали в гостеприимную юрту Эсена. Угощаясь, распивая кумыс, откинувшись на подушки, самодовольно побряхтывая, торопили хозяина сыграть на комузе, повеселить их души. Жена Эсена, Джийде, под пару ему. Кто бы ни приехал, она готова выложить все на дастархан. Не в пример склонным к полноте женщинам, Джийде сноровиста в ходьбе, в движениях, в работе. Миловидно-округлое лицо ее с маленьким, как пуговка, носиком сияло.

Изредка смахивая мелкие капельки пота кончиками цветастой косынки, Джийде радушно прислуживала гостям: то и дело подсыпала на дастархан кусочки дробленого сахара, боорсоки, ставила поближе курт³, придвигала свежее, желтое, как цветы лютика, масло.

Была у Джийде привычка — все мешать с боорсоками и подавать полусладким. Сушеный же сыр — курт — она подавала в раскрашенной чашечке. Эсен, привыкший к такому порядку, не обращал на это внимания. И лишь жены близких родственников, бывало, в шутку скажут:

— Э, Джийде, что ты наделала? И почему курт у тебя всегда в расписной чашке? Отчего ему такой почет?

— Так уж привыкла, — добродушно улыбается Джийде. Эсен пояснял гостям:

— Моя байбиче выше всех кушаний и яств почему-то считает курт. Это блюдо, говорит, пришло к нам от далеких предков. Ягоды растут на кустах у сартов, не в обиду будь сказано. А вот курт сварен из овечьего молока Чолпона-аты¹. Почетно ему лежать в расписной чашечке.

Смахивая мелкие капельки пота с лица, Джийде спокойно добавляла:

— Верно говорит муж. Если ягода и изюм обидятся на меня, что я их смешала с другими кушаньями, так пусть убираются к себе, откуда их привезли торговцы. А я по-прежнему не изменю курту моих предков... Да вы, гости наши, ешьте то, что бог послал.

Батийне было и смешно и приятно слышать рассуждения душевной и простой хозяйки. Она с удовольствием ела и изюм, и курт, и джийду, улыбалась и хотела что-то сказать, — но в это время с улицы послышался шумный лошадиный топот, перезвон уздечек и удил.

— Эй, в юрте есть кто? — окликнул зычный голос. Все разом притихли.

Худенькая, с острыми плечиками и впалой грудью женщина, что сидела ближе к выходу и наливала душистый чай в расписные пиалки, поспешно встала, выглянула в щелочку туурдука и тут же, отступив назад, сказала:

— Какие-то незнакомые, чужие люди... Нетерпеливый голос повторно донесся:

— Эй, есть ли в этом доме хозяин? Или здесь не принимают коней у приезжих гостей?

Эсен Только что положил в рот Пышный боорсок и, не прожевав его, заторопился:

— Кажется, голос Джарбана.

— А кто такой Джарбан? — спросила Джийде.

— Правая рука болуша. Шире расстилай дастархан, байбиче, болуш приехал! Действительно, пожаловал болуш Маралбай, прозванный белолобым за открытый блестящий лоб. С ним — пять верноподданных джигитов. Компания, похоже, завернула сюда по пути из верхнего аила — лишний раз убедиться в гостеприимстве Эсена.

Полог откинулся, и в юрту ввалился высокий, костлявый Маралбай. Все поднялись: пришел гость — уступи ему удобное место.

Новые гости расселись, и воцарилась тишина.

— Путь добрый, болуш-аке,— обратился Эсен к вновь прибывшим.— С чем пожаловали? То ли с делом, то ли так, по пути?

Болуш, откидываясь, прокряхтел что-то невнятное. Узколиций, острый на язык Джарбан тут же вырубил своего хозяина:

— Э-э, Эсен, зачем ты допрашиваешь? Или тебе хочется, чтобы прославленный, почтенный болуш еще у нас спрашивал, куда и зачем ему ехать? Просто скажем и видим: стоит большая юрта, в ней курится дымок, мы и завернули.

«А-а, тебя потянуло на свежее жирное мясо»,— подумал про себя Эсен и с лукавой улыбкой произнес:

— Все понял. Вы запросто отправились по гостям. Стало быть, смерть пришла к одному из валухов с курдюком в казан величиной. Если, Джарбан, ты считаешь, что валух стар, то у Эсена найдется и ягненок со сладким, нежным мясом. Кстати, у меня уже вон сидит одна уважаемая гостья. Это Батийна. Смогу вас позабавить своей трехструнной, не прочь послушать и ваши шутки-прибаутки.

Маралбай Белый Лоб,— было ему уже под сорок,— словно строптивый конь, выпятил широкую, костлявую грудь, погладил реденькие усики и стрельнул в сторону Батийны узкими, будто бритвой прорезанными, глазками. Пунцовые щеки его жирно лоснились. Он всегда по горло был сыт мясом, а в голове у него не переставал бурлить кумыс. И где бы он ни появлялся, своим видом он показывал, что перед ним, полновластным правителем, все должны трепетать. Джарбан, правая рука болуша, давно и тонко изучил все прихоти и повадки своего господина.

Встретив Батийну в юрте Эсена, Маралбай и Джарбан обрадовались: тут, мол, есть чем позабавиться. Джарбан бросил на начальника взгляд, который недвусмысленно намекал: «А что, болуш, ты, верно, сегодня встал с правой ноги?!»

Ну и везет же тебе! Смотри, на какую фею мы неожиданно наскочили! Ликуй!»

Болуш глазками-прорезями дал знать: «Э-э, мой Джарбан. Разве мне, Маралбаю, когда-нибудь не везло в этих делах? Займись своим делом, а я свое справлю».

Неуклюжей посадкой головы, узкими глазками-щелочками Маралбай с первых же минут заставил Батийну давиться смехом. Представься удобный случай, она готова была спросить: «О боже, и как только этими глазами человек отличает белое от черного?» Но, отдавая себе отчет, что эти глаза-щелочки принадлежат не кому-нибудь, а самому волостному, молодая женщина, как ни трудно было, сдержала порыв смеха.

Джарбан кулаком ткнул в ляжку старшину, сидевшего рядом, и прошептал: — Знаешь, кто она? Невестка Кыдырбая. Ну и язычок у нее. Ты только послушай...

Эсен догадался, о чем Джарбан шептался, и решил их отвлечь расспросами: кто, да где, да как живет и есть ли свежие новости в аиле...

Тут полог открылся, и кто-то попросил у сидящих благословения на убой предназначенных почетным гостям животных.

Эсен взял комуз, стал наигрывать мелодии.

Болуш Маралбай, сладко щуря глазки и самодовольно побряхтывая, понемногу клонился на бок.

Джарбан, как на пожаре, вскочил, словно его жгло пламенем:

— Аяш¹, скорей подайте подушку под изголовье болуша. Только ту, что побольше да помягче!

Он обратился к Батийне, ожидая, что и она со всех ног бросится угождать болушу. Батийна и ухом не повела. Джарбану пришлось самому потянуться за подушкой и снять с головы начальства тебетей из куньего меха с красным бархатным верхом и положить его на джук. У Маралбая была странная, похожая на кубышку, голова. К тому же в свои сорок без малого лет он здорово облысел и со лба и с темени.

Батийна, глуша смех в себе, подумала: «Лысый, а корчит из себя бога. У него и головы-то настоящей нет, где ему властвовать над народом! Место ему в пастухах, а он, видите ли, ходит в болушах».

Эсен показал свое гостеприимство полной мерой, на славу угостил болуша с его свитой, повеселил их, как мог, и, так как было уже далеко за полночь, упросил остаться ночевать.

Маралбай и сам не собирался покидать юрту, где оставалась на ночлег столь очаровательная молодая женщина. Да и не только болуш, вся его свита везде и всюду располагалась, как дома. Чванливым молодцам мерещилось, что весь белый свет обязан их существованию. Каждый держался так, будто на их крик «По-по» слетятся отовсюду дрессированные соколы, а на вызов «О-ой» сбегутся красивейшие девушки и окажутся у них объятиях.

Весь вечер болуш вился вьюном около Батийны, пробовал с ней заигрывать и Джарбан, подшучивали и остальные дружки. Однако ни Батийна, ни хозяйка юрты Джийде не обижались: им это было в привычку.

...Давно погас очаг, плотно задернут тюндюк, юрта погрузилась в кромешный мрак.

Батийна, вдвойне устав от езды и долгого сидения у очага, сладостно подремывала, как вдруг почувствовала: кто-то осторожно откидывает ее одеяло. Чья-то холодная рука коснулась ее груди. Сон мгновенно слетел. Она ударила по растопыренным пальцам и до подбородка натянула одеяло.

— Как только не стыдно лазить в чужие постели,— прошептала тихо Батийна.

— Это я, аяш. Болуш. Пусти меня...— сказал он бесстыжим голосом.

— Вас называют болушем, а вы — просто наглый...

— Не говори таких слов. Я хочу с тобой спать.

— И вам не стыдно?

Болуш жарко дыхнул ей в лицо. Батийна съежилась и внятно сказала:

— Убирайтесь отсюда! Здесь нет для вас шлюхи!..

Она со всей силой тряхнула рукой. Послышался шлепок по мягкому телу, и Маралбай с шумом перевернулся с бока на спину, что-то прошипел и умолк. Успокоившись, Батийна погрузилась в сон.

Болуш, получив решительный отпор, не посмел утром присесть рядом с Батийной за дастарханом и, сославшись на разные причины, поспешно покинул юрту Эсена.

Солнце озарило верхушки гор пылающим румянцем, когда, держа за поводок Тигренка, Батийна пустилась в обратный путь. Она ехала спокойной иноходью, прислушиваясь к цокоту четырех пар копыт: двух пар уже изрядно побегавших по горным тропкам и двух еще совсем неокрепших пар. Среди безмолвной тишины даже этот звук отвлекал ее мысли.

Батийна ехала и вспоминала ночное происшествие. Ей было и смешно и обидно. «Хотел ни за что ни про что оскорбить, поганый человек. Так бы уж я ему и поддалась. Еще слабо его двинула. Голова — плоская кубышка, а туда же... Недаром говорится, пусть у женщины даже золотая голова, а мужчина и с лягушечьей все равно стоит выше».

Словно ветер, принесший дурные запахи, о Батийне со временем поползли слухи. Свое начало они брали с памятной ночи, которую Батийна провела в юрте Эсена.

Маралбай, проученный тогда как следует, не мог женщине простить этого и приказал Джарбану и всей свите во что бы то ни стало опозорить Батийну. С этого дня, у кого бы он ни находился, кстати или некстати Джарбан занудливо повторял:

— Э-э, люди, даже женщина-тигрица, оказывается, не что иное, как забава для любого мужчины. Ну хоть невестка Кыдырбая. Языкастая и зубастая... Так вот мы однажды ночью впятером ею забавлялись... Правда, сначала побаловаться пустили болуша, как ни говорите, наш хозяин. Потом уж пошли мы.

Из брошенной искры мало-помалу поползло, разрастаясь, грозное пламя. Молва донесла сплетни до Кыдырбая, до его жены Турумтай, даже до преклонного старца Атантая, который, считай, одной ногой уже стоял в могиле.

Похабный слух резанул сердце Кыдырбая, и он, стиснув зубы, сказал: «Ох, мне этот болуш. Швырнул он в мое лицо куском грязи. Неужели невестка тут оплошала? Не верю... Все это сущая сплетня!»

Она касалась не только имени опозоренной женщины. Сплетня затрагивала честь, достоинство и славу всего рода. Избавиться от позора — один путь: доказать невинность невестки и наказать брехливых джигитов болуша. Однажды Джарбан хвастал легкой победой над Батийной в кругу людей, где оказался Джакып, готовый в огонь и в воду за честь своего рода.

— Врешь ты, Джарбан,— решительно наступал Джакып,— Батийна не слабосильная женщина, которой не дано защищать свою честь. Все мы ей верим. Если это не брехня, попробуй-ка взять в зубы пулю и прикусить ее... — Ой,—подскочил Джарбан.—Ваша сноха замарала свой подол, а я должен за нее грех принимать?! Нет уж, если чиста, пусть сама пулю берет в зубы. Тогда посмотрим... Иначе...

Джакып стоял на своем.

— Хорошо. Я буду защищать честь своей джене. Если она окажется виновата, я каждому из вас пятерых дам по лошади. А ее, как потерявшую честь, мы просто прирежем... Если она окажется чистой, то свою вину вы определяйте сами.

Джарбан и его приспешники пустились наперебой застрашивать Джакыпа:

— Парень, ты очень рискуешь — еще опозоришься. Никогда не верь свободному от пут жеребцу и пришедшей в охоту кобыде. Конечно, я не боюсь с тобой спорить, но пожалей своих коней. Советуем подумать и о своей чести. О тебе пойдет дурной слух: «Это, мол, тот самый Джакып, который собирался вытереть замаранный подол своей распутной джене!» Потеха — и только. Сам понимаешь. Пока не поздно, брось пререкаться.

Эта перепалка с джигитами дошла и до старшего брата Кадыра, который много лет заменял отца Джакыпу. Он вызвал к себе Джакыпа.

— Я слышал, ты вступил в спор с джигитами болуша. Правда это брат? Веришь ли ты до конца в невинность Батийны? Допустим, она неповинна. А если эти хвастуны договорятся между собой и подтвердят ее вину. Что тогда? Брось, дорогой, дело скандальное. Лучше подумай о хлебе насущном. Пошел бы траву покосить. Бедному человеку это куда полезней, чем ввязываться в клятвенные перепалки.

Джакып смалодушничал и решил отступить.

Сплетня все распространялась и достигла самой Батийны. Кипя от гнева, она явилась к Кыдырбаю. Деверь холодно принял беспутную невестку, которую недавно еще уважал и расхваливал.

— Деверь, выслушайте меня,—не опуская головы, твердо сказала Батийна.— Вас уважают и ценят, с вами считаются. Ваша честь не будет запятнана. Вы открыто можете смотреть людям в глаза. Для этого мне необходимо встретиться с болушем. Перед всем народом я докажу свою невиновность, свою чистоту. И я докажу, что он, болуш, гаже любой сплетницы. Я докажу, что он мразь и тварь, и всенародно плюю ему в лицо. Только я смогу смыть позор, который пал на наш аил из-за грязной сплетни волостного. Я уверена в себе, можете позвать сюда болуша, пусть подтвердит с глазу на глаз со мной свою сплетню.

Кыдырбай крикнул и, не сказав, согласен ли он позвать Маралбая сюда или отказывается это сделать, низко опустил голову. А про себя ответил Батийне: «Как бы я, приняв на веру слова женщины короткого ума, не попал в немилость болушу. Не угодить бы в невылазные сети. Не хочу впутываться в эту темную историю».

Батийна пала духом —что же предпринять, как смыть позор гнусной сплетни? Как раз в это время сам бог прислал в аил Кыдырбая волостного, с которым она добивалась встречи.

Батийна стегала новое одеяло в своей юрте. Вдруг забрежали сторожевые псы, послышался звонкий цокот множества конских копыт, и группа всадников спешила вблизи белой юрты Кыдырбая.

Полог юрты Батийны приоткрылся, и, улыбаясь всеми веснушками, бесшумно впорхнула маленькая свекровь Гульсун. Глаза ее светились оживлением.

— Дитя мое, в юрту моего старшего сына прибыл волостной. Видела? — спросила она с порога.

Кровь отлила от лица Батийны.

— Волостной, говорите, приехал?

— Да, волостной. С ним и старшина и судьи. Много людей. Сын мой Кыдырбай чуть не разрывается от угождения. Сам принял коней. Готовится резать годовалую лошадь, отметить встречу дорогих гостей.

— А зачем он так старается? Разве мы в чем виноваты перед болушем? Жестом, какой делают только глубокие старухи, Гульсун ткнула Батийну в плечо:

— О боже! Да кто же в это время не прислуживает волостным? Все прислуживают. Смотри не прозевай, что ты хотела сделать. Все-таки будь осторожна,—не пришлось бы тебе же отвечать, дитя мое.

Батийна не стала даже отряхивать подол от прилипших обрывков ниток, лоскутков, шерсти. Даже сбившийся платок на голова не цоправила. В чем была, так и кинулась в юрту, где расположился волостной. На такое не решилась бы, пожалуй, ни одна женщина. Кто смел без вызова войти туда, где находятся именитые, знатные люди?

Батийна с ходу бросила бесстрашный взгляд в почетную сторону юрты.

Именно там должен был сидеть болуш. Да, он был на своем месте. Будто тяжелобольной, Маралбай Белый Лоб растянулся на шелковых одеялах, под левым локтем у него подложены две пушистые подушки. Стрельнув в сторону

Батийны прорезями глаз, волостной часто заморгал и притворился спящим,— ни дать ни взять вороватая кошка.

— Эй, болуш, а ну-ка выше голову! Думаю, приехал ты сюда не болеть и валяться в постели?! — гневно вырвалось у женщины.

В юрте наступила тишина. Маралбай Белый Лоб даже не шевельнулся — продолжал лежать неподвижным поленом. Впритык к нему справа растянулся, опершись рукой о щеку, молодой человек с коротко остриженной бородкой и торчащими усиками на багрово-красном лице.

На грозный окрик Батийны он чуть приподнялся и, насупив брови, улыбаясь в усы, спросил:

— Э, молодайка, что у вас к болушу?

Батийна не удостоила его вниманием — вроде это не человек, а его тень.

Махнув рукой в сторону болуша, она сказала:

— Не ваше дело. Я должна объясниться с волостным. Люди, сидевшие полукругом от почетного места до выхода, затаив дыхание, вскинули глаза на Батийну. Они как бы говорили: «О провидение, кто это? Не красноречивая ли невестка Кыдырбая? Как бы она не присолила болуша на месте».

Приспешники болуша задвигались, послышался сдавленный, недовольный шепот:

— Что ей надо?

— Зачем ей волостной?

И снова крутой голос Батийны прорезал стоявшую в юрте тишину!

— Болуш, подними голову, это я пришла, не прячь свое бесстыжее лицо в подушку. Если ты честен, погляди людям прямо в глаза.

Будто опомнившись, вскочил Джарбан.

— Эй, что тебе? Кто звал тебя сюда? Батийна со злостью бросила:

— Не приставай, блюдолиз несчастный, точно клещ к собачьему хвосту...

Джарбан то бледнел, то краснел, ноздри у него гневно раздувались.

— Ах ты жалкая погавка! — заикаясь, кричал он.—Знаешь ли ты, кто эти достопочтенные люди? Здесь — болуш, судья, старшина и вся именитая знать Карасаза.

Батийна неожиданно обрадовалась, как может обрадоваться человек находке, что давно искал:

— Я была бы довольна, если б здесь собрался весь народ, что живет вокруг озера.

В юрту прошмыгнул народной брат Кыдырбая— Те л тай.

— Идем, джене, тебя зовут,—и он потянул Батийну за руку.

— погоди, свояк. Скажи, что скоро приду.—И она с неутихающим пылом снова обрулилась на болуша:—Давно я ждала встречи с волостным, который, как скверная баба, разносит сплетни и всюду хвастается своими ложными победами над женщинами. Хорошо, что ты встретился мне вместе со своими джигитами. Сам бог посла! их сюда моими свидетелями. Чего развалился, как

трухлявое дерево? Изволь сказать мне в лицо все, что болтаешь за моей спиной!

Телтай вторично появился в юрте:

— Идемте, джене, вас там зовут... Батийна отмахнулась:

— Не мешай мне высказаться. Скажи своему брату, чтоб оставил меня в покое. Я зову всех сюда, пусть придут и сами убедятся: я не задумаюсь при людях плюнуть прямо в лицо волостному, который разводит сплетни, чернит мою честь. Пусть попробует доказать мою вину, и я понесу любое наказание. Ступай зови брата!

Полог вновь открылся, кто-то, склонившись, нырнул в юрту, звякнули украшения кос. Турумтай осторожно положила руку Батийне на плечо, не громко, но властно произнесла:

— Идем, Батийна. Что ты здесь забыла? Деверь тебя зовет.

Эти слова старшей невестки для Батийны означали: «Почему ты не считаешься со старшими? Худо тебе будет, если сейчас же не покинешь юрту!»

Приход надменной Турумтай подсек волю Батийны. Нет ни одного человека, который вступился бы за нее.

Батийна пошла вслед за Турумтай.

Кыдырбай, в обуявшем его страхе, не только не обрадовался тому, что его невестка чиста, как слеза, а, напротив, разозлился на нее: чересчур, мол, вольно схватилась с начальством и всенародно оскорбила самого болуша. Он насупился, расхаживая около юрты с испуганным лицом и затравленными глазами. Во дворе было полно народу — и дети, и взрослые. Когда Батийна подошла ближе, раздались упреки:

— Батийна, ты что наделала? А вдруг волостной разгневается на всех нас? Беды не оберешься...

— И как тебе не стыдно заходить в юрту, где сидят знатные гости? Хоть бы чуточку постеснялась...

Батийна сразу же догадалась, зачем ее вызвали. Окинув собравшихся отрешенным взглядом, она безмолвно прошла в свою юрту.

Появление Батийны для болуша было так же неожиданно, как дождь в ясный день. У Маралбая, который стремился проучить как следует «языкастую молодку», дольше не хватило бы духу смотреть ей в глаза. Правда, Батийне не удалось всенародно доказать свою невиновность, но многие раскусили сплетни болуша и желание его напрасно опозорить женщину.

Сразу же, как Батийна вышла, Маралбай вскочил и властно приказал:

— Давайте сюда коней! Нечего нам здесь делать! Что задумал Кыдырбай? Почему позволил кусать нас какой-то своей шлюхе?

Вслед за болушем повскакали с мест и остальные. Подобострастно заглядывая в глаза волостному, старательно стряхивая невидимые соринки на дорогах халатах, поддакивали наперебой:

— Болуш-аке, правильно вы поступили, что не обратили внимания на эту блудливую сучку.

— Конечно, когда собака лает, с ней лучше не связывайся. Поехали. Именитые гости друг за дружкой высыпали на улицу, у всех были обиженно-сердитые лица.

Кыдырбай совершенно растерялся. Дрожь била его по всему телу, мелко тряслась и борода. Повесив себе на шею камчу в знак признания своей оплошности и вины, он потянулся за поводом коня волостного, склонил голову на колено, умоляя не уезжать, побыть гостем.

Если мы чем-то нежданно-негаданно провинились перед вами, то простите нас, болуш-аке. Вздорная женщина могла наговорить все, что ей взбрело в голову. Не обижайтесь, примите в знак извинения лучшего скакуна. Я готов нести за этот случай сразу девять повинностей. Если надо, убейте меня. Но побудьте гостем, дайте мне повод вашего коня,— с жаром увещевал Кыдырбай разобиженного болуша.

Неразлучные спутники Маралбая, всегда искавшие случая поживиться на чужой счет, зашумели:

— Раз уж сам Кыдырбай-аке просит, что ж, надо сойти с коней, болуш.

Кыдырбай приказал в честь гостей забить трехлетнюю лошадь и сам, чтобы смягчить свою вину, прислуживал волостному. Обойдись все мирно, прислуживали бы младшие братья, а он сидел бы с гостями.

Когда болуш и его джигиты всласть насытились, Кыдырбай дополнительно признал девять повинностей, точнее, обязался отблагодарить волостного еще по девять голов овец и коней.

Едва Маралбай Белый Лоб, окинув свиту самодовольным взглядом, тронул коня в обратный путь, из соседней юрты слышались хлесткие удары камчи и чей-то хрипловатый окрик:

— Ах ты потаскуха!.. Раздавался горький голос Батийны:

— За какую провинность ты бьешь меня, медведь?

А муж, накрутив на толстую руку косы жены, еще яростнее стегал: зып-зып! зыш-зып

ГНЕВ

Те, кто удивлялся решимости Батийны, смело и открыто выступившей против волостного, с затаенным сожалением толковали меж собой.

— Эх, встретить этой молодайке на ее жизненном пути подходящий человек, наверное, была бы она современной Каныкей!

Кое-кто порывался добавить:

— Жаль, что женщина, а могла бы вполне быть старейшиной нашего рода. Ну что хорошего делают такие, как белобородый Маралбай, хотя и считается мужчиной?

Никто, однако, не решался защитить ее честь в открытую.

Кыдырбай, испугавшись гнева волостного и в согласии с обычаями, принял на себя девять повинностей, но перестал уважать Батийну и называть ее таэже—сестрой рода. «Во всем виновата одна Батийна, из-за нее я понес большой урон. А кто ей позволил самовольничать? — тут же спрашивал он самого себя.—Он сам, Кыдырбай». И Кыдырбай, глядя правде в глаза, распекал себя на все корки:

«Ах, сумасшедшая моя голова! Как же я проглядел, что кобылице не быть царицей, а кто женщине волю дает, сам себя сечет... Я-то считал, умница-жена сделает человека моего Алымбая. Во всем предоставил ей свободу, а она вроде-взбесилась. Недаром говорится — худо тому мужу, у кого жена голова в дому. Ах, дурья моя башка... Как мог я забыть: чем плетка жгучей, тем жена кипучей. Что ни говори, она из родственной семьи. Верил, надеялся на лучшее. Сам заварил кашу, теперь расхлебывай, Кыдырбай!»

Вспомнив что-то важное, Кыдырбай позвал Турумтай.

— Эй, баба, куда ушел наш болван? Скажи ему, пусть не распускает жену, а почаще дерет с нее шкуру. Пусть помнит: муж — второй бог своей жены. Знаем, что он никудышный человек. Но сейчас вся его сила и слава в плетке. Внуши это своему дурню!

Гнев на Батийну, раз вырвавшись, не отпускал Кыдырбая.

— Сколько я сделал доброго... А она? Плюнула мне в душу, выказала свое женское скудоумие, сняла перед другим свой платок. Опозорила меня перед честными людьми. Растопила мою доброту... Нет, я укрошу раз и навсегда эту дерзкую бабу!

Кыдырбай ломал голову, какое же наказание будет самым тяжким для Батийны.

После наказания Серкебай разрешил Гульбюбю навестить родителей, но она не вернулась обратно к мужу. Ее поступок возмутил айльную знать. Мало того, что Гульбюбю была куплена Серкебаем за пятьсот валухов, мало того, что их соединили брачным союзом, сыграли большую свадьбу и он, Серкебай, носил ее на руках, как девушку, мало того, что в ее постели поймали голого любовника,— и в довершение всего Гульбюбю не вернулась от родителей? Величайшее кощунство не только по отношению к высокочтимому Серкебаю, но одновременно полное неуважение ко всему роду карасаз. Теперь побежит о них самая глумливая слава,

Не так давно на совместной с другими племенами сходке некий манап из рода каба неожиданно обрушился на одного из старейшин в роду карасаз, красноречивого остроумца Таза-бека:

— Тазабек, ты много говоришь о карасазцах. Напрасно расхвастался. Теперь киргизам хорошо известно, что происходит среди вас. Не только голопупые бедняки, даже важные баи уже далеко не властны над своими жонами. Сперва научитесь управлять своими благоверными, прежде чем вступать с нами в переговоры.

Высокомерный манап из рода каба разбередил не только Таза бека, Серкебая, Кыдырбая, затронута была и честь стариков вроде Анантая,— он сухой чуркой грелся у очага.

Аксакалы вскипели, забурили, как переигравшая буза.

— Мы тоже владеем своей землей! Если потребуется, и у пас найдутся красноречивые люди. Известное дело — прелесть красавицы в ее глазах, прелесть мудреца в его словах. Если угодно драться, то и у нас хватит

крепких всадников. Словами пли силой, но мы должны отнять у Темиркана Гульбюбю, ибо она вошла в нашу семью. Иначе мы покроем себя позором. Но сколько бы ни пенилась и бушевала горная река, ей не выйти из берегов. Как ни бунтовал горячий Тазабек, ему не удалось отрядить своих джигитов против далекого чоро и его правителя Темиркана. Находись этот большой род даже рядом, по соседству, все равно голыми руками его не возьмешь: люди там не из робкого, как говорится, десятка.

К тому же до Карасаза дошел слух, что Темиркан крайне разгневан, что его неповинную дочь раздели донага, немилосердно избили, исчернили лицо сажей да таскали на позор по аилам, посадив задом наперед на безгорбом верблюде.

С той поры Темиркан следил за каждым приезжим и, если кто, на свою беду, заворачивал в гости или по делам, он немедленно вызывал его и грозно предупреждал: «Эй, хвастливые карасазцы, что это вы расхрабрились, как стервятвдки? Вы чего хотите, негодяи? Зачем обесчестили мою любой чистую дочь? Ну. погодите же, бог милостив, зашлет он в мои края кого-нибудь из вашей знати. За все оскорбления моей безвинной звездочки я еще вымажу кое-кому сажей лицо напоказ людям».

Тазабек, услышав, что Темиркан разгневан и грозитя, сам пришел в ярость и, брызгая слюной, выпалил:

— Эй, где вы, мужчины наших аилов? Вымерли вы все, что ли? Говорят, Темиркан мечтает вас разбить. А когда черная ворона рвется в драку против орла, то орлу ничего не остается другого, как растерзать ее своими железными когтями.

Но бахвальству безрассудного Тазабека вскоре пришел конец.

Случилось, что отряд всадников, в том числе и Тазабек, угодил прямо в руки людей Темиркана.

— Вы поедете с нами в аил нашего старейшины Темиркана. Он вас хочет видеть,— спокойно сказали его посланцы.

Тазабек с первого же взгляда понял, что ему несдобровать. Тряхнув седеющей бородой, Темиркан приказал спешиться Тазабеку и его дружкам. В юрту к себе он их не впустил, а оставил без шапок, словно пленников, у скотного загона.

Он распорядился собрать сюда всех сородичей, от мала до велика, больных и здоровых, и при всем народе обратился к Тазабеку:

— Сват, хотя твое имя и Тазабек¹, но ты, оказывается, Арамбек¹. Твой бай—хвастун, ты, старейшина рода,— болтун. Я задумал было с вами породниться, сблизиться... а вы давай кусаться и рычать по-собачьи. А собаке на кой черт учтивость? Кто, кроме тебя, виноват в том, что белоснежное лицо моей дочери измазали сажей, напрасно опозорили, оскорбили? Дочь моя смоеет с себя этот позор! Ты его взвалишь себе на шею! Темиркан велел хорошенько зачернить лицо Тазабека, переседлать его коня лукой к хвосту и отправить назад.

— В таком виде проведите его по всем аилам чоро,— приказал он своим джигитам.— Все увидят лицо настоящего глупца. Все узнают, что мы отомщены за нашу дочь. Собаке никогда не разговаривать по-человечески. Но вы с ним не смейте сквернословить. И плетки не пускать в ход.

Поезжайте!

Тазабек, измазанный сажей, восседая на коне задом наперед, со слезами на глазах закричал:

— Эй, Темиркан, ты еще пожалеешь, что мужчину покрыл сажей позора!

Попомнишь у меня!

Темиркан, стоявший в небрежно накинутой на плечи шубе из волчьих шкур, важно погладив бороду, рассмеялся ему вослед:

— Не забуду, сват. Не забуду. Ты волен жаловаться сейчас хоть судье, хоть волостному. Все равно тебе не смыть сажу с лица. Ты тоже об этом не забывай!

Тазабек, который многословно распинаясь насчет мести Темиркану, вернулся домой с сажей на лице, словно бабат пойманная с любовником в постели мужа. Из аила в аил пополз слух: «За то, что опозорили невинную красавицу Темир-кана, Тазабек поплатился своей честью. Вот это месть!»

Тазабек отказался от мысли выступить против Темиркана. Он избегал даже показываться на люди. Словно отшибло память и у Серкебая: он уже не требовал, чтобы ему вернули пятьсот валухов, отогнанных в свое время за Гульбюю. Забыл он дорогу и в Андижан, по которой гонял раньше свои стада. Если и посылал туда очень редко овец, то лишь дальней дорогой, стараясь миновать аилы чоро.

Чем больше Кыдырбай размышлял о поступке Батийны, тем сильнее его томила злая тревога. Уже опозорены отважный Асантай и праведный Серкебай. Хвастун Тазабек попал в руки Темиркана, и его измазали сажей. Боже упаси, и ему бы не опозориться со своей невесткой. Нет! Надо, надо решительно действовать!

И он собрал своих аксакалов.

— В последнее время слишком много развелось непокорных, блудливых женщин,—сказал он.—То ли они сходят с ума, то ли их попутала нечистая сила... О аксакалы, надо должным образом наказать женщин, изменявших своим достопочтенным мужьям. Бесстыжих женщин остается лишь распять на четырех колах,— с древних времен кару эту применяли еще наши деды. Пора выбить все самовольство у этих потаскух!..

Тазабек совсем вытаращил свои навыворот глаза, рванулся вперед и почти прокричал:

— Вот сегодня я узнаю нашего Кыдырбая, давно не видел его таким! Я стал было сомневаться: а есть ли еще среди нас, сыновей четырех аилов, храбрецы, подобные мне, батыры? Оказывается, есть. Слава создателю! Правду сказать, я уже начинал подозревать, что Кыдырбай стал заядлым торгашом, собирателем шкур дохлых баранов, готовым и душу свою продать за деньги, но я рад, что ошибался. В нем, я сейчас вижу, сидит еще дух

наших предков! Вот кто не забыл их обычаи. Узнаю в нем себя. Молодец! Если недостойная баба изменяет порядочному мужу, на кого должна в таком случае обрушиться плетка? Конечно же на эту албарсты. У женщин испокон веку волос был длинный, а ум короткий... Всегда у них не хватало одного ребра. Чем ты больше ее балуешь, тем она больше бесится. Ты ее ласкаешь, она, ведьма, замышляет испохабить твою белоснежную постель, опозорить пред всем народом.

Те, кто сочувствовал Серкебаю, как покинутому мужу, были недовольны Тазабеком. «Зачем он при Серкебае говорит это? Мог бы промолчать».

Другие иначе думали: «Серкебай накликать позор на все племя, так ему и надо. Хоть бы он головой треснулся о землю!..»

Кто-то даже выпалил:

— Правду сказал Тазабек. Нежность сердца сбереги для ребенка. А муж, который балует свою жену, рано или поздно опростоволосится.

Кыдырбай вспомнил присловье:

Чтоб не жить во власти мрака, Не пугайся ничего: Буйствуй, жен держи под страхом — И добьешься своего.

— Если впредь не будем соблюдать жесткий порядок у себя в юрте, то, смотрите, женщины окончательно избалуются, — заключил он.

Тазабек еще раз поспешил встать на сторону Кыдырбая:

— Правду сказал ты, мирза. Гнев мужчины лишь на пользу женщине.

Кыдырбай в последнее время искал малейший повод, чтобы расправиться с Батийной. Она всем своим видом давала понять, что намерена освободиться от мужа.

— По уговору, — говорила Батийна близким женщинам, — если за три года мой муж не наберется ума, я могу считать себя свободной. Ну что ж... Он как был медведь, что дуги гнет, таким и остался. Словно серая куропатка в клетке, я бьюсь грудью, а уйти не могу. Этот медведь не дает мне свободно дышать. Хватит с меня. Уйду, уйду отсюда. Пусть мой деверь не встает поперек пути. Пойду на поиски своего счастья. И добьюсь свободы!

Встревожившись не на шутку, Кыдырбай сказал жене:

— Неужели эта взбесившаяся женщина бросит нашего братца, чтобы его бог взял! Тогда он пропал...

Но Турумтай, выслушав тревогу мужа, круче ополчилась на Батийну:

— О боже, что за жизнь пошла?! Женщина делает все, что ей взбредет в голову. В дни нашей молодости, бывало, муж глянет тебе в лицо, а ты уткнешься глазами в землю. Теперешние женщины не только мужа, — и белобородого деверя, боже мой, берут за бороду. Неужели так и будет: захочет уйти — уйдет, захочет удрать — убежит? Мы ее не неволим, в зиндан¹ никто ее не сажал. Живет в своей юрте. Скот ее пасется по склонам, муж спит рядом. Она даже кобыл одна не доит, а с мужем на пару. До сих пор не разродилась. Бездетная. Давно бы пора ей стать матерью. По-моему, ее демон попутал. Этот бес и балует ее. Если его сейчас же не изгнать из тела Батийны, непокорная и своевольная женщина может натворить много беды,

накликать гнев бога. У нас не зря говорят: «Воспитывай жену с первых дней, а ребенка — с рождения». Это ты ее, Кыдырбай, так изнежил. Называл ее не иначе, как таэже. Раз уж она такая распущенная, то за нее возьмусь я сама. — Что, пожалуй, ты правду говоришь, жена. — Он даже приосанился. — Что сомной? Да, я сам виноват в том, что больно много нянчился с ней... Думал, что она правильно поймет мое уважение. Знать бы мне, что она возгордится, я бы с другого конца начал свою сказку. Разве сорок лошадей не скот, разве это не богатство?

— Сейчас еще не поздно, хозяин юрты. Ничего преступного, если ты самовольную женщину наставишь на путь истины. — и Турумтай подобострастно заглянула в самые глаза мужа.

— Да, жена моя. Если Батийна уйдет, значит, уйдет не только от мужа. Своим уходом опозорит меня. Опозорит всех, кто носит имя Атантая. И падет на землю моя звезда, как она уже пала у Серкебая. Среди людей змеей поползет слух: «Э-э, это глупые сыны Атантая, от них даже жены уходят». Нет, такого допускать нельзя.

Гнев деверя Кыдырбая отозвался па Батийне. Теперь она не смела свободно, как раньше, входить в его юрту, не смела распоряжаться, как раньше. Даст нуждающейся соседке моток шерсти, шкуру, молока чашку или поделится простыми нитками, — Турумтай заметит и сразу бежит к брату мужа:

— Смотри, опять она направо и налево раздает наше добро. Пресеки!

И Алымбай бесшумно, по-медвежьи ступая, обрушивал толстую плетку на плечи Батийны. Раньше она боялась, дрожь была ее, теперь привыкла к ударам, не просила пощады и не падала мужу в ноги. Стало безразлично: пусть хоть зарежет ее... Никто не придет на помощь, никто не отнимет тугую камчу у Алымбая. Да она и не искала защиты, не хотела унижаться. «Все они бессердечные! — думала Батийна. — Никто не остановит этого безумца!»

ПОИСКИ СУДЬБЫ

Тилеп никак не мог примириться с тем, что его юная жена Канымбюбю зачастила к Батийне. Бедняжке хотелось набраться ума у старших. А Тилеп думал иначе: «Ах ты замухрышка. Будешь учиться у этой потаскухи, она до добра тебя не доведет...»

Однажды Тилеп побил, накричал на жену, а сам прискакал к Кыдырбаю.

— Эй, Кыдыке, выслушай жалобу моего сердца, — начал он, не слезая с лошади, побелев скуластым лицом. — Пора тебе прекратить баловство своей невестки-смутьянки! Моя благоверная и богом посланная жена будто рехнулась. Каждый день стала сюда бегать. Что-то неладно... Не иначе как твоя невестка плохому учит мою Канымбюбю. Если ты не прищикнешь на Батийну, то скоро женщины аила пойдут по неверному пути.

Не успел Тилеп отъехать на почтительное расстояние, как Алымбай принялся истязать Батийну. Тугая камча то хлобыстала о шесты юрты, то клещом впивалась в тело Батийны, но она крепилась.

— О, чтобы тебя сам бог покарал! Чтоб тебя прокляли духи предков!

Вопли Батийны прерывались частыми ударами, и каждый, кто это слышал за юртой, содрогался от боли. Слышали их и в юрте Кыдырбая, но оттуда никто

не выходил. «Пусть еще немного похлещет... Ничего, не сдохнет»,— думал злорадно Кыдырбай и спокойно попивал кумыс.

Но вот заговорили в юрте старого Атантая.

— О учтивый и достопочтенный отец своих детей,— взмолилась Гульсун,— вели своему младшему сыну оставить бедняжку в покое. Сколько можно бить женщину? Чем моя сношенька Батийна провинилась?

Атантай промямлил:

-- О, нечистая твоя сила! Замужней женщине искони положено быть битой.

Чем-то, значит, провинилась. Гульсун стояла на своем:

— Не говори таких слов, отец своих детей. Невестка моя ни в чем не виновата. Если отец не может одернуть своего сына, то не обижайся на меня — его остановит мать.

И, резко отбросив полог юрты, Гульсун покинула ее. Элечек сбился набок, но ей нипочем. Со старушечьей решительностью она сердито направилась к юрте Кыдырбая.

— Эй, Кыдырбай, где ты, мое дитя? — раздался звонкий голосок Гульсун.— Оглохли вы, что ли? Может, у вас сердца окаменели? И никто не слышит стога Батийны? Сию же минуту остановите руку разбойника! Кыдырбай, я, твоя мать, требую. Не послушаетесь меня, знайте же, я вам больше не мать. Кыдырбай в тебетее чуть высунулся из юрты.

— Что еще там? — небрежно спросил он.

Гульсун, дернув полой наброшенного на плечи халата, добавила:

— Ты еще спрашиваешь, что случилось? Тот дуралей намерен убить мою невестку. А вам тут уши заложило... Если считаете меня своей матерью, хоть и не сосали мои груди, чтоб никогда плетка не свистела над головой Батийны!

Кыдырбай, который с наслаждением прислушивался к свисту камчи и тугим ее ударам, нарочито громко крикнул:

— Неужели он, бог его возьми, бьет свою жену? Хватит! Прекрати, дуралей, говорю!.. Чтобы бог его взял, наверное, от кого-то наслушался, что мужья должны пороть своих жен...

Гульсун строго сказала:

— Сынок Кыдырбай, ты один из главных аксакалов рода. И не притворяйся, будто тебе неизвестно, что творится в твоём аиле. Ты прекрасно все знаешь и понимаешь. Так усьми же

своего скандального и самовольного братца, и чтоб впредь не обижал мою невестку. И внуши моему бессердечному сыну — нечего бахвалиться силой с помощью плетки. Не то я серьезно обижусь...

Какое-то время Алымбай пореже пускал в ход плетку. Но свободолюбивое сердце Батийны остыло, как камень в стужу, и ничто больше не могло его согреть. Раньше будто невидимая, но прочная шелковая нитка дальнего родства связывала ее с этими людьми. Теперь и нитка оборвалась и чувства притупились. Порой она казалась себе совершенно одинокой — вроде бусинки, затерявшейся ночью в густой высокой траве.

Все и вся кругом стало ненавистно: и тупо-жестокий муж Алымбай, и почтенный стареющий Кыдырбай с его жадной и хитрой Турумтай, и загоны скота, и дорогая посуда, и эта роскошная, сложенная тугими скатками постель. Чужое, холодное богатство.

Уйти, уйти куда глаза глядят, исчезнуть бесследно в горах, умереть. Но как тут вырваться из цепких уз брака и не обрушить кары на головы родителей, просватавших ее по сложившимся в незапамятные времена обычаям. А всякий, порвавший брачные узы, виновен перед самым богом, и даже босоногие сорванцы будут распевать:

Впервые разведенная — еще пока жена,
Вторично разведенная — джигиту не нужна,
А трижды разведенная —
Скажу наверняка —

Похуже изможденного худого ишака¹.

Батийна все чаще уединялась в укромных уголках. То заберется далеко на склоны за сухим кизяком или возьмет веревку и на целый день спустится в поле, нажмет серпом вязанку будильника и чия.

Наедине со своими мыслями, со своей печалью она была спокойна. Тут она вздыхала, разговаривала сама с собой, сколько хотела. Уйдя подальше от юрты, чтобы ее не слышали, укрывшись за безлюдным холмом или в густом кустарнике, женщина во весь голос пела, проливая горькие слезы:

Темнеет свет в моих глазах,
И привкус горя на губах.
Неужто так вся жизнь пройдет —
В стенаньях, муках и слезах?
Вяжу я узелками нить,
Чтобы печаль свою забыть.
О мудрецы, скажите мне,
Как путь к свободе проторить.
Нить в узелках не надо рвать,
Ведь я могу их развязать.
Хочу идти путем свободы
И счастье смолodu познать.
Бежит от горьких мыслей сон,
И день мой в траур погружен.
Меня смущает шариат —
Суров и беспощаден он.
У шариата сто путей,
Но женщина шагнуть не смей!
О мудрецы, скажите мне:
Чем хуже мы своих мужей?

Случалось, что к Кыдырбаю приходили с предостережением: твоя, мол, невестка завывает свои песни и поносит духов предков. Как бы это не кончилось плохо. Но Батийна не то чтобы поносила духов предков, она к ним

обращалась с мольбой: «О бог-создатель, когда ты наконец смилостивишься и вытащишь всех обездоленных, кану, из бездонной ямы — зиндана? Когда вызволишь из пут, что связали нас по рукам и ногам О боже, за что так унижают и оскорбляют меня? Что я сделала плохого? И почему ты не вразумишь этого свирепого медведя? Вразуми, как мне освободиться от него и получить свой талак кат²? Хотя бы твои наставники на земле вступились за меня, забытую сиротку...»

Однажды темной ночью, облачившись в старое отрепье, совершив ритуал омовения и повесив на шею обрывок кёгён¹, она пришла на кладбище. И, не сомкнув глаз, встретила рассвет в одной из провалившихся могил. Ночь напролет умоляла аллаха смилостивиться, открыть ей путь к свободе.

Назавтра Батийна запаслась большим мешком и ушла собирать кизяк. Но цель у Батийны была своя. Она решила пойти к мулле Тагаю, который жил отшельником неподалеку в ложбине. Мулла слыл добрым и простым наставником. Батийна слышала, что к нему за божьей помощью часто обращаются люди. Приглашали прочесть молитву за душу усопшего, советовались насчет божьих законов. Он мог прочитать молитву за упокой одноаильчанина, за отпущение грехов пожилому человеку.

Для знавших его людей Тагай был незаменимым муллой: Тагай-де наизусть знает весь Коран. Если позвать его к женщине, которая бьется в припадке, она сразу же придет в себя. В долине этой нет лучше муллы Тагая. Он читает религиозные книги «Чаар китеп», «Сополдияр», «Сорок ремесел» — заслушаешься. По биению пульса он предсказывает будущее человека.

Батийна давно мечтала встретиться с Тагаем — не укажет ли он ей спасительный путь к свободе?

Обрядившись в лохмотья, с перекинутым через плечо серым мешком, она подходила к скромной юрт Татая.

Пес с толстым обрубленным хвост бросился; было на нее с громким лаем, но тут же раздумал! «Похоже, ты бедняжка, как -и я. Не стоит кусать свояка» — и пронесся мимо; На почтительном расстоянии опустил на землю и завыл.

Д

Она оставила мешок около юрты и вошла. В белом войлочном тебетее, в белой рубашке и черном бешманте Тагай гадал на кумалаке². Губы его беззвучно шептали, а мыслями, он, кажется, витал где-то в неведомых краях: раскладывая свои камешки, Тагай не обращал внимания на оборванную женщину.

Батийна низким поклоном приветствовала старца. Женщина бесправна нарушать мысли старого человека.

— Да благословит тебя бог. Садись, дитя мое.

Батийна без единого звука опустилась на корточки у входа.

Мулла погладил короткую гладенькую бородку, точно благодаря бога за то, что тот ему поведал все, и не спеша собрал камешки. Потом с удивлением вопросительно посмотрел на Батийну.

— Кто ты такая, дитя мое?

Батийна назвала свое имя и, преодолевая смущение, сказала, что пришла познать у муллы-аке пути шариата.

— Вы, молоде, сами, наверное, слышали обо мне. Привезли меня, правда, в богатую, именитую юрту, но муж попался балбес среди двуногих. Я много лет терпела, надеялась, что он наберется ума и станет человеком... Меня напрасно позорили. Теперь, что ни день, я живу под побоями. Деверь, когда брал меня за своего младшего брата, обещал: поживешь три года, и если брат не станет человеком, ты будешь свободна. Но прошло уже два раза по три года, а свободы, и краешка не видать. Я пришла к вам за советом, как мне освободиться по шариату. Скажите мне правду, что сказано об этом в ваших книгах?

— А ты что, разве не уважаешь своего мужа? — спросил мулла не без интереса.

— Совсем не уважаю. А за что, молдоке? С первого взгляда я видела, что мне попался не человек, а зверь.

Тагай, будто испугавшись чего-то, в недобром предчувствии невнятно вполголоса забубнил молитву.

— Скажи скорее, дитя мое: лаи-алавна-иллала! Грешно человека сравнивать с животным. На том свете душа за это непременно попадет в ад.

— Простите меня, молдоке, но как его еще назвать по-другому? — Батийна все-таки решила говорить прямо.—Он настоящий медведь... Скажите мне, получают ли свободу безвинные женщины, мученицы, испепеленные побоями своих мужей? Я с открытой душой пришла к вам, молдоке. Помогите моему горю.

Тагай жестко бросил:

— Ты должна жить с мужем!

— Себе наперекор? Вы же нас соединяли в брачный союз. Тагай пропустил эти слова мимо ушей.

— А как твои родители? — спросил он, помолчав. — Да их вынудили меня отдать сюда.

Тагай, будто о чем-то вспоминая, снова умолк, уставившись в одну точку.

Потом потрогал кончик бороды, слегка подался вперед и сердито сказал:

— Когда я вас соединял, ты, дитя мое, говорила, что принимаешь мою молитву и согласна жить с этим человеком?

— Сама я не давала согласия.

— А свидетели говорили?

— Говорили... Я же промолчала, потому что была не согласна стать женой этого человека, молдоке. Это они сказали за меня: «Она согласна». Врали свидетели.

— Э, дитя мое, при совершении нике¹ есть три условия. Первое — любовь между будущими супругами. Второе — если женщина и не согласна выйти за этого человека, важно согласие родителей. Третье — это мнение свидетелей... Да, да! Я теперь вспомнил: тогда все свидетели закричали, что ты согласна вступить в брак. Так что брак твой с сыном Атантая Алымбаем

угоден самому аллаху. Ты нареченная жена сына Атантая, и до тех пор, пока Алымбай не даст своего согласия на развод, тебе нельзя от него освободиться. Таков истинный путь шариата, дитя мое.

Батийна разрыдалась:

— Молдоке, неужели из всех путей шариата для меня не найдется ни одного?

— Да, дитя мое. Ты у меня спрашивала о путях шариата. Я тебе все растолковал. Что еще?

Батийна с тяжелым чувством обиды пошла из юрты, куда повели ноги, и, заламывая пальцы, повторяла:

— Нет свободы и на путях шариата. Но я не устану ее искать, даже если придется сбрить косы и превратиться в отшельника и дервиша.

ПЕСНЯ АБЫЛА

Все складывалось одно к одному: в шариате Батийна не нашла поддержки, на которую все-таки понадеялась, и Кыдырбай оказался обманщиком, не сдержал слова.

Что делать? Она безысходно прикована к Алымбаю невидимыми скрепами постылого брака.

До родителей путь долог и труден. А бедным старикам не под силу часто навещать дочь. Одной же Батийне ехать никто не позволит.

На третьем году жизни с Алымбаем она провела у родителей около месяца.

Тогда ей бросилось в глаза, что мать с отцом сильно сдали. Казак, лишившись единственного коня, беркута и ружья — все пошло в покрытие иска Адыке,— долго не мог промышлять охотой.

Куда девались его широкие плечи, крепкие ноги и острый орлиный взгляд! Он неузнаваемо похудел, выпирали скулы, спина согнулась,— ну, совсем дряхлый старик. Не так давно он, как неутомимый джигит, подолгу бродил по горам, а теперь шел на охоту, словно на похороны, с низко опущенной головой, забросив костлявые руки за спину. Батийна даже прослезилась: — Бедный отец, бывало, как ветер носился по склонам и скалам... Чем только ему помочь...

Мать тоже не порадовала. В когда-то густых иссиня-черных косах Татыгуль все заметнее пробивалась седина. На румяное, тугое, обветренное лицо прежних лет легла печать страданий. У глаз, около ушей и даже на щеках время сплело паутину из мелких морщинок. Следы старости! Мать и садилась, и вставала со стоном кокуй² опираясь на руку. Другой все время держалась за ноющую поясницу.

Крепкие когда-то руки не знали устали: обрабатывали овчины, с треском и хрустом выворачивали корневища усохших кустарников, готовили домашнюю дерюгу, ткали и пряли шерсть, день-деньской проводили у порога бая, давая себе лишь короткий ночной отдых, а теперь отяжелели, дрожат и обидно бессильны.

Батийна вспомнила бабушку Данакан в дни далекого детства. Жесткие, огрубевшие пальцы, побитые до синевы ногти, потрескавшиеся, заскорузлые ладони пугали Батийну. А бабушка, бывало, разговорится: «Это они такие

потому, что я юность свою провела у порога юрты Арстаналы. Чего только не переделали эти руки! Только ты их не бойся, милая, это мои руки, не какой-нибудь бука». Голова у бабушки странно тряслась, глаза слезились.

Дребезжащим голосом она говорила: «Видела я настоящий ад на солнечной земле. Смилоствовался бы аллах да вас избавил, моих детей, от подобных мук. Хоть вы пожили бы по-человечески».

Батийна верила тогда: «Бог, конечно, послушает бабушку. И нам не придется страдать. Все муки достались бабушке, и она их с собой унесет».

Вспомнив про бабушку, Батийна невольно задумалась над своей женской долей. «О несчастная и глупая я! Бог не только не смилоствовался над нами, он самое трудное, горькое оставил на нашу долю. А какая мать у меня была красивая! И уже состарилась... Как быстро все проходит! Неужели жизнь наша скоротечна и темна, как ночь? Неужели человек вечно обречен мыкать горе? В чем же тогда смысл жизни? Ой, мама, мама... Лучше бы ты родила меня мужчиной. Я не дала бы тебя в обиду и кормила бы до старости. Из-за меня вам и досталось... О, когда сгинут бесправие и скудость на земле?»

Вот и погостила Батийна у близких родственников. Она вернулась к себе с щемящей болью в сердце. Неумолимо донимал ее вопрос: «Почему, создатель, одни рождаются имущими и задирают к небу нос, а тысячи других таких же людей рождаются бедняками, маются в неизбывной нищете и рабстве у богатых?»

И ответ на свой вопрос не находила.

Шли годы, Батийна больше не навещала родных. Не случайно хитроумный Кыдырбай ее не отпускал: «Если она уедет к своим старикам, то больше не вернется, скажет, нарушил-де слово». Весной он отговаривался тем, что подоспел сев; приходила осень — ссылался на то, что скоро выпадет снег, а когда ложилась зима, то убеждал Батийну, что путь далек и труден, что можно пропасть в дороге и не вернуться. Одним словом, Кыдырбай откладывал ее поездку к родителям с одного времени года на другое.

Батийна отдавала себе отчет, почему ее не отпускают. Она могла бы настоять на своем, если бы решительно сказала деверю: «Разве я здесь на положении проданной за выкуп рабыни? На скачках меня выиграли, что ли? Я равноправный член вашей семьи. Поэтому извольте дать мне лучшего скакуна, лучшую сбрую, достойную одежду, ценные подарки, спутников, и я отправлюсь к своим родителям».

Но Батийна не разжигала себя. Просить, требовать — значило унижаться. «Нет, пусть сами снаряжают меня в дорогу, как это полагается в лучших семьях. Раз они забыли про наши обычаи, придет время, и я кольну им в глаза. Буду терпеливо ждать. Мать с отцом переживут как-нибудь. Младшие братья и сестра, вероятно, помогают старикам. Ничего, будем живы — увидимся», — решила Батийна.

Дети в семье Казака давно подросли. Сарала, приезжавший прошлой осенью в аил Кыдырбая, рассказывал, как играли свадьбу младшей сестренки Акиймы, любимицы Батийны. «Правда, Акийма вышла не за сына бая, но

нельзя сказать, что она попала в бедняцкую юрту. Семья со средним достатком. Немного овечек, немного коз и кров над головой. И кони свои. Неожиданных гостей родители жениха приветят и угостят, не побегут у кого-то кланчить займы ягненка или козленка!.. Словом, Батийна дорогая, о младшей сестренке можешь не беспокоиться. В хорошую семью попала», — заключил Сарала.

Батийна ясно представила веселое личико Акиймы, всегдашнюю ее шаловливую улыбку, в которой обнажались два ряда белых точеных зубов. Вспомнила вдруг Канымбюю — Овчинку, которая из-за несчастной шкурки попала в лапы Тилепа. Дай бог счастья сестричке! Погоревала тут же о своей судьбе...

Батийна сравнивала себя то с топориком, затупившимся о твердый гранит скал; то со скакуном, павшим на все четыре ноги; то с соколом, растерявшим свои рулевые перья и камнем рухнувшим на землю; то с белой косточкой, заброшенной в густую, высокую траву, — и тут случилось самое неожиданное: она въяве увидела свою первую любовь и первую надежду — Абыла.

Не его мимолетный силуэт, что мелькал перед ее взором не однажды, — перед ней стоял ее Абыл, да, ее Абыл, тот же и вместе с тем совсем не прежний, веселый Абыл. Видимо, жизнь его не очень-то баловала. Он стал как-то пониже ростом, правда, в плечах раздался, возмужал. На лбу пролегли морщины. Когда-то белое лицо почернело. Может, подолгу работает в открытом поле или в горах? Может, это разлука так скрутила его? На щеках нездоровый налет, будто Абыл и не был румянощеким джигитом. Нос расплылся, а щетинистые усы вздыбились торчком, словно от холода, и местами в них проглядывали серые волосинки... Лишь печальные глаза напоминали прежнего Абыла. Притушенный взор его как бы говорил: «Да, Батийнаш, я тоже настрадался по тебе. Очень много думал. Не раз ты являлась во сне. Сердце мое изранено, ноет посейчас... Никогда уж не заживет...» Батийна была безгранично рада и в то же время опечалена этой встречей. Стараясь не выдать себя, утаить свое душевное потрясение от чужих глаз, она засуетилась, хлопотала на кухонной половине юрты. Но всей душой была с ним, а Абыл следил за каждым ее движением.

«Слава богу, что дал нам встретиться. Я счастлива, Абыл, что вижу твои глаза. Возможно, ты заглянул, проезжая мимо. Все равно я всегда с тобой, я — раба твоих желаний и твоей мечты, — мысленно говорила она с Абылом. — Да, ты не имел права забыть меня. И не забыл. Приехал. Я увидела родное мне лицо. Правда, ты немного постарел. И тебе досталось, как верблюду караванщика. Наверное, не один перевал осилил... Немало горя хлебнул. Правда, милый?»

Батийна виду не подавала, что это и есть ее единственный, желанный человек. На глазах у родственников и молодых женщин она вела себя так, словно Абыл ее старший брат: она засыпала его сбивчивыми вопросами — о новостях в аиле, о житье-бытье, как обычно спрашивают родного человека, с которым давно не виделись.

Сердце ее трепетало, а мысли птицами порхали в голове: «Что же делать? Чем его угощать?» Однако все еще не торопила мужа скакать за убойным бараном, сзывать гостей и певцов на вечер.

Она ставила самовар, взбивала сметану. В закопченной из черной урючины чашке принесла терпкого кумыса, налила его в расписную, узорчатую миску и подала «брату». Все у нее спорилось, все ладилось.

Батийна то и дело бросала нежные взгляды на Абыла, вспоминала прошлое, и ей страстно хотелось, чтобы он почувствовал себя свободным, рассказал что-нибудь или спел песню... Но сразу просить об этом было бы неприлично, стыдно. И она, безмолвно наблюдая за ним, догадывалась, о чем он думает и о чем мечтает. «Неужели ее Абыл по-прежнему беден? Неужели его родственники и братья не вылезли из нужды? Люди без своего скота. Все-таки годы прошли! И немалые годы! На ком, интересно, он женился? Вдруг попала какая глупенькая? Но Абыл — человек разумный и сумеет ее перевоспитать. Нет, все-таки жена скорее заботливая. Догадываюсь по его старой, поношенной, но чистой и аккуратно заштопанной одежде. Воротник белый, все скроено ладно, по нему... Лишь бы жили хорошо. Что еще им пожелать...»

Абыл сидел с видом безучастного, сильно притомившегося путника. Однако все его существо, все мысли и чувства были поглощены Батийной, его Батийной. «Соловей ты мой, знаешь ли ты, сколько я о тебе передумал за все дни и ночи? Знаешь ли, сколько испытал я боли? Что бы там ни было, я не мог не увидеть тебя, моя звездочка. Нас с тобой разлучили, как двух выросших вместе жеребят. И заблудились мы, как эти жеребята в горах. Осиротели друг без друга. Но тебя никогда не забывал я и не забуду. Когда мы расстались, я перенес много страданий. Поначалу дал себе слово: никогда не женюсь. И долго жил в одиночку. Но жизнь берет свое. Она меня взнузда, как необъезженного коня, и заставила покориться судьбе. Взял жену в помощь престарелой своей матери. На мое счастье, попала милая, честная женщина. Не писаная красавица, но с хорошей душой. Не укоряй меня, что так случилось, что я взял другую. Кому теперь жаловаться? Значит, это наша судьба. Между нами, как неприступная скала, встал Адыке. Ни переедешь, ни обойдешь эту скалу. Кроме проклятий за нашу разлуку, я ему ничего не желаю!.. А тебе чтобы в этой юрте жилось хорошо, чтобы никто никогда не обижал тебя...»

Мысли Абыла прервал резкий голос откуда-то вернувшегося Кыдырбая. Услышав, что от дяди и свата Казака приехали люди он привязал коня к среднему колу и заспешил в юрту, где сидели гости.

— Э-э, да у нас гости издалека!.. Ассалом алейкум! Нет,, нет, вы не двигайтесь, сидите, сидите. В нашей юрте гостей не тревожат. Молодцы, что приехали. Небось трудно было? Кони пристали, сами как, а?

Не дослушав ответа гостей, он обратился к Батийне:

— О-о, милая сестра племени,— давно Кыдырбай не называл этим ласковым словом Батийну; теперь перед гостями ему хотелось показать, что любит и

уважает невестку, — сама знаешь, как встречать дорогих гостей. А где тот?.. — Запнувшись, Кыдырбай поправился: — Где Алымбай? Пусть расседлают коней, а когда остынут — пустят травы пощипать. Пошли ребят за кизяком и водой. Да пусть шевелятся побыстрее...

Едва Кыдырбай успел распорядиться, кто-то попросил благословить на убой огромного валуха с тучным курдюком; женщины испекли груды румяных боорсоков, вскрыли новые кары-ны — хранилища масла и наполнили чашки солнечной горкой. На дастархане появились желтый, как молозиво, сладкий сушеный сыр, нават, сахар...

Вместительная юрта быстро заполнилась — пришли родственники с женами и молодые женщины посмотреть на брата Батийны; пришли и близкие подруги Батийны, посвященные в ее сердечные тайны.

Вполголоса они перемолвились меж собой: «Слышите, кто приехал? Батийна говорила, что ее Абыл умеет читать газели. Пойдемте послушаем, увидим, что за человек, от которого Батийна без ума».

Одним словом, в юрте было полным-полно званых и незваных, добрых и злых, коварных и чистосердечных людей.

Давно у Абыла зрела мечта увидеть Батийну, может, в последний раз в жизни. Признаться в этом своей жене Гульжан Абыл не решался, и вместе с тем он не мог уехать тайком, скрытно от жены. Да и как поедешь один за тридевять земель? Это и небезопасно в горах. Не вор он, не конокрад, чтобы отшельником скитаться по горам и долам...

После долгих размышлений он решил, что лучшего спутника, чем закадычный друг Сансызбай, ему не найти.

Еще в ту пору, когда Батийну увезли неведомо куда и Абыл загрустил так, что хоть помирай, он подружился с Сансызбаем и открыл свою тайну: нет для него жизни без Батийны.

Сансызбай добродушно улыбнулся и успокоил Абыла, пообещав женить его на своей родственнице Гульжан, дочери Бекболота, и заверил, что свататься поедет сам и устроит это дело как нельзя лучше.

— Брось, мой друг, огорчаться. Одной красотой сыт не будешь. Понимаю, ты любил эту прелестную девушку. Но пойми, что главное в жене, пожалуй, не миловидность, а умная доброта и мягкость характера. Такой человек — настоящий клад. Я тоже кое-что понимаю в женщинах. Моя балдыз¹ Гульжан, сам увидишь, девушка с крыльями. Она будет тебе лучшей подругой жизни. Жалеть не будешь. Забудь про свою печаль, подумай о будущем, друг мой. И вправду, Гульжан оказалась веселой, простой, любвеобильной женой и работающей хозяйкой в своей юрте, а через год родила ему сына.

У каждого кочевого племени, как бы оно малочисленно ни было, есть свои обычаи, свои песни и мелодии, свои любимые игры.

У одних аксакалы любят вечерами сумерничать на ближнем пригорке и вспоминать легенды про былые походы батыров.

У других зимой и летом варят крепкую бузу и собираются на шумные пирушки, устраивают жоро², улуш³, проводят борьбу и в который раз оказывают соседям свое особое гостеприимство.

У третьих не только зеленые юнцы, но и убеленные сединой старики не против оседлать горячего скакуна, лихо промчаться и подхватить с земли монету на полном скаку или исполнить грустные мелодии на комузе, спеть песни и заставить заговорить чоор⁴.

В аиле Абыла больше, чем у соседей, сказителей и умельцев, замечательно играющих на комузе, чооре, сыбызги⁵. Почти каждый мужчина владел инструментом. Абыл еще с детских лет от стариков научился играть на комузе довольно сложные мелодии. И особенно хорошо у него звучали печальные кюи. Теперь они были ему в утешение. Иногда он и сам сочинял. Взяв комуз, Сансызбай оповещал: «А сейчас я вам сыграю и спою «Песню Абыла». Постепенно по горным аилам распространилась эта песня, и в исполнении Сансызбая она звучала не слабее, чем в устах ее автора.

Я не смеялся, как все,
Вдвоем с любимой своей.
Не оставался, как все,
Вдвоем с любимой своей.
О мое солнце,
Ты ушла далеко-далеко,
Истосковался я
Вдали от любимой своей.
Радость моя Батийнаш!
Жаворонком звеня,
Твой голос звучит вдали,
Сердце мое маня.
Зачем, лунноликая,
Ты ушла далеко-далеко,
Оставив меня в тоске,
В слезах оставив меня.
Дотянется мысль до звезд,
Но их не достать рукой.
Не знал я, что будет жизнь
Так страшно шутить со мной.
На нашей киргизской земле
О сколько их, Батийнаш,
Скитальцев таких, как я,
Покинувших дом родной.
Любому могу помочь,
Коль скажет он: руку дай.
Себе не могу помочь,
Велела судьба: страдай!
Как верблюжонок, вдали

Остался я, сирота.

О Батийнаш,

Своего любимого не забывай!

Сансызбай как бы перевоплощался в своего друга: по щекам бежали слезы, он медленно раскачивался в такт песне, отрешенно глядя неведомо куда.

Даже Абыл, слушая его, порой сомневался, его ли сочинения эта песня.

Замерев в одной позе, свернув ноги калачиком, он неотрывно смотрел в огонь, и в голове вертелась одна и та же тоскливая мысль: «О моя любимая, зачем ты разожгла пожар в моей душе? Куда ты ушла? Наступит ли конец моим страданиям? Накажет ли создатель злобных людей, которые нас жестоко разлучили? Неужели мне суждено всю жизнь провести в одиночестве, словно верблюжонку, отнятому силой у матери-верблюдицы? »

Слушатели Сансызбая не сомневались, что это голосом своего друга поет сам Абыл, что это он и есть осиротевший верблюжонок.

И мужчины и женщины умиленно слушали песню Абыла:

Хотел я вороного зануздать,

Но вороной надумал ускакать.

Хотел сказать веселое вам что-то —

О, бог мой,

Не дала печаль сказать.

Коль в табунах все кони не твои,

То горечь и в самой твоей крови.

Знать, не судьба мне быть с моей любимой.

О Батийнаш,

Горю в огне любви.

Печаль моей души не утолить,

Тоску мою и чашей не испить.

За что же столько бед ты ниспослал мне,

О бог мой,

И не хочешь пощадить?

Песня начиналась спокойно, ритмично и, поднявшись до высокой ноты, бредила слушателей, западала надолго в душу своей неземной тоской, заставляла сжиматься сердце от боли и нередко вызывала слезы на глазах. Песня Абыла из уст в уста быстро разлетелась по смежным аилам. И в том, что ее пели многие, виновником был звонкий чистый голос его друга Сансызбая.

...С тех пор как Абыл соединил свою судьбу с Гульжан, он все реже брался за комуз, опасаясь: «Если я буду распевать эту песню к месту и не к месту, то могу обидеть ту, которую послал мне бог».

Гульжан давно угадывала, что предшествовало рождению песни, мелодии. Эту тайну от нее не скрывал и Абыл. О ней не раз напоминал Гульжан и веселый зять Сансызбай.

— Моя балдыз, дело прошлое. За песню не обижайся на Абыла и не таи чувства ревности. У Абыла чистое сердце и добрые мысли. Он дорожит тобой.

Лишь беспутный мужчина способен на измену. Только безумная женщина ревнует мужа. Пока муж и жена не научатся обоюдно понимать друг друга и прощать мелкие обиды — ни ладу, ни согласия в такой семье.

Сансызбай окинул Гульжан быстрым взглядом озорных черных глаз и добавил:

— Поддай-ка сюда комуз своего мужа, я сыграю строфу из этой песни.

Гульжан не заставила себя ждать, тут же достала висевший на кереге комуз Абыла и, подавая его Сансызбаю, улыбчиво сказала:

— Сыграй, и я послушаю эту песню чистого сердца. Абыл в тихом раздумье смотрел на жену. «Умница, сокровище моей юрты, светоч мой».

Сансызбай перебирал щипком струну за струной, и окрыленная песня лилась в душу Гульжан, словно и сочинена была для нее.

По лугам мы бродили летом,
Мы с тобой встречали рассветы.

Были наши аилы рядом.

О Батийнаш,

Неужели я мальчик этот?

Помню наше зимовье в Ак-Таше

И в низине кошары наши.

Я ли этот несчастный,

О Батийнаш,

Опрокинувший счастья чашу?

Помню озеро — там мы играли,

Там мы камушки в воду бросали.

И не думали мы о жизни,

О Батийнаш,

Ни разлуки, ни грусти не знали.

Говорят, человек не чувствует того, что не пережил сам, не радуется тому, что его не касается. Возможно, такие люди и есть на свете. Но умные, догадливые бывают другими. Гульжан еще и еще раз слушала песню Абыла об его первой юношеской любви и ловила себя на том, что, в ней просыпается дремавшее чувство ревности: а почему эта песня не посвящена ей, Гульжан? Сердце сжалось от боли, в груди словно запылал костер. Так и подмывало упрекнуть Абыла, что он безоглядно любит другую. «Значит, меня он взял не по любви? Со мной живет, а думает о другой? Нет уж, лучше я его оставляю... И пусть женится на своей любимой».

Но сама же Гульжан нашла в себе силы и отогнала накатившую было на нее волну недоброго смятения. «А к лицу ли мне ревновать? В чем они с Батийной виноваты? Что властолюбец Адыке встал между ними черной неприступной скалой и угробил их юношескую мечту?»

Однажды Сансызбай особенно проникновенно пропел песню друга, и Гульжан с удивительно-мягкой улыбкой сказала:

— А что, жезде, проводали бы вместе Батийну, с которой Абыл расстался, а? Может, она горестно думает: ни разу вот не смог выбрать время, чтобы

приехать. По-моему, нехорошо ее забывать. У женщины все пути закрыты. Сколько бы она ни помнила, сколько бы ни скучала, ей не выбраться на встречу с любимым. Значит, ваш святой долг — повидать Батийну у ее очага. В словах Гульжан мужчины не уловили и тени ревности, словно она давала совет постороннему человеку.

Сансызбай бросил на Абыла недвусмысленный взгляд: «Видишь, дружок, славная у тебя жена. Прав я был, когда предлагал ее руку... По твоим глазам читает мысли и догадывается, о чем ты думаешь».

Друзья удивлялись и поглядывали на Гульжан: шутит, мол, или всерьез?

Гульжан быстро сообразила, чем они озабочены.

— Не жить мне на свете, если я ревную. Честное слово, поезжайте к Батийне. Сквозь искреннюю мелодию и выстраданные слова песни женщина проникла в кристально-чистый мир Абыла, в котором он жил до встречи с ней. И, все равно как родниковая вода снимает любую грязь, песня смыла ревнивую обиду Гульжан. Следуя на крыльях мечты за песней Абыла по горам и долинам, она внутренне решила: «Пусть его первая любовь Батийна услышит посвященную ей песню. Меня от этого не убудет».

Опалило меня твоё пламя,

И шепчу сухими губами:

Переехал ли твой аил в джайлоо?

О, зачем, зачем, моя милая,

Разлуки дни между нами?

Переехал ли твой аил с зимовья?—

Повторяю все вновь и вновь я.

Ты, любившая меня когда-то,

О Батийнаш,

Что ты сделала с моей любовью?

И вот Абыл и Сансызбай — желанные гости Батийны. И она угощает их в новой вместительной юрте, обихоженной ее руками хозяйки. Это ее чудесные руки сбили плотную кошму и расшили неповторимым орнаментом бараньего рога и степного чия, украсили изнутри юрту тканой ковровой дорожкой по всему верху деревянной решетки.

Успел разглядеть Абыл и расцвеченное хранилище для посуды, и расшитую подвесную полочку, куда обычно кладут белый тюрбан женщин; оценил он и орнаментированную кошму, и бурдючки под кумыс с горлышками из тисненой верблюжьей кожи, и большие кожаные бурдюки, в которых взбивают и перевозят кумыс, и узкогорлую глиняную корчагу под кислое молоко,— все, все в этой юрте было сделано с большим мастерством и расставлено с тонким вкусом.

Абыл не спускал глаз с Батийны, пока она готовила угощение, и вместе с тем успевал перемолвиться со сватами, которых полна была юрта,— он поддерживал то угасающий, то разгорающийся разговор.

8 Т. Сыдыкбеков

Молодые женщины, что вертелись около Батийны в кухонном закутке, сгорали от любопытства.

— Оказывается, брат-то у тебя умница! Какие он дельные речи ведет. Даже старики наши и то заслушались. Почему раньше он так долго не приезжал? Лишь свекровь Гульсун да Овчинка — Канымбюбю — знали душевную тайну Батийны. Каждая про себя думала: «А желанный-то Батийны — славный джигит. Настоящий молодец! Бедная Батийна! Упустить золотого человека и достаться какому-то чурбану... Эх, несчастные мы невольницы».

Гульсун на правах матери сидела рядом с трясущимся старцем Атантаем на почетном месте. С улыбкой она обратилась к Абылу:

— По твоим словам, сват, видно, достиг ты знаний муллы, божьего человека. Пожалуйста, расскажи нам что-нибудь из прошлого. Или интересные сказки. Газели и стихи почитали бы нам...

Гульсун раньше от Батийны не раз слышала, что ее Абыл мастер читать газели. Пришел случай самой убедиться.

Атантай одряхлел, не в силах держать усохшую голову. Он тихо сердился: «Ах, чтоб тебе пусто было, непутевая. Она туда же, и ей, видите ли, газели послушать нужно... У-у-у, постреленок!»

«Неужели у джигита не найдется слов для милой Батийны?» — подумала Гульсун, не обращая внимания на косые взгляды старика.

— Ну, почитайте же, наконец, газели. Все, кто пришел сюда, чтобы приветствовать ваш приезд, жаждут послушать и песни и игру вашу на комузе. Хорошие слова»душу тешат. Так ведь у нас говорится? А муллы в нашем аиле редко читают свои газели.—И Гульсун звонко рассмеялась.—Зато наши почтенные муллы, правду сказать, умеют чинно сидеть на почетном месте и старательно обглаживать мясные кости...

— Да, сваха. Было время, когда и Коран и газели читали... Теперь все это забывается...— сказал Абыл, а про себя обдумывал: «С чего бы начать? Наверное, и Батийне приятно будет меня послушать?»

Речитативом Абыл прочел сперва стихи, в которых было много возвышенных мыслей, поговорок, и его голос понравился, запал в душу, все одобрительно закивали.

Сансызбай терпеливо дождался, когда пришел его черед запеть, откашлявшись, уселся поудобнее и сказал:

— Коня по масти, молодца по речи познают, говорится у нас. По вашей просьбе сват Абыл почитал газели. Но у него есть привычка — оставлять в самой глубине души свою тайну. Я же, друг его, знаю о ней все. Если позволите, я спою его заветную песнь. Найдется ли в этой гостеприимной юрте комуз?

— Эй, Бейшен, ну-ка, сынок, слетай за моим комузом. Живо! — послал Кыдырбай мальчишку из тех, что столпились у входа в юрту.

Кыдырбай редко брал в руки комуз, но очень гордился тем, что держал дома инструмент.

Пучеглазый, шустрый мальчишка в голубой ситцевой рубашонке сверкнул босыми пятками, и не успели люди перевести дух, как он подал Кыдырбаю комуз и снова прижался к своим сверстникам.

Коль в табунах все кони не твои,
То горечь и в самой твоей крови.
Знать, не судьба мне быть моей любимой.

О Батийнаш,
Горю в огне любви.

Сансызбай пел вдохновенно, будто давно готовился именно к этому ответственному выступлению. Грустные, тихие, даже печальные мотивы перемежались с громкими и торжественными. Волнение певца незаметно передалось собравшимся.

С каждой строкой песни женщины плутовато поглядывали в сторону притихшей, покорно-задумчивой Батийны с мысленным вопросом: «Э-э, милая Батийна, да к тебе вовсе не брат приехал, а любимый? Что это значит?»

А Сансызбай продолжал звонко оповещать слушателей о первой любви Абыла:

Помню озеро — там мы играли, Золотистые камушки в воду бросали. И не думали мы о жизни, О Батийнаш,
Ни разлуки, ни грусти не знали.

Именно эта строфа переполнила чашу терпения Турумтай. Она шлепнула в ладоши и, испуганная, воскликнула:

— Ой, стыд и позор всем нам! Он не брат ей, нет! О люди, они нас обесчестят!

Кыдырбай с самого начала догадывался, о чем и о ком эта песня. Какой скандал! «Не оберешься разговоров. Еще пойдет молва, что к невестке Кыдырбая приезжал возлюбленный и что принят был как сват и высокий гость», — ужаснулся он.

Он сидел злой, оплеванный и, чтоб скрыть свою растерянность, прицыкнул на жену:

— Замолчи! Всегда тебе что-нибудь померещится. Мало ли молодых, что разошлись по разным причинам? Парень поет о чьей-то любви, о чьей-то разлуке. Что тут страшного?

Абыл не шелохнулся, будто ничего не слышал. «Пожалуйста, осуждай меня за мое первое чувство, никому дела нет, где и когда я его воспеваю», — думал он, чуть склонив голову на плечо.

А Сансызбай тем временем закончил песню Абыла.

Атантай, почти все время продремавший, как только песня кончилась, повернул трясущуюся голову к старшему сыну Кыдырбаю:

— Что-то песня нашего свата погрустнела. Может, он торопится в обратный путь? Так не задерживайте человека.

Кыдырбай во всеуслышанье пробасил:

— Спасибо, сват. На все способен ты, как я послушал. Всех нас позабавил, повеселил. Приезжай, всегда гостем будешь.— Все это говорилось учтивости ради. Внутренне же он чувствовал кровную обиду. Все-таки он переломил себя и радушно, даже весело, обратился к Батийне:—С пустыми руками не отпускай брата Абыла, сестра моего рода. Накинь ему на плечи шелковый халат, что сама сшила. Певцы любят красиво одеваться... Из табуна выбери лучшего коня с шелковистой гривой. Подари. Пусть брат не обижается. Старик Атантай про себя шептал: «Ах, бедный джигит, бедный джигит. Да простится мне, но видит бог, что парень-то славный. Мой дурень и мизинца его не стоит...»

Абыл, вполне довольный гостеприимством Батийны и ее деверя Кыдырбая, нехотя покидал аил: здесь осталась частица его сердца.

Кыдырбай, вернувшись в юрту, не преминул попрекнуть жену Турумтай:

— Что так испугалась, дурочка с длинными косами и коротким умом?

Развопилась. Думаешь, у меня лицо не покраснело? Разве неправда, что наш лодырь, бог его возьми, медведь и мямля? Неужели ты сама не видела, какой он умный, этот джигит Абыл? Недоставало еще мне лезть с подозрениями об их прошлых связях, тогда бы мы окончательно опозорились. Порой надо обуздывать свою злобу и не выказывать собственную глупость. Запомни, человек красив не только лицом, но и умом, делами своими и поступками. Прошу тебя: отныне зря не груби своей невестке; если она снова собьется с пути, я уж сам выведу ее на дорогу...

У него запершило в горле, и язык, точно сухой лист, едва дорочался во рту. Кыдырбай неуклюже опустился на свое привычное место и через открытый полог юрты стал всматриваться в даль... По зеленому склону серой извивающейся змейкой уходит тропка. Она пересекает пополам невысокий, похожий на уснувшую рыбину холм Кок-Джон и взбирается на вершину смежного холма. По тропке удалялся Абыл. Он только что задел за живое Кыдырбая, оскорбил его брата Алымбая, показав свою любовь к Батийне... Вот два всадника медленно поднялись на Кок-Джон, попридержали коней, спешились, поправляют подпруги и чересседельники. Абыл обернулся, смотрит на Батийну,— она стояла у своей юрты...

— Что за бесстыдство! О, как я осрамился! Мои враги теперь позлорадствуют: оставь, мол, нас в покое, лучше присматривай за своей невесткой,— почти простонал Кыдырбай.

Кыдырбай, покоришься он сейчас обуявшей его злобе, мог позвать младшего брата и приказать: «Эй, дурень, где же твоя честь? Возьми-ка с собой нескольких дюжих молодцов, догоните вон тех двоих и за нашей межей сделайте с ними, что полагается в таком случае».

Возможно, он и поступил бы так, но как раз в ту минуту, когда провожал недружелюбным взглядом всадников, услышал песню Абыла:

Я со скалы на мир взглянул —

О, как под солнцем он блеснул!

И только мой родной аил,

Приют печальных бедняков,
 В тумане пепельном тонул.
 Весна цветами всех зовет
 И свет живой на душу льет
 Но мой народ не знает дня,
 Темна судьба его как ночь,
 Его удел нужда и гнет.
 Батыр в сраженьях закален,
 Сойдясь с врагом, не дрогнет он,
 Но плачет, разлучаясь с милой.
 Что ждет меня, о Батийнаш,
 Тюрьма-зندان иль смертный сон?

«А что, сама правда в этих его словах»,— подумал Кыдырбай. Ему вспомнился его первый приезд к Казаку, совпавший с появлением Татыны, матери Абыла с жалким калымом: заморенный верблюд и три-четыре овечки,— старуха приехала сватать Батийну.

«И Татына уехала тогда ни с чем... А кто виноват, что она так и не смогла женить сына на дочери прославленного охотника? Не Кыдырбай ли, не Адыке ли? Не их ли богатство и скот?»

Кто-то невидимый словно прошептал ему на ухо: «Э-э, кровожадный Адыке, ненавистный Кыдырбай, зачем вы черной неприступной скалой встали на Пути Двух влюбленных? Дождетесь, их горе обрушится и на вас. Бесстыжие вы, ненасытные вы люди».

Кыдырбай вздрогнул от этого голоса и поежился, как от пронизывающего холода.

АЛТЫНАЙ

Слава об Алтынай давно прокатилась по киргизской земле. Едва ли кто еще так играл на темир-комузе, как умела Алтынай.

Вышла она замуж за джигита из рода кокурёк, человека не богатого и не бедного, тихого, безобидного характера.

Род кокурёк не из многочисленных, но крепкий единством своих людей.

В аиле с утра и до позднего вечера раздавались мелодии Алтынай. Играла она на своем темир-комузе самозабвенно. Суровые аксакалы и те порой приглашали Алтынай. А древние старики и старушки, слушая ее темир-комуз, жмурились, и лучики морщинок разбегались вокруг глаз.

— О, эти руки, о, эти звуки! Как у нее все ладно и складно... Дай тебе бог никогда не состариться и быть вечно счастливой. Сыграй нам своими золотыми ручками еще что-нибудь.

Соловушку, всегда сияющую Алтынай, любили и стар и млад. Она и сама сочиняла. Ее напевы были полны солнца, воздуха и радости, в них сличались журчание родников, и переливчатые трели жаворонкагш пение соловья, и щебет горных птиц. .

Кто в народе не знал полюбившиеся песни Алтынай — «Про луну», «О люб^р», «Вскину брови», «Жаворонок Алтынай», «Веселая», «Трели свиста»,

«Вызов девушки», «Соловей Алтынай», «Песни Алтынай и соловья», «Дувальница и Алтынай»...

Даже самые отдаленные аилы звали певицу к себе. Она исполняла все, что просили, и провожали ее с особыми почестями.

Однажды под вечер Алтынай спешила около юрты Кыдырбая. Свой неожиданный приезд она объясняла тем, что побывала у родных и возвращается теперь к своему очагу.

На ночь глядя путники, задержавшиеся в горах ли, в степи ли, обычно направляются на огонек. Приютить и накормить путников — нерушимый обычай горцев. Испокон веков. Кто не разрешит почему-либо коноку — божьему гостю — провести ночь у сдоего очага, заслуживал жестокого осуждения.

Доехав до первого аила Карасаза, Алтынай спросила: «Есть ли здесь кто из женатых на дочери из рода кокурёк?» Ей указали на юрту Кыдырбая: жена его Турумтай была уроженкой этого племени.

— О-о, здесь живет наш зять! Едем к нему. Там и ночь проведем,— обрадовалась Алтынай.

Весть о том, что в аил заехала известная музыкантша, быстро облетела всю округу. Не успели хозяева зарезать ягненка и положить его во вместительный казан, как в просторную, в двадцать полотнищ, юрту набился народ послушать игру сестры Алтынай. Далеко не все любители смогли втиснуться в юрту бая,— тогда люди самовольно закатали кверху нижние кошмы, и хозяин не посмел одернуть любителей: попробуй он разгневаться, люди мгновенно пригрозили бы: «Хорошо, бай, коль тебе жаль своей юрты, ну и держись за нее. А сестру Алтынай мы заберем к себе. Она повеселит нас. И мы сами ее угостим».

Упустить почтенную Алтынай — было бы позорно. Поэтому Кыдырбай вынужден был терпеть.

Увидеть прославленную женщину, послушать ее мелодии хотели все: старики и дети, пастухи и табунщики, старухи и девушки... '

Стройная женщина с худощавым лицом сидела, опершись па колено, на четырех мерлушечьих подвтилках. Атласное белое с оборками платье веером прикрывало ей ноги. Из-за складок высокого, красиво уложенного элечека она достала свой темир-комуз. На средних пальцах и безымянном правой руки сверкнули серебряные кольца с вправленным камнем-янтарем. Тонкие, гибкие, словно без косточек, пальцы нежно поднесли темир-комуз к розовым губам. На мгновение блеснули ровные, как зерна риса, белые зубы, и она ловко зажала меж губ инструмент.

Вначале темир-комуз взял звуку широкого диапазона: багг-багг-багг, потом неожиданно ручейном полилась хорошо знакомая мелодия, украшенная частными переборами у дрожащего оттенка. Алтынай вся вытянулась, устремленная вдаль за своей мелодией, и черно-жгучие глаза музыкантши чуть сузились. Правый указательный палец все чаще и чаще стал касаться пестика, он вибрировал, стонал, рождая звучную, трепетную песню. Темир-

комуз плакал, смеялся и свистел на разные голоса и уносил на своих жуках мысли и чувства слушателей неведомо куда. Шея Алтынай от легкой натуги подрагивала, широкие рукава скатились к локтям.

Исполнительница перемежала дыхание, то усиливая, то понижая опорные звуки, которые через круглое отверстие юрты летели в мир безмолвия. Белые кисти ее рук напоминали только что очищенную от коры ветку молодой ивы, они были прелестны, музыкальные руки Алтынай.

В юрте стояла тишина, будто никого здесь, кроме одухотворенной женщины и ее звонкого, говорливого инструмента, и не было. А темир-комуз ее то заливался соловьем в полночный час, то бил перепелом в овсах, то звенел трелями жаворонка ранним весенним утром. И все слушали, затаив дыхание, и видели только одно: чудесницу с неуловимо быстрыми пальцами у розовых тонких губ.

О, бог свидетель, такого веселья, вероятно, не было в этом аиле очень, очень давно. Участвовавшие распри между родами, ранневесенний падеж животных — не до веселья было. Люди, подавленные горем и печалью, слушая мелодии Алтынай, будто рождались заново, перенесенные в волнующий мир музыки. Аксакалы, пожилые и почтенные женщины разместились в юрте. Джигиты, ребята, девушки, молодухи оставались снаружи.

Каждая женщина горестной судьбы слушала Алтынай с упоением.

Батийна была растрогана. «Вон какие у нас бывают женщины!.. Интересно, а какой муж у Алтынай? Конечно, хороший. Будь это недалекий, грубый человек, разве мастерство Алтынай дошло бы до людей? Оно мгновенно погасло бы, все равно что кучка золы от сухой полыни, и ветер бесследно развеял бы пепел».

А замарашка Каныдабюбю, затерялась среди женщин, будто тень тоненькой веточки на закатном солнце.

Конечно, появился сюда и Тилеп. Одну Канымбюбю он ни за что не отпустил бы. Он давно внушил девочке: «Чтобы ноги твоей не было у блудливой невестки Кыдырбая. Дома сиди! Не то я научу тебя, как ходить к распутницам!»

Проникновенные, западающие в душу переливы темир-комуза заставили женщин глубоко задуматься, покачиваться и вздыхать, иные смахивали неволью набежавшие слезы.

— Вот это женщина! Соловей!

— Дай бог ей всяческих благ!

— Пусть сбудутся твои мечты, милая. Спасибо, что заглянула к нам...'

На другой день люди не отпускали Алтынай в путь. «Пусть ваши кони хорошенько отдохнут. Погостите еще у нас, не обижайте», — просили они. И упростили поиграть на темир-комузе. А на третий день послушать ее мелодии собралось еще больше людей.

Будь Батийна свободным человеком, она непременно оседлала бы лучшего коня и пустилась бы проводить Алтынай. Увы, это было не в ее воле.

Прощаясь с Алтынай, Батийна сказала:

— Дорогая эжеке, я очень рада, что увидела вас, послушала вашу замечательную игру. Земля не без женщин, которые могут свободно ездить... Алтынай участливо посмотрела на Батийну.

— Что с вами, сестрица? Батийна тихо вздохнула:

Тесно мне на земле, эже. И не вольна я рассказывать о себе. Прошу только об одном одолжении...

Алтынай вопросительно посмотрела на Батийну и, не перебивая, стала слушать.

— Милая эже, только что вы видели девочку в белом платке.

Это Канымбюбю. Еще молоко матери не обсохло у нее на губах, а ее уже отдали замуж за человека много старше. Скряга он. Издевается над ней. Грозит. Ревнует. Девочку совсем застрашал. Она вечно в слезах. Мне очень жаль бедняжку, я готова в огонь и в воду, лишь бы ее освободить от этого скряги Тилепа. Но мне не под силу, милая сестра. А сиротка не знает, на кого бы она могла опереться. Слышала я, у вас живет один ее родственник. Зовут Найманбай, он, говорят, знатного происхождения. Если бы он приехал сюда, наверное, смог бы освободить Канымбюбю. Увидев вас, я подумала: вот кто сможет помочь бедняжке. Доверяю вам эту тайну и надеюсь. Навестите, пожалуйста, Найманбая, передайте ему привет от сиротки Канымбюбю, скажите, что племянница ждет не дождется его. Хорошо, если он узнает, как можно развести ее по законам шариата. Ради бога, сделайте это, и мы не забудем вас ни на этом, ни на том свете.

— Я знаю одного Найманбая. Если это ее дядя, я ему все передам.

Действительно, он уважаемый человек.

И Алтынай отправилась в путь.

ИСКРА НАДЕЖДЫ ПОГАСЛА

Батийна и Канымбюбю всю зиму не отрывали взора от тропки, уходящей через ближайшие холмы, и не теряли надежды, что и к ним придет радость.

Да, надежда — это не ветка таволги, которую можно смахнуть одним движением острого, как бритва, опоры. Надежда — невидимая и бесконечная нить человеческого сердца.

— О боже,—говорила Батийна, глядя вдаль,—вот бы показались всадники... И среди них твой дядя, Канымбюбю, а? Вот радость!

— Ой, что вы, эже... Конечно! Но я боюсь, что дядя Найманбай не приедет. Сколько же дней мы поглядываем на тропку, а его все нет и нет. А удастся ли ему освободить меня?

В Кокурёке, где жила Алтынай, нынче выпала суровая зима—снегом завалило лучшие пастбища, ложбины, впадины. Даже горные козлы и косули и те остались без подножного корма, спустились к людям, а некоторые до того осмелели, что шли прямо в загоны для скота.

По слухам, зима нынче за теми высокими горами выдалась немилосердная. Обычно слухи обогащались фантазией рассказчиков и иногда превращались в небылицы. Все зависело от рассказчика: любит ли он говорить то, что видел и слышал, или не прочь приврать. Возможно, зима в Кокурёке и в самом деле суровая. И дядя Найманбай не осмелился пуститься в такую коловерть. А что,

если Алтынай забыла передать ему просьбу Батийны? Как бы там ни было, женщины не теряли надежды и с нетерпением поглядывали на тропку. Как хищный гриф медленно взлетает с места, где он вдоволь попиrowал над падалью, так неторопливо отступала зима все выше в горы, к вечным ледникам.

В низинах звонче зажурчали ручьи, набухла земля, лопаясь на солнцепеке под мелкими зелеными брызгами травы.

Из нор, щелей и трещин стали осторожно выползать еле живые змеи, ящерицы, жуки.

В голубизне неба живыми трепещущими камешками повисли звонкие жаворонки.

С зимовий за солнцем и теплом тронулись первые айлы кочевников.

Замаячили юрты серыми и белыми цветами по зеленому ковру у самых склонов, где трава растет быстрее. Козлятами ягнята, счастливые от тепла и солнца, росли на глазах, резвясь возле своих матерей.

Малые ребята, повыше закатав белые штаны и задрав рубашки, с чашками в руках бегали из юрты в юрту, довольные сытостью и свободой. Все, что засиделось, залежалось, застоялось, ожило и запестрело, рванулось единым потоком навстречу весне.

Аил Кыдырбая и аил Тазабека, куда входила и юрта Тилепа, заняли обширную ложбину, чтобы вместе провести первые еще неустойчивые весенние дни. Айлы стояли близко друг от друга: крикнешь в одном, тут же аукнется в соседнем. Как говорится, между ними впору устраивать скачки жеребят.

Скоро, скоро айлы размежуются: каждый отправит скот на свои летние угодья, на джайлоо. Если до этого времени дядя Канымбюбю не приедет, девочка окажется в полном одиночестве. Батийна уедет со своим стойбищем, и не с кем бедняжке будет поделиться горем. Батийна, боясь, как бы Канымбюбю не натворила что-нибудь над собой, отвлекала, как могла, ее от дурных мыслей:

— Каныш, твой дядя обязательно приедет, и ты избавишься от сатаны Тилепа. Если есть рай на том свете, о котором любят разглагольствовать муллы, то мы с тобой непременно туда попадем. Все грехи наши, наверное, давно уже смыты плетками наших мужей. Что бы там ни было, надо ждать. Говорят ведь аксакалы, что живой человек непременно когда-нибудь попробует пищу из золотой чашки...

В один из дней, когда айлы готовились в дальний путь к большим летовьям, в сумерках нагрянул Найманбай и с ним пятеро почтенных аксакалов* Усталые, они спешили около юрты Тазабека.

Всякий, кто приезжает в аил по спорным делам, как сейчас Найманбай, обязательно бросит повод у юрты главного старейшины рода. Не мудрено, что Найманбай остановил своего коня около юрты Тазабека, покровителя Тилепа. По аилам быстрее пули облетела весть:

— Приехал какой-то Найманбай. Говорят, он дядя сиротки, которую взял себе в жены Тилеп.

— Э-э, этот дядя приехал, видимо, не зря. Он сведет еще счеты с вредным Тилепом. Ведь скряга, считай, силой взял себе в жены беззащитную девочку.

— Так ему и надо! Какая она ему пара!..

— А что скажет, интересно, Тазабек? Он тоже человек беспощадный. С ним нелегко справиться. Когда он рассвирепеет, то не посмотрит и на дядю Найманбая.

Об этом Тазабеке вот что рассказывали люди.

Однажды, нахлебавшись до отвала кумыса, он вызвал к себе, потехи ради, муллу Тагая и, моргая по-кошачьи узенькими глазами, спросил:

— Тебя, мулла в белой феске, принято считать проповедником божьего слова. Коль это правда, шепни-ка мне на ухо: разрешает ли аллах и наш шариат взять в жены девочку-подростка? Ну, шепни!.. Я слушаю тебя.

— Раньше, чем девочке исполнится двенадцать, ее по закону нельзя выдавать замуж, батыр Тазабек,—кратко пояснил мулла в белой феске.

Тазабек не на шутку разозлился:

— Э-э, мулла, хоть ты Коран не выпускаешь из рук и затвердил свои молитвы, в делах божественных ничего не смыслишь. Разве ты не слышал, сам пророк Магомет женился на девятилетней девочке. Сам пророк! А я вот хочу на восьмилетней жениться. И никто мне не запретит!

— Это, разумеется, ваше дело, батыр,—благодушно сказал Тагай.

— Если мое, тогда вот что! — И Тазабек кликнул своих джигитов.— Этот мулла не знает своих обязанностей. Посадите его задом наперед на коня и отправьте восвояси. Пусть получше изучит Коран и глубже познает шариат. А то он научился одному — взимать подати за поминальное. Ему, видите ли, даже неизвестно, что пророк женился на девятилетней. Ишь ты хитрец! Как-то Тазабек от нечего делать посиживал на холмике около юрты. В это время подъехал незнакомый человек и приветствовал Тазабека широким жестом. Тазабек, прикрыв один глаз и открыв другой, забавы ради сказал с улыбкой:

— В путь добрый, дэв.

Всадник, видимо, был тоже шутник и не робкого десятка.

— Пусть будет по-твоему, чее¹, —ответил он на издевку Тазабека.

Всадник подметил в облике Тазабека что-то шакалье: нахорхленные брови, узенькие масляные глазки, красновато-рыжие щеки.

Тазабек обиделся: «Сейчас я тебе покажу шакала» — и сказал:

— О мирза, видать, ты крепкий орешек. Слезай с коня, потолкуем.

— Хорошо. Но если окажется тебе не под силу этот орешек, пусть тебя черти съедят.— С этими словами всадник .спешился.

«Ах ты, дьявол. Ну погоди же! Сейчас я придумаю кое-что, не обрадуешься».

Тазабек посмотрел кругом, будто что-то искал глазами.

— Ай, Каным, пришли-ка нам миску айрана! — крикнул он в сторону юрты.

Чернявый крепыш мгновенно принес большую деревянную чашу кислого молока с желтым маслом наверху и, поставив посуду между сидящими, поспешил удалиться. Но Тазабек окликнул его:

— Эй, болван, куда спешишь? погоди малость. Возьмешь в руки подходящую дубину и встанешь около нас. Мы с этим серым псом на пару будем лакать кислое молоко. Кто выпьет меньше, того ты отдубасишь.

Потом Тазабек обратился к путнику:

— Давай начинай. Значит, лакать до дна. Уговор!

Путник понял, что Тазабек задумал недоброе, но не растерялся, а встал на четвереньки по-собачьи над чашкой и сказал:

— Хорошо, шакал.

Он зарычал по-псиному на Тазабека и с шумом принялся лакать густой айран. «Ну, вислоухий, попался,—злорадно подумал Тазабек.—Я тебя проучу. Не рад будешь, что встретился со мной».

И как зарычит на путника, как сморщит нос. Не тут-то было. Путник с громким «лаем» набросился на Тазабека, повалил его и давай топтать и кусать, куда попало.

Джигит, стоящий поодаль, с дубинкой наготове, замешкался, но, вспомнив о том, что ему было поручено, занес дубинку над головой путника.

Тот быстро увернулся, и удар угодил Тазабеку прямо по темени. Он взвыл от боли, а путник еще яростнее мял и тискал

Еле поднявшись, весь в пыли, моргая узенькими глазками, Тазабек взмолился:

— Ну, молодец! Как же ты меня, р-р-р, а? Признаться, я струхнул, настоящему, мол, попался псу на съедение... Пришел мой конец. Ладно. Ничего ты не слышал. Ничего не видел. Согласен? Будем друзьями.

— Что же, друзьями так друзьями. Ведь ты человек, а на его чал собачье дело. А я, человек, прикончил его по-собачьи. Мы с тобой в расчете.

Тазабек оставил путника у себя гостем и подарил ему лучшего коня.

С тех пор, говорят, он малость приутих. Но нет-нет да и показывал свои когти подчиненным и бедным людям.

Даже старейшины и муллы в аиле и те избегали вступать в пререканья со строптивым самодуром.

Тазабек, которому во что бы то ни стало хотелось единолично управлять своим родом, доводился дальним родственником Тилепу.

Услышав, что из Кокурёка приехал какой-то Найманбай, чтобы освободить от Тилепа его «нареченную жену», Тазабек взбесился: он-де этого не допустит — и обратился за помощью к духам и шариату.

Но и Найманбай, приехавший раскрепостить племянницу от брачных уз, опирался на законы. Он неплохо разбирался в сурах Корана, тем не менее на всякий случай привез еще знатного муллу. Остальные его спутники — тоже солидные люди, хорошо разбирались в родовых отношениях, были красноречивы и могли постоять за честь и достоинство Своего племени.

Всю дорогу они убеждали друг друга: «Пусть даже придется внести за нашу несчастную племянницу вдвое больше калыма, все равно мы должны добыть развод и освободить ее».

Тазабек вызвал к себе всю знать, пригласил и свидетелей — аксакалов из других родов. Перед седобородым стояла задача: или законными путями шариата изыскать возможность освобождения маленькой женщины Канымбюю от мужа, собственно, деда, или же решить, чтобы она оставалась у старца и смирилась со своею судьбой.

Старики всех возрастов и муллы начали великий спор о судьбе Канымбюю — Овчинки.

Тазабек, считавший себя хозяином положения, не допустил на сход муллу, которого привез Найманбай. «Ваш мулла,— сказал он,—будет защищать вас и нарушит шариат». Испугался Тазабек и муллы Тагая, который после памятного позорного случая возненавидел Тазабека.

«Надо такого муллу пригласить,— прикидывал Тазабек, моргая узенькими щелками глаз,— который не посмел бы мне перечить и говорил лишь то, что мне угодно слышать. А если вдруг завремся и понесет околесицу, я ему подморгну. Он сразу поймет, что к чему, и уж будет держаться шариата в моем толковании».

Тазабек решил позвать на сход муллу, обучавшего его детей. Мулла был приезжий, из рода саяк. Обращаясь ко всем одновременно, Тазабек сказал: — Этот уважаемый мулла и учитель совсем из другого рода. Для него безразлично, Найманбай ты или Тазабек. Приехал он из Джумгала, обучает божьей грамоте наших детей. Справедливости ради я беру его в главные судьи спора. Он хорошо знает все божьи законы... Тилеп — мой родственник — женился на дочери Белека, как мы все женимся по обычаям предков. Итак, мулла, отвечай: позволяет ли шариат освободить жену Тилепа от брака и выдать ей на руки талак кат — бумажку о разводе? Говори!

Поголовно вся верховная знать одобрила решение Тазабека. Найманбай понадеялся, что пришлый мулла найдет в себе силу духа и рассудит дело по справедливости.

— Мы тоже согласны,— сказал он.— Если это настоящий мулла и законы божьи для него превыше всего, если он уважает самого Акрасул-аллаха, то он, конечно, не преступит начертаний шариата и откроет святую истину. Доверим ему судьбу нашей бедной племянницы, которая мучается, словно жаворонок в клетке. Судьба нашей девочки в ваших руках, мулла-аке. Неудивительно, что мулла, обучавший детей в аиле, хорошо знал судьбу Канымбюю. И не он один. Любой старейшина рода признавал, что сирота выдана за Тилепа не по доброй воле, что ростовщик взял ее силой и что она ему совсем не пара.

Муллу жалел Канымбюю и вместе с тем не знал, как ей помочь. Стоит высказать правду, и беды не оберешься, бешеный самодур Тазабек разгневается, еще выгонит из аила или устроит тихую головомойку.

Бормоча себе что-то под нос, обескураженный мулла достал из висевшей у него на боку замызганной сумочки пухлую, изрядно потрепанную книжицу в рыжем переплете и засаленными страницами, исписанными выцветшими арабскими буквами. Все сидящие, в том числе и сам Тазабек, не знали ни единой буквы из этой книги, поэтому они уставились на муллу, словно кони на мешки с овсом.

Мулла, изредка моргая, не спеша, перелистывал книжицу, сам же думал: «О создатель, если только я решусь освободить бедняжку, что меня ждет? Тазабек, наверное, выживет меня... Если у меня не хватит смелости, ей придется всю жизнь мучиться, и этот грех ляжет опять же на меня. Нет, пусть попробует сама выпутаться».

Народ пристально смотрел на муллу в ожидании, когда он заговорит.

— Брачный союз состоит из трех условий: согласия родителей, любви представителей двух полов и показаний свидетелей,— затяжно откашливаясь, наставлял мулла.

Тазабек сурово буркнул:

— Ты, мулла, родителей ее оставь в покое.

Он будто не слышал Тазабека и продолжал свое;

— В этой книге сказано: брачный союз супруадр невозможен, если они не согласны жить друг с другом. И мм, дате Акрасул-аллаха, принимаем за истину слова этой кшищ, Пдетому мы обязаны спросить: хочет ли дочь Белена Канымбюбю жить с сыном Балтабая Тилепом?

— Слава богу! — воскликнул Найманбай.— Я всегда верил истине божьего писания и шариату. Зовите сюда Канымбюбю. Скорее зовите!

Тазабеку явно не понравилось это место из шариата.

— Не торопись, сват. Осмелится ли молоденькая женщина в присутствии уважаемых седых людей открыть свое лицо? Думаю, она скорее от стыда сгорит, чем позволит себе что-то сказать.

— Да, такого обычая у нашего народа никогда не было. Женщина, решившая бросить мужа, не смела бесстыдно сидеть перед нами,— сказал Кыдырбай, вытягивая свою длинющую шею. Он с самого начала не одобрял этот спор. «О создатель, не слишком ли много развелось женщин, не желающих жить с мужьями?»

Повысив голос, Кыдырбай добавил:

— По-моему, надо послать к Канымбюбю трех свидетелей. Пусть спросят: согласна ли она жить с Тилепом? Кого послать? С верхнего аила — Текебая, с аила Тазабека — Мекебая да с нашего аила — младшего моего брата Алымбая. Свидетели узнают всю правду и доложат нам.

Все старейшины согласились с этим предложением. Семья Тилепа спокойно сидела за вечерним чаем. Видимо, о сходе, который сейчас проводили старшие в большой юрте на окраине аила, тут и не знали.

Текебай, Мекебай и Алымбай один за другим скользнули в юрту и остановились у входа.

Канымбюбю маленьким серым комочком, сидя у очага, наливала чай из кашгарского чайника. Очередную пиалу она протянула Мекебаю. Мекебай любил пошутить, хотя и не отличался умом. Он приходился дальним родственником Тилепу и, озорно сверкая большими глазами, пробовал заигрывать с Канымбюбю. Мекебай тайком ожидал смерти Тилепа, в надежде, что девочка достанется ему в жены. Поэтому он совсем не хотел, чтобы ее далеко увезли родственники и там просватали за другого. Все это заранее рассчитал Кыдырбай и, посылая Мекебая свидетелем, больше всего надеялся на него.

Едва взяв в руки горячую пиалу, Мекебай с ходу спросил:

— Эй, джене, скажи, желаешь ли ты нашего брата Тилепа? Или...

Канымбюбю опешила от неожиданного вопроса.

— А в чем дело? Почему я его не должна желать? Мекебай повел плечами, довольный полученным ответом.

— Да ничего особенного,— сказал он с улыбкой.— Там собрались все старейшины родов. Приехал со своими людьми дядя Найманбай. Он намеревается забрать свою племянницу...

Тут Канымбюбю пришла в себя и, вскочив с места, торопясь заговорила:

— А что же сразу не сказали? Разве я по своему желанию пришла? Помните, я со слезами убегала, вы же меня догнали и связанную приволокли.

Старейшины это знают, они и скажут правду. Не обижайте меня, дяденьки. Освободите...

Трое свидетелей вернулись на сход.

Мекебай и Алымбай стояли, как бычки с завязанными носами.

Обо всем, как и ожидал Кыдырбай, сказал Мекебай.

— Сначала она испугалась, даже вздрогнула и сказала: «А почему бы его и не желать?» Но потом, когда поняла, в чем дело, расплакалась и сказала: «Нет, не желаю»...

Когда свидетели удалились, Тазабек, недовольный пришедшим муллой, бросил на него уничтожающий взгляд. «Если женщину неожиданно освободят, я не посмотрю ни на что и вырву твою душу из поганого тела».

Пока свидетели ходили к Канымбюбю, мулла терзался сомнениями: не сболтнул ли он чего лишнего? Но, услышав, с чем пришел Мекебай, он успокоился за свою душу и вымолвил:

— Шариат принимает лишь первые слова, что произносят уста. А то, что потом говорит сердце, богу безразлично. Раз молодая женщина сама признала, что желает Тилепа, тут все ясно. Поэтому шариат запрещает нам освободить ее от замужества.

Тазабек, Кыдырбай и остальные старейшины поддержали муллу.

— Раз шариат не позволяет, значит, так и должно быть. Пусть и дальше живет с Тилепом.

Сердце Найманбая сжалось от боли, и он с мольбой обратился ко всем:

— Сжальтесь, люди, над беззащитной девочкой! Побойтесь бога! Ведь у нее страшная судьба. Четыре ночи мы провели в пути, очень долог и труден был

наш путь к вам. И я глубоко надеялся, что здесь найдутся мудрые люди, которые видели слезы моей племянницы и слышали ее вздохи. Если вы освободите ее от уз замужества, я готов дать за сироту двойной выкуп. Мы будем ездить друг к другу в гости. Прошу вас, освободите племянницу, прошу как сват. Бедняжка с перепугу сперва ничего не поняла. А когда смекнула, она сказала правду: ее привезли сюда насильно, и не желает она теперешнего мужа. Пожалейте несчастную мою племянницу, не губите напрасно. Не пользуйтесь своей властью, о старейшины!

И Тазабек, и Кыдырбай дорожили скотом и за большой выкуп могли бы вернуть Канымбюбю ее дяде. Но опять же подумали о затронутой чести: «Невестка Асантая Айнагуль позорно убежала от мужа; вторая жена бая Серкебая Гульбюбю поехала к родителям и не вернулась к мужу. Разве этого мало?

Теперь молоденькая Канымбюбю отказывается от почтенного мужа. Где такое видано? В народе их засмеют, обольют позором. Нет! Возможно, Найманбай в своем роду уважаемый человек. Нам-то какое до этого дело? Не дадим ему племянницу. Пусть отправляется домой, с чем приехал».

Все сурово молчали, и Найманбай, видя, что тут толку не будет, сказал: — Значит, вам не жалко бедняжку. Да покарает вас аллах по законам шариата. Я уезжаю глубоко оскорбленным. Напрасно надеялся на вас, аксакалы...

Когда Найманбай и сопровождавшие его люди тронулись было в обратный путь, Кыдырбай, — все-таки он чувствовал за собой какую-то вину, — признался:

— Найманбай совсем не глупый и хороший человек. Напрасно мы его обидели...

А Тазабек не таился: он был очень доволен, что вышло, как задумал.

— Вольно Найманбаю ум и честь показывать перед своим народом. А» в наши семейные дела ему нечего соваться. Сами знаем, как надо жить, — проворчал он.

Поглаживая черную бородку, Найманбай прощался с Канымбюбю:

— О милая и родная племянница Канымбюбю! Нарочно приезжал, чтобы узнать, как ты живешь тут. Все узнал и увидел. На то божья воля, дорогая моя. Терпеть надо. Не плачь и не печалься. В вашем аиле мало душевных аксакалов. Но не падай духом. Мы еще увидимся. Прощай, милая племянница!..

Канымбюбю от щемящей боли и тоски застонала:

— Ой, таяке, ой, таяке¹. И вы меня бросили? Как мне жить теперь?!

Погас долгожданный огонь ее надежды...

ТРИ СМЕРТИ

Не жалея себя, Батийна работала с утра и до вечера, она молча сносила оскорбления, получала несметное число тумачков, ночью плакала, вздыхала, погружалась в тревожный сон, а утром вставала бодрая, освеженная, словно расцветший за ночь цветок лютика.

Даже такое испытание, как обида, которую Серкебай нанес своей ненаглядной Неженке — Гульбюбю, не смогло запугать Батийну. А Гульбюбю не вынесла незаслуженного позора. Она не могла больше глядеть в глаза людям, уехала к родителям и больше не вернулась. Темиркан, благо среди своих соплеменников он был уважаемым старейшиной, сумел освободить дочь из брачного плена с Серкебаем. О создатель! Была бы такая сила влияния у всех отцов! Недостает ее хотя бы охотнику Казаку. Не может он даже один раз в году проведать свою дочь. А несчастная вдова Сыяда — мать Канымбюбю? Жила поблизости от дочери, а помочь-то ничем не могла. Бедность не давала матери разогнуть спину, тяжелые болезни не позволяли ей подняться с постели. Что ей лишь осталось — сокрушенно вздыхать по единственной дочке и оплакивать ее тяжелую долю: «О бедняжка, в какой час я родила тебя?»

При известии, что Найманбай скоро приедет и освободит сироту, у Сыяды сердце чуть не разорвалось от радости. В конце концов шариат — божий закон — не освободил ее дочь. Найманбай оказался не в силах помочь Канымбюбю. Несчастливая мать горевала. «О люди,— шептала она.— Что вы глумитесь над моей звездочкой? Я просила вас: сделайте меня своей рабыней, но освободите дочь. Угасает робкий огонек, единственный светильник нашего отца. Пожалейте бедную сироту. Ведь она тоже человек».

Бедная Сыяда слегла, обращалась за помощью и к горам, и к камням, и к богу, и к черту, взывала к создателю-аллаху, к духам батыров и великанов — прийти на помощь дочери. А помощь ниоткуда не приходила. Кто прислушается к просьбе бессильной вдовы?

Сыяда совсем ослабела, где ей было добраться до юрты Тазабека или Кыдырбая! Даже если б и добралась, кто бы ее слушал?..

Взяв в ослабевшие руки кривую палку из сухого можжевельника и неуверенно ступая трясущимися ногами, она вышла с надеждой пожаловаться старейшинам.

Она путалась в лохмотьях длинного бешмета, в голове все мутилось. Сыяда топталась вокруг своего прокопченного дырявого шалашика.

— О милые старейшины! Что же вы не вступитесь за мою сиротку? Богом проклятый Тилеп издевается, заживо хоронит мою звездочку. Куда же вы смотрите? Ведь она птенчиком попала в сети гадкого человека. И как ей выбраться оттуда?

Прислонившись к шалашу, Сыяда сползла на сырую землю, и навеки закрылись у нее глаза.

Круглых сирот после смерти вдовой Сыяды взял на содержание брат Канымбюбю — Асантай. Канымбюбюг совершенно была беспомощна. Сама еще ничего путного не видела, считай, с малых лет заточена в мрачную юрту Тилепа. А после смерти матери и вовсе стала неразлучной тенью Батийны — единственной своей заступницы.

— Что же теперь? Почему меня все-таки не избавили, сестра, от моего мучителя?

— Разве ты не знаешь, что случилось? Твой дядя сделал все, что в его возможностях. Но силы были неравные. И старейшины взяли над ним верх. А пришлый мулла поддался этому узкоглазому дьяволу Тазабеку. Какой же он мулла, если бога меньше боится, чем Тазабека? Настоящий он трус и прислужник!

У Канымбюбю глаза округлились от изумления.

— А что, сестра, разве и муллы бывают трусами?

— Еще какими! Ты пока ребенок и не все понимаешь... И тоже изрядная трусишка. Так бы и объявила свидетелям, что не Желаеть Тилепа, что забрал он тебя в покрытие долга за жалкую мерлушку-овчинку и что хочешь скорей уйти к матери...

Канымбюбю притихла было, потом сквозь слезы сказала:

— Этот Мекебай меня напугал. Улыбается и спрашивает: «Желаю ли я Тилепа?» Я и не знала, что ответить... А теперь что? Дядя, наверное, больше не приедет. Мама умерла...

Батийна обняла Канымбюбю за худенькие, острые плечи, прижала ее голову к своей груди и кончиками кисейного платка вытерла у нее слезы.

— Не бойся Тилепа. Скажи ему: мама умерла. Маленькие братишки остались сиротами. Я буду к ним ездить. Скажи, что ты должна им помогать... Ведь ты — настоящая хозяйка над всем скотом, что есть у Тилепа. Скажи ему твердо: ты обязан кормить моих малышей. Если откажешься, уйду, мол, от тебя, и пропадай себе пропадом.

— Сестра, Тилеп очень жадный старик. Он трясется даже над обглоданной костью.

— А ты и не спрашивай у него. Бери тайком, что надо, и носи малышам. Ведь ты свое берешь.

«Как же так?» — подумала Канымбюбю. А Батийна уверенно добавила:

— Теперь и я не прежняя. Стала смелее. Смогу постоять за тебя. У нас вон сколько еды пропадает зря. Я буду приносить тебе и мясо, и масло, и сушеный сыр, и сладкий творог. Скажи своему старшему брату Асанбаю, пусть приезжает. Я ему дам шерсти, хороших шкурок на шапки и шубы детям...

Канымбюбю немного воспрянула духом. «А и правду говорит сестра. Кто кроме меня поможет малышам?»

В последнее время Гульсун и Батийна тесно сдружились, совсем как неразлучные сестры, у которых нет никаких тайн. Доверчивая юная свекровь в разговорах с Батийной отводила Душу.

Случается, сердце у Гульсун вдруг сожмется в комочек от приступа тоски, но тут же открытые черные глаза молодухи озорно загорятся, по личику с мелкими веснушками промелькнет лукавая усмешка, и девочка-свекровь скажет:

— До чего же хитер у меня старик! Лежит, задыхается от кашля, не в силах голову поднять над подушкой, а чуть уловит шорох в юрте, насторожится, словно кот, и сейчас же допытывается: «Кто это там? Иди, иди отсюда!» Стоит кому переступить порог, и он, трухлявый пенёк, бесится, зло машет рукой, покрикивает: «Кто тебя сюда звал? Убирайся!» Ревнует, значит, к каждому...

— Ну и черт с ним, пусть ревнует! — вставляет Батийна. — Твой старик все равно что арча с усохшими корнями на краю высокой скалы, вот-вот гнилое дерево рухнет в пропасть!

Гульсун усмехается и добавляет:

— Вредный же старик... Вовсе сует свой нос! Ревнивый.

— Плевать, что он ревнивый. Что тебе!.. — Батийна, сощурившись, негромко засмеялась. — Ты лучше скажи: а старший брат Канымбюбю заезжает к тебе? Как там поживают сиротки?

Гульсун наклонилась к уху Батийны и стеснительно зашептала:

— Да, сношенька, невзначай появляется. Недавно был. В неурочный час. И проклятый старик, кажется, его заметил. Раскричался: «Пока я был всеильным Атантаем — в мою юрту никто не смел ходить! А теперь сюда заглядывает всякий, кому не лень, чего-то вынюхивает. Это ты их привлекаешь, попрыгунья? Кто тут сейчас был? Гнать! Чтoб ноги его здесь не было! Мои проклятья, смотри, дойдут до всевышнего и покарают тебя, попробуй только мне изменить. Не только на этом, но и на том свете будешь проклята! Засушу тебя, как трухлявую арчу». Ишь ты, старый хрыч, лежит неподвижно, кашляет хриплым лаем, а туда же — страшит, что засушит меня.

Гульсун рассмеялась и, ткнув Батийну в плечо острым пальчиком, добавила:

— А мне иногда страшновато. Как подумаешь, старик еще заколдует меня...

— Пустое. Зря ты боишься, — сказала Батийна со смешком. — Мужчины самого аллаха не страшатся, а нам чего перед мужьями робеть?

Гульсун наморщила лоб. «А что, правду говорит Батийна. Какое этому старику дело до того, кто ко мне ездит? Чихать мне на его проклятья, а я поблаженствую со своим желанным Асаы-баем».

— Верно, эже, — подхватила Батийна, угадав мысли Гульсун. — В этой жизни нет, наверное, ни одного благодарного мужчины. Сколько я ни старалась, хотела понравиться, все делала в угоду. А он меня?.. Плеткой... Натерпелась. А ты молодая, веселись и радуйся со своим милым. Смотри только, чтобы о злой язык не уколется. И никто не посмеет тебе слово поперек сказать. Неизвестно, кто тут виноват: то ли старый муж, то ли ночной бродяга-ветер? Но Гульсун, «до которой никто не смел дотронуться», нескрываясь, изменялась. Все чаще ее клонило ко сну. Изнемогая от головокружения и тошноты, она полеживала на расписной кошме, а то и где придется. Лицо Гульсун покрылось крупными конопushками, припухло, на щеках появились сероватые пятна.

Как-то Турумтай предупредила Батийну:

— Кажется, наша свекровь понесла. Присматривай за ней. Чтобы никто не испугал. Надо беречь молодуху — первый ребенок будет.

Узнал и старик Атантай, что Гульсун беременная. Но ничуть, кажется, не обрадовался, что в восемьдесят лет выпустит из своего гнезда еще одного птенчика. Содрогаясь от лихорадки, он сокрушенно пожурил Гульсун:

— Допрыгалась... Ах ты непутевая!.. Наперед знал... Опершись трясущимися руками о подушку, он хотел было

приподняться, но что-то у него хрустнуло, и старик повалился навзничь.

С того дня Атантай лишился речи. Он не мог уже сказать: старость ли его одолевает, или какая болезнь точит тело. Пролежал безмолвно и недвижимо три дня, а на четвертый на глазах у своих сыновей и снох вытянулся, седая борода задралась вверх, и он навсегда успокоился.

Смерть престарелого человека, прожившего долгую жизнь,— весть сама по себе не очень-то печальная для его родственников. Тем не менее похоронить его со всеми присущими почестями — святой долг всех близких покойника.

Старик умер. Но имя его продолжает жить и в старшем сыне Кыдырбае, и в младшем Алымбае, и в братьях и сестрах.

Едва Атантай закрыл глаза и душа его рассталась с телом, несколько гонцов верхами поскакали по окрестным аилам, оповестить родственников и близких о печальной утрате.

Домочадцы же кинулись искать Гульсун.

— Батийна, где твоя свекровь? — озабоченно, прямо с порога спросила Турумтай. — Куда она подевалась? Разве она не знает, что старик ее преставился? Не пришлось бы нам краснеть: люди придут, а вдовы нет дома. Но Гульсун и правда было не до старика. Ей самой было тяжело.

Батийна, впрочем, недолго искала свекровь: нашла ее за юртой. В час смерти Атантая Гульсун спала в тени.

— Эже, эже, вставай, скорей! Гульсун сонно, нехотя протерла глаза.

— Божья воля, старик твой только что испустил дух,— сказала Батийна.

— Что, умер? — Гульсун поежилась.

— Идем! Тебя должны покрыть черным...

Упираясь руками в землю, Гульсун с натугой поднялась. Живот у нее заметно округлился. Батийна ввела юную вдову в юрту.

Жены родственников мужа облачили Гульсун в траурный наряд — черную мантию, подпоясанную шелковым кушаком, и просторный парчовый халат, свободно наброшенный на плечи.

Молодой вдове ничуть не хотелось плакать. Ей было даже смешно, что ее так забавно обрядили.

Не дожидаясь, когда женщины позовут ее слагать плачевные запевки, она тихо спросила Батийну:

— Как же мне величать старика?

— Говори: «На кого ты оставил меня, о мудрый мой падишах и властелин?..»

Гульсун призадумалась и шепнула Батийне:

— Пожалуй, просто называть падишахом, да? Батийна кивнула головой. И Гульсун запела кошок...

Просватанная девочкой за старика, который годился ей в деды, она рано повзрослела душой и за наружной веселостью приучила себя скрывать печаль. Мало кто из бравых джигитов заглядывался на Гульсун, дочь местного сапожника. Кто обратит внимание на крохотную замарашку, дотемна занятую очисткой сыромятных кож и растяжкой жил на нитки? Когда Гульсун пришли сватать за богатого, именитого старика Атанта, отец девочки не стал противиться. Посмей он что-ни-будь возразить, старшины могли пристыдить, а то и припугнуть сапожника: «Безумец! Не зарывайся! Смотри, покарает тебя борода Атанта-аке».

Атантай взял себе в жены Гульсун, когда ей было пятнадцать, а ему за восемьдесят. И она досталась ему даже без особого калыма. «Пусть погрееет зябкие стариковские колени. Авось около юного существа еще малость поживу. Молодая кровь пожурчит около меня, и ее горячее дыхание взбодрит мое дряблое тело», — не терял надежды жених-аксакал.

Прожили Атантай с юной женой несколько лет, и свалился он, подобно древней арке, продутой всеми ветрами и давно побелевшей под солнцем.

Мой падишах,

Отрада наших глаз,

Ты сокол смелый, улетел от нас.

Мой падишах,

Несметна рать людей,

Исчезнувших среди ночей и дней.

Высоким, чистым голосом Гульсун слагала прощальный кошок про мужа — древнего Атанта, которого она, словно кукла, забавляла в его последние годы. Песня получалась простая, но трогала за душу каждого, кто был на заупокойной трапезе. Гульсун нанизывала слова, как бисеринки. И участники похорон, слушая ее, вместе с ней грустили и вздыхали, а то и улыбались невольно. Колокольчиком разливался трепетный кошок Гульсун:

И в страшный год,

Когда в седой пыли

Китайцев полчища

Поработить нас шли,

Их у границы встретил наш народ —

Какие там джигиты полегли!

Мой падишах,

Ты для меня Кызыр,

Таких, как ты, не часто видит мир.

О сокол мой,

Среди ушедших нет

Тех, кто без мук покинул этот свет.

С каждым новым кошом, что слагала Гульсун, ее залиvistый нежный голос звучал звонче и чище. Она не рыдала, подобно иным режущим слух

горластым женщинам, и не вопила до хрипоты отрывистым и резким плачем, подобно следу одинокого всадника на верблюде.

Гульсун не стремилась проливать слезы. Некого было оплакивать. Сердце у нее не щемило от утраты дряхлого мужа. Но ей хотелось петь, еще петь своими словами.

Слагая строфу за строфой, Гульсун вдохновенно сочинила новый кошок:

Мой падишах,

За нами смерть следит,

И за горами нас она узрит.

Мой падишах,

Мы все подвластны ей,

Властителей земных она сильнее.

Кто из живых

Ее осилить смог?

Она шагает за любой порог.

Она придет —

И не прогонишь прочь.

Таков закон: за днем приходит ночь.

Пусть бога не корит

За свой недолгий век

И не таит

Обиды человек.

Мой падишах,

Не возропщи и ты —

Кто в мире видел вечные цветы?

Мой падишах,

Другого нет пути:

Коль смерть пришла, ее путем иди.

Коль смерть зовет,

И ты иди за ней

В ее простор —

От светлых этих дней.

Когда душа уходит навсегда

От тела бренного —

О чем жалеть тогда?

Свое отжив,

Зачем стремиться жить?

Не лучше ли уйти и муки позабыть.

...Отпричитала вдова Гульсун, оплакали родственники и предали земле почтенного Атантая, но плач у его юрты не сразу погас.

По стародавним обычаям поминки тянутся целый год. И старухи, и обязательно вдова, нередко и молодые женщины трижды на дню собираются и громко причитают.

Вначале хором голоса все женщины, потом смолкают, и протяжный кошок выводят лишь те, кто умеет слагать. Они пронзительно оповещают каждого вошедшего в юрту, кем был усопший, восхваляют его былые подвиги, прославляют его мужество и красноречие, великую щедрость и доброту характера.

Воспевание достоинств умершего длится весь год. Обычно осенью дается поминальный пир, на него съезжаются и сходятся все, кто сколько-нибудь знал покойного.

Лишь после поминального аша¹ с вдовы снимают черное покрывало, и она прекращает слагать кошоки. Может ездить по гостям. Родственники отменно угощают ее, одаривают особым платком и чапаном. Теперь вдова считается свободной от замужества и может устраивать дальнейшую свою жизнь. Осень была на пороге. словно выщербленные зубы верблюда, вершины Великих гор прятались в мглистых прядках тумана.

Уже две недели, как аил Кыдырбая переключался на осеннее стойбище, кругом была жухлая, переспевшая и примятая морозцем трава.

Гульсун плохо почувствовала себя с первого дня переезда — хваталась за бока, охала и приседала.

— Ой, невестушка, что-то живот у меня нестерпимо болит. Что это значит, а?

— А вдруг это схватки, эже?

Гульсун то бледнела, то все лицо словно заливало краской. Батийна тревожно заторопилась:

— О боже, да это настоящие схватки, эже!

Гульсун уложили в постель и вызвали повитух. Трое суток продолжались схватки.

Чего только не делали старухи повитухи: разминали живот, массировали спину, щупали пульс и, взяв Гульсун за руки, качали и переворачивали то налево, то направо, и все напрасно.

Наконец положили стонущую роженицу на спину и принялись крутить большую чашку на округло-вздutom животе. Не помогло.

Повитуха Маты изнемогла, призналась:

— Таких родов я еще не встречала. Скажите Кыдырбаю, надо скорее послать за бюю — знахаркой из аила Каба. Может, она чем поможет, а я бессильна уже...

Человек, выехавший с запасной лошадей в аил Каба еще утром, привез знахарку после обеда — широкую в плечах мужеподобную женщину.

Спешившись, знахарка тщательно вымыла руки горячей водой из медного кумгана и совершила омовение. Осмотр Гульсун показал, что ребенок задохся в животе матери, и смерть неотвратимо нависла над женщиной.

Лицо повитухи посуровело.

— Зачем так поздно меня позвали? Да еще обманули, что роды только начинаются, — накинулась она на Кыдырбая. — А можно было спасти ребенка и мать, если б я своевременно помогла. А теперь слишком поздно. Хотите, я могу извлечь трупик младенца... Только напишите мне расписку, что по

вашему собственному желанию. Иначе такой грех я не возьму на себя. Бог мне этого не простит.

Гульсун лежала с едва уловимым пульсом всю ночь без сознания.

Под утро она как-то вся выпрямилась, чуть слышно прошептала:

— Позовите сюда всех моих детей... Вместе с невестками. Пусть немного посидят около меня...

Постель страдальцы плотно окружила вся родня Атантая. Гульсун едва дышала. Опустив седеющую голову, Кыдырбай растирал ее хрупкие безжизненные пальцы.

— О дети мои, вы не сосали мою грудь, но принимали еду из моих рук.

Значит, я ваша мать,— тяжело дыша, говорила Гульсун.— Взяли вы меня за вашего отца, когда я еще была девочкой. Но считаю вас своими детьми. Я ухожу с мыслью, что оставляю здесь своих сирот. А вы проводите меня в мой последний путь.

Напрягшись, она вдруг внятно сказала:

— Да, ваш отец был стар, я была молода. Если что не так делала, простите меня. Вас же сам создатель простит.

Кыдырбай был неузнаваем. Сидел у изголовья Гульсун притихший, озабоченный. Даже заплакал и, поглаживая остывающие руки Гульсун, проговорил:

— О милая и умная наша мать, ты ни в чем не виновата. Виноваты мы, что не уберегли тебя. Прости нас и не обижайся на своих детей. Своим духом и прахом поддерживай нас, живых, дорогая мать. Прощай!

То ли слезы блеснули в глазах Гульсун, то ли сверкнула в них последняя живая искринка, она с лаской посмотрела на Батийну:

— Дети мои, прах мой будет вашим телохранителем. Только прошу вас — не обижайте мою невестку Батийну. Она добрая. Сынок Алымбай, не бей ее напрасно.

Гульсун смолкла, с трудом глотнула слюну, и голос ее донесся откуда-то издалека, словно его принесло эхо:

— Это мой вам аманат.

Гульсун безмятежно спала. На ее детском веснушчатом лице не успела угаснуть немного наивная, немного горькая улыбка. Шелковое одеяло припустилось от последнего вздоха, и тело Гульсун замерло, подобно срубленному острым топором деревцу вербы. *

Кыдырбай печально сказал:

— С какой замечательной матерью мы расстаемся. Не ценили мы ее...

Думали, какая-то сирота среди нас... Почтим ее память, родные мои.

Во все аилы поскакали гонцы с вестью: скончалась байбиче Атантая-аке. И хоронили ее не как бездетную, одинокую женщину, а как старшую байбиче властелина и аксакала Атантая, как мать почтенных детей.

На пегом жеребце приехал и Асанбай. Кажется, джигит причитал всех гройче, но в общем плаче на это никто не обратил внимания. А он, бедняжка, оплакивал свою первую любовь, которая так и прошла мимо него.

На погосте, что занял холмик между трех тропинок, где никогда не прекращалось движение всадников, спустя пять месяцев после смерти Атантая снова собралось множество людей, чтобы проводить в последний путь Гульсун.

Могилу вырыли рядом с усыпальницей старика. Прекрасное, юное тело Гульсун скрылось под серым холмиком.

Муллы во весь голос прочитали положенные молитвы, пожелали покойнице небесного счастья и вечного сна, после чего толпа покинула холм.

Есть поверье: покойника незамедлительно начинают допрашивать Ункур-Манкур¹. Может быть, поэтому все присутствующие на похоронах — мужчины из четырех родов Карасаза — поспешно сели на коней и двинулись к аилу. Как только они миновали половину пути, Кыдырбай, Тазабек, а с ними и все ехавшие всадники начали причитать по покойной.

— О милая и родная наша мать! На кого ты нас оставила! — витал над землей слитый хор причитающих голосов.

ВЫЗОВ

Детская улыбка Гульсун, ее умная, рассудительная речь, ее тихая и ровная походка так и стояли перед глазами Батийны. Каждую ночь она видела Гульсун, но та, удаляясь, говорила: «Батийна, не подходи ко мне. Ведь я умерла». Батийна торопилась вслед за ней. Искала. Вздиралась на пригорок. Гульсун уходила еще дальше. Батийна поднималась на носки, вытягивала шею, кричала: «Ой, эже! Где ты? Зачем покинула меня одну? Без тебя мне страшно, эже». Но Гульсун укрылась где-то за скалой. Батийна горько плакала, как брошенный матерью ребенок, и вспоминала, как Гульсун с доброй улыбкой на лице наставляла: «Ты не давай им помыкать собой, сношенька. Пока я жива, не позволю, чтобы тебе делали больно. Будь же самостоятельной и никого не бойся». ^

Бывало, Батийна тайком от Турумтай жены деверя, нет-нет да и припрячет то клубок разноцветной шерсти, то овчину и передаст это беднякам. Теперь же на помин души покойников она без оглядки стала отправлять даже крупных ягнят. А одной женщине, которой нечем было покрыть свою юрту, она передала целые кошмы.

— Разоришь ты меня! — кричал Алымбай, замахиваясь палкой.

На это Батийна лишь звонко смеялась.

— Ты на меня, дурень, не очень-то покрикивай! Не ты наживал. Посмотри-ка на мои мозолистые руки! Не судья ты мне!

С каждым днем Батийна действовала решительней и бесстрашней.

Однажды у юрты Кыдырбая спешилось несколько человек попить кумыса.

Они часто разъезжали по аилам. Почетное место в юрте, как и полагается, заняли наиболее именитые, знатные гости. В середине круга расселся пришлый из саяков мулла. Все его восторженно слушали.

Турумтай за загородкой вытирала белоснежным полотенцем с пушистой бахромой расписные пиалы под кумыс. Батийна добивала напиток в большом кожаном бурдюке. Между делом она прислушивалась к назидательным речам

из божьего писания. Вдруг Батийна остановила маслобойку и обратилась к мулле:

— Молдоке, по вашим словам выходит, что пути шариата неисповедимы и неисчислимы. Почему же в таком случае вы не нашли тот самый путь, некоторому бедняжка Канымбюбю полупила бы свободу? Вы же ее хорошо знаете?

Не принято женщине обращаться к мулле непосредственно, Да еще .в присутствии старших мужчин. Он немного замешкался и ответил:

~- Шариат принимает во внимание только первый ответ. А в своем первом ответе она заявила то желает старика Тилепа.

— Но ведь это же не было ее действительное желание?

— Не имеет значения. Батийна вспыхнула.

— Такой шариат, который не принимает правды, зачем он мне! Значит, он лживый. Отныне у меня пропала вера!

Мужчины подняли удивленные глаза. Кое-кто про себя читал молитву, другие с опаской перешептывались.

— Ты провинилась перед богом,— сказал мулла Батийне,— сейчас же прочитай молитву, грешное дитя мое.

— Не буду, молдоке. Такой шариат, который не видит слез бедняков и не слышит их стоны, я отвергаю. Даже если попаду в ад, даже если сам аллах создал обманчивый, неустойчивый шариат, все равно я недовольна. Если можете, то обрушивайте на мою голову все громы и молнии!

Гостям было не до кумыса. Напиток застревал в горле. Мулла несколько раз вслух прочитал молитву, неутешительно подумал: «Лайлова-иллала, какое кощунство! Безбожница этакая! Так поносить бога! Женщины, не смеющие прямо смотреть на мужчину, плюют на создателя, не стыдясь белобородых старцев. Что творится на белом свете, эгем¹!

Взбив кумыс, Батийна наклонила горлышко бурдюка, налила верхом глиняную корчагу и с независимым видом покинула юрту. Внезапно уйти от почтенных гостей, которым она обязана была прислуживать, что может быть постыднее?

— Если эта женщина не бросит свой гордый норов,— сверкая опухшими глазами, взвинтилась Турумтай,— она принесет нам изрядную беду. Сам черт ей потакает! Перестала уважать не только младших, но и старших. Умнее всех хочет казаться. Бесстыдница! Опоганить так свой рот!...

Кыдырбай крякнул, давая понять жене, чтобы прекратила этот разговор при чужих, а вслух сказал:

— Э-э, байбиче, махни на это рукой. Наливай нам кумыса, и все обойдется. Или ты считаешь ниже своего достоинства прислуживать именитым людям? Турумтай успокоилась, притихла.

— Честь моя не задета, хозяин нашей юрты. Я просто удивляюсь на свою невестку. Она совсем выбилась из повиновения.

И правда, Батийна чувствовала себя по-новому свободной, будто кто-то вселил в нее светлую надежду, открыл, разбудил дремавшие силы.

Батийна теперь редко прикасалась к тяжелому набрякшему мешку, редко уходила с ним за сухим кизяком в поле. Куда чаще она отлавливала лучших коней, по-мужски быстро и ловко седлала их и на свой риск скакала по соседним аилам. Случалось, что поводок своего коня Батийна направляла в сторону

едуших всадников: неудержимо хотелось послушать, что делается в мире. Однажды она узнала, что в верхний аил из Андижана приехал предсказатель-ясновидец. «Если он на самом деле ясновидец, то должен сказать чистую правду о наших обездоленных женщинах»,— решила Батийна.

Недолго думая, она оседлала ходкую серую кобылку и пустилась в дорогу. Только успела отъехать от аила, как на крупном гнедом жеребце, скакавшем во весь опор, догнал ее муж Алымбай. Он на всю округу отчаянно орал: . — Эге-гей-ей, баба! Куда поехала?

Батийна слышала окрик мужа, однако продолжала ехать.

Когда топот копыт приблизился, женщина резко дернула кобылку в сторону. Жеребец подпрыгнул и галопом проскакал мимо. Обозленный Алымбай ничего не смог поделать. Тем временем Батийна погнала быстрее свою гнедую.

В лохматой шапке-ушанке и широком домотканом кементае похожий на взлетающего грифа, муж пустился догонять Батийну с воплем:

— Уу-УУу! Я тебе, потаскуха!..

Батийна круто повернула кобылку и поскакала навстречу Алымбаю. Полы ее верхней одежды и подол платья от скачки так шумно развевались на ветру, что гнедой жеребец шарахнулся в сторону. Алымбай шлепнулся на землю. Весь в пыли, кряхтя и постанывая, он поднимался на ноги. Батийна звонко расхохоталась ему в лицо.

— Эх ты, медведь, тоже мне всадник! В седле не умеешь держаться, а еще гонишься! Нечего за мной гоняться. Если я рассержусь, тогда не жди пощады. Я еду к ясновидцу из Андижана. Хочу узнать, как от тебя избавиться. Езжай домой и к моему возвращению приготовь хорошо настоящего чаю.

Повернув послушную кобылку, Батийна ускакала в верхний аил.

Среди кочевников в глухих ущельях об этом ясновидце и пророке ходили целые легенды.

— Про него говорят, с завязанными глазами он вам точно узнает, на каком коне сзади едет всадник.

— Э-э, это еще не все. Он умеет читать мысли, угадывает, о чем человек думает.

— Ну, так умеет и наша повитуха Маты-эне. Для умного человека это, наверное, не составляет труда.

— А я слышал, этот провидец берет в руки зеленую веточку, разрезает ее на две равные части, кладет на ладони, произносит несколько раз заклинательные слова: «Сюф-сюф!» — и две зеленые веточки превращаются в двух серых иноходцев и с места берут рысью.

Кое- кто не верил этим чудесам.

— Сказки! Разве человеку дано сделать то, чего нет на свете?

Нашлись у ясновидца и рьяные защитники.

— Все чистейшая правда, что рассказывают те, кто ездил к нему и видел своими глазами. На моих глазах он однажды взял в руки две одинаковые железки и заставил их целоваться. Одна железка, говорит,— это мужчина, другая — женщина. Вот они и целуются... Лишь нечестивый иноверец может сомневаться в его деяниях. Ясновидец может точно сказать, что ты будешь делать завтра и что тебя ожидает. Вот это пророк!

— А помните невестку Керкибаша? Девять лет она не рожала. Ясновидец потрогал ее пульс и говорит: «У вас в животе завелась капля яда удава. Пока яд не выйдет из вас, ты не будешь рожать детей. Зарежьте, говорит, пятнистую жирную кобылу, отварите побольше мяса и несколько раз сходите к мазару¹. А в пятницу ночью приходите одна туда же. Если бог смилостивится, то на заре к вам явится призрак в белом. Не пугайтесь и не кричите. Если вскрикнете, видение исчезнет, и все пропадет. Молчите. Призрак может походить на человека, но это не человек. Делайте все, что призрак прикажет. Если он смилостивится, яд растает и исчезнет из вашего естества. Потом придете ко мне, и я вам дам настойку от железки-мужчины и от железки-женщины. После чего, красавица, вы сможете явить на свет сына».

Батийна ехала и думала: «И у киргизского муллы у обычных людей я много спрашивала, где путь к свободе, но правды так и не нашла. И никто не сказал, когда наконец затоптанные нынче женщины обретут свободу. Если он настоящий ясновидец, он откроет мне спрятанную правду».

Но, увы, не суждено было ей встретиться с андижанским пророком. Люди сказали — заезжал какой-то посторонний человек в аил. Не то сарт, не то ногаец, не то киргиз,— нос с орлиной горбинкой, широкий открытый блестящий лоб. Кучерявая блестящая борода. Из озорных глаз так и сияет, мол, лукавая улыбка. Вся грудь покрыта такими же кудрявыми, как борода, черными волосами. Волосы и на ногах, и на руках. Не похоже, чтоб простой смертный. И одет не по-нашему. А на чем ездит? Не сразу в толк возьмешь: то ли лошадь, то ли мул, то ли осел. Очень странное животное. Такие у нас не водятся.

— Он показал тут такие чудеса, что у всех глаза на лоб полезли,— говорил один,— обоюдоострым ножом со всего маха ударил себя в обнаженную грудь. Нож вонзился по самую рукоять и, лязгнув, уперся в лопатку. Потом вытащил нож, и не то что раны, ни единой царапины на груди. И нож — чистый, сухой, ни капельки крови... И это еще не все. Докрасна накалил кривой серп из аглицкой стали, несколько раз приложил его к языку, язык даже зашипел, но дым не пошел и язык не сгорел.

— О чудо-человек! — перебивал другой.— А как интересно и забавно он заставлял целоваться железку-мужчину с железкой-женщиной. Засучив рукаве выше локтя, он с улыбкой сказал: «Правоверные, глядите, вот мои руки. Сейчас я возьму две железки, и если они друг другу понравятся, если меж ними вспыхнет искра любви, они притянутся друг к другу и поцелуются».

В одну руку он взял большое, с кулак, черное железо, а в другую — белую железку. Когда поднес их друг к другу, они, звонко цокнув, слиплись — поцеловались, значит. Черное железо целовало даже у молодых женщин булавки, иголки. И он все время приговаривал молодайкам: «Кто из вас любит своего мужа, значит, иголка той поцелует мое железо». И все железки тянулись к черному железу: «чык-чык», — слышалось в юрте. А жена Суксуна не любит своего мужа, изменяет ему, так ее крупное ожерелье черное железо ясновидца даже не стало целовать. Вот здорово! Все отгадывает.

Батийна — какая жалость! — не застала ясновидца, зато вдоволь наслышалась о нем чудес и небылиц. Дома ее ждал, конечно, не чай, а разгневанный муж. Упав с жеребца и получив нахлобучку от Турумтай, Алымбай с нетерпением поджидал — Батийну — сорвать на ней свою злость. И не успела она сойко с кобылицы, как он зарычал:

— Уу-уу... Оо... оо... Ээ... ээ... Кто тебе дал право разъезжать по аилам?

Батийна и бровью не повела.

— Не ори и не оскорбляй, — сказала она. — Ты же везде едешь почему бы и мне не покатайся? Если ты не сторожевой пес, должен и меня уважать.

Алымбай замахнулся на нее плеткой, целясь прямо в макушку, Батийна молниеносным движением перехватила плетку и сильно дернула на себя. От неожиданного сопротивления Алымбай чуть не растянулся на земле. Плетка оторвалась у основания рукоятки. Задышавшись от злости, он затрясся, порываясь к Батийне:

— Уу-уу... Ээ-ээ... Ии-ии... Потаскуха... Убью-у... Батийна далеко отшвырнула переломленную плетку, словно мертвую змею.

— Не кипятись, муженек. Не поддамся больше твоей плетке! Не жди! Не надейся!

Из своей юрты выглянула Турумтай. . Батийна, что с тобой происходит? — хмуро сказала она. — Ведь он муж твой...

Батийна бросила на нее непокорный взгляд и заговорила тоном, не допускающим возражений:

— А что джене разве мы, женщины, хуже мужчин? Ведь это мы их производили на свет! Кто им позволил издеваться над нами? День-деньской пропадаем у казанов, у постели, варим, шьем, моем, по пояс ходим в навозной жиже, доим бесчисленных овец, работаем, как рабыни, а с наших плеч не спускают плетку. Дарим детей и радость. Развлекаем мужей. Почему же они не хотят видеть в нас равных себе подруг? Почему не делятся счастьем и горем? Что мускулами они посильнее, — это хорошо. Вот и помогали бы нам. Мы ли не так созданы? Или они с неба свалились? — Батийна не могла остановиться. — Мужчины мнят себя всемогущими нашими владыками. Пусть тогда эти золотые, нерукотворные владыки попробуют прожить без нас, женщин, хоть один день! Вспомните прошлогодний джут. Сколько тогда выпало снега, какая суровая пришла зима! Все склоны снегом занесло, скот голодал. Кто спас тогда тысячи голов? Женщины! Это они взяли

в руки широкие кожаные скребки и обули валенки. Это они счищали снег со склонов, рвали голыми руками мерзлую, ломкую траву и сберегли животных. А когда пришла повальная черная оспа? Когда многие юрты лишились кормильцев? Кто тогда боролся против болезни и голода? Женщины. А мужчины, которые привыкли хвастать и разъезжать по аилам с одной целью — побольше съесть мяса да выпить кумыса,—в то время походили скорее всего на чахлую травку, что растёт под постельной доской. В черные дни мужчины беспомощно просили подать им воды у таких же больных женщин. Разве хоть слово неправды я сказала, джене? Разве женщины только вьючные животные? Нет! Это святые матери, терпеливые, выносливые, они сеют семена и выращивают потомство. И нечего глумиться над нами. Женщина — великий человек! Почему мы должны быть оскорблены и унижены? Лишь потому, что они мужчины? Нет! Пусть они уважают нас и считаются с нами. Мы, как красные тюльпаны джайлоо, украшаем их юрту. Мы приносим радость, улыбку и благодать в их юрту. Ласковые, добрые, нежные — это женщины. Они вытрут слезы ребенку, накормят голодного, укажут дорогу путнику...

Не только Турумтай, даже Кыдырбай, сидевший в юрте, не нашелся что возразить Батийне. Он крикнул жене:

— Эй, женщина, иди сюда! Зачем она тебе нужна? Оставь ее в покое... О создатель, даже невестки, которые не смели прямо взглянуть, становятся сварливы.

Алымбай, весь дрожа от злости, отошел прочь.

Батийна решила от слов перейти к делу: поехать в город и там встретиться с большими муллами. «Возможно, они справедливые люди, знают истинную правду. Может, скажут что-то новое, дадут совет».

В ее аиле не было повидавших жизнь, грамотных людей, приехавших из больших городов. Лишь седые старики, совершившие паломничество в Мекку. Вернувшись в белых фесках и пересчитывая косточки финиковой пальмы, с упоением рассказывали о богатстве, о всемогуществе божьем, о своих приключениях в дороге. Больше они ничего не умели. Даже узкоглазый Тазабек, на днях ездивший в Чуйскую долину, с восхищением поведал, что какой-то старик, побывавший в Мекке, из подражания самому пророку, женился на девятилетней девчонке.

Те, кто жил в городе, были русские. Они там учились. Батийна их языка не знает. Ей казалось — пойдя она в город, как ее сразу же прогонят. Жены городских ногайцев и сартов, конечно, могли знать и понимать русский. Но они, говорят, такие гордые и чванливые, что не подступишься. Иногда торговцы приезжали в киргизские аилы по двое на тряских тачанках. Они даже сметану не пили из местных чашек, не говоря уже об айране. А недавно приезжал тёрё¹, который обучает русских детей. Глядя на местных киргизов, он качал головой и наполовину по-татарски, наполовину по-казахски говорил:

— Ай-ай, что за жизнь? Чем кочевать по горным отрогам, лучше строили бы дома, обсаживали их садами, учили бы детей в медресе.

Но учитель не приезжал больше в аил. Однако раз уж он проявлял такую заботу о киргизских детях, значит, желал им добра. Видимо, и на этой земле есть радушные, заботливые и умные люди.

Когда Батийну впервые привезли в дом Кыдырбая, его младший сын Качыке еще бегал без пианов. Теперь он повзрослел и вот уже вторую зиму обучался в русской школе в городе. Его приезд обрадовал Батийну. Услышав, что приехал ученый сын Кыдырбая, родные и знакомые собрались на кумыс.

Подростка буквально засыпали вопросами:

— Ну, дорогой Качыке, рассказывай, что там нового в городе? Как учишься? Как вас обучают по-русски? Получается ли что-нибудь у мусульманских ребят?

— А свинину не заставляют есть?

Качыке стеснялся разговаривать с седыми стариками, отводил глаза.

Пришлый мулла осторожно спросил:

— Сынок, вас обучают Библии или Корану?

— Нет, мы не учим ни то, ни другое. Мулла с удивлением глядел на мальчика.

— Нам показывают буквы. Учат разговаривать по-русски. Иногда решаем задачи. Потом учат жарапия².

«О создатель, не зря, видно, говорится в писании, что мусульмане постепенно выйдут из своей религии и станут иноверцами. Наверное, это время подходит»,—подумал мулла, хватаясь за воротник.

Невеселые мысли обуяли, вероятно, и аксакалов. Они вскоре благословили мальчика, пожелали ему доброго здоровья и разошлись по юртам.

Батийна стала потихоньку выпрашивать ученика:

— Миленький, Качыке, расскажи мне, что это такое жарапия? Что вы в ней читаете?

Качыке Батийны не стеснялся и любил, как сестру.

— Жарапию мы еще не учили. Ее читают старшие ребята. А мы читаем такую большую книгу, в которой много разных-разных картинок.

— Большая? Как наш Коран? О боже, не грешно ли, что я русскую книгу сравнила с Кораном?!

Качыке звонко рассмеялся. Батийна погладила мальчика, нежно поцеловала.

— А русские бьют своих жен? — опросила она.

— Не знаю, джене. Я не живу у русских. Русские, говорят, пьют какую-то воду, называют ее самогоном. Некоторые даже дерутся. А кулаки у них знаешь какие большие? Во! Как сложат пальцы в кулак, так он получается вроде нашей шумовки. Наверное, этими кулаками они, когда пьяные, и жен своих бьют. Но плеткой не дерутся.

— А женщин сартов и ногайцев ты видел?

— Все городские сарты прячут своих жен в домах, за высокими заборами. С улицы ничего не видно. Когда женщины выходят на улицу, то их головы, лица и туловища закрыты чем-то черным. Ходят по несколько человек.

Мужчины, все торговцы, продают манти... Жены ногайцев свое лицо не скрывают. Одеваются в разноцветные платья и часто ходят друг к дружке в гости.

Батийне, никогда не видевшей чужой жизни, нелегко все представить. И она снова и снова спрашивает:

— А в городе киргизы есть?

— Пригоняют скот. А продадут скот, идут на старый базар, ходят по магазинам.

— А таких, чтобы в домах жили, разве нет?

— Есть. Только мало. Две или три семьи. И бузу варят, потом продают ее. Живут в старых, закопченных юртах прямо на скотном базаре. Весь день сидят дома и громко разговаривают. Иногда разные люди, перепив бузы, дерутся прямо на улице. Разбивают друг другу носы, лица, бьются кинжалами. Я боюсь таких драк. Киргизы, которые продают скот, тоже боятся таких драк и стараются угнать подальше свой скот. Говорят: «Убегайте скорее, это головорезы. Они нарочно затеяли драку, чтобы потом отнять у нас скот». В городе есть и кашгарцы. О, как страшно дерутся их ган-гуны¹. Люди тогда разбегаются, как мыши от кота.

— А кто такие ган-гуны?

— Они учатся в какой-то школе. Их обучают драться. Прямо подошвами бьют по щекам друг друга. А головой как даст по носу, так кровью зальешься. Ох и страшные драчуны...

— А учатся в городе девушки?

— Русские и татарские девушки учатся в медресе. Они бегают вместе с ребятами, прыгают, как козы, и ничуть не стесняются. Сарты своих дочерей не учат. Киргизских девушек не видел ни одной.

Батийна глубоко задумывается, смотрит перед собой. Интересно, как те женщины, что учатся, потом ясивут ли с мужьями? О боже! Когда же наконец дочери киргизов будут учиться в медресе, когда откроются у них глаза? Дожить бы до такого дня, и умереть можно. Ничего бы не было жалко.

ВСТРЕЧА

Шло время, но Алымбай не менялся, по-прежнему был нелюдим и мрачен.

Когда Батийна просила его рассказать айльные новости, он злился:

— Дьявол ты, не женщина! Ты думаешь, большие люди мне новости рассказывают?

— Несчастный рохля! Ни за что ни про что избить меня плеткой тебе ничего не стоит. Вроде бы грозный мужчина. А мужского слова от тебя не слышу. Как бычок мычишь... Настоящий мужчина раньше других знает, что делается в мире. Ты сын уважаемого человека. И никто тебе не мешает побывать на сходе и посидеть среди старших. Последнее время стало очень беспокойно. Говорят, белый царь воюет то с жапаном, то с германцами, царь больше стал собирать податей. Солдаты волостного — эти пройдохи и сорвиголовы — прямо с пастбищ угоняют лошадей и верблюдов. Даже веревки, арканы, мешки отбирают. А наши честные хвастуны и горлопаны им поддакивают раболепно. У Асантая, который едва-едва сводит концы с концами и содержит

сирот Сяяды, был единственный конь. И его только что угнал этот брехун и негодяй Джарбан.

Толстые губы у Алымбая вздрогнули, и он буркнул:

— А что я поделаю, если у Асантая угнали единственную лошадь? Если надо, рассыльный болуша заберет и моего жеребца.

— Об этом я тебе и толкую! — объяснила Батийна. — Все, кто стоит над бедняками, слишком распускают руки — отбирают, присваивают, что ни попадя. Жалобу бедняка никто не выслушает. Даже такие, как ты, не хозяева над своими конями. Недавно прошел слух, что скоро джигитов начнут брать в солдаты.

И, чтобы хоть немного пронять мужа, Батийна сокрушенно избавила:—А вдруг тебя посадят, как коршуна, на жеребца и увезут в солдаты? Что тогда мне делать?

Алымбай насупился.

— Ты посмотри на нее! Ей хочется поскорей отправить меня в солдаты. Ах ты потаскуха! Пусть попробуют взять меня в солдаты! Я не уйду, пока тебя не зарежу, нечистая твоя сила!..

Батийна вздыхает: «Ну и послал мне бог счастье! А что, если я потихоньку убегу в город? Смогу ли там я в женской одежде показаться на улице? Наверное, нет. Женщин ведь не берут на работу. А если я сбрею косы, оденусь мужчиной? Пойду подметать дворы богатых сартов и татар, а ночью буду ходить в медресе, а? Как было бы хорошо научиться самой читать! Я попросила бы у главного муллы Коран и узнала бы всю правду про шариат. Потом можно бы Поспорить с муллами-недоучками из аила и доказать им, что они отъявленные лжецы, что их шариат — сплошной бред и вранье. Потом я стала бы защищать всех обездоленных и обиженных, как Канымбюбю, стала бы им помогать шариатом».

Батийна теперь редко бывала дома. Нарядно одетая, она без лишних слов уезжала погостить в другие аилы.

Иногда Батийна седлала свою покорную кобылку, легко вскакивала в киргизское седло без подстилки, вешала плетку на кисть руки и, как молодой джигит, ехала осматривать скот. Но это она делала для вида. А хотелось ей послушать, о чем на пригорках толкуют сведущие люди, какие ходят вокруг слухи. Люди чувствовали себя свободно, раз нет «чужих ушей», говорили открыто, не таясь:

— Волостные нынче пошли очень строгие. Раньше говорили: «Давайте ради аллаха и всемогущего царя». Теперь приезжают и прямо требуют: «Отдавайте» — и никаких!.. То ли царь им приказал, то ли кругом прибавилось жадных прихлебателей и сборщиков податей... Одним словом, туго приходится. Обирают со всех сторон, кто только может. Налоги за налогами, поборы за поборами. Говорят, скоро наших джигитов возьмут в солдаты. В народе говорили, что белый царь сотню лет не тронет киргизов, не будет касаться их земель и скота, не возьмет их детей в солдаты. Где оно, это обещание? Значит, все сплошное вранье? Прислали сюда каких-то

казаков, и строят они большие аилы возле зеленых лугов, на обширных равнинах, вдоль рек и озер. Попробуй один проехать по улицам их городов! Крикливые малыши мигом собьют камнем с головы твой тебетей. А жирный бай вовсе не запрещает им так баловаться. Поглаживая широкую, как щит, бороду, громко хохочет и кричит еще: «Айда, шайтан, дальше езжай». Можно ли терпеть столь оскорбительное унижение!..

В тот день Батийна немного задержалась на дальних пастбищах. Чтобы засветло добраться домой, она дала волю серой кобылке, и та понесла ее во весь опор по холмам карасазцев. Кобылка разгорячилась, шея пропотела,— лошадь входила в азарт скачки. Земля гудела, из-под копыт во все стороны летел мягкий чернозем.

Вдруг кобылка, будто увидела волка, отпрянула в сторону.

Из-за холма показалась громадная вязанка хворосту. Ее-то испугалась кобылка. Во все стороны торчали причудливые переплетения корней сгнивших деревьев, веток и сучьев. Вязанка вроде бы двигалась своим ходом, не было видно, кто, собственно, ее тащит.

Кобылица, фыркая и мотая головой, косила глазом на копну, не двигаясь с места.

Вязанка еще шевельнулась и осела. Под ней показалась совсем молодая женщина. Она поправляла подстилку на плечах, чтобы веревка не так впивалась в тело.

Батийна с нескрываемым удивлением подъехала ближе:

— Эй, милая, кто ты такая?

Вытирая рукавом вспотевшее лицо, женщина приветливо улыбнулась и тоже спросила:

— А что вы так испугались, эже?

— Как тут не испугаться? Такой ворох дров разве большому волю под силу... *

Молодая женщина, краснея от стыда, поспешно укрыла колени разодранным подолом ситцевого платья.

— Ой, эжеке! Приходится. Что поделаешь?

— А с какого ты аила, милая? И далеко ли тебе еще нести этот груз? Как тебя зовут?

«Зачем тебе мое имя?»—вопросительным был тусклый взгляд женщины.

— Зовут меня Зуракан, эже.

...Помните батрака Дубану, оклеветанного байбиче Букен в юрте Серкебая, Дубану, в смятении и страхе покинувшего аил? Никто с тех пор точно не знал, жив ли этот батрак-табунщик или где-то сложил голову.

Как-то прошел слух, что в местечке Кубаки волки задрали человека. Спасаясь от хищников, он бросился вроде бы в речку, и его обезображенный труп найден где-то на острове... Родственники и близкие решили, что это и есть Дубана, оплакали его, но никто не выехал, чтобы найти останки табунщика и убедиться, действительно он ли это.

Серкебай, считая себя смертельно оскорбленным человеком, одежда которого оказалась у ног его молоденькой ненаглядной красавицы Гульбюбю,

слышать не желал имени батрака. Виданное ли дело^ собственный табунщик запятнал его, Серкебая, честь. Букен, жена Серкебая, заварившая из ревности эту скандальную историю, после исчезновения Дубаны и побега ненавистой соперницы Гульбюбю старалась и дальше разжигать ярость мужа.

— Смотри, как они хитро задумали,— злорадствовала она.—

Один вроде от стыда убежал, другая вроде от позора ушла, а сами, наверное, где-то встретились да живут теперь вместе, нечестивцы и плуты. Отец детей, как это ты мог проглядеть? Ведь ты всегда отличался острым глазом, чутким ухом и ясным умом! И в какой роковой день ты встретился с хитрой лисой?

Она показала тебе пушистый хвост и была такова. И с кем удрала? С несчастным, грязным табунщиком Дубаной! — Букен, с опухшими от притворных слез глазами, небрежно махнув рукой в сторону полога юрты, прочитала заклинание:— Тьфу-тьфу, нечестивцы. Чтоб духу вашего тут не было! Да исчезнут все мои недуги, и все несчастья и все напасти нашего скота исчезнут вместе с вами, отвратные беглецы, погибель на вас!

Будь на то ее воля, Букен ни за что не позволила бы мужу взять вторую жену. Увы, это было не в ее силах. Обнажая для него белую шейку, игриво, с подобострастием сказала:

— О мой повелитель, мне не жалко, что за эту беспутницу отдано столько отборного скота. И горя мало, что она ушла. Обидно лишь за твою запятнанную честь. Не вздумай жениться еще раз, мой бай.

— Не твоя печаль, байбиче,— с задорцем ответил Серкебай,— разве мало хороших девушек на свете? Разве Серкебай скота лишился? Слава аллаху, все есть, всего хватит. А мне неужели жить теперь бобылем, как бесчестному мужчине, а? Подумаешь, женщина лягнула меня малень&o в грудь. Дальше, байбиче, ты мне сама выберешь подходящую девушку. Да, да, та, что тебе понравится, приглянется и мне,* байбиче. А токол мне все-таки нужна на старости лет. Чтоб колени зябкие отогревала...

Букен чуть не подскочила:

— Бог с тобой, мой повелитель} Разве токол Гульбюбю тебя еще недостаточно проучила?

Серкебай похлопал байбиче по плечу:

— Умница ты у меня. Введи в юрту ту, которая во всем тебе будет повиноваться.

«Лопнуть твоему мочевоому пузырю! — с недобрый чувством подумала Букен.— Заладил — дай ему токол, и все тут». Насупив брови, но сдерживая свой нор, чтобы не разбудить ярости мужа, Букен со смешком добавила:

— Ладно, мой повелитель. Будет по-твоему. Если уж так нужна тебе токол, найду ее сама. Да успокоится твое любвеобильное сердце.

И она нашла ему токол. Нашла среди своих родственников. Это была Каликан — дочь Калдыбая. Кроткая, безропотная девушка. Поэтому хозяйством и даже мужем управляла теперь безраздельно Букен, и байбиче была этим очень горда.

Заметив как-то, что муж в хорошем настроении, она сказала:

— Мой повелитель, ты после меня, как сам говорил, женился на самой красивой девушке. Верно? Ты ее лелеял и холил, как цветок. Говорил, что у луноподобной Гульбюбю золотой пуп. И оставила она тебя «с лупом», опозорила нас на всю степь. Теперь позволь мне решать. Так лучше. Женился ты на дочери бедняка. Где место второй жены? На кухне, конечно. Нечего ее баловать. Не буду баловать ее и я. Пусть привыкает и варить, и стирать. Если ты уважаешь меня и считаешь матерью своих детей, избавь меня от кухни и домашних забот... Помнишь мастера по дереву, нашего дальнего зятя и его сына Текебая? Молодец джигит. Все у него ладно получается. Безропотно работает парень ^а троих. И жену себе нашел под пару. Проворная, в руках у нее горит любая работа. По слухам, она дочь какого-то дехканина с Чуйской долины. С детства приучена делать все сама. Так вот я думаю, не нанять ли ее к нам на кухню? Разве плохо — ты вернулся из гостей, из аила, и тебя ждет свежая еда и веселая жена? Вдвоем с твоей токол они горы перевернут. А платить будем мало. Ну, за полгода столько, сколько бы взял за месяц один наемный работник. А какая слава о тебе снова пойдет! Все заговорят в один голос: «Смотрите, Серкебай для своей байбиче нанял служанку и заставил работать на нее даже токол». Серкебай заносчиво крикнул:

— Э-э, золотоволосая байбиче! Делай, поступай как знаешь. Тебе видней.

И Букен сделала по-своему. Наняла вместе с тихоней Текебаем и его работающую жену. Именно эта Зуракан, у которой в руках горела любая работа, повстречалась Батийне с огромной вязанкой сухих коряг и веток. Она-то и напугала кобылку Батийны.

Зуракан оказалась на редкость словоохотливой женщиной. Привалилась спиной к вязацке и все рассказала Батийне про себя.

Если в начале встречи Батийна восхищалась невероятной физической силой этой еще совсем молодой женщины, теперь она убедилась, что Зуракан, кроме того, и отличная рассказчица. Узнав, что Зуракан работает на кухне у Букен, Батийна пожалела? ее: иметь бы свою юрту этой хорошей женщине, свой очаг, свой достаток... С нею счастлив был бы любой джигит. А она, как иноходец, что пал на одну ногу. Такая привлекательная, а вынуждена таскать топливо для сварливой Букен и мазать сажей свое личико у ее казанов. Батийна даже не заметила, когда и как соскочила на землю. Кобылка успокоилась, с тихим звоном покусывала удила.

Не выпуская поводка серой, Батийна наклонилась к Зуракан, оправила сбившуюся на голове старенькую косынку и подобрала под нее черные прядки, прилипшие ко лбу.

~- Ты хоть и выносливая, но тебе приходится много ворочать, младшая моя сестра. Но слишком себя не запускай. Работа работой, а за собой смотри. Если из-под косынки у тебя будут

" Да, сестричка, я самая. Ничего удивительного. Когда тебя сильно обижают да оскорбят, ты не только с болушем, с самим дьяволом сцепишься... Ладно. Не

стой долго на месте. Спина отчет.— И Батийна легонько стегнула кобылицу.— Будем живы-здоровы, еще не раз увидимся, сестричка...

Под тяжестью вязанки Зуракан медленно, согнувшись, идет по тропке, то и дело останавливается, глядит вслед всаднице. «Сколько раз я слышала, как поносит ее наша байбиче: «Развратница! Даже волостного не боится». А она простая добрая женщина. О создатель, удастся ли мне когда-нибудь свободно разъезжать на лошади, как эта Батийна?»

Хлопот и забот у Зуракан хватало. Вставала, когда на небе еще не гасли звезды. Иногда не видала теплой постели: всю ночь напролет сторожила овец. И как только рассеются утренние сумерки, спешит на родник с двумя ведрами, разводит огонь, согреет воду для омовения байбиче, потом приступает к дойке.

Быстрыми, ловкими движениями пальцев она растирала вымя, массировала соски и от пяти коров надаивала два ведра душистого пенистого молока, кипятила его, разливала по большим прокопченным деревянным чашам, и, пока всплывет сладкая, пахучая, желтая сметана, она, не присев, то взбивает шерсть, то прядет пряжу, то мотает клубки...

Весь обиходный порядок в юрте: заготовка кошм и домотканой дерюги, тканых полосок для подхвостников к подпругам,— и эти заботы лежали на плечах Зуракан, и все она выполняла с увлечением, будто нарочно создана для многотрудной работы батрачки.

После встречи с Батийной все у Зуракан спорилось еще лучше и горело в руках. «Какая она бесстрашная, эта Батийна. Ездит по горам с плеткой в руках и никого не боится. Наравне с мужчиной... А моя презлющая байбиче ее осуждает... Ой, боже, боже, завьется ли когда дымок и над моей юртой? Будет ли у меня свое седло, своя кобылка? Случится ли мне когда разъезжать по гостям?» — думала Зуракан.

Зуракан не раз приходила на холм Кара-Кунгей, заготавливала дрова, увязывала и, поправив косынку, подолгу сидела на обычном месте, озираясь по сторонам и надеясь увидеть Батийну. «Ай, приехала бы она сюда. Мы бы с ней хоть наговорились...» — шептали губы молодой женщины.

Время шло, но Зуракан не забывала Батийну. А как-то при байбиче даже произнесла ее имя, за что получила взбучку.

— Откуда ты знаешь эту потаскуху? — вскричала Букен.— Она забивает мозги не только таким слабодушным, как ты, она самого шайтана сведет с ума!

Подальше держись от этой сатаны в юбке.— И байбиче, у которой всегда были мешки под глазами, выхватила из очага недогоревшую палку, которой помешивала огонь, и замахнулась на Зуракан.— Батийна не женщина, а настоящая ведьма! Она совратит тебя, уведет в горы и сбросит со скалы.

Смотри, как бы она не запорошила тебе глаза... Забудь даже ее имя!

Зуракан не посчиталась с угрозами байбиче и в тот же день пошла за дровами на Кара-Кунгей. Обмотав поясницу волосяным жестким арканом и подоткнув за него подол длинного платья, она с натугой тащила усохший корень рябины и не слышала, как кто-то к ней подъехал.

Сзади раздался звонкий голос:

— Здравствуй, сестричка!

Зуракан от неожиданности вздрогнула и, не отпуская корень, ответила:

— А-а, это вы? Я испугалась.

Батийна соскочила с кобылицы, бросила повод.

— Чего же ты испугалась, сестричка? Разве храбрый джигит боится врага?

Разве сильная женщина боится окрика? — Батийна рассмеялась.— Кто осмелится подойти к женщине, что с корнем выдергает рябину между скал?

— Разве я похожа на храбрую, Батийна-эже?

— Да, да, сестричка. Ты недооцениваешь свои силы. Попробуй только эту большую силу отдать на себя и, бог свидетель, через год-другой у тебя была бы своя юрта, а в ней свой очаг и казан, и жила бы ты не хуже других. Теперь же всю твою силу использует только один бай. Эта твоя сила все равно что камень, брошенный в глубокий колодец... Ты ждала, когда он ударится о дно, и пропустила этот удар. А так бесполезна она, твоя сила... Я это хорошо по себе знаю.

Зуракан, отняв руку от коряги, с удивлением посмотрела на Батийну.

«О чем она говорит? Сама, вероятно, не прислуживает баю. А знает всю мою печаль. Откуда? Неужели это не женщина, а демон в юбке, как говорит байбиче? Может, вправду колдунья?»

Голос Зуракан прозвучал настороженно:

— Эже, вы не ставьте себя рядом со мной. Ведь вы же не наемная работница.

— Конечно, милая,— с готовностью ответила Батийна.— Я не наемная работница, но все равно рабыня в нашей жизни.

— Что-то не поняла я ваши слова, эже.

— Что тебе сказать, сестричка?.. Ты думаешь, если я, как джигит, сижу в седле и езжу по аилам, значит, я свободна? Ничуть. Езжу на кобыле, а не на жеребце, сама я жена круглого оболдую. Много пришлось пережить. И побои мужа, и гнев старших, сплетни жен и мужниных родственников, и проклятия муллы. Всему этому раз и навсегда я хочу положить конец; рада бы уехать куда глаза глядят, но, увы, наши обычаи связали меня по рукам и ногам. Я мечусь, бросаюсь на все, закусываю губы, но вырваться из оков никак не могу. То и дело мужнина плетка гуляет по спине. Все же я не перестала ездить по аилам, но тщетны мои стремления найти хотя бы самую узенькую тропку к свободе. А в чем она, эта свобода? Не знаю. Найду ли то, что ищу, или затеряюсь в этих бесконечных горах? И никому нет дела до горькой участи несчастных женщин, как мы с тобой. Старейшины злые и коварные люди. Волостные и судьи жадны и алчны. Они в юрте бая распивают крепкий кумыс и едят жирное мясо молодых барашков да блаженно жуют казы¹. С бедных собирают немилосердные подати. А женщины для них, что скотина. Им нужны безропотные покорные рабыни, чтоб даже своих волос из-под белого платка не показывали. Стоит поднять голову и прямо посмотреть на них, беды не оберешься. Будешь и неучливой, и потаскухой, и своевольницей,— все позорные прозвища, словно репей, прилипнут к тебе.

Зуракан вопросительно смотрела на Батийну: верилось и не верилось в то, о чем та говорила.

— А куда вы поедете сейчас, эже?

— Куда глаза глядят и куда кобылка вывезет,— отвечала Батийна неопределенно.

Зуракан растерялась: «Я хотела с ней ближе познакомиться, открыть ей свои тайны. А она сама какая-то другая. На кого она обижена? Неужели это колдунья и она совращает меня с чистой дороги?»

— Нет, а куда вы все-таки уедете, эже?

— Не знаю, сестричка...

Зуракан стало жалко Батийну. Мелькнула мысль, что Батийну сильно избил муж.

— А может, ты со мной поедешь? — раздумчиво спросила Батийна.—

Обездоленные должны держаться друг за друга. Так легче делить свое горе. Если сблизимся, то не бросим, не забудем, не изменим друг другу. Да, сестричка. На этот раз я именно к тебе приехала. Хочу поговорить откровенно. Дрова еще успею заготовить. Садись-ка рядом. Я тебе кое-что расскажу... Сперва выслушай, потом решишь, как лучше тебе повернуть судьбу свою.

Зуракан, полная радостных предчувствий, сказала:

— Сама хотела об этом вас просить.

— Слушай, милая.

Батийна задумалась. Задрожали тонкие морщинки у нее на висках. И не очень густые черные брови горестно изогнулись.

— Э-э, сестричка,—начала Батийна,—сколько этой бедной головушке пришлось пережить за короткую жизнь...

Рассказ Батийны настолько тронул молодую женщину, что она даже не замечала, что плачет. На скорбном ее лице будто было написано:

«Несчастные мы... За что на нашу долю выпало столько бед и горя?»

Когда они повстречались, солнце стояло почти в зените. Теперь оно клонилось к закату, стремительно падая за острую, пилообразную вершину, видневшуюся вдаль. В пылающих закатных лучах купалось в истоме все: бесконечная гряда гор, ложбины и ущелья, лица и руки молодых.

И только в тени северных склонов белыми, серыми и темными точками бродил скот по лугам, по берегам речек и ручьев.

Пестрые сороки, учившие летать свое горластое потомство, сверкая на солнце крыльями, шумной стаей перелетали с южного склона на северный, а с северного опять срывались на южный.

Там, в вышине, ближе к ледникам, в суровой стуже каркал старый ворон, накликаая морозы и снега; откуда-то с южного склона доносился клекот орла, высматривающего добычу среди пышущих жаром камней; а где-то неумоимо, как цикада, цвинькала наскальная пичуга, то ли дувальница, то ли козодой; да среди нагроможденных мелких камней, широкой рекой осы-

павшихся по склону, раздавался неистовый свист красновато-шелковистых сурков.

Но вся эта вольная, радостная музыка Великих гор, не утихавшая, казалось, от зари и до зари, скользила мимо ушей Батийны и Зуракан. Погруженные в мелодию своей печальной судьбы, женщины забыли обо всем на свете. Вдруг то ли тучка набежала на солнце, то ли дневное светило укрылось наконец за пикообразной вершиной, стало прохладнее, и на увлеченных женщин напозла серая тень. Только теперь Батийна заметила, что по щекам Зуракан ручьем бегут слезы.

— Э-эх, сестричка моя! Сколько ни плачь, слезами счастья не вернешь. Думаешь, я мало пролила слез за свою жизнь? Ты сейчас слышала, как меня просватали еще в чреве матери, под корень подрубили мою судьбу. Такова доля девушки. Ну, а за что моему Абылу с юных лет обрезали крылья? Чем он провинился?.. А Канымбюю — крохотная пичужка, насильно выданная замуж в уплату за какую-то шкурку для тебетей? Чем она виновата? За что срубили веточку рябины? Хорошо. И я, и Абыл, и Канымбюю — мы дети бедняков, у кого нет ничего за Душой. Над нами может издеваться каждый. А Айнагуль и Гульбюю? Казалось бы, они-то проведут жизнь в счастье и благополучии. И что же? Невеселая и у них жизнь!

Зуракан вздохнула, глотая комок обиды.

— Ой, эже, я думала, вам весело живется на свете. Оказывается, вы все испытали, разве что кроме могилы...

Батийна задумчиво смотрела вниз, словно прислушиваясь к чьему-то голосу из-под земли, потом махнула рукой и добавила:

~- Терпение мое лопнуло, сестричка! Столько напастей на одну голову. Не слишком ли? В чем только меня не обвиняли, как только не пытались опозорить... Дольше ждать у меня нет сил. Сама буду искать, как сбросить ненавистные путы. Если хочешь, едем вместе* А не веришь мне, так носи дрова своей байбиче, гнись ради нее в три погибели, грей ей воду, чтобы она блаженствовала. Но знай: сколько бы ты ни старалась, из лохмотьев не вылезешь... Что, неправду я говорю?

— Правду...

Зуракан, склонив голову, теребила кончик слинявшей косынки. «В самом деле,— думала она,— сколько ни работай на Букен, доброго слова от нее не дождешься. А вдруг заболею или старость подойдет, буду валяться в овчарне под копытами ягнят... Кому я нужна буду беспомощная? Не приведи, создатель, дожить до таких дней».

Мысли у нее путались, в глазах затаилась грусть.

Не дальше чем вчера Букен бурей налетела, обругала ее г «Что, у тебя болячка на задку вскочила, что ли? Дохлая ходишь! Поесть ты за двоих мастерица, а как до дела, толку от тебя не добьешься! Ну-ка, живо за дровами!»

Сгорая от стыда, Зуракан до поздней ночи работала не покладая рук. Когда весь аил уже давно спал крепким сном, она добралась до своего шалашика, постелила мужу постель и не сдержала слез.

— Чем такие оскорбления переносить, лучше остаться голыми, но жить самостоятельно. Нет моих сил терпеть издевательства байбиче.

Текебай любил свою молодую жену, но вместо того, чтобы пожалеть ее и сказать: «Конечно, давай уедем куда-нибудь, не позволю, чтобы байбиче измывалась над тобой», — он, не раздевшись, безмолвно опустил на постель и заплакал вместе с Зуракан.

Она сейчас вспомнила эту ночь, согнутую фигуру мужа, и ей стало жалко самое себя, жалко его, Текебая.

— Мы в безвыходном положении, сестра. Нам никак не уйти от бая, я уже много раз говорила своему: давай уйдем, будем жить своей юртой, не пропадем. А он у меня какой-то безответный... Знает только одно — плакать вместе со мной. Уйти без него тоже нельзя. Как его одного оставлю? Свекор мой в большом долгу. Мы хотели помочь ему, чтобы он скорее рассчитался с баем. Свекор говорит: «Перетерпи, доченька. Недолго страдать...» Ума не приложу, что нам делать?

Батийна погладила выбившиеся косички Зуракан, посмотрела ей в глаза, как на малое дитя, тяжело вздохнула:

— Кажется, теперь ты знаешь, кто я? Я думаю не только о своей голове...

Вместе лучше, не страшно... Понадеялась, что ты будешь со мной. А ты, видимо, очень любишь своего мужа. Это хорошо, что любишь. Уважение в семье—большое счастье. Все бы так жили. Он любит и ценит тебя. Но одними слезами ой не избавит тебя от Букен байбиче.

— Как раз этого я и боюсь, эже милая...

— Не бойся. Лучше поговори с мужем, и мы вместе поищем пути освобождения.

— Как? Как мы освободимся, эже? Батийна коротко изложила свой план побега.

— Я постараюсь найти трех коней, одежду на троих и еды на семь дней. За это время мы должны добраться до Чуйской долины. Так и скажи своему Текебаю, что поедем в Чу.

— Ой, сестра!.. Неужели правда?

«— Да, да. Двинемся в Чу. Я решила. Ведь твои родители живут там. И ты встретишься с ними.

— О, если бы так, эже! Но успеем ли мы далеко отъехать? За нами, наверно, будет погоня. А если нас догонят? Что тогда?

— Не пугайся. Я все продумала. Перед тем, как пуститься в дорогу, я наголо обреюсь и надену все мужское. Текебай тоже переоденется. Тебе же я подберу такую одежду, что и во сне не привидится. Да, да... Я наряжу тебя богатой девушкой, в атласное платье с оборками, парчовый халат, плюшевый жакет, высокий, кипельно-белый элечек, в косы тебе заплету янтарь и жемчуг, подвешу много цветных монет и бус. Под тобой нарядный конь,—

сбруя будет сверкать и переливаться. Знаешь, кем ты будешь? Дочерью богача, которая отправляется в гости к своим родителям. Мы же с Текебаем — твои провожатые... Мы прихватим с собой три запасные лошади. На случай, если наши кони устанут. Тронемся в дорогу, когда аил заснет крепчайшим сном. До восхода солнца, думаю, успеем покрыть хорошим ходом верст сорок, а то и пятьдесят. Сейчас такая пора, след на земле не остается. Пусть доищутся, куда мы пустили своих коней. Встречные, пожалуй, ни в чем нас не заподозрят. Пока там будут думать да гадать, день пройдет. А за это время махнем далеко. Даже если и на след вдруг нападут, все равно нас уже не догнать. Лишь бы добраться до Чуйской долины, до Токмака, а потом до Пишпека. Коней продадим на базаре, сами наймемся работать. Пусть даже на подхвате у повара будем воду носить или подметать улицы, зато свободные люди. Увидим большой город, как там живут. Помаленьку научимся читать и писать, у нас откроются глаза. А человек с открытыми глазами больше других знает. Так что ты хорошенько посоветуйся с мужем. Уговори его расстаться со своими родными. Потом сможем чем-нибудь им помочь. Давай на этом и порешим. Через недельку приеду за ответом. Если вы не присоединитесь ко мне, то я вас оставлю на волю божью и одна пущусь искать свободу.

Зуракан дрожь охватила, так ей было страшно.

— Лишь бы он согласился, а с вами я на край света готова ехать, эже.

— У тебя целая неделя. Постарайся его уговорить. А сейчас давай заготовим дров. Засиделись мы с тобой. Поздновато.

Вдвоем они быстро набрали сухих веток и коряг, и Батийна, помогая Зуракан поднять на плечи вязанку, сказала:

— До свидания, сестричка. Хватит сказок о свободе, давай искать вместе наше затерявшееся где-то счастье.

Зуракан из-под тяжелой вязанки отозвалась:

— До встречи, эже. Если откажусь, не дожить мне до вечера.

Хотя небо и было ясным и солнце по-прежнему светило, по-, веяло вечерней прохладой.

В малых аилах, где было десять — пятнадцать юрт, стояла чуткая предвечерняя тишина: вот-вот с вершин и склонов прошумят горластым потоком овцы и козы, с гулом прокатятся коровы и лошади. Редко от юрты к юрте пройдет человек, внезапно высыпает стайка увлеченных игрой ребятишек.

Вдали на ребристом холме несколько всадников гоняют во весь опор косяк диких коней.

Простившись с Зуракан, Батийна любовалась знакомыми до мелочей картинами. Кобылка, вволю нащипавшаяся, пока женщины разговаривали, зеленой травки, теперь шла ходко. «За неделю, если бог даст, подготовлюсь», — утешалась Батийна крылатой надеждой.

Отдохнувшая серая кобылка вдруг понесла, и Батийна не стала сдерживать ее стремительный бег.

Вблизи аила, с ближнего склона донеслось протяжное «Оойт! Оойт!». Это длинным шестом с петлей на конце отлавливают лошадей и собирают в косяки.

Батийна придержала бег кобылки. Так и есть — правая рука и подхалим болуша Маралбая Джарбан с каким-то джигитом отлавливали коней. Среди них был широкогрудый табунный гнедой жеребец и несколько отменных скакунов. Джарбан крепко держал за повод гнедого. Именно на этих коней Батийна рассчитывала.

В последнее время неожиданные угоны скота были не в редкость. Власть царя все чувствительнее прижимала народ разными поборами. Джигиты волостного все чаще навещали аилы, отвязывали лошадей, которые стояли на привязи, а то угоняли отборных коней прямо с пастбища. И стоило кому из хозяев встать на защиту своего скота, как подхалимы болуша набрасывались с угрозами:

— Ты против кого идешь? Белый царь дерется с германцем, а вам охота на скакунах разъезжать? Не выйдет! Давай сюда коня! Я его не съем. Он нужен болушу, нужен солдатам. Попробуй мне хоть словечко пикнуть!

Батийна, завидев, как Джарбан ловит их коней, пришла в ярость и помчалась навстречу Джарбану.

— Эй, ты! — закричала она еще издалека.—Кто тебя просил ловить этих коней! Это тебе не бродячий скот! А ну-ка сейчас же отпусти жеребца! Джарбан и не подумал отпустить гривастого гнедого. Крепко держа его за повод, он огрызнулся:

— Эй, сука, с каких это пор ты стала хозяйкой над скотом? Ну-ка, поведай мне об этом!

Батийна взмахнула плеткой и с маху огрела свою кобылку по крупу. Лошадь от неожиданного удара взвилась и понесла всадницу прямо на Джарбана. Ох, как я благодарна создателю за эту нашу встречу! — И Батийна устремилась отомстить за нанесенную ей обиду.— Сейчас ты увидишь, кто из нас сука, а кто кобель!..

Разгоряченная бегом и обиженная ударом хозяйки, кобылка грудью наскочила на Джарбана.

Женщина быстро ухватила за ворот его чапана и резко рванула на себя, будто нацелилась вырвать с корнем куст табылги¹. «С божьей помощью хоть этому кровопийце отомщу и опозорю его перед пастухами».

Батийна не шелохнулась. Джарбан с трудом удержался в седле, но от такого рывка с его головы слетел дорогой тебетей. Бритая до блеска макушка сверкнула перед глазами Батийны. Не успев замахнуться камчой, чтобы огреть его по лысине, она сильно тюкнула его кулаком по макушке, да так, что у него голова ушла в плечи.

Выпрямившись, джигит ошалело посмотрел по сторонам: не видел ли кто, как он чуть не полетел с коня от толчка женщины?

Свидетелей было двое: его дружок, с которым Джарбан ловил коней, и посыльный болуша — он сгонял по склону неуклюжих двугорбых верблюдов. Первый стоял почти рядом, разинув рот от удивления.

Джарбан рассвирепел и замахнулся плеткой на Батийну:

— Ах ты потаскуха, принесшая несчастье... Да я убью тебя сейчас и отвечать не буду!

Батийна и не думала отступать. Она с вызовом бросила:

— Если не можешь убить, собака, так жениться тебе на собственной матери! Продажная шкура! На что ты способен, тварь поганая? Блюдолиз волостного! И она взмахнула плеткой. Конь Джарбана попятился.

— Уйди, баба! — завопил в страхе Джарбан. — Ты не хозяйка этого скота. У тебя, блудливой кошки, никогда ничего своего не было! Скажи, была ли у тебя когда-нибудь своя лошадь?

— Хозяйка я или не хозяйка, не твое собачье дело. А ты, пока цел, сейчас же отпусти гнедого!

— Он нужен волостному.

Табылга — спирея — кустарник с очень крепкой древесиной и менее крепкими корнями.

— В могиле я бы хотела видеть твоего волостного! Сам можешь лизать ему пятки. А для меня он — кусок сухого конского помета. Не дам я для него своего коня.

— Смотри-ка, до чего она храбрая!

— Конь мне самой нужен. Немедленно отпусти жеребца!..

Вскоре на место перебранки прискакали, размахивая плетками и поводьями, табунщики, Они хорошо знали Джарбана, этого ярого служку болуша. Он иногда набрасывался с угрозами не только на бедных пастухов, но, пользуясь поддержкой волостного, оскорблял и состоятельных людей.

Вот и теперь без разрешения старейшин племени Джарбан самовольно отлавливал коней и напал на уважаемую женщину.

— Ловите этого пса! Грязный сплетник поносит ваших жен, угоняет с пастбища ваш скот, угрожает каким-то волостным. Мужчины вы или бабы? Есть у вас мужская честь? Так защищайте ее! — подбодренная подоспевшей подмогой, кричала Батийна.

Группа всадников мигом окружила Джарбана. Куда девалась его спесь! Он поспешно соскочил с коня и, умоляя Батийну о пощаде, затрусил жирными короткими ножками прочь.

Батийна преследовала его, напирая грудью своей лошадки, а пастухи с размаху опускали на бритую голову Джарбана удар за ударом.

— О милая джене, прости меня, — вопил Джарбан, прикрывая лысину, — я твой раб и сдаюсь тебе. Любую вину возлагай: я отвечу перед тобой как за жеребца, так и за нанесенные тебе оскорбления. Ой, не бейте! Останови своих людей! Меня послал сам болуш. Это все он, а мне кони не нужны. От самого уездного пристава пришло указание — наложить поборы на на-

селение. Попробуй откажись. Сдаюсь и покоряюсь. Не оставляйте рубцов и пятен на моем чистом и белом лице...

Батийна с злорадством рассмеялась:

— Эй, Джарбан, я-то думала, ты огневой мужчина, а ты — самый последний трус и хвастун. Теперь мы все убедились. Занимаешься сплетнями не хуже паршивой бабы... Хорошо, не бейте его. Этот храбрый джигит болуша прячет свою золотую голову в подоле женщины. Кто еще видел такой позор? Хватит с него на первый раз.— Потом с ненавистью посмотрела на Джарбана: — Видишь, храбрец, как времена меняются? Ты над нами повластвовал, теперь мы над тобой. Ты никогда не считал меня за человека. Пришлось за это расплачиваться. Предупреждаю тебя — вы не очень-то топчите народ... Подними тебетей и убирайся с наших глаз долой!

Пастухи кричали вслед Джарбану:

— И передай своему плешивому волостному, чтобы он не трогал нас. А не послушает — вспорем живот. Нам терять нечего!..

в тяжелые годы

Пастбища почти наполовину опустели.

Киргизы были урезаны в своих правах: на сыновей бедняков, которых раньше не трогали, где-то, оказывается, велись списки. И теперь их забирали в солдаты, в царскую армию.

Подвязав на круп коней теплую одежду, сами налегке, чтобы ловчее орудовать пикой, джигиты съезжались в группы по десять — пятнадцать верховых.

По большой дороге, ведущей в город, двигалась на жеребцах, на трехлетках и на кобылах черная живая масса всадников, многие были повязаны красными косынками. В руках пики, копья, нагайки, свинчатки, кое у кого тяжелые, из сырых стволов таволги либо рябины дубинки, редко у кого прихваченные старенькие берданки. Огнестрельного оружия почти нет.

Старики, провожая всадников тревожными взглядами, беззвучно шептали:

— О боже, сохрани свое племя от смуты и беды! Джигиты помоложе молодцевато горячили коней, гоняя их

то взад, то вперед, и неистово шумели:

— Ну, поехали же! Сколько можно ждать!

В поход собрались и все мужчины из аила Кыдырбая. А сам он, опасливо озираясь по сторонам, прошептал:

— Идем с вами против белого царя. Чем все это обернется для нас? Кто поднимался против царя, всегда кончал кабалой.

Батийна поймала серую кобылку и с ходу оседлала. Мятущаяся ее душа не терпела бездействия.

Турумтай с отеками под глазами, увидев Батийну, заохала:

— О боже, куда это ты собираешься?

— Куда молодцы с пиками, туда и я!

Турумтай, хлопнув в ладоши, даже присела от удивления:

— Дьявол не слышал бы твоих слов, тыфу, тыфу на тебя! Разве женщине место на поле сражения? При одном твоём виде все мужчины, да что там мужчины, даже дети и те надорвут животы от хохота. Брось эту затею. Осрамимся перед людьми, как пить дать... Тебя же мигом свалят с седла, а кобылицу на убой погонят. Не дури.

И, дрожа от возмущения, она шагнула к Батийне, сорвала уздечку с серой кобылы и, смахнув через её круп седло, отпустила на выпас.

— Вся жизнь шиворот-навыворот пошла. Даже женщины какие-то сумасшедшие стали, тоже лезут в драку. Брось, говорю, тянуться за джигитами, лучше садись сшей новый кемея-тай мужу. Может, пригодится. Батийна сердито отрезала:

— Нет, я не отстану от наших всадников. Я тоже хочу бороться за правое дело.

Турумтай бросила на бунтарку уничтожающий взгляд.

— Где ты видела, чтобы женщина в возрасте ехала на священную борьбу с пикой наперевес? Боже тебя упаси нарушить обычай. Иди-ка ты лучше к своему казану. Когда женщины начинают будоражиться, то в аил приходит смута. Вот видишь, к чему все это привело?

По аилам пронеслась молва: «Все сыны киргизской матери, поднявшиеся против белого царя и его святого престола, скоро будут уничтожены до последнего повстанца. Против киргизов двинулась целая армия под названием Каран-Тюн¹».

Солдаты не местные, зовутся русскими казаками. Вооружены пятизарядными винтовками. Они из Верного, Ташкента, Пишпека и Токмака волокут большие пушки. Сам уездный начальник собрал свое войско и намерен участвовать в истреблении всех, кто поднял этот бунт.

В аилах оставались одни старики да старухи, женщины и малые дети. Слух этот прежде всего и дошел до них и перепугал окончательно. Пожилые люди с утра допоздна выстаивали на коленях, просили бога смилостивиться над ними, то и дело принимались читать молитвы.

Многие из тех, кто вчера еще шумно воинствовал против царя, в ту же ночь поодиночке вернулись к своим юртам. Они рассказывали, что никакого сражения не было, а просто «забрали мед у пасечника в одном ущелье», «где-то отняли груженную хлебом подводку, которую бай собирался угнать на базар». Всадники, вооруженные чем попало, но только не огнестрельным оружием, не смогли вторгнуться даже в мало-мальски населенный поселок. Наскочив на заслон, при первых же выстрелах повстанцы откатились назад. — Теперь царь не оставит нас в покое. Увязывайте юрты, сгоняйте скот. Надо уходить за высокие горы в Кашгар. Только там, может, найдем прибежище, иначе пропадем до последнего,— загудел народ, словно потревоженный рой диких пчел.

...Кругом стоял невообразимый гомон: телята ошалело мычали; кобылицы, потерявшие свое потомство, неистово ржали; брошенные хозяевами псы

истошно выли. Казалось, в горы пришел конец света и все живое прощается с жизнью.

Плач малолетних детей, заунывные, надрывающие сердце кошки женщин, окрики мужчин, оглушительные молебствия мулл наполнили каждый уголок гор.

Ошалевшие от кромешной темени, овцы не понимали, чего от них хотят мечущиеся люди, и ни за что не желали продвигаться. Сплошной лавиной они шарахались назад и сбивали все, что попадалось под копыта.

У кого-то упал, дернувшись в сторону, навьюченный домашним скарбом вол и лежал черной копной, не в силах подняться. Где-то стонала только что опроставшаяся верблюдица — ей некому было помочь.

Движущиеся в сумраке ночи массы скота и людей тянулись вверх по ущельям, карабкались к перевалу и внезапно пропадали где-то вдали, словно их поглощала бездонная пропасть.

Людей терзал страх и тоска в ожидании конца света. Те, у кого не было лошаденки, даже козла, чтобы навьючить единственную кошму и одеяла, весь свой жалкий скарб несли в котомках за плечами и тащились где-то в хвосте этой вспугнутой человеческой массы.

О бесприютные, обездоленные люди! На кого же вы оставляете землю отцов? Где приклоните свои непокрытые головы? Кто на чужбине подаст вам кусок хлеба?

Перевалы через горы и переправы через реки забил многотысячный скот. Вьючные животные, с боками в глубоких полосах от тягловых веревок, падали одно за другим и больше не поднимались. Снонали от боли пешие — у них ноги изрезаны острыми, как бритва, наскальными отложениями, кровоточат.

Жеребцы, что вначале, налитые силой, храпели, били копытами, рвались вперед, теперь едва переставляли ноги, хромали, приседая на зад.

У людей, день и ночь не смыкавших глаз и валившихся от усталости, не было мочи идти дальше.

Грудные дети, которых еще вчера матери заботливо пеленали, нежно прижимая к теплой груди, остались на перевалах, под сугробами снега.

Сытые псы, которые только вчера, повиливая хвостом, покорно жались к ногам хозяина, сегодня уже, одичав, со свирепым рычанием тащили за ноги в овраг умерших в пути.

То там, то здесь слышался горестный шепот:

— О создатель, за какие прегрешения ты наслал на нас столько бед и муки?

И, пожалуй, труднее всех пришлось тем, кто и в обычной-то жизни, чуть поклонись, показывал голые бедра. Бедняки, кое-как сводившие концы с концами, в своих ущельях и ложбинах, на родной земле, теперь уподобились коню, с которого содрали всю сбрую. Тоненькая, невидимая веревочка, державшая их на привязи у жизни в насиженных местах, безжалостно оборвана этим уркуном², свалившимся лавинсй на их головы в погожий весенний день. Скудные запасы истощились, и за одни сутки люди оказались

на грани гибели от голода и холода. Голодные, измученные, поддерживая друг друга, они шли навстречу своей смерти, но не теряли надежды так же, как не теряли ее зажиточные люди, в чьем владении находился весь скот и богатство во выюках.

К беженцам неизвестно откуда и от кого доходили слухи один страшнее другого.

— Солдаты Каран-Тюн перебили каждого, кто сильно отстал. А помните большое племя Кыдыка? Ни один не дошел до предгорий Тона... Дотла сожжены аилы огромного рода сарбагыш. Никто из них не перевалил через Балгарт. У саяков перестреляли всех бедняков, как воробьев, около перевала Сары-Джон... Надо поторапливаться к перевалам Ак-Огуз, Бедел, Тарагай — и оттуда в Кашгар. Не то не останется ни одного киргиза на земле.

У беженцев от этих страшных слухов стыла кровь в жилах, холодный пот выступал. Люди метались из стороны в сторону, как дикие птицы в клетке. Возможно, этим слухам и не поверили бы. Но направленные в разведку посланцы привезли не менее устрашающие известия.

— Говорят, в родные места пришел настоящий конец света. Я видел человека, у которого отрублено ухо. Он сказал, что спасся от солдата, который хотел его убить, под крутым берегом реки,— сообщал один.

— О люди. Не зря говорят, у человека душа столь же вынослива, как у кошки. Я сам видел джигита с пробитой головой, он скончался только на перевале Соок. Знаете, сколько прошагал он, теряя кровь? Здоровому столько не пройти!..—вторил другой.

Старики и старухи, измученные дальней дорогой и ездой на волах и верблюдах, проклинали свою судьбу.

— О господи, сколько еще предстоит крутых подъемов и перевалов!..

Неужели не уйдем от преследователей? Если Каран-Тюн настигнет нас, все пропадем в этих сугробах, в этих обрывистых скалах... Джигиты и молодайки, не обращайтесь на нас внимания. Уезжайте вперед, спасайтесь. Пусть уцелеет хоть горсточка киргизов. Заберите всех детей. Они вырастут и не дадут исчезнуть нашему народу на земле. А мы, больные и старые, останемся здесь. Нам все равно помирать. Какая разница, где нас настигнет смерть?..

Торопитесь же перебраться через самый крутой и длинный перевал. Только бы успеть на него взобраться. А там можно хоть на животах сползти. Дальше будет Кашгар, Учтурфан, Ак-Су. Не пропадете. Спасайте племя, племя хоть спасайте!..

О, эти же старики, как только услышали, что их детей хотят забрать в солдаты, обрекают, мол, на верную смерть, твердо порешили:

— Не дадим смерти заглотнуть наших сыновей в свою пасть. Лучше сами пойдем сражаться и все до последнего погибнем.

С каждым днем прибавлялось больных.

Как ни упрашивали старики покинуть их в горах, никто, конечно, их не послушал. Более выносливые, поддерживая хворых под руки, кое-как волочились с ношей все выше и выше: сын вел обессиленного отца, дочь

поддерживала мать. Народ бежал по всем ущельям, словно дичь от пожара. И никто не рисковал оглянуться назад. Было страшно повернуть голову.

Аил Кыдырбая тронулся в путь, когда огненно-красный закат купал в кровавых лучах крайние вершины гор.

Все семьи из аила держались вместе — не вырывались вперед, не отставали. На другой день их догнали табунщики, они оставались на старом месте, чтобы собрать по пастбищам весь скот, что разбрелся в пути, и переловить лучших коней.

Не было вестей только от Алымбая, который должен был пригнать два косяка лошадей. Возможно, он оторвался от своих аильчан или примкнул к беженцам и пошел по другому ущелью. Кыдырбай послал на розыски младшего брата несколько человек и поручил им во что бы то ни стало найти Алымбая и пригнать более ста голов коней.

Но и эти люди вернулись ни с чем — брата и след простыл. Неизвестно было: то ли он попал в руки солдат и они убили его, то ли уснул где-то и у него угнали всех коней. Исчезновение младшего брата, конечно, тяжелая утрата. Каждый раз, вспомнив о нем, Кыдырбай ронял слезу и, вытирая глаза широким рукавом чапана, вздыхал:

— Где же он, непутевая моя ворона? Что его ждет, бедняжку, если только он остался в живых?

И все же, как вспомнит о двух косяках лошадей, Кыдырбай сокрушается куда сильнее: «Каково мне без коней? Разве для того я выращивал косяки, чтобы они в одночасье пропали? С утра еще баем зовешься, а вечером ты уж полный бедняк. О боже! Кому я нужен с пустыми руками на чужбине? Пропаду ни за денежку... Куда же ты подевался, дурья голова? Куда угнал коней?»

Батийна, услышав, что муж исчез бесследно, даже и бровью не повела. «Такого дурня и мать-земля не захочет принять в свои недра».

Она безотказно исполняла в это время все мужские работы: подгоняла разбежавшихся и отстающих овец, клала на место сползающий или упавший скарб, на остановках заготавливала дрова, кипятила воду, тех, у кого пересохло во рту и язык стал как бревно, поила из бурдюка, притороченного к луке седла.

Не в пример женщинам, проливавшим слезы и умолявшим создателя о помощи, Батийна мужественно держалась да еще заботилась о людях.

Несметные стада запрудили перевалы, крутые подъемы, узкие, как берцовая кость, ущелья. Продвигаться вперед было почти невозможно.

Людей угнетал несказанный шум мычащих и блеющих животных, завывания пурги, свист ветра, зловещий вой хищников.

Хотя внизу было еще тепло, на самых верхних перевалах уже лютовала зима. В нескольких шагах не разглядеть, что творилось впереди, что сзади, по сторонам...

Трудно было разобрать: то ли рассвет наступил, то ли солнце скрылось за острыми вершинами Великих гор. И самих гор не стало видно. Куда девались

звонкие скалы, по которым гордо носились винторогие и седобородые козлы,— исчезли, растаяли в низко ползущих молочно-мягких облаках, в снежном крошеве и липком тумане. Мир, несколько дней назад открывшийся перед горами во всей своей необъятности, мрачнел за непроглядной пеленой.

Козы и овцы едва держались на ногах, лошади тряслись всем телом; когда-то ретивые жеребцы ржали, били копытами по льду, злились и, прижимая уши к гриве, норовили куснуть каждого. Коров было гораздо меньше,— спасаясь от холодного ветра, они попрятались внизу в укромных местах под перевалами и в оврагах, многие сбили копыта на острых камнях и после-тали с крутых склонов.

Непрестанно слышались голоса плутовавших в тумане людей. Только окликом и по голосу беженцы находили друг друга.

— Эй, Акмат! Куда девался навьюченный вол? Я что-то его не сыщу!

— Эй, Эсен, ты где? Не вижу тебя.

— О-о! У-уу! Откликайтесь!

— За детьми, за детьми смотрите!

В такие тяжкие дни познается настоящий человек и его доброта. Иные джигиты, которые раньше только и умели, что гарцевать на упитанных жеребцах, бахвалиться своей силой и кичиться, что они-де кормят весь народ и оберегают его, превратились в немощных стариков. Многие щупленькие женщины, что раньше безропотно, неприметно выполняли женскую работу и день-деньской замухрышками пропадали около очага, взвалили всю тяжесть беды на себя, будто в них кто влил эликсир бодрости и здоровья. Позабыв про сон, еду и отдых, они спешили к больным, укутывали замерзающих, на груди отогревали детей.

Батийна ехала не на своей серой кобылке, а на гнедом жеребце, которого отбила у джигита волостного Джарбана. И ехала в противоположную от Чуйской долины сторону. Она чувствовала себя примерно так, как хороший скакун, оступившийся и повредивший ногу. Она так была захвачена мыслью увезти с собой Зуракан и ее мужа в Чу и надеялась на этого выносливого жеребца. Но не успела даже оповестить их, как началось неожиданное бегство перепуганных людей.

Сначала гнедой шел без усталости: взбирался на склоны вслед за стадом, спускался с хозяйкой за водой, а теперь трудно было узнать в истощенной, с впалым животом и костлявой грудью лошаденке бывшего табунного жеребца, своей ретивостью наводившего страх на собратьев. Он так исхудал, будто на нем целый месяц возили соль через крутые перевалы. Но постепенно все неувереннее становилась поступь его натруженных ног, он спотыкался и дремал на ходу. Ненадежный конь под ней мог в любую минуту упасть. Все ее помыслы сосредоточились на беженцах. Не отстал бы где вол с выюком. Не заблудился бы кто. Не напали бы на стадо ночью хищники. Что там с Зуракан? Где она сейчас? Тоже едет или с мужем дождались русских

казаков? А что стало с Овчинкой — Канымбюбю? Еще зачоченеет в такую стужу где-нибудь в сугробе...

Уже несколько дней непроглядный липкий туман неотступно преследовал беженцев.

То ли ей показалось, то ли на самом деле кто-то плакал, но Батийна попридержала коня, прислушалась. Где-то в стороне дрожал одинокий затерявшийся голос.

— Боже мой, боже мой!.. Помираю!..

Все вокруг закрыла пелена холодного тумана. Он плотной массой навалился на горы. Батийна повернула гнедого на голос, закричала что было мочи:

— Эй, кто ты? Отзовись! Я ничего не вижу! Держись еще немного, я сейчас тебя отыщу...

Никто не отзывался, лишь где-то высоко в скалах подвывал со свистом ветер.

— Подай голос, наконец! Я пока тебя не вижу. Кто ты?

Но голос не повторялся, будто навсегда его поглотил туман. Батийна продолжала упорный поиск.

— Эгей, отзовись!

Совсем рядом послышался тоненький голосок:

— Это я, эже. Канымбюбю! Помогите... Я сбилась с дороги...

Голос опять умолк. Но Батийна успела заметить серый копошившийся живой комочек. Канымбюбю не под силу было выкарабкаться из сугроба.

Батийна склонилась над бедняжкой:

— Это ты, Канымбюбю? А где твоя лошадь? Почему ты одна? Где твой старик?

У Канымбюбю зуб на зуб не попадал:

— Кто знает, эжеке, где они?

— Эх, несчастная! Я сейчас...

Батийна легко, как ребенка, выхватила Канымбюбю из сугроба и усадила гнедому на круп, на посланную попонку.

— Держись! Обними меня за поясницу. Сейчас догоним своих! — сказала она и тронула коня.

Канымбюбю всхлипывала.

— Ты что, пешком разве шла? А куда девалась лшпадъ? — опять спросила Батийна.

— Какая там лошадь? Ослиха какая-то. Не идет, сколько ни понукала. Потом я задремала. Оказалась в сугробе... Лошадь, наверное, ушла... Ой, что я буду делать? Куда пойду? Эже-е!

— Перестань ты хныкать. Люди вон теряют родных и близких, теряют лучших коней... Не бойся, я тебя не брошу...

— А Тилепа застрелил мельник,— без горечи сообщила Канымбюбю.

— За что? Как? Когда?

— Он на крупной вислобрюхой кобыле ехал впереди нас и вез немного продуктов. Мы ехали чуть позади. У самой Мить-киной мельницы, что стоит у реки, мой старик вдруг придержал кобылу, подождал нас и говорит: «Митьки,

наверное, давно нет в живых или он удрал. Заеду-ка на мельницу и прихвачу горстки две пшеницы».

Не успели мы доехать, как из-за поворота выскочил на лошади Митька-мельник. Лошадь его была без седла, в руках у Митьки ружье. Мой старик испугался, а может, мельник показался ему выходцем с того света, не знаю, но старик погрозил Митьке палкой.

«Эй, не подходи близко, не то застрелю»,— крикнул он мельнику, выставя вперед палку. Раздался выстрел. Пегая кобыла остановилась, как вкопанная, а Тилеп потихоньку сполз с седла. С перепугу я расплакалась. Митька скрылся в зарослях кустарника. Я не знаю, куда он ускакал. Может, со страху, что его убьют за старика.

— Собаке собачья смерть,— сказала Батийна.— Сколько он причинил тебе горя... Молодость твою отнял. Так ему и надо, проклятому. Не жалею о нем... Туман поредел. Солнце поднялось высоко над вершинами. Серая лента беженцев и скота удалялась за перевал, конец ее тянулся далеко-далеко внизу.

Батийна медленно поднималась по крутому склону. Вдруг гневной, будто наступив на что-то мягкое, остановилась. Под передними копытами Батийна увидела что-то накрытое кошмой. Соскочив с седла, приоткрыла кошму и чуть не вскрикнула. Но вместо крика у нее получился хриловатый шепот. Такое даже ночью не приснится, а если и привидится, человека прошибет холодный пот. Под кошмой полукругом сидело девятеро детей. Все мальчики. Все полураздетые, все мертвые. В ручонке у каждого оледенелый комочек смоченного толокна. Не успели съесть, мороз сделал свое дело.

Лишь спустя некоторое время дар речи вернулся к Батийне.

— За что вы успели провиниться перед богом? Что сделали плохого? Девять мальчишек превратились в синие ледышки. Девять жизней исчезло мигом... Шли дни. Батийна ложилась спать, просыпалась, делала свое дело, но забыть замерзших на перевале детей не могла. Они так и стояли у нее перед глазами. Девять мальчиков — девять сыновей. Верно, дети одной матери,— уж очень схожи.

А в нескольких шагах от старой кошмы мертвая женщина застыла в позе ожидания. Раскрытые ее ладони, сложенные лопаточкой, будто кого-то благословляли. А может, она простирала руки к небу и ее одеревеневшие, синие губы шептали в последний раз: «О боже, сохрани моих безвинных птичек. Не замораживай их». Мать плакала в свой последний час, припорошенные инеем слезинки застыли каплями льда на выпирающих скулах. Застывшие дети, закоченевшая мать преследовали Батийну: ночью она в смятении рвалась куда-то, как безумная.

Батийна едва держалась на ногах, но, как ни трудно было, она туго подпоясывалась кушаком, словно табунщик, и шла ломать сухой можжевельник или с мешком собирала кизяк.

Жажда жизни заставляла зубами хвататься за землю. Люди оказались выносливее домашних животных.

Лошади, лишившиеся своих привычных пастбищ, вылиняли, потеряли в весе. Недавние быстроногие скакуны превратились в кляч. А сколько пало их от болезней и голода! Овцы и козы стадами валялись под снегом на перевалах, гибли под обвалами, срывались со скал. Коров почти не осталось, верблюды болели чесоткой. И люди, которые все свои надежды возлагали на скот и неизменно кормились скотом, почувствовали себя на грани гибели. Те, что совсем недавно, насытившись кумысом и молодой бараниной, во весь опор потехи ради скакали по зеленым склонам, теперь тащились в сыромятных чарыках, опираясь на палку и хватаясь за поясицу. Они чем-то напоминали горные цветы. Цвел яркий цветок, радовался горному солнцу, махал головкой ветру, а налетела вьюга, посыпал скоротечный весенний снег, и не стало цветка, завял он... Не слышно было звонких песен. Никто никого не приглашал в гости. Исчезли просторные юрты вместе с прочной белой кошмой, с крашеными стропильцами и жердями,— все осталось позади в горах, под песком и снегом...

Жили на земле, спали на постели из травы, укрывались небом или изодранной одеждой, подложив под голову валун.

Ядрр беженцев разбрелось по Кашгарии, Ак-Су, Турфану. А сколько их бродило по Кульдже, Урумчи?

Местные власти холодно встретили разрозненных, бесприютных беженцев. Баи, наевшие животы до размеров набитого шерстью мешка, сторонились истощенных беженцев и старались обходить подальше.

— Вот бунтовщики, стрелявшие в своего царя,—говорили они с издевкой.

...И болезни, и голод, и неожиданные бедствия прилипают, как репей, к бездомным бродягам. Семья Кыдырбая поголовно переболела. Не дойдя до Ак-Чия, остановилась у подножья гор. «Здесь мы сможем кое-как прожить,— сказал Кыдырбай.— Все-таки горы близко, тут довольно часто проезжают торговцы. Продадим скот, что еще уцелел. Да и животным все-таки вольготнее в горах».

Медленно текли безрадостные дни, заполненные заботами о хлебе насущном и тревогами за завтрашний день. Кыдырбай, свалившийся черным бревном, стал неузнаваем. Предчувствуя, что не жилец на белом свете, сверкая глубоко запавшими глазами и вытянув длинную, как у журавля, шею с ползающим вверх и вниз кадыком, он подозвал к себе Батийну. Голова его тряслась. Дрожащими пальцами взял заскорузлую руку Батийны. Голос у него дрогнул, глотая с трудом слюну, будто отправляя в желудок камни, он проговорил:

— Я благодарен, очень благодарен тебе, сестра моего племени. Вижу, едва носят тебя ноги, а кормишь целый аил. Я доволен тобой, невестушка. Той и бог доволен. В обычной жизни частенько мы не замечаем хороших людей. Иногда случалось, оскорблял тебя, крепко обижал, думал, что ты непутевая. Как же я ошибался. Прости меня за все грехи, родная.— Голос его все замирал.— А тот бедняжка сгинул совсем. Я надеялся, что ты из него сделаешь человека. Потому посватался к твоему отцу. Ты старалась, но что

поделаешь, раз уж он такой уродился. Прости меня, старого, за все прости.— Кыдырбай тяжело задышал.— Все, что осталось от моей семьи, мой свет, тебе завещаю. Народ наш разбрелся. Твой муж исчез бесследно. Теперь и я ухожу... Смотри за теми, кто остается. Помогай, чем сможешь, мой свет. Да, на смертном одре Кыдырбай прозрел и готов был умолять Батийну, чтобы она простила его грешную душу. Но язык его уже не повиновался, глаза не видели, и голова на длинной шее резко откинулась назад.

Могила для Кыдырбая — старейшины большого аила, старшего сына почитаемого когда-то Атантая — кое-как вырыли трое мужчин и две женщины... Куда девалось сильное племя, которое с почестями, по всем обычаям предавало земле усопших? Словно градины, люди рассыпались кто куда. А сколько почтенных аксакалов остались не захороненными в горах? О беспощадная и жестокая жизнь!

Четыре соседствующих аила бросились бежать одновременно. Уцелело всего-навсего, быть может, двадцать семей. Никто не знал, где остальные и что с ними. Дошел слух о Серкебае. Одни говорили, что Серкебай зазимовал на Ак-Сайских сыртах, другие предполагали, что бай пустился переезжать в дни больших обвалов и что вместе со скотом его завалила снежная: лавина.

Никто точно не знал, чему можно верить. У родственников не было даже сильного, выносливого коня, чтобы выехать на розыски.

Все ожидали и верили, что наступит долгожданный день, народ успокоится, жизнь потечет по своему руслу. А пока лишь бы продержаться, не пропасть от холода и голода,— говорили здешние беженцы, полагаясь на Кыдырбая и говорливого Тазабека.

Но Кыдырбая уже не было.

Тазабек, правда, пока здоров, однако спеси у него поубавилось. Оставшись без коня, он слонялся притихший. Перед кем теперь хвастать своим былым всеилием?

У почтенного аксакала уцелела лишь ветхая шубенка да тебетей из бурого лисовина. В остальном он, как и все, жил впроголодь, не видел жирной баранины. Он поскрипывал зубами, хмурил брови и все куда-то спешил. С его опавшего лица не сходила презрительная усмешка.

Как раз перед тем, как начаться бунту, Тазабек храбрился и, ударяя себя в грудь, взывал:

— Кто трус, тот нам не друг. Пугливые вороны нам не нужны. За мной последуют лишь те, кто способен без нытья доехать до любого шумного города.

А пришлось, так не то что до города, с полпути сбежал. Стоило раздаться из засады одинокому ружейному выстрелу, как Тазабек, с рябиновой пикой наперевес, придерживая коня, пролепетал:

— Сохрани господь! Пуля не выбирает, в кого ей лететь. Попади она в смертного. Только не в меня.

И, помолившись, повернул коня назад. По пути он заметил брошенную пасеку. Тазабеку захотелось отведать меду. Пчелы налетели на него и

искусали. С перекошенным лицом и распухшей губой, едва отыскав своих коров на пастбище, он пригнал их домой.

Единственно, что этот самовлюбленный аксакал сделал доброго,— подарил дальней родственнице обомшелую клячонку свезти домашний скарб, а своему старшему брату однажды дал ягненка, чтобы тот спасался бульоном от страшной опухоли...

Тазабеку, правда, было стыдно, что он не может проводить в последний путь друга своего Кыдырбая с должными почестями. Тем не менее, крепко подпоясав тулуп кушаком, он прибрел на могилу и, осмотрев ее узенькими глазками, сказал:

— Какой был лев, а могилу ему вырыли женщины. Ай-ай-ай! Ведь такого обычая нет, чтобы женщина готовила последнее ложе мужчине. Не грешно ли это? Увы, тут я бессилен. Будь я прежний, я разослал бы во все четыре стороны гонцов с вестью о том, что закрыл глаза первый отрок уважаемого отца Атантая Кыдырбай. И заставил бы сыновей четырех родов, опершись о палку, оплакивать Кыдырбая с утра и до вечера. Но нет у меня такой силы... Бедный лев, умер он в тягостное время, и приходится его хоронить в чужих горах Кашгара.

Тазабек заскрипел зубами так, что заходили желваки на худом скуластом лице.

— Э-э, будь моя воля, я эти горы, серые точно короста на спине шелудивого верблюда, повалил бы на ту сторону и сровнял с землей. Копаем могилу своему человеку, а из земли лезут только острые камни... А какая мягкая, пушистая была земля в наших горах, и для живых, и для мертвых... А травы какие росли? О создатель, увижу ли я опять свое родное пристанище?

Тазабек даже прослезился, чего раньше с ним не случалось.

На панихиду собралось человек тридцать.

Покидая насыпной холмик, под которым брэнному телу Кыдырбая предстояла встреча с ангелами, учиняющими допрос, беженцы врассыпную затаили:

— О бедный наш отец! Где ж теперь тебя увидим... Голосили те, кто еще мог голосить. Остальные бессильно

вздыхали, а кто-то сказал:

— Благо у Кыдырбая есть такая келин, как Батийна. Хоть в землю захоронила, не оставила на съедение хищникам.

Пришел час, и слегла сама Батийна. Она не стонала, не проклинала жизнь, лишь изредка глотнет воды из рук Турумтай. Иногда вздрагивала сквозь сон, шумно вздыхала, поводила глазами, и губы ее невнятно шептали, кому-то молились.

— Бедняжечки, маленькие светильнички, как же вы там, а? Вам ведь холодно, да? А ветер-то какой?

— О ком это ты, Батийна? Каких птенчиков зовешь? — тревожилась Турумтай.

— Нет, мне хорошо. Просто я открыла кошму, а они, девять крохотных птенчиков, миглом разлетелись.— Безжизненное лицо Батийны исказилось подобием улыбки.— И все унеслись в разные стороны... Наверное, в свои

края полетели... Будут летать по прибрежным кустам. Вон они, джене! Я вижу их на таволге и слышу — чирикают и свистят. Смотрите, смотрите скорее, а то вот-вот скроются...

Турумтай терялась в догадках. А Батийна не то плакала, не то смеялась. Перепуганная Турумтай позвала Маты-эне. Старуха долго сутулилась у изголовья Батийны. Усохшими пальцами щупала пульс, гладила больную по голове, беспомощно бормотала:

— О создатель нага! Кромешную ночь ты обрушил на головы бесприютных людей! За что наслал болезни на них?

Не открывая глаз, Батийна бредила:

— Ой, миленькие, смотрите, смотрите на них. Все девять сели на камешки на берегу реки и купаются в воде, чистят перышки. Эй-эй, Зуракан, скорее идите сюда! Я здесь! Не видишь, что ли? Уже и кони готовы. Скорее надо ехать. Сколько вас можно ждать? Я вся истомилась.

Старая Маты-эне будто о чем-то догадалась. И в утешение больной тихим ровным голосом рассказала сказку:

— Правду говорит наша Батийна. Я тоже вижу. Турумтай, посмотри и ты. Вон видишь, какой большой сад. А рядом звонкий родник песню поет, по пригоркам желтый лютик цветет. На ветках там девять красивых птиц. Прихорашиваются, чистят крылышки и сверкают на солнце. Выводок из одного гнезда. Вот они поднялись... Полетят они за черные горы, на нашу киргизскую землю. Вижу я и наши стойбища. Они в зеленой траве и в разноцветье. Смотрите, у выхода из ущелья, на берегу реки, стоит красивый город. Собираются люди, наверное, на сход какой-то... А может, там готовится большой праздник и пир на весь мир? Тогда позовут и нас. Да, да, я вижу, сюда скачут два всадника. Одна, кажется, женщина в красном цветастом платье. Платье ее ветер раздувает во все стороны. Кажется, это и есть Зуракан, которую только что звала Батийна. Точно, так и есть. Она ведет лошадь. Наверно, для Батийны. Сейчас начнутся игры... Джигиты устроят козлодрание. Жених увезет свою невесту в аил. Вон едут за нами. Сейчас и нам ехать. Мой свет, Батийна, Зуракан приехала, открой глаза.

Маты-эне повторяла свою сказку подряд много дней. И, по ее словам, Зуракан приезжала к Батийне, звала ее на большой той. Маты-эне возносила хвалу девяти разноцветным птицам, которые летали по древней киргизской земле, купались в прозрачных каплях росы и солнечных брызгах,

Батийна молча слушала и засыпала. И неизвестно, что помогло: то ли болезнь сама отступила, то ли ее исцелила сказка Маты-эне. Прошло несколько дней, и Батийна встала с постели.

...Серые, безжизненные, каменистые чужие холмы; голые, безрадостные горы, только весной покрывающиеся ненадолго чахлой, ржавой зеленью, не дали сытной еды вольному скоту киргизов, и беженцы вскоре расстались с многими животными. Пришельцы никак не могли привыкнуть к этому неприветливому краю.

Что ни день, с запада дул холодный ветер, несший с собой крупинки жесткого снега, песка, прошлогоднюю траву. Зима разыгралась с частыми снегопадами, метелями и морозными ночами. Для бесприютных людей, проживших всю жизнь в укромных, защищенных от ветров горах, она оказалась роковой. Скот, которого с каждым днем становилось все меньше, едва держался на ногах. Шерсть на конях облезла, четко проступали ребра. Казалось, дерни за ресницу, и когда-то сильная лошадь упадет и не поднимется. Дрема... Зимняя дрема охватила и людей, и немногих уцелевших животных. Наконец и она миновала.

Тучные серые облака постепенно стояли, растворились по вершинам гор, и неведомо куда их разметал по небу, угнал теплый ветер весны. Этот же ветер умчал за тридевять земель зимнюю стужу, колкий мороз, подмел последний снег. Все выше поднималось солнце, гоня ледники кверху. Все щедрее становились его прямые, блаженные лучи... Кое-где пробились тоненькие стебельки травы. Она чудом цеплялась корнями за расщелины скал, за трещинки, хилая, как больной человек, тем не менее скот вышел ее щипать. Вышли на солнце и оборванные дети и полуодетые взрослые. Грелись, радуясь ясному небу, вооружались заостренными палками и железными кольями и разбредались по скалам собирать луковицы тюльпана и только что проклюнувшуюся из земли козелец-траву. Забивали шкворень и вместе с песком выворачивали маленькие, беленькие, липко-скользкие луковицы. Многие побрели по селам и городам — выпросить кусок хлеба. Спали там, где застанет ночь. Были и такие, что за горстку зерна незнакомым людям отдавали родных детей. «Возьми, дорогой, ребенка. Чем с голоду помирать, лучше пусть он тебе послужит», — упрашивали родители. А сколько тогда против воли было продано молоденьких девушек-подростков! И как они плакали, разлучаясь с родителями.

По дорогам бродили навьюченные домашним скарбом козы, овцы, собаки. Хорошей одежды, добротной постели, отменной сбруи ни у кого не было: давно все было продано.

Не в пример равнодушным властям, бедняки-уйгуры, без устали работавшие с кетменем в руках, оказались отзывчивыми людьми. Размахивая жилистыми руками, развевая по ветру широкие полы пестрых халатов, босые, они щедро делились, чем могли.

— Вай-вай, обездоленные братья! Прости их господа! Дехкане отдавали беженцам последний кусок. Дети играли с детьми, забавляли маленьких; женщины ютились около женщин. Каждый старался разделить горе бесприютных.

А старики ходили по домам, увещевали родичей не обижать беженцев.

— Не просите с них дорого за еду. Подешевле продавайте им скот и зерно. Пусть хоть встанут на ноги. Будем великодушны к ним. Бог отблагодарит нас за нашу щедрость.

В городе открывались столовые, по четвергам и пятницам в казанах варили сооп тамак¹, и пришлый люд кормился из больших деревянных чашек.

А Батийна продавала все, что когда-то сделала своими руками: конскую сбрую, вышивки, одежду, белые кошмы, на которых престарелые люди читали молитвы, даже разноцветные стебли жесткого чия сбывала. Вместе с Качыке она привозила все эти пожитки на старой кляче, которая чудом спаслась на трудных путях суровой зимы. И, распродав все по дешевке, тут же покупали муку, толокно. Возвращались в горы, в свой ветхий шалаш. Дорога была каменистая. Острые, как ножи, камни резали босые подошвы. Кляче не в подъем было везти их двоих — она сама с низко опущенной головой едва волочила ноги.

Батийна, упираясь одной рукой в ноющую поясницу, другой ведя лошадь за поводок, укоризненно говорила Качыке, смахивая пот с лица:

— Твой дядя Алымбай исчез с наших глаз, пропал, как бродячий пес, и два косяка коней куда-то загнал. Покойный отец твой, да попадет душа его в рай, все свои дела на меня возложил. Нам с тобой приходится волочить свои натруженные ноги по чужим Ак-Чийским степям Кашгара. Неужели жизнь не улыбнется нам? Хорошо, что ты немного научился читать и писать в городе. А я вот не умею... Если вдруг я умру на этой проклятой дороге,— Батийна скупно улыбнулась,—хоть ты не забывай меня. Вся жизнь у тебя впереди. Пусть люди знают: тут, мол, умерла моя родная тетя, она старалась для нас все сделать. А когда найдется бумага и карандаш, то напиши на бумаге свои воспоминания обо мне... Жалко, что я не умею писать... Помнишь, на той неделе к нам в аил приезжал какой-то дервиш? Ты слышал, как он складно пел? За душу хватает каждое его слово. Если бы умела, я записала бы каждое слово печали этого старика. У меня в голове удержалось совсем мало из того что он пел:

За холмами верблюды остались,
И людей там сморила усталость,
И, влекомый злою судьбой,
Идет, словно нищий с сумою,
Народ, богатый когда-то.
Там остались кони за взгорьем,
Там за взгорьем — голод и горе.
О народ мой, большой, справедливый,
Скоро ль день настанет счастливый,
Когда в ярости ты разрушишь
Тот капкан, что давно тебя душит.

Правда, хорошая песня? А сколько таких песен хранится в памяти ^народа? Иногда мне кажется, что все обиженные люди — прирожденные акыны. Наверно, не один наш народ любит петь и сочинять песни. Кто знает, может, добрый джинн— отец песен — провел ночь на земле и передал свой дар нашему народу... Посмотришь — ободранный, как облезлый верблюжонок, опухший человек, а сидит себе на базаре и как ни в чем не бывало поет, сочиняет свои песни. Заметил старика, где мы покупали толокно? Белобородый, все лицо в морщинах, в чем у него только душа теплится, а

голос до чего же чистый и звонкий! Как он поет! Слова так и переливаются, как бусинки на шелковой нитке. И поет он ласково, вольно, прошибает насквозь своими словами. Поет о нас с тобой, о всех беженцах, о бездомных и бесприютных. У нас есть акыны² у которых слова летят² как брызги огня из-под горна кузнеца; у нас есть сказители, они долго-долго могут рассказывать сказки, похожие на медленное движение каравана в пустыне; есть у нас и мудрецы, доподлинно знающие всю историю, все легенды и предания, нравы и обычаи народа.

Почему же нам не дано строить дома, воздвигать города, выращивать сады, озеленять землю? Почему у нас нет своих медресе, где учились бы дети? Живи мы в городах, как русские, мы тоже, наверное, стали бы сильным народом, пустили бы глубокие корни. Кто бы посмел нас тронуть, согнать с насиженного места?... А мы кто? Кочевники, вечные странники. Весь наш груз — серые кошмы да легкие юрты, озаряемые светом очага. Всю жизнь в седле. Куда подул ветер жизни, туда мы кочуем. Как перекати-поле. Наши кони быстры, наши сборы легки... Вот обдало нас ветром страха, и мы разлетелись песчинками, мой кичи жээн¹. Видел на базаре, сколько там нищих, полураздетых, голодных людей бродит? Это все наш киргизский народ. Если бы не доброе гостеприимство уйгурских дехкан, многие наши беженцы давно лежали бы под землей. Простой люд, оказывается, добросердечный. Как забудешь отзывчивых в беде кашгарских братьев?

Батийна, придерживая клячу, остановилась на мгновение, глотнула слюну и, поудобнее переложив посох, дальше застучала им по ухабисто-каменистой дороге.

— А видел ты, Качыке, как старая-престарая горбатая бабушка прощалась с девочкой? То, наверное, ее внучка. Слышал, как она причитала: «Счастье ты мое... Иди, иди с этим дядей. Лучше поживи у чужих, чем умереть с голоду. Не бойся... Будем живы, найдем тебя... Заберем домой...» Слышал, как она стонала? Как только сердце у нее не разбилось? Разве легко расстаться со своим ребенком?

Когда она села на плоский камень и разрыдалась, я тоже не выдержала. А ты сдержался. Все-таки ты мужчина. Крепче меня. А может, ты просто еще многого не понимаешь. Я почувствовала—рвется в клочья сердце бабушки, тяжело расставаться с внучкой, но толкает ее нужда на это. Я видела, у этой бабушки и внучки давно во рту крошки не было, они изнывали от жажды. Как она наставляла внучку быть послушной у чужих... Эх, Качыке, Качыке! Ничего-то ты еще не понимаешь. А я и сейчас слышу дребезжащий голос старушки, листва засохшего тополя так шелестит на ветру...

Батийна, подкладывая в огонь сухой травы, варила жарму¹ из купленного на базаре толокна.

Полог шалаша вдруг приподнялся, и вошел, как тень худющий, человек; он был чернее сажи на днище казана. Подумав, что пришелец нищий — много их брело тогда по уйгурской земле,— Батийна продолжала помешивать деревянным черпаком сбегаящую жарму. Жарко горели стебли карагача, треща и

постреливая во все стороны искрами, и сквозь треск и шипение огня Батийна уловила тяжелое дыхание человеку.

— Эй, мой свет, Батийна, не узнаешь меня?

Батийна обернулась на усталый голос. А он продолжал:

— Конечно, дорогая, где уж меня узнать? Я сам себя не узнаю. Люди бегут от меня, такой я страшный. Джусуп я, друг твоего отца Казака. Помнишь, как в местечке Толоктун-чаты я тебя освобождал от Адыке? Так и не смог защитить. Власти на то не хватило.

— Ой, дядя Джусуп! — обрадовалась Батийна, порываясь обнять старика. Но он замахал рукой.

— Не подходи ко мне, доченька. Я болен. Не заразились бы от меня. Спасибо тебе, что признала своего человека... А болезней на свете развелось! И все они прилипают к беглым киргизам. А тут еще голод... Хоть бы дотащиться до родной земли... Да и нельзя не возвращаться. Говорят, местные власти силой будут выдворять отсюда беженцев. Кое-кто из наших киргизов уже потянулся обратно... Я потерял там всю семью, родных и близких. И теперь остался один, никому на свете я больше не нужен...

Джусуп был в старом, выдавшем виды сером чапане, подпоясанном грязным, выцветшим кушаком. Справа под мышкой у него что-то выделялось, вдруг это что-то зашевелилось, и из-за пазухи Джусупа тоненько, по-кошачьи запищало. Батийна вздрогнула, Джусуп улыбнулся, объяснил:

— Не бойся, доченька... Я только что тебе сказал, что совсем один-одинешенек. Был. Но теперь нас двое. За пазухой у меня мальчик, трех или четырехмесячный. Лежал около мертвой матери у обочины дороги. Сосал безжизненную грудь. Губы шевелятся, значит, ребенок еще живой. Я не мог глаз оторвать. Жалко стало дитя, и я решил: ведь он все-таки живой человек. Если оставить, пропадет ни за что. Дай-ка, думаю, возьму его с собой. Хоть какое-то живое существо будет утешением одинокому путнику. А повстречается добрый человек, покормит и малыша, и меня. А умрет, не составит большого труда зарыть такого крохотного человечка в какой-нибудь ямке. Вот я и оказался у тебя... вдвоем. Люди показали, где твой очаг, доченька.

У Батийны даже черпак выпал из рук.

Джусуп присел, как живая тень, у входа и опять заговорил:

— Ужасно! Не найдешь, кто где... Кто уцелел, а кого уже нет. Все-таки я, бог даст, потихоньку как-нибудь проковыляю к своим горам. Ты покорми меня жармой, доченька, и я пойду. Зачем вам лишняя обуза?

— Вы же одиноки, Джусуке, — взмолилась Батийна, — оставайтесь с нами. Поделимся, чем есть.

Но Джусуп твердо стоял на своем:

— Спасибо, дочка. Не хочу обременять тебя...

От горячей жармы ослабший Джусуп вспотел. Вытирая пот и пряча за пазуху сверток с чашкой толокна, что дала Батийна, он спросил:

— Нет ли вестей от отца, Батиш?

— Я его однажды видела. Прошло дней десять, как мы бежали сюда. Он ехал на лошади.— Батийна виновато как-то отвела глаза.— Встретились мы у самого перевала. Скота и народу столько скопилось, что всем сразу не пройти. Я ехала вместе со своим аилом. И прямо на пути повстречался всадник в вислой войлочной шапке на гнедой кобыле. Сразу и не узнала, что отец. Он окликнул меня. Я не заплакала. Не плакал и он. Мы просто приветствовали друг друга. Он тогда сказал: «Наши пожитки везут сзади. Твои братья и сестра плетутся пешком, помогают людям подгонять скот. Узнал, что ваши уехали вперед, и поспешил за тобой, чтобы хоть напоследок еще раз повидаться». Но тут Кыдырбай стал поторапливать: стада ушли, мол, вперед — и не дал нам поговорить. Мне пришлось спешно проститься с отцом,

Джусуп задумчиво и сокрушенно сказал:

— Досталось, наверное, бедному Казаку.,, Батийна опять виновато отвела глаза.

— Отец, наверное, приезжал просить у нас лошадей. Он еще долго стоял и смотрел нам вслед. А я, дура, не догадалась! Надо было отдать ему своего жеребца. А самой пешком...

Джусуп стал прощаться,

— Ну, до свидания, Батийнаш! Ты нас с малюткой поддержала. Спасибо тебе, родная. Буду жив, еще увидимся.

И Джусуп вышел из шалаша, неуверенно ступая отежшими ногами.

ВБЛИЗИ МЕРЦАЕТ ОГОНЕК

Когда весна оделась в зеленый наряд, в безжизненные, казалось, скупые серые горы стали стекаться беженцы из Кашгара.

— О боже, открой перед нами все перевалы, чтобы мы хоть разок увидели стойбища отцов! Верни нам былую спокойную и сытую жизнь,— говорили с надеждой люди, мечтая о родных местах.

Изо всех ложбинок, впадин, котловин появлялись новые и новые семьи. И опять, как при бегстве с киргизской земли, они заполнили все горные тропинки и ущелья.

Одно тревожило сердце каждого киргиза: что ждет его впереди? А вдруг вооруженные солдаты разгневанного белого царя перебьют всех на родной земле?

Каждый прислушивался к разговорам, наострял уши, словно скакун перед опасностью.

Те, у кого были быстрые кони, скрывали их от чужого, недоброго глаза, покрывали всяким тряпьем и хламом, иные обрезают хвосты и гривы жеребцам, превращая их в кургуzych лошадок. Каждый хозяин опасался: «Как бы солдаты не позарились. А хвост и грива отрастут скорей, чем за год». Побавались и за взрослых девушек. Их нарядили в мальчишек-подростков, заставили подгонять скот. Некоторых облачили по-нищенски — в рваную шубу и штаны из кожи — и не позволяли умываться. Так-то будет спокойнее.

Слухи были разные. Одни говорили: «Русские собрали большие силы и ждут киргизов на перепутье. За то, что, мол, киргизы взбунтовались, царь намеревается перебить не только людей, но и скот».

Другие начисто опровергали эти рассказы. «Совсем они и не ждут нас. У них появились какие-то белые русские и красные русские. Они по всей стране дерутся меж собой. Есть слухи, что красные русские уже одолевают белых. А что там в самом деле происходит, не поймешь».

«Будь что будет,— решили беженцы,— поедем дальше, лишь бы добраться до родных мест, а там и умереть не страшно. Чем скитаться голодными, пусть уж нас всех перебьют».

Суровый Кашгар с каждым шагом оставался позади.

В аиле Кыдырбая исчез бесследно не только его брат Алымбай.

Недосчитались многих. Никто не знал, живы ли они или померли от голода и болезней. Но надежды не теряли: «Бог даст, если только живы, то увидимся. А случилось что, пусть земля им будет пухом».

Не забывала про Алымбая и Батийна. Как ни говори, был он ей мужем.

Плохой, правда, а все-таки муж. Будь он жив, она бы с облегчением передала ему все предсмертные наставления старшего брата. Пусть берет себе все наследство и присматривает за остатками семьи.

У Турумтай после смерти мужа развилась болезненная жадность. Иногда подымется с постели, что-то прячет по узелкам, укоряет домочадцев, что они слишком много едят. Больная злилась, если к ним приходили люди, не скрывала свое раздражение даже при родственниках. Нередко Турумтай пыталась напрасно обидеть и Батийну. Но Батийна не сердилась на золовку и молча делала, что требовалось.

Лицо, руки и ноги Турумтай отекали. Она с трудом вставала с постели.

Батийна и Качыке усаживали ее в седло. И хотя душа чуть теплилась в теле, Турумтай все сокрушалась на свою судьбу и день-деньской бурчала, недовольная всем, что происходило вокруг нее.

— Дожили, ни кола ни двора. О коварный бог! Зачем ты оставил меня мучиться на земле? Лучше бы ты забрал вместе с Кыдырбаем. Ни скота, ни богатства... Эй, Качыке, сынок, где ты? Посмотри, кажется, веревка впилась в спину вола, он там что-то ворочается. Эй, Батийна, я что-то не вижу серого кожаного мешочка, куда мы ссыпаем толокно... Куда он задевался? Все прахом пошло, все рассыпалось и растерялось...

Постепенно со всех концов стекались родственники из аила Кыдырбая.

Когда перешли границу и чужая земля осталась далеко позади, открылась на пути обширная зеленая долина со звонкими ручьями и говорливыми речками. Решили остановиться на отдых.

Вода родников, пробившая себе путь где из-под камня, где прямо из-под скалы, где из-под обрыва, была настолько сладкой и вкусной, что беженцы пили и пили ее и все не могли утолить жажду. Родники бежали куда-то вдаль, как сама жизнь. Там они соединялись в речушки, а речушки превращались в широкие полноводные реки.

Вьючные, припав к воде, словно стряхнули зимнюю дрему.

Мужчины скинули сапоги, посбрасывали валенки, засучили штаны и опустили в воду уставшие, натруженные ноги. Шумно плескаясь, отмывали лица и руки. Женщины захлопотали, тут же принялись греть воду и стирать белье.

...А в зеленую долину по тропкам и берегам речушек со всех сторон спускались новые потоки беженцев — пешие и всадники, голодные и сытые, одетые и раздетые, сильные и слабые, едва волочившие ноги... Более здоровые помогали двигаться больным и престарелым, хромым и обессиленным. Они вели за поводок коней, на спинах которых сидели малые дети, разбившие в кровь ноги женщины, седые старики.

Беженцы все вливались, им не было конца, и каждый благодарил судьбу, что вырвался из кромешного ада и что живой шагает по родной земле.

За иными семьями брели полинявшие псы с повисшими хвостами. Ключьями на них висела сбившаяся шерсть, еще не усевшая полностью обליнять. На спинах дворовых псов и на козлах-нрководниках, гордо шагавших впереди овец и коз, еще держались старые войлочные подстилки и обрывки кошмы. Любой клочок кошмы или лоскут войлока — в нужде все могло пригодиться: что на подстилки, что на заплатки.

Тропинка, по которой лился нескончаемый поток беженцев, проходила рядом с ручьем, на берегу которого отдыхали люди из аила Кыдырбая. Многие заворачивали к воде, чтобы ополоснуть лицо и попить воды или перевести дыхание.

К реке подошел не очень старый человек с опухшим белесым лицом. С ним был мальчик. Широко расставив ноги, человек оглянулся по сторонам, За спиной у него было что-то выпуклое. Когда присмотрелись, увидели тоненькие, с соломинку, черные от грязи детские ручонки, словно прилепленные к спине отца, и склонившуюся набок ребячью головку. Тихий ветерок играл жиденькими черными косичками. Но человек держался бодро и своим видом, казалось, хотел сказать: «Ничего, мы еще поживем! Впереди у нас своя вода, свои луга... Живы будем, не сгинем».

Он снял поклажу и осторожно, как мешочек с овсом, положил на траву. Когда беглец развернул одеяльце, послышался писк, и крохотная девочка зашевелила тоненькими, как стебли чия, ручонками.

— Не плачь, моя Бактыгуль,— склонился мужчина над девочкой.— Не плачь, крошка. Сейчас я тебе намешаю вкусного толокна.

Человек все делал не спеша, будто хотел сказать: «Куда нам торопиться. Теперь мы на своей земле. И с голоду не помрем».

Он спокойно помыл руки, сполоснул лицо, отпил несколько пригоршней воды, мальчик лег на живот и то и дело прикладывался к обжигающей холодной струе. Отец, опустив руки в воду и брызгаясь во все стороны, подбодрил ребенка:

— Пей, пей, Бактыжан, вода эта течет из-под наших Великих гор. Ее пил еще твой дед, наши предки.

И мальчик, выпив столько воды, что даже живот вздулся, повалился на спину в густую душистую траву.

Мужчина тоже глотнул из широкой горсти и, закатив глаза от удовольствия, проговорил:

— Ах, родная, милая земля, земля моих предков. Даже вода сладка, как сахар.

Глядя вдаль по течению родника, он притих и задумался. Но девочка опять зашевелилась и не дала отцу додумать свою думу. Он подсел и расстелил около нее одеяльце.

Занятый кормлением ребенка, человек не замечал стоявшую неподалеку женщину.

Не плачь, Бактыгуль,— приговаривал он.— Ты же смышлёная. Мы уже прошли границу. Сейчас мы в краю наших дедов. Скоро домой дойдем... Не плачь, это земля наша и вода наша!

Батийна расстилала белье по валуну, покрытому красноватым шершавым лишайником. Как услышала этот голос, сердце у нее защемило. Она присмотрелась: «Кто это? Неужели Абыл? Откуда он здесь?»

Человек кормил и все утешал девочку:

— Немного уже, доченька, осталось нам шагать. Только нельзя отставать вон от тех, кто впереди идет. Вместе с ними придем на свое стойбище.

Абыл!

Он поднял удивленные глаза. Батийна? Неужели? Как изменилась! Неужели наяву он видит ее?

Не было больше прежней, цветущей Батийны. Перед ним стояла в потрепанном ситцевом платье постаревшая женщина. Руки и лицо ее потрескались от солнца и воды.

— Прости, что не сразу тебя заметил. Ты так тихо подошла, Батийна. Откуда ты здесь? Ну здравствуй же! Как я рад этой встрече! И тебе досталось тоже... Батийна взяла девочку на руки: — До чего же легкая! Как бабочка! Абыл покачал головой:

— Взрослые едва держатся на ногах, куда уж там детям... Они лишились матери, горе и нехватки быстро согнули. На аил наш свалился сыпной тиф. Всех похоронил под камнями Кашгара... Да и сам едва жив... Не знаю: живы ли, здоровы ли родственники... Бреду вот за людьми со своими сиротами. Теперь, думаю, не пропадем. Все-таки на свою землю ступили наши ноги.

— Когда же умерла мать этих бедняжек? — спросила Батийна.

— Ранней весной. Перенесла тиф, только было поднялась, а тут простудилась... Два дня пролежала и распрощалась с нами. Детей на меня оставила.— Смахнув скупые слезы, Абыл продолжал: — Бедняжка не дожидая до этого дня. А как хотелось ей увидеть родную землю! Милая была женщина, хотя после тебя я думал, что никогда не женюсь. Оказалось, очагу мужчины не быть без хозяйки. Повстречалась она на пути. Хорошо прожили с ней эти годы...

Батийна от чистого сердца старалась утешить Абыла:

— Не печалься, Абылжан. Пусть она попадет в рай, бедняжка.

— А что еще можно пожелать?

— Как зовут твоих детей? Абыл оживился.

— На руках у тебя Бактыгуль. Родилась на второй год, как я приезжал к тебе. А сына зовут Бактыжан. Видишь, оба имени говорят о счастье. Это мы им такие имена дали, чтобы хоть они были счастливы. Ведь мы так с тобой стремились к счастью, А оно оказалось короче полета ночной звезды... Мы уж теперь...

Батийна поцеловала девочку в щеку и позвала к себе Бактыжана; мальчик с удивлением смотрел на нее своими большими, карими глазами, точь-в-точь как у Абыла.

— Иди ко мне, Бактыжан,—сказала она ласково.—Подойди поближе.

Мальчик робко подошел. Она погладила головку, поцеловала в лоб.

— Дети совсем замученные и грязные. Оставайтесь дня на два-три. Покормлю их, обстираю. Сам отдохнешь. Ладно?

Батийна смотрела на его исхудалое, почерневшее лицо и никак не находила в нем прежнего молодого джигита. Скулы выдались вперед, глаза запали, белки покрылись желтизной, нос заострился.

— Э-э, милая Батийна, что тут и говорить! Очень хотелось провести всю свою жизнь рядом с тобой. Но бог не дал... Ты просишь остаться. Я бы рад, если бы люди, к которым мы пристали в дороге, остановились на отдых. А они, видишь, уходят дальше. Отстану от них с этими крошками, мне трудно придется. Одному опасно ходить по горам и ночевать в безлюдном месте. Тут не только хищники Великих гор. Страшны и бродячие собаки, их так много развелось, они растаскивают трупы людей.

Абыл шершавой ладонью протер воспаленные глаза, положив в рот дочери кусочек толокна.

— Что можно поделать! Коварная жизнь разлучила, развела нас в разные стороны. Все надежды отрубила одним махом.

Батийне стало больно слушать Абыла. Она посадила девочку на колени отцу и быстро отошла. Недолго задержалась у себя в шалаше и тут же вернулась. У нее было два свертка: один под мышкой, другой в руке.

— Да, да,—торопливо сказала она, будто разговор между ними и не прекращался.— Нельзя вам отставать от людей. Желаю вам спокойной перекочевки. Возьми эти старые вещи. Детям кое-что перешить можно.

Батийна подала и второй узелок, завернутый в старый платок.

— Здесь немного масла и толокна. Где остановитесь, размешай детям толокна с маслом...

Она торопливо посмотрела по сторонам и, заметив на лужайке оброненную жердинку, принесла Абылу.

— Возьми на всякий случай и эту палку. С ней удобнее шагать. Вдруг хищники встретятся, можно отбиться...

Она приласкала детей, поцеловала девочку в щеку, запеленала ее и увязала на спине Абыла.

— Ну, с богом. Будем живы, увидимся. Береги себя. До встречи милые. Бактыгуль, очутившись в своем мешочке, растопырила худенькие пальцы, на лице ее появилось подобие улыбки, и, не отрывая глаз от Батийны, она слабо прошептала:

— Мама, мама...

Да, двухлетняя девочка уже понимала материнскую ласку. Сердце Батийны сжалось в комок, его словно чем-то кольнули.

Абыл, пройдя несколько шагов, обернулся и тоскливо крикнул:

— До свидания! Прощай, мой соловей! Кто знает, увидимся или нет. Да хранит тебя бог. Мы будем за тебя молиться...

И с одним ребенком за спиной, другого ведя за руку, словно древний старик, опираясь на кривую жердинку, побрел Абыл вслед за караваном беженцев.

Батийна долго провожала их прощальным взглядом.

Отдохнув и дав отдохнуть выучным, люди из аила Кыдырбая опять тронулись в путь. Меньше стало пеших, всех разместили по крупам лошадей, по спинам волов, по горбам верблюдов.

Позади остался еще один день пути, к беженцам стали прибиваться новые семьи из аилов, что задержались по укромным местам Ак-Сая при бегстве.

Качыке, видя, как люди находят знакомых, как встречаются и радуются, вспомнил о дяде Алымбае. Он подъезжал к незнакомым, умоляюще расспрашивал: «Дяденьки, скажите, не было ли среди вас чужих людей? Я потерял давно своего дядю Алымбая. Он сын Атантая из Карасаза... Такой широкоплечий, неуклюжий, тихий... Если увидите его, то скажите, что люди из его аила поехали на свое прежнее стойбище. Напомните ему, что у него был старший брат Кыдырбай, младший племянник Качыке и жена Батийна. Скажите, что они живы, здоровы и поехали на старое место».

Лишь Батийна, кажется, оставалась равнодушной. Она не искала Алымбая. Для нее он был давно потерянный человек. И она никому не признавалась, что где-то у нее муж. В то же время она не вправе была сказать — я, мол, безмужняя и хочу вырваться на свободу. Женщина не вольна самостоятельно покинуть юрту, порог которой переступила в молодости с мужем.

Батийна неотступно мечтала о свободе. Ей мучительно хотелось уйти в неведомом направлении, где ее никто и никогда не смог бы найти.

И в такое время, когда душа рвалась к свободе, надо же было умереть Кыдырбаю и завещать ей, Батийне, весь оставшийся скот, свою юрту, даже младшего сына Качыке! Кыдырбай предвидел, что с этим трудным наследством справится разве что Батийна, а не его ворчливая и вечно больная Турумтай. «Если упустить Батийну,— вероятно, думал он,— все пойдут по миру. А с ней они не пропадут». Не случайно он все свое движимое и недвижимое состояние ей оставил. Даже умирая, старший брат подумал о младшем Алымбае. Заботился о человеке, о котором никто ничего не знал... Через два дня пути кочевники остановились в обширной долине, где можно было хорошо отдохнуть не только людям, но и скоту. Остановились еще и потому, что многие отстали и их надо было дожидаться.

Яркое солнце, мягкий ветерок... Люди ставили на скорую руку шалаши, устанавливали треноги, каждый находил себе занятие. Батийна выехала собрать разбредшийся по пастбищу скот, помочь подходившим беженцам снять скорбь, принять с седла малолетних,

Батийна ехала по лугу, прислушиваясь, как под копытами чавкает зеленая жижа, и думала: «Как там мой Абыл? Дошел ли он до своей стоянки с беспомощными детьми? Не растерзали ли его бродячие псы?»

Впереди в густой куге показалось что-то черное. Сердце женщины чуть не оборвалось. Она погнала лошадь, чтобы скорее увидеть, что там впереди. Как раз в это время чей-то незнакомый голос окликнул ее:

— Эй, Батийна, Батийна-а! Давай скорее суюнчи. Муж твой нашелся!

Батийна доехала до трупа, осмотрела и повернула коня назад. В траве лежали останки крупного верблюда. Волки и собаки сделали свое дело — торчали обглоданные ребра да порванная в клочья шкура.

Позади шли новые беженцы. Среди них выделялся один — у него и походка была не как у людей, и одежда состояла не то из шкурок, не то из отрепья. Все с удивлением смотрели на неуклюжего человека.

Тот же голос, что догнал Батийну, раздался снова:

— Эй, баба, я попросил у тебя суюнчи за то, что нашелся твой муж, а ты, как бешеная, скачешь в другую сторону. Что это значит? Или уже не нужен тебе нареченный муж? Вон, посмотри, шагает твой муженек.

— Пусть себе шагает. Сам потерялся, сам и пришел. Что же теперь делать? О, боже! Уезжал в белом кементае, а вернулся хуже нищего. А где же два табуна лучших коней? На кого он похож? О прародитель!

Человек, просивший суюнчи, сидел на крупной пузатой кобыле. Услышав слова Батийны, он поскакал, недовольно бурча:

— Скажи создатель, что за жизнь свалилась на цаши головы? Жена отрекается от живого мужа и нисколько не радуется его возвращению. О всемогущий пророк!

Когда началось беспорядочное бегство, Алымбай находился возле табунов.

Он присматривал ночью за косяками на серенькой тихоходной лошадке.

Услышав, что аил бежал, он растерялся словно попал между бурными потоками воды. Его обуял страх одиночества. Алымбай погнался за лошадой вслед за попавшимися в пути беженцами. Гнал он табун до самого верхнего перевала. Когда завьюжило и запуржило, он сбился с пути. Колкий снег, резкие порывы ветра исхлестали Алымбая. Кони металась с одного склона на другой — чуть не сбили с ног нерасторопного хозяина. Тут и затерялось много лучших коней — одни посрывались в темноте с круч, других загнали хищные звери. Алымбай совершенно ошалел. И, на свое счастье, забрел в тихую котловину, где укрывались люди из других родов. Тут ему повстречалась одинокая женщина, и Алымбай прибил к ней, они и ходили за конями, питались, чем бог пошлет.

Вскоре по-настоящему пришла зима. Выпали невиданные снега, и однажды тяжелый обвал сорвался на Алымбая, на его лошадей и новую жену. Она

вместе со скотом так и осталась погребенной под снеговой лавиной, а он чудом остался жив — голова оказалась снаружи — и выкарабкался кое-как, когда поутих грохот обвала...

О том, что с ним было дальше, где и как жил, Алымбай больше ничего не рассказывал.

Но раз нашелся пропавший человек, зарезали черного, с белой метиной на лбу жертвенного валушка в ознаменование найденной души — Алымбая, наварили еды, попили шурпы, поели мяса, и беженцы пустились в дальний путь.

Чем ниже спускались с гор поближе к родным местам, тем больше страх охватывал кочевников. А вдруг навстречу им появятся вооруженные солдаты и всех перебьют, как мух?

На шестой день к обеду кочевники из аила Кыдырбая вышли к мосту через реку Нарын. Впереди показались два солдата. Беженцы растерянно остановились полукругом. Послышались чьи-то испуганные голоса:

— О люди, глядите, оказывается, нас давно уже поджидают вооруженные солдаты!

— Ни за что все погибнем...

— А что поделаешь?

— Такова божья воля. Читайте молитвы.

Когда люди ни живы ни мертвы, встали в нерешительности, один из солдат, кряжистый, широкоплечий, шагнул навстречу беженцам. По виду, похоже, русский. Говорил он по-русски, отдельные слова звучали не то по-татарски, не то по-узбекски, не то по-киргизски.

— Зачем так бояться? У нас новая власть,— запинаясь, пояснил он.

— Ой, да он наш язык знает,— зашептали кругом.

— Эй, Качыке, где ты? Ну-ка выйди вперед и поговори с ним.

Солдат, широко взмахнув рукой, радостно сказал:

— Все пролетариата свергли белого царя. В России уже новая власть — все угнетенные народы получили уруят — свободу и равенство.

Последние слова солдата не дошли до сознания каждого. Все смотрели на него с недоумением, как на диковинку. Качыке пояснил:

— Народ — значит это все мы. Он говорит, что мы, люди, получили свободу.

Люди, только что опасавшиеся за свою жизнь, зашумели:

— Оозуна май¹, милый.

— Качыке, а ну спроси у него, что такое уруят?

— Уруят — значит свобода.

— Что ты говоришь?

— Свобода,— говорит солдат.

Женщина робко, не расслышав слова «уруят», переспросила у Батийны:

— Что он говорит? Уят² вроде? Ой, не спрашивай больше, а то еще в беду попадем.

Батийна даже не стала слушать уговоры женщины и, смело выйдя вперед, обратилась к солдату:

— Ну, солдат, ты, кажется, говоришь что-то хорошее. По^ втори-ка — уруят этот придет и к нам или как? Скажи, кто принес эту свободу. Как зовут того человека?

— Ленин! Владимир Ульянов-Ленин.

— Ульянуп Ленин? А нам можно увидеть этого человека? Солдат, видимо, и сам не знал, что отвечать. Улыбнувшись, он пожал плечами:

— Может быть, увидите. Но Батийна не отступала.

— Кому он дал уруят? Всем людям, беднякам и бездомным, или только нам, женщинам?

— Всем народам... но только угнетенным народам. Баям нет уруята.

— А что с русскими будет, которые выгнали нас с земли? Они отняли у нас земли. Сказали, что наших джигитов возьмут в солдаты.

Спросив это, Батийна тут же испугалась: «А если он просто выпытывает у нас все? Обманывает. Может, это ловушка?» И, холодея всем телом, уставилась на солдата.

Но солдат искренне сказал:

— Ай-ай, темный народ! Айда, бедняки!.. Сам Ленин русский. Все русские не одинаковые. Это белый царь, генералы и чиновники смотрели на вас плохо. Русский пролетариат вам друг, товарищ, он уважает вас. Проходите через мост. Зачем стоять? Езжайте на свои земли.

Перепуганные, взъерошенные люди, не зная, то ли верить словам солдата, то ли нет, моля бога о спасении души, переходили через мост.

Кто громко, кто шепотом переговаривались:

— Оозуна май, добрый человек. Да сбудутся твои слова.

— О, рыжеголовый пророк! Там, где остановимся, сделаем ак сарыбашыл³.

— О наш пророк. Мы должны принести тебе жертву по случаю избавления от несчастья... Как он, солдат, назвал имя человека, который раздает всем народам свободу?

— У него есть даже три имени. Я запомнил только слово Ленин. Остальные два имени запомнил. Да и кто из нас запомнит такие слова? У нас же у всех память отшибло...

Батийна, возбужденная радостной вестью, рысью погнала коня во главе каравана. Старичок, словно старый ворон сидевший на крупе тщедушной хромой лошади, подал голос:

— Эй, доченька Батийна, не запомнила ли ты имя того светлейшего человека, который дал свободу всем народам?

Батийна, придерживав повод коня, звонко ответила:

— Ульянун Ленин.

— Дай бог тебе счастья, доченька Батийна. Да, да, он так и сказал, что Ленин. Теперь и я, старый, вспомнил.

— А вот мы не спросили, из какого он народа?

— Солдат ведь сказал, он из русских.

— Знаю, что из русских, а из какого он роду? — не унимался старик.

— Неважно это. Важно, что он дал людям свободу. Значит, он настоящий, умный человек. Сам бог его, значит, любит, благословляет,— сказал кто-то. Люди, ехавшие в страхе от мысли, что их ожидает завтра — то ли избиение, то ли новое бегство, услышав сбивчивый рассказ солдата о новой власти, обрадовались, как радуется усталый, едва волочивший ночью ноги путник, увидевший в минуту отчаяния спасительный огонек человеческого жилья,
НА РАЗВИЛКЕ ДОРОГ

Весть о том, что велено прийти на собрание всем мужчинам и женщинам старше восемнадцати лет, быстро облетела каждую юрту. Хотя весть и облетела, но многие не смогли прийти: чабаны, что кочевали далеко в горах, и немало женщин, занятых стряпней и другими домашними делами.

Женщинам, никогда не сидевшим на сходах рядом с мужчинами, ехать на шумное сборище казалось чем-то несуразным, даже постыдным. «Кобылица бежит, да приза на скачках не получает»,—любили по вторять баи. Больше того, самим женщинам думалось, что они не вправе присутствовать на сходе. «Разве что какая-нибудь бесстыжая,—рассуждали они, — заявится туда, где аксакалы восседают на кошме». За подобное самовольство даже жену именитого, знатного человека осмеяли бы в аиле, а муж и свекровь ее бы возненавидели. Это было яснее ясного.

Случись, что иной более сознательный муж и скажет жене: «А что, правда, давай сходим на собрание», она непременно возразит: «Нет, иди лучше сам. Разве я ходила когда-нибудь на собрания? Ведь там аксакалы. Каково мне смотреть им в глаза. И твой старший брат там. Что он скажет? Оставь меня...»

И муж только доволен. «Как знаешь. А я пошел».

И Батийна поступить иначе не могла. Мужчины уходили на общий сход, а она тоскливо смотрела им вслед и вздыхала. Как ей ни хотелось последовать за ними, она чего-то боялась. То входила в юрту, то выходила, терпеливо ждала, авось кто-нибудь скажет: «Эй, Батийна, почему не идешь на собрание? Туда зовут не только мужчин, но и всех женщин. Поторапливайся!»

Однако ни муж Алымбай, ни вдова Турумтай, ни юный Качыке, с которым она делилась своими тайными мыслями,— никто не сказал ободряющего слова.

Она тоскливо думала: «Представитель новой власти бедняков хочет что-то важное нам сказать, неужели никто из нас не услышит его?»

Терзаясь тяжелой обидой, Батийна задумала испытать Турумтай, вдову Кыдырбая.

— Джене,— сказала она громко, входя в юрту байбиче,— представитель новой власти позвал на собрание всех мужчин и всех женщин. Будь жив наш большой джээн (так она величала Кыдырбая), конечно, он бы поехал... Но его нет с нами. Может, за него вы послушаете, о чем там будут толковать?

Вдова давно оправилась после болезни, лицо разгладилось, и она стала похожа на прежнюю байбиче покойного Кыдырбая. Бросив надменно-холодный взгляд на Батийну, Турумтай встrepенулась:

— Ты что, посмеяться надо мной решила, Батийна?

— Нет, джене, я вполне серьезно.

Чтоб таких слов я больше не слышала. Что скажут люди? «Вдова Кыдырбая, видите ли, похоронив мужа, уже ищет на собрании другого».

Батийна, пересилив охватившее ее смущение, выдавила из себя улыбку и спросила:

— Значит, никто из наших женщин так и не поедет на интересный сход?

— Ну и что? Зато мужчины поехали. Тебе самой туда, наверное, сильно хочется? И не стыдно? Люди, как пить дать, скажут: «Жена Алымбая самовольно повадилась ходить на собрания». Брось!.. Нечего там тебе делать!..

Батийна, униженная, глядя в землю, оставила юрту. Она шла вдоль косогора. Ни души крутом. Мужчины разъехались, а женщины занимались своим извечным делом: молчаливо и безропотно пряли пряжу, мотали шерсть, кроили овчины, разводили огонь.

«Даже при новой власти, которая разделяет горе и печаль всех угнетенных, женщины не смеют вмешаться в мужской разговор. А ведь обещали: свобода одинаково что для мужчин, что для женщин. Где же это? Звали-то всех, а мне вот нельзя поехать на собрание! Почему же?..» У Батийны от этих горьких мыслей стучало в висках.

Она шла, растерянная, со слезами на глазах, и все посматривала в сторону холма — где-то там созывается собрание, на которое ей не попасть. И в это время она увидела прямо перед собой всадника. Он скакал на полном ходу к аилу.

Батийна успела заметить, что держался он в седле не по-киргизски. С каждым прыжком коня — у него были тонкие высокие ноги — стройный всадник подпрыгивал в седле, как ловчий сокол перед взлетом с насеста. «Кто бы это мог быть? Вроде солдат с заставы, что стоит в верховьях Карасаза. А может, представитель из города?»

Батийна, как замороженная, следила за всадником. Вот он прискакал к крайним юртам. И тут она заметила, что он вовсе не один, следом скакали еще двое: у них развевались полы просторных чапанов, и, похоже, это были здешние люди.

Забрехали собаки, и на топот конских копыт из юрт высунулись любопытные женщины.

Да, это были солдаты верхней заставы. Они и раньше заглядывали в аилы, что неподалеку от их стоянок. Командир, с красной звездой на фуражке, с портупеей из коричневой, блестящей кожи через плечо, не раз привозил с собой этого солдата к ним в аил: солдат этот понимал по-киргизски. Еще в первый свой приезд он рассказывал, что до новой власти был малаем¹ у богатого русского. Тогда еще все, кто слышал его, растерянно задумались: «У всех баев, значит, нет ни стыда, ни совести. Мы думали, они помыкают лишь киргизами, но получается, что и русских солдат заставляют работать! Значит, на свете есть и русские малаи?»

От этого же солдата Батийна впервые услышала, что при ново власти и мужчины и женщины равноправны.

Это был Якименко, веселый, шутливый человек, тот самый, что встретил их тогда, в дни безысходного отчаяния у моста, и порадовал приходом новой власти.

— Здрасти, Жашке. С какой вестью приехал? — возрадовалась Батийна, будто родного брата увидела.

И, не ожидая ответа, заторопилась навстречу солдату. Казалось, ноги сами несли ее.

Понукая тяжело дышавшего коня, Якименко еще издали вскинул руку и громко ответил:

— Аман, Батийна! Прибыл представитель. Расскажет новости. Почему не пошла? Зови всех женщин. Надо сельрабком избирать. Много полезного узнаешь. Своими ушами услышишь. А то глаза не откроются. Есть лошадь? Садись! Поехали.

Молодухи, опасливо выглядывавшие из-за прорезей своих юрт, быстро попрятались обратно и жарко зашептали:

— Ой, этот большой русский Жашке зовет нас на собрание. Разве нам можно туда? Нет, нет. Стыд какой!

— Да разве женщины когда-нибудь ходили на сход старейшин! — подхватывали старухи.

Только Батийна почувствовала себя счастливой: нашла на земле то, чего долго ждала от неба.

— Масла бы тебе в рот, Жашке. И откуда ты взялся на мое счастье! Я обязательно поеду. Все есть — и конь и шуба. Только воли не хватало. Теперь ты позвал. Значит, мне можно ехать.

Звонкий, возбужденный голос Батийны долетал до каждой юрты. Девушки и молодухи, сгорая от стыда, вполголоса возмущались:

— О, крикливая горлопанка! Смотрите, она решила ехать следом за большим Жашке. С чужим мужчиной. При живом-то муже. И не краснеет даже! Бесстыдница!

— Похоже, что солдаты с заставы совратили шальную бабенку с пути истинного! — недоуменно всплеснул кто-то ладошками.

Батийна слышала гнусавые голоса женщин, но ухом не повела. С тех пор как в округе расположилась застава и военные люди наводили порядки среди населения, Батийна открыто встречалась с военными.

— Чтоб ей пропасть, этой плутовке!.. Мало ей, что мужу изменяла, теперь с русскими начала крутить! — говорил Серкебай своему другу Тазабеку. — Если каждая женщина пойдет по ее пути, то мы все скоро останемся без жен. Спасибо новой власти!.. Кто выдумал такое равноправие, пусть на здоровье и пользуется им! Мы скотом платили калым за жену. Честь по чести, как положено... Сам мулла благословлял. Неужели ж мне позволение спрашивать, бес их возьми, как управлять своей женой, неужели я не могу делать с ней, что я хочу?!

— Э-э, пустой разговор. Во всяком случае, взбесит меня, ну и стукну ее разок. И она стукнет разок. Вот и все...

— Эх, болтун ты, мямля. Чем пробовать на себе кулак жены, лучше трижды умереть. Если хочешь знать, даже самый плохой муж — второй бог жены. Не только поднимать руку на мужа, даже переступить через его сапог, что стоит у порога, баба не смеет. Пусть меня загонят в дальние горы Койкапа¹!, но я не позволю своей жене, как медведь Алымбай позволяет, таскаться с какими-то солдатами!..

— Эй, бай-аке, не думай, что у нас нет души. Но что поделаешь, если тебе прикажут власти? Придется подчиниться,— подливал масла в огонь Тазабек.

— Не мели чепухи. Если прикажут! А ты не будь дураком. Купи ей косынку, погладь по бокам. И все. Женщине и не нужно никакое равенство. Коль скоро возьмет власть над мужем, вся земля перекувырнется вверх дном. И тот, кто выпускает законы, сам потом будет не рад, если жена резво вскочит ему на шею. Вот до чего может довести их равенство и свобода.

Тазабек с улыбкой слушал Серкебая. Расхохотался:

— О, Секем! И я хотел о том же сказать! Резонно ты толкуешь, наш пророк Серкебай, насчет женской свободы. Вы только посмотрите, как торжествуют эти албарсты в лохматых войлочных калпаках! А их жены? И они туда же подолы задирают. А если женщины начнут возбуждаться, подобно козлам, к добру это не приведет. Хорошо, пусть баям и старейшинам прижмут язык и разгонят ростовщиков. Но что тогда ждать от этих скверных баб? Они сядут нам на голову. Не станет белобородого муллы, который своими заклинаниями отгоняет злых духов, что совращают наших женщин. Не станет и меня, чтобы плеткой наводить порядок среди баб. Твоя же байбиче схватит тебя за бороду и начнет трепать, ты и пикнуть не посмеешь... Дойдет ли тогда наш голос до бога?

Бедняки в рыжих, дырявых шубах наслушались речей,— чем же опасна людям свобода — и тоже засомневались: «Новая власть на первый взгляд вроде бы стала на хороший путь: ни баев, ни бедняков не будет.

Издевательство человека над человеком кончится. Учись сам, посылай детей в школу. Строй свою жизнь... Все ясно, о чем говорит новая власть, все понятно. Словом, то, чего мы ожидали от неба, найдем на земле. Но что случится с нами, если бога не станет и не станет муллы? Кто нас будет соединять брачным союзом? Делать нике? Все дурное, как заразная болезнь, распространится. Жена не станет слушать тебя, бедняк. Вон невестка Кыдырбая совсем распоясалась. А что, если и наши пойдут по ее следу?»

Эти разговоры мужчин, особенно насчет нике, болью отзывались в сердце Батийны. Уже сколько лет она не освободится от невидимых пут, которыми мулла накрепко связал ее с мужем. Она не верила муллам и их заветам. Словно нике и не было совершено, будто она и не сделала те два глотка воды из пиалы, которой благословлял мулла. Теперь что джигит, что девушка вольны и в любви и в выборе. Так говорит закон. Любви открыты все пути, и девушка не будет продаваться, как скот. И какой-нибудь старый хрыч не возьмет молоденькую девчонку в жены по закону. Но ей-то, Батийне, как вырваться из оков брачного союза?

При старой власти ни красноречивые ораторы, ни старейшины, ни их советчики и помощники никогда не говорили кочевникам: «Отныне бай равен бедному, муж — жене, а сильный — бессильному». Да, они умели блеснуть словом и покрасоваться знанием легенд и родословных... Да, они умели восхвалять чью-то удачу и отвагу. Но все клонилось к одному: как бы выгородить бая, показать его величие и могущество, заставить босоногую бедноту беспрекословно подчиняться, падать на колени перед ними, сильными мира сего...

Батийна, оглядываясь на пройденные тропы своей жизни, казалось, всем существом проникла в царившую повсюду жестокую несправедливость. На какое-то мгновение перед ее мысленным взором встал тот памятный день, когда она навсегда рассталась с рыдающей матерью и отцом, с любимым и желанным Абылом.

Но чей-то умный и честный голос неустанно шептал ей на ухо: «Ты пришла к развилке двух дорог. Не стой, не задерживайся, Батийна. Пойдешь по старой — попадешь в прежнюю жизнь, тебя ждут прежние муки. Пойдешь новой — сперва будет трудно, зато ты устремись к своей свободе, к светлому будущему. Так иди по новому пути, шагай без оглядки и не прислушивайся к сплетням, к этим ползающим холодным скользким змеям. Не страшись нарушить брачный союз. И не давай себя запугивать духами предков. Ты за все уже с лихвой рассчиталась. Даже завещание покойного Кыдырбая честно выполнила. В лихую годину на чужбине, когда иные джигиты теряли головы, ты одна-одинешенька спасла от голода и холода потомство Атантая. Перед тобой теперь открывается широкое поле — защищать тех, кого продали вторыми женами к баям, кто греет стынувшие колени старцев, кто гнет Спину от зари и до зари на кухне байбиче. Знай, это твои младшие сестры. И они ждут твоей защиты. Справедливые законы советской власти дают все права женщинам. Стремись, чтобы твои сверстницы и подруги скорее поняли эти законы. Помогай им уйти от зависимости и плетки мужа. Не слушай старШов. Они будут защищать лишь обычаи предков».

Большое собрание лишь укрепило готовность Батийны решительно пойти по новому пути, куда ее звал внутренний голос совести.

Женщины, которых было немало в каждом аиле, даже носа не показали из своих юрт.

— Ой, боже упаси, — слышался сдавленный шепот. — Собрание — мужское дело. Нет, нет. Среди белобородых и сивобородых нам нечего делать. В прохладном, благодатном местечке Карасаз собралось много людей в черных теплых ичихах, в белых шубах, в больших круглых тебетях. Только мужчины. Вчерашние байы в тревоге прикидывали: «Вдруг и моя вздумает сюда приехать? Нет, побоится. Столько тут аксакалов... О боже, а если та сварливая баба, невестка Кыдырбая, нагрянет? Тогда не миновать скандала. Она опозорит нас перед всем народом. Даже седые бороды ее не остановят». Все ожидали, когда откроется собрание и выступит председатель.

В это время на буланом коне показался рослый солдат Якименко, а рядом с ним на приземистой рыжей лошадке скакала Батийна. Шальной ветер забавлялся подолом ее платья, и в эту минуту она похожа была на парящую птицу с ярким оперением.

Серкебай, приподнявшись на колени, нарочито громко сказал:

— Смотрите, кто сюда идет! Чтоб тебе пропасть!.. Аксакалы из-под ладоней поглядели на всадников, недовольно промямлили под нос:

— Отчего бы ей пропасть? Она, кажется, едет на рыжей кобылке с белым пятном во лбу. А рядом с ней гарцует прямо великан... Да ведь это счастливая келин Кыдырбая, подол которой полон блаженства,— слышался язвительный смех.

Тазабек, у которого воспалились глаза, ущипнул себя за бедро и пропыхтел, как филин в темноте:

— Боже, избавь нас от этой ведьмы. Что это значит? На мужскую сходку заявляется баба с широким подолом! Зачем же она идет против обычаев наших предков?

— Не торопитесь. Сейчас увидите,—начальник из города поставит Батийну председателем на это собрание. Что тогда будем делать, старейшины? — сказал какой-то шутник, в улыбке сощутив глаза.

Тазабек готов был от ярости разорвать себя на куски.

— Люди, прошу вас, изберите меня в этот сельрабком. И я вам обещаю — таких вот женщин, что вышли из повиновения, я быстро обуздаю.

смерть где-то рядом

Желание Тазабека, возможно, и сбылось бы, кто знает. Но городской представитель решил иначе, по-своему: сельрабком-мом поставил восемнадцатилетнего Качыке; он нынче закончил школу и был самым грамотным джигитом в Карасазе.

Он умел не только читать, писать, но уже понемногу разбирался в том, что происходило на земле. Он смог бы возглавить четыре рода, занимавшие горы и долины Карасаза. Он мог бы рассказать о новом правительстве и честно выполнять обязанности, которые возлагались на его плечи.

Городской представитель всенародно пояснил Качыке, как работать и соблюдать справедливые законы новой власти, подсказал, как убедить людей, чтобы они скорее распростились со старыми обычаями. Качыке слушал представителя, а сам думал о влиятельных баях, старейшинах, и ему становилось страшно.

Бывало, человек, добившийся власти подкупом ли, с помощью своего богатства или примирением враждующих родов, уже на другой день выпячивал грудь, свысока смотрел на других простых людей и всячески стремился показать свою власть. Раньше на выборах много было шума, споров, разногласий.

А- на выборах сельрабкома все шло удивительно гладко. Четыре рода не тянули в четыре стороны, никто не выдвигал своего человека. В один голос, словно сговорились, восхваляли Качыке.

— Качыке достоин быть нашим предводителем,—неслось со всех сторон.— Он у нас один такой на четыре айла. Закончил третий класс городской школы. Быть ему сельрабкомом. Качыке, мол, и умен, и человечен, он и доброго нрава.— Даже старейшины и баи, сам Серкебай, Тазабек и остальные громогласно тянули за Качыке. Они ходили за ним по пятам, будто самые преданные слуги. Каждый старался чем-то угодить.

— Зайди в юрту, сынок Качыке, дорогим гостем будешь. Твоя большая джене три дня сидела и шила тебе соболиный тебетей. Надень его, не обижай нас. Другой вторил:

— Вечером ждем тебя, Качыкеджан. Наш дастархан всегда раскрыт для тебя. Я, твой дядя, устарел: не разъезжаю по айлу, как в молодости. Зачем мне горячий иноходец? Возьми, пожалуйста, его. Ты молод... А хороший иноходец — крылья и гордость джигита.

Одним словом, старейшины, смутно, сквозь туман видевшие свой завтрашний день, всеми силами старались покрепче забрать в свои руки нового представителя власти. Каждый старался чем-то угодить Качыке, попасться ему на глаза, завладеть его расположением.

Ничего подозрительного в этом рвении аксакалов Качыке не усматривал. Уважать старшего по власти — непоколебимое правило с незапамятных времен. И никому не дано его отменять.

Если старший брат мог продвинуть в волостные своего младшего брата, то и он ходил козырем и тоже считал себя волостным. Он обязан был защищать и поддерживать брата во всем, всюду и везде. И ничего зазорного, удивительного, тем более противозаконного не было в том, что старшие Тазабек и Серкебай заступались за Качыке, угощали его лучшей едой, делали подношения. Наоборот, все казалось правильным: бывшие старейшины не задирали носа, не показывали, что они недовольны и стремятся к власти. Они просто подчинялись новой власти и услужливо относились к молодому ее предводителю. Это их, мол, прямая обязанность.

Качыке не раз и не два был свидетелем, как его покойный отец Кыдырбай, будучи старейшиной, иногда чрезмерно хвалил одного болуша, а другого хулил и поносил самыми бранными словами. Тем не менее он подчинялся им и невольно склонял голову перед обоими.

Качыке тогда многого не понимал. Подростком, слушая речи отца насчет видных людей разных племен, он думал, что сам бог их любит, поэтому и ставит во главе народа. Таким властелином, в его понимании, должны безропотно подчиняться не только бедняки с заскорузлыми руками, но и баи, и аксакалы, и старейшины. Он до сих пор твердо верил, что человек, дотянувшийся до высокой власти, безусловно счастлив и всесилен.

На другой же день после избрания Качыке председателем сельрабкома около юрты Кыдырбая спешили с крупных и гривастых коней все старшие мужчины, вся знать Карасаза.

С неторопливым достоинством Серкебай провел ладонью по короткой бороде и повел речь:

— Под счастливой звездой, видимо, появился ты, сынок Качыке. Новая власть возвеличила имя твоего отца, дала тебе большое счастье. Но счастье, если его не беречь, может улететь, кш птица. А чтобы оно не улетело, вот мы, все старейшины Карасаза, и приехали к тебе в юрту, чтобы дать свое благословение на вечные времена.— Серкебай, сидевший выше всех, как гриф, шевельнул широкими плечами, повысил голос: — Да, сынок Качыке. Мы дадим тебе бата!.— Трясаясь грузным телом, он тихо засмеялся и добавил: — Сам видишь, перед тобой сидят и белобородые, и чернобородые, и седобородые старцы. И никто из них не пожалеет благословить тебя. Пусть будет так... Но мы пока не взяли в толк все законы милой новой власти, обогревшей всех нас своими теплыми, будто весенними, лучами. По слухам, получается, что новая власть будет изгонять и религвдр, и всех мулл. Говорят, она всех непослушных призовет к порядку. Усатых уездных чиновников больше нет! Это мы одобряем. Однако нашим людям не по нраву, что новая власть собирается дать полное равноправие тем, у кого длинные волосы. Конечно, среди ^них встречаются настоящие женщины. К слову пришлось, так давайте вспомним Каныкей — жену прославленного и великодушного батыра Манаса. Она была не менее отважной, чем лучезарный Манас. Она была столь же дальновидной, как старый мудрец Бакай. Мы преклоняемся перед матерью Каныкей... Но разве наших баб можно сравнить с ней?.. Какие-то косматые бата — благословение.

демоны... День-деньской торчат возле костров, а тоже возомнили, что им дали свободу. Что станет с нами, если они мужей начнут хватать за бороды, потеряют стыд перед старшими и младшими? Некоторые сорвали косынку с головы и, задрав нос, ходят с непокрытой макушкой. Ты и сам, Качыке, догадываешься, о ком я говорю.

На какое-то время притихший, а теперь опять сыпавший шутками, Тазабек громко рассмеялся и, хлопнув Серкебая по плечу, сказал:

— Э-э, Серкебай, старый бай, старый волк в женщинах знает толк.

Серкебай промышал что-то невнятное и, будто собираясь с мыслями, уставился в землю. Покряхтел некоторое время, выжидая, пока люди насторожатся, что он еще скажет. И нарочито тихо повел речь дальше.

— Да, Тазабекбатыр. Я-то знаю, какой вред бывает, когда не в меру балуешь и ласкаешь женщину. Это хуже, чем заразная болезнь. Опасно их распускать. Вот о чем я хотел просить тебя, Качыке... Об этом же тебя просят и все старшие. Знай, Качыкеджан, но все, что написано в законах, подходит простым людям. А делать то, что не нравится целому роду, все равно что переть против сильного течения. Ничего не получится... Такой совет решили дать тебе старшие братья. Воля твоя — применишь ты его или отвергнешь. Законы, по которым ты хочешь править нами, новые. Сам ты тоже молод. Многого еще не знаешь. Поэтому ты открыто не отвергай бога. Вызовешь только гнев у народа... Кобылиц мы никогда не пускали на скачки. Ты это сам знаешь. Поэтому укороти язык у своих джене, пусть они поменьше ворочают

им во рту. Я далеко вперед вижу, что случится, если им дать полную свободу. Свободу для них я понимаю так: меньше бейте женщин, больше уважайте. Та, что сидела все время на почетном месте, пусть побудет и на кухне. А та, что всю жизнь провела на кухне, пусть поблаженствует на почетном месте. Лучше их наряжайте, пусть они у вас будут сытые. Если у хорошего мужа плохая жена, пусть он на нее не гневается. Лучше купи ей новую косынку и погладь по спине. Еще что... Надо совсем запретить нашим старцам жениться на малолетних девочках... Калым — другое дело. Запретить его, видимо, не удастся никому. Мать с отцом не продают свою дочь за скот: они по обычаям отцов берут за нее только калым, чтобы ее же проводить с почестями. Так что ты, Качыкеджан, не выступай против калыма. Одним словом, сынок, никто не против того, чтобы нашим женщинам дали равноправие. Только пусть и они не задирают подол коромыслом и не очень заносятся. Покрепче держи их в своей узде, Качыкеджан...

Не узнать прежнего Серкебая, — давно ли он за отару овец лишил молодости красавицу Гульбюбю. Куда что девалось! Сама чистота и степенность. Теперь перед людьми он выступал, как мудрый аксакал, безропотно принявший законы новой власти.

Не стало, кажется, и прежнего крикливого, всем угрожающего карой Тазабека. Если раньше он был опасен, как верблюд в брачную пору, то ныне его почти не слышно. Заставив Серкебая говорить за всех, Тазабек лишь ехидно улыбался.

Серкебай считал своевременным равенство женщины и вместе с тем говорил, как многоопытный и справедливый человек.

Когда происходил этот разговор, в юрте находились не только ©дни мужчины. Здесь же были Турумтай, Батийна, Маты-эне и еще женщины из именитых семей.

Турумтай и Маты-эне одобрительно кивали каждому слову Серкебая. Только Батийна не всегда была согласна с Серкебаем, ее так и подмывало возразить: «В школу наравне с мальчиками должны ходить и девочки. Пора как-то повернуть судьбу вторых жен, что живут с мужьями, не зная любви». Но так как в юрте сидели пожилые люди, она постеснялась открыто высказываться.

И еще Батийну сковали слова Серкебая: «Качыкеджан, не давай самовольничать вертлявым джене, натяни им уздечки». Она догадалась, кого имел в виду самодовольный бай. В аиле пока не было ни одной женщины, которая так рвалась бы к свободе, к знаниям, к самостоятельности и нарушала обычаи предков, как она, Батийна.

Батийна не могла пропустить мимо ушей предупреждение Серкебая, — камень был в ее огород.

Серкебай не из тех людей, кто бросает слова на ветер. К мнению Серкебая и его единомышленников не мог не прислушаться и Качыке. Прежде всего, казалось ему, он обязан учитывать советы тех, «кого уважает все племя», и беспрекословно выполнять их волю. Молодой джигит и сам не раз приходил к

мысли, что если женщин чрезмерно распустить, то, как говорит Серкебай, к добру это не приведет. Поэтому, сколько бы Качыке ни уважал свою близкую джене Батийну, которая часто делилась с ним своими житейскими тайнами, он все-таки не одобрял, что она так свободно держится.

После того, как старейшины, досыта наевшись свежего мяса и благословив Качыке, разошлись по юртам, семья Кыдырбая осталась одна и взяла в оборот Батийну. Первой внушительно заговорила Турумтай.

— Великие и мудрейшие люди покинули сейчас нашу юрту,— сказала она с важным видом, как и положено уважающей себя байбиче, обводя юрту холодным взглядом и поправляя на плечах сползающую шубку.— В былые времена не только какие-то там женщины-вдовы, а безбородые старцы не могли на коленях зазвать их к себе в гости. Будь бы прежняя жизнь, они даже не заглянули бы к нам. А сейчас оказали такую высокую честь. Раньше все свои решения они принимали сами и ни с кем из простолюдинов не советовались. Это они считали своим величайшим достоинством. Теперь пришла новая власть, завела новые порядки. Моего сына сделали большим человеком. Дали равную свободу и женщинам. Вот почему к нам зашли и благословили моего Качыке люди в возрасте самого пророка. Значит, они ценят нас, уважают, раз оказывают такую честь. Они дали нам хорошие советы. Все слова бая-аке (так Турумтай звала Серкебая, который был старше ее мужа), хоть и говорились с особым смыслом, они относились к тебе, золотка. Помнишь поговорку: «Ругают кошку, а метят в невестку». Ты должна правильно понять мои слова, доченька. Я намного старше тебя, а назвала тебя дочерью. Думаю, ты это оценишь. При жизни мужа я заменяла тебе свекровь. Но его не стало, царство ему в раю. После него я стала хозяйкой в родовой юрте. Веди себя благоразумно, чтобы о тебе не повернулся язык сказать: «Невестка, мол, такого-то совсем испортилась». Батийна попробовала возразить:

— А что я, собственно, дурного сделала? Я...

Но ее оборвал Алымбай, он все это время молча извивался, будто у него болели зубы:

— Ты давно добиваешься тумачков. У-у-у...

Угроза мужа не испугала Батийну. Она посмотрела ему прямо в глаза.

— А чем я заслужила твои тумачки? Какое блаженство я видела с тобой? Хоть раз ты меня приласкал? Бил только напрасно. Посмотри на мое тело. Оно все в рубцах, как дубленая кожа. Что днем, что ночью стегаешь плеткой, топчешь сапогами. А за что? Ну скажи, кроме побоев, что я видела от тебя? Может, напомнить, как ты, словно безмозглый бычок, затерялся в родных горах, когда люди бежали, как не смог уберечь лошадей? Или восхвалять за то, что ты оставил пешим родного брата в возрасте пророка?

Алымбай позеленел от злости, глаза налились кровью.

— Получай! Вот тебе! — сипло приговаривал он, нанося удары ногой, обутой в растоптанный валенок.— Ах ты проклятая сучка! С ума сошла, как услышала про свободу. Получай! У... свободу, чтоб тебе пропасть!..

Но Батийна не унималась:

— Перестань издеваться, дрянь! Прошло время, когда ты безнаказанно избивал меня...

— Видали? Она еще грозит?! Ах ты потаскуха! Вот тебе свобода... Задушу-у-у-у...

— Эй, Качыке! — не вытерпела Батийна. — Мы избрали тебя сельрабкомом. Где же твоя власть? На глазах у тебя медведь этот размахивает плеткой... Где твоя справедливость?!

Не успел Качыке рот открыть, Турумтай предупреждающе махнула рукой:

— А что Качыке может сказать? Что искала, то и нашла.

Язык больно у тебя остер. Родного мужа, который спит с тобой в одной постели, обзываешь медведем. Хорошо еще, что он до сих пор не выпустил из тебя кишки. По заслугам тебе...

И, не договорив, Турумтай встала, гремя вплетенными в косы украшениями, и с вызывающим видом покинула юрту. Она будто хотела сказать Алымбаю: «Вот, я ушла. И теперь, если ты мужчина, всыпь ей хорошенько. Проучи языкастую стерву». Это поняли и Батийна и Качыке. Понял даже Алымбай, он трясся от бешенства.

Качыке, хотя тоже был раздражен поведением слишком уж бесстрашной джене, не дал на этот раз дяде Алымбаю распаляться. Успокоил и усадил его на место. Он прикинул с опаской: «Если я, сельрабком, не разниму их, то джене может завтра сказать, что муж ее бил, а он, Качыке, не заступился». Качыке всегда обходился с Батийной просто, как младший брат. И она многого от него ожидала. Особенно возросли ее надежды, когда джигита избрали председателем сельского рабочего комитета. «Что ни говори, а ведь вырос на моих руках. Сам видел, как я живу. Где-нибудь, да поможет советом, словом. Разделит мою печаль», — думала Батийна.

Но эта тайная надежда вскоре угасла. С каждым днем она все меньше узнавала своего заботливого помощника Качыке. Тот, прежний, был ясный и близкий. А этому подавай новенький, да чтоб красивый, костюм, на выбор он выискивал иноходца, и непременно самого лучшего, и с каким-то вызовом поглядывал на нее сверху вниз, покачиваясь в седле. Он как бы говорил: «Нет у меня времени разговаривать с женщинами. У нас свои мужские дела». Теперь его, скорее всего, можно было видеть среди аксакалов, старейшин, среди тех, кто любил покрасоваться на коне перед соплеменниками.

Батийне было обидно, что Качыке отвернулся от нее.

Если какая-нибудь вторая жена бая около своей юрты роптала на судьбу: «Э-э, жизнь, что ты дала нам нового? Ведь все, все осталось прежнее», то мужчины, окружавшие Качыке, и особенно Тазабек и Серкебай, нарочито громко, чтобы их слышали, подбадривали председателя сельрабкома:

— Э-э, Качыкеджан, человек, поставленный у власти, должен держаться рангом выше других, иначе, так и знай, не заметят его и могут затоптать, а то и вовсе сядут на шею. Пусть твоему отцу не пришлось увидеть, как вырос его сын и кем стал, зато мы видели твоего отца и видим тебя. Располагай нами и

надейся на нас. Мы всегда с тобой. Мы зла тебе не желаем. Если понадобится, можешь хоть среди ночи будить нас, и мы всегда с готовностью послужим тебе. Так-то, Качыкеджан.

Качыке от высоких слов чувствовал себя наверху блаженства. Еще бы! Ведь эти степенные старики аксакалы раньше, бывало, на него ни малейшего внимания не обращали! А теперь сами идут к нему с поклонами. «Это благодаря советской власти меня стали так уважать старейшины рода». Хотя он и ставил перед собой ясную цель: выполнять все указания новой власти, не нарушать законов, быть во всем примером для остальных, хотя он и думал, что ведет себя во всех отношениях безупречно, тем не менее его теперешние шаги были похожи на путанные, неверные шаги ребенка, который только что начал ходить. Хотя он и жил в городе, учился, видел, как живут другие люди, все равно он оставался иршшжп к старым обычаям и нравам, настолько крепко они засели в плоть и кровь его.

Прошло некоторое время с тех пор, как Качыке избрали председателем сельрабкома. Наступила весна. Она пришла неожиданно, и не просто теплая, а жаркая.

К обеду солнце так пригревало, что весь скот, все живое, ища укромное местечко, пряталось в тени. В воздухе стояла особая благостная тишина. Ни робкого дуновения ветерка,— кругом полный покой и безмятежность.

Батийна, обычно покидавшая постель на заре, еще до обеда успела переделать немало дел, присела в тени юрты. Окрест не видно пасущегося скота. Даже псы попрятались.

Вдруг с ближнего холма показались несколько всадников, приближавшихся к аилу быстрой рысью. Впереди на конский корпус скакал Качыке в сопровождении джигитов.

Иноходец масти темной, безлунной ночи с крупным белым пятном на широком лбу летел словно молния: вихрем развевался шелковистый хвост, острые уши прижаты, как у гончей, тоненькие, точеные ноги словно не касаются земли.

Батийна с удивлением смотрела на председателя сельрабкома: он мчался прямо на нее, седок и не думал сворачивать. Чуть не сбив женщину, конь пронесся мимо, обдав ее струей ветра и пота. Он процокал копытами по пустому скотному загону и, сделав круг, повернул назад.

Качыке, явно хвастаясь перед своей джене, откинулся далеко назад в седле. Стремена чуть не касались шеи коня. Чем ближе он подъезжал к Батийне, тем чванливее была его поза. И тут раздался его неестественно громкий смех. — Хотел было сбить тебя конем, джене, да жалко стало,— сказал он язвительно.

— Вижу, племянник, ты сильно загордился „с тех пор, как тебя выбрали в большие люди. Подобно бывшим волостным, скачешь с целой свитой прихлебателей. Конечно, задавить иноходцем какую-то там женщину тебе ничего не стоит,— вырвалось у Батийны.

Качыке, довольный своим огненным иноходцем, даже не обратил внимания на издевку в тоне Батийны. Передав повод подоспевшему джигиту, он проворно соскочил на землю. Конь тяжело храпел, мокрая от пота грудь его лоснилась. Черный иноходец все время пританцовывал.

Качыке бросил на него влюбленный взгляд и с восхищением сказал:

— Видишь, джене, какой красавец? Сам Серкебай-аке отдал. Если загонишь, говорит, то платить за него не придется. Ну и конь! Ни разу не позволил плеткой дотронуться до крупы. В ушах свистел такой ветер, будто я еду в бурю.

С форсом сдвинув рукояткой плетки новый соболиный тебетей ;на правый висок, он свысока глянул на Батийну.

Ничего не скажешь, статный джигит. Черный вельветовый кемсел очень шел к его подтянутому юношескому стану. И без того румяные щеки от быстрой езды расплывались, жгуче-черные глаза горели озорным блеском, темные брови отливали гляncем.

Джигит еще раз улыбнулся, обнажив два ряда белых зубов, и, радостно-возбужденный, небрежно волоча по земле камчу, пошел к юрте.

— Эй, младший джээн, ну-ка погоди! — крикнула Батийна.— Хочу у тебя что-то спросить.

Когда Качыке, вопросительно глядя, обернулся, она сказала:

— Я слышала, приехал красный учитель, учить грамоте девушек и молодых. Говорят, какой-то... ликбез будут открывать. Правда это?

Качыке вяло проговорил:

— Зачем тебе, джене, на старости лет учиться? Пока я существую, всегда заступлюсь за твои права.— И прошел в юрту.

Жирная, влажная земля, прогретая весенним солнцем, лопается, проклевываются первые ростки трав и желтых лютиков. Так же день за днем начало пробуждаться сознание у людей. Старое рушилось, а новое набирало силы, пускало корни. Но каждый видел, что старое не намерено так просто уступить свое место новому. Старое, не желая умереть, уйти в небытие, начало огрызаться.

Когда Качыке, которому до сих пор Батийна все же верила, волоча камчу, ушел в свою юрту, она, сердито бросив ему вдогонку: «Неужели и ты гнешь туда же?», решительно вошла в свою половину.

«Ладно же!.. Терпение мое лопнуло,— горячо шептали ее губы.— Долго я мирилась, не хотела нарушать брачный союз ради памяти предков и законов шариата. А новая власть каждый день зовет: идите в школу, берите в руки карандаш и книги, учитесь. Пользуйтесь своими правами. Не могу я больше вертеться в юрте как проклятая. Пусть муж хоть бьет, хоть убьет. Я на все готова...» Аккуратно завернув в белую бязевую тряпку элечек, она положила его на полочку. Голову повязала красной шелковой косынкой.

О, повязать голову Красной косынкой в таком возрасте было слишком смелым и решительным поступком. По обычаям, платок, и то не красный, конечно, могла повязать только женщина, у которой умер муж. Повязывать голову

платком при живом-то муже не было принято в этих краях. Женщина, допустившая такую вольность, открыто восставшая против обычая предков, получала от мужа крепкую взбучку. Батийна хорошо понимала, на что идет. Она верила новой власти, верила, что найдет в ней опору и своего защитника.

Женщина сразу после заключения брачного союза надевала на голову элечек и больше его ни на какой убор не меняла. Если же муж умирал, не испив меру своей жизни, вдова одевалась в черное.

Могла ли Батийна заменить свой белый элечек или белую косынку на красную? Конечно, могла. Не раз она слышала: «Новая власть принесла народам равенство, братство, свободу, развесила кругом красные флаги. В больших городах все женщины, получившие свободу и ставшие большевичками, свои головы повязывают такими же вот красными косынками. И с красными флагами выходят на красные улицы. Даже великий пророк Ленин, указавший этот путь всем трудовым людям, говорят, сидит в большой красной комнате. Он, наш свет, сидит за большим деревянным столом, покрытым большой красной скатертью. Сидит на стуле, обитом красным бархатом. Больше, говорят, в этой комнате ничего нет. Он сидит, облокотясь на стол, и смотрит на красную звезду, горящую за окном. Немеркнущая звезда дает ему пищу для ума и силу для жизни. Эту звезду зажег для него сам создатель. Когда Ленин сидит за красным столом и на красном стуле, он весь кажется красным: и лоб, и щеки, и борода. Он, говорят, сидит и пишет свою красную книгу, в которой все рассказано про нашу жизнь и про наше будущее. Лишь тот мужчина, который обвяжет свою руку красной косынкой, лишь та женщина, которая повяжет свою голову красной косынкой, могут стать настоящими большевиками, идущими за мудрым Лениным».

Поверила ли Батийна этим словам, лопнуло ли у нее последнее терпение, что бы там ни было, она твердо решила доказать свою искреннюю преданность новой власти. Повязавшись огненно-красной косынкой, она без стеснения вышла в аил.

С этого дня Батийна вступила в новую жизнь.

Она сменила тихую серую кобылку на горячего скакуна, который так и плясал на месте. По-мужски играя плеткой, она ловко его укрощала.

В седле держалась не хуже любого всадника. Всегда ездил аллюром или галопом и за какие-то мгновения покрывала расстояния от аила до аила.

Любила скакать наперегонки — кто кого оставит на корпус лошади.

Разгоряченный конь, когда приезжали на место, долго еще не мог успокоиться, мотал головой, брызгал слюной и пеной, копытил землю, косил на хозяйку красным глазом. Батийна натягивала уздечку и, выкинув вперед камчу, не покидая седла, во весь голос обращалась:

— Эй, замарашки, что ютитесь около постели! Эй, косматые труженицы, что день-деньской пропадаете у своих казанов на кухне?! А ну-ка идите живо в школу! Для вас именно ее открыли, а вы попрятались по юртам. А ну пошли! Или вас не пускают? Тогда скажите прямо, кто вас не пускает: отец, брат или

муж? Мы живо призовем их к порядку. Никому не дано права торчать поперек дороги у молодежи, которая желает учиться. Если бай из ревности не пустит в школу свою токол, к нему будут применены законы по всей строгости.

В ответ на угрозы Батийны более пожилые мужчины пытались оправдаться: — Что ты, доченька, кто же не хочет учиться? Все они так и рвутся.

Обязательно будут ходить.

— Будут, будут, а где же они? С вашего аила пока ни одной девушки, ни одной молодухи. Если вам кажется, что до школы далеко, седлайте им коней. И чтоб чище одевались, не запаздывали. Не заставляйте нас дважды приезжать.

И Батийна брала с места в карьер. Неостывшему коню только того и надо было, он стрелой уносил всадницу.

Серкебай со своим аилом в дни смуты не уходил в Кашгар. Когда все бежали, он скрывался по уютным дальним зимовьям и сумел сохранить до последнего весь скот. Из четырех соседствующих аилов самым зажиточным оставался аил Серкебая. Теперь не только соплеменники победней, сам Тазабек, этот гордец и хвастун, ходил на цыпочках перед ним.

На Серкебая по-прежнему работали вторая жена Каликан и Зуракан с мужем. Поэтому Букен, не выдавшая и тысячной доли трудностей, выпавших на долю людей, даже помолодела и держалась вызывающе, — сама, что называется, не скинет сапог. Она нередко говорила: «Отец моих детей, у нас есть поговорка: «Пусть сорок лет тянется сражение, но и муха напрасно не умрет». Скажи мне спасибо, что я не дала тебе уйти в Кашгар и спрятала род наш в укромных горах. Теперь сам видишь, каково там пришлось людям. Ни одной семьи без потерь. Многие вернулись нищими и бездомными бродягами. А ты живешь, будто ничего и не случилось: вся семья в сборе, скот при тебе, богатство в юрте, мой бай».

Серкебай, важно восседая на своем месте, с подобострастием отвечал:

Что верно, то верно. Поэтому-то я тебя и называю златошеей красавицей, сокровищем моей юрты.

— Так, так, мой бай. Приласкай свою байбиче, которая как сыр в масле сама блаженствует и тебе приносит благоденствие, — звонким смехом рассыпалась байбиче Букен.

Букен уже перевалило за пятьдесят, однако она считала себя еще молодой и полноправной хозяйкой и, пользуясь расположением мужа, по-прежнему помыкала наемной работницей Зуракан, да и не только Зуракан, но и Каликан, второй женой Серкебая.

Привез токол Серкебай пять лет назад. И с тех пор Каликан не только не управляет хозяйством, не смеет даже взглянуть в глаза своему мужу и его байбиче. Букен сразу взяла молоденькую наивную девушку, что называется, в ежовые рукавицы. И Каликан постепенно превратилась в служанку байбиче: сползет ли с плеча байбиче шуба, она спешит поправить ее, намеревается ли Букен выйти из юрты, токол услужливо подает ей калоши, а понадобится

Каликан что-то спросить, она спрашивает упавшим голосом, опустив глаза в землю.

Токол вскакивала с постели, как только слышала, что поднимается работница Зуракан. Первым делом она разводила огонь и грела в казане воду Для утреннего омовения бая и байбиче, потом брала два громахающих ведра и шла вместе с Зуракан доить коров и овец. Затем собирала дрова и кизяк, ухаживала за малыми детьми, словом, ничем не походила на токол прославленного бая. Как ни старалась она угодить, все равно Букен шумно налетала на нее:

— Эй, Каликан, где там возишься? Сколько можно ждать, пока подашь чай? Бай гневается. Пошевеливайся. Молодая женщина должна быть шустрой, а ты ходишь, будто чугунная.

И токол торопилась поскорее исполнить желание байбиче и уйти подальше с глаз долой.

С тех пор как Букен возомнила о себе, будто она одна приносит счастье в просторную юрту Серкебая и единственная хозяйка всего его состояния, она стала есть с мужем вместе.

Зуракан выполняла одну черную работу на улице и не должна была входить в байскую юрту. Каликан же расстилала дастархан, насыпала разные лакомства и с поклоном подавала пиалы с чаем, шурпой, кумысом.

Вот и сейчас она сидит, по обыкновению, ближе к выходу из юрты и занимается своим делом: готовит завтрак баю и байбиче, достает посуду. Кажется, токол и не прислушивается, о чем толкует бай с первой женой. Он глубокомысленно поглядывает на Каликан и говорит так, чтобы и до нее дошел смысл:

— Тошно мне называть имя этой негодяйки. Что ни день, изменяет мужу, разъезжает в красной косынке, с чужаками носится, как бешеное пламя на пожаре.

Букен поддержала мужа:

— Э-э, господи, а какую работу может выполнить скачущая женщина? Расхвасталась. То носится рядом с солдатом, то наперегонки с красным учителем. Тьфу! Стыд и срам. Не приведи господь такое видеть.

— Как бы эта потаскуха не совратила наших дурочек! Одна грязнуля мутит целое озеро.

Залаяли псы, и послышался близкий топот коней.

— Ничего,— погрозился Серкебай.— Она плохо кончит. Думаю, найдется у нас молодец убрать с дороги эту смутьянку!

С улицы донесся громкий голос Батийны:

— Эй, Каликан, Зуракан, где вы?

Каликан, вместо того чтобы отозваться, растерянно уставилась на байбиче. С открытым ртом застыли Серкебай и его жена. Зуракан еще не вернулась из дальнего похода за топливом.

— Видимо, в юрте никого нет,— послышался голос учителя Сапара. Но Батийна, дернув коня за поводок, крикнула:

— Куда они могли запропасться?! Конечно, в юрте сидят. Эй, Зуракан, Каликан, выходите, живо! Пора в школу. За хозяйством пока Букен-джене присмотрит. Приехал уполномоченный по образованию. Что-то важное... Обязательно надо прийти.

Серкебай глазами дал понять байбиче: «Скажи, что никто не пойдет», И из юрты раздался гневный голос байбиче:

— Зуракан нет дома, а Каликан занята по хозяйству. Куда уж там учиться женщине с двумя малышами!

Батийна отозвалась:

— Вы неправы, джене! Есть указание, чтобы все киргизы, от мала до велика, выучились читать и писать. Не только Каликан, и вы еще пойдете в школу. Всех уже внесли в списки. Кто уклонится, будет наказан. Скажите Зуракан и Каликан, чтоб не опаздывали. Все, все приходите!..

Под перестук удаляющихся копыт Батийна поскакала в дальний аил.

Подвязав волосы красной косынкой, в белом шелковом платье и в плюшевом бешмете, в сапожках на высоких каблуках, она, как ветер, носилась от аила к аилу созывая девушек и лолодух в школу.

Однако Батийна не любила рисоваться. Ни шею ее, ни косы, ни грудь не украшали ожерелья, бусы, монеты. Даже конское седло было простое — вырубленное из дерева, с плоским широким сиденьем, удобным для джигитов, кто подолгу ездит верхом или участвует в состязаниях. Женщины из именитых семей обычно пользовались легкими разукрашенными седлами, на которые высоко настилали толстые одеяльца.

Батийна, возвышаясь в мужском седле и выкидывая вперед камчу, со страстной убежденностью говорила Сапару:

— Нет, учитель, раз советская власть призвала нас к свету и свободе, настало время отказаться от устаревших обычаев. Мы добиваемся, чтобы в школу ходили все притаившиеся по углам и за ширмами девушки, все токол и батрачки, молодые, забитые женщины, замарашки, что день-деньской крутятся возле очага и посуды. А пользы с того никакой. Не ходят они к нам в школу. Сами бы они не прочь и всякий раз обещают прийти, да их не пускают: кого — темные родители, кого — ревнивые и злобные мужья. Они говорят, много раз я сама слышала: «Пусть пока эта испорченная Батийна поучится. А тебе в школе нечего делать. Лучше присматривай за своим хозяйством да ухаживай за мужем». Разве это порядок, бес его возьми! Мы теперь вольные птицы... И если кто напрасно обижает свою жену, поднимает на нее плетку, такого изверга нечего жалеть. Пора кончать с мирным упрямством. С заставы надо кликнуть Жашке, чтобы он упрятал подальше двух-трех из ретивых мужчин, кто притесняет своих токол!

Батийне вместе с учителем Сапаром приходилось по многу раз объезжать аилы. Сильные кони, взращенные на воле в горах, казалось, не знали усталости. Они мчались во весь опор, пугая дремавших псов, игравших мальчишек и девчонок, укрывавшихся в тени юрт крохотных резвых козлят и ягнят. С их приездом в аилах начинался настоящий переполох. Люди, до того

спокойно сидевшие в своих юртах, поднимали головы, прислушивались, с испугом спрашивая друг друга:

— Кто бы это мог быть?

Сперва выходила прислужница. Бросив на ходу: «Я сейчас, быстро соберусь», она спешила на свое место.

— Там невестка большого дяди (так молодайки величали Кыдырбая) и рядом с ней волосатый представитель власти.

— Значит, эта женщина уже с правителями разъезжает? И тут с улицы доносился возбужденный голос Батийны:

— Эй, кызыке, пошли! Из большого города приехал красный учитель. Хватит вам сидеть около своих казанов. Идемте! Чтоб никто не оставался дома! Слышите?

Из юрты мужской голос недовольно отвечал:

— Эй, Батийна. Зачем неволишь? Или вы силком всех тащите?

— Ничего, аке. Терпели же мы молча разные поборы и налоги, которые собирали с нас волостные тираны белого царя? Теперь вот пришла свобода, равенство, и сам отец зовет нас и все народы Востока к науке и знаниям. Случалось порой иначе. Навстречу высыпала шумная толпа.

— Ладно, милые! Кто откажется от учения? Мы сами сейчас придем и еще приведем вам... Хватит, что до сих пор темными были.

Девушки, что до замужества сидели с низко опущенной головой около сложенных стопкой одеял, молодухи, что с утра и до поздней ночи топтались на кухне, обихаживали скот, токол, что безропотно повиновались мужу, даже подневольный народ — батрачки вроде Зуракан,— словом, все женщины душой и сердцем потянулись к знаниям. Всех сзывала Батийна. Многие родители, которых она не ленилась убеждать, сами стали посылать своих дочерей учиться. Но еще многие, увы, противились.

— Брось пороть глупости,— говорили они.— Где это слыхано, чтобы в школу бегала девушка? Кто сошел с ума, пусть себе учится. А ты еще не научилась красиво вышивать.

Но уже все больше и больше девушек и молодаяк не обращали внимания на уговоры и угрозы. Нарядившись во все новое и красное, они цепочкой тянулись к трем юртам, что были установлены у косогора. Шли те, кто не хотел жить с ненавистным мужем, те, кого купили за скот, и те, кто стремился к лучшей жизни. «Хоть чему-нибудь да научусь. А потом, если надо, дойду до большого городского правителя, пожалуйюсь, рас-скажу все начисто и отделаюсь от дряхлого старика...»

11 Т. Сыдыкбеков

И каждая спешила закончить дойку и вовремя прибежать к трем юртам, где обучали грамоте.

Кое-кто, ехидно посмеиваясь и поправляя дорогую шубу на плечах, бросал женщинам едкий стишок:

Настала жизнь, когда полынь Высокой ветвью мнит себя, Когда вертлявая токол Мнит в небе соколом себя.

И тут же один бай утешал другого:

— А стоит ли нос вешать? Говорят, настало время, когда все женщины должны учиться... Признавать не одного мужа, а всех мужчин и лицезреть их. Пусть идут... Все равно теперь их не остановить. Скажешь, что против, грозят властью. Нет у нас управы на них.

А наиболее упорные, не стерпев, седлали коня и по пятам мчались за женой.

— Эй, потаскуха,— останавливали ее на полпути,— кто тебе позволил ходить в школу?! А ну-ка шагай назад!

Но с каждым днем становилось меньше женщин, которые пугались бы мужниных угроз. Холодно поглядывая на своих суженых, они решительно отвечали:

— Буду учиться! Я не хуже других!

— Кому говорят, возвращайся в юрту! Не позволю! С нас довольно и одной грамотной потаскухи...

— Не вернись! Бей, если тебе так уж не терпится. Первый раз мне, что ли, получать колотушки...

Муж терял власть над собой, бледнея и брызгая слюной, взмахивал плеткой над головой, яростно хлестал жену по плечам, по спине. Не давал ступить шагу, пугая задавить конем.

Но женщины порешительнее все равно добивались своего.

Разумеется, и Серкебай, и Тазабек, да и остальные мужья давно бы смирились, если б их жен обучали уважаемые муллы вроде Тагая. О нет, они не были бы против, а сказали бы: «Что же, пусть учатся истинам пророка». Но беда в том, что красный учитель из города был к тому же молод и красив. Кудлатый — чистый демон! Да и одевается не по-мусульмански... Видимо, к его одежде не прикасалась рука киргизской женщины. Все на нем базарное. Если бы только базарное! А то на голове шапка, какие носят безбожники, узенькие русские штаны, тесный бешмет на двух-трех пуговицах да сапоги без голенищ с прорезями. Словом, красный учитель не вызывал доверия у имущих.

— Какой-то страхолюда! Говорят, будто он и на кошме не может сидеть, словно скован железным нагрудником.

— А-а, иноверец, нечистая сила! Теперь я понял, почему он стоя испражняется.

— Эй, байбиче, слышала новость? Говорят, новый учитель учит девушек и молодаяк повторять все его действия. Как тебе это нравится? Оставляйте, мол, дома свои элечеки, с^ело открывайте подбородки, приходите в школу в коротеньких красных платьях. В коротких,,мол, удобнее сидеть... Ну и чудеса! Дожили, скоро заставят наших жен ходить нагишом.

Те, кто любил посудачить, винили Батийну — от нее, мол, все зло. А Батийне стоило убедиться, что молодуху не пускают в школу, она смело налетала: «Я вам покажу! Прошло то время, когда вы могли безнаказанно измываться над нами».

И добивалась своего. С ней приезжал Жашке или же он посылал солдат, чтобы приструнить чрезмерно разошедшегося мужа, как «старого элемента». С него брали клятву. Если бы только клятву. А то вон сам Серкебай за то, что не пускал вторую жену в школу, отсидел три дня в землянке, а когда вышел оттуда, поклялся: «Отныне зарекаюсь не стоять поперек пути своей токол. Сколько угодно пусть посещает школу. И батрачку Зуракан не задержу. Если нарушу, накажите меня еще строже».

Серкебай на расписке приложил свой большой палец и лишь потом покинул каталажку.

Сгорая от стыда и чуть не плача, сидел дома, когда к нему заглянул Тазабек. Утешая старого друга, Тазабек с порога, прежде чем произнести приветствие, сказал:

— Не печалься, Саке. Лучший конь стоит на привязи, настоящий джигит сидит в тюрьме. Прошу, не обращай на это внимания.

Серкебай поднял на Тазабека налитые кровью глаза.

— Э-э, мой Тазабек! Если тебе не терпится увидеть каталажку и если ты считаешь, что храброму молодцу место в тюрьме, никто тебе не мешает испытать прелесть этого местечка на деле. Добиться этого не стоит особого труда. Раз-другой не пусти свою токол в школу—увидишь, что сделают с тобой красный учитель и эта негодная женщина-кобылица. Она сразу сообщит своему Жашке. И твоя золотая голова окажется в мрачной темнице.— И, жестко взглянув на Тазабека, добавил:— А что плохого я сделал? Никого не убил, не внес смуту в народ. Просто хотелось, чтобы мои жены слушались меня, не сходили с ума, знали свое место...

От злости и бешенства Серкебай поперхнулся на полуслове. Усы взъерошились, глаза метали молнии. А хотелось Серкебаю сказать вот что: «Знаем, к какому концу приводит излишнее снисхождение к женщине... Сам это пережил. До сих пор краснеют щеки. Вздумал из хвастовства приласкать какую-то ведьму, блеснуть своим богатством, а потерял почет и смелость. Стыдно показываться среди людей».

Тазабек догадался, что на уме у Серкебая. Он тоже печально подумал: «Верно, если женщинам дать волю и самостоятельность, они могут внести опасную смуту. И во всем виновата одна потаскуха. Если мы не закроем ей глаза, наши женщины потеряют свою честь и лица наших мужчин покроются позором. О боже, какое дело новой власти до моей жены, которую я благородно взял по законам шариата? Я и сам знаю, что мне с ней делать!» Вскоре после этой встречи Серкебай и Тазабек собрали сход, пригласили не только уважаемых аксакалов и старейшин, но и Качыке.

Аксакалы усадили в круг «своего сына Качыке» и внушительно заговорили: — Сынок, прекрати баловство своей джене. По любому пустяку она скачет на заставу, жалуется, нас тащат на допросы. Если она не перестанет мутить воду, то, Качыкеджан, не обижайся потом на нас... Устроим ей тихую... кончину... а затем возьмемся за других длинноносых.

Качыке не прерывал старших. Вспомнил, как Батийна, словно верблюдка с тяжелым грузом, пробиралась через крутые перевалы; как на чужбине терпеливо ухаживала за семьей, за всем родом Атантая; как в дороге на Кашгар и обратно повторяла: «Качыке, милый ты мой племянник, видишь, как трудно пришлось нашим людям?.. Ты же мужчина! Умеешь читать и писать. Записывал бы тоску и печаль своих обездоленных, бесприютных людей»; вспомнил и то, как отец его, Кыдырбай, завещал перед смертью Батийне весь скот и свое состояние; как еще юная его бабушка Гульсун, уходя из жизни, умоляла детей: «Не обижайте мою невестку Батийну. Она добрая...» Вспомнил Качыке, как она в последнее время почувствовала себя вольной женщиной, как на нее точили зубы старейшины, как истязал ее муж Алымбай за непослушание... Он и сам, Качыке, не раз злился на Батийну: «Позорит, мол, наше племя перед старыми почтенными людьми... Как же ее мне усмирить?» Вспомнил все это. И ему жаль стало отдавать на явную смерть свою джене, с которой делился всеми тайнами и радостями.

— Вашу обиду я хорошо понимаю, аксакалы. Правда, джене моя малость распустилась. Но я зла ей не желаю. И вас прошу, перестаньте плохо думать о ней.

Серкебай и Тазабек, однако, не успокоились:

— Пусть джене прикончит беспутную жизнь. Иначе мы сделаем то, что обещали. Привяжем к шее камень и сбросим в озеро. Ты ничего не знаешь... И мы ничего... Пусть отвечает за нее этот волосатый бес-учитель, с которым она хихикает. А потом постараемся взнуздать как следует своих жен, которых взяли по велению самого создателя. Согласись, Качыкеджан...

Жизнь Батийны постоянно находилась в опасности.

После сговора старейшин по всем окрестным аилам, словно змеи, поползли злые сплетни. Не только ревнивые мужья, но и весьма добродетельные байбиче, все старухи и старики, привыкшие строго блюсти исконные обычаи предков, возненавидели Батийну: она, мол, женщина самовольная, порочная, даже развратная.

Как-то вечером Батийна на рыжей кобыле неторопливо пересекала холм по извилистой, гулкой тропке.

Отпустив поводья, Батийна, размечталась. И вдруг перед ней выросли два всадника, выскочившие из-за поворота.

Один из них хлопыстнул ее по спине плеткой, а другой ухватился за уздечку.

— Приятно, что ты нам встретишься одна, потаскуха!

— Сейчас проучим тебя! Выбьем начисто дурь, от которой ты бесишься.

Батийна подумала было, что они заигрывают. Ведь обоим она хорошо знала: и Мекебая, и мужа Зуракан — Текебая. Но нет, они в самом деле намерены обойтись с ней круто.

У Батийны словно прибавилось сил. Она привстала на стременах, выпрямилась и ударила плеткой по руке Мекебая.

— Вот тебе, собачий сын и любитель байских помоев! — Батийна еще раз со всего размаху стегнула его.

Кисть Мекебая заныла, точно пробитая пулей, и он тут же выпустил уздечку. — В глухомани напали на беззащитную женщину! Воображаете, что вам просто разделаться со мной?.. А ну-ка померяемся силой!.. — Батийна, будто всю жизнь провела в седле и в отчаянных схватках, взметнула снова вверх камчу. — Что ж не нападаете, трусы?!

Текебай, завопив, кинулся коршуном:

— Ах ты разорите львица нашего рода... Бросишь ты когда-нибудь совращать наших жен?

С боку слышалось злое шипенье Мекебая, у него нестерпимо болела пораженная кисть.

— Прикончим тебя сейчас, сука!

— Меня собираешься убить? Меня?

Текебай подскочил почти вплотную. Батийна с размаху ударила плеткой его коня по голове, и он шарахнулся, чуть не сбросив седока.

После смерти Тилепа девочку-вдову Канымбюбю взял в жены Мекебай. На этом-то хитро и сыграл Тазабек. На днях он вызвал к себе в юрту безвольного хвастуна Мекебая и коротко приказал: «Тебе стоило немало труда заполучить эту Канымбюбю в жены, а Батийна ее совращает. Есть о чем подумать... Смотри, не успеешь оглянуться, и твоя молодуха распустится». Мекебай пришел в неописуемую ярость и дал слово «проучить негодницу». Ничего не стоило уговорить Текебая, мужа Зуракан. Без долгих размышлений он поверил Тазабеку, который сказал: «Закройте глаза той, что совращает ваших жен». Теперь Текебай, понукая коня и задыхаясь, выкрикивал:

— Не сбивай с пути мою жену!

— Прикончить ее, и все! — орал Мекебай.

— Эх вы, дурачье! Я хочу, чтобы ваши жены Канымбюбю и Зуракан научились читать и писать. Что же тут скверного?

Отмахиваясь на ходу плеткой, Батийна пустила во весь опор кобылку.

Мужчины то догоняли ее и наносили удары по спине, то лошадка, получив плеткой по крупу, вырывалась вперед, и преследователи, бранясь и угрожая, снова бросались в погоню.

В ушах гулко свистел ветер, у Батийны мелькала одна мысль: «Хоть бы не настигли». И вдруг резкий окрик:

— Стойте! Стрелять буду! — и тут же клацнул затвор винтовки.

Батийна сразу узнала голос Якименко.

— Ай, Жашке... Эти двое убить хотят меня...

— Эй вы, шайтаны, — сказал Якименко, взяв их под конвой. — Вы зачем дурным глазом смотрите на Казакову? Что она всей душой за советскую власть? Вот доставлю вас в город, сдам в трибунал... Там разберутся.

Мекебай не раз слышал: человеку, попавшему в руки трибунала, несдобровать.

— О дорогая Батиш, — взмолился он, — разве мы хотели тебя убить? Просто ехали с Текебаем и баловались. Решили немного пошутить, посмеяться.

Мекебай сумел разжалобить Батийну, и она простила его и Текебая.

— Да, да, товарищ Якименко. Виноваты те, кто их послал, чтобы поиздеваться надо мной. Их-то и притянуть надо. А эти ничего не соображают. Отпусти их. Пусть едут своей дорогой.

Узнав от Мекебая, как обернулось дело, Тазабек удрал в горы, больше недели где-то прятался. Не исключена опасность, что Батийна сообщит властям, и тогда ему крышка... Серкебай же укрылся в юрте и выходил оттуда лишь глубокой ночью, и то ненадолго.

В конце концов Серкебай позвал Тазабека на совет.

— Надо нам пасть на колени перед Батийной, батыр. Иного выхода нет. Если эта распутница сообщит туда... шайтан ее заберет, и не выговоришь... тогда пропали. К тому же мне припомнят, разок я уже был у них...

Тазабек обалдел от страха.

— Пришло время, которого мы с тобой так боялись: женщины взяли верх. О создатель, спаси нас от конца света! Это ты, бай, виноват. Всегда подчинялся женщине. Нет, ягненка режь ты, и ты же преклоняй перед женщиной свои колени. А я, чем переносить такой позор, перекочую лучше в Чуйскую долину.

Серкебай вскоре созвал гостей — Качыке, Батийну, красного учителя Сапара и всех аксакалов.

Когда в большой чашке на дастархане появилось сладкое мясо молоденького жирного ягненка, он обратился к Качыке:

— До меня дошли слухи, что мой малай Текебай сотворил большую глупость. Говорят, он напал на женщину... Непростительный грех. Никто его не посылал на такое гадкое дело. Недаром говорится: «Дурак от хорошей пищи сходит с ума». В тот день, говорят, ездил он по юртам и перепил кумыса. Видимо, дурень, опьянел, вот и разбушевался и оскорбил твою джене. Прости меня, Качыкеджан. Как ни говори, это мой работник сделал подобную пакость. Приношу свои извинения перед всеми вами. Слава создателю, ничего страшного не произошло. Пусть и впредь царит мир и спокойствие. Народ наш нуждается в согласии, а не в зряшных раздорах.

Батийна, видя, что сам Серкебай склонил перед ней голову, смягчилась.

Якименко потом не раз допытывался:

— Ты скажи, товарищ Казакова, кто тогда посылал убить тебя?

Но Батийна отмалчивалась. Якименко качал головой:

— Ай-ай-ай, товарищ Казакова, жалеешь классовых врагов. А они тебя не пожалеют. Будь настороже. Враги, они коварные и злые.

Как и предполагал Якименко, Серкебай, склонив перед Батийной свою седую голову, не успокоился. Считая, что честь его глубоко задета, он клятвенно сказал себе: «Ну, погоди, разнузданная смутьянка! Тебя еще покарает моя седая борода. Плевать, что какие-то дурни трусили, я подобью на это дело твоего же мужа-медведя. Конечно, если он не последний тупица, то мне удастся в нем разжечь ненависть... И он наточит свой нож против тебя...» Алымбая не пришлось долго упрашивать.

— Э-э, Алымбайджан, ты всегда казался мне бесстрашным сыном тигра Атантая. Отец твой не позволял, чтобы над ним кто-то насмехался. Думаю, в твоих жилах течет его же кровь, а? Так что давно пора взять в руки свою джене. Чужие ноги топчут твою постель... Куда приведет такая жизнь, о боже?..

Алымбай понял, чего от него хотят, и взвинченный вернулся в юрту.

С занятий в школе вернулась и Батийна. Не успела переступить порог, как муж налетел на нее. Он решил во что бы то ни стало покончить с Батийной, которая перестала, мол, стыдиться людей.

Раньше он наваливался на нее с медвежьей хваткой и бил куда и чем попало. Теперь он выхватил кинжал из-за голенища высоких валенок и нацелил острием прямо ей в грудь.

При виде сверкнувшего у нее перед глазами кинжала Батийна отпрянула в сторону.

— О, чтобы тебя духи предков покарали, медведь! Неужели ты решил убить меня?!

Кинжал, скользнув по левой груди, уперся в ключицу.

Десяток дней смерть ходила за ней по пятам. Алымбай, неразговорчивый и злой, поскрипывал зубами. Явно он был намерен довести задуманное до конца. Качыке же в это дело не вмешивался и даже не пытался усовестить дядю.

Не успела Батийна встать на ноги после ранения, как Алымбай принялся за свое.

Однако Батийна не стала жаловаться, и Алымбай, пользуясь ее безропотностью, с каждым днем все более зверел:

— Жена моя, своя кляча, куда хочу, туда и пячу. Хочу — приласкаю, хочу — прибую.

Батийна ушла жить к лекарке Маты-эне.

Вскоре на имя председателя сельрабкома Качыке пришло срочное донесение. Прочитав его, Качыке погрузистнел, не мешкая направился к юртам, где учились девушки и молодухи.

Батийна с первого взгляда на Качыке — как он потупился и тихо попросил извинения — уловила что-то необычное.

— Если я что-то делал не так, прости меня, таэже,— сказал он.

— А что случилось?

— Вас срочно вызывают в город. Раньше уже приходило два вызова. Но я скрыл от вас. Теперь вызывают в третий раз, через заст[^]Еу. Мне прислали бумажку. В ней написано: «Немедленно доставить в город дочь Казака Батийну, которая первой из киргизских молодых женщин рода карасаз стала красной большевичкой. Она поедет в Москву на большой съезд угнетенных женщин народов Востока, который созывает сам отец Ленин-Ульянов».

Теперь я должен послать тебя, таэже. Поезжайте. Наденьте все самое лучшее, в чем вы ходили на той. Таково указание. Я уже позаботился о коне. Все дорожные расходы государство берет на себя. Но все равно прихватите

за узду жирную кобылу. Продадите на базаре, деньги пригодятся. После съезда

обязательно возвращайтесь сюда. Мы будем ждать. Не забывайте нас.

Доброго вам пути, таэже!

«Уедет и не вернется больше», — подумал Качыке.

— И ты меня не забывай, Качыке. Спасибо тебе за добрую весть. Словно свалился с души тяжелый груз. Теперь, значит, я — вольная птица?! Наконец-то! Если повезет, непременно останусь в городе. Поучиться. Наверное, ты не осудишь меня... А дяде своему скажи, пусть не ждет меня. Найдет себе кого-нибудь под пару.

Качыке неукоснительно исполнил предписание: на второй же день проводил Батийну в дорогу.

Собрались лучшие подруги, плакали и желали доброго пути. «

— Нас не забывай! Пиши, куда бы тебя ни занесло.

— Наша Батийна-эже уезжает... Будут ли нас теперь пускать в школу?

Серкебай с ближнего холма, словно гриф, следил за каждым движением Батийны. Он радовался в душе, что она покидает аил, и вместе с тем сожалел, что ненавистную распутницу отпустили живой и невредимой.

— Эй, ведьма, принеся смуту моему племени, — шептали губы Серкебая. — Надеюсь, назад ты не вернешься. А если попробуешь тут беспутничать, тогда не сносить тебе головы...

Обрядившись, как на большую свадьбу, вместе с проводником, который вел на поводу коня, что дал Качыке, Батийна ехала по широкой дороге в город. Настроение у женщины было праздничное, но глаза повлажнели, — нелегко было расставаться с подругами.

Она торопилась навстречу своему счастью и, понукая рыжую кобылу, поднималась на холм, за которым сверкала звезда новой неведомой жизни.

КНИГА ВТОРАЯ ПЕРЕВАЛ

ГОРЕ - ЗЛОСЧАСТЬЕ

— Корите, ругайте меня, эжеке, не обижусь, все снесу. Мне бы, непутевой, ухватиться тогда покрепче за ваш подол да следовать за вами. Уж вы заступились бы за меня, глупую, как за родную сестру. Я не забыла. «У нас с тобой и горести одни и дорога общая», — говорили вы. Да, послушайся я вас, не пришлось бы мне терпеть, чего и собака не вынесет. Страшно мне было преступить обычай предков: «Камень остается там, где упал, а девушка — куда ее выдали замуж». К тому же своего Текебая пожалела бросить...

Зуракан не плакала, не убивалась. Просто спешила выложить все пережитое.

— Кому, как не вам, эже, расскажу я свои горести? Поначалу я даже ликбез посещала, хотя Букен, старшая жена бая, и дыхнуть не давала, взвалила на меня все хлопоты по дому. Скоро моему учению пришел конец: взбунтовалась байбиче. «Воображаете, мол, если женщина научится грамоте, так ей уже народом править? Не бывать этому никогда! Научитесь-ка лучше с казанами управляться да посуду мыть!» — напустилась она на меня и на Каликан,

младшую жену бая. Да и, признаться, грамота давалась мне туго... Как дошло до «те» и «се», голова у меня сделалась словно кадка. «Кто знает, может, и вправду говорят, что нечистый дух совратит женщину, познавшую грамоту,— подумалось мне.— Авось без нее проживу. Как-никак бай и байбиче, лишь бы я работала на совесть, не обидят. Сами же твердят: «Твое за нами не пропадет». И перестала я в ликбез ходить. Впряглась в работу. Вы видели, эжеке, какие вязанки хвороста таскала я на спине к байской юрте... Одежда на мне поизносилась, ходила в лохмотьях, похожая на шелудивого жеребенка. Смотрю, мы с Калпкан таем день ото дня, а байбиче не понимает, на пас вымещает свою злобу: «О боже, знаете ли вы, что говорит ваша новая власть? Что бай, что ма-лай, что байбиче, что служанка,—видите ли, все перед законом равны. Слыханное ли дело!» Она трясла своим подолом прямо у нас перед носом, мол, я и сама хожу в отрепьях, не одни вы! Помню, как-то под вечер гурты возвратились к загонам. Мы собирались варить эджигей. Букен распорядилась поставить на дойку полсотни овец: попарно, голова против головы. Все белоголовые рыжие матки выстроились в ряд. Ай-яй, эже, знали б вы, как я люблю доить овец! Забываюсь даже, когда дою, сама не знаю почему... Так и бегают у меня пальцы по вымени, а в подойник стекают струйки молока: шыр-шор, шыр-шор!.. Молоко пенится, пузырится, теплым молочным духом веет в лицо. На лбу у меня выступает пот и по телу разливается тепло, млею вся, когда оголенные до локтей руки обрызгиваются белыми каплями...

Огромный черный пес, охранявший кошару, настороженно оглядываясь по сторонам, сорвался вдруг с места и понесся с грозным лаем.

Серкебай, сидевший чуть поодаль среди мужчин в накинутой на плечи шубе, вытянул шею и басовито окликнул:

— Эй-эй, байбиче! Родственники твои едут. Где Текебай? Пусть принимает коней!

И он поднялся, волоча полы шубы по земле. Вслед за ним завозились и остальные.

Текебай успел загнать овец и со всех ног бросился навстречу гостям.

Кони у троих всадников были справные, гривастые. Не спеша, грузные и степенные, гости слезали с коней.

Серкебай, улыбаясь, с радушием гостеприимного хозяина протянул руку человеку с красным, как горящий уголь, лицом и черной окладистой бородой.

— О-о, здравствуйте, кайнага [1](#) здравствуйте! О золотая моя байбиче, старший твой брат издали приехал. Выходи, повидайся!.. Не измучила ли вас дорога?!

— Слава аллаху! — Нурбай — старший брат байбиче — нежно погладил свою бороду. — Приветствую вас, мои кровные родственники! Живы-здоровы ли ваши люди? Цел ли ваш скот?

— Нишалла! Нишалла!

Все мужчины тотчас перешли в юрту, и завязался оживленный разговор.

— Старший брат Букен байбиче приехал. Поздороваемся с ним.— Шли и шли к байской юрте айльчане, не давая покоя ее дверям.

Аксакалы сидят, прижав руки к груди, настороженно застыв, и лишь изредка поглаживают свои бороды.

Жарко пылает очаг, в чистой юрте стоит душистый запах арчи. Перед гостями широкий дастархан, уставленный горками боорсоков, курта, эджигея, тарелками с топленым маслом и сахаром.

Байбиче довольна, что сберегла к этому дню, словно сам бог надоумил ее, изрядную часть сваренного на той неделе эджигея. Будто знала заранее, что брат приедет.

Возбужденная, она то и дело вскидывает подбородок и, кокетливо шевеля бровями, выпрашивает про каждого родственника, про братьев и сестер. Оба спутника Нурбая — тихие, покладистые люди. Особенно смирным был гость с широкими раздувающимися ноздрями и припухшими векамц на рыхлом лице. Он дремотно жевал бо-орсок и потягивал чай из пиалы. «Пусть другие как угодно, а я привык подремать, сидя вот так»,— казалось, говорил он своим невозмутимо спокойным видом и посапывал, словно в юрте, кроме него, никого не было.

Зуракан усмехнулась, глядя на него: «Ой, что за человек! Надулся, как барсук, спит и ест».

— Что с с тобой? Чего скалишь зубы? Что там забавного увидела?! — огрызнулась Букен, незаметно следившая за ней.— Замеси-ка лучше тесто да нарежь лапши!..

В очаге под казаном пылал огонь, сочно нежное мясо двухлетнего валуха, зарезанного в честь приехавшего старшего брата Букен.

Люди, напившись чаю, насладились кумысом и оживленно разговаривали. Почтенный Нурбай повел речь о прошлом, коснулся родословной многих присутствующих аксакалов, уснащая свой рассказ мудрейшими поучениями, потом перевел разговор на потомков именитого Арстаналы.

Арстаналы, лев Великих гор, приводивший всех в трепет, не так давно умер, прожив сто девятнадцать лет. Потомки Арстаналы по исконному обычаю отметили с торжественной пышностью сороковой день его смерти и, не откладывая, загорелись мыслью устроить предстоящие поминки — в годовщину смерти батыра — с ошеломительным размахом и великолепием. «Большие поминки по нашему отцу справим куда богаче, чем были даже у древнего богатыря Кокетея!¹ — хвастались сыновья Арстаналы.— Во все концы, где только пройдет конь, разошлем своих гонцов, созовем гостей из всех окрестных родов. Церемонию устроим не меньше, как на двадцать дней. За шесть месяцев оповестим людей разных земель. Пусть сарты Андижана, уйгуры Арки, казахи Желтых степей готовят коней к скачкам и джигитов к состязаниям на пиках!»

После паузы Нурбай с усмешкой добавил:

— Кое-кто в роду Арстаналы не скрывал своего огорчения, что нельзя по нынешним временам выставить на скачках рабов и рабынь в виде приза. Вот

тогда слава поминок была бы еще громче! Увы, новые законы связывают по рукам и ногам!.. А то бы и самого пашу-царя уговорили как-нибудь... Не отказали бы и губурнадор с жандаралами², приехали бы все начальники по нашему приглашению...

Прищуренные, словно куда-то вдаль устремленные глаза Нурбая вдруг расширились, и он с горечью вспомнил, что ног минки по Арстаналы, на которых он присутствовал, прошли далеко не с той пышностью, как задумали потомки бека.

— Увы, человек предполагает, а аллах располагает!.. Оттого ли, что потомки Арстаналыбатыра прогневили бога своими чересчур хвастливыми речами, то ли время такое,— как бы там ни было, справили поминки куда беднее, чем затевали сыновья именитого бека. На поминки не то что сарты Андижана или уйгуры Арки, даже близкие наши братья — казахи из Желтых степей — не приехали. Словом, поминки прошли не только что бедно, а вернее сказать, даже убого. На первый приз было поставлено всего сто лошадей да пятьсот овец. Состязание на пиках провели единственный раз. Гостей принимал лишь род самого батыра. Поминки свернули в неделю, и кончились они без особого шума. Дело, оказывается, в том, что не по душе вся эта затея пришлась новой власти. Ходят слухи, будто Барскан, сын Шаймердена, поступил в услужение новой власти и возводит напраслину на Манапбая: тот, мол, устроил богатые поминки по своему отцу, не раз обагрившему свои руки кровью невинных людей...

Видно, Нурбай собирался еще кое-что сказать, но осекся, помолчал, теребя свою бороду, потом лениво протянул:

— Кто мог подумать, что потомки всемогущего Арстаналы лишатся своего прежнего влияния. Дожили до того, что какой-то Барскан позволяет себе рычать на почитаемого всем народом Манапбая, младшего сына славного Арстаке...

Тут вмешался узкоглазый спутник Нурбая. Он забормотал, не раскрывая сонных глаз:

— Говорят, Манапбай травил людей, смущал народ. Потому и новая власть собирается загнать его подальше...

Серкебай приосанился, делая вид, будто это его ничуть не расстраивает, и небрежно махнул рукой:

— Э! Разве пропадет с голоду такой матерый волк, как Манапбай...

— Да, Манапбай-мирза с голоду не пропадет,— поддакнул Нурбай.— Родня, думаю, не забудет потомка льва... не оставит его без жирного мяска. Но разве только в этом дело? Просто для потомка бека унижительно, если его куда-то зашлют с родной земли... Интересно, сам-то этот Барскан из чернопятых голодранцев? Да, наступило время, люди поедом едят друг дружку...

В юрте установилась тишина. И нарушила ее почтенная Букен байбиче своим вопросом:

— И строптивая жена мирзы отправится с ним туда?

— Говорят, вместе с Манапбаем поедет Айнагуль, дочь Гульгаакы. Другие жены с детьми останутся на родине.

— Когда-то эта ветреница,— не без злорадства сказала Букен,— запятнала честь Асантая, поблаженствовала в свое время с мирзой, вот бы ей теперь пострадать заодно с ним! Кто знает, может, из-за этой женщины и закатывается нынче звезда потомков бека.

Брат ответил ей:

— Не-ет, Букентай, так говорить тоже нельзя. Пришло время, на цыпочках вынужден ходить не один Манапбай, совративший чужую жену... Если хочешь знать, новая власть сталкивает с высоты величия одних и возвышает других, кто был ничем...

Нурбай повел глазами в сторону сидящих у порога. Казалось, он предостерегал: «Э-э, Букен, не очень-то насчет нынешних времен... Смотри, у твоего порога чернопятые голяки... Еще донесут на нас властям».

— Мясо, наверное, сварилось, байбиче,— прервал разговор Серкебай.

— Свариться-то давно сварилось... Только не хотелось мешать вашей мужской беседе,— вкрадчиво проворковала Букен и сразу же нетерпеливо повысила голос: — Эй, ты, кончила резать лапшу? Неси медную чашу!

Зуракан, ловко орудуя ченгелом — вилкой с медными зубьями и тяжелой деревянной ручкой, украшенной серебряным кольцом,— принялась выкладывать в большую чашу душистую баранину из котла.

Букен байбиче, засучив рукава, собралась было отобрать куски повкусней для мужчин и разложить по малым чашам, как вдруг на глаза ей попался странный белесоватый комок между подвздошной костью и мясом.

— Подожди-ка, это что за штука?..

Букен байбиче воткнула в жирное мясо сверкающее жало ножа с колечком на ручке и медленно перевернула подвздошную кость. О, она не ошиблась.

Перед ней лежала побелевшая, похожая на творожную лепешку, сваренная в казане вместе с бараниной лягушка.

— Где были твои глаза, чучело проклятое?

— А что такое? — испугалась Зуракан.

— Чтоб тебе сквозь землю провалиться, вот что такое!

Выхватив ченгел из рук Зуракан, Букен байбиче размахнулась, и, хотя Зуракан отпрянула, удар пришелся ей по лбу. От боли и обиды Зуракан вспыхнула:

— День-деньской руки мои не знают отдыха.. А сегодня я таскала воду совсем в потемках. Ничего не разглядишь без светильника...

Букен байбиче неистово стукнула рукояткой андижанского ножа о край медной чаши.

— Поди прочь! Чтоб в моей юрте духу твоего не было!

— И уйду! Не испугаете! Хватит с меня! Потаскала на себе вязанок с корягами. Пообдирала ноги о камни... И сажи досыта наглоталась у ваших казанов!..

Зуракан рывком откинула полог и широким шагом переступила порог байской юрты.

Букен байбиче на миг оцепенела, а спохватившись, прерывисто завсхлипывала:

— Мерзавка! Отъелась на моих харчах!.. Отблагодарила за мою хлеб-соль, нечего сказать!

Он стоял безмолвно у порога юрты, хотя все видел и слышал, тишайший Текебай, муж Зуракан.

Байбиче сверкнула на него полными гнева глазами.

— Эй, недотепа, что торчишь тут?! Лучше сходи поплачь вместе со своей потаскухой, если тебе жаль ее! А если ты мужчина, схвати свою паршивку за косы да проучи хорошенько, чтобы знала впредь, как перечить госпоже, которая ей в матери годится!..

— Э, байбиче, ничего страшного,— попытался Серкебай уломать жену.— Не может поганой быть земная тварь, попавшая вместе с водой... Успокойся, раскладывай устуканы¹ по чашам и ставь на дастархан. Гости ждут.

Байбиче сердито передернула плечами:

— Что за вздор! Как я могу почтеннейших людей угощать лягушкой, которую леший полюбил?! Лишь собакам годно это мясо!.. Э-эй, Текебай, разиня! Поворачивайся! Да поживей! Приведи-ка серого валуха белолобого с лопнувшим курдюком!..

Безлунная темная ночь. Заливаясь горькими слезами, Зуракан добежала до своего шалаша.

— Уйду! Уйду! Чем так жить, лучше пусть меня волки растерзают, стервятник расклюет!..

Ощупью собрала свои пожитки. В это время появился Текебай. Он тяжело дышал,— видно, торопился.

— Ой, неужели тебе жизнь надоела? Сама смерти ищешь. Как ты посмела при почтенных-то гостях перечить самой байбиче?

Текебай вплотную подступил к жене. Казалось, вот-вот он онустит на нее свой кулак. Зуракан не испугалась.

— Пусть подохнут твои почтенные гости вместе с байбиче!

— Замолчи!.. Самой бы не подохнуть от их проклятий!

— Если тебе нравится, кланяйся им, а я отказываюсь обивать байские пороги!

— Тише ты... могут услышать...

— И пусть слышат! Пусть проклинаят! Мне все равно!..

Текебай открыл было рот, чтобы возразить жене, но тут распахнулись двери байской юрты, и вырвался косой сноп света вместе с гневным окриком байбиче:

— Текебай, ты где, поганец? Кому я приказала привести белолобого серого валуха?!

Текебай заспешил из шалаша, на ходу крикнув:

— Смотри, если не придешь...

— Я ждала, ты вступишься, а ты грозиться... Тебе нипочем, что байбиче стукнула меня!..

Покидая шалаш, Зуракан приостановилась, подержала узелок с убогими пожитками — «а, зачем он мне?» — и швырнула его на пол.

Прошлой осенью одновременно померли от поголовного в аиле тифа свекор и свекровь Зуракан. Умерли — и со всеми долгами разом расплатились. А Текебай с Зуракан потратились на похороны, попали в кабалу и теперь отрабатывали долг Серкебаю, дальнему родственнику.

Отшвырнув напоследок узелок, Зуракан нахлобучила на голову малахай мужа, надела его старую шубу и, опоясавшись подвернувшейся под руку тесьмой, ушла. Так табунщик спешит среди ночи к своему косяку.

Она подошла к столбу, где на привязи дремали кони приезжих гостей, бесшумно отвязала их, вскочила на гривастого гнедого, с вечера стоявшего с взмокшей на шее шерстью, прядая ушами и позвякивая удилами. Это был конь Нурбая, старшего брата байбиче. Остальных двух коней она повела в поводу. «Если кто, не дай бог, услышит шум и окликнет, скажу: «Пускаю коней пастись». А не услышит — отъеду немного от аила и там пущусь во весь опор. Эти три коня — плата за то, что ворочала как бык на баев».

Обошлось все благополучно. Отъехав от аила, Зуракан пришпорила коней. Горы, укутанные черным одеялом, высятся зловещей громадой.

Зуракан едет не хуже джигита, пришпоривая пятками гнедого и настегивая камчой запасных коней. Где-то рядом мельтешат неясные тени, слышатся смутные шорохи. Лошади вздрагивают, прядая ушами. Сердце женщины от страха сжалось в комок, словно стиснутое в когтях беркута. Она не хочет думать об опасности, только прислушивается — нет ли погони?

Точно злые духи гонят ее без передышки за семь перевалов. Свежий ветер с пастбища Кокджаик холодит левый бок Зуракан. Откуда-то доносится приглушенное бормотание речки. Справа от черной скалы перевальчик; ни дать ни взять — седловина. По пути еще два перевала, а там дорога пойдет на спуск, и откроется долина, что тянется на запад.

Дальше путник волен ехать, куда пожелает, отсюда и до Чуйской долины не так далеко. Скорей, скорей выбраться на широкую дорогу, подальше, подальше от аила!

Застоявшиеся с вечера кони то и дело рвут повод, пятятся, набрасываясь на придорожную траву.

«А зачем мне вести в поводу двух лошадей, что мне с ними делать?» — прикинула Зуракан и проворно сняла узду с головы той лошади, которая шла с ленцой.

— Ступай, милая, куда хочешь! Будем живы, бай еще расплатится со мной за все труды...

Откинув узду, Зуракан подтянула повод второго коня поближе к себе и поскакала рысью. Отпущенная на волю лошадь припала было к траве, но тут же тихо заржала, словно опомнилась, и побежала вслед за хозяйкой. Однако сочная трава все же соблазнила ее. Пробежав немного, лошадь отстала.

Чем дальше, тем тревожнее становилось на душе Зуракан. «Глупая моя голова, что ж я натворила? Зачем было угонять коней? На чужом долго не усидишь. Настигнет погоня, так меня живьем закопают...»

Обогнув мрачный, покрытый кустарником выступ горы, Зуракан очутилась в долине. Придержала коней. Послышались неясные голоса, показались силуэты всадников. «Боже мой, что за люди?»

Зуракан остановилась на миг, натянула повод. «Будь что будет...» И решительно пришпорила коня.

Всадников было двое. Впереди себя они гнали навьюченного быка.

Зуракан обогнала их.

— Ассалом алейкум, братья, доброго пути вам! — сказала она, подделываясь под грубый мужской голос.

Один из верховых остановился:

— Эй, кто ты? Откуда, куда?

— С джайлоо на джайлоо.

— Что-то у тебя вид подозрительный. Может, ты вор? Проехав мимо, Зуракан оглянулась и бросила насмешливо:

— Хорошенько поглядывай за своим конем! Как бы не прозевать его...

— Ты, наверное, из чуйских? Угнал чужого скакуна? Слово «чу» влило бодрости в сердце Зуракан. Значит, она едет верной дорогой.

И она пришпорила коня. Но вскоре позади себя услышала громкий разговор.

— Не так-то далеко... догоните...— донесся до нее чей-то голос.

Зуракан не растерялась. Подтянув поближе шедшего в поводу коня, она повернула вправо и, продравшись сквозь кусты, въехала в чащу.

Отчетливо долетели голоса преследователей:

— Эх, попадись только она нам в руки, эта негодяйка! Столько хлопот доставила нам!..

Подъехав к развесистому дереву — не то к рябине, не то к вербе,— Зуракан соскочила с коня. Поставив лошадей головами друг к другу, она взяла их под уздцы и прижалась к мордам, как бы умоляя: «Стойте, дорогие, спокойно, не вздумайте ржать, грызть удила». А сама вся превратилась в слух. Преследователи не заметили ее,— настегивая коней, они проскакали вдоль берега.

— Далеко ей все равно не уехать, кони скоро выдохнутся.

— Она может свернуть куда-нибудь...

— Никуда не денется, если и свернет!

Явно голос мужа — Текебая. В его тоне угроза, смешанная с тревогой.

Черная темь поглотила преследователей.

Оголодавшие кони потянулись к траве. «Куда теперь торопиться. Пусть попасутся...» — подумала Зуракан.

...Небо постепенно серело, начали проступать еще смутные пока очертания хребтов и ущелий. Камни на горных террасах казались то мирно лежащими верблюдами, то отарой отдыхающих овец.

Уже совсем развиднелось, когда Зуракан взнуздала коней и вскочила на гнедого. Отпустив подлинней повод коня, которого вела чуть позади, она скакала, то пригибаясь под низкими ветвями, то чуть подаваясь в сторону. Но вот на ее пути встала высокая скала с укоренившимися в расселине елочками и кустами рябины. Зуракан пришпорила коня, чтобы скорее обогнуть каменную глыбу. «За выступом,— подумала она с надеждой,— дорога будет лучше». И действительно, как только миновала выступ, перед ней открылась широкая долина.

— Боже, сжался надо мной, направь на верную дорогу!.. В тот же миг она увидела оседланных коней — они паслись неподалеку. Словно из-под земли выросли двое мужчин. И один из них издали замахал ей руками:

— Эй, батыр, заверни-ка сюда!

Зуракан узнала Мекебая, спутника ее мужа. «Попалась!» — и решила близко не подъезжать к ним, авось не узнают. Выкрикнула, изменив голос, как можно грубее:

— Ассалом алейкум, мирза! Голос показался Текебаю знакомым.

— Скажи, азамат, кто ты?

— Какое вам дело, кто я? — отозвалась Зуракан. — Я — Дандыбай, младший брат Кандыбая. Сноха моя при смерти после родов... нечистый давит ее. Еду в нижний аил за шаманом Байчекиром.

Мужчины переглянулись.

— Не твоя ли это жена? — спросил один.

— Дандыбаем ведь себя называет...

— А конь-то смахивает на коня свата Нурбая. Неуклюже ступая, Текебай опять крикнул:

— Эй, не Зуракан ли ты? Зуракан подтянула повод коня.

— А кто это такой, Зуракан?

— Чем-то ты походишь на нее...

— Эй, джигит, в своем ли ты уме? На мужчину говоришь, что похож на женщину! — Рассмеявшись, Зуракан пришпорила гнедого.

Мекебай толкнул в бок Текебая.

— Садись на коня! Это твоя жена... Переоделась мужчиной! Они пустились в погоню и скоро догнали ее. Теперь Зуракан уже некуда было деваться. Мекебай подскакал вплотную и, всмотревшись ей в лицо, занес камчу над головой:

— У, змея!

Зуракан поднялась на стремянах и замахнулась срезанной по дороге рябиновой палкой:

— Ну-ка, умерь свою прыть, байский холуй!

— Смотри ты, как осмелела! Прирежу тебя сейчас!

— Только попробуй! Новая власть тебя в Шыбыр¹ сошлет!

— Ах, в Сибирь! Вот тебе! — Мекебай что было силы хлестнул Зуракан камчой по спине.

Сжавшись от боли, Зуракан отчитала мужа:

— Эй, дурень, что хлопаешь глазами, когда твою жену быют! Муж ты мне или тряпка? Если заслужила, бей сам. Что я, у бога соль украла, чтобы меня чужой хлестал камчой? Мы с тобой муж и жена... Давай свяжем, как овцу, этого и подадимся в Чу иску ю долину! Хочешь остаться моим мужем, так вступишь за меня!..

Текебай, готовый уже было замахнуться на Зуракан, приостановился.

— Подожди-ка, Мекебай, за что нам ее бить?

— В своем ли ты уме? — вскричал дружок.

— Не ударь байбиче мою жену ченгелом по голове, она бы не убежала...

Мекебай опустил руку с камчой:

— Да вы, видно, сговорились! Она притворилась, что убегает, а ты для виду пустился в погоню. Поехали в аил!

Они повернули коней.

Гнедой, на котором ехала Зуракан, успел отдохнуть, набрался сил и, словно косуля, помчался вверх по крутому склону.

— Ой, гляди! — вскрикнул Мекебай и стеганул камчой своего коня. — Плохо будет, если она опять сбежит...

Мужчины поскакали вслед за ней, хлопая на ветру полами халатов...

— Ай-ий-ий, Батийна-эже, — протяжно сказала Зуракан, — если б тогда не поддалась я уговорам Такебая, давно уже была бы в Чуйской долине, и не свалилось бы на меня столько бед.

— Не огорчайся, сестра! Не огорчайся!

Батийна то печально хмурилась, то улыбалась, любуясь Зуракан:

— Не женщина, а батыр! Ты еще счастливо отделалась. Где бы я нашла тебя, если б им удалось завалить тебя камнями? Отговорились бы: «Скрылась, мол, куда-то. А куда, сами не знаем».

Батийна приумолкла на минуту, глядя на Зуракан с любопытством и восхищением.

— Теперь послушай мою историю, что я пережила за это время.

Вот что она рассказала...

В ГОРОДЕ

На третьи сутки после того, как покинула родной аил, Батийна на своей быстроногой рыжей кобыле со звездой во лбу подъезжала с провожатым к городу.

Прожив столько лет в горах, женщина впервые видела город с множеством высоких домов, с базарами, где рядами выстроились ларьки и лавки, где торгуют разного рода тканями, отмеривая их аршинами... В городе есть и скотный базар, широкий двор забит овцами, козами, коровами, а что там не вмещается, толчется на улице, запруживая ее. Так и шарят глазами купцы из Андижана. На базаре полно разных харчевен с дымящимися самоварами и окутанными паром касканами¹.

— Горячий маанту, жирный маанту! Оближется тот, кто его съел, и тот, кто еще не поел! — горланит чайханщик, зазывая прохожих, словно готов угостить тебя задаром. Но попробуй, сойдя с коня, съесть полдесятка-десяток

его мант, как из карманов вытряхнут все твои деньги, и ты сразу повесишь голову, словно собака, которую сначала позвали, потом огрели палкой. Попробуй-ка не отдать ему денег, как он сразу взъесться: «Эй, невежда, кто будет расплачиваться за то, что ты поел у меня?!» И схватится за чумбур твоего коня.

Какие только дома не высились в городе вдоль улиц, но попробуй остаться там на ночь, не найдешь себе ночлега. Если же попроситься к знакомому, то он будет смотреть под хвост твоему коню, как бы тот не загадил ему двор.

На базаре урюк, кишмиш, горы всяких фруктов! Но тебя не позовут и не скажут: «Эй, батыр, вижу ты проголодался, отведай, пожалуйста!»

Нет, стоит киргизу в своей овчине подъехать поближе, как торгаш-замашет на него руками: «Эй, убирайся-ка отсюда подальше со своим конем, могила твоему отцу! Еще потопчешь мне яблоки!»

Издали город кажется богатым, прекрасным, щедрым, шумит базарами, но без денег тебе ничего не дадут, глоток воды и то продается... По рассказам Батийна знает, что город — это ненасытный котел, кишащий перекупщиками, головорезами, карманными ворами, каждый из кожи вон лезет, из копейки норовит сделать две.

Въезжая в город, Батийна почувствовала какую-то стесненность, будто на нее давили со всех сторон. Все равно как человек, привыкший к чистому воздуху на гребне Великого хребта, спустился бы в тесное ущелье и, изнемогая от спертой духоты, посетовал бы на себя: «Эх, надо было подождать спускаться».

Сразу же за большаком начиналась улица,, — домов было не так густо, да и деревьев маловато, и ни одной живой души. Взметая босыми ногами придорожную пыль, выбежала взлохмаченная девчонка и, растопылив руки, запрыгала на месте, пытаясь вспугнуть коня:

— Буп, буп!

Рыжая кобыла, изморенная двухдневным путешествием, и ухом не повела. Она лишь мотнула головой, звякнув удилами, вроде по-своему сказала: «Эй, девчонка, не балуй! Уйди с дороги!» — и пошла прежним спорым шагом.

Тут поравнялся с Батийной спутник, он, чуть отступя, вел на поводу лошадь, подаренную Качыке.

— А ночевать куда поедем? — спросил он.

— В кантком, куда же больше? — сказала Батийна. Батийна твердо знает: кантком, кантонный комитет партии, направляет жизнь по-новому. Это он берет под свою защиту обездоленных, всех, кого топтали баи и манапы; расправляется с царскими чиновниками, ростовщиками, купцами, колонизаторами. Это он, кантком, вызвал в город никому не ведомую Батийну, чтоб вытянуть ее на путь равенства и свободы!

Батийна никак не возьмет в толк: откуда кантком ее знает? Почему вызвали именно ее? Наверное, в канткоме есть человек, который когда-то видел ее и рассказал товарищам о ней, возможно, и похвалил. «Скорее всего, это Жашке

(так она по-прежнему называла Якова Степановича Якименко) сделал», — думала дорогой Батийна.

«Молодец ты, Казакова! Тебе надо попасть в город. Поучиться в медресе, — говорил ей Якименко, мешая русские слова с киргизскими. — Иначе глаза у тебя не раскроются на обман баев и всяких шайтанов. Я поставил в известность кантком: Казакова Батийна первая из женщин в долине Карасаз, которая вступила в партию большевиков».

Батийна живо вообразила Якова Степановича, как он глядит на нее с высоты своего огромного роста и, как всегда, добродушно улыбается. «Эх, встретился б нам большой Жашке, уж он бы, наверное, нашел бы, где нам переночевать».

Чем дальше углублялись в город, квартал за кварталом, тем растеряней они себя чувствовали. Улицы пошли оживленные, многолюдные. Подпрыгивая на мягких рессорах, проносились фаэтоны. О, как вольготно чувствовали себя в городе нарядно одетые женщины! Но киргизских женщин не видно было, — все иноязычные. «Боже мой, — подумала Батийна, — настанет ли время, когда женщины в глухих наших аилах, что жмутся сейчас у земляных очагов, будут ходить так же вольно, никого не остерегаясь».

Батийна смотрела на них с удивлением и завистью. Она даже забылась немного и, казалось, вот-вот выпустит из рук поводья и чумбур.

Спутник предупредил ее, стеганув камчой своего коня:

— Не зевай, Батийна, недолго и собьет какой-нибудь спесивый байбача в трашманке¹.

Расспрашивая у прохожих, сворачивая с улицы на улицу, только под вечер Батийна со своим спутником подъехали к голубому зданию на углу. Первое, что поразило и восхитило Батийну, — это были большие светлые окна со ставнями, высокое крыльцо и не то семь, не то восемь ступеней. Здание было крыто зеленого цвета железом, на карнизе под крышей — вырезанные узоры вроде воробьиных лапок.

«Вот он, кантком», — сказал первый встречный. Она не сразу сообразила, что надо слезать с коня и, поднявшись по ступенькам, войти в здание. Батийна продолжала любоваться его красотой. В ее глазах, в глазах женщины, впервые приехавшей из глухого аила в город, светился восторг: «Боже ты мой, ведь / бывают, оказывается, на свете такие вот красивые дома с такими большими окнами!»

— На, Батиш, поддержи! — Провожатый протянул ей чумбур лошади, которую он водил, и, желая показать, что он все-таки мужчина, перескочил через небольшой арык. Конь зафыркал, пятась. «Да иди же ты! Окно это тебя не проглотит!» — пришпорил коня провожатый и хотел было заглянуть в окно, вытянув шею, как вдруг оно распахнулось, и оттуда выглянул белолицый джигит с черными курчавыми волосами.

— Ой, аке, вы что, прямо на коне хотите въехать к нам, а? — засмеялся джигит.

— Сынок, где тут канселар² называемый канткомом. Не найдем никак,— вздрогнув от неожиданности, робко спросил провожатый.

— Привяжите своих коней вон туда, к коновязи, да заходите!

Провожатый махнул рукой так, словно собирал разбредшееся стадо, и сказал:

— Ой, сынок, у меня к канткому дела никакого нет. Но вот эту женщину вы сами вызывали. Она есть та самая Батийна— дочь Казака, которая среди женщин рода карасаз первой стала балшайбеком¹, первая у нас надев красную косынку. Я привел ее к вам живой, невредимой. А я, пока базар не разошелся, куплю коням сена да поищу, где мне переночевать...

Джигит улыбнулся и кивнул головой:

— Э, аке, поезжайте себе, если такое дело. О товарище Казаковой мы сами позаботимся.

«Это хорошо, что новая власть заботится о бедняках. Но некрасиво мужчине носить длинные волосы»,— неодобрительно подумала Батийна о джигите.

И как-то сразу поникла, устав с дороги.

Отворилась дверь, и вслед за джигитом стремительно шагнула молодая русская женщина с красной косынкой на голове. Она была в кожаной куртке, в черной юбке из толстого сукна и в сапогах. Диковинней всего показалась Батийне ее юбка: «Чудно, что за одежда на женщине? Не то платье, не то чапан. Как только она ходит в этом, бедняжка?..»

Русская женщина улыбнулась Батийне, поздоровалась, как с давнишней знакомой.

— Казакова? Дай руку, дорогая. Будем знакомы.

— Познакомьтесь с ней, аяш,— вставил джигит.— Она работает у нас в женотделе. Валентина Копылова...

Нр Копылова прервала его:

— Ладно, товарищ Акимканов, мы сами познакомимся... Правда? А сейчас пойдем ко мне домой.

И, не дав Батийне опомниться, повела ее вверх по улице.

В эти минуты Батийна не отдавала себе отчета в том, что именно сейчас осуществляется ее заветная мечта побывать в городе, походить по улицам, поговорить с людьми разных национальностей.

Особенно она была ошеломлена тем, что, попав впервые в город, очутилась дома у русской женщины. Здесь все было ей в диковинку. Обстановка совсем не похожа на ту, которую до сих пор видела и знала Батийна. «Может, сюда свиное мясо положено?» — насторожилась она, когда подали незнакомую еду с какими-то листьями, зеленью.

Внимание Батийны привлекло красивое изображение в почетном углу. Каково же было ее удивление, когда мать Копыловой встала лицом к изображению и стала совершать непонятные ей движения, прикладывая сложенные вместе три пальца правой руки то ко лбу, то к плечам.

«А, вот как молятся,— догадалась Батийна, поглядывая на старуху краешком глаз.— Интересно!»

Копылова, которая только что потчевала Батийну с таким радушием, будто встретила давнюю подругу, повела ее в другую комнату и показала на кровать:

— Иди сюда, Батийна. Спать надо! Да ты не бойся! А на старушку внимания не обращай, все они такие. У нас с тобой совсем другое дело! Надо выспаться как следует. Завтра узнаешь, зачем тебя вызвали сюда и куда потом поедешь. А пока спи!

Она покрутила колесико лампы и показала, как надо регулировать фитиль.

— Если захочешь прибавить света, повернешь вот так.

«В ханском дворце тесно, а в родной лачуге — просторно», — вспомнилась поговорка Батийне. Долго не могла она заснуть в чистой просторной комнате на мягкой упругой кровати. Стоило шевельнуться, как ее сразу подкидывало, словно кто-то снизу тряс руками. И сон уходил, в голову лезли разные мысли. Батийна бесшумно слезла с кровати и перенесла постель на пол. Встав на колени, вывернула фитиль. Комната осветилась ярче. Батийна легла и уставилась глазами в керосиновую лампу, »горевшую на подставке возле стола. Ручка у красивой лампы блестела, стекло было невероятно прозрачно. Тонкий язычок ее пламени едва заметно колыбался, и она совсем не чадила, подобно кара чираку².

«Боже мой... Была я дочерью охотника, он никогда из нищеты не вылезал, попала потом в юрту к баю и прислуживала ему, не зная другой жизни, кроме нудных домашних забот. Ни у кого в юрте не полыхал такой яркий свет, который и горит-то без дров. Сколько себя помню, зябла я в серой трухлявой юрте, где изо всех дыр задувал ветер».

Перевалило за полночь, а сон все не шел. Бархатно-темное небо за окном было усеяно несметными жемчугами.

Чем больше привыкали глаза к яркому свету, тем уютней и любопытней становилась комната. Батийна разглядела на круглом столике в углу медную статуэтку, которую еще с вечера показывала ей Валентина Копылова.

Оказывается, это батыр, старинный храбрец, который защитил русских людей от чужеземных врагов.

«Эх, разве мало было у киргизов древних батыров? Ну хотя бы взять Манаса великодушного да хитроумного Бакая, о которых поют в сказаниях. Или бесстрашные тигрицы во всем женском роду — Каныкей и Джаныл-мирза». С картинки на простенке между окон на Батийну смотрит еще совсем юный джигит с едва пробивающимися черными усиками и гордой осанкой, как бы спрашивая: «Видишь меня, молодка?» О нем Копылова сказала Батийне: «Великий русский поэт, или акын, по-вашему, он оставил много книг, хотя погиб совсем молодым».

«О создатель, разве мало было у нашего народа сладкоголосых певцов, что заливались, как соловьи, да красноречивых мудрецов? Впрочем, отец, когда заводил свои рассказы, сидя почти неподвижно у земляного очага, часто обращался к певцам незапамятных времен... «Э, жеребята мои,— говорил он,— запоминайте драгоценные слова ваших дедов, которые исстари

переходят из уст в уста. Потом расскажете своим детям. Положено, чтоб каждый помнил своих предков, ценил, почитал их...» Но почему наши горцы, которые умеют так чтить своих прародителей, не научились этому мастерству? Эх, если б осталось изображение хоть одного из наших предков!..»

Но тут ее внимание отвлекла картинка, висевшая над шкафом между дверью и передним углом комнаты.

Тихо, почти незаметно струится речка. У самой ее кромки колышется осока, да еще какие-то кусты. Веет легкий ветерок. Из леса вьется едва-едва различимая тропинка. На берегу, обхватив руками колени и опустив голову, сидит босая, простоволосая девушка. Распущенные волосы, словно струи воды, стекают вниз к земле.

Батийна даже рот раскрыла, глядя на нее. «Осока, похожая на ту, что колышется здесь над рекой, растет и у нас на Черных болотах... Видно, девушку давит тяжелое горе. Бедняжка, муж ли ее побил, разлучили с любимым или злая байбиче обругала. Боже мой, и другие народы, оказывается, такие же, как и мы, горемыки».

Батийна неотрывно смотрела на картинку, полная жалости к девушке. Да и та девушка, казалось, смотрела на Батийну своими задумчивыми, полными тоски глазами: «Эй, молодуха, киргизушка моя, ты что так смотришь на меня?

Оставь, дорогая, меня, лучше ложись спать!» Но девушка все молчит, глядит тоскливыми глазами...

Вспомнив, что пережила сама, Батийна неожиданно для себя подумала: «Эх, если б кто-нибудь нарисовал меня в то время, когда я по Бёлетуннскому ущелью вела верблюдов с навьюченными на них льдом или когда стояла, привязанная к столбу после злополучного своего побега, сейчас бы я целовала ему руки, благодарила бы изо всех сил. Если б кто нарисовал меня, когда я мыкала горе, у многих бы висела такая вот картинка обо мне...»

Батийна, которую уже одолевал сон, почти внятно шепнула:

— Эй, девушка, не надо так горевать!..

Тонкий, трепещущий, словно струна комуза, полный грусти голос коснулся ее сердца: «Спи, молодка, спи, дорогая. Тебе предстоит далекий путь!»

Батийна бодро поднялась, хотя спала очень мало. Ни ржания жеребят, как в аиле, ни блеяния овец. Где-то прокудахтала наседка. На улице гроыхали арбы...

«Вишь, в городе и звуки свои»,—подумала Батийна, направляясь в умывальную. Валентина Копылова причесывалась у зеркала.

Надежда Сергеевна,— она хлопотала на кухне, бормоча что-то себе под нос и время от времени обращаясь к дочери с вопросами,— успела накрыть на стол. Стояли полные тарелки аккуратно нарезанного белого хлеба, сладкого печенья, похожего на только что народившийся месяц, пышный пирог. Она не решалась сразу есть,— нет ли чего запретного? Даже обрадовалась, когда, отведав кусочек пирога, почувствовала вкус яблока: «Слава богу, не поганое

кушанье», — и отломил кусок побольше. Поела немного меда, варенья, творога и вдоволь напилась крепкого чая.

Батийна не осмелилась произнести слово благодарности с поднятыми вверх руками, как у себя в аиле, мельком посмотрела на Валентину улыбающимися глазами и сказала:

— Наелась я, рахмат, Капылоп!

Валентина Копылова, — в ее повадках было что-то мужское, резковатое, — рассмеялась громко и хлопнула Батийну по плечу:

— Называй меня по имени: Валентина!

Словно школьник, которому не дается урок, Батийна повторила вслед:

— Валентина?!

— Да, Валентина.

И, выходя из дому на улицу, Батийна продолжала повторять про себя: «Валентина, Валентина...»

Батийна понемногу обвыкала. Улица уже не так настораживала* Казалось, кругом притихло. Даже на самом дальнем конце улицы увидишь пробежавшую кошку.

Жители называли, правда, свой заштатный городишко, где жили тысяч двенадцать человек, большим городом. Но он иало чем отличался от кыштака: одни торговали в ларьках, другие сеяли хлеб на окраине города, третьи спекулировали сырой кожей, а свой скот отдавали сельским киргизам на содержание; один был чиновником в какой-нибудь канцелярии, другой — попом, а третий — ростовщиком, который из кожи вон лез, чтоб любыми несправедливыми путями нажить богатство.

Народ был разный: и жестянщик, с утра до вечера стучащий молотком по железу, и сапожник, забивающий березовые шпильки в подошвы, и бакалейщик, который томится от зари до зари, разложив на лавке всякую мелочь, вплоть до старой рухляди, доставшейся, может быть, в наследство от далеких предков, и брадобрей, под развесистой осиной натачивающий бритву на сыромятном ремне. Не в пример родному аилу Батийны, городок этот с его разношерстным народом, промышляющим всякого рода ремеслом, казался Батийне беспрерывно кипящим котлом, или, говоря иначе, вечно суетсящимся, сложным миром, где хитрые ловкачи стараются обвести простаков.

Аил в ее представлении — нечто вроде отстоявшегося в чаше молока с нетронутым слоем сливок. В аиле мужчины, выехав утром на коне, целый день не слезают с седла, коротая время за разговорами, вечером спокойно возвращаются домой, словно в мире ничего не произошло и не происходит, потом, мирно посидев за едой, тихо ложатся спать. А тех, кто отжил свой срок, провожают с почетом и свято чтят память ушедших. Откушают мяса, попьют бульона на поминках, воздев руки к небу, пожелают добра на том свете покойнику и степенно погладят свои бороды. И эти покладистые, аилчане казались Батийне честнее, справедливее шустрых горожан. В этом мнении Батийна утвердилась особенно после того, как потолкалась на скотопригонном базаре.

Батийна условилась со своим провожатым встретиться там, чтобы продать подаренную Качыке кобылу. С превеликим трудом удалось Батийне найти в базарной сутолоке своего провожатого, который держал в поводу рослую жирную кобылу. Не успела подойти к нему Батийна, как набежали два молодчика и схватили лошадь за чумбур —они, мол, купят ее. Один из них был помоложе, да и одет почище.

— Я сказал, сколько стоит ваша лошадь. Ни одной копейки не прибавлю, — отрезал он и отошел в сторону.

Д второй — здоровенный толстяк с красным лицом — был похож на торговца мясом. Пощупав кобыле загривок, он сказал:

— Ва-а, жирная лошадка, добрая. Казы у нее будет в два пальца. И мясо ее как казы, — назвал свою цену и потянул чумбур к себе.— Э-э, аке-а!

Соглашайтесь, если вправду хотите продать свою лошадь. Я даю больше, чем она стоит. Если заупрямитесь, потом пожалеете, а скотина ваша станет поганой!

Толстяк напирал так нахраписто, что Батийна в конце концов отдала ему лошадь по дешевке. Женщина едва выбралась из кипящего котлом рынка, обливаясь потом, и посмотрела на своего спутника с видом человека, выдержавшего жестокое испытание.

— Не приведи бог пережить еще раз такое. Страшнее толстяка, купившего у нас лошадь, тот, черный, курносый, что стоял рядом. Он сунул руку с деньгами мне прямо в рукав. И шепчет: «Отдай кобылу, на свое счастье отдай!»

Спутник Батийны вскинул жиденькую бороденку и, вытирая пот со лба мерлушковой оторочкой тебетея, деловито сказал:

— Не удивляйся, молодка! Где-где, а на рынке поневоле будешь шустрым, иначе копейки не заработаешь...

— Пропади они пропадом, эти далдалчи¹! Прямо из рук рвут...

Почему-то Батийна представила на миг своего Алымбая. «О несчастный... Тут бы его вмиг окрутили... Такой неуклюжий, простодушный. Приведи он сюда, этот мой простак, продавать свою скотину, все бы у него выманили задаром наглые пройдохи!»

Потолкавшись на суматошном базаре, Батийна как бы разглядела город изнутри и раскусила одну из его скрытых тайн. «Тут скоро научишься распознавать всяких надувал и плутов, чтоб им, окаянным... Кто обжигался, небось знает, как жгуч огонь, кто мерз, знает, как колюч мороз. Эх, будь я сейчас грамотна или какое ремесло было б у меня в руках...»

Попрощавшись со своим провожатым в харчевне, где они поели манты и попили чаю, Батийна зашагала в кантком. Она почувствовала себя одиноко, словно путник, у которого сбежал конь посреди безлюдной пустыни.

Батийна почти бегом отмахала квартала два, настороженно оглядываясь по сторонам, но вскоре одернула себя: «Куда так спешить, аж задохнулась. Чего, собственно, бояться? Валентина предупредила, что мы отправляемся через три дня. «Хо-рошо-о! — сказала Валентина.— Теперь ты, Батийна,

поедешь в Москву. Своими глазами увидишь Ульянова-Ленина. Сам Ульянов-Ленин подаст руку страждущим женщинам Востока. Угнетенные женщины всех народов соберутся на большое мажлис², сам Ленин будет держать перед ними речь, укажет, какой дорогой идти, даст совет, как нам жить!» Чего же мне бояться? Интересно, где соберется такая большая сходка разных народов в великом городе? — Батийна представила себе невероятно просторное помещение, похожее на огромный сарай.— Интересно, кто туда от киргизов поедет? И от других народов? Как я там встречу с ними? Будет забавно, если все будем хлопать глазами, не понимая друг друга... Горе мне, если не пойму, что скажет Ленин. Возвращаться тогда с разбитой надеждой, не достигнув своих целей и своих желаний. О боже, за что ты оставил наш народ без ученья и знания ремесла...»

Как и предполагала Батийна, отправляли ее не одну. Жители города вышли провожать четырех делегатов — ее, Батийну, киргизку, узбечку Анархон, татарку Рабийгу и сарткалмычку из Каракольско-Нарынского кантона Ракийму.

Проводы вылились в праздничное торжество. Пароконные фаэтоны стояли наготове перед зданием канткома. Загремела, забухала музыка, фаэтоны — в каждом одна делегатка — неторопливо поплыли, мягко и упруго покачиваясь в сопровождении конных красноармейцев в серых шинелях, выстроившихся в колонну по четыре. Обе стороны улицы моментально заполнились народом. Аксакалы с окладистыми бородами смотрели на это шествие, сурово насупив брови, женщины, напротив, были радостно-оживленны. Одни растрогались до того, что кончиками платка утирали слезы, другие указывали друг другу то на Батийну, то на остальных делегатов, кивая им головой.

— Ах, как хорошо, какие они счастливые! В большой город едут!..

— Да-а, много кое-чего они увидят там!

— Ойё-ёй... смотри, красиво как одета киргизушка!

— Они тоже по-своему одеваются хорошо...

— А что удивительного? Народ есть народ! Кто-то недовольно сморщился и одернул женщин:

— Подумаешь, намотала себе на голову черт-те сколько кисеи и расселась, как под котлом, а что тут красивого?

— Зато к ней это прекрасно идет, дорогая. Смотри, какой у нее нарядный передник! А как на ней сидит бешмет, а подвески на косах! У каждого народа свои достоинства! Свои понятные и дорогие ему обычаи! А кое-кому, может, не нравится, что русские женщины ходят в желтых полушубках...

— Да-а, верно!

Народ все прибывал, запруживая улицу, — и конные и пешие. Аильчане, потолкавшись на базаре, спешили сюда поглазеть, галдели, сбившись в отдельную кучку, словно находились на козлодрании или готовились на полном скаку хватать монеты с земли.

Иные джигиты, подъехав вплотную к фаэтонам, громко переговаривались между собой:

— Слышали, что это представительницы от женщин и что они, говорят, поедут в большой город Москву, получают свободу из рук самого Ленина.

— А что это значит?

— Разве не знаешь? Добиваются, чтоб можно было выходить замуж без калыма, чтоб гонять мужчин с ведрами за водой...

— И еще ходят слухи, будто накажут тех, кто содержит токол. А стариков, кто поженился на молоденьких, сошлют в Шыбыр.

— Катись отсюда подальше со своими предсказаниями... Много было шуток, смеху, подковырок. Казалось, все жители города высыпали на улицу.

Тощий дунганин, на тонких журавлиных ногах, в коротенькой душегрейке из китайского тика и с черным калпаком на голове, посаженным вроде деревянной чашки донышком вверх, и тот наблюдал за шествием, стоя под высоким тополем и держа на плече коромысло с висевшими на обоих концах чашами для ашлянфу¹. Не понять было, удивлялся ли он или радовался.

Глядя на шествие, дунганин с жиденькими усиками и тонкими пучками бороды по обе стороны длинного подбородка сощуривал узенькие щелки глаз. Люди толкались, задевая его коромысло, и никто не сказал: «Ой, расплеснете его ашлянфу!» Озорные босоногие мальчишки сновали взад и вперед, протискиваясь меж ногами взрослых.

Высокий узбек в просторных бязевых штанах и бязевой рубашке, подпоясанный вышитым платком, с подвешенным ножом в изящных ножнах, торговал самсой², обходя городские улицы с поставленной на голову чашей в белой скатерти. «Горячий самса, жирный самса! Облизется тот, кто его поел, и тот, кто еще не поел!» Оказалось, что это был муж одной из делегатов — Анархон.

— Эй, дорогая аяш-джан! Отведай-ка самсы из моих рук! — суетился узбек, протягивая Батийне пирожок. — Денег не возьму! Бери, аяш-джан, чтоб дорога твоя была счастливой! Батийна замялась, со всех сторон ее уговаривали:

— Бери, молодка, бери! Само счастье плывет тебе в руки!

— Э, дитя мое, раз тебе послано судьбой, отказываться нельзя.

— Возьми, возьми! — сказала Анархон, передавая Батийне завернутую в бумагу самсу.

Фазтоны, проехав до конца улицы и обогнув поворот, вступили на большак. Музыка гремела громче прежнего. Зарысили пары лошадей, закачались повозки.

Люди не спеша расходились.
незнакомый мир

Чем дальше продвигалась крытая телега, то громохочая по жесткой каменистой дороге, то увязая в сыпучем песке, тем беспокойнее Батийна уносилась куда-то всеми своими мыслями. Словно долговечная шелковая нить, протянутая по земле, все манила, звала ее в горы... Впервые в жизни она едет в далекий путь, да еще в какой путь! Не сравнить с тем, когда женщина, навьючив на

коня полный гостинцев куржун, отправлялась в гости к родственникам или к почтенным сватам и свахам. Нет, это путь к столице новорожденного государства, путь к освобождению! Впервые Батийна передвигается в крытой телеге и впервые от имени женщин айла, что неотлучно веками жались в женской половине юрты, гнули спину у очага, над домашним ткацким станком или латая рванье.

Когда прогневила свою свекровь и возила в лютую стужу лед с реки, то было на верблюдах или на быках. Когда же, не выдержав мучительных обид, бежала от издевок или когда меняли кочевье, тогда приходилось седлать коней.

На четырехколесных телегах, она видела, ездили городские иноязычные люди. В своих кепи с козырьками или в широкополых шляпах они казались горцам слабыми, малоприспособленными существами. Если семьи городских богатеев изредка забредали в дальние айлы, то жители смотрели на них с жалостливым удивленьем. Какие они все нежные, хрупкие, словно выросшие в тени цветы! Пожалуй, где им перевалить за гору на конях. Глядишь, дунет ветерок, и разлетятся они, как пушинки одуванчика.

В глуши Карасаза, где она росла, горожане появлялись от случая к случаю. Да и Батийне, привязанной к своему айлу, как кайберены¹ к горам, не приходилось далеко уезжать.

Чем дальше от родных мест, тем ощутимее нарастало в Батийне ожидание чегб-то нового, зовущего вперед, и вместе с тем не давало ей покоя чувство неопределенности, в котором она еще не могла разобраться. Пошли незнакомые края, земная красота понемногу становилась иной, и люди на пути встречались, каких ее деда и прадеды, наверное, не видели. И крохотное, с просяное зернышко, горьковатое чувство скованности растравляло сердце. Даже собственная одежда казалась в тягость. У себя в айле Батийна ловко вскакивала на ма-лообъезженных ретивых скакунов, а сейчас, слезая с арбы или взбираясь на нее, то и дело наступала на подол своего широкого платья, и ноги беспомощно путались.

— Что за мученье эта гремющая арба. Как вы, горожане, терпите такое? — сердилась Батийна.

Татарка Рабийга смотрела на нее насмешливыми глазами: «Ну и длинные же платья у этих степных женщин».

А Анархон, сидевшая рядом, без стеснения отпустила шуточку:

— Эх ты, неотесанная киргизка!.. Сперва подбери подол, потом взбирайся и наступай ногами на оглоблю!

Батийна не обиделась. «И правда, неотесанная. Росла-то я в горах...» Но проходили дни, все новые края, все новые слова узнавали женщины, запросто общаясь и привыкая друг к другу. В какой-то момент шутливое слово Анархон — неотесанная киргизка — показалось обидным Батийне. «Как она смеет?.. Ишь, сама без просыпу спит, а себя очень высоко ставит. Расхвасталась, что она, мол, городская, привычная-де ездить на телеге... Будь Москва поближе, разве стала бы я унижаться перед этими четырьмя

колесами, до чего же они осточертели мне своим несмолкаемым скрипом. Вскочила бы на каурого со звездой во лбу да скакала бы днем и ночью, остановилась бы попасти конька на зеленой лужайке да плеснуть студеной воды на лицо и давно бы примчала туда. Еще посмотрела бы, какая из тебя горе-всадница... Даже самые лихие ваши джигиты слабо держатся в седле...» Батийна в голос напустилась на Анархон, словно стояла на берегу бурной реки:

— Значит, я неотесанная? Что ж, правда, я спустилась с гор. А в тех горах — все богатства земли!.. Это вершины мира — слышала? Просторные долины, благоухающие цветы, бурливые певучие реки, вольные кайберены — все, все в наших горах!, Посмотрела бы ты оттуда, вон с той, покрытой ледником белой вершины, вниз: кругом хребты и склоны, тысячами красок переливаются ущелья, лощины и ложбины, долины рек, под коврами цветов все волнуется, все дышит благоуханием!..

Узбечка Анархон пошла на попятную, видя, как распалилась Батийна:

— Ну довольно. Ваши горы останутся с вами!

Еще вертелось у нее на языке: «Живи себе со своими вшами, серошубая киргизбаевская баба», но сказать это Анархон не осмелилась. Одно дело в своем кругу высказывать без оглядки все, что придет на ум, а тут с чужими женщинами, да еще разноязычными... Анархон стала осмотрительней. И даже подсадовала на себя, что невзначай вырвалось у нее оскорбительное словечко. Будто она, горожанка Анархон, выхвалялась перед приехавшей из глуши Батийной.

Батийна не могла долго успокоиться: на оскорбление надо ответить оскорблением, унижением на унижение. Упрямая, как настоящая жительница горного захолустья, она донимала Анархон колкостями:

— Не очень-то заносись передо мной! Сама ты, сартовская жена, целый день сидишь взаперти в четырех стенах, закутаешься в свой чапан и глядишь в единственную дыру!..

— Прикуси лучше свой язык, Батийна, я не сартовская жена... — не выдержала Анархон.

Батийна, громко смеясь, провела пальцем по своей щеке.

— Айрёк, айрёк²! Ты сартовская жена, айрёк!

Анархон выругалась непристойным словом. Батийна, откинув голову, продолжала передразнивать Анархон:

— Айрёк, сартовская жена, айрёк!..

Видя, как женщины унижали одна другую, Рабийга сказала примирительно:

— О, аллах... Хоть бы ты унялась, что ли, Батийна... Батийна мигом обернулась к ней:

— Вы что, татарка и сартовская жена, решили вместе навалиться на меня, раз вы городские?! Ведь сообща едем по этой дороге: благодарите Ленина, что он добыл свободу всем нам, угнетенным женщинам Востока... Одна называет меня неотесанной, а другая с усмешкой будто подтверждает — верно, мол, это... Если вы городские, так вам можно измываться над людьми горного

аила? Если горы плохи, по-вашему, то вы не давайте киргизам, выросшим в горах, своих овец и лошадей, чтоб они их откармливали! Не пейте молока коров, которых пасут киргизы!

Рабийга хотела поскорее примирить Анархон и Батийну.

— Э-эй, аллах... Крепко же вы обиделись...

— Как мне не обижаться? — прервала ее Батийна. — Не успела я и рта раскрыть, как вы назвали меня «неотесанной киргизкой». Как бы вам показалось, если б я вас обозвала жалкими призраками, что заживо похоронили себя в серой конуре с четырьмя стенами? Думаете, горожане свалились с неба, а люди из глуши слеплены из глины? Все мы зачаты отцами да рождены матерями. Ни один человек не выше другого.

Батийна мысленно признавала, что горожане гораздо разбитное и смышленнее безграмотных людей из глуши. Батийна подметила это отличие городских людей — ловкость, изворотливость, присущую и молодым и старым расчетливость. Она почувствовала себя ущемленной, как только оказалась на городской улице, когда рыжая девчонка со взлохмаченными волосами пугнула ее коня. «Дети и те, наверное, не считают нас за людей», — подумала она про себя. Даже дома у Копыловой Батийна чувствовала себя неловко. На улице и когда бродила по рынку, она обратила внимание, что люди из айлов суетливо озираются по сторонам, громко между собой разговаривают. А горожане — те подчеркивают свое превосходство перед людьми из глуши. И Батийна с досадой подумала: «Люди у нас ходят в серых шубах, в грубых домотканых брюках. Неужели наш народ так уж беден или мы не умеем жить? Почему бы нам не воспользоваться благами и радостями, какими пользуются городские жители? Смотри, лавочник торгует в своей лавке, чайханщик готовит свои дымящиеся манты... Женщины и девушки гуляют по улицам, нарядившись в шелка. А мужчины восседают в трашманке...»
Словно скрытый человек, который всегда смотрит на тебя, улыбаясь, город еще не повернулся к Батийне своими теневыми сторонами.

Надо видеть кожевников, когда длинными железными щипцами они тащат кожу из деревянных чанов с закваской. Ногти у всех пожелтели, глаза расширились, смотрят с тоской. Работают полуголые, семь потов с них сходит.

А кузнецы, что днем и ночью раздувают мехи и стучат кувалдами о наковальню!

Батийне казалось, что люди здесь катаются, словно сыр в масле. Подростки, что в харчевнях топят печи и таскают воду, и ты вроде сыты и беспечны. Город — полная чаша. «Не то что манты, наши дети и голую джарму видят редко. Допоздна слоняются голодные, с босыми кровоточащими ногами, с болячками на щеках и сухими потрескавшимися губами. А этот мальчик, что таскает воду в чайхане, всегда возле еды. От одного сладкого духа манта и плова он сытеет».

Уже несколько дней четыре женщины трясутся на одной арбе. Единственно сарткалмычку Ракийму Батийна считает ровней себе. Сарткалмыки — малочисленный народ. Они тоже кочевые люди, живут в юртах.

Ракийма больше отмалчивалась, но тут заерзала на месте и, словно отгоняя назойливую муху, помахала шершавой натруженной рукой:

— Зачем же поносить каждого и всякого неотесанным?.. Батийна почувствовала поддержку: свояк свояка видит издалека.

— Что верно, то верно, Ракийма-эже. Ведь мы не обзываем всех горожан мясниками-ростовщиками?

Анархон, явно недовольная собой за неосторожно оброненное слово, бормотнула себе под нос:

— Язык у меня непутевый, зачесался, видно, на мою беду! Рабийга опять попыталась внести дух примирения в разгоревшиеся страсти.

— Ничего, по-моему, плохого нет в слове «неотесанная». Батийна вскипела сильнее прежнего:

— Ты, Рабийга, брось свои штучки... Неотесанный — значит бестолковый человек, не способный ни на что! А мой народ совсем не такой. Мой народ — смелый, проворный, он ловко джигитует на конях, состязаясь с ветром! А послушать наших мудрецов — любо-дорого! Народ сберег в своей памяти сказания о древних богатырях, мелодии у нас звучны, а песни печальны. Народ наш богат сыновьями, скромными в мирное время, но отважными и ловкими в бою. Никто не потерпит, если назвать неотесанным народ, который и овцы не обидит...

Рабийга подумала про себя: «Да, нехорошо это»,—но, не выдав своей досады, удивленно хлопнула себя по бедру:

— Зачем же вы на шутку-то обиделись, а?

Батийна, только что готовая сцепиться со всяким, кто оскорбит честь ее народа, почувствовала неловкость по мере того, как распря остывала. «Будь она неладна, моя горячность. Наверное, я показала свою неучтивость. Затараторила... будто пшеницу жарила в казане над земляным очагом. За кого эти женщины приняли меня?..»

Батийна похлопала Анархон по плечу и сказала:

— Ничего, сартовская жена. У киргизов есть поговорка: «Молодцы не узнают друг друга, пока не схватятся». Раз ты называешь меня неотесанной, наверное, так и есть. Росли-то мы в горах. Давай-ка лучше сократим наш долгий путь: споем с вами да сказки порасскажем.

Девушки помолчали.

Батийна затянула куйген¹ собственного сочинения, песню, посвященную когда-то Абылу.

Подруги подзадоривали певицу то улыбкой, то одобрительными возгласами. «Да, в этой грустной песне есть обжигающий сердце огонь любви...»

Батийна мелодично закончила свой куйген, и Рабийга тотчас спросила:

— Скажи, Батийна, Абыл жив сейчас? Где он?

У Батийны на глаза навернулись слезы, она кивнула головой и сказала неопределенно:

— Абылжан жив и не жив, Рабийга...

Кто знает, проходила ли раньше по этой дороге подобная арба о четырех скрипучих колесах? Дорога не слишком узкая, но и не так, чтоб широкая, и вдоль нее не видно поселений. Одиноко трясется крытая брезентом арба по серой, изрезанной холмами степи. Арба то исчезает в зарослях чия — он стеной растет вдоль дороги, — то втягивается в ущелье, то за скалистым выступом катится вниз вдоль мутной речки.

Время от времени возница остановится у родника с прозрачно-чистой водой и поит коней.

Дорога не утомляла Батийну. Женщина из глухого аила, знавшая одну свою долину, до слез переволновалась при виде новой местности: «Я не пожалею сложить голову за новую власть, давшую мне увидеть все это!» Почти на каждом шагу она видела нечто особое. И в том, как люди по-разному одеты. «В наших краях носят тебетей с широкой оторочкой и высоким верхом. А тут, оказывается, тебетей с узкой оторочкой, с низким стеганым верхом... Редко кто тут ездит на коне без попоны. Наверное, оттого, что жарко...»

Приподняв нижний край брезента, Батийна неотрывно обзрывает окрестные места, хоть порой ее тянет ко сну, не пропустит случая расспросить встречных, без робости на шутку отшутится, на смех отзовется смехом и насмешкой на насмешку.

«Будет что порассказать землякам, когда вернусь домой. Непременно поинтересуются: «Э, Батийна, что интересного видела в пути?» Но про ссору с Анархон лучше промолчу — незачем людей огорчать».

Анархон редко когда выходила за высокие огораживающие ее двор стены. Закрыв наглухо лицо паранджой, шла на цыпочках, держалась прямо, словно свеча, не оглядываясь, и на почтительном расстоянии от мужчин. Анархон, чье белое лицо, черные брови, черные глаза, чей тонкий прямой нос были под паранджой, должна была немедленно отскочить в сторону, перепрыгнуть через арык и тут же скрыться, пробираясь осторожными, неслышными шажками, словно горная куропатка вдоль стены, как только навстречу ей случится мулла или джигит в красивой, уж очень складно сидящей на его голове шапке с оторочкой из куньего меха или же какой купец в шелковом халате, перепоясанном расшитым атласным платком.

Мужчины вслед восклицали: «Ой, какая красавица!..» Эта робкая, пугливая, похожая на выросший в тени хрупкий цветок женщина, знавшая одни лишь хлопоты на женской половине, строго соблюдавшая правила ичкери¹ не смевшая ни словом перечить мужу, ехала в дальний путь. Не по своей воле отпустил ее муж, новые законы вынудили. За то, что Анархон сбросила паранджу и избрана делегаткой от имени узбекских женщин города, ее поносили самыми похабными словами близкие родственники, соседи по улице и вовсе незнакомые люди, особенно богатые, перекупщики. Ладно бы

мужчины,— обидно, что даже почтенные старухи, которые весь век страдали в ич-кери, и те возненавидели Анархон, проклинали ее на чем свет стоит: «Чтоб тебе до вечера не дожить! Проглотить свою собственную голову, проклятая шлюха! Да есть ли у нее муж?! Почему он не распорет ей живот и не выбросит на улицу труп этой потаскухи, посмевающей сбросить паранджу и выставившей свое лицо на показ мужчинам?»

Одно то, что Анархон отправилась в путь вместе с другими женщинами-делегатками, избежав пока острого кинжала своего «обесчещенного» мужа,— одно это было великой переменой после жестокой борьбы, которая еще далеко не закончилась.

Порой Анархон пронзала жгучая боль, она подолгу не рассасывалась, застревала в сердце заледенелым комочком. Иногда Анархон вздрагивала, словно человек, увидевший внезапно ядовитую змею, но, стесняясь своих спутниц, застенчиво успокаивала себя: «О боже, чего я так пугаюсь?» Хотя хорошо понимала, чего боялась: мужниного гнева, страх перед которым испокон веков отбрасывал тень на лицо женщины и безжалостно ограничивал ее волю.

«Что я сделаю, если наши милые старухи нарекут меня шлюхой, когда вернусь домой? А что, если Тургунбай зарежет меня? О, не ошиблась ли я, боже?»

Анархон, терзаясь от стыда, вспомнила, как обидела Батийну. Эта «неотесанная» киргизка, выросшая в горах, никогда не закрывала свое лицо паранджой. Более того, киргизская женщина управляет кочевкой, сидя на коне наряду с мужчинами. Почтенные старухи, усевшись на холмике рядом с почтенными аксакалами, совместно решают важные дела. Иногда киргизские женщины распоряжаются не только своими мужьями, даже всем аилом или даже целым родом. Киргизские девушки состязаются с парнями в скачке на конях. А на поминках или тоях самые сильные, смелые из женщин выходят, надев кожаные брюки и приторочив к седлу свои корпече² на поединок с мужчинами. Бесспорно и то, что Батийна может, когда вернется домой, собрать своих аильчан* и рассказать им, что видела и слышала в пути. «А что ждет меня?» — невольно задумывалась Анархон.

Ракийма, гораздо старше и степеннее своих спутниц, держалась тихо-спокойно, словно отбившаяся от отары коза.

«Дай бог вернуться домой живой и здоровой, поцеловать своих детей, порадовать их кое-какой обновой».

Перед глазами Ракиймы то и дело вставала ее комолая черная корова.

«Сумеют ли без меня подоить корову? Ой, боже, как бы не вскочила какая болячка на вымени, как бы оно не ссохлось!»

А Рабийга, которая могла вскочить и спрыгнуть с арбы на ходу, разговаривала громко и весело, заразительно смеясь, и чувствовала себя запросто с русскими. Когда она говорила с возницей, трудно было сказать, русская она или татарка. Оба при этом размахивали руками, оба бормотали на совершенно непонятном языке.

Батийну то смех разбирал, то досада, что вот она, как глухонемая, ничего не понимает: «Правду, оказывается, говорит Анархон, что мы, сидя вечно в своих юртах, остались темными незнайками, отстали от женщин других народов. Почему мне было не научиться по-русски, тогда бы я сказала: «Оставайся ты хоть трижды капыром³, только удели мне долю от своего калача!»

Прошло более месяца, как Батийна со своими подругами находится в пути, если считать и те дни, когда останавливались в Токмоке, Пишпеке, чтоб дать отдых коням. Бесконечной извилистой лентой тянется дорога вдоль Великих гор, то продираясь сквозь заросли чия, то переваливая через хребты или выходя на равнину.

Гремят копыта на жестких такырах, скрипят, подпрыгивая, брички. Испуганно поднимает голову задремавшая Анархон: «Ой-е, где конец пути? Боже, как она далеко, Москва...» Наверное, еще больше, чем Анархон, осточертела дорога Батийне: «Чем маяться в этой тряской, скрипучей арбе, куда бы лучше скакать на коне!»

Когда ветер дул в лицо, пыль еще не так донимала их. Но когда он дул в спину, густые облака накрывали арбу, заполняя ее удушливым туманом и ослепляя путниц. Не в силах продохнуть, Батийна закашлялась, прикрыв рот и нос платком. «Ох уж эти бабы, не умеющие ездить на коне!..—подумала она с тоской.— Мы с Ракиймой мучаемся из-за этих слабозадых баб!! Если б они могли ездить верхом, мы не глотали бы пыль сейчас. Сама власть, которая выбрала нас делегатками, посадила бы нас на отборных коней. Четыре коня для четырех баб всегда бы нашлось. Что бы мне в канткоме сказать: поедем, мол, лучше на конях. Получили бы бумажку с печатью: разрешается, мол, таким-то... ехать на конях, отобранных в байских табунах. Не задыхались бы в арбе, а скакали на отборных конях во весь опор, отпустив поводья, а заскучали б немного, по боролись бы меж собой, поразвлекались и сами бы не заметили, как доскакали б до светлоликой Москвы...»

И Батийна, измученная дорожной тряской и изнурительной пыльной жарой, цепким кобчиком накинута на своих подруг, вымещая на них свою досаду: — Называете меня отсталой женщиной, серой киргизкой, а сами лучше бы научились ездить верхом. Не пришлось бы тогда глотать пыль, как сейчас, и хлопать глазами, точно суслики в норе.

Подруги не смогли сдержать невольного смеха.

Впрочем, замечание киргизки, до того никуда не ездившей дальше родного аила, показалось им по-своему уместным и справедливым. Теперь уже ни Анархон, ни Рабийга не чувствуют своего превосходства. Ни одна из них не пускалась в столь длинный путь, не видела столь больших городов. Хоть Анархон родилась и выросла в городе, она сейчас тоже настороженно-испуганно оглядывалась по сторонам.

Эта женщина, которая вынуждена была с малых лет заслонять свое белое лицо темным воротом чапана, теперь сбросила паранджу... Но долговечна ли эта свобода, озарившая лицо Анархон? Может, это всего лишь манящее

видение, которому суждено погаснуть, словно вспыхнувшая на миг молния, и тогда бедная женщина опять обречена мучиться и страдать... Даже во сне не покидают Анархон эти тревоги...

Качаясь, подремывая в бричке, она вздрогнула, разбуженная страшным сновидением...

...Идет она, неся под мышкой зеркало из крепкого толстого стекла, идет без паранджи, с открытым лицом. Вдруг из-за угла неожиданно выскакивает муж Тургунбай: «О-о... подлая шлюха! Не смей осквернять мой священный дом!» С трясущейся бородой и налитыми кровью глазами, Тургунбай зарычал, замахнулся. Над головой Анархон навис ржавый топор с кривым топорischem. «Дорогой мой муж! Что случилось?» Анархон раскинула руки, отскочила в сторону. В это время из-под мышки у нее выпало зеркало и вдребезги разбилось о камень. Но вместо осколков стекла задымился на полу рассыпанный из большой чаши плов. Вне себя от огорчения и досады, Анархон жалобно посмотрела на мужа и развела руками: «Как же теперь быть, душа моя, муж мой? Этим пловом я хотела угостить тебя...»

Тургунбай тотчас преобразился, отшвырнув в сторону топор, опустил на колени и стал горстями собирать с пола рассыпанный плов. Никакой это не плов, а вязкая темно-бурая грязь, в которой он перепачкал руки... Тургунбай, словно разочарованный ребенок, залился горькими слезами. И сразу обессилел. Подняв на жену умоляющий взгляд, он что-то пробовал сказать. Но голос его не дошел до Анархон...

А что, если этот сон — предчувствие беды? Бедная Анархон встревожилась. В ее ушах стоял голос мужа: «Домулла¹ Насуха сказал мне: «Если не убьешь свою жену, которую ждет огонь ада, забудь дорогу в мечеть!» Скажи, жена, как мне быть?»

Она простодушно верила, что сны сбываются, что сны вещие, и эта вера лишила Анархон покоя. Она не могла спать, ее донимали тревожные раздумья. Красивое лицо ее бледнело, в руках и ногах появилась дрожь. Она никому не рассказала о привидевшемся ей сне. Вся сжалась, терзаясь втихомолку от подруг.

Видя, как осунулась, пожелтела лицом Анархон, подруги подумали, что она заболела. Ракийма, которая до того ехала молча, мысленно погруженная в свое хозяйство и тревогу о детях, потрогала рукой ее лоб. Потом, шлепнув толстыми губами, сказала спокойно:

— Ничего, бог сохранит. Просто намаялась от тряски в арбе. Рабийга попросила остановить арбу. Порывшись в чемодане, достала завернутый в бумажку порошок и протянула Анархон вместе с кружкой воды:

— На, выпей... Сразу полегчает.

Затем заставила Анархон лечь, подложив ей под голову свой чапан, и попросила возницу ехать потише. Но Батийна, что сидела, распустив колоколом широкий подол своего платья, нетерпеливо похлопала по спине возницу: А

— Скажи, дорогой, своим лошадям: «Но-о!»,— да стегани их хорошенько плетью по крупам и езжай быстрее. А то не поспеем? к сроку в далекую Москеу, если будем тащиться, как сейчас! Пока доберемся, сыяз¹ может разъехаться, и останемся мы ни с чем, ротозеи. Ведь, бывало, раньше мы не очень-то смотрели болит у нас голова, нет ли, а садились на своих кобыл да отправлялись в лес за дровами, и сразу отставала от нас всякая хворь. Погоняй, погоняй, дорогой! Мы не из городских неженков, которые, чуть что, одна поеживается, а другая тотчас подкладывает ей под голову подушку. Гони лошадей, дорогой, гони!

На седьмые сутки въехали под вечер в какой-то городишко. На последнем пикете, когда меняли лошадей, дали им нового возницу, уже немолодого, но и не очень старого. Толстые, как топорище, лоснящиеся черные усы он закручивал чуть не до самых ушей, зато на подбородке у него не было ни одной щетинки; то и дело вскидывая вверх лохматые черные брови, он куда охотнее тарасил свои большие круглые глаза на женщин да сыпал шутками, чем правил лошадьми. То и дело оглядываясь назад и поглаживая свои усы тыльной стороной руки, он лукаво подмигивал женщинам... Ох, и выхорашивался перед ними этот усатый плут! Как бы там ни было, но женщины даже не заметили, как отмахали последние сорок километров. Даже Анархон, похоже, вылечилась от своей черной тоски, не говоря уже об остальных.

— О-ой... да пропади ты совсем...— краешком глаза посматривала она на него, прикрывая лицо ладонью.

— Э-эй, не закрывай лицо руками, пусть солнце его заливает,— не унимался усатый бестия.— Лучше поведи бровью, поиграй глазами да улыбнись нам! Вижу, слишком уж стыдлива, робка ты, дорогая аяш, зачем прячешь свое красивое лицо, закрываешь платком свои огневые глаза! Теперь в нашем небе вольно летает, взмахивая могучими крыльями, вся искрясь светом, белая птица и безбоязненно взывает: «Женщины и девушки, вырывайтесь из тьмы! Чтобы и ваши белые лица озарились этим светом! Равняйтесь по мужчинам! Пусть только достойные молодцы целуют ваши прекрасные щеки!» О аяш, в твоих объятиях все блаженства мира! Невкусное делает вкусным соль, и самых дальних людей сближает девушка. Я буду ждать тебя, скрестив руки и умастив до блеска свои усы; приди ко мне, когда вернешься оттуда, отдайся в мои руки, моя белая птица.

Анархон не на шутку струхнула:

— Ой... что вы, да у меня свой муж есть! Зачем вы мне? Страх, с каким произнесла это Анархон, рассмешил ее подруг больше, чем шутки возницы. С тех пор, как они отправились в путь, их доставляли от пикета к пикету разные возницы. Были среди них и разговорчивые, любители пошутить, и угрюмые молчаливники.

Особенно наскучил женщинам вчерашний возница, который доставил их в предпоследний пикет. Мало того, что он был нем, словно каменный истукан, он еще и смотрел на своих спутниц такими злыми глазами, будто затаил

кровную месть на каждую: «Ишь развратные суки, куда их несет от родного дома, от своих мужей и детей?! Так бы я и покончил с вами, сбросив всех в бездонную яму!» Когда он чмокал губами, погоняя лошадей, то скрипел зубами, щеки его вздувались, от всей его мрачной фигуры веяло угрозой. Когда на последнем пикете его сменил игривый усач, Батийна с подругами облегченно вздохнули:

— Ой, неужели мы и вправду избавились от этого зловещего страшили-молчуна?

Казалось, не в меру говорливый, шумный усач, докучающий своей назойливой развязностью, послан им, чтобы возместить с лихвой за вчерашнее. Доведя женщин до слез своими прибаутками, он поворачивался к лошадям и замахивался на них кнутом:

— А ну? дорогие, давайте-ка рысью. Ведь не кого-нибудь везу на чугунку, а свою ненаглядную. Для человека живого, как я, день все равно что для иного месяц... Не пройдет и двух недель, как я, скрестив руки на груди, буду встречать свою любимую... Гей-гей, бегите, дорогие!

Перестав смеяться, Батийна спросила у него удивленно:

— Эй, усач, скажи, кто ты? Огой¹, сарт или казах? Дернув вожжами, он приосанился:

— А как, по-твоему?

— Если б знала, так не спрашивала бы. С виду не казах и не киргиз — вроде помесный какой-то. Но говоришь порой очень чисто.

Возница, все так же приосанясь, погладил усы и сказал по-киргизски:

— Я из тех, кто поет: «Моя джене в белом элечеке, целовать ее белую шею — вот в чем услада моя», а ты, птичка моя, доводишься мне снохой, а снохе положено ластиться и, попав в мои объятия, называть «абаке»².

Батийна на этот раз не рассмеялась, но и обиды не выказала.

— Мы не из тех, что называют «абаке» первого встречного, готового посадить на свою руку любую птицу... Да и вы, на мой взгляд, не из тех, кому под силу подманить такую птицу, как я...— подхватила она шутку.

Усач, повернувшись к ней, всплеснул руками:

— А ту птицу, что не идет на зов, я ловлю сетями, дорогая моя джене.

— Смотри, как бы не порвались твои сети да самого тебя не разукрасили!

Возница решительно махнул рукой:

— Э, тысячу раз возблагодарил бы я бога, если б мне довелось очутиться в объятиях такой женщины...

Не собиравшись сдаваться, Батийна лукаво улыбнулась и подняла мизинец:

— Если так, вытяни мизинец, дадим слово друг другу. И пусть того, кто нарушит слово, покарает бог дорог Джолдубай! Чем ждать да томиться, может, у тебя хватит смелости поехать с нами в Москеу?

Возница расхохотался, откинув голову назад и дергая вожжами.

— Сдаюсь, джене, сдаюсь. Мою кибитку с лошадьми на поезд не возьмут, я не сдержу своего слова, и прогневается тогда на меня властелин дорог Джолдубай, да так, что и домой не попаду...

Назавтра после того, как веселый возница доставил их на станцию, женщины-делегатки сели в поезд.

Изрыгая клубы дыма и пара, сотрясая железные рельсы, «огненная арба» пустилась в путь, таща за собой вереницу прицепленных друг к Другу скрипящих «домов». О, куда больше невиданного в этом безбрежном мире, чем увиденного!

Вагон мерно покачивался, поскрипывал, а под ним слышался все ускоряющийся перестук. Долго летели за поездом два ворона, словно дали слово: «Ни за что не отстанем от поезда». Проплыла, будто живая, голая черная гора, отступая назад; понеслись один за другим телеграфные столбы. Внезапно, сверля уши, раздался пронзительный свист. Белые клубы пара затмили окна, вагон заскрипел громче, задрожал. Перепуганная Ракийма, растерянно поводя глазами, зашептала:

— Сохрани нас аллах!.. Черного быка накрыл стелющийся туман, как бы он не сбился с пути...

Ракийма никак не могла прийти в себя. Анархон оглядывалась по сторонам:

— Вот так диво, о боже! Откуда у него такая сила, а? Батийна, благо подвернулся случай свести счеты, позлорадствовала:

— Ну как, Анархон? Ты полагала, что одна я, недавно спустившаяся с гор, темная да серая, а я вижу, что и вы, горожанки, разинули рты, когда «черный бык» пустился вскачь!

Анархон сказала умоляюще:

— Прошу, забудь, Батийна-хан... Давай будем друзьями, а?

— Хорошее намерение — половина счастья! Спасибо советской власти, что нас, недотеп из дикой глуши сделала равными с вами, городскими неженками! — Батийна выпростала руку из широкого рукава своего длиннополого платья и с прямою женщины, выросшей на лоне природы, сказала: — Чем конь может превзойти коня? Лишним следом своим. Чем мужчина может превзойти мужчину? Силой, если применит ее умело. Так говорят мои неученые, темные киргизы. Оказывается, это справедливые слова. В начале пути я побаивалась, стеснялась вас, думая, что вы, городские, ушли далеко от меня. Когда мы ехали на арбе, я казалась себе ничего не видевшей разиней, а вы рисовались боевыми, многоопытными скакунами. А как сели на «черного быка», который мчится все быстрее и быстрее, вы, как погляжу, растерялись и разинули рты пошире моего... Желая узнать, о чем так громко и смело говорит Батийна, чисто одетая русская женщина обратилась к Рабийге:

— Что она говорит?

Рабийга рассказала, как Батийна обиделась на Анархон. Русская женщина задумалась. Рыжеватые брови ее сдвинулись, как у чем-то раздосадованного человека. Голубые искристые глаза ее посерьезнели и даже будто погрустнели. «Да-а... Все это, конечно, от невежества. Смотрите, Анархон нечаянно обронила одно-единственное слово. Но как оскорбилась Батийна! До сих пор помнит обиду. А ведь узбеки и киргизы исповедуют одну веру и по

языку близки. Скоро ли наступит время, когда народы разных религий и обычаев, говорящие на разных языках, перестанут враждовать, унижать, оскорблять друг друга? Да, только эпоха Советов укрепит дружбу между народами».

Поезд мчится, стучит колесами, гроыхает, а Батийна размышляет под стук колес. Судя по всему, эта «огненная арба» ничуть не уступает по скорости самому быстрому скакуну. Но, видите, пиала ничуть не качается, чай в ней не расплескивается. Пассажиры спокойны: одни сидят у окна, вглядываясь в даль, другие читают, лежа боком на узенькой полке, третьи дремлют. Кстати, разве может человек, едущий на коне в далекий путь, подремать или, развернув походную скатерть, сидя в седле, отведать скромной дорожной снеди? Нет, не может, пусть даже под ним отлично оседланный иноходец, пусть даже седок подложит под себя самое толстое, мягкое корпече! И разве найдется конь, который в состоянии мчаться днем и ночью без передышки? Хоть и воспевают киргизы коня, что он, мол, рожден ветром, что он — крылья человека, но самый быстрый, даже самый выносливый скакун устает от дальней дороги и, истощив силы, падает в изнеможении... «Ай-ай, бестолковая, ничего не видевшая головушка моя!» — мысленно воскликнула Батийна, провожая восхищенным взглядом мелькающие за окнами вагона просторы.

Мчится и мчится «черный бык» по чугунной дороге.

«А Москеу все не видать. Не на краю ли земли она? Отправься мы на коне в такой далекий путь, давно бы, наверно, легли костями где-нибудь среди пустыни... А впрочем... Если б можно было доехать туда на коне, власть никогда бы не заставила нас так долго томиться».

Далеко позади остались зубчатые гряды Великих гор —теперь с обеих сторон поезд обступают необозримые равнины, границы которых теряются где-то в серой мгле. Не видно ни лесов, ни кустарников, ни зеленой травы, одни только безжизненные такыры со вспученными солончаками сиротливо сереют там и сям, напоминая посыпанную мукой супру¹. Не заметно поблизости ни аилов, ни кыштак. Не слышно звонко журчащих ручейков. А если покажутся один-два человека, верхом на коне или на верблюде, невольно представляются тебе сказочными тенями на самом краю света...

И то сказать, человеку, наблюдающему из скорого поезда одинокие фигуры путников на коне или верблюде где-то там, в скользящей дали, кажутся удивительно тонкими, хрупкими, беспомощными, как редкие былинки на такырах. Да и судьба, что их ждет, невольно вызывает опасения: недолго заблудиться, бесследно пропасть среди необозримой знойной пустыни... Думается, что эти безжизненные пустынные равнины не радуются даже солнцу, лишь зловеще зыблются под его лучами. Невозможно и глаз приоткрыть, когда летом гуляют на свободе ветры, взметая пыль и песок или зимой пурга и снежные вихри застилают небо и сплошь все вокруг... «О властелин, сотворивший нас! Немало, должно быть, погибло здесь путников на конях и верблюдах в такие страшные дни. Немало, верно, лежит никем не

найденных костей на этих бескрайних равнинах. О, как бессилён перед пустыней одинокий человек! Только человек может быть опорой человеку. Человек, сильный знанием, умением...»

Батийна почувствовала себя неловко, вспомнив, как она, не в силах забыть обиду, досаждала Анархон своими подковырками. А сиди Батийна в глуши, в своем аиле, она бы так и осталась наивной неотесой, какой была до отъезда в Москву. Как быстро эти бесконечные просторы, эта дорога изменили ее, не видевшую ничего, кроме своих гор. Она стала куда сдержанней, стесняясь уже теперь своей грубоватой горячности.

Она привыкла, как все пассажиры, ложиться поздно, но вставала по-прежнему рано и по-прежнему не переставала удивляться, что «черный бык» бежит все с той же неубывающей быстротой.

«Ай-ей, как просторна и прекрасна божья земля! — восхищенно думала Батийна. — Еще вчера по обе стороны дороги лежала грязно-серая пустыня. А сегодня едем среди зеленых равнин и лесов. А какие тут широкие, многоводные реки! В наших горах реки шумные, брызжутся пеной и грохочут так, что уши гложут. А здесь реки гладкие, как зеркало, только приглядевшись, заметишь, текут они или нет. Города огромные, народу в них кишмя кишит. Оказывается, землям и водам нет предела, а людей — тьма!»

Внезапно оторвавшись от своих мыслей, словно остановившись на полном скаку, Батийна бросила торопливо:

— Эй, Рабийга, сколько осталось до Москеу? Рабийга повела успокаивающе рукой:

— Не волнуйся... Большая часть пути позади.

Словно бусинки, выпавшие из рук и пропавшие бесследно, незаметно пролетели последние два дня пути. И вот делегатки наконец в огромном городе, где дома, похожие на величественные скалы, обступают с двух сторон, как обрывы с нависающей толщей снегов.

Москва, с ее извилистыми улицами, была совершенно не похожа на те города, которые Батийне встречались в* пути. Не видно, где тут базар, где тихие улочки; всюду народ течет потоком. Кто из них начальник, кто простой человек — не разобрать. Не видно ни одной арбы, которая проехала бы с наваленным на нее сеном или привязанной сзади лошадью или коровой. Не видно и всадников, которые бы ехали кучками, перепоясанные платками поверх серых шуб и с камчой в руках. Везде пешие люди, которые спешат куда-то, словно боятся опоздать. Иной раз не пойдешь — мужчины это или женщины.

Батийна изумленно таращила глаза, но и люди оглядывали ее с таким интересом, точно она была пришельцем из иного мира. Порой за ней следовала неотступно толпа любопытствующих москвичей.

Батийна высокая, стройная в типично киргизском одеянии, на голове тщательно, слой за слоем, намотан элечек с изящно заломленным верхом, опоясан широкой лентой с узорами из серебряных украшений. Пара длинных тугих кос ручейками стекает вниз по ее спине; на концах кос, сверкая и звеня

в такт ее шагам, покачивается чачучтук¹, украшенный серебром, янтарем, жемчугом и кораллами. Тонкая талия обтянута плюшевым кемселом, чуть расширенные полы которого подчеркивают округлые бедра. Голубое шелковое платье с двойными оборками выигрышно оттеняет плюшевый кемсел, делая гуще его тона.

Батийна не надела белдемчи, боясь, что ей будет слишком жарко. Она редко теперь надевала свою белдемчи из черного бархата, отороченную по краям узкими полосками из куньего меха и расшитую узорами, которые среди ее соплеменниц получили название «вороньи лапки» и «бараньи рога». Видя, что люди понимают, что она приехала из дальних краев, Батийна нисколько не обижалась, а радовалась их доброжелательному интересу к ней и даже внутренне гордилась этим. «Разве мой народ ничего не умеет делать? Разве мой наряд, что на мне, не красив? Нет, нет! Я ведь тоже теперь все разглядываю с интересом, все взвешиваю. Я немало повидала дорогой и тоже оценивала одежду других народов. У всех она разная — у татар, у сартов, у казахов, у русских... Есть красивая, аккуратная, есть нескладная! А моя? Ничем не уступит любой другой. Кто может сказать, что я дикарка? Эй, молодухи с улыбочивыми голубыми глазами, подойдите сюда! Давайте познакомимся. Я киргизка с далеких Великих гор! Батийна я! Нас четверо. Четверо женщин разных национальностей. Сам Ленин позвал нас на большой съезд!»

Батийне хотелось поговорить с девушками, с молодками, окружившими ее, выложить все, что у нее накопилось на душе. Но вот досада — мешает незнание языка. Батийна шла между Рабийгой и Анархон, сверкая треугольными серебряными футлярчиками для талисманов, и говорила весело, громко, словно одна быя на гребне горы:

— Эй, Рабийга, эй, Анархон, объясните вы мне. В этом большом городе какой-то праздник сегодня, что ли? Или так бывает каждый день? Народу высыпало уж очень много на улицы, ходят и старые и молодые. Ай, загляденье! Эй, Анархон, посмотри-ка на ту девушку с льяными волосами, что рядом с чернобровы^ джигитом, какая она красивая! Ротик как наперсток, голубые глаза улыбаются. А лицо какое белое, чистое! Настоящая красавица, просто картинка! Пусть век живет со своим милым девушка... Слышишь, Рабийга... Вот та девушка что-то говорит обо? мне. ,

— Ай, Батийна, Батийна! Все эти люди интересуются тобой, спрашивают, какой ты национальности, откуда приехала...

Словно встретив давних знакомых, Батийна сказала, указывая рукой куда-то вдаль:

— Народ мой — киргизы! Земля моя — Великие горы. Оттуда, с Востока, приехали мы. Да они, видно, не понимают моих слов. Переведи им, Рабийга. А я хоть и не понимаю их языка, зато чувствую, какая у них душа. Эх, это люди большого города» как ни говорите. Видите, у них девушки и парни ходят свободно, взяв друг друга за руку. Скажи, Рабийга, родители у них не

продают своих дочерей за калым? Так и думала. У них, видное нет такого, чтоб молодую девушку насильно выдавали замуж за? старика...

«Боже мой, боже мой,— думает Батийна,— куда нам так веселиться, как вот эти девушки! Бедная моя молодость, погибшая, как затравленный волками жеребенок! О мое счастье, что развеялось, как песок по пустыне. Не вернутся ко мне мои восемнадцать лет, если даже осыплю их золотом из белого куржуна...»

Батийна не очень огорчена тем, что не знает языка. Ее ли - по сияет так, словно она ведет на той своих подруг, затерявшихся в долинах среди гор в дальнем-дальнем уголке мира:

— Эй, подружки, послушайте-ка! Большой город, оказывается, может быть прекрасным. Дома высокие, как скалы, улицы -ровные и гладкие, как лед. Ай-яй, Анархон, посмотри-ка ты туда, на тех вон стариков.

Улыбается старик, нацепив палку на руку. Улыбается, словно только что нашла любимого, и старуха. Зачем она закрыла лицо тонкой сеткой? ,

— Эй, Рабийга, объясни-ка мне. Почему они приставили к глазам какие-то стекла с ручкой и разглядывают меня? Или я кажусь им ближе, когда они смотрят через эти стекла? Мне говорили, что у белокостных бывают свои особые манеры. Наверное, они купцы. Видишь, одежда у них совсем другая. Папаха у старика очень походит на отороченные выдрой шапки наших девушек. А какие воротники у них на шубах! О, они, наверное, в свое время были богачами и кичились своими сокровищами. Или это счастливые родители своих знатных сыновей?

Рабийга затормошила Батийну:

— Идем, Батийна, хватит глазеть... В музей опоздаем.

— Подожди немного, Рабийга, дай еще погляжу... Рабийга неодобрительно махнула рукой:

— Ай, Батийна, нечего смотреть. Это — старые буржуи-кровопийцы.

Батийне не хотелось этому верить:

— Апей¹, что ты... По виду нельзя сказать. Одеты красиво, чисто. Сами такие улыбчивые. Не могут они сделать зла человеку, что ты...

— А может, это профессора, ученые,— сказала тихо Рабийга.

— Спроси, Рабийга, кто они? Не отворачивайся от того, у кого хорошее лицо, говорят у нас.

Когда Батийна, одолеваемая любопытством, затопталась на месте, пожилые мужчина и женщина тоже посмотрели на нее с теплой улыбкой и о чем-то негромко заговорили. Но вот старик, поддерживая женщину под руку, словно боясь, что ветер унесет ее, подошел к Батийне. Он высвободил руку из-под локтя жены и, чуть заметно поклонившись, спросил:

— Кто ты по национальности, дочь моя? Батийна не нашлась что сказать:

— Я русский язык не знает, аксакал... Э, Рабийга, скажи мне, что говорит этот копеш².

Хоть и показалась старуха вначале слабенькой, но заговорила она твердым и мелодичным голосом:

— Это Константин Сергеевич, ученый, историк. Когда мы увидели вас, дочка, он сказал сразу, что вы киргизка. О киргизах я только в книгах читала. Еще знаю по рассказам Константина Сергеевича. Но никогда до сих пор их не видела.

Приблизив очки с ручкой к глазам, старушка рассматривала Батийну вплотную:

— О, да какая она... симпатичная. Загорелая, крепкая. Смотри, Костенька, какие у нее живые черные-пречерные глаза, так и играют. Как ни говори, степной народ.

— Ну что ты, Аннушка, какой степной?.. Не путай казахов с киргизами. Казахи живут на широких просторах за Волгой, за Уралом, а киргизы — в горах Тянь-Шаня,— поправил ее Константин Сергеевич.

— Все равно ведь они — кайсаки — киргизы, не правда ли?

— Да, они братские народы. Как великороссы и малороссы. Возможно, даже ближе. В древних источниках есть сведения, что у киргизов существовало свое государство. Это воинственный народ, Но кочевой. Конечно, неоседлая, кочевая жизнь оставила свои следы. И все же нельзя называть их, как это допускают иные, «диким народом». Нельзя называть народ диким только потому, что он в огромном своем большинстве неграмотен. Теперь он получает равные со всеми народами права. Вот погоди, дай только ему перейти на оседлость, открыть свои школы, чтоб дети учились... У этого народа, Аннушка, есть пословица: «Родник, который пробил скалу, течет чистым». Народ, который имеет издревле свою культуру и сумел поныне сохранить свои традиции, свои обычаи, обряды, легенды, поверья, тем самым вносит свой вклад в общую культуру, историю!

Анна Николаевна не отрывала восхищенных глаз от киргизки.

— Да, я не вижу в этой женщине ничего дикарского. Какое у нее приятное, чистое лицо! И что за чудесный наряд на ней! Как изящно, как хорошо он сидит! Скроить, сшить такую одежду не каждая искусница сумеет!

Стоявшая поодаль женщина в кожаной куртке с грубоватыми ухватками, поглядывая на ученого и его жену с явной неприязнью, шепнула на ухо Рабийге:

— Ишь вырядились по-барски. Небось никогда не держали серпа и лопаты в руках. Дармоеды! Даже перчатки на руки напялили!.. Поторопи-ка своих подружек. Посмотрите лучше музей! Не то времени не хватит.

Подруги, сбившись тесной кучкой, переходили из зала в зал. Даже у Рабийги глаза разбегались от тамошних диковин в витринах по четырем стенам огромных залов. Рабийга читала надписи под экспонатами, хотя сама зачастую не понимала их смысла. Словно козы, что набрасываются всем стадом на соль и, насытившись, отходят, перебежали женщины, толкаясь, от одной витрины к другой. Более развитая Рабийга, чувствуя некоторое превосходство над подругами, бросала порой:

— Не держитесь за руки. Неудобно! Тут же не аил!

Ракийма ходила, как потерянная, среди непривычной обстановки. «Ну, что интересного в том, что здесь развешано и выставлено под стеклом? Какое-то старье, никому не нужный хлам... Зачем было выставлять это старое седло с сбруей или вот эти пожелтевшие кости каких-то животных, ржавые наконец-ники стрел, кольчуги, кожаные штаны и еще какие-то неведомые отрепья, а что в них красивого?» — удивлялась она.

Нет, Ракийму музей ничуть не интересовал. Разве мало измучила ее долгая дорога, чтобы еще разглядывать все это? Оглушенная шумом огромного города и больше всего пронзительными звонками трамваев, бедняжка даже о своем доме и детях перестала вспоминать. Она плелась за всеми, едва передвигая ноги, и думала только о том, как бы поскорее избавиться от этого «наваждения», называемого музеем, добраться до гостиницы и лечь спать. Ну что за любопытный народ живет в этом большом городе! Мало того, что спрашивает чуть не каждый: «Откуда приехали? Какой народности?», еще ходят по пятам, будто никогда людей не видели. Еще шепчутся между собой: — Смотри, смотри, какие!

— Ах, какая красивая на них одежда.

— Ма-ма, это китайцы?

— Нет, это, калмыки, наверное.

— Какой интересный тюрбан у нее на голове.

— А ведь красив по-своему. И к лицу ей.

— Ой, и как она ходит с такой тяжелой штуковиной на голове?

Кто-то приснул со смеху.

— Не смейся, дочка,— слышен шепот.— Каждому народу его одежда к лицу.

— А по-русски они умеют говорить?

— Ой, папа, а где же они были раньше?

— Каждый сидел в своем углу. А теперь все народы равны. Они всегда будут приезжать в Москву. Ходить в музеи, в театры.

— Теперь им некого бояться,— слышится знакомый голос ученого Константина Сергеевича.

Батийна уже свыклась с тем, что он со своей складненькой старушкой держится вместе с их группой. «Какие они благородные, вежливые, и состарились как-то по-хорошему. Среди моих земляков немало таких — они бодры и выносливы, словно ель на крепкой горной земле. Только вот неученые они: не могут видеть так далеко, как этот старый человек. Неотесанные...»

Ученый подошел к оглядывающейся по сторонам Батийне и, указав рукой на изображения каких-то людей в воинских доспехах, сказал:

— Вот ваши предки! В свое время одно из самых храбрых, воинственных племен. Но как гаснет пожар, объявший безбрежный лес, так убывает и всякая иная бушующая сила. Ход истории оставляет разные следы, дочь моя. Видя, что вокруг образовалась порядочная толпа посетителей музея, жаждущих узнать подробнее о Батийне и ее подругах, ученый решил удовлетворить их любопытство.

— Дорогие москвичи! Эта женщина — дочь так называемых черных киргизов, которые живут в горах. Насколько мне известно, в Москве представители этого народа впервые. Разве что в царское время двое мужчин из киргизов приезжали как-то в Петербург. О женщинах и речи не могло быть в те поры! Тогда этот народ иначе не называли, как «дикокаменными киргизами».

Скажите, повернется ли язык назвать этих людей дикими?

Анна Николаевна приложила к груди свою тонкую, с гибкими пальцами руку.

— А вы,— она пристально посмотрела на Батийну,— просто красавица из красавиц! Глаза как умытые росой смородинки...

Ученый, который все кружил вокруг, словно нашел давнюю пропажу, сердечно пожал руку Батийне:

— Ну, дочь моя, разрешите попрощаться с вами! Мы с Анной Николаевной очень довольны встречей с вами. Не взыщите! Даже то, что выставлено, очень интересно для вас, получите много полезных сведений. Великое это дело — знать историй своих предков. Республика ваша еще молодая. Мне-то хорош известно, что вы способный, даровитый народ. Советская в ласт дала вам много прав. Теперь быстро пойдете в рост! Он поклонился еще раз:

— Простите, что задержал вас. Будьте здоровы!

Рабийга перевела пожелания ученого. Батийна поняла по взглядам, по улыбкам, что не только этот ученый, но и многие стоявшие рядом относятся к ним благожелательно.

Но кое-кому — хоть и очень немногим — явно не понравилось, что эти «вонючие тунгусы» ввалились в музей. Какая-то надменная женщина средних лет, с довольно красивым, несмотря на большой с горбинкой нос, лицом и чуть прищуренным глазами сердито одернула свою дочь:

— Ну что ты уставилась на этих дикарок? Идем скорее подальше отсюда. О боже мой, что творится! Настали же времена! В священные русские города лезут всякие дикари...

Рабийга содрогнулась от гнева:

— Сохрани аллах... Смотри, что она говорит, бесстыжая! Женщина в кожаной куртке бросилась было вдогонку за горбоносой:

— Ах ты кровопийца, шлюха капиталистическая!.. Остановись! Стой, говорю! Стой!

Горбоносая поспешно вильнула в толпу. Батийна с Анархон догадались, что произошло что-то неприятное. А Ракийма, у которой разболелась поясница и гудели от ходьбы ноги, мечтала больше всего о том, где бы приткнуться и отдохнуть. Она тотчас растянулась пластом на койке, едва добралась до гостиницы. Да и другие тоже, после целого дня ходьбы, чувствовали себя немногим лучше. Лишь Батийна не уставала удивляться на округ жающий ее необъятный мир, разглядывая не виданные ею доселе диловины, словно головой достигла неба. И не переставала сожалеть про себя: «О, почему мой народ рассеялся, словно звезды на небе, среди гор и скал? Почему наши предки не научились строить дома, сажать сады? Почему не открывали школ, чтобы напоить своих детей знаниями, не учили их искусным, чудесным

ремеслам? Как случилось, что ты, мой трудолюбивый народ, лишил себя всего этого, носясь ветром от хребта к хребту, хотя и было у тебя много мудрых людей, из уст которых обильно, что песок, сыпались хватающие за душу глубиной своей изречения и которые из поколения в поколение не уставали повторять: «Кто силен руками, побеждает одного, кто силен знаниями, побеждает тысячи».

Сейчас ей ничего не оставалось, как помириться с жестокостью судьбы к ее народу в прошлом, и все же невольная боль сжимала ее сердце, разжигая желание, не отдыхая ни днем, ни ночью, высмотреть все интересные места в городе и разузнать все его особенности.

Рабийга хотела было промолчать, что та женщина «белой кости» обозвала их «дикими тунгусками». «Батийна очень самолюбива, еще обидится, на шумит»,—решила Рабийга, но в конце концов не выдержала:

— Слышишь, Батийна, ведь та женщина назвала нас дикими тунгусками.

Похоже, что это жена московского богатея.

Задумавшись на миг, Батийна спросила недоуменно:

— А кто такие тунгусы?

— Народ этот живет в далекой холодной-холодной стране.

— А что же тут плохого?

Рабийга посмотрела на нее испытующе: «От души она это или с подковыркой?»

Но нет, кажется, это и в самом деле ничуть не задело Батийну, потому что она сказала спокойно:

— Раз назвала дикими, значит, мы и есть дикие, приехали с гор. На что тут обижаться?

Рабийгу удивило, что Батийну, которая в свое время надолго обиделась на Анархон за слово «неотесанная», ничуть не задело слово «дикая». Сама Батийна не смогла бы разобраться, что так стремительно менялось в ее сознании. Увлеченная потоком новой для нее жизни большого города, Батийна смотрела на все окружающее с интересом и восторгом ребенка, начинающего лепетать первые слова и делать первые шаги.

Словно сияющее под всходящим солнцем утро, радостен и светел был внутренний мир Батийны, и ничто не могло омрачить ее душу. В ее ушах все еще звучали слова старого ученого: «Советская власть дала вашему народу много прав. Теперь быстро пойдете в рост!..»

ХИТРОСТЬ НА ХИТРОСТЬ

Неожиданное исчезновение Зуракан переполошило семейство Серкебая.

— Эта бесстыдница увела с собой двух жеребцов! — сообщил Серкебай Букен байбиче. Она всплеснула руками, словно на нее обрушился горный поток.

— Что ты говоришь, несчастье мое! Мало того, что она в чашу моего брата, равного паше, чуть не положила лягушку, так посмела еще увести его скакунов. Несчастливая рабыня, чтоб тебе сгийуть! Где это видано, чтоб женщина удрала на коне почтеннейшего мужчины! Ах ты ведьма вонючая! В бешенстве Букен байбиче схватила связку ключей, словно собираясь кого-то ударить:

— Где этот муженек ее?! О Текебай, этот живой труп! Где ты? О чучело, поищи свою шлюху! Приведи ее скорей, говорю! Пусть она, подлая рабыня, станет у моего порога, пока не взошло солнце, пока Люди не проснулись! Текебай сразу сник. Раздулись его и без того широкие ноздри, задрожала жидкая бороденка. От лица отхлынула кровь, во рту пересохло, губы слиплись. Гнев байбиче потряс его. Казалось, он вот-вот расплачется, точно сам схвачен во время побега и сейчас его казнят...

— Если только она запалит коня моего старшего брата, вам во веки веков не откупиться, работая у меня и в четыре руки! — пригрозила байбиче и еще добавила: — Не думай, что новая власть собирается бедняков защищать, а богатых съесть. Когда приезжал к нам начальник из центра, он пообещал: новая власть намерена защищать всех... Если это правда, я тоже пойду жаловаться. Заставлю вас обоих возместить коня моему почтенному, подобному горе и скалам брату, который приехал издалека повидаться со мной после шести лет разлуки...

Текебай, у которого все еще в ушах стоял пронзительный голос байбиче, находился в сильном смятении, лицо у него потемнело. Все вскипало в нем всякий раз, когда он вспоминал ее слова: «Когда нечистый совращает женщину, она бросает мужа».

Он догнал недалеко ускакавшую жену. Вздергивая поводьями голову своего коня и зло ругаясь, Текебай ударил жену камчой по спине, и тут же гнев его сменился раскаянием: «Зачем я, дурак, бью свою безвинную жену?» Готовый расплакаться, он опустил голову. На глаза набежали слезы.

Крепко сжав в руке камчу, словно приготовившись к схватке, Зуракан крикнула Мекебаю:

— Ты не угодничай перед байбиче, Мекебай! Поезжай один да скажи ей: «Батрак ваш сам собирался давно убежать, а как только нагнал жену, они оба набросились на меня и привязали к дереву, а сами подались куда-то. Не воображай, что Букен положит тебе мяса в казан за то, что доставишь меня. Хитрости и коварства у байбиче столько, что ими можно нагрузить сорок ишаков. И уж если она, старая карга, захочет обернуть нас вокруг пальца, так у нее хватит сноровки, чтобы завязать нас всех троих в один синий узел и запрятать нас в свой кепич¹. На хитрость надо отвечать хитростью. Мы подадимся в Чуйскую долину, а ты заночуешь где-нибудь в горах. В аил поезжай завтра. И не утром, а вечером. Даст бог, встретимся когда-нибудь,— отплатим за твое добро, дорогой...

Мекебай было заколебался, но Текебай решительно воспротивился плану жены. «Не забудь, Текебай, что твоего отца и мать предали земле мы. Хочешь, чтоб духи их были довольны, работай на совесть, чтобы сполна возместить наши расходы на похороны. Не то прокляну вас, и тогда кости твоих родителей заворачиваются в могиле... А тем, кто подвергается проклятию духов умерших, не видеть добра ни на том, ни на этом свете», — не раз твердила ему Букен. И Текебай, твердо уверовавший в эти слова, трепеща от ужаса, закричал:

— Страшно мне остаться в долгу перед баем! Боюсь проклятия духа предков! Если хочешь, чтоб кости моих родителей лежали спокойно в могиле, не заикайся о Чуйской долине!

В мозгу Текебая крепко засели слова хитрой Букен: казалось, он воочию видит, как топчат же, волоча по земле свои саваны, выскочат из могилы отец и мать и схватятся за чумбур его коня. От одной мысли об этом его била дрожь. Правда, опомнившись, он начинал жалеть свою Зуракан, страшиться за ее судьбу. «О боже, о духи родителей!.. Что мне делать, если Серкебай захочет наказать Зуракан, как наказал Гульбюбю?! Что я могу поделаться? Если бай ожесточится, он, как беглецов, погонит нас к стражнику...»

Зуракан засуетилась возле Текебая, словно мать, утешая своего малыша:

— О несчастный! Если уж плакать, так не тебе... Ведь я ему на горе и позор, потеряв всякую надежду, словно соколятник, из рук которого улетела навсегда его птица. А тому молодцу, что захватил в плен собственную жену, следовало бы, наоборот, смеяться!

Задыхаясь от бессильной злобы, Текебай не выдержал и заплакал навзрыд.

— Не говори так, Зуракан, не говори-и... Если тебя поволокут на облепихе с вымазанным сажей лицом...

Зуракан зло рассмеялась и несколько раз стеганула нурбаев-ского скакуна:

— Раз ты не постыдился взять в плен свою жену, наслаждайся теперь, гляди, как наказывают ее! Твои родители могут спокойно спать в могиле, а бай и байбиче блаженствуют, ведь по их приказу распинают твою жену, режут ей подошвы ног и сыплют соль на раны... Сколько ни бьется человек, не миновать ему когтей ангела смерти... Лучше уж сама к нему пойду...

Еще долго бушевала Букен, стуча кулаками по земле и вырывая с корнем зеленую траву. Окажись перед ней озеро, она б и его расплескала собственными руками. В бешенстве она сыпала бранью, изрыгала яд проклятий на голову Зуракан. О, это была жестокая и злая на язык женщина, как говорится в народе — женщина с бородавкой на языке. И попадись сейчас Зуракан ей в руки, она расправилась бы с ней, как в свое время с несчастной Гульбюбю. Разве смел простой батрак, место которого у порога юрты почтенного бая, перечить байбиче, а тем более дерзить ей? «Буду работать, не разгибая спины, не покладая рук,— входить в твой очаг вместе с огнем и выгребаться из него вместе с золой. Буду работать, не зная ни сна, ни покоя, да принадлежит вся моя жизнь лишь вам, мой бай»,— клялся батрак, нанимаясь на работу. И действительно никогда не разгибал спины, не поднимал головы, ни в чем не перечил.

— О проклятое время, пусть сгинут все твои порядки! Ну, уж и расквитаюсь я с тобой, коровоголовая кукла, пусть даже новая власть расстреляет меня из двойной винтовки! — не унималась байбиче.

Но тут Нурбай прервал ее:

— Эй, Букен!.. Ты, оказывается, осталась все такой же строптивой и своенравной, как прежде, сохрани тебя всемогущий аллах! — Он провел рукой по окладистой, с сединой бороде и, лукаво сощурившись, улыбнулся.

Потом повернулся к Серке-баю все с той же хитроумной улыбкой на лице: — Ах, бай, зять мой... Избаловал же ты свою байбиче, с самого начала избаловал... Видишь, к чему это привело? Она теперь не жалеет и родного брата, который горюет, что не в силах выпустить своего сокола на уларов¹ Великих гор. «Замерзнет джигит, кто летний халат зимой носит, унизит себя джигит, если станет заискивать перед жалким бедняком»,—говорил наш покойный отец. Слышишь, Букентай. На все воля великого аллаха. Деревья, которые растут на земле, если б росли все время, они бы давно проткнули небо! Увы, мир не таков, к великой беде нашей! То, что растет и зеленеет,— придет час — созреет. А что созрело — постепенно убывает.— Нурбай развел руками, выпятив грудь.— Если б было не так, разве увяли бы цветы и завалило бы их снегом. Да разве посмела б раньше эта батрачка, которая еще вчера смиренно хлопотала у твоего порога, умчаться на скакуне твоего брата через перевалы и хребты, не дав коню выстояться?

Словно заклинатель, колдующий над кем-то, Нурбай поднял глаза к небу и вскинул вверх правую руку, точно указывая на нечто, видимое только ему: — О сестра моя, та женщина, что сидела вечером у твоего порога, молода еще. Мне показалось, что она работает на совесть, не жалея сил. Э-э, разве она, бедняжка, виновата, что лягушка попала в казан, если у нее в руке не было светильника, когда она черпала воду из реки вечером, да если еще эта злосчастная лягушка не подала голоса из ведра? Ты сама виновата, сестра, ведь ты ударила ее при людях ченгелом по голове! На окрик твой она ответила дерзостью. Обрушилась ты всем телом на былинку — она уколола тебе глаз... Ты поступила неразумно, родная моя,— и Нурбай разразился громким, отрывистым смехом.— А пострадал я со своим любимцем гнедым, как вижу. Из-за того, что моему коню придется пропотеть лишний раз ночью, не проклинай бедняжку, не вынесшую обиды, не гневайся слишком на нее! О аллах всемогущий! Те времена, те когда вы со своим баем могли на ком угодно выместить свой гнев, теперь скитаются по свету, сидя верхом на черном верблюде без седла!.. Неужто вы думаете, что уши Ленина, который свалил белого пашу в Петербурге, не слышат того, что говорится в наших горах? Не думайте, что попавшая в заправилы сноха Кыдырбая спроста отправилась в далекий большой город прогуляться и приедет оттуда впустую. Нет, досточтимые, сна привезет оттуда огонь. И раздаст его всем батрачкам... О, от того огня работница Зуракан поднаберется сил! Да еще как! Поверь мне, сестра! И тогда вам не одолеть ее вдвоем со своим баем!..

Букен, у которой от злости опухли глаза и дрожали губы, поостыла немного, слушая брата. Все, кто сидел в юрте, и гости и хозяева, вышли во двор. Чуть не с самого рассвета сидят Нурбай, Серкебай и остальные гости на шырдаках², что приказала Букен разостлать прямо на зеленой полянке с непрямой еще травой. Попивают кумыс, поглядывают вдаль. Наконец чей-то острый глаз заметил трех всадников, скачущих вниз по широкому межгорью.

«Может, это та самая негодница, что убежала ночью, а по бокам Текебай с Мекебаем?» Едва успел произнести это кто-то из гостей, как передний всадник, что скакал, не замечая рытвин и увалов, словно преследовал зайца, очутился у самого аила.

— Вот диво! Что за человек? Почему мчится очертя голову? — раздались голоса, а Нурбай озабоченно буркнул сестре:

— Сейчас время такое, что дурное слово за достойным человеком по пятам гонится. Если не хочешь наделать мне вреда, не тронь Зуракан. Только пусть коня мне вернет...

Не успел он договорить, как собаки сорвались с места и с лаем понеслись навстречу приближающемуся топоту. Не понять было, кто скачет впереди — мужчина или женщина: на всаднике была серая шуба, туго перетянутая в поясе, но из-под малахая, похоже, выбивались длинные женские косы, ниспадая по спине; с посеревшим лицом и сведенными гневно ноздрями, женщина на полном скаку подлетела к сидевшим на краю аила аксакалам, словно хотела затоптать их, и, круто осадив коня, прыгнула на землю. С силой швырнула в сторону Букен конец сыромятного чумбура.

Букен вскрикнула от неожиданности:

— Ай, черная напасть!..

— Вот! Сама вернулась... Стою перед тобой, белая змея!

— Никак это ты, чучело?!

— Да, байбиче, я! — Зуракан распахнула шубу, выпятила грудь. — Я было перескочила твой порог, плюнув на твои проклятья. Но счастье отвернулось от меня. Делай со мной что угодно. Можешь распялить меня на облепихе, как ты поступила с несчастной Гульбюбю, можешь кромсать мне ножами подошвы ног и сыпать соль на раны!

Серкебай, Нурбай и другие почтенные гости, никогда в жизни не наблюдавшие ничего подобного, растерялись на миг, пораженные неслыханной дерзостью Зуракан. Кое-кто, хватаясь за ворот, зашептал молитвы. «Боже мой! Боже мой! Что за времена настали!.. Не миновать конца света, если начинают беситься женщины... Ляйлаувхнаиллалала...

У Серкебая затряслась голова, заплывший жиром загривок побагровел, глаза налились кровью. Сдернув с головы тебетей, так хорошо сидевший на его широком лбу, он машинально мял его в руках.

«Что делать? Как быть? Какая дерзость! Какое оскорбление!.. О, Тазабек мой несравненный, да будь он сейчас со мной, волк мой сивогривый, он бы перегрыз горло этой шлюхе!»

Задыхаясь, словно его кто душил, с вспухшими, налившимися кровью щеками и дрожащей бородой, Серкебай поднял руку, в которой был зажат тебетей, и, показывая куда-то в сторону, прохрипел:

— Уходи, ух-ходи, пр-пр-рочь. Прочь... иди... в свой алачык¹.

Человек с темным лицом и курчавой бородой, сидевший слева от Серкебая, и другой, безбородый, с лоснящимся румяным лицом, закричали в один голос на Зуракан:

— Эх, баба, ты что, с ума сошла? Почему не замечаешь сидящих здесь подобных горам и скалам почтенных людей?

Бросив на них ненавидящий взгляд, Зуракан холодно процедила:

— Если б не замечала, давно бы задавила конем, почтенные аке.

Безбородый вскочил с места, отряхивая полы халата:

— Чтоб ты сгинула, бесстыжая!.. Уйди с глаз, чтоб мы не видели тебя. Сам дьявол Азезил тебя попутал... Не трать свой пыл на нее, бай. Недостойна она твоего гнева...

Зуракан возразила равнодушно:

— Почему же... Раз заведено, что человек головой отвечает за преступление, содеянное его руками. Я пререкалась с байбиче и баем. Запалила скакуна почтенного гостя. Хотела оставить своего мужа и убежать в Чуйскую долину. Я в вашей власти, почтеннейшие, и готова понести любое наказание, какое назначите...

Уперев руки в бока и выпятив грудь, Нурбай сказал:

— Виновата ты или нет — мы не станем тут разбираться, дитя мое... Я попросил бая и байбиче не гневаться на тебя.

Хочешь — оставайся, работай себе по-прежнему. Хочешь, если муж твой согласен, получайте, что вам положено, и распрощаемся по-хорошему. Но помните — Чуйская долина не под носом, ой как далеко. Дорожные муки — смертные муки. Я и то немало намучился, пока доехал сюда из долины Кетмень-Тюбе, хотя подо мной добрый конь и сам был одет, как надо, и со мной были еще четверо джигитов... Сейчас на дорогах что-то не видать путников, которые бы ездили взад-вперед, не давая остыть конским следам. О аллах всемогущий... На перевалах, где раньше встречали путешественников табунщики с кумысом в бурдюках, навьюченных на коней, теперь нередко подстерегают матерые волки с длинным дубинистым хвостом...

И Нурбай закончил, покряхтывая, точно собираясь сказать нечто важное:

— Если хочешь уходить, уходи по-хорошему, дитя мое.

БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ

С того момента, как, откинув ранним утром войлочный круг, закрывающий на ночь дымовое отверстие юрты, безропотная Каликан принимается за дела, она уж весь день напролет не знает отдыха: разводит огонь, стряпает, доит овец и кобыл, нянчит детей. Да и как не нянчить родных детей? У нее, Каликан, младшей жены Серкебая, их восьмеро: пятеро мальчиков и три девочки. Самый старший из сыновей уже помогает в работе. А когда подрастают дети, самая никудышная салбар и та начинает пользоваться вниманием мужа. Правда, Каликан никто не считает салбар — отвергнутой женой.

Как бы там ни было, Каликан не жалуется на своего бая и байбиче. «Спасибо аллаху и за это — милостив он ко мне! Если и работаю день-деньской, так в своем хозяйстве, если и обихаживаю, так не кого-нибудь, а байбиче своего мужа... Какое кому до этого дело?» — думает она. Словом, вечно в заботах, снует туда-сюда, тихая, незаметная, как тень. Стирает на бая и байбиче

белье, стелит для них постель, стягивает с ног ичиги, когда те ложатся спать. Случается, Серкебай по неделе не навещает ее в постель, но Каликан и тогда не ропщет, не проявляет ревности.

— Каликан моя из тех женщин, с которыми в дом приходит покой и счастье,— говорила Букен своему баю.— Не то что Гульбюбю. Другой такой, привередливой, не ведающей стыда женщины, как Гульбюбю, не найти, должно быть, среди правоверных во всем свете! Вот беспутница! Какое счастье, что мы избавились от нее! Посмотри на Каликан, мой бай, посмотри! Счастье, кажется, прямо скатывается с ее плеч и лица, как спелые плоды с дерева. Лишь бы не иссякало оно у Каликан! О аллах, покровитель всех добропорядочных людей на свете, благослови, защити ее, мою милую! Каликан никогда не перечила Ёукен, не пререкалась с байбиче из-за мужа, не ревновала его к ней, более того, когда у нее родился первенец, она, едва успев отнять ребенка от груди, положила его в постель к байбиче:

— Нате, эже, возьмите своего сына.

Каликан рождает, выкармливает детей грудью, . ухаживает за ними, но матерью их считается не она, а Букен. Серкебай тоже старается внушить своим сыновьям и дочерям, что они— дети байбиче. Да и все айльчане называют их детьми байбиче. Стоит кому-нибудь заикнуться, что детей народила Каликан, Букен вскочит с места и, волоча по земле полы своей легкой шубы на мерлушке, негодует:

— О, чтоб у тебя язык отнялся! Кто посмел сказать про моих детей, что их народила Каликан? Ну? Кто посмел? Пусть покажется мне на глаза! Я оболью его ядом белой змеи и завяжу язык проклятому!

Да разве найдется человек, который осмелился бы поднять глаза на Букен, когда она в гневе? Женщины айла спешат уйти куда-нибудь подальше, зажав руками рты.

— Чтоб мне захлебнуться собственной кровью! — проклиная себя неосторожная.— Точно из-под земли выскочила.

Накричавшись вдоволь, запугав угрозами айльчан, Букен с вспухшими веками и дергающимся ртом напускается на Каликан:

— Небось с бабами заодно? Совсем потеряла стыд! Воображаешь, твоя заслуга, что детей нарожала? А не я ли выпросила их у бога? Разжалобила своими молитвами, слезами да стенаниями?! Смотри, пеняй на себя, Каликан, коли узнаю когда-нибудь, что ты мою радость, мое счастье — моих детей — называешь своими! До сих пор старые люди помнят, что околевал, как последний шелудивый пес, каждый, кого проклинала моя незабвенная прабабка. И я, единственная из правнучек, к кому перешли ее волшебные чары, жизнь готова отдать за ее священный дух! Стоит мне проклясть кого-нибудь, поглядеть ему в самые зрачки, как на беднягу сваливается беда. Мои проклятья никому не проходят даром... Ой, боюсь я этого... Боюсь, как бы не взять греха на душу, проклянешь нечаянно в гневе безвинного человека...— И, как бы случайно вспомнив, сказала с сожалением:—А помнишь бедную Гульбюбю? Она слишком загордилась, что была красива... Не прогневи она

тогда меня, может, и судьба у нее была другая. Из-за нее, из-за ее спеси табунщик Дубана пропал без следа. Ай-яй, сохрани боже! Никому несдобровать от моих проклятий. Говорят, если человек, который обладает такой силой проклятий, хлебнет немного яду белой змеи, его проклятия сразу теряют свою силу. Все никак не может найти этот недотепа Текебай хотя бы одну белую змею для меня, о боже...— Букен выкатила глаза, словно узре нечто ужасное.— Ай, не знаю... Говорили, моя прабабка и ЯДУ белой змеи попробовала — ничто ей не помогло. Да, лучше не навлекать на себя моих проклятий! О боже...

Хотя лицо и руки ее давно избороздили следы прожитой жизни, хотя давно покрылись инеем ее волосы, она то жеманничала, стыдливо играла глазами, то притворно всхлипывала— само воплощение скромности и мягкосердечия. — Тех, кто платит злом за мою хлеб-соль, кто втайне ненавидит нас с баем и не чтит наших древних обычаев, мои проклятия поражают, как стрелы! За того же, кто мне предан, я жизнь свою готова принести в жертву. Такому человеку я с чистым сердцем дам свое благословение и, воздев руки к небу, стану молиться за него аллаху. Ох-ха, а моя бабушка, говорят, была редкой провидицей. Пророчицей, уста которой источали мед... Рассказывали, что одна женщина, переставшая рожать после тридцати лет, привела однажды белого верблюжонка ей в подношение. Моя бабушка-чудотворица была святая женщина — дала ей свое благословение. Не прошло года, как та женщина родила двух черноголовых близнецов.

Взявшись молитвенным жестом обеими руками за ворот, Букен приняла вид человека, поклоняющегося очагу посреди юрты.

— Да паду я жертвой за твой огонь, и да станет этот священный очаг свидетелем правдивости моих слов, создатель! Прости, если скажу что неугодное тебе!.. Как-то, давно это было, мы поехали с баем проведать больного сына нашего хорошего деверя,— так называла Букен Тазабека, поскольку обычай запрещал ей произносить его имя.—Когда мы зашли к нему, он, бедняга, сидел у изголовья сына. Тот уже умирал. О аллах! Правду говорят: «Есть у тебя дети — беда, нет —тоже беда!» Видим, бедные родители мечутся туда-сюда...— Букен опять ухватила руками за ворот.— Боже, боже, что было потом! Творец, что ли, надоумил меня, я возьми да скажи: «Не вешайте головы, возьмите себя в руки. Поправится ваш сын. На лбу его горит пара свечей!..» А сказала я то, что мне вдруг увиделось... Сам аллах вложил в мои уста эти слова! Только мы отъехали от их юрты — мальчик открыл глаза. Не прошло недели, как он сел на коня. Вот диво-то какое, боже!

Нурбай, прекрасно знавший повадки Букен, всегда старавшейся выставить себя чуть ли не святой, нетерпеливо оборвал сестру,— чудесные рассказы и небылицы теперь, мол, ни к чему и могут лишь навредить ей.

— Эй-эй, бай да байбиче, оставьте вы свои прежние повадки! Киргизские Великие горы уже сняли с плеч и бросили в огонь свои старые шубы, надели атласные чапаны.

На прощание он добавил с ехидцей, притворно посмеиваясь:

— Но в атлас одевались девушки да молодухи. Из мужчин же только ырчи¹ да чоорчу². А мы с вами ни ырчи, ни чоор. Всего-навсего гости на этом свете, которые очень скоро уй отсюда, как молодухи, заскочившие в чью-то юрту на мину за огоньком. Послушай меня, Букентай, если мы с тобой и тв., Серкебай не будем осмотрительны на дороге, по которой иде? то все эти «пророчества» и «чудеса» нас самих могут бросить огонь. Пора забыть свою вспыльчивость и спесь. Ушел в прошлое прежний наш произвол—и не вернется. Если ты, Букентай не хочешь потерять батрачку, обращай с ней хотя бы уважительно, рассчитывайся вовремя, хорошенько взвесив прежде сколько поту пролилось с ее лба да сколько она прошла своим ногами. Это я в предостережение, как бы не свалилась пото на тебя беда! Прощайте, будьте живы-здоровы! До новой ветре чи, родные!

После того как уехал Нурбай, байбиче целый день просич дела в одиночестве, мрачная, поникшая, словно ей пришлось тащить на себе из невесть какой дали мешок соли. Лишь перед сном с неохотой поднялась с места, хрустнув суставами да звякнув подвязками на кончике косы.

Наутро байбиче поднялась еще до того, как на небе погасли звезды, и не стала, как обычно, гордо выпрямившись, прохаживаться по юрте, накинув на плечи шубу из смушковых лапок, а, надев на себя туго перепоясанный чепкен, словно собралась идти за дровами, открыла сама (неслыханное дело!) тюндюк и, поставив на огонь кувшин воды для омовения, вышла из юрты и свернула по тропке к черному алачыку, что был поодаль от байских юрт. Молча, словно обдумывая что-то, постояла и негромко окликнула:

— Эй, Текебай, Текебай, слышишь, дитя мое!

Как ни был тих и ласков голос байбиче, он заставил вздрогнуть беднягу. Текебай суетливо заметался. Догадавшись по шороху в лачуге, до чего растерян Текебай, байбиче медовым голосом — ну, прямо мать родная! — предупредила:

— Текебай, дитя мое, ты не буди свою молодку, если она спит. Пусть отдохнет, устала ведь. Сам тоже не торопись. Я пришла попросить тебя: перед тем, как выпустить овец из загона, поймай и привяжи черноголового белого козленка—одного из двойняшек. Не от большой черной козы-матки, а от козы-второгодки, дочери ее. Смотри, дитя мое, не схвати другого козленка по ошибке. Не самого маленького из козлят-близнецов, а большого.

На последнем слове голос байбиче жалобно дрогнул: она прошептала: «О творец, творец! Чую, перевернется в конце концов этот свет вверх дном! К рабу и рабыне, которые недавно не смели ступить дальше моего порога, ты заставляешь меня ныне идти с просьбой, о создатель!»

Вся дрожа от бешенства, она подходила к большой юрте, когда из своего алачыка показался наконец, протирая глаза, Текебай.

Одна за другой гасли потускневшие звезды на дымчато-сером небе. Повеяло свежим утренним ветерком. Словно камни, выступающие из мутной беспокойной реки, там и сям в долине маячили белеющие аилы. Горные

вершины, что до того колыхались в мглистой полутьме, постепенно окрашиваясь в светлые т*ша и как бы стряхивая сон, вытягивались, величественные в своем спокойствии. Бурные реки и речушки, извиваясь белыми арканами вдоль широких долин и ущелий, то гулко погромыхивали, то с неистовым шумом, брызгаясь белой пеной, перекатывались с камня на камень...

Просыпается все вокруг, только что объятые сонной тишиной. Чихают спросонья козы, потягиваются с глухим блеянием овцы, лениво поднимаются на ноги привязанные к колышкам коровы, продолжая жевать жвачку, там и сям среди них лежат телята, первотелки, бычки.

Услышав, как шлепнулся о стенку алачыка опустившийся за Текебаем полог, черный пес вскочил с места и, виляя хвостом, подбежал к Текебаю. Как-то сразу развиднелось, наступило утро.

И все в аиле и вокруг пришло в движение.

Выйдя за юрту, Серкебай и байбиче совершили омовение. Женщины пошли доить коров. Шыр-шыр...— заструилось в подойники молоко, вздуваясь пеной. Овцы и козы, вытянувшись цепочками, словно нанизанные на нитки бусы, рассыпались по склонам.

Когда Букен с накинутым на шею полотенцем, а за ней вслед Серкебай выходили из юрты, черноголовый белый козленок, пойманный Текебаем, тоскливо блеял, бился, пытаясь вырваться из его рук.

Букен распорядилась позвать всех стариков, успевших совершить утренний намаз. И когда айльчане подошли к байской юрте, перед которой Текебай держал за шею белого козленка, байбиче начала рассказывать свой «сон»: — О дорогие сородичи, от духов моих незабвенных эже и джезде (так называла она мать и отца Текебая) сегодня ночью было мне видение.

Приснилось мне, будто расположился аил наш в долине Сон-Куля. Не иначе как это знамение божье. А то с чего бы еще? Ведь наш аил никогда не летовал там. Видно, ниспослал нам свою милость создатель... Джезде и эже приехали откуда-то с запада; он —на светло-сером жеребце, она— на белой верблюдице. О боже, удивления достойны твои деяния. Будто вышли мы встречать их всем аилом. И будто они, несравненные, поклонились всем вам... А на меня и на Зуракан даже глазом не повели, словно обижены чем. Ни с коня, ни с верблюдицы ни он, ни она не слезли. Как снег, растаяли миглом. Словом, решила я, принести жертву духам эже и джезде, поклониться им. Прошу вас, люди, дать свое благословение черноголовому козленку и отведать его мяса.

Не дав собравшимся ответить, Букен с вопрошающим видом воздела руки к небу:

— О-о, люди! Да поддержит бог и духи предков того, у кого душа чиста. И да покроется позором на том и на этом свете, покроется черными язвами лицо того, у кого нечестивые мысли! Да заберется змея в могилу его!..

Когда гости, наевшись нежного мяса козленка и напившись вкусного навара, все разом заладили свое благословение, Букен, словно шаманка, бормотала:

— О-о! Несравненные эже и джезде! Я принесла в жертву вашим духам жизнь черноголового белого козленка! — Голос у байбиче стал тихим, жалобным, из глаз, словно по заказу, обильно закапали слезы.— Говорят, что смерть может нагрянуть в любой из семи дней недели... Вы, незабвенные эже и джезде, пребываете там, где лежат не только такие, как мы, беспомощные убогие куклы, но и святые, и пророки, и великие падишахи, великаны-храбрецы, красноречивые мудрецы, да буду я жертвой ваших духов. Пребывайте в раю, где создатель расстелил свою щедрую супру со множеством яств и плодов, о незабвенные! Но да проглотит змея все надежды того, кто таит в душе черные мысли! Да отринет его мать-земля, да не примет его в свои объятия... пусть вечно мучается он на том свете в аду! — По щекам Букен теперь уже слезы лились ручьем, воздетые к небу руки ее дрожали, будто от стужи.— Всю жизнь буду я поклоняться вашим духам, о святые! Провалиться мне на этом месте, если не возьму под крыло своего единственного вашего сына Текебая, если не заменю ему родную мать, подпирая его плечом на крутых дорогах, удерживая за локоть при падении. Да разразит меня ваш дух, если я не сделаю этого! О-омийин! И в знак того я принесла в жертву вашим духам черноголового белого козленка!..

Текебай, который и раньше почитал байбиче и трепетал перед нею, после жертвоприношения стал и вовсе благоговеть перед ней, будто перед Умай-эне.

— Смотри, жена, ни на волосинку чтобы не причинять зла нашей байбиче! Сама видела, как чтит она дух моих родителей,— проговорил Текебай в страхе, угрюмо уставясь на Зуракан.— Если бы ты не пререкалась с байбиче, не вздумала бежать из ее дома, духи моих родителей не подали бы ей знак во сне. А раз подали, значит, они довольны баем и байбиче! Одумайся, жена! Все равно никакая новая власть нам не поможет, не положит нам еду в казан. Лучше примиришься с байбиче. Не гневи бая и байбиче, они теперь нам как отец и мать.

13 Т. Сыдыкбеков

Если поведем себя хорошо, будем работать честно, бай и байбиче оценят наш труд. Верно говорит байбиче,— молодые, как мы, у которых силы хоть отбавляй, не станут хуже от того, что будут работать, не жалея себя. Брось думать о Чу! И по родственникам не скучай! Будем живы, свидимся когда-нибудь. Надо стараться, не то байбиче проклянет нас...

Кто знает, возможно, Зуракан не вняла бы словам мужа, если бы после памятного жертвоприношения не переменилась сама Букен, став, по ее же словам, «чистой», как тело, (которого сошли страшные болячки. Она перестала хмуриться, смотреть гневным, уничтожающим взглядом. Лицо смягчилось. Учтивая, уважительная такая, словно молодуха, первый день пришедшая в дом мужа.

Кто бы ни зашел в юрту, она поднималась навстречу вошедшему, с радушием потчевала хлебом-солью. Не говоря о других, даже Зуракан она теперь не делает замечаний, наоборот, жалеет ее, словно добрая бабушка:

— О великанша моя Зукеш, да паду я жертвой за твой богатырский рост!.. Не будь она женщиной, была бы богатырем бесценным. Умеет держать в руках топор. И, если захочет, может гору своротить, низину выровнять. Когда шагает, топот ее ног громче топота коней, на которых гарцуют красноармейцы.— И, довольная своими словами, звонко смеется и машет левой рукой в сторону.—Ах, аллах всевышний, что бы ему наделить Зуракан хотя бы каким-нибудь отросточком, каким наделил многих на свете... А-ха... ха... ха... что я, старая дура, говорю?! Силы ей не занимать стать, что у любого джигита. Могла бы, как древние богатыри, пойти на врага с пикой наперевес. Боже! Да она бы смогла тигров сражать сеимпtrib-Но женщина, которую бог не наделил этим отросточком, остается белоушей женщиной и обречена сидеть у домашнего очага, если б даже сила в ней бушевала, как море...

Она давно перестала бранить Зуракан. Стоило раньше Зуракан допустить малейшую оплошность, как байбиче вскакивала с криком: «Где твои глаза? Или у тебя не глаза, а пятно от болячки?»

— Ах, дитя мое, ведь я просила тебя быть поосторожней,— вот самое большее, что позволяет она себе.

Видя, как присмирела Букен, Зуракан порой сама одергивает себя, дает мысленно обещание быть поосторожней и поаккуратней. И все же какое-то внутреннее чувство порождает в ней отвращение к байбиче. Как падающая с вышины неведомая тень застит человеку солнце, так от поступков и речей байбиче веяло на Зуракан необъяснимым скрытым коварством.

И когда байбиче чересчур уж растроганным голосом засыпает ее ласковыми словами, горечь и досада вскипают в ее груди, словно спрятавшаяся в щели белая змея вдруг зашипела на предчувствуя недоброе, женщина ночами шепотом увещевает мужа: «Уходить нам надо от этой ведьмы, пусть даже она посулит насыпать мне полный подол добра». Но Текебай продолжает преклоняться перед Букен, словно перед Умай-эне, и, дрожа со страху от подобного кощунства, умеряет ее пыл.

— Не говори так... Духи моих родителей покарают нас, ее- * ли ты будешь говорить недоброе о байбиче. Я готов своей дур- * ной башкой рыть землю для байбиче, коль она так чтит дух / моих родителей, а к нам относится, как к своим детям! И если ты, жена, хочешь себе счастья и добра, никогда не говори о ней плохо. Куда мы денемся? Попробуй уйди, если ты такая; храбрая! Ее проклятия не дадут тебе и шагу ступить. Нет, не хочу я платить злом за ее хлеб-соль!

Слушая попреки мужа, Зуракан и сама колеблется: «Может, в самом деле подохну я от проклятий байбиче? Недаром люди говорят, у нее бородавка на языке...» .

Когда же обида перехлестывает через край, когда в груди закипает гнев, батрачка исполняется решимости и забывает о силе проклятий Букен... «Будь что будет, пусть считают, что я забыла стыд, рехнулась, взбесилась, спятила с ума. Нет, не перестану я досаждать им!»

Зуракан говорила, что думала, во всеуслышание, без обиняков, смеялась громко, раскатисто, не слишком стесняясь старших и младших, словом, вела себя, как развязный джигит, а не как приличествовало скромной молодой женщине. Иной раз, идя с родника, торопливо ставила на землю полные ведра и, подбежав к играющим мальчишкам в кости, забирала у них ; поставленные на кон альчики.

— Чу-уур! Чу-уур¹! Я взяла чур. Платите штраф! , А то, обхватив кого-нибудь из парней, кружила вокруг себя.

Или же, схватившись сразу с двумя, бросала обоих с размаху" оземь.

— Ну! Каково вам, джигиты?! — смеялась она, навалившись на них всем телом.

Эти выходки Зуракан казались вначале айльчанам слишком грубыми, неприличными. Не только байбиче, но и вовсе посторонние женщины осуждали Зуракан.

Ай, глупая голова! С чего ей беситься! Не с того ли, что служит у байского порога, возится с! казанами? А может, с ума спятила?

Иная из щебетух, больно ущипнув себя в знак стыда за щеки, скажет:

— Аяийй-яй, черная напасть! У бедняги, ее мужа, верно, не хватает силы охладить пыл, что в ней бушует... совсем взбесилась баба...

Щебетухи склоняют головы друг к другу:

— Байбиче говорит, что дурная болезнь у нее.

— Говорят, себе места не находит... скучает по мужчине. _ Ай, какой срам!

— Думаешь, проста она, непутевая, схватывается иногда с парнями?

— Какой бы ни была охочей, все равно хватило бы одного здоровенного мужчины.

— Видишь ли, жадность — плохая штука.

— Брось, дорогая, жадность можно умерить.

— Ты всех своей меркой не меряй. Не на все дырки можно найти затычку.

Одна из щебетух хихикнула и, мгновенно опустив голову низко-низко, словно у нее сломалась шея, толкнула в бок языкастую соседку:

— Что ты болтаешь, негодница! Ведь с ней рядом лежит верзила муж, боже... Пусть бы и тешилась с ним.

— Чтоб он провалился! Чтоб его унесло в Коканд! Что с этого Текебая толку, что он здоровяк?

Букен будто не слушает женских пересудов. Говорит, обращаясь к Серкебаю с притворным простодушием:

— Откуда нам знать, с чего это, о боже... Мы привыкли довольствоваться тем, что мужья достаются нам дня на два в неделю, а остальные дни пропадают у своих любимиц — набалованных токол. Какое нам дело до Текебая и его непутевой жены? Раз нет у нее соперницы, токол, которая рвала бы его из рук, на нее должно бы хватить одного мужчины, если умерить жадность...

— Э, байбиче моя, ты, видать, стареешь.

— Я бы сказала то же самое, мой бай, будь я молодой. Разве ты, мой бай, в свое время не наигрался всласть, разбрасываясь добром? Тьфу, не дай боже!

Не посоветовавшись со мной, привел себе ненаглядную, солнцеподобную, отдав за нее сразу пятьсот валухов. Мало того, что ухнула этакая пропасть скота, мне еще пришлось целыми неделями, где там,— месяцами мерзнуть одинокой в постели, обнимая собственные колени. То было время, когда мои вожделения едва вмещались во мне, как налитая до краев пиала, предназначенная для гостя, о боже... Будь на моем месте другая, сгорела б от собственного огня.

Она едва сдержалась, чтобы не сказать «зарезалась». Сказать так значило бы для байбиче уронить свое достоинство. Байбичем не выдав своих чувств, она закончила с грустью:

— Лишил создатель нас, бедных женщин, этого самого отросточка да еще добавил: «Смиритесь со своей судьбой...»

Какая-то простушка, а может, из лукавых самая лукавая, Дотянула ниточку женского разговора дальше:

— Дело прошлое, ясноликай байбиче, скажите, не таясь, да бай стал пропадать неделями, утешаясь ласками Гульбюбю, как вы?.. Удалось вам... утолить жажду, глотая из чёйчёка?

Букен звонко рассмеялась, как в молодые свои годы. Но та не отставала:

— И-и, милая байбиче, нечего прикрываться смехом, расскажите лучше, как это было?

— Когда верблюды в ярости, разве могут верблюдицы утолить жажду водой из чашки, дорогая?

— Словом, было дело, а?

— Э-эх, горе мое... зачем старое ворошить? Наше время было совсем другое.

Лучше о теперешних поговорим, милая. Даже жены последних жалчи, которые прежде собственной жизнью распоряжаться не смели, все перебесились нынче, не говоря уж о Батийне, что ускакала невесть куда.

Даже Зуракан, рабыня у моего порога, и та кидается на каждого мужчину... Мы с баем простили ее, зная, что у новой власти бедняки в почете. Так она теперь, бесстыжая, кружит всех парней, какие попадают ей под руку.

Женщина, сидящая рядом с байбиче, ущипнула себя за щеку:

— Об остальном уж не будем говорить, но разве можно забыть, как она скакала наперегонки с молодыми парнями на бычке! И-и-и! Чтоб ее разорвало! Что с ней, непутевой, стало бы, если б она вдруг полетела через голову бычка? Срам-то какой! Подумать только — и то щеки краснеют. А если у непослушного этого бычка короткие да крутые рога? Попутал бы вдруг бычка шайтан, зацепил бы он рогами ее за пах да понесся бы очертя голову. Осрамила бы она тогда нас, женщин, перед всем светом, о боже!..

Хотя внешне Букен смирилась, ее постоянно снедала бешеная ненависть, готовая выплеснуться через край тысячью коварств, словно перебродившая закваска в наглухо закрытой посуде.

«О создатель, творец всего сущего! — молилась она — Если ты создал меня, чтобы я творила волю твою, то помоги мне и еще раз!.. Влей масла в мой светильник, сделай так, чтобы не только друзья, но и враги мои говорили: «О

милая, ясноликая байбиче, да паду я жертвой во имя твое, святая, чудотворица наша Умай-эне». Сделай так, чтобы не только убогие, но даже старейшины аила трепетали передо мной. Посмотрела бы я тогда, как будет беситься эта паршивка! Нет, не натешиться мне всласть, если даже она пробатрачит у моего порога целых сорок лет, эта тварь, осмелившаяся опрокинуть ведро на мою священную голову, сварить лягушку в моем казане и вапалить скакуна почтенного моего брата?! О создатель, за что ты ущемил меня? Если б не эта новая власть, которая стала врагом баю и покровителем бедняку, разве позволила бы я этой паршивке так бесноваться?! А тут что поделаешь?! У-уф! Раз не могу отомстить ей на глазах у людей, отомщу за их спиной, сделаю так, что она всю жизнь будет таскать на меня казаны и даже пикнуть не посмеет! А если не удастся? Что тогда? Э-э, все равно, приголублю, заласкаю поначалу, а как размякнет, развесит уши — расправлюсь втихомолку. Ватой и то сумею перерезать ей горло!»

Букен чуть не выболтала свои тайные намерения сидящей рядом родственнице. «Сохрани аллах!»! — спохватившись, подумала она.

Посинелыми губами она с трудом выдавила из себя, уставившись на соседку внезапно погасшими, словно неживыми, глазами:

— Не надо больше говорить о ней, о создатель! Не будем мучить себя, дорогая, думая о ней. И пусть эта салбар летит вверх тормашками с бычка. Распялит свою поганую шкуру по камням! Если каждый раз переживать, что она роняет мою честь, от меня кожа да кости останутся, о боже!

Напускное спокойствие Букен возымело свое действие. Ее говорливая соседка, которой не терпелось разжечь пожар сплетен и пересудов, вмиг остыла и не без сожаления, ладо сказать, прошлепала толстыми губами:

— Твоя правда, байбиче. Да ведь обидно! Как-никак, когда бесятся и сходят с ума такие вот глупые овцы, вроде Зуракан, их позор ложится тенью на всех нас.

— Эй, почему ты не урезонишь свою работницу? — обратился к байбиче назавтра Серке бай.— Поговаривают, будто она оседлала бычка и скачет наперегонки с мальчишками? Что это значит? Неужели ты хочешь, чтоб про меня болтали, что Серкебайде заигрывает со своей батрачкой?

Но Букен успокоила мужа:

— Что ты, бай! Не вздумай оставлять своих добрых старых привычек, когда носил на руках женщин, лелеял их! Захромает конь, коль собьется со своего хода, захромает и батыр, пренебрегший своими привычками. У хорошего человека тебетей никогда не теряет своего вида, мой бай. К тому же — изменишь старым привычкам, сразу бросишься людям в глаза, словно белый верблюд среди множества верблюжат. Лучше держись по-прежнему величаво, степенно, крепко сиди на своем гнедом, не теряй ни на кончик мизинца своего достоинства, бай-аке. А с женщины, которая вечно сидит дома, какой спрос? Она может и накричать, и отругать. Меня, бабу, в Шыбыр не сошлют. Захочу — и любого, кто заденет меня, огрею горячей головешкой

по темени. Так что уж позволь с нашими зарвавшимися батраками расправиться мне самой!

Букен ранним утром в пятницу распорядилась, чтобы замесили тесто, а Текебаю с Зуракан наказала оставаться возле нее и никуда из аила не отлучаться. Зуракан было оседлала серого вола, чтобы ехать за дровами (последнее время она уже не таскала дрова на себе, а возила их на быках), но Букен ласково остановила ее:

— На сегодня дров хватит, Зуракан. Сегодня за дровами ехать нет надобности, лучше останься, помоги Каликан. Ты ведь знаешь, она не очень расторопна. Пока раскачается да примется за дело, смотришь, новый год пора справлять.

Байбиче первая сняла с плеч шубу, сложила втрое, бросила на стопку одеял и засучила рукава. У Байбиче, которая проводила обычно свои дни на почетном месте юрты, не очень утруждая себя работой, были белые круглые руки. На средних, безымянных и указательных пальцах поблескивали серебряные кольца, усеянные янтарными глазками; тяжелые браслеты на, запястьях были тоже очень красивы. Оборки ее платья из шелестящего голубого шелка развернулись веером, когда она присела на почетное место, попросив полить воды ей на руки. Приветливо улыбнувшись Зуракан, которая склонилась над ней с кашгарским чайником, Букен проговорила, будто дочь родную убеждала:

— Да, дитя мое, подожди сегодня с дровами. Сегодня пятница, тяжелый день. Давай изжарим поминальных лепешек да попросим прочитать молитву из Корана в честь духов умерших. Достань-ка из сундука большой бурдюк масла и отнеси его в малую юрту¹. А ты, Текебай, дорогой, наколи нам дров. Скоро в малой юрте запылал очаг, наполняя ее запахом арчовых сучьев. В казане зашипело масло. Прошло еще немного времени, и баловень байбиче, у которого были такие красные щеки, что казалось, из них вот-вот брызнет кровь, выскочил из юрты с кокёр-токоч² и принялся дразнить соседских мальчишек:

— Эй, эй, ребята, смотрите-ка, мне байбиче дала кокёр-токоч! Небось завидки берут, а? Так вам и надо!.. Так и надо!

Из юрты послышался сладкий голос Букен, изо всех сил старавшейся казаться спокойной и доброй:

— Ах, глупыш ты мой! Нехорошо так! Разве можно дразнить мальчишек своего англа? Позови их сюда! Я всем им испеку по кокёр-токоч.

Удивленная щедростью Букен, которая обычно глоток мясного отвара жалела для соседа, Зуракан подумала: «Верно, опять что-то приснилось?» Но продолжала трудиться не покладая рук.

С завистью наблюдая, с какой быстротой Зуракан резала лапшу, байбиче, невольно пришепывая губами от удивления, качала головой:

— Смотри-ка... глазом не уловишь, до чего, ловко режет лапшу. Что ни говорите, а родиться близ города что-нибудь да значит.

Как бы там ни было, а Зуракан действительно справлялась тот день со всей стряпней одна: ловко орудуя скалкой, раскатала тесто, успевала заглянуть и в казан, не кипит ли масло, помешивать боорсоки. «Вот паршивка непутевая! Не лезь ей в голову всякая шда, она справилась бы с хозяйством в десяти юртах,— не-Гдьно восхищалась байбиче силой Зуракан и внушала себе: — Недаром ведь поговорка гласит: «Похвали дурня — он и с обрыва кувырнется». Буду-ка потихоньку пользоваться силой этой дурехи, не давая ей повода злиться».

На этот раз байбиче не стала расписывать, что за вещие сны она видит, запугивать своим умением заклинать. А нажарив кучу боорсоков и полные чаши кокёр-топоч, принялась угощать айльчан. Попросила прочитать молитвы из Корана в честь усопших. Затем помянула имена всех пророков и святых, всех известных ей батыров и воздела руки, как бы взывая к небесам: — О боже всемогущий, сотворивший всех нас! Убереги весь наш род и все племя наше от напастей и бед, от недугов и болезней! Убереги, боже, их скот от моров и падежей!

Многие из айльчан поговаривали:

— Красиво стареет почтенная байбиче нашего бая, подобрела... Что может быть лучше такой благообразной старости, как у нее. С айльчанами, с детьми да с бабами ссориться перестала...

— Правду говоришь, земляк. Справедливые законы новой власти даже баю и байбиче раскрыли глаза...

Когда айльчане разошлиф, она оставила в юрте Текебая. Батрак, который боялся взглянуть ей прямо в лицо, никогда не перечил ни словом и почитал чуть ли не за святую, на подоле которой не грешно и намаз совершить, опустился перед байбиче на колени, робко съежившись и с благоговением шепча про себя: «Я готов ради тебя головой землю рыть, стоит тебе только приказать, чудотворная мать!»

Букен заговорила медоточивым голосом:

— О, племянник мой милый, да паду я жертвой за тебя! Не надо стоять передо мной на коленях, словно ты провинился в чем. Не стесняйся. Ведь ты мне все равно что родной сын. Мать может и умереть, лишь бы не умерли те, кто знал ее, говорит пословица... Боже! Да меня бы покарал дух незабвенной нашей эже — твоей матери, если бы я была черства с тобой.— Она похлопала рукой по краю кёлдёлёна, на котором сидела сама.— Иди сюда, садись поближе ко мне. Мне надо с тобой поговорить по душам, как матери с сыном. Ты свой человек у нас. С твоей женой я не могу разговаривать так открыто. И не вздумай передать ей то, что услышишь от меня, упаси боже. Слово, скаванное женщине, все равно что конь без пут. Если уж так накипит и не будешь знать, с кем поделиться, лучше поделись с черной скалой в ущелье, чем с женщиной. Все немного отляжет от сердца. Зато уж черная скала ни одной живой душе не выдаст твоей тайны. О создатель! Не отрицаю, я тоже женщина, я тоже ношу белый платок. Не к лицу мне наговаривать на женщин. Но мужчины, бедняги, простодушны, доверчивы, а мы, ведь,

женщины, очень хитры, находчивы. Мужчины куда выдержанней, спокойней нас, а мы часто бываем жадны, нетерпеливы, ненасытны в своих желаниях, а жадность рождает изворотливость.

Байбиче вскинула руку — зашуршал рукав шелкового платья— и, точно это было нечто омерзительное, с брезгливым видом сняла с воротника Текебая прилипшую былинку. Потом продолжала, глядя ему в глаза:

— Я все вижу. После того, как Зуракан попыталась сбежать от нас, она совсем распустилась. Она только вид делает, что стала послушной, а в душе у нее черным-черно. Стоит подвернуться удобному случаю, и она покажет себя. От этой «свободы» скоро, вероятно, все они, глупые овцы, перебесятся.

Байбиче смолкла на секунду, сделав серьезное лицо, словно прислушиваясь к чьему-то совету. Текебай молчал, не смея раскрыть рта. Он, конечно, понимал, что байбиче завела разговор неспроста. Зуракан и в самом деле не однажды последнее время ошарашивала его вопросом: «Избавишь ты меня, наконец, от этого рабства, или мне одной идти, куда хочу?» Но куда она хочет идти? С кем? Текебая все больше охватывало ощущение, будто он заплутался в густом тумане. Видя замешательство батрака, Букен толкнула его в колено:

— Текебай, племянник мой любимый, послушай ты меня: только овца не бесится с жиру, только джигита не испортит баловство родителей. Женщину, которая чтит мужа, уважает народ. А муж, который не может заставить жену почитать и слушаться его, не мужчина, а смердящий труп. Смотри не будь размазней! Мужчина, который не может держать жену в руках, похож на подстилку, на которую садятся все, кому ни вздумается. О боже... Не со злобы говорю это, а потому, что болею за тебя. Ты посмотри на свою жену — так и липнет к мужчинам. С мальчишками в альчики играет. Парней молодых хватает за руки, вокруг себя кружит. Ай-яй, какой срам! Или... О боже!.. Язык не поворачивается. Сядет верхом на голую спину бычка и скачет взад-вперед. Смотреть стыдно. Стыдись не стыдись, а что поделаешь? Одно заботит: как бы из чужого аила кто не увидел! Но дурные вести не камень, не лежат на месте. Прознали об этом борукчинские аксакалы, рта моему баю раскрыть не дали, засмеяли его: «Что же это ваших мододок мужья ублажить, что ли, не могут? Скачут они, говорят, верхом на бычьих рогах. С чего это вы, карасазцы, распустили так своих жен?.. Неужели среди вас не осталось ни одного мужчины с тесаком?» Вернулся оттуда мой бай и говорит: «Я сквозь землю готов был провалиться!» Даже сон у меня пропал с того дня. Если ты и дадыне будешь давать жене волю, она еще и не так опозорит наш род. Если не примемся лечить вовремя, болезнь может да-

^ зайти. А если — не приведи аллах увидеть такое! — болезнь у Зуракан разрастется, она может занедужить бешенством. Давным-давно, когда я была девочкой, одна молодка в нашем аиле взбесилась. Пропади оно пропадом, бешенство это: глаза у нее стали красные, как горящие головешки; белая пена изрыгалась изо рта, набрасываться стала на всех... Увидит собаку — набрасывается на собаку, увидит камень — и на него кидается. Срамота,

одним словом, и только! Тогда-то мне и привелось услышать, как один знающий, святой жизни старик поведал: «Болезнь эта называется «курттама»¹. Ею болеет — одна из тысяч. Надо было лечить заранее...»

Похлопывая его по коленям, байбиче стала успокаивать Текебая.

— Ты не пугайся. Жена твоя вылечится, только не вздумай ревновать, дрожать за свою честь. Видишь ли, чтобы вышибить из нее дурную болезнь, нужна плоть еще семи холостяков, кроме твоей. Ты не огорчайся, не горюй. Вдоль арыка, в котором течет вода, всегда зелено... Но на это дело необходимо согласие мужа. Да не артачься ты! Она станет послушной и покорной, как бессловесная серая ишачка! Послушайся меня! Дай согласие, племянник мой.

Текебай, не в силах выговорить ни слова, не поднимал глаз от земли.

— Через три дня на той стороне речки начнется, говорят, большой той. Все, кто на ногах в нашем аиле, уйдут на той. Конечно, это будет очень тяжело для тебя, такого никогда до этого нигде не делали. Но только дай согласие, все остальное я улажу сама.

Текебай стоял в замешательстве, сам не зная, дать тут же свое согласие или воспротивиться замыслам байбиче... В отчаянии одазалился слезами.

С прошлой весны Серкебай избегал разбивать свои юрты слишком близко к аилу. Если раньше вокруг его юрты располагалось, самое меньшее, десять — пятнадцать жилищ, то теперь в непосредственном соседстве с ним было каких-нибудь два-три семейства. Женщины приходили в его юрту, чтобы помочь подоить коров и овец, мужчины — присмотреть за скотом. Сделав работу, все расходились по своим юртам, каждому своих домашних дел хватало.

И байбиче ничуть не огорчалась.

— Эй, бай мой,— сказала она однажды мужу,— нет у нас прежнего несметного богатства. То время, когда у нас было много лишнего народу и много лишней суматохи и суеты, верхом на белой верблюдице перевалило за тот черный хребет.

Если уж очень рассердят меня, навьючу свое добро на верблюда и перекочую за Койкап, о боже!

Родственники тоже решили оставить в покое почтенную Букен, которая стала избегать лишних людей. Словом, в байских юртах нет прежнего многолюдья.

Но такой тишины, как в тот день, вокруг байских юрт еще никогда не было.

Зуракан тревожила эта мертвая тишина, от нее веяло чем-то недобрым.

Казалось, она возникла не только от безлюдья, не только оттого, что спокойно дремали овцы и коровы, ягнята и козлята, расположившиеся вокруг аила. Было бы не так тоскливо, раздайся хоть где-нибудь собачий лай или плач ребенка.

Оставшись одна в юрте, Зуракан взялась выделывать овечью шкуру. Целый день проработала, забыв об усталости, отвлекая себя песней от щемящей сердце тоски, но чувство одиночества не переставало томить ее, а сердце порой беспричинно колотилось. «Ведь я уверена, что не дрогну, если даже

неожиданно набросится леопард, почему же вдруг так тревожно мне сегодня?.. И страх берет? Вроде бы нечего опасаться?! Что со мной?» Вокруг стояла все та же мертвая тишина. Казалось, не только аил — вся вселенная потонула в бездонной и немотной пропасти. Ой, как страшно одиночество. Только самому ненавистному человеку можно пожелать, чтоб он остался в одиночестве, без друзей, без подруг, с которыми можно было бы пошутить, посмеяться, поговорить по душам.

Еще задолго до полудня Зуракан прикрыла от солнца дымовое отверстие юрты войлочным кругом, чтоб было попрохладнее. Но в наступившей темноте ее обуял такой страх, что она не вытерпела, вышла и откинула круг. Постояла на свежем воздухе, озираясь по сторонам. Куда ни глянь — безлюдье, глухая тишина в аиле...

Немного погодя Зуракан вернулась в юрту. Солнечные лучи, падая сквозь дымовое отверстие, ярко освещали земляной очаг, образуя большое светлое пятно вокруг него. В юрте стало веселей.

— Боже мой! Как все же хорош белый свет!

Почувствовав некоторое облегчение, Зуракан выпила одну за другой две пиалы кумыса и опять склонилась над овечьей шкурой.

Она торопилась закончить начатую работу и, размечтавшись о том, как хорошо было бы ее, редкую для женщины богатырскую силу тратить не на бая, на себя самих, не услышала даже, как кто-то приоткрыл полог.

Вошедший воровски, бесшумно подкрался к ней. Не дав опомниться, с жадностью голодного волка, с плотоядно горящими глазами стиснул Зуракан обеими руками со спины.

Зуракан мигом разогнулась, испуганно крикнула:

Ой, кто это?!

Кто бы это ни был, но у него были сильные руки, они стискивали ее все сильнее. Казалось, сейчас опрокинут ее на землю. - Если это шутка, буду просто бороться с тобой. А если... дну тебя так, что ты у меня сразу пластом растянешься.—Зуракан тотчас сделала резкий рывок всем телом.

Нападавший ослабил руки и, с трудом удержавшись на ногах, закричал в замешательстве:

Чего стоите? Идите скорее сюда, дурачье! Один за другим вбежали в юрту два дюжих джигита. Черный, сухопарый, в чепкене из грубой домотканой шерсти угрожающе надвинулся на нее:

— Ты, баба, не вздумай сопротивляться, не мучай себя зря. Мы пришли лечить тебя от твоей болезни.

Вне себя от негодования, Зуракан приподняла правую руку со сжатым в ней мангелом¹ почти касаясь ею своего левого уха, и, собравшись с силами, ударила локтем того, кто держал сзади, да так, что у того екнуло внутри. Он невольно разнял руки, клещами сжимавшие ее, и отлетел назад, со всего маху ударившись о деревянную решетку юрты.

— Кокуй, убила она меня... Да она в самом деле бешеная... Будьте осторожны с ней...

Зуракан даже не оглянулась. Поняв, зачем эти верзилы напали на нее, Зуракан вырвалась из рук того, кто держал ее сзади, и устремила прямо на чернолицего:

— Скорее женишься на собственной своей матери, чем сумеешь меня «вылечить», болван!

И схватилась с ним. Но у чернолицего были сильные жилистые руки: он вцепился в плечи Зуракан. Его судорожно сжимавшиеся костлявые пальцы все жестче стягивали ей плечи, нестерпимо больно защемляя кожу сквозь платье. Кто знает, будь это обычная борьба, ради того, чтоб померяться силами, Зуракан, возможно, и запросила бы пощады. Но сейчас она изо всей силы ударила чернолицего головой в грудь — тот отскочил к двери, чуть не упав навзничь. Не давая опомниться, изогнутой стороной мангела ударила его в пах. Хватнув ртом воздух, чернолицый присел на пол и, схватившись обеими руками за низ живота, сжался в комок.

— Убила... убила она меня... бешеная шлюха...

Зуракан побежала было в выходу, путаясь в разорвавшемся надвое сверху донизу платье из маты², как двое мужчин снова вцепились в нее. О, как бесстрашно храбр бывает человек в ярости, каким пламенем вспыхивает в нем сила! Что с того, что Зуракан была молода и носила имя женщины! Но она обладала подлинно богатырской статью, она могла за один раз притащить с гор столько дров, сколько можно навьючить лишь на быка тыщ коня. Вне себя от ярости, она опрокинула обоих мужчин и на-; валилась на них.

Прерывисто дыша, она осыпала насильников самыми обидными ругательствами:

— Вы думали, что надругаетесь над слабой женщиной, ишаки подлые! Но я не из тех, над кем можно надругаться, а вы не из тех, кому я позволю надругаться над собой! Нате, возьмите мой абалак³. Заткните свое поганое хайло! Нате! Нате! — Она давила, мяла своим телом обоих мужчин, которые бессильно бились под ней...

Заметив, что сзади подбегает третий, она выскочила из юрты, ударившись при этом головой о косяк. Зуракан, сотрясаясь от бешенства, словно бурлящий котел, вдруг увидела Текебая сидевшего с несчастным видом у самой двери, раскорячив ноги и обливаясь слезами. Она разразилась горьким плачем и начала осыпать мужа безжалостной бранью:

— О... собака бесчестная, да ослепнут твои глаза! Чем плакать, лучше бы удавился на своем учкуре! Позволить потерявшим совесть жеребцам издеваться над собственной женой! А я-то, дура, надеялась, что у меня есть муж! Пусть бы лучше? ослепли, а не плакали твои глаза, о горемычный олух!..

Не двигаясь с места, Текебай бормотал:

— О дорогие, ведь она жена мне, не трогайте ее. Пусть болеет, если больна. Пусть не лечится, если не хочет лечиться. Не трогайте ее...

Зуракан сразу сникла. Сделав несколько неверных шагов, она тотчас вернулась и, забыв об опасности, присела рядом с мужем на землю, — О боже, у меня не муж, а могила разверстая! Вместо того, чтоб защитить честь жены, с которой спит в одной постели, этот несчастный льет слезы, вопя и рыдая, как последняя баба... Чем течь слезам, лучше бы уж вытекли твои глаза! И по- ; чему, о боже, ты терпишь рыдания этого бедняги? Почему позволяешь ему унижаться перед женщиной, рожденной богатыршей? Голос Зуракан стал особенно горестным, и Текебай вскочил с места, жалобно восклицая:

— О дорогие, ведь она жена мне... не трогайте ее! Не трогайте...

Один из молодцов, махнув на Текебая рукой, принялся распекать его: 1

— О, чтоб ты провалился сквозь землю, растяпа несчастный! Разве плохо, что мы хотели вылечить твою жену?

Чертыхаясь, они скрылись за юртой.

Зуракан вскочила. В руке у нее все еще была зажата рукоятка мангела, отчего правый кулак ее казался огромным. Нет, ни перед кем она не потупит взгляда. Густые ее волосы были взлохмачены, полы разорванного платья волочились по земле, сквозь прореху виднелись голые колени. По щекам, по шее стекал тоненькими струйками пот, горькие слезы смочили лицо. Она, не оглядываясь, шла, сама не зная куда.

— Я уважила дух твоих родителей. Но ты не защитил мою честь. Теперь пеняй на себя, все грехи на тебя падут. Пусть теперь клянут меня те, кто хочет доконать всяческими муками! Суждено мне умереть — умру, но позор и бесчестие терпеть не буду!

Джигиты не окликнули ее, чувствуя свою вину. Один шагнул было следом за ней и застыл на месте.

Чернолицый, которому удар изогнутой стороной мангела пришелся в пах, закричал чуть не со стоном:

— Эй, Текебай, муж ты или нет? Кровь в тебе течет или водичка? Беги за женой, останови ее! Мы все будем в ответе, если эта бедняжка бросится с обрыва! Задержи ее, говорю тебе! Задержи ее, несчастную гордячку!..

НА БАЗАРЕ

— Говорят, сам Ленин так сказал: «Это не какой-нибудь обычный сход, а открытие пути к свободе!» Потому и решили съезд провести в двух местах: Кавказ — отдельно, Средняя Азия — отдельно. Теперь поедem в Ташкент,— объяснила Рабийга своим подругам.

Огорченная известием, что долгожданный большой съезд женщин будет проходить не в Москве, куда приехали из такой дали, Батийна приуныла. А Анархон, наоборот, обрадовалась, услышав слово «Ташкент». Зарделись от радости ее и без того румяные щеки, засияли глаза:

— Разве вам не хочется в Ташкент, Батийна-хан? Ведь Ташкент тоже очень большой город.

Этот невинный вопрос непонятно почему задел Батийну, и она ответила, насмешливо отмахнувшись, как это вошло в обыкновение у женщин из глуши:

— Не хвасталась бы ты лучше своим Ташкентом, жена сарта! Если каждая из нас начнет, подобно тебе, нахваливать свое, глядишь, и наш большой аил не уступит твоему Ташкенту!

Батийна вложила в эти слова не столько насмешки, сколько добродушной шутки, чтобы рассмешить подруг. Веселая болтовня и подкусывания помогали им не замечать утомительной дороги.

Под общчеловеку, взбирающемся с хребта на хребет, они бодрили Батийну задолго до прибытия в Ташкент.

«Если б наш Ленин не открыл нам пути, разве довелось бы нам увидеть то, что и не снилось нашим предкам? Разве позволили бы нам перевалить через хребет даже на самой паршивой лошаденке? Но и углядеть все за всех я одна не могу. Эх, кабы побольше приезжало сюда, в Ташкент, истосковавшихся по вольной жизни девушек и молодух!» — размышляла Батийна.

Перед глазами Батийны вставали такие бедолаги, как Зуракан и Канымбюбю.

А ведь Зуракан, хоть и носит имя женщины, сильнее, проворнее, умнее многих джигитов. Не зная и ночью и днем отдыха, она справляется с нескончаемыми домашними работами. А ведь говорят, что терпеливый и иголкой колодец выроет, упорный и пешком до Мекки дойдет. Если б такие, как Зуракан, сами бы пользовались плодами своего труда! Да они на ровном месте воздвигли бы мельницы, в голой пустыне вырастили сады.

А беззащитная сиротка Данымбюбю! Так согнули ее с малых лет пережитые невзгоды, что осталась она низкорослой, подобно вогнанному глубоко в землю колышку... Эх, побывать бы им в тех местах, где побывала она, Батийна! Повидать бы то, что повидала! Боже мой, если б они приехали на этот съезд!

Батийна прислушивается к стуку колес, наблюдает за двумя мальчишками.

Они то верещат, то скачут от одной двери вагона к другой, не дают покоя пассажирам. Отец их, угрюмый человек с красными, как пламенеющие головешки, глазами, и не думает их унять, словно не замечает, что они озоруют. Он сидит в углу, отъединившись от остальных пассажиров, и пьет «Симбирикче»¹ прямо из горлышка, закусывая свиным салом и утирая время от времени рукой свои густые, наглухо закрывающие ему рот седые усы.

Батийна, которую затошнило от одного его вида, прикрыла глаза.

Под однообразное постукивание и покачивание Батийна задремала и наконец уснула крепким сладким сном. Заснула, не поправив подушки, не накрывшись как следует одеялом. Лежала, склонив голову набок, придавив ею правую руку. Заметив это, Анархон засуетилась, будто над своим ребенком:

— Ой, бедняга, свалилась так, словно муж избил палкой до полусмерти! И руку придавила, затечет ведь.— Ворча себе под нос, она осторожно поправила подушку под головой Батийны, высвободила ей руку.— Теперь спи, сколько поспится.

Если б даже из-под головы у нее совсем вытащили подушку, Батийна все равно не почувствовала бы,— «ведь, она сейчас мчалась на чем-то быстролетном над бескрайними просторами. «О Зуракан, о Канымбюбю,

Гульбюбю, где вы? О горемыки, погрязшие в скорби и страданиях, где вы? Бегите из ичкери, спешите скорее на съезд! На большой съезд!» Так, паря где-то в вышине, сзывает Батийна всех знакомых страдалиц, выкрикивая одно за другим имена. Затем плывет среди клубящихся, как белые волокна, облаков.

Вдруг ей показалось, будто кто-то налетел на нее. Вздогнув от сильного толчка, Батийна проснулась.

Было уже утро, в вагоне стало светло. Место, где усатый уплетала сало, теперь пустовало. Не видно было и его озорников. Слава богу, видно, сошел на какой-нибудь станции или перебрался в другой вагон.

Между тем с верхней полки послышался голос Рабийги:

— Эй, Батийна, поторапливайся. С последней станции трогаемся. Следующая — Ташкент!

Как и Яледовало ожидать, в вагоне наступило оживление. Одни одевались, другие только еще умывались, третьи укладывали вещи в чемоданы или связывали в узлы. Батийна и ее подруги, не обремененные большим багажом, стояли в проходе, готовые выйти сразу же, как только остановится поезд. Трое из них приникли к окну вагона. Только Ракийма все еще была занята поисками куда-то запропавшей калоши. Еще долго сокрушенно вздыхая, искала бы свою потеряшку Ракийма, если б Батийна не подошла к ней и не вытащила бы калошу из наружного кармана халата Ракиймы.

— Апе-ей, Ракийма-эже, видно, вы так соскучились по дому да по старику своему, что не помните, что и делаете. Сунули калошу себе в карман и целое утро ищите ее.

Ракийма даже присела, раскрыв от удивления рот: — Э-э... что за чудо, боже? Как она попала сюда?

— Не сама же она влезла? Рук, ног у нее нет. Кто ж, кроме вас, мог положить ее туда?

— Кто-нибудь из вас подшутил небось, непутевые,...

— Посудите сами, тетя Ракийма, кому придет в голову так шутить — засунуть калошу в карман?

Анархон, которая себя не помнила от радости, что добралась наконец до родного Ташкента, словно головой достигла неба, поддержала Батийну:

— Ой-ёй, тетя Ракийма, наденьте калошу скорее на ногу... не вздумайте оставить в кармане. Еще украдут.

Рабийга и Батийна весело рассмеялись.

Путешествие Батийны с подругами выпало на то время, когда цепкие традиции строго разделяли женщин и мужчин. О, не легко разбить вековые, пустившие глубокие корни обычаи предков, как не легко вручную разрушить черные гранитные скалы. Разве может покориться старый корень, пока не лишится всех своих соков и не разложится окончательно? Даже Батийна, выросшая в глухом горном аиле, и та угадывала чутьем, что в великом сражении еще много, много раз схватятся между собой белое и черное, справедливость и насилие, и еще многие падут жертвой на пути к равенству.

«Боже мой! Разве могли мужчины, которых учили познавать землю, пока есть конь, и познавать людей, пока жив отец, увидеть за всю свою жизнь столько, сколько мы увидели за эти два месяца? Даже Серкебаю, первому богачу в нашем роду, который немало поездил, промышляя скотом, не пришлось столько увидеть. «Побывал я в Кульдже — на востоке, в Ак-Су, Турфане — на юге. Дважды ездил в Андижан продавать скот, в третий раз вернулся! с полдороги», — говаривал он. Словно приснившиеся видения, хранит его память, как он ласкал на своих коленях прекрасную Гульбюбю, как пригнал за нее во двор Темиркана пятьсот отборных валухов... Он бросался судьбой Гульбюбю, как бросается азартный игрок костями. И швырнул ее в зловещую пучину страданий...» Так размышляла Батийна, словно подводила итог увиденному.

Еще в Москве Рабийга сказала женщинам:

— Надо всем нам одеться в самое красивое, что у нас есть.

Батийна и без того хотела показать людям, каковы киргизы. Решив пройти по главной улице в большом Ташкенте, она обрядилась во все лучшее.

— Ну, Анархон ханум? Мы готовы. Ты говорила, у тебя родные дяди живут в Ташкенте. Что ж, сведи нас к ним!

Батийна, которая, хоть и была в свое время лишена человеческих прав и продана за калым, никогда не прятала лица от мужчин, разговаривала с ними свободно. Не в пример Батийне, Анархон, привыкшую почти с детства убегать в тень от людских глаз, одолевал страх. «Боже! Что скажут почтенные люди, когда увидят нас на улице? «У-а, что за шлюха, которая открыла свое лицо перед мужчинами?» Или станут плевать мне в лицо? О-вай, отец, как мне быть?»

Батийна прервала мысли подруги:

— Пойдем, скоро оденешься, Анархон?

— Батийна-хан, милая, сходите вы одни. Мы с тетей Ракиймой здесь побудем.

Батийна удивилась:

— Эй, сартова жена, зачем же ты сюда приехала, если даже на улицу робеешь выйти? Пошли! Покажи темной киргизке, выросшей в горах, свой Ташкент!

К Батийне присоединилась и Рабийга: — Не прячьтесь в гостинице, посмотрим город!

Не оставили в цокое ни выбившуюся из сил Ракийму, ни запуганную Анархон. И целый день вчетвером пробродили по улицам города.

Сравнительно с Москвой Ташкент показался Батийне другим.

В Москве дома многоэтажные, улицы широкие, деревья растут редко. В Ташкенте улицы узкие, дома значительно ниже, многих почти не видно за длинными глинобитными дува-лами. Т° и Дело попадают подростки с узелками на поясе. Они бегут мелкими торопливыми шажками. На голове — корзинки с лепешками. Встречаются и мужчины в долгополых бязевых

рубашках с открытым воротом, медленно, неуклюже неся на коромысле ведро с едой, надсадно выкрикивая:

— Э, адаш, пирный горячий аш! Оближется тот, кто его поест.

Подобную торговлю всякой всячиной Батийна много раз видела и в Караколе, и в Токмаке, и в Пишпеке, и в Ауэлие-Ате, на железнодорожных станциях. Во время остановок поезда торговали пловом, мантами, урюком, кишмишом, джидой, сваренными бараньями ляжками...

Чтоб не потерять друг друга в беспорядочном людском сборище, четверо женщин держались за руки. Кишмя кишел шумный говорливый базар, про который пели: «Чего только не найдешь, не увидишь в нем». Потолкаешься — все увидишь, но ни одной женщины, ни одной девочки.

И те, что пьют чай на подмостках чайхан; и те, что торгуют урюком, кишмишом, наватом, лепешками, неся на голове свои корзины или держа под мышкой узелки, и те, что торгуют всякой всячиной в лавчонках, выстроившихся в ряд; и те, что торгуют скотом, завязав на поясе в платки кучи денег, — куда ни глянь, все кругом мужчины, везде и всюду, расшитые белыми или голубыми нитками, пестреют тюбетейки, шевелятся, как живые цветы, аж рябит в глазах.

Батийна не переставала удивляться: «О диво! Что за странный народ, даже на базар не пускают своих женщин».

Она поняла теперь, почему утром Анархон замялась: видно, боялась нарушить обычай...

В этот момент перед Батийной встал мужчина с черным, изрытым оспой лицом. Посмотрев на нее негодуя, буркнул:

— Э-э, бесстыжая!

Батийна не сразу поняла, кого это он так ругает. Не успела она опомниться, как мужчина презрительно отвернулся и отошел с видом благочестивого муллы.

— Шлюха бесстыжая! Перерезать тебе горло! — пробормотал он довольно внятно.

— Пойдемте отсюда, — тревожно сказала Батийна своим спутникам.

Провались они со своим базаром! — подхватила изнемогавшая Ракийма.

Анархон испуганно оглядывалась по сторонам. Пальцы ее, которые Батийна держала в своей руке, мелко дрожали.

— Еще хорошо, что не пырнул ножом... — прошептала Анархон.

Батийна мягко пожала ее руку.

— Какое дело незнакомым мужчинам до нас?

Неподалеку остановился бесшумный фаэтон. В нем важно восседал грузный мужчина со смуглым лицом. Едва двигая мясистой шеей, он обернулся к женщинам. Щуря глаза с припухлыми веками, то и дело открывая и закрывая рот, словно ему не хватало воздуха, он свирепо прохрипел:

— Это, видно, распутницы, бросившие своих несчастных мужей! Они просто взбесились с тех пор, как стали болтать о равенстве женщин. Ох, взбесились... Большая беда, о аллах!

Глянув на него, Батийна звонко засмеялась:

— Какая еще вам беда? По вас видно... что вы, ага, бежите от женщин на расстояние шестимесячного пути...

Толстяк в фаэтоне сделал испуганный вид:

— Что она там сказала, эта шлюха, а? Слава аллаху! Таких, как ты, шесть женщин у меня в объятиях...

Пройдя мимо не[^]о, Батийна отрезала:

— Если все жмутся к вашему пузу, похожему на казан, до чего же несчастные они, шестеро ваших жен, агатай?! Ха-ха-ха! Пошли, девушки!

— Э-эй! Погоди-ка, ты, семя проклятое! Эй, Ахмеджан, где ты? Приведи ко мне эту бабу!

Женщины ускорили шаг, свернув за угол.

В душу Батийны закралась горечь, словно она проглотила ядрышко дикого урюка. «Ах, непутевые мужчины! Хорошие и дурные, одинаково смотрят на нас, как на добычу. Выместила б я на этом пузатом толстяке свою злость... А мы думали, что кончились времена, когда и сборища и базары были уделом одних мужчин, а женщинам не оставалось ничего, кроме кухни да посуды. Погодите, мужчины, дайте нам получить в свои руки права, тогда поговорим с вами! Неужто все они — и возница с кнутом, и слоняющийся шалопай, и случайный попутчик, оказавшийся в одном вагоне, даже какой-то сонный толстяк, пялящий на тебя свои телячьи белки,—неужто все они считают своим долгом задеть женщину как можно оскорбительнее? «Кто только не переходит через брод, кто только не поцелует молодуху?» — говорят одни. «Тот не мужчина, кто выпустит попавшегося ему зайца»,—бесстыдно усмеваются другие. Когда же мы станем их равноправными подругами, достойными их женами, умными советчицами, настоящими их друзьями и соратницами, переносящими вместе с ними и жару и холод?» — мучительно доискивалась Батийна и не находила ответа.

Она с особым сочувствием посмотрела на Анархон, точно только сейчас проникла в ее горестные тревоги, и негромко сказала:

— Ой, Анархон! Когда ты глянешь своими сияющими карими глазами, я влюбляюсь в тебя, милая! Давай скрестим свои мизинцы. С этого дня — неразлучные друзья мы! Не будем заноситься, не будем обижать друг друга, сестра моя.

батийна держит речь

рабийга, у которой раскраснелись щеки, была огорчена виденным и слышанным на базаре.

— Ах, алла-а! Мы устали бить¹ сегодня больше, чем за } два месяца пути!

— И без твоего бить надоели нам издевки рябых и пуза-мужчин,— с раздражением ответила Батийна. Рабийга дернула руками, словно схватилась за горящий эль, и сказала скороговоркой:

— До начала мажлиса осталось совсем мало. А мы еще на %региш не ходили, базарим до сих пор.

— Ой, объясни нам толком, татарская жена! На какой эре-гиш мы должны пойти? — воскликнула Анархон.

Рабийга шумно рассмеялась, хлопая себя по бедру:

— Это запись, регистрация! Я бийть сказала: все делегации, что приехали на большой мажлис, должны записаться, понимаешь? А мы пошли базарить, просто шататься по городу...

— Брось ты, Рабийга, дорогая. Разве откроют мажлис без нас, когда они сами нас пригласили?..

Рабийга заторопилась:

— Пойдемте скорее. Нам очень стыдно будет.

Каждая чувствовала себя виноватой. Ракийма бодро зашагала, невнятно выговаривая себе под нос: «Стыдно, стыдно... зачем пошли базарить, приехали из такой дали...»

— Скажи, запишут нас теперь? — обратилась она к Рабийге.

— Записать-то запишут, — с досадой ответила Рабийга. — Но хочется первыми попасть.

У Батийны легко, радостно на душе, словно угодила на несказанное торжество. Никто не упрекнул: ты, мол, опоздала, неотесанная киргизка! Девушки, что вели запись, полны внимания. Любезно спрашивают каждую из делегатов: «Как ваша фамилия? Как ваше имя? Из какой республики приехали? Какой вы национальности?»

Словно сестры, встретившиеся после долгой разлуки, они смотрели на делегатов с трогательной сердечностью. «Эх, боже! Если б люди везде и всюду, во всякое время были вежливы Друг к другу! Чувствуешь себя так, словно дали в руки светильник пока ты слепо брел в непроглядной тьме. За очень короткое время узнаешь многое... Даже стараешься исправить свои недостатки. Нельзя же в самом деле подводить свой народ в таком святом месте, где собралось столько людей. Есть ли тут представители от наших братьев—казахов? Сарты, татары, уйгуры — наши братья. А каракалпака почти не отличишь от киргиза и казаха. Интересно, какой язык у таджиков? Ах, боже мой, сколько языков мы б знали, если б раньше нам дов лось учиться?»

Приехавшие со всех концов люди расселись в просторно светлом зале, вот-вот должен был открыться большой курултай. В президиуме стали выкликать имена.

«А-а, наверное, назовут имена всех сидящих здесь», — думала Ракийма удивленно.

— Батийна Казак кызы. Из Киргизской автономной области! — назвала женщина, читающая список.

— Вай, Батийна, тебя в президиум избрали! — воскликнула Рабийга.

Батийна и не заметила, как поднялась с места и пошла к столу президиума. Она бесшумно заняла место рядом с «начальниками», которые уселись за покрытым красной материей длинным столом на помосте, откуда было хорошо видно всех в зале.

На Батийну нахлынули горячие, нежные чувства, каки бывают у только что проснувшегося от сладкого сна ребенка. Заметно стесняясь, она еще не могла охватить все, что происходило и с ней, и вокруг нее, и только удивленно задавала себе вопрос: «Не мой ли особенный наряд привел меня к столу президиума? Да, видно, мой наряд. Элечек мой, мой амулет, бел-; демчи и платье с двойными оборками! Как они хорошо сидят на мне! Даже горожане засматриваются».

Глаз радуется, когда смотришь на этих женщин, что сидят ряд за рядом, словно нанизанные на нитку кораллы. Не шепчутся, не шевелятся, все молча слушают речи. У многих загоревшие под жарким солнцем черно-смуглые лица, ярко-красные платья.

Цветет, переливается просторное помещение, где происходит курултай, напоминая усыпанный цветами горный луг.

«Не одна я мечтала о свободе. Не одни мы, киргизские женщины, выросшие в горах, мечтали о ней. На свете, оказывается, очень, очень много женщин еще более отсталых, чем мы, еще более угнетенных, чем мы. Вон, смотрите! Даже находясь на съезде, иные не осмелятся взглянуть на мужчин. А сколько таких, что сидят, пряча лица под платками и опустив головы вниз, жмутся друг к другу и настороженно шепчутся между собой...» — текли, струились, как песок, мысли Батийны.

— Свобода, о которой мечтали веками, наступила теперь. Не прячьте головы, чувствуйте себя свободно! На делегатов возлагаются большие обязанности: приехав на места, вы не должны прятаться в ичкери и закрывать свои светлые лица черной паранджой. Приехав на места, вы проведете собрания женщин и девушек, живущих до сих пор в угнетении и неравенстве, расскажете обо всем, что слышали здесь. Слушайте внимательно доклад, подняв головы. Если у кого есть вопросы, задавайте без стеснения. Кто хочет выступить, пусть выступит,— говорили с трибуны.

Те, кто проводили этот съезд, совсем не походили на биев, которые выносили свои приговоры, мыча что-то себе под нос и потряхивая бородами. Каждый говорил то, о чем думали сами ясенщины.

«Боже мой! Неужто я слышу эти светлые, справедливые слова своими ушами? Ведь не только дочери, но и сыны нашего народа были далеки от учения. Теперь сами люди власти призывают нас учиться, получать знания, овладевать ремеслами. Это ты велел им сказать эти слова, дорогой Ленин!» — чуть не вскричала Батийна.

В это время председатель объявил:

— Продолжение курултая переносится на завтра. Подготовиться тем, кто хочет выступить.

В тот же вечер делегаткам съезда показали представление. На сцену вышла молодая женщина, похожая на тех, что встречались на улицах Ташкента, но с открытым лицом.

Мужчина с курчавой бородой бросился на нее с ножом. Однако не смог убить ее. Батийна была вне себя от радости, когда на сцене появился командир с

наганом, похожий на Жашке. Командир отрезал дорогу мужчине с курчавой бородой. «Молодец!» — закричал весь зал, неистово хлопая в ладоши. Но кто-то сзади Батийны крикнул: «Эй, дурак, пырни ножом! Чего стоишь?..» С двух сторон на сцену вышли юноша в пестрой тюбетейке и девушка с косичками. Каждый нес красное знамя. Все поднялись.

— Да здравствует! — громогласно неслось по залу. Юноша и девушка со знаменами, встав рядом, бросили клич:

— Женщины и девушки Востока, идите по пути свободы! У Батийны по телу пошли мурашки. Она воскликнула во весь голос:

— Жаша-а! Живите, милые!

Рабийга подвела Батийну к рослой белолицей женщине.

— Вот мы и пришли к вам, Шарапат Нурпаисовна. От нашей делегации будет держать речь Батийна Казак кызы.

Шарапат Нурпаисовна посмотрела на Батийну внимательно и с искренней сердечностью, словно давно была с ней знакома. Ни на лице, ни на высоком лбу немолодой женщины морщин не было и в помине. От ее больших карих глаз веяло материнской теплотой.

— Ведь ты сестра мне, Батийна, — заговорила она грудным голосом. — Будь мы сейчас дома, я бы поцеловала тебя в щеки. Давай пожмем друг другу руки!

Батийна протянула ей руки сдержанно: в горных аилах у женщин нет привычки здороваться за руку. При встрече со старшими принято мягко, грациозно поклониться и, чуть отстранившись в сторону, уступить дорогу. «Хорошо воспитанная женщина!» — подумала Шарапат Нурпаисовна и заговорила по-киргизски:

— Было ли когда, чтобы мы, «белоушие» женщины, смели держать речь на столь многочисленных съездах? Ничего удивительного, любая из нас может растеряться, взявшись за непривычное дело. Если застесняешься, даже пот прошибет. — Она перешла на казахский язык. Случайно ли? Или ей трудно было говорить по-киргизски? Как бы то ни было, Шарапат заговорила на смешанном казахско-киргизском языке, обращаясь к Батийне, как к самому близкому человеку: — Не теряйся, сестра моя. Ты выступаешь от имени всех женщин Киргизской автономной области. Времени у тебя вполне достаточно, чтобы как следует все обдумать... Ой, сейчас мажлис начнется! — спохватилась Шарапат и поднялась с места.

Батийна смотрела на нее и не могла решить: кто же Шарапат Нурпаисовна — казашка или татарка? Рабийга взяла ее за руку:

— Айда, Батийна! Надо подготовиться.

Батийна, бойкая у себя дома, тут растерялась: «Боже мой, о чем же я скажу? И кто здесь поймет мою киргизскую речь?»

— Эй, Рабийга, может, ты объяснишь?.. Ведь я смогла бы говорить только на родном языке, а тут, наверное, мало людей, кто знает киргизский.

Шарапат отошла было от них и снова вернулась.

— Сестра моя, тебе опасаться нечего. Говори по-киргизски! Кое-кто из таджикских женщин да русские, возможно, не поймут тебя... остальные хорошо поймут. Когда это было, чтобы киргизы и казахи, узбеки и уйгуры нуждались в переводчике?

— О чем же мне все-таки говорить, апа? — сказала Батийна и тут же смолкла: «Зачем я назвала эту женщину «апа»? Может, нехорошо?»

— Смело говори о том, что ты сама пережила, — советовала Шарапат Нурпаисовна, мешая киргизские слова с казахскими, — киргизский народ я тоже хорошо знаю. Не раз, ночевала в юрте. Коров доила с подойником. По тому, как Шарапат произнесла слова сыйыр — корова и мосу — подойник, Батийна решила, что Шарапат Нурпаисовна казашка.

— Так что, сестра моя, без всякого стеснения расскажи о том, что пережила сама, — повторила Шарапат Нурпаисовна. — Твря жизнь — это жизнь киргизских женщин.

— Что в моей жизни интересного? Да поймут ли другие? — взволновалась Батийна.

— Ой, сестра моя. Да ты трусиха! Ведь наши кочевые народы хорошо умеют по-своему говорить. А киргизскую женщину, сидя у очага, особенно интересно слушать. Как жемчуга на нитку, они так и нижут слово за словом, так и сыплют ими! Вот расскажешь всем делегаткам, сколько ты перестрадала и как мечтала о свободе. Скажешь свое спасибо Ульянову-Ленину, он открыл путь к свободе женщинам Востока. Знай же, Батийна, ес#и ты испугаешься и не выступишь, мне будет очень обидно за тебя. — И Шарапат заключила чисто по-казахски: — Откройся, дорогая моя, как жилось тебе, какие муки перенесла...

Оставшись вдвоем с Батийной, Рабийга сказала:

— Да хранит тебя аллах! Главное — не бойся. Скажешь от души, что видела и что пережила.

После пяти человек дали слово Батийне. Какого же труда стоило ей пройти по залу до сцены и заставить себя подняться на трибуну. Глаза ее ничего не видели. И сама не заметила, с чего начала свою речь. Обошлось без покашливания и без стакана воды, как это делают иные ораторы. Кроме Канымбюбю, Гульбюбю и Зуракан, Батийна никого перед собой не видела. И говорила именно о них, как ее давеча учила Шарапат-эже.

Задрожал пропитанный горечью голос, и она сама чуть дрожала. «Не бойся, Батийна. Твое слово — от имени своего народа. Крепись!» — внушал сильный своей правотой внутренний голос. И Батийна дала себе волю, говорила все смелее и откровеннее.

В конце изо всех сил громко произнесла:

— Да здравствует свобода женщин Востока! Да здравствует советская власть! Батийна долго опасалась, что никто ее не поймет. И как же ее потрясло, когда увидела, что некоторые из женщин в этом светлом зале утирают слезы на щеках.

НА ПЕРЕВАЛЕ

Далеко от заселенной аилами долины, у безлюдного подножия перевала, Зуракан увидела саю грифов, что кружили над снежными вершинами. Ничего в том диковинного, что грифы в это время усеяли ясно-голубое небо черными точками, как и в том, что человек пешком переваливал через эти хребты. Подстегиваемая гневом и обидой, она не испытывала страха, не шарахалась в стороны, волоча по земле полы разорванного в клочья платья. Наконец подобрала их и завязала на поясе. Разлезлись по швам низы бязевых штанов, оголяя колени на каждом шаге. Она не задыхалась, потому что с детства привыкла ходить по горам, не чувствовала, как ноют икры ног, как щемят, саднят подошвы. Женщина шла и шла, только голые пятки сверкали да тоненькими ручейками катился пот со щек, заливаясь за ворот, но она все взбиралась вверх.

Однажды почувствовала, как от жажды высохло у нее во рту, склонилась над родником, что выбивался из-под скалы, и напилась ледяной воды. Больше о воде она не вспоминала, хотя слюна у нее становилась все липучей. Не думала и об еде, хотя уже сосало под ложечкой. «Не умру я с голоду в объятиях наших гор,—успокаивала себя Зуракан.—Лишь бы не напали волки. Но чего мне бояться волков, все-таки я называюсь человеком как-никак... Если, случаем, набредет стая, разобью палкой голову одному-двум из них». Но даже ей пришлось крепко поднатужиться, чтобы сломать у корня толстую рябину под скалой.

Она бесстрашно шагала, опираясь о кряжистый конец рябиновой палки. Конечно, выскочи вдруг медведь или тигр, она бы, пожалуй, струхнула. А волка ей нечего бояться, чтоб ему кишки разорвало!..

Зуракан слышала от матери, как ее бабушка на седьмом десятке схватила за хвост забравшегося к ним в загон волка и задушила его, пока старик прибежал на выручку. Выходит, что Зуракан уродилась в свою богатыршу бабушку. Как бы то ни было, Зуракан любила послушать истории о сильных, смелых, стойких людях, будь то о мужчинах или о женщинах, и сама стремилась походить на них.

Эх, если б посадили ее на коня и позволили схватиться с самыми сильными, с самыми ловкими джигитами. Люди бы сказали: «Молодец, Текебай! Изо всех девушек выбрал Сайкал!¹». В мгновение ока она стащила бы с седла первого храбреца среди мужчин. «Бали! Бали-и!² Вот так молодка! — закричали бы люди.—Здорово! Здорово!» А она сидела бы на своем гнедом, он копытил бы землю и рвался бы под ней, сидела б такая гордая, счастливая, и сквозь толпу направилась бы получить положенный приз из рук почтенных аксакалов.

Полная глухой досады, Зуракан не переставала твердить Текебаю, когда они оставались вдвоем: «Духи твоих предков уже не будут в обиде на нас. Надо нам во что бы то ни стало уйти от байбиче. Сладим себе шалашик из трех жердей и заживем по-своему. Человек рожд&ется на свет не затем, чтобы рабствовать и перед кем-то унижаться. Каждый хочет жить по-человечески да оставить на свете свой след.'.. Не знаю, какой приворотной травой эта

Букен затуманила тебе голову... Наверное, мед капает с ее языка. Может, на лбу у нее горит светильник, которым она заволаживает тебя...»

Текебай одергивал ее: как-никак муж. Но одергивание тщедушного Текебая слабо действовало на Зуракан. И моло-духа-богатырша снисходительно отвечала мужу: «Ах, нескладный ты мой, что нас ждет, если мы и дальше будем покорно терпеть?»

Чем выше взбиралась она по склону, тем больше раздумывала о своем Текебае, с которым сошлась еще девушкой с пятью косичками.

В тот день, когда холостяки, жаждавшие потешить свою мужскую похоть, набросились на нее, как голодные волки, кто-то предупредил ее от чистого сердца: «Будь осторожна, Зуракан. Букен — белая змея, натравила бесчестных глупцов, чтобы опозорить твоё имя». И она напрягла все силы, собрала все свое мужество. Когда ей пришлось отбиваться от насильников, в ней вспыхнула ненависть к Текебаю: вместо того, чтобы отстоять честь законной жены, он беспомощно озирался по сторонам, сопел, плакал, глядя умоляющими глазами то на одного, то на другого.

Где это слышано, где видано, чтоб мужчина, у которого тебетей на голове, был таким беспомощным слюнтяем?

Косые лучи солнца ложились за зубчатые хребты. Потемнело в глубоких ущельях, посуровели серые скалы. Спала жара, что пекла с утра, повеяло зябкой прохладой. Снежная вершина вдали сверкала некоторое время, как догорающая свеча, но вот погасла и она. Зажглись мигающие большие бледно-желтые звезды. Сегодня они ближе и светлее обычного, и кажется, что рослый человек, вооружившись укрючиной подлинней, сможет подцепить звезду на чистом синем небе.

Зуракан брела среди укрытых одеялом ночи гор, как невидимая глазу песчинка. Ночная прохлада избавила ее от жажды. Но голод давал себя чувствовать. Зуракан бы с жадностью выпила сейчас целую чашку максима³. Вдруг она ясно услышала шорох. Впереди мелькнула серая тень и, вытягиваясь в длину, исчезла в темноте. Вздвогнув от неожиданности, Зуракан вскрикнула:

— Айт, подлюга! Пошел! Пошел!

Она остановилась на миг, прислушалась. Со всех горных ущелий гулко донеслось:

«Айт! Айт! Пошел! Пошел!» , Зуракан считала себя бесстрашной и сейчас невольно посмеялась над собой, что вздрогнула от испуга, и пристально огляделась по сторонам. Величаво дремлют темнеющие вершины. Откуда-то из глубины ущелья то приблизится, то чуть при-глохнет шум реки.

Отовсюду обступают какие-то смутные силуэты — одни торчат неподвижно, другие шевелятся, будто живые. Человек, впервые попавший сюда из равнинных краев, принял бы эти причудливо переплетенные тени за чудовищ. Но Зуракан днем и ночью привыкла жить в объятьях гор, и ей эти летучие видения не в диковинку.

«Где бы отдохнуть? Но стоит ли сейчас останавливаться? Озябну в ночной прохладе...»

Откуда-то послышался собачий визг.

Зуракан шла, волоча по земле свою рябиновую палку.

Продолговатая серая тень опять скользнула слева от нее и протянулась по земле.

Женщина застыла на миг и, сжимая покрепче палку, направилась прямо к серой тени:

— Айт, айт, проклятый!

Визг замолк сразу, исчезла и серая тень. Прошло еще столько времени, за которое мог бы вскипеть чай,— перед Зуракан встала скала.

«Это что? Не сбилась ли я с пути?»

Она постояла под скалой, давая привыкнуть своим глазам, и стала осматриваться. Извиваясь среди глыб камня, не遠далеке серел след тропинки.

«Ай, будь что будет! Куда-нибудь да выведет». И начала пробираться вверх меж больших, как сундуки, валунов. Постепенно след тропинки совершенно исчез. Камни попадались все крупнее и, громоздясь один на другой, образовали почти отвесную стену.

«Была не была! Чем прятаться от волков под скалой, лучше взобраться на самый гребень и провести там ночь, считая звезды...» И улыбнулась самой себе.

Опираясь на палку, она кое-как вскарабкалась по отвесной стене. Кругом — каменные глыбы. Но вот попалась небольшая, с войлочный потник, почти ровная площадка, и Зуракан прилегла, подстелив, как говорится, камень и подложив камень под голову, а полы разорванного в клочья платья разостлала под бока.

Перемигиваются бледно-голубые желтые звезды, мерещится — вот-вот упадут к тебе в руки...

Если не обращать внимания на то, что каменная постель с каждой минутой остывает, как привлекательно, как заманчиво глядеть на вселенную со скалы! Какие достались человечеству просторы мироздания! Досадно, как трусливы бывают люди, которые мучают друг друга среди такой величественной, несказанно щедрой красоты!

«Ничего, ничего. Дам себе отдохнуть, а то завтра придется шагать целый день. Вздремну немного».

Не понять, задремала ли Зуракан. Сама не чувствует, как жметесь на стылом камне и всем существом дрожит, словно новорожденный щенок. Сладкий сон, не одолимый ни голодом, ни смертью, берет ее в свои блаженные объятия.

Она не чувствовала, как ноют избитые ступни и щемят царапанные икры ног, как вдавливаются шершавый камень щеки, в плечи, в бока, как гложет ее мучительный голод, как -сквозь прознабливает ночной ветерок. «Лишь бы отдохнуть умного. Лишь бы отдохнуть. Перевалить как-нибудь эти горы.

Увидеться с отцом, с матерью...» — внушала она себе. Минуты ли прошли,

может, и час. Зуракан показалось, точно кто дернул палку, с которой она, ни на миг не выпуская из рук, лежала в обнимку.

Женщина тотчас вскинула голову. Никого. Никто палку у нее не отнимал. Видно, она просто разжала кулак, когда заснула: выпав из рук, палка лежала чуть в стороне. Не проснись Зуракан вовремя, палка сползла бы и покатилась вниз. словно цепляясь за последнюю надежду, Зуракан торопливо схватила палку и прижала ее к себе. Она уже не могла заснуть.

Казалось, вместе с Зуракан проснулось все вокруг. Откуда-то донесся настороженный шорох. Где-то заскулил неведомый зверь. Скоро он перестал скулить. Зуракан до рези в глазах вглядывалась в черноту. Серые глыбы камня. Одни торчат, словно люди в рост, другие темнеют бугорками, словно жующие в дремоте овцы.

А что это маячит там, на серой извилине тропки, по которой взбиралась Зуракан: волк? или камень? Что за серая тень? И вдруг невесть откуда появилась испугнутая сова. Она летела прямо на Зуракан, словно хотела сесть ей на голову. — Айт! Страшилище поганое! Улетай прочь! Зуракан вскинула было руку, чтобы отпугнуть птицу, неожиданно сползла и ударились ступнями о камень. Он лежал на самом краю терраски. Сдвинутый с места, он покатился с грохотом, с раскатами по скале вниз, высекая в падении искры. Горы, еще секунду назад спавшие безмятежным сном, сразу наполнились эхом, вместе с камнем исчезла с тропы и унылая тень.

Озябшая, дрожа от холода и волнения, Зуракан неожиданно для себя запела, оглашая скалы и прислушиваясь к эху, рожденному ее голосом. Застывшими, шершавыми, как напильник, ладонями она терла себе бока, бедра, плечи, стараясь согреться.

Однажды Зуракан, еще подростком, отправилась вместе с отцом за дровами. Она рубила лес, помогала отцу, развлекая его своей болтовней. Вдруг увидела гнездо совы в расселине камня под раскидистой елью. Девочка залюбовалась двумя оперившимися птенцами, они запищали и захлопали крыльями, вот-вот сорвутся с гнезда и полетят. «Отец, давай я возьму одного совенка и выкормлю его», — сказала она, на это тот ответил: «Э, нет, дочка моя, нельзя их разлучать с матерью. Они проклянут тебя. Сова — священная птица». И у нее защемило сердце: «Ах, бедный отец. Какой он был сердечный человек! Ни на волосинку зла никому не сделал. Почему же свою единственную дочь отдал чужим людям и одну покинул где-то вдалеке?»

Сердце щемило, точно его посыпали солью, и перед глазами трепыхались незабытые птенцы. Зуракан помахала руками, как бы подражая тем птенцам, и поерзала на месте, смеясь собственной выходке:

— Да провалиться им в могилу! Проклятые семь жеребцов!.. Подлецы бесстыжие! Я не стану убиваться, лучше посмеюсь, сама себя подбодрю! Ха-ха! Ха-а-а-а!

Она хлопнула шершавой ладонью по камню:

— Чу, серый мой валун! Чу!.. Ха-ха! Ха-ха! Скалы со всех сторон отзывались эхом:

« А-а-х-а-ха-х-а-а-а ».

Зуракан прислушалась на мгновение к эху, разбудившему горы, захохотала опять. Скалы зазвенели, загремели.

Долго гремело эхо в горах. Прислушиваясь к своему хохоту — эхо разнесло его от скалы к скале,— Зуракан насторожилась: «О боже! Может, среди этих скал затаился кто-нибудь кроме меня?»

— О-у-у-у, скалы, затянем песню! — И высоким голосом, оглашая все вокруг, Зуракан запела: — Белый голубь, летящий в небе, а-а-а! Сядешь ли ты на вершину скалы, а-а-а! Придет ли счастье, э-э-эй, ко мне, тонущей в горе, в муках? А-а-а-ай...

Желтый серп месяца висел над мрачной вершиной. Восток понемногу серел; вытянув свои хвосты, белые звезды исчезли за линией горизонта, среди дальних гор. И чем меньше оставалось неярких звезд, пропадавших где-то в глубине неба, тем, казалось, сильнее разгорались резкие звезды, словно нарочно повешенные фонари.

Скинув с себя теплое одеяло, горы вставали во всем своем горделивом волшебстве. Светлое утро занималось быстро. Золотые ресницы солнца едва перекинулись на острые пики гор, как всюду заалели озаренные вершины. Постукивая концом палки по каменному полу терраски, Зуракан продолжала петь во весь голос:

— Ах, несчастный мой, кроткий мой! Сомкнул ли ты глаза хоть раз до утра? Я стою на серой скале. Под скалой зарятся на меня сивые псы. Им очень не терпится сожрать меня. А я думаю о тебе, несчастный мой. Если бы ты не дал белой змее замутить себе голову, мы бы жили с тобой, как люди. Не плачь теперь, не плачь, робкий ты мой!

Зуракан подошла к краю терраски и замерла, держа в руке палку, как древко знамени.

Волк, лежавший внизу среди покрытых лишайником серых валунов, взглянул на нее, но не шелохнулся. Он, казалось, говорил своим видом: «Всю ночь я слышал, как ты смеялась, как ты пела. Нет у тебя выхода. Все равно спустишься оттуда. Тогда-то и распорю тебе живот».

Зверь скулит время от времени, потеряв терпение, стучит они и жадно водит носом. Потом, подняв морду кверху, на-ает выть.

Вместе с волком и скалы и горы оглашаются раскатами эха. Волк перестает выть, Зуракан тут же запекает. Но на человеческую песню серые, сизые скалы не отзываются громоподобными раскатами, а тягуче подхватывают: — Ой, несчастный Текеба-ай! Пойдем искать свободу. Ой. пой-дем, эй! Пой-дем, эй!..

Стоит ей замолкнуть, и волк принимается выть. Скалы превращают его вой в дикие раскаты.

Еще девчонкой Зуракан не раз слышала разговоры взрослых у земляного очага:

— Ну и воет же этот кровожадный волк! Не то что собака. Как только он поднимает морду кверху, вытье вырывается изо всех его заверток. И один

волк как заведется — все равно что их десятеро... Сотрясается все ущелье от волчьего вытья. Человеку хочется бежать, чтоб не слышать жуткого воя, будь он неладен!..

Маленькая Зуракан то пугалась, то ей очень хотелось своими глазами увидеть волка, который «трубит» в зурну изо всех щелей». Может, правда, что с детства взлелеянные мечты человека обязательно сбываются? Да, сбылось давнишнее ее желание — волк лежал сейчас перед ней, клацал зубами, скулил и в бешеном нетерпении ерзал на месте.

Зуракан смотрела на него без особого страха, а с каким-то детским удивлением: «Ну, начнет он трубить в зурну изо всех своих дыр? Или эти зурначи лишь чьи-то вздорные выдумки? О, будь ты проклят, волк! Сзывай, сзывай свое волчье отродье! Пусть соберутся все клыкастые звери Великих гор! Пусть исчезнет мое имя, если я их испугаюсь! Я уже не боюсь смерти, готова к ней! А вы-то как?»

Волк был не один. Под самой терраской, на которой провела ночь Зуракан, она увидела серую волчицу. Волчица пыталась подползти к ней, виляя хвостом и вроде ласкаясь. Время от времени она тоже скулила и стучала зубами.

Зуракан вспомнила вдруг, как из рук у нее ночью выпала палка, и подумала* что это неспроста. Там, где 'лежал тигр, пожар не загорится. Так и тут. Разве осмелится зверь, каким бы храбрым он ни был, подойти к тому месту, где лежит человек, подложив под голову камень? Ведь человек — священное, могучее существо!

Солнце уже поднялось высоко. От нагретого гранита скалы веяло теплом. Тревога одолевала Зуракан, но она крепилась: «Не может быть, чтоб я стала добычей волков, а дубина для чего? Буду биться! Буду защищаться! На худой конец у моего трупа свалятся два-три волка с разбитыми черепами!» «Ну и молодчина, женщина! Здорово дралась! Настоящая богатырша!» — скажут те, что набредут на меня мертвую... Разве человек когда-нибудь падал на колени перед зверем, закрыв голову полами своей одежды? Да пусть провалятся они, эти волки! Разве мало было молодцов, которые расправлялись не только с воющими волками, но и с грозными львами!..»

Зуракан на какое-то мгновение забыла, что она одна среди скал.

— О люди! О подруги! О женщины в белых платках! Не опасайтесь, что несчастную Зуракан сожрут волки на перевале. Я не из таких, что сунутся волкам в пасть и погибнут. Тот, кто силен и смел, посмеется! Ха-ха-ха-ха! Она начала спускаться со скалы, упираясь палкой, то медленно сползая, то перепрыгивая с выступа на выступ. Очутившись внизу, она перекинула палку через плечо. Перед тем, как спуститься со скалы, она намотала куски разорванного платья на руки. «Схвачу его за горло, всуну руку ему прямо в пасть...»

Сквозь ключья штанин светились голые бедра, икры ног раздулись, в открытом воротах виднелись большие тугие груди. Поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, Зуракан словно заигрывала со своими возлюбленными:

— Эй, дурни, зубастые мои, где вы? Почему же не идете ко мне?

Ступни ее не чувствуют шершавости камней. В глазах у Зуракан и гнев, и мужество, и едва уловимая тоска одновременно.

Отойдя от скалы, на которой провела ночь, она неторопливыми шагами направилась к седловине перевала. «Эх, выпить бы хоть один чёйчэк холодного максыма!.. Не дамся так просто... Разве только если выбьюсь из сил...»

Еще не истерлось в памяти людей то время, когда дикое зверье рвало в клочья и пожирало в пустынях, степях и на высоких перевалах человеческие трупы или выбившихся из сил путников. И не только хищные волки, даже близкие друзья человека собаки вошли во вкус человеческой крови, бесились, дичали и нападали на одиночек. Развелись и такие волки, что покушались на людей, а скот не трогали. Охотники еще не успели истребить их до конца, хотя неустанно выслеживают их. Случалось до недавнего времени слышать, что кое-где в ущельях люди набредают на разорванный в клочья человеческий труп.

Была ли Зуракан уверена в себе, измученная на пустынном перевале? Ведь если не появится человек, волки обнаглеют и разорвут одинокую женщину. Зуракан подумала об этом, поднявшись на открытый со всех сторон склон горы, и почувствовала, что все тело бьет мелкая дрожь, ощутила, что слабеет.

«Что со мной происходит? Ведь я человек! Возьми себя в руки, баба! Крепись, непутевая!»

Держа наготове дубинку, она все шла неторопливым шагом, рослая, внушительная женщина с виду. Она все шла!

Как прекрасен этот светлый беспредельный мир! Как завораживают человека своим великолепием, своим богатством и красотой своей вон те вершины! В долине, по которой шла вчера Зуракан, уже близилась осень: с созревших трав осыпались цветы и листья, воздух пропитался особым благоуханием. А на перевале — словно нарочно расстеленный под ноги ковер, зеленая поляна, усеянная белыми, желтыми, синими, голубыми, розовыми, бордовыми, ярко-красными цветами, каких Зуракан и не доводилось видеть. Гордый гребень перевала будто вобрал в себя все краски и узоры, всю красоту и прелесть вселенной. Ступив на этот пышный цветник голыми исцарапанными камнями подошвами, Зуракан почувствовала сразу облегчение, словно шла по мягкой вате. «Ах, боже мой! Раскинулся бы аил на широкой поляне, рассыпались бы вокруг, словно звезды, белые овечки, а с того хребта спускались бы на конях джигиты... Я же, по-праздничному одетая, собирала бы джоргемиш¹ вместе со своими подругами. Примчали бы джигиты, обгоняя друг друга, и остановились перед нами с вопросом: «О дорогие джене, дадите нам соогат²?» Опустили бы голову девушки и молодухи, смущаясь... А я схватила бы самого озорного за чумбур его коня и стащила бы с седла: «Разве джигиты когда-нибудь требовали соогат с девушек и молодух, собирающих джоргемиш? Ну-ка, слезай с коня, если ты

такой охочий до соогатов! Поборолись, пошутили бы с ними, посостязались бы в песнях. А вечером качались бы на качелях, припевая: «Из семи шестов — качели, качайся на них не этак, а вот так, из семи шестов — качели, качайся на них не тихо, а быстро...» О боже, неужто мне суждено брести голодной и в конце концов быть разорванной в клочья на нашей прекрасной земле, когда мне впору миловаться с джигитом?»

Словно тронутая, Зуракан замахала палкой, подняв ее высоко над головой, и заголосила, глядя в небо:

— О боже, боже! Я зову тебя на помощь! Помоги мне, если ты на самом деле существуешь. Завтра уже будет поздно! За мной по пятам идут твои ненасытные псы, стуча зубами, не отводя от меня покрасневших глаз, готовые жадно наброситься на меня! Их трое, я одна. Они хищники, я человек! Скрути же своих хищников, боже! Помоги человеку, дай ему силы! Да-ай ему силы!..

Волки, подступившие было к женщине на длину аркара внезапно остановились.

Самец с сивой гривой, оскалив зубы, презрительно сморщил морду: «Эй, трусиха, подожди, не уходи!» И сел на задн лапы. Волчица остановилась, жадно вытянув морду в строго Зуракан, пожирая ее глазами. Озорной волчонок подошел бы вплотную к Зуракан, но свист размахиваемой палки натуг его. Поджав хвост, он убежал прочь на расстояние поле стрелы.

Зуракан невольно засмеялась:

— Эх, дурень... погибнешь ты. Лучше возьми своих родителей да поторапливайтесь скорее за перевал! Уходите проч.

Зуракан несколько раз стукнула ногой о землю. Волк сдвинулся с места, лег на брюхо, как бы изготовившись прыжку. От резких движений у Зуракан закружилась голов потемнело в глазах, по телу побежали мурашки. Она остановилась, покачиваясь. «О глупая моя голова, что я делаю? В жив те у меня пусто, во рту пересохло. Чем куражиться зря ; тратить силы, лучше соберу-ка джоргемиша и поем. Что одним ударом свалить любого, кто первым осмелится напасти на меня».

Держа одной рукой палку, которую поставила чуть подал ше от себя, другой она набрала горсточку джоргемиша. Пр« веяв на ладони мелкие блестящие, как просо, зерна, она загнула их в рот и быстро-быстро стала жевать.

Джоргемиш — от него чуть отдавало вкусом молока — показался прекрасной едой. Зуракан на короткое мгновение да» как-то забыла про волков. «Через эту пищу родные горы дай мне необходимую силу. Собирай скорее, набирай их поло рот... Если только жадные хищники одолеют тебя, они расширяют тебе живот, разорвут твоё тело в клочья! Копи силы, по; крепись, чтоб отбиваться! Ты человек! Человек! Ты не должны стать добычей хищников!»

Смерть и надежда вечно борются меж собой: первая пугает стращает человека, вторая подбадривает его, будит в нем чест и гордость.

Разбуженная человеческая гордость Зуракан сев час тормозила ее.

Перекидывая свою палку из руки в другук она собирала джоргемиш.

Второпях Зуракан не замечала щавельника. Щавель! На стоящий щавель на зеленой поляне посреди девяти перевало и припахивает кумысом! Зуракан даже приободрилась, слов но выпила большую чашу терпкого кумыса. «О, теперь меня и медведь не одолеет. Буду биться до последней капельки!..» И она опустилась на землю. Положив палку рядом с собой она выбирает спасительную траву с тоненьким стебельком узенькими листочками и розоватыми сережками, целыми пучками запихивает в рот и жует с хрустом, то и дело оглядывает по сторонам. «Вот это еда, настоящая... Теперь я наберусь силы...»

Волчья семейка сидела, повизгивая время от времени, чуть поодаль, не решаясь вцепиться в нее клыками, но и не уходя, напоминая собой пастушьих дворняг, стерегущих стадо. Но вот волчица, словно все это слишком затянулось и надоело ей, подала морду к небу и, провыв некоторое время, поплелась за Шагнувшим куда-то волчонком. «Ну, чем, собственно, они отличаются от собак? Разве человек обречен стать добычей собак?»

Где-то поблизости что-то зашуршало. Схватив палку, Зуракан вскочила. Нет! Оказывается, ни на миг она не забывала, что опасность рядом. Матерый волк хотел было украдкой подползти к ней по высокой траве. Он уже изготовился прыгнуть да вцепиться в нее, как женщина опрометью метнулась навстречу. Волк не испугался, не побежал назад. Он угрожающе зарычал. Сделал шаг вперед, клацая зубами.

Зуракан высоко замахнулась палкой и сделала еще шаг.

«Ну, зверь клыкастый! Нападай, вцепись зубами... О боже, не дай промахнуться. О несчастный мой Текебай. Прискакал бы сейчас на быстроногом жеребце... Бросился бы на волков или замялся бы, заплакал бы по своей привычке?.. Горемыка мой, горемыка! Ты заплакал бы, конечно...» 1 Не успела подумать, как раздался шорох и слева от нее. Подходит и второй, наверное. Но Зуракан не спускала глаз с самца. Смотрела на него неотрывно, словно хотела заморозить [взглядом. Боялась, что, если оторвет от него взгляд, волк немедля набросится. «У человека глаза неотразимы, грозны. Говорят, дракон и тот потупит глаза перед человеком. Нет, не осмелится этот наброситься на меня спереди... А вдруг бросится дат, что сзади?..»

Оттуда подкрадывались волчица и волчонок. Может, есть, еще другие? Эх, были б у Зуракан сзади глаза! Не одолели бы волки ее тогда! Хоть и смотрели ее глаза вперед, но уши были наостроены во все стороны. Зверь, показалось ей, подкрадывающийся сзади, подошел очень близко, уже готов прыгнуть. Она :чувствовала это, ощущала всем своим существом. «Да, волчица подошла близко, совсем близко. Осталось, может быть, десять шагов... Нет, семь... пять... не-ет... вот прыгнет сейчас!» В этот миг Зуракан, выпрямившись во весь рост и широко, расставив ноги, неуловимо быстро обернулась и взмахнула палкой. «Боже мой! Ты, видно, сжалился над своей рабыней... Я не промахнулась...» * Волчица громко взвизгнула и, ударившись о землю, покатила. Но Зуракан сделала неверный замах, когда на нее прыгнул, вытянувшись во весь рост, самец, который следил за ней, не отрывая глаз.

Сама ли того хотела или случайно получилось так,—левая ее рука с крепко сжатым кулаком оказалась в пасти хищника. Хищник попятился и сел на задние лапы с помутневшими глазами, и в это время правая рука Зуракан впиалась в горло сивогривого. Он терял силы...

Зуракан стала в позе храброго богатыря, сразившего насмерть своего врага, рослая, высокогрудая, в разорванной одежде и со взлохмаченными волосами, не обращая внимания на то, что из раненной клыками хищника левой руки течет кровь, что эту руку пронизывает ноющая, щемящая боль. Вдруг она дико захохотала.

— А-а-ха! Ха! Ха-а! Ну что, кто победил, я или ты, хищник? Кто сдох, ты или я? Ах-ха! Ха-а-ха!

Налитые кровью глаза хищника смотрели на Зуракан с мольбой и с укоризной...

Повис, словно пустой рукав, язык хищника, когда Зуракан вырвала свою окровавленную левую руку из его пасти.

— О, подлый!..

Качаясь от слабости, Зуракан шагала дальше.

В АИЛЕ ЗНАТНОГО РОДА

— В аилах много прихвостней, которые не преминут угодить баям. Куда бы ты ни приезжала, держи ухо востро, товарищ Казакова, будь расторопной, решительной, — напутствовал Темирболотов Батийну перед ее поездкой по аилам.— Мы даем тебе в руки удостоверение внештатного инструктора. - Если какой стервец вздумает чинить тебе препятствия, ты имеешь право запереть его немедленно в каталажку.

Никогда до сих пор не было, чтоб киргизская женщина разъезжала по аилам как представитель власти и действовала от ее имени.

Когда Батийна, повязав голову красной косынкой вместо обычного элечека, появилась в аиле известного по всей округе именитого рода, на мужской манер стегая своего коня вкось, аилчане смотрели на нее как на человека, свалившегося к ним из неведомого далекого мира. Не успела она подъехать к конторе аилсовета и слезть с коня, как из юрты в юрту помчалась весть:

— К нам в аил женщина от власти приехала! Она, говорят, соберет всех молодых и старых, будет держать речь о большом съезде.

— Пойдем, сноха! Послушаем, что она скажет.

По аилу поскакал, брэнча шашкой на боку и дразня собак, нарочный аилсовета.

— Приехала женщина-начальница из центра! — оповещал он.— Будет говорить о большом съезде. Велела, чтоб женщины — от беззубой старухи до девчонки с пятью косичками — все до единой собрались на сходку! У кого есть конь, приедет верхом, у кого нет — пусть придет пешком. Все к конторе! Вот что еще скажу, слушайте все! Чтоб ни одна свекровь, ни одна мать не вздумали запрещать невестке или дочери прибыть на сходку! Если это сделает старик, который женился на молодой, или бай, имеющий токол, то прямо попадет в каталажку. Крепко зарубите себе это на носу! Отъезжая, гонец продолжал:

— О женщины, каждая, кто носит белый платок, не должна оставаться дома. Все на сходку! Женщина-начальница очень строга! У нее, знаете, бумага от самого Темирболотупа, даже председатель сельсовета опешил. И скорее послал меня за вами!

Батийна старалась держаться с достоинством, сидела серьезно, насупив брови. «Активистам», которые, судя по всему, были настроены не очень благожелательно к ней, она сказала без обиняков:

— Все вы — люди из знатного рода. Среди вас много мудрецов, которые издавна считают, что кобыла на скачке приза не берет. Я знаю, что вы думаете: откуда, мол, взялась на нашу голову эта языкастая баба? И охоты у вас собрать людей на сходку я не вижу.

— Да нет же, аяш, наш аил рассеян по разным лощинам... не смогли собрать больше.

— А другие аилы разве не рассеяны? Везде люди собираются сразу — кто на конях, кто пешком,— как только слышат о сходке.

Заложив руки в карманы пальто, Батийна ходила взад и вперед по комнате.

— Ладно уж меня,—продолжала она,—вы бы хоть закон уважали, что ли! Сам Ульянов-Ленин протянул руку угнетенным женщинам Востока. Кто плюет на собрание женщин, тот выступает против законов советской власти.

Хитро улыбнувшись, председатель аилсовета отозвал «активистов» в сторону и зашептал:

— Попробуй-ка послушаться этой женщины, которая взобралась на гору...

Далеко упадет камень, брошенный ею оттуда. Если она пойдет да скажет: «Не подчиняется законам аил знатного, богатого рода», Темирболотуп прикажет многих наших запереть в подвал. Пострадаем ни за что ни про что. Давайте лучше соберем на сходку всех до последней собаки в аиле! Садитесь на коней! Зовите всех на сходку!

Гонцы сзывали на сходку поголовно всех женщин и мужчин, кроме разве лежащих больных да пастухов в горах. Вскоре к расположенному посреди аила холму потекли со всех концов толпы нарядно одетых женщин. На руках у многих были дети. Выгнув хвосты колесом, за некоторыми трусили дворняжки.

Мужчины в шубах со смушковыми воротниками ехали, важно восседая на своих справных гривастых конях; те, что победнее оседлали бычков, иные — вдвое до на тощих лошаденках. Большинство прибывших на сходку мужчин оставались сидеть на конях, чуть пригнувшись к седлам. Они, казалось, говорили своим видом: «Вот собрались мы перед тобой, женщина-начальник! Что хочешь сказать, говори поскорее, пока еще светло!»

Не слышно было шумных разговоров, веселых шуток. Лишь изредка кое-кто тихо посмеивался над соседом:

— Почему ты пустил свою ненаглядную пешком, а сам сидишь на коне? Где же твои свобода и равенство?

— А ты сам... Хоть бы ребенка своего посадил к себе на седло... А то дрыхнешь себе, привалившись к холке жеребца. ^

— Ну и дрыхнет, а придет домой — скажет, что никакой начальницы не видел и слов ее не слышал.

В то время, когда мужчины, восседавшие на конях, вполне голоса переговаривались между собой, окружив холм, вроде крепостной стены, женщины стояли поодаль, не смея подойти поближе. Одни стыдливо поправляли на себе платки, другие прятались за спины своих свекровей, стесняясь показаться на глаза старшим родственникам мужей, третьи, устав держать детей на руках, опускались на землю, сажали детей на колени, самые молодые, особенно стеснявшиеся, то и дело надвигали на лицо свои платки, шепча при этом:

— О боже, прости нас. Тут стоят такие почтенные наши аке.

Избегать встречи лицом к лицу со старшими родственниками мужа, со свекром и кланяться им, выражая свое почтение,— непреложный долг каждой женщины с первых дней ее замужества. Поэтому молодухи сбились в кучу, по доброй воле своей стоят позади мужчин. Даже когда мужчины, образовав проход, предложили молодухам пройти поближе к холму, все они, соблюдая обычай, остались на месте. Попробуй та, что посмелее, пойти туда, на нее накинулись бы сами женщины: «У, бесстыжая! Ты куда? Разве не видишь почтенных аке? Садись, не выставляйся!»

Батийна ясно видела, как скованны женщины. Бывало, и сама раньше робела перед старшими мужчинами, как молодуха с румяными щеками, что стоит напротив.

У нее невольно навертывались на глаза слезы от зависти, когда видела, как в музеях Москвы, на больших многолюдных улицах, зрелищах, в магазинах — везде и всюду женщины, не прячась ни от кого, весело гуляют, смелые, независимые. «Счастлив народ,— думала она,— у которого мужчины и женщины трудятся вместе, учатся, получают знания и веселятся тоже вместе. Как не развернуться во всю ширь такому народу! А у нас мужчины ездят, будто на клячах, на своих женах, которые только и знают, что возиться у очага, не научены Мы ни ремеслам, ни наукам... лишены всего этого...»

Батийна то жалела женщин, что шептались между собой, опустив головы и прячась за сидящими на конях мужчинами, то злилась на них, что сами себя позволяли унижать, что были слишком забиты.

— Товарищи! На всех собраниях, которые мы проводим, женщины и мужчины сидят рядом! А вы как приучили людей? — сделав строгое лицо, сказала она председателю аилсовета.— Мужчины торчат на своих конях. Заслонили собой бедных женщин. Что это за порядки? Скотину тоже ведь надо жалеть. Гора не рухнет, если мужчины слезут с коней, сядут на землю. Святая мать-земля, которая держит на себе все живое и неживое, не прогнется под киргизскими мужчинами. А почему отгородились и шепчутся между собой те, что в белых человеках? Разве такую свободу дает им революция? Проходите, женщины, вперед, поближе сюда!

Активисты, к голосу которых прислушивались в аиле, распорядились:

— Слезайте с коней! А то окружили весь холм, как крепостная стена.

— Эй, дорогу женщинам!

— Как они пройдут туда? Кто-то пробовал пошутить:

— Испокон веков мы слушали всякие речи, сидя на коне... А почему слушать наших милых женщин, получивших свободу, мы обязаны, сидя на земле?

Батийна сдержанно сказала:

— Вы окружили холм, как камышовый плетень байскую юрту. Как женщины будут слушать речи?

— Она правильно говорит,— раздались голоса в поддержку Батийны.— Эй, народ, дайте дорогу. Пусть женщины пройдут!

— Верно! Какая же это свобода, если женщины останутся сзади!

— О бедные, забитые тетушки! Пройдите к холму, ну...

— Да, да, проходите. Поднимитесь-ка на высоту. А мы уж останемся на своих конях.

— Признаться, ради свободы и равенства наших дорогих женщин я не посчитал бы за труд взобраться на самую высокую белоснежную вершину. Но что поделаешь? Крыльев нет у меня...

Тот, кто жаловался на отсутствие крыльев, белолицый бойкий джигит, сидевший на поджаром вороном коне, молодежато надвинул на лоб черный смушковый тебетей. Он, видимо, что-то еще смешное буркнул себе под нос, стоящие рядом с ним тотчас захихикали, пряча головы под воротники.

Батийна сделала вид, что не замечает насмешек развязных джигитов. Стоит ли препираться с озорными мужчинами, кое* кто из них, возможно, думает: «Я бы тебя проучил, миленькая, попадись ты мне где-нибудь на безлюдье!»

Она уголком глаз скользнула по белолицему джигиту и по*, краснела. Во всем его облике, в прищуре блестящих глаз, в звонком голосе, в его посадке она уловила поразительное сходство с Абылом и незаметно вздохнула. О, кому дано без кров толков оценить чистые непорочные ее вздохи? Того и глядещ найдется немало людей, что не прочь возвести хулу на Батийну,— свободная, незамужняя, мол, женщина все равно что телка без поводка. Хоть и начальник сама, все равно заглядывав на джигитов. А что ей остается? В аилах Батийна держалась с мужчинами строго. Пуст лучше говорят: эта женщина, мол, куда неприступней бугая, чем если б кто сказал: «Бедная телка так и водит глазами».

Вначале она обычно запинаясь, голос прерывался, но степенно волнение утихало, она говорила уже свободно, ело приходили сами собой.

Батийна не оробела на большом курултае женщин разных национальностей, помнится, вот что она сказала, когда ей да слово: «Товарищи, сейчас сам Ульянов-Ленин зовет нас, тенных женщин Востока, к свободе, протягивает нам руку, 41 бы мы стали людьми. Еще совсем недавно, когда рождалась девочка, ее не считали за ребенка, а стоило ей чуть подрасти, назначали калым в сорок лошадей. Теперь этого не будет. Ее кто, позарившись на калым, выдаст замуж несовершеннолетнюю свою дочь, если кто, имея законную жену, возьмет себе е: вторую жену, если кто из мужчин, возомнив

себя «золотоголовым», будет издеваться над ней, тот ответит по всей строгое! как злоумышленник, нарушающий законы советской власти*

Тогда все, кто слушал ее, заплодировали Батийне.

На груди у нее сверкали серебряный треугольник с амулетом, коралловые низки, подвески, бусы. На конце длинных черных кос позвякивал чачпак с серебряными украшениями. Белдемчи из черного бархата была оторочена кунным мехом.

Отправляясь в аилы, Батийна надевала бешмет городского покроя, шелковое, без оборок платье, сапоги на высоких каблуках с тисненными узорами на голенищах, вместо элечека повязывала красную косынку.

Даже женщины, носящие белый элечек, которых испокон века называют «белоушие», и те осуждали ее втихомолку:

— Вот диво, не то женщина, не то мужчина... смотри, как быстро меняется человек,— изумилась одна.

— Как бы телка ни кривила морду, все равно бычком не станет, бесстыдница она! — шепнула другая, незаметно толкнув в бок свою соседку...

— Тише...

— Да пусть сгинет она с глаз наших!

— Дай послушать...

— Чем слушать ее речи, лучше посмотри, как она вырядилась!

— А как может иначе выглядеть женщина, которая получила равные с мужчинами права?

— Неужели ты не видишь, она сама уже стала походить на мужчину?!

— Раз ей приходится ездить по аилам, она и одевается, как поудобней да полегче...

— Провались она со своей легкой одежкой! Вырядилась мужчиной, а баба все равно останется бабой...

— Да уймись же ты, наконец!

Ровным голосом, без тени женской застенчивости начинала Батийна свою речь и говорила все смелее и увереннее. «Послушайте и вы»,— как бы намекала она почтенным аксакалам, выжидательно поглаживавшим свои бороды.

— Золотоголовый мужчина рожден матерью, женщиной в широченном платье! Счастье, достаток в любой юрте на ком держится? Опять-таки на женщине в широченном платье! Ангельских детишек, которых вы ласкаете, посадив себе на колени, тоже рожают женщины в широченном платье! Все здесь сидящие — от почтенных аксакалов до румянощеких джигитов,— все вы кормитесь из трудовых рук женщины! Без женщины нет света в белом дворце, без женщины — нет тепла в мягкой постели! Без женщины и еда безвкусна, без нее и длинные руки бессильны! — В голосе Батийны прозвучали вдруг горестные нотки.— Избави бог от такой беды, но если у кого умрет жена, на которой держится дом,— это все равно, что рухнул город с золотыми воротами. Не пройдет и семи дней, как овдовевший мужчина

обрастет грязью. Кое-кого мои слова могут обидеть, но я говорю только правду, аксакалы.

«До чего дожили, от бабы пришлось выслушать такое!» — подумал кое-кто в больших тебетях, теребя гривы своих коней. Другие молча кивали головами, как бы говоря: «Ты права, дочь, нечего греха таить». Многие опасливо поглядывали на Батийну: «Сохрани бог! Одна белоушая побывала в городе и столько успела наговорить, что же станется с нами, когда в аиле появится сразу шестеро таких говоруний?»

— Справедливо говоришь, дочь! — раздавались одобряющие Полоса.

В кругу женщин были слышны и вздохи:

— Ох, создатель! Что правда, то правда...

— Чего только не выпало на нашу долю!

Двое женщин, не уставая, пересмеивались шепотом:

— Ах, горемычные, что бы они ели без нас? Могли бы они сесть на лошадей?

А еще воображают из себя...

— Это мы даем им так беситься. А попробуй-ка взнудать их как следует...

— Тише, услышат...

— Ну и что ж... Пусть...

— Тогда попроси слова да скажи перед собранием, если у тебя духу хватит...

— Скажу, если надо! Что, думаешь, у кого есть пуп, тот человек, а кто имеет груди — побрякушка, да?

— Ну и ну! Бесстыжая... потише!

— Пожалуйста, мужчины могут обратно взять то, что дали мне. Женщина-начальница еще не так крепко чистит. А то ведь язык у женщины острее бритвы. Мне бы новая власть дала волю, я бы своему мужу оторвала б кое-что, пусть бы только задел меня!

Какая-то старушка, дремавшая подобно кошке, испуганно вскрикнула:

— Ой! Не надо! Кровь потечет...

Ее возглас заставил вздрогнуть дремавшего гнедого коня. Шептавшиеся между собой женщины щипнули одна другую за бедра и негромко захихикали.

Всплеснув руками, старушка с невинным видом спросила у сидящих рядом:

— А-а... что я, глупая, сболтнула?

Со всего аила решились выступить только две женщины, и говорили они нескладно, сбивчиво, с натугой, для них это было все равно, что одолеть непроходимый перевал. Остальные молчали.

— Как вижу, крепко припугнули вы, потомки ханов и беков, своих жен.

Знайте, кто воспротивится женской свободе, тот сам будет лишен свободы и прав! — резко сказала Батийна, не скрывая своего недовольства.

— Стоит женщине добраться до власти, как она начинает ржать жеребцом. Так ведь, кажется, шутили в старину? — приглушенно сказал мужчина на сером коне.

— Э-э... боже мой! — произнес сокрушенно другой на вороном. — Недаром говорят: «Правитель берет силой, а правительница берет хитростью». Эта

строгая женщина, наверное, растопит нам сердца своими рассказами о Москве и Ташкенте...

Безбородый на гнедом коне с усмешкой съехидничал:

— Кажется, она тотчас распахнет ворота свободы и поведет всех женщин на Белую вершину.

Адыке, не сходя с могучего светло-серого жеребца, опершись грудью о высокую резную луку седла с толстым стеганым одеялом, внимательно прислушивался к разговорам и, изумленно выпучив глаза, растопыбив бороду и усы, исподтишка наблюдал за Батийной, словно барс, отслеживающий из-под скалы молодую косулю. Он видел ее как во сне, хотя, казалось, смотрел во все глаза. Он вслушивался в ее строгий голос. «Кто воспротивится женской свободе, тот сам будет лишен свободы и прав!» Так, кажется. Ишь вонючая албарсты, нашла чем попрекать нас! Пугает нас славным родом наших незабвенных предков! Сглупил я, затуманил мне голову создатель! Надо было мне тогда еще переломать ей ребра и принести в жертву реке Тёлёк!»

Гнев и досада кипели у него в сердце, словно щелок в котле. В бессильной злобе скрипел зубами, будто жевал пучок конских волос. Ему было смертельно досадно. Если б он знал заранее, что «Бкенщина-начальник», которая созывает всех на сходку, Батийна, его бывшая сноха!

Адыке приехал на сходку потому, что по всему аилу раззвонили: «Никому из баев и манапов не оставаться дома, всем прибыть на сходку. Есть интересная новость, которую должны знать и стар и млад! Из центра приехала женщина-начальник. Она здоровалась за руку с самим Ульяновым-Лениным! Бай и байбиче, не оставайтесь дома, езжайте на сходку!»

— Что может сообщить женщина? Нет, байбиче, не поедем,— сказал Адыке. Салкынай, его старшая жена, с усмешкой воскликнула:

— Тебе не хочется, чтобы я пошла на сходку, где новая власть дает свободу женщинам? — Салкынай расхохоталась.— До каких пор я должна терпеть гнет своего бая? Нравится тебе это или нет, на сходку я иду. Почему бы мне не послушать речь женщины-начальника, приехавшей из центра?

Когда они прибыли с мужем на сходку и увидели Батийну, которая, заложив руки в карманы, с самым независимым видом стояла на холме посреди аткаминеров, у байбиче екнуло сердце,

— А-а...— произнесла она, изумленно раскрыв рот,— что за паскудница торчит там? Не та ли самая шлюха, которая посеяла смуту среди людей нашего рода в самые добрые времена?

Судорожно задергались ее толстые щеки, побледнели губы. Словно шекирт¹ перед разгневанным муллой, прижав руки к груди твердит: «Виноват», так и Салкынай неподвижно застыла среди женщин, сжимая левой рукой запястье правой руки. Как и у мужа, у нее туманились глаза от злости и смутной тревоги; то и дело она изумленно спрашивала себя: «Как сумела подняться до такой высоты эта бесстыдница, опозорившая наш род?»

Батийна мгновенно узнала Адыке и его жену, но старалась не обращать на них внимания. «Это вы загубили мое счастье, когда я только-только расцвела подобно мальве!» — мысленно вспоминала Батийна, и голос ее звучал с решительной твердостью.

В других аилах Батийна не позволяла себе говорить с такой резкой прямоотой. Она хорошо знала, что грубое слово может смертельно обидеть уважаемых аксакалов.

Что же делать, если ни одна из женщин, как на сегодняшнем собрании, не подняла руки и не попросила слова?

— Почему же ни одна из вас не осмелится поднять руку, попросить слова?.. — спросила Батийна.

Наступила гнетущая тишина, словно черная туча повисла над головой.

Мужчины надвинули на глаза свои тебетей, ругая про себя Батийну: «Наши жены не сбросят с себя узду и не пойдут за тобой, паскудница! Будь ты проклята, бесстыжая албарсты, лишенная чести и совести».

Чувствуя настроение некоторых мужчин и испытывая ненависть к ним, Батийна готова была сорвать зло на ком-нибудь из них, но сдержалась и обратилась к женщинам:

— Мои старшие и младшие сестры, дорогие джене, матери! — В голосе Батийны дрожало нескрываемое огорчение, — Ни в одном аиле, где проходили собрания, женщины не смотрели в землю, как вы сейчас! Они без стеснения говорили о том, что их волнует. Молодухи сидели красные перед своими свекрами и старшими родственниками мужей, но расходились по домам веселые, словно сбылась их заветная мечта. А вы все уныло опустили головы. Не поднимаете руку, не просите слова! Почему так унижаете самих себя? — Голос Батийны — она говорила все громче — звучал, казалось, на всю степь. — Я знаю, люди больших аилов и знатных родов, которые из поколения в поколение привыкли распоряжаться малыми слабыми родами, очень честолюбивы и жестоки, они крепко держатся за старые обычаи и старые порядки. Чистая вода находит себе дорогу и в узком ущелье, грязная же забивает илом да тиной все ущелье и отравляет зловонием. Так и вы. Все чего-то боитесь, стесняетесь, никто из здешних женщин не решится и рта раскрыть. А мужья ваши не слезают с коней, корчат из себя храбрых джигитов, важничают перед нами. Им, наверное, претит считаться с какой-то слабосильной женщиной? Но да будет известно, что я, бывшая «бело-ушая», получила при справедливой новой власти равные с мужчинами права, получила свободу, и нынче я — человек! Эй, мужчины большого аила, знатного рода, потомки своих могучих предков, считающие себя равными пророку, я требую от вас: с сегодняшнего дня перестаньте унижать женщин, называя их белоушими, перестаньте измываться над нимд, говоря, что, мол, у женщин одним позвонком меньше! Так признаете, что будете уважать женщину, советоваться, считаться с ней, признаете, что каждая женщина — человек?! Дайте мне обещание, положи руку на сердце и не тая ни зла, ни обиды!

Согретый солнечными лучами, казалось, тронулся неподатливый лед. Со всех сторон слышались взволнованные голоса:

— Да-а, дитя мое... В твоих словах нет неправды.

— Надо вовсе потерять совесть, чтобы правду посчитать кривдой.

— Не знаю... Послушал я эту молодуху и чувствую, не могу больше верить, будто женщина сотворена с изъяном...

Мужчины незаметно приходили в себя: заерзали в своих седлах, скрытно переглядываясь, как бы желая сказать:

«Поделом распекла нас эта женщина-начальница! Не одним нам дана гордость...»

Адыке,— он выделялся среди мужчин на своем светло-сером жеребце и в богатой шубе из барсовой шкуры,— и тот ощутил какую-то неловкость под взглядом Батийны, словно она смотрела лишь на него одного.

«Эх, глупая моя голова! Зачем только приехал я на собрание, которое проводит эта сука?»

И тут голос Батийны ворвался в уши Адыке:

— Если я не ошибаюсь, бай, вы — один из самых почтенных аксакалов в аиле. Мы хотели бы услышать из ваших уст, что вы, уважая новую власть, подчиняясь ее законам, признаете женщину человеком, на равных с мужчинами правах. Ну-ка, поклянитесь от чистого сердца и во всеуслышание. Народ умолк.

«Ой, боже, что теперь будет с Адыке, ведь он всегда бушевал, как неудержимый поток Тескея? Неужели он подчинится этой белоушей женщине?» — думали некоторые аксакалы.

Батийна сурово посмотрела в лицо Адыке.

— Не заставляйте нас долго ждать!

Салкынай, которая стояла, сложив руки на груди и переминаясь с ноги на ногу, кашлянула.

— Дитя мое! — в напряженной тишине заговорила байбиче.— Не сердись, что я так назвала тебя. Ты была моей снохой, которую я приняла в дом с поцелуем. Но богу было угодно, чтоб ты оставила нас... Теперь тебе на голову села птица счастья. Во всем, что ты говоришь здесь, нет ни крупинки неправды. Как может человек назвать ложью правду? Ах, проклятая неуче-ность наша! Чего только мы не натворили из-за своей темноты! Слушая твои умные речи, мы почувствовали себя так, словно со дна подземелья поднялись на освещенную солнцем вершину. Прости нас, если мы чем-нибудь провинились перед тобой. Желаю тебе, дитя мое, чтобы ты хорошо справилась с работой, порученной тебе новой властью.— Салкынай приумолкла на секунду, чмокая губами, но тут же продолжала:—Человек, который не подчиняется власти,— это тварь, не почитающая бога. Мы все — и бедные и богатые — подданные советской власти. Разве может мой старик не подчиниться законам, которые уважает весь народ? Да у него не хватит просто смелости назвать белоушей. Захочу учиться, он не станет перечить.

Захочу подняться выше, он не пойдет против.— Салкынай вскинула руки в сторону Адыке, сверкнув кольцами с рубиновыми глазками,—
Мой бай всегда подчинялся законам. Разве он приехал бы на это собрание, если б не подчинялся им? Иначе не стал бы и слушать тебя, невестка моя. О нерасторопный ты мой! Приложи руку к груди да шепни хотя бы про себя, что никогда не замахнешься на меня камчой, не будешь унижать меня! Пусть все видят, что тут склонился потомок бека, который ни перед кем головы не склонял!

Салкынай по-молодому всплеснула руками и засмеялась. Кто еще верил в звезду Адыке и жалел его, закричали отовсюду:

— Слова почтенной байбиче — слова самого бая. Хватит, хватит, не настаивай, молодка! Бай дает обещание. Слышали мы! Слышали!

ПЕРЕМЕНА

В ушах Батийны все еще стояли слова Салкынай: «Ты была моей снохой, которую я приняла в дом с поцелуем...» И это говорила та самая Салкынай, бывшая свекровь, которая не считала Батийну за человека и не раз выгоняла ее из дому!

На какой-то миг Батийна была даже тронута ее словами. «Как-никак она была моей свекровью, открыла мне лицо, когда я впервые вошла в ее дом... Но разве она приняла меня в свой дом с поцелуем, как говорит сейчас? Нет... А как байбиче предусмотрительна! Она сделала этот ход, чтоб не оскандалиться перед людьми. Как же мог Адыке, властный Адыке, всенародно сказать: признаю, мол, что женщина равна со мной! О нет. После этого закатилась бы его звезда. Салкынай сообразила все, пощадила мужскую гордость, слепое самолюбие. Люди поняли, что Салкынай отстояла честь своего бая. Правда, оба они — и Адыке и Салкынай — казались теперь людьми тихими и скромными. Неужто они изменились, стали мягче, добрее?» — раздумывала Батийна.

Видимо, чувство жалости, присущее далеко не каждому,— одно из самых тонких, очень быстро возбудимых, податливых чувств доброго человеческого сердца. Какой толк от того, что Батийна будет помнить зло? Поэтому она не стала поддевать или грубить байбиче. Когда Салкынай подошла первой поздороваться, Батийна тоже протянула руку. Спросила о жите-бытье. Батийна не стала злорадствовать: «Вот, мол, до чего дожили! Каково вам теперь, потомки бека?!»

Но скребет на сердце у того, кто чувствует за собой вину.

— Батийнаш, ты была родной мне, близкой,— любезно проворковала Салкынай.— Но правду, видно, говорят: «Судьбе наперекор не пойдешь, а то недолго... и нос расшибешь». Не суждено-нам было жшъ с тобой. Ты ушла от нас. Стала большой начальницей, дай тебе бог! Но не забирай себе все блага, поделись и с нами.— Она звонко рассмеялась.— Какой же бестолковый человек мой бай, чтоб у него язык отнялся! Хоть и защищала я его честь, но от тебя не стану скрывать правду. Как ни говори, он потомок бека. И до сих пор много о себе воображает. Нет-нет да и скажет мне: «Новая власть дает свободу всем женщинам. Раньше мы платили за них калым, а теперь будем

брать их в жены бесплатно. Возьму себе токол, если что...» — Салкынай слегка толкнула в бок Батийну, словно та доводилась ей сверстницей.— Ты была снохой мне. Дай хоть щепотку из тех прав, что, имеешь сама. Втолкуй начальникам нашего аила: пусть они немного одернут моего бая, если он вздумает взять себе вторую жену.— Неожиданно в голосе Салкынай появилась грусть:— Ах, бедные мы, бедные женщины, времена меняются, а нам выпала судьба — плестись за мужчинами! — И, глядя умоляющими мрачными, точно неживыми, глазами, она сказала: — Пойдем к нам, погости малость, отведай хлеба-соли из моих рук. Но у тебя, я вижу, времени мало. Ах, что я болтаю, глупая моя голова! В белой юрте у стариков полно всякой еды, да разве найдется у них такое, чего желает душа больших начальников?! Подай-ка лучше руку, поцелую на прощанье. Щеки-то свои поцеловать все равно не подставишь.

Салкынай дотронулась губами до пальцев Батийны. От прикосновения холодных ее губ Батийну даже передернуло. Но обе женщины не показали своей обоюдной неприязни.

Не повышая голоса, Батийна заговорила твердым, не допускающим возражений тоном:

— Вы верховодите не одним аилом, — всем вашим знатным родом. Стоит только крикнуть вам «Айт!», как тут же и богатые и бедные забегают перед вами. Стоит крикнуть «Ойт!», и никто не посмеет перечить. Но не злоупотребляйте тем, что все вас боятся. Посылайте девушек и молодых учиться! Я хотела, чтоб бай дал обещание это исполнить. Сам. Но вы его заслонили, сказали за него. Ладно. Я не стала противиться, чтоб не дать пищу злым языком: «Дай, мол, женщине власть в руки, и она самого бога ни во что поставит». Так передайте своему баю, что я требую: женщину не приравнивать к скотине, которую сбывают за калым! Полученная свобода вернула нам человеческое достоинство! Отныне никто не посмеет оскорбить дочь бедняка. Настала пора учиться, учиться, чтобы восполнить то, чего нам не хватает...

Салкынай, то и дело кивая головой, лебезила:

— Ах, да исполнятся ваши желания, да исполнятся ваши желания...

Когда Батийна, сев на коня, немного отъехала, Салкынай хмуро посмотрела вслед ей и запричитала:

— Ишь, была служанкой у моего порога, а как заговорила! Даже потомки бека и те беспрекословно слушали ее наставления. Позор вам, мужчины, позор! Все, кто говорил, что кобыла на скачке не возьмет приза, стояли перед Салкынай с опущенной головой.

Словно молодуха, Салкынай повела плечами, покачала бедрами, звякая серебряными украшениями на конце кос:

— Позор тебе, сын моего свекра, позор тебе! Попробуй теперь взять себе токол, если ты такой храбрый! Позор тебе, муж мой, бай мой, позор тебе... Батийна на сером иноходце сидела в седле свободно, прямо. «Вот диво, не бывшая ли это сноха Адыке, не дочь ли голодранца из рода саяков эта

женщина-начальница?!» — восклицали старухи, удивляясь, но не осуждая Батийну. Другие рассуждали: «Кто знает, может, начальники в дальнейшем не ограничатся речами о равенстве женщин, а попросту выгонят с собраний всяких потомков бека. Виданное ли дело, чтобы комолая черная корова валила на землю рогатого быка? Как бы там ни было, схватились между собой серый иноходец с вороным, уже бьются не на шутку добро и зло... Похоже, что несдобровать Адыке и ему подобным в этой схватке. Кажется, они уже выпустили поводья из рук».

Не успела Батийна уехать, как до Адыке дошел слух, что Манапбай, младший сын славного бека, взят под домашний арест и будет скоро сослан. Он был благодарен байбиче за то, что выручила его.

— Э, байбиче моя, златоустая, я преклоняюсь перед твоим умом и твоей находчивостью,—довольно засмеялся Адыке.— Что мне было делать, если б эта албарсты заупрячилась: подчинился бы ей. Ты защитила мою честь, когда я не в силах ни свалить палкой, ни распороть ей живот ножом. Тьфу-тьфу... не дай бог... Как бы меня добрые люди после честили, назови я при всем народе женщину человеком?! Эх, неразумная голова моя, что бы мне тогда принести эту куклу в жертву и бросить ее в реку, сейчас, быть может, никакая женщина-начальница не посмела бы показаться в нашем аиле.— И глаза Адыке налились кровью.— Скажи, верно ли я говорю, любимая дочь ясновидца Караберка? Твои слова всегда верны.

Не успела Салкынай ответить, как послышался конский топот, лай собак, и затрубил басовитый мужской голос:

— Э, Адыке, дома ли ты? Слышал ли ты, что, согласно законам новой власти, высылают нашего Манапбая, любимого сына рода сегизбек, младшего сына славного Арстаке, чей дух еще жив среди нас? Говорят, не дальше этой недели несравненный потомок бека со своей семьей будет выслан!

Адыке не смог выговорить ни слова, будто кто душил его. Голос снаружи продолжал явно с горечью:

— Один бог знает, что нас ждет впереди. Беда есть беда, и миновать ее трудно. Суждено ли нам умереть дома или где-нибудь в пустыне? До Алма-Аты — шесть дней пути на коне. Может, не придется уже увидеть Манапбая? А то и горсть земли друг другу в могилу не бросим. Чем сидеть да стонать в своей юрте, поедем поправляемся с потомком бека, Манапбаем.

Это был голос почтенного Акимкана-аке. Он, правда, прогневался на Адыке как старший в свое время, когда вспыхнул спор из-за пастбища, но теперь нависла угроза над честью всего рода, и старейшина Акимкан, невзирая на преклонный возраст, разъезжал по аилу и оповещал сородичей о близкой беде. К этому толкало его и опасение за себя: «Сегодня беда нависла над Манапбаем. Завтра настанет моя очередь. Кто знает?»

Адыке подсадовал, что почтенный Акимкан даже не слез с коня и уехал, не заглянув в его юрту. Ничего хорошего не предвещало то, что Акимкан, которого не просто пригласить в гости, был возле твоей юрты и не зашел,

чтоб отведасть хлеба-соли, и что он сам, человек, подобный пророку, разъезжает по аилу и передает дурную весть.

«Что доброго можно ожидать от этих кукол, которые ссылают золотоголового Манапбая? О боже, как бы не столкнул ты нас в свою бездонную яму!...» — тяжело вздыхал Адыке.

...Батийна ездила из аила в аил, выступая перед множеством людей, защищая права женщин и девушек. Да, старое линяет, подгнивает, разрушается, новое растет, набирает силу. Одних радовало это, других огорчало. Человеку трудно бывает расстаться с тем — пусть даже плохим,— к чему давно привык, с чем давно сжился; он жалеет его, тоскует, душой болеет за него. Как иному человеку бывает неохота сбросить с себя свой заскорузлый тулуп.

Иначе и быть не может. Аил, покидая старое кочевье ради нового, нетронутного пастбища, преодолевает на своем пути нелегкие перевалы, переходит через опасные броды...

Как-то один из больших аилов совершал кочевку с одного пастбища на другое. В тот момент, когда караван взбирался по узкой тропинке на гребень перевала, у Адыке сполз с вьючного быка груз с посудой и съестными припасами. Посуда разбилась, а бурдюки с топленным маслом разорвались. От досады и огорчения Адыке набросился на своего работника: тот, мол, слабо затянул вьюк — и давай швырять горстями масло из разорванных бурдюков в лицо незадачливому джигиту. Но тот и не думал просить пощады. Зачем? Ведь вместо камчи в него летят куски масла! Работник поправил сползший с быка вьюк и подставил ррт под летящие комки. Бай пуще распалился, а батрак только шире раскрыл рот, всласть глотает масло да облизывается. Как же Адыке раскаивался потом!

То была обычная кочевка. Но теперь, когда рушилось старое, а на место возводилось новое и во главе кочевки встали не бывшие влиятельные аксакалы, а бедняки да женщины, испугался не один Адыке, встревожились многие, ведь ничего подобного они раньше не видели...

Зловещий шепот усиливался изо дня на день: «Неужто не найдется достойного мужчины, который бы убрал с глаз эту начальницу, показавшую столь дурной пример».

Словно незаметно ползущая змея, все ближе и ближе подбиралась к Батийне черная беда.

Батийна побывала в Москве, походила по улицам столицы нового государства, пожила в Ташкенте, повидав многое там, и, вернувшись в горы, стала разъезжать с большими полномочиями по волостям и аилам. Батийна никого и ничего не боялась, и никто не чинил препятствий внештатному инструктору кант-кома товарищу Батийне, дочери Казака, что утверждалось подписью и печатью Темирболотова. Даже люди Адыке вынуждены были встречать женщину-начальницу с должным уважением.

Кое-где Батийне оказывались почести не меньше, чем в старое время волостным. Иные люди сновали вокруг нее на конях, хлопали полами своих

халатов. Но это было не просто лестью перед человеком, поставленным у власти, но и знаком уважения к самой власти.

— Если власть выбрала ее начальницей, стало быть, народ должен признать это. Уважьте женщину-начальницу, прислушайтесь к ее словам!

Весть о приезде Батийны, словно по беспроволочному телеграфу, передавалась с молниеносной быстротой из аила в аил, от одного рода к другому:

— Из центра приехала женщина-начальница! Говорят, в руке у нее есть распорядительная бумага, данная ей самим Ульяновым-Лениным. Место старого бая теперь, говорят, заняла женщина-начальница! Идите все — все женщины и мужчины — слушать ее речь! Собирайтесь!

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Батийна, «женщина-начальница», известна на всю округу. Однако она чутко улавливает некую тень пренебрежения к себе. Стоит появиться в аиле даже недалекому мужчине, но облеченному хотя бы маленькой властью, все угодливо суетятся перед ним, ездят с ним повсюду.

А к Батийне вроде не смеют подступиться. «Ребята, примите-ка ее коней!» — распоряжаются на словах, делая вид, что преисполнены уважения. А промеж себя насмешничают: «Мы мужчины, войдя в юрту, вправе сидеть на почетном месте». Незаметно поворачиваются к Батийне спиной, притворно смеясь, поглаживая свои бороды: «Вот диво-то, боже диво...»

«Неужто эта белоушая женщина, которой от века караулить казан на треноге, будет теперь сидеть рядом с нами, на правах представительницы власти? О всемогущий аллах, что за шутки твои?» — стонали про себя иные аксакалы, не смея открыто высказать свою гневную обиду, и только пренебрежительно посмеивались в ус.

Батийна сердито хмурилась: «Что поделаешь с вами, бородатые? Мните себя великими храбрецами только потому, что на ваших подбородках растет пучок волосинок, похожий на куст типчака над обрывом».

Особенно возмутил Батийну краснолицый, тучный человек, в юрте которого она однажды осталась на ночь. «Борода есть и у козы. Ты не заносись слишком,— хотела было ему сказать в сердцах Батийна, но сдержалась:—Нет, не надо. Скажут, раскудахталась, мол, белоушая женщина. Не стоит терять своего достоинства». И стала рассказывать о том, что видела в больших городах, об их порядках и обычаях...

Люди благодарили ее:

— Спасибо, дорогая, спасибо. Узнали мы много такого, чего никогда не слышали.

— Не зря ведь сказано: «Не тот много знает, кто много прожил, а тот, кто много видел».

— От сочной травы скот жиреет, от сочных слов душа бодрится. Да исполнит бог все твои желания, дитя мое!

Видя, как другие благодарят Батийну, краснолицый толстяк поерзал на месте, покашлял притворно и кивнул головой, делая вид, что он тоже доволен ее рассказом.

Наутро Батийна увидела двух оседланных лошадей у коновязи. Одна тощая четырехлетка, гнувшаяся под седлом. Другая — каурая кобыла с кудым хвостом и вислым брюхом (один бог знает, не переболела ли она недавно паршой?).

Разве можно сесть на любую из них и при этом не уронить честь? Батийне были обязаны оседлать хорошую лошадь. Нет, разве можно Батийне оседлать вислобрюхую каурую кобылу и ехать к горцам? Ведь по тому, как сшита шапка у молодца, судят о его жене, а по его коню — о нем самом. «А что, если все-таки сесть на кобылу?» — подумала Батийна, но тут же отмахнулась от этой мысли. Тогда краснолицый толстяк посмеется над ней: «Где уж этой белоушей женщине что-нибудь смыслить в лошадях? Видите, она довольна тем, что села на эту кобылу».

Батийна подошла к коновязи, волоча по земле конец своей камчи на манер гордых мужчин, и спросила решительным тоном:

— Где кони для нас? Ехать нам очень далеко. Прошу крепкого коня и хорошего провожатого!

Батийна прохаживалась взад-вперед с волочащейся по земле камчой в ожидании коня. Ее словно не слышали. Тогда Батийна приказала стоявшему неподалеку черноусому джигиту, показав на светло-серого коня, привязанного между малой и главной юртой:

— Эй, джигит, оседлай-ка мне вон того серого и будь провожатым!

Странное дело, у краснолицего толстяка голос неожиданно оказался писклявым:

— Это мой конь... Аксур¹!

— Ничего. Я и на вашем Аксуре поеду! Оседлайте! Толстяк, который не разрешал даже собственной жене не то

что ездить на его скакуне, но и наступить на край его седельного одеяльца, посинел так, словно кто душил его. Он растерянно застыл, не смея отказать женщине-начальнице, у которой на руках было распоряжение самого Темирболотова, да еще с печатью.

«Быстрый конь — крылья молодца, храбрый джигит — опора народа», — говорят горцы и очень дорожат конем, покрывая его попоной, держат в тени и прохладе, кормят отборным ячменем и расчесывают хвост и гриву, следят, чтобы недоброжелатель даже не схватился за его чумбур. Коня держат в укромном месте подальше от дурного глаза и прицепляют под его челку талисман. Что и говорить! Нет цены хорошему коню...

Всякий мужчина, кто носит тебетей и не имеет подходящего коня, и за настоящего человека не считается. Такого не позовут участвовать в разговорах и советах. Его посчитают просто двуногой тварью, чье место возле скота да еще дома у себя возле своей жены. Разве это мужчина, кто не может ездить на коне? Если у человека родился сын, то он выделяет для него жеребенка от самой лучшей своей кобылы. С самого рождения мужчина имеет коня-крылья. Женщина не вправе садиться на его крылатого коня. У женщины должна быть своя лошадь: если ей надо поехать в гости в другой

аил, она садится на кобылицу-четырёхлетку с подстриженными хвостом и гривой или на вислобрюхую взрослую кобылу. По правде говоря, бедняжке женщине в белом элечеке к лицу ездить на кобыле: смирные обе, вполне подходят друг к другу... Ведь кто знает, понравится ли священному Камбару-ате¹, если женщина, оседлав походного коня, отправится в далекий путь или же в поход? Часто случается, что конь, на котором ездила женщина, захромает, повредив себе ногу, или неожиданно теряет свою прежнюю статью. Попробуй посадить свою уважаемую жену на лучшего своего коня. Не только отец, не только все мужчины, даже сестры и невестки застыдят этого молодца, оказавшего такую странную честь своей жене:

— Боже, что подумают люди, если увидят это? Каждый скажет: мол, сын такого посадил на своего коня свою белоую жену, а сам остался у земляного очага. Ай, срам, ай, срам...

Батийна подошла вплотную к светло-серому. Хозяин коня сделал несколько бесцельных шагов в сторону, потом оглянулся, изливая свою обиду:

— Что за издевательства новой власти надо мной, а? С той поры, как Аксур стал скакуном, никто, кроме меня, не садился на него. Я не представляю себе, как это баба поедет на моем благородном коне, рожденном ветром?

Следя, как удаляется Батийна на Аксуре, он завопил:

— Ой, скажите, чтоб она вернулась! Дайте ей другого коня! . Провожатый, что ехал рядом с Батийной, стал оглядываться.

— Путь наш далек. Поехали быстрее,— приказала Батийна. Она хлестнула камчой коня вкось по крупу. Аксур, который

и без того шел спорым шагом, рванулся, вскинул уши и помчался рысью.

Батийна то улыбалась, то хмурилась, прищипывая коня. В седле она сидела крепко, по-жигитски, чуть подавшись грудью вперед,— по ее посадке не сразу угадаешь женщину. Провожатый порой отставал от нее, хлопая лапами своего кемента, восхищался ее молодецкой ездой. «На то она и женщина, чтобы развлекать мужчину на длинной глухой дороге. Ну-ка, догону ее...» — мельнула у него мысль.

Провожатый догнал Батийну и некоторое время ехал рядом. Он досадовал, что не в силах поддеть ее шуткой, и время от времени причмокивал губами: «Неужто рядом с хорошенькой женщиной, похожей на спелое яблоко, не смогу попасть коня здесь, в этом безлюдном затишке с зеленой травой? Как бы не зашелся у меня язык, когда после моего возвращения кое-кто спросит: «Не пробовал ли ты сыграть в альчики с женщиной-начальницей?»

— Вы, кажется, устали, аяш...—подцепил он Батийну.

— А что, если устала? Едва ли тут попадется юрта с затянутым тюндюком,— отшутилась Батийна.

«Женщина, даже самая большая начальница, все равно должна развлекать джигита»,—хотел он было сказать, но Батийна, всю прищипывая коня, бросила на ходу:

— Стегани-ка своего коня и живей доскачем!

Аксур мчался легко и свободно, словно на нем были пушинки, то и дело мотая головой, вскидывая челку и яро фыркая. Не в пример скакунам, обычно поджимающим уши, Аксур на-востривал уши и, глядя куда-то вдаль, несясь, едва касаясь земли, словно косясь. Рослый, но удобный в езде, он так мягко пластался под Батийной, что она совершенно не ощущала толчков в жестком седле. Длинная черная грива Аксура переливалась, точно струя воды.

Тугой ветер, будто освежающее дыхание реки, бьет в лицо Батийне, и чем быстрее скачет Аксур, тем спокойнее у нее на душе. Взбираясь по склону перевала, она ни разу не натянула поводьев. Провожатый отстал далеко: что-то не слышно топота его коня. Батийна стала натягивать поводья, но Аксур, вошедший в азарт бега, без единой капли пота на боках и на шее мотал головой и фыркал, словно просил: «Только не дергай меня!»

«Сохрани боже! Не унесет ли он меня куда глаза глядят?!»

Аксур распалился так, что, казалось, полетит птицей, если только слышит топот другого коня или чей-нибудь подзадоривающий крик, — никто его не остановит тогда, не то что женщина. Батийна — в нее все же закрался страх — ласково похлопала Аксура по шее и еще поднатянула поводья:

— Потише, дорогой, потише...

Аксур поскакал еще сноровистее. Под ушами у него только-только проступали капли пота. Он встряхивал головой всякий раз, как Батийна натягивала поводья, будто корил ее: «Эх, женщина непутевая, разве не знаешь, я ведь настоящий джигитов конь. Скакун. Отпусти поводья, дай мне волю!»

Вытягиваются далеко вперед, словно удлиняясь, передние ноги скакуна, выбрасываются, опережая морду, сверкающие литые копыта. Касаясь и не касаясь копытами земли, он летит, рассекая воздух, и холодный ветер хлещет со свистом в ушах Батийны, слезы выступают на глазах.

«Будь что будет! Разве кто из киргизских мужей падал с коня, испугавшись его прыти? Нет таких и среди женщин! Мчись, милый, мчись, мой легконогий, быстрее! Но только не уставай, не ярись!»

Как бы состязаясь с Аксуром в упрямстве, Батийна не стала натягивать поводья. Опершись крепче обеими ногами о стремя, пригнувшись к луке седла, она несколько раз хлестнула коня по ляжке.

Привыкший скакать через рытвины и бугры даже на крутых поворотах, конь, казалось, одобрительно засмеялся: «Молодец! Молодец!» И, подстегнутый ударами камчи, распалился, почти пластаясь по земле, не давая седоку даже повернуть поводья.

За выступом дорога начала спускаться вниз и очень скоро пошла ровной долиной с сочной травой. Здесь пасли коней и освежались кумысом. Группа всадников — одни уже оседлали своих коней, а другие только что собирались сесть — повернулась в сторону Батийны.

Батийна смутилась. «Еще засмеются: с чего, мол, скачет сломя голову глупая баба?»

— Э, бай, это, оказывается, женщина скачет,— пробасил один из всадников.— Видно, конь горячий, понес ее! Эй, ребята, остановите его! Хватайте за чумбур!

Когда двое с притороченными к седлам чепкенами поскакали навстречу Батийне, преграждая ей дорогу, а остальные устремились к обочине, Аксур, видимо, принял их за тех, кто обычно подбадривает коня на скачках, и на резвом скаку промчался сквозь толпу мужчин, как бы подзадоривая:

«Попробуйте-ка догнать меня!»

Кто-то воскликнул с досадой:

— О боже мой! Не та ли самая женщина-начальница?

— Да, это она, сноха нашего Адыке,— раздался чей-то смех.

— Так и есть. Ну, бай, натянула нам нос ваша сноха... Но Батийна досадовала на себя:

«Эх, до чего же стыдно! Теперь любой скажет: «Что взять с глупой женщины?! Не успела вдеть ногу в стремя, как стала заноситься перед нами!»

Она услышала позади себя голоса далеко отставших всадников:

— О Адыке, бай наш! Видел, как твоя бывшая сноха, которую ты когда-то заставил избить до полусмерти у реки Тёлёк, чуть не затоптала всех нас своим конем, а?

«Неужто это они? Затопчу, если захочу, вашего бая!..» — обозлилась Батийна.

Услышав гомон и топот позади себя, Аксур рванул сильнее, помчался птицей. Батийна сказала себе: «Эти потомки бека могут жужжать про меня что угодно. А мы помчимся, Аксур, помчимся! Пусть попробуют догнать нас, если под ними такие уж быстроногие кони!»

Батийна все удалялась от всадников. Попадись ей праздные люди, едущие на базар или в гости, может, еще долго преследовала б ее эта шумная толпа. Но аксакалы Акимкан и Адыке, спешившие попрощаться с Манапбаем, мрачно молчали, и вся группа скоро осадил коней.

Те озорники, что по горячке выскочили было вперед, остановились, натягивая поводья своим коням, и почтительно дожидались Акимкана. Он ехал чуть впереди остальных всадников. Мерно покачивался под ним иноходец темно-бурой масти с лоснящимся крупом. Акимкан, у которого еще не вылинял румянец, сидел прямо, и, упираясь концом сложенной вдвое камчи в бедро, следил за удаляющейся Батийной. Брови у него низко нахмурены. Наполовину белая, наполовину черная тонкая борода его опущена к груди.

«О изменчивое время! О бездонный бренный мир! Куда вы катитесь?.. Чуть не затоптала нас белоушая! Еще вчера она возилась у моего порога. Разве не так, Адыке? Боже мой, что за чудеса пошли?»

— О боже, боже! — произнес Акимкан вслух.— Адыке, езжай рядом со мной!..

Дришпорив серого иноходца, Адыке поравнялся с почтенным родственником.

— Правда ли, что эта молодуха, которая сейчас проскакала мимо нас, бывшая твоя сноха? — спросил с равнодушным видом Акимкан.

Адыке пробормотал:

— Да, бек, так оно и есть. Акимкан буркнул:

— Ах, глупая баба, видно, потешается над нами... Адыке сказал тоскливо:

— Когда-то ваш дед, провидец, говорил: «Настанет время — коровы поднимутся в цене, а женщины будут судьями. Что тогда станет с тобой, мой народ?!» Ой, как сбываются его вещие слова!

— Предскажи это не мой дед, а кто другой, мы бы немедленно сожгли на развилке дорог кости того вестника конца света и развеяли б по ветру его пепел,— сказал Акимкан.— О дед мой, знаешь ли ты, какие беды, какие унижения ты напророчил своим потомкам, пасть мне жертвой За твое имя, ясновидец!

Адыке тоже говорил с нескрываемой горечью:

— Помню, с тех пор, как вошла в мой дом вон та кукла, что проскакала сейчас мимо нас, счастье стало покидать меня и сам я лишился покоя. О создатель! Я не знаю, в какой злополучный день мой отец сватался с голодранцем за щепотку насвая. Не знаю, в шутку ли сделал он это или всерьез? Как бы там ни было, славный бек открыл двери перед самой албарсты. Эх! Надо было еще тогда у бурливой реки прирезать эту дочь шайтана... Наверное, не пришлось бы сносить нашему роду всякие унижения...

Акимкан хмуро молчал.

— Тогда и нам с вами, батыр,— продолжал Адыке, тяжело вздохнув,— не пришлось бы обижать друг друга. И терпеть сегодняшнее оскорбление... Она ведь пронеслась перед нашим носом, словно нечистый дух из пещеры. Скажи, батыр, разве Аксур, гордость целого рода, из таких скакунов, на котором впору ездить женщине? Разве Манапбай-мирза, любимец славного Арстаке, человек, которого должны выслать в далекий край?

Акимкан только промычал в ответ.

— Да, сбылись вещие слова моего отца-провидца. Лишь бы нам уцелеть,— заключил Адыке с грустью.

Адыке чувствовал: закатилось их время, выпадают поводья из рук. Потомки бека, объятые тревогой, как после дурного сна, предугадывали, что редееет, иссякает их род. Особенно настораживало, что какой-то бедный чабан набрался чужого духа и дерзко глядит самому баю прямо в глаза, требуя себе платы, или что женщины, которые испокон веков возились у очага, научились не только перечить мужьям, но и принялись без стыда и совести разъезжать по аилам, собирать сходки, сажая только что вышедших замуж молодых рядом с почтенными аксакалами и науськивая их кричать во все горло: «Киргизские женщины и девушки, добивайтесь равенства!»

В этом виделось не только нарушение обычаев, но и дурное предзнаменование, чреватое опасной бедой.

Впрочем, бай есть бай, бий есть бий. В те времена, когда старейшины могущественного рода были всевластны, стоило могучему Арстаналыбатыру рыкнуть, не сходя с почетного места в своей юрте, как люди кругом склоняли

перед ним головы, спешили выполнить его приказ, внушая себе: «Рык льва — воля аллаха!»

Даже Асантай вынужден был, страшась гнева Арстаналы, вброд перейти реку, а Барман, не пикнув, отдал свою дочь без калыма замуж за его сына, Манапбая.

О аллах всемогущий! Разве может улететь невредимой даже белая лебедь, которая бросит тень на голову Манапбая-мирзы, любимца рода сегизбек? Разве может остаться живым - невредимым стрелок, которому приказано сбить ее на лету, но он не сбил? О аллах всемогущий! О аллах всемогущий! Позапрошлой осенью, вкушая хлеб-соль, стодевятнадцатилетнего возраста священный Арстакеш ушел в иной, истинный мир. С ним прощалось великое множество народа, сгибаясь от горя и скорби. Но его потомки не смогли справить поминки по всем велениям стародавнего обычая и созвать гостей отовсюду.

Немного погодя, словно не хватало этого позора, стал грозиться Шаймерден, главарь недостойного рода, издавна враждовавший с ним. Этот подлый человек, возгордись тем, что получил подарок от белого царя, уже давно тягается с потомками бека. Когда Арстаналы был жив еще, Шаймерден боднул его однажды так метко, что чуть не распорол ему живот. Теперь у Шаймердена появился хитрый выскочка Барскан, притерся к новой власти на службу и мутит все исподтишка. Оклеветал Манапбая перед новой властью: «Манапбай плачет, мол, по прошлому. Справляя поминки по своему отцу-хану, он назначил приз живыми людьми».

Мысли Адыке перекликались с мыслями Акимкана. Тот думал:

«О Адыке, кто знает, то ли наветы паршивца Барскана причиной тому или так уж положено по законам новой власти, но притеснили светоча нашего Манапбая. И все мы, потомки бека, терпим унижение, Адыкеджан. О создатель, где наша былая гордость, если Манапбая, державшего наше знамя, ссылают невесть куда, а эта албарсты, которой дали править народом, чуть не затоптала нас своим конем...»

Темно-гнедой иноходец, на котором мерно раскачивался Акимкан, оступися и чуть не упал. Нахмутив взъерошенные брови, Акимкан дернул поводья: — Эх, чтоб тебя прирезали!

Кругом ничего не слышно, кроме топота копыт, стучащих о жесткую каменистую дорогу, да глухого шепота между всадниками. Стесняясь Акимкана, люди не ведут шумных разговоров. Ни те словоохотливые, что любят рассказывать свои и чужие родословные предания о древних походах, ни шутники, что не дают скучать людям, развлекая их забавными историями, ни красноречивые мудрецы, что услаждают душу переходящими из уст в уста назидательными речами,— никто не смеет раскрыть рта.

Акимкан мрачен, Адыке объят думами: они ведь едут не на какое-нибудь сборище, где разрешаются родовые споры, или на поминки, где устраиваются скачки, или же на той в богатом аиле с шумными играми и щедрыми угощениями.

Заодно с Акимканом вся остальная знать рода, почитающего Манапбая, охвачена тревогой. Роды и аилы враждовали между собой, насильничали, учиняли произвол друг над другом, когда же над ними нависла угроза, богатеи сплотились.

Кто не попросается с Манапбаем, кто не угостит его и не снабдит деньгами на дорогу, того и человеком не назовешь. Близкие Манапбая его застыдят: «Что ты за человек, если не поддержал умирающего, не подпер того, кто от боли гнется...»

Каждый глава аила давно уже дал знать своим аилчанам:

— Все должны попросаться с Манапбайбатыром. Сделайте так, чтоб у родственников не возникло обиды на нас. Не давайте недругам нашим повода упрекнуть нас в небрежении к Манапбаю. Не жалейте, возьмите с собой все, чем только можно ему помочь...

Манапбай находился не в тюрьме и не на воле во дворе с высокими воротами — как раз напротив многолюдного базара. Этот двор — на месте караван-сарая, построенного лет десять назад предприимчивым купцом из Андижана. Он вел бойкую торговлю скотом, покупал его обычно на Каркаралинской ярмарке, также в здешних аулах и прогонял через эту долину.

Не раз сидел он на почетном месте у Манапбая, не раз Манапбай приезжал в караван-сарай и гостил у купца. В те времена двор этот был похож на многолюдный базар: по одну его сторону возвышался устланный коврами помост, где у заставлец-ного угощениями дастархана купец прохлаждался чаем, толкуя о торговых делах, а по другую сторону стояли всегда открытые лавки, где полки ломились от тюков парчи, плюша, бархата, шелка, атласа, от груд сахара, навата и чая. Горцы, которых потребности заставляли ездить в город за покупками, все нужное находили у андижанского купца.

Кто знает, какие там дворы у андижанского богатея в других городах, но в этот свой двор он уже третий год не заезжает. Сейчас он пустует, старый, уныло-сиротливый. Тоскливо на душе и у Манапбая, хотя родственники, приехавшие попросаться с ним, стараются развлечь мирзу, наперебой угощают, дарят ему деньги. С приездом Акимкана и его спутников один из пустых углов двора заполнился лошадьми.

Манапбай, который с самого утра сидел на сложенном вчетверо одеяле, облокотившись о большую пуховую подушку, проворно поднялся навстречу Акимкану:

— О почтенный! И вы приехали?

Акимкан, у которого дрожала борода, ответил чуть осипшим от волнения голосом:

— Э, Манапбай, мой дорогой, к кому же мне, скажи, приехать, если не к тебе? Ты ведь, свет мой, был любимцем нашего славного предка, его лучезарным озером. На что мне рай, который, может, ниспошлет мне создатель на том свете, если не смогу взглянуть в твое белое лицо в этот час?!

Адыке, стоявший позади, незаметно утер слезы, делая вид, что поправляет сдвинувшийся на глаза тебетей.

Видно, горе стискивало Манапбая,— в свои неполные пятьдесят он заметно отяжелел: дышал тяжело, вздергивал плечи. В его открытых глазах с характерными складками на верхних веках нет прежнего озорства, нижние веки слегка припухли. Когда он говорит, чуть заметно подрагивает его рыжая бородка. Как у покойного отца, бородка у него гладкая, аккуратно расчесанная. Не в пример Арстаналы, борода у которого поседела, когда беку было уже под восемьдесят, у Манапбая — то ли оттого, что счастье рано покинуло его, то ли от горестных переживаний,— наблюдательный глаз мог бы заметить два-три седых волоска, как бы по ошибке оказавшиеся в его рыжей бородке. Родственники, видевшие, как постарел Манапбай, вздыхали про себя: О изменчивый, бренный мир! Отчего ты вверг в горе Манапбая, любимца нашего Арстаке, кого ты лелеял неизменно?»

Два-три проворных джигита, обутые в мягкие ичиги, прислуживали гостям, бесшумно бегая на цыпочках. Один расстилал дастархан, другой подавал воду для мытья рук, третий подносил самовары. Казалось, не родственники оказывают почести Манапбаю, а, напротив, он их угощает. Хотя место Айнагуль байбиче пустовало, но по всему чувствовалось, что она давно распорядилась: «Принять приезжающих как следует. Обильный дастархан. Заваренный чай наготове. Сперва подать манты, после плов».

Обычно Айнагуль принимала и угощала столь почетных гостей всегда сама. Не говоря о других, отсутствие байбиче огорчало прежде всего самого Манапбая, который сидел с сиротливым видом, словно разлучившийся с матерью ребенок. После того, как Манапбай будет сослан и разлучен с родственниками, единственным знаменем в его руках останется Айнагуль байбиче. А опорой байбиче останется Манапбай. Как бы судьба их ни разлучала, они пожизненно будут подпирать друг друга, как две ели, выросшие из единого корня. А что может сравниться с дружбой супругов, которые помнят поговорку: «Мне дороже мой горбатый старик, чем тридцать сыновей»,— и которые уважают друг друга тем крепче, чем больше стареют? Словом, Айнагуль байбиче, которая вкладывала всю свою душу в хлопоты о Манапбае, оставалась внешне совсем спокойной. То она принимала родственников, приехавших проститься с баем, то, поручив джигитам угощать гостей, уходила справляться с делами, которые нельзя было никому передоверить. Передать привет друзьям и сватам, поручить определенным людям довести до конца запутанные дела, опираясь на свои влиятельные связи, богатство и власть, и, положась на свой авторитет, дать совет, как эти дела закончить,— все это она должна была исполнить самолично.

Закончив свои немалые хлопоты, Айнагуль байбиче решила встретиться с Батийной, которая собирала женщин у здания волисполкома.

Собрание еще не открылось. Молодые женщины, ушедшие от своих мужей-стариков, токол, притесняемые байбиче, заходили одна за другой к Батийне. Вдруг среди тех, что стояли за дверью, началась возня, женщины зашушукались, зашептались меж собой. Донеслось звяканье серебряных украшений.

«Должно быть, это звенят тяжелые ключи, привязанные к концу чьих-то кос»,— подумала Батийна. Дверь раскрылась, и вошел солидный мужчина, почтительно держа руку на груди:

— Не обессудьте. Меня зовут Санжар, джигит Манапбая-мирзы. Айнагуль байбиче пришла повидаться с вами. Разрешите?

— Пусть Айнагуль байбиче заходит в комнату! — ответила Батийна.

Одетая в шубу на мерлушковых лапках, в тщательно намотанном на голове, чуть сдвинутым назад элечеке,— он так шел к ее белому с негустым румянцем лицу,—и оставив у порога новенькие калоши, Айнагуль байбиче с веселым видом направилась к Батийне:

— Хотела бы назвать вас «эже», но вдруг окажусь старше вас. Хотела бы назвать вас «синди¹» но могу оказаться моложе вас. Лучше назову вас просто «подруга». Здравствуйте, подруга!

Учтиво улыбаясь, Батийна сказала:

— Будьте живы-здоровы, подруга.

— Я пришла к вам. Не обессудьте меня.

Назвав Айнагуль «подругой», Батийна уже не могла назвать ее «байбиче». Как-никак у нее с Айнагуль одинаковая судьба, одни и те же горести, одни и те же душевные тайны. Батийна готова- была сказать: «Ты рано достигла желанной цели. А я набрела на Алымбая-медведя»,— но вслух произнесла другое:

— Разве я могу осуждать вас, подруга. "Ведь я была в тени, а ваша слава гремела по земле.— И взяла Айнагуль за руку.

Айнагуль улыбнулась.

— Прошли те века, бесследно истаяли, подруга. Кто не знает поговорку: «Чем женщина с золотой головой, лучше мужчина с лягушачьей?» Что говорить, я было отвергла низкорослого теленка, да нашла себе мужа острого, как меч. То ли кому-то хочется испытать остроту лезвия моего меча, то ли оговорили его, во всяком случае, по закону новой власти Манапбай ограничен в правах, и теперь его ссылают куда-то далеко с родной земли. Легко ли мне разлучиться с ним, подруга, если моя судьба — быть ножнами меча, который выбрала себе по любви... Я пойду в огонь и в воду вместе с ним, моим мечом. Я не намерена просить, чтоб меня не разлучали с ним. Вы женщина, но вы доверенный человек новой власти. Я хочу расспросить у вас насчет новых законов. Сын Шаймердена Барскан, который возвел на нас напраслину, был много знатнее нас. Теперь он пристроился к новой власти и попросту клеветает на моего мирзу... Да покарает бог того, кто чинит нам зло! Скажите, подруга, можно ли нам остаться на своей родине, если об этом будет просить весь народ?

«Узнаю в ней породу несравненной Гульгаакы»,— восхитилась про себя Батийна и не успела ответить, как Айнагуль предупредила:

— Как ни страшись — сердце не разорвется, как ни радуйся — лоб не расколется. Вы скажите правду, подруга. Не вздумайте утешать меня.

— Скажу правду, подруга: да, новые законы ограничивают в правах тех, кто во времена жестокого Николая угнетал народ.

У Айнагуль вскинулись тонкие черные брови: «Боже мой, какие страшные слова говорит!» Помрачнев, она не стала прерывать Батийну.

— Ваш мирза — потомок хана. Теперь угнетатели и угнетенные разделились на два стана. Нельзя винить Барскана, который честно служит советской власти.

— Вы сказали правду, ничуть не скрывая ее. Да, это верно, что мой мирза — потомок хана. Верно, он иной раз бывал жесток. Но разве должен он страдать за это до скончания века? Пойдем, Санжар. Зачем зря беспокоить людей, раз мы в ответе за пролитые слезы бедняков... Увидимся, если нам суждено будет встретиться вновь! До свидания, подруга!

Айнагуль надела калоши, подставленные ей Санжаром, молча следившим за их разговором, и потянула к себе дверь.

Прощаться с Манапбаем съехались все родственники, сваты и друзья. Двор заполнили люди в больших тебетях. Будто советуясь о некоем важном деле, они ходили группками по базарной площади, где обычно торговали скотом. В каждой группе были и почтенные старики в тяжелых длинных шубах, больших тебетях, и люди среднего возраста в белых калпаках, в шапках с оторочкой из куньего меха, в легких бешметах, и молодые джигиты с лихо закрученными усами.

Заправила каждого рода, каждого аила обращались к своим людям:

— Продан ли ваш скот, собраны ли деньги? Никто не должен остаться в стороне от ынтымака¹. Пусть река унесет деньги того, кто не захочет подарить их младшему сыну незабвенного Арстаке аа дорогу. Все мы поедем провожать его на расстояние дневного пути. Может, немногие из вас захотят проводить его до Алма-Аты?

— А что говорят Акимкан-аке и другие почтенные старики?

— Что бы ни говорили, но всего можно ожидать в такие тревожные дни. Надо как следует подготовиться к дороге!

На устланном коврами помостстало тесно. Манапбай развернул белый атласный платок и начал рассказывать какую-то длинную историю. В каждой фразе его таилась загадка, над которой надо было поразмыслить. Вместе с тем в его речи повторялась одна дума, не высказанная ясно, но угадываемая по смыслу, — это признание прошлых грехов, просьба перед людьми простить его: мол, ничего не поделаешь, именно мне, Манапбаю, выпала доля отвечать за жестокость моих предков, что правили народом. Человек должен изведать то, что послано ему аллахом. Младший сын бека, привыкший властвовать над людьми, устанавливая свои законы, тяжело вздохнул, делая вид, что скорбит за свой народ, который-де останется с его, Манапбая, вынужденным отъездом без правителя.

— Хоть и стоит лягушка на суше, но глаза у нее смотрят в озеро. Сокол, взлетевший высоко в небо, тоскует по своему насесту. И еда мне не в еду,

когда разлучусь с вами. И не спать мне спокойно тогда, народ мой...— Слова у него выходили тяжелыми, вескими.

Акимкан, время от времени утиравший слезы, подбадривал Манапбая:

— Род твой всегда останется твоим. И люди твои всегда будут с тобой. Куда бы ты ни поехал, мы будем считать тебя главой нашего рода. Сноху нашу Айнагуль будем считать матерью его. Думаю, не миновать кары аллаха тому, кто вызвал беду на твою золотую голову.

Манапбай,— он все утро внушал беречь отцовские обычаи, не терять согласия меж собой — громко воскликнул:

— Спасибо вам, дорогие аке! Спасибо тебе, народ мой! Словно виденье, появившееся невесть откуда,, вскочила Айнагуль с воздетыми к небу руками, растопырив белые пальцы:

— Омийин, дорогие аке!.. Наступил час трогаться нам в путь.,

Все разом, вскинув руки, зачастили слова благословения:

— Ты наш хан и бек, дорогой Манапбай. Сородичи твои останутся твоими сородичами. Где бы ты ни был, сидящие здесь достойные люди ханского рода всегда исполнят твою волю! Пусть всех нас поддержит дух наших предков — ханов, равных цророку. Придет время, батыр, ты не унизишься, а возвысишься, забудешь тяжесть свалившейся на твою голову беды. Пока не закроются наши глаза, люди твои останутся с тобой!

— О-мий-ин!

что с ней будет!

Караванчики на мулах спустились с гребня перевала и медленно двигались по жесткой каменистой тропе, растянувшись длинной, местами прерывистой цепью.

У самого брода, где шумный пенящийся ручей сливался с речкой, катившейся по дну ущелья, караван остановился.

Поглядывая время от времени на погонщиков длинноухих упитанных мулов, нагруженных тюками циновки, бязи и чаю, Ошур, купец с черной кудрявой бородой, напевал себе под нос что-то веселое.

— А-а-у-у-уу...— тянул он преспокойно, как вдруг, не успев закрыть рта и вытаращив глаза, так и обмер. Темно-бурый мул под купцом запрокинул голову и настороженно глянул в сторону брода. Лоснящийся круп мула был накрыт лапами хозяйского халата, с боков его свешивались не очень туго набитые, аккуратно притороченные к седлу половинки куржуна.— Спаси, аллах! Спаси, аллах! Человек это или призрак, не пойму...— повторял заплетающимся языком купец, показывая камчой на брод. И погонщики, понукавшие навьюченных мулов, оторопели.

Другой торговец, Ороз, оседлавший черного мула, вполне под стать темно-бурому, весь вытянулся:

— Что за диво, мой ходжа? Привидение или кишкийик¹? Он называл Ошура в шутку «мой ходжа».

Они не могли различить, человек это или еще кто-то. Нежданно-негаданно у подножья безлюдного перевала, на берегу бушующей реки предстала перед их глазами одинокая, почти голая женщина.

Зуракан прибрела сюда, как только высвободила руку из волчьей, пасти. Сбросив с себя клочья платья, она подошла к реке, обессиленно шатаясь, тяжело дыша, крепко-крепко стиснула правой рукой кровоточащую левую. Сердце больно сжималось, рябило в глазах. Зуракан припала к воде. Сперва зачерпнула открытым ртом, лакая по-собачьи, потом стала глотать с судорожной жадностью. Оторвавшись от воды, она, упираясь в бока, облегченно охнула и принялась рвать подорожник у речки. Обложив раненую руку листьями, что напоминали собой кабаньи уши, она стала было завязывать ее клочками бязевых штанов, как вдруг увидела караванщиков с мулами. С размочаленными, всклокоченными волосами, со стекающими с подбородка каплями воды, с окровавленной рукой, она удивленно смотрела на невесть откуда возникших людей.

Не ведая ни страха, ни чувства стыда, она зашагала к караванщикам.

— Эй, вы! Джинна, шайтана увидели, что ли? — кричала Зуракан во весь голос — Что разинули рты? Зачем вылупили глаза? Голую женщину никогда не видели?

Ошур - сидевший на темно-буром муле, пришел в себя и спросил испуганно:

— О-о... Орозжан, что за привидение на нашу голову? Говорит, как настоящий человек, да, совсем как настоящий человек...

— О торговец несчастный, чтоб тебе лопнуть! Почему, сарт, испугался голой женщины?! Я тебе не албарсты! Зуракан я!

Ошур подался назад, чуть не свалившись со своего мула. Купцу померещилось, что перед ним — его бывшая жена, которую он оставил в Ак-Су.

Зуракан шла, не стесняясь своей наготы.

— Двое суток ничего не брала в рот! Не сомкнула глаз, лежа на камне.

Билась с волками. Неужели не видите, что изранена я, одни клочья висят? Может, какие тряпки у вас найдутся, чтоб мне прикрыться? Люди вы или нет? В женщине заговорило чувство стыда, когда она приблизилась к торговцам на расстояние полета стрелы. Она прикрыла голые груди, скрестив на них израненные руки; сжавшись, опустилась на лужайке в высокую траву, громко всхлипывая.

— Будьте людьми, прикройте как-нибудь мой позор. Я убежала от унижений, спасалась от смерти. Не оставляйте меня здесь, дорогие аке...

Ороз торопливыми шагами подошел к Зуракан.

— Не плачь, дорогая, не надо... Куда ты бежала? Мы с тобой... Не бойся... — И Ороз накинул ей на плечи широкий мужской халат.

«Мы с тобой, не бойся...» — от этих слов повеяло на Зуракан теплом, как от утреннего солнца.

То поправляя на себе неуклюжий мужской халат, то отпуская его широченные полы и рукава, она жадно поглощала поданную лепешку и, едва уняв голод, прямо-таки взмолилась:

— Дорогие аке, не смотрите на меня, как на свою добычу! Я убежала от гнева белой змеи. Она надругалась надо мной... Теперь у меня одно желание — спуститься в Чуйскую долину. Там я найду отца и мать... она у меня из рода джанкарач... Ах, свидеться бы с ними!

Ороз, подойдя к Зуракан поближе, стал шептать ей в уши: — Смотри, сестра моя... Эти торгоши даже свою совесть продадут за дырявый джармак¹. Я тоже из Чуйской долины... Ты сказала, что твоя мать из рода джанкарач. Стало быть, я прихожусь тебе дядей. Родственники всегда были опорой женщине, убежавшей от мужа. Называй меня дядей, а я тебя — племянницей.

Побольше расспрашивай о тех, кого я назову, а я буду отвечать, что все они живы-здоровы. Иначе эти торгоши могут продать тебя кому-нибудь в наложницы. Вон тот сарт с черной кучерявой бородой, который сидит на темно-буром муле, опасный человек. Слышала о торговце, который украл тринадцатилетнюю девушку-казашку, когда она несла воду? Слышала о ходже, который обманом увел с собой убежавшую от мужа женщину и в Андижане продал ее какому-то чайханщику? Этот сарт с кучерявой бородой — один из таких.— Наклонившись к Зуракан, настороженно оглядываясь по сторонам, Ороз прошептал: — Будь у этого подлеца пули вместо глаз, он не прочь расстрелять любого... Я его проводник. Он не знает дороги в горах... Его прервал окрик сарта с кудрявой бородкой, Ошура:

— Ороз-ян!

— Что прикажете?

— Ну-ка, верни мне должок!

Ороз засуетился, хлопнул рукой по боковому карману, пощупал его, побледнел.

Заиграли жгучие глаза на смуглом лице Ошура. Как человек, одержавший победу, он сказал повелительным голосом:

— Ты должен был вернуть мне томук¹ правой рукой, раз ты проиграл! Теперь изволь исполнить мое желание: свою племянницу отдашь мне!

Ороз, ошеломленный, будто глаза в глаза увидел гремучую змею, потянул Зуракан за кровоточащую руку и подвел к Ошу-ру, а сам тотчас отошел в сторонку.

Женщина еще не понимала, что ее передают, словно вещь, вместо приза. Ныло отяжелевшее тело, в ушах гудело,— казалось, все кругом посерело, будто затянулось белесым туманом...

РАДИ ЗУРАКАН

Букен с Серкебаем скрывали, сколько могли, что исчезла Зуракан. Все аилчане знали, что она пререкалась с Букен байбиче, и та крепко оскорбила молодку-богатыршу, которая не уступит по силе хорошему верблюду.

Женщины между собой поговаривали: Букен, мол, собирается убрать ее с глаз подальше. Но мужья каждый раз их одергивали:

— Ой, не болтай ты, баба! Разве Букен может прогнать свою работницу, раз новая власть защищает бедняков? Закрой рот! А то еще накличешь на себя беду, скажут, слышали, мол, от жены такого-то.

В самом деле, как это ни с того ни с сего в мирное время пропал человек? Если женщина убежала, то ей деваться некуда, кроме как к своим родственникам. Джигит, посланный тайно Серкебаем в Чуйскую долину, вернулся ни с чем. «Зуракан там не было и нет в помине»,— сообщил он. Как ни старалась утаить Букен байбиче, весь аил прослышал, что Зуракан пропала.

Женщины интересовались у Букен:

— Вы слышали, золотая байбиче, что Зуракан вовсе не добралась до своих родственников? Посылал ли бай за ней на поиски?

Букен набросилась на женщин, готовая выцарапать им глаза:

— А ваше какое дело? Да поглотит негодницу бездна, раз взбесилась. Боже мой, вам бы хотелось, наверное, чтоб пропал и мой бай вслед за этой сбежавшей шлюхой!

Женщина, задавшая вопрос, замялась:

— Я просто так... Простите, золотая байбиче. Поговаривают, как бы не попало за это баю.

Словно это ничуть не беспокоило ее, Букен с грозным видом сказала:

— За что, по-вашему, может попасть баю? Да разобьются о черный камень все ваши мрачные мысли! Несдобровать тому, кто причиняет нам зло! Я его прокляну своей смертоносной слюной!

Серкебай опасался, как бы все это не обернулось бедой, и старался уговорить жену:

— Ай, байбиче, байбиче! Люди тоже ведь хотят знать. Не одергивай их!

Но байбиче вскипела:

— Нет, я заткну им рот! Мы не какие-нибудь чужаки, упавшие с верблюжьего вьюка, чтоб о нас болтали всякое!

Батийна угодила сюда как раз в то время, когда разгневанная байбиче не находила себе места, а бай жил в ожидании неприятностей. Недаром говорят: «Не так страшен враг, который стреляет в тебя, как свой, который пронюхал твои тайны». Батийна, которой вся подноготная Серкебая была известна, встревожилась не на шутку, узнав об исчезновении Зуракан. «Ведь из-за коварства белой змеи Букен сколько пришлось натерпеться несчастной Гульбюбю, а пастух Дубана вовсе пропал бесследно! Похоже, двойное жало белой змеи извело и бедную Зуракан».

Народ съехался на большую сходку со всех аилов, и Батийна потребовала, чтобы Серкебай и Букен всенародно ответили, куда же девалась их работница.

Серкебай за свою долгую жизнь никогда не стоял навтыжку не то что перед женщиной, но даже перед биями и болушами, а эта Батийна заставила стоять его перед ней, и сердце у него сжималось, так, словно он проглотил горький яд.

— Два раза посылал людей к ее родственникам. Но там ее не оказалось,— ответил он приниженно.

— Чем провинился мой бай, дорогая Батийна? — вмешалась Букен с притворной учтивостью.— Ведь Зуракан не четвероногая скотина, которую пасут. Она делала, что хотела. Вроде бы умом тронулась, несчастная. Бросила нашего Текеша, посчитала его ниже себя. Убежала добывать себе свободу. Нас в тот день не было дома. Мы ездили в соседний аил на той. И с баем там заночевали. А на завтра, когда мы вернулись, видим, наш Текеш сидит один, обняв свои колени...

— Все это нам известно, байбиче! — прервала Батийна, глядя ей прямо в глаза.— Дубана, которого вы ловко извели, тоже не был четвероногой скотиной, а золотоголовым мужчиной! Неведомо до сих пор, куда он запропастился.

Букен, приняв наивный вид, воскликнула:

— Напрасно говоришь, милая! Какое с моей стороны может быть коварство?! Несчастный Дубана спятил: на него напал нечистый дух. Я позвала лучшего гадальщика из Андижана раскрыть и прочесть книгу судеб. Так он сказал мне: «Выслушай меня, белолицая байбиче. Джинны и злые духи увели его за Казыкуртские горы». Ах, мусульмане, неужели я обязана отвечать за человека, раз он свихнулся. Какое у меня, боже, может быть коварство?

Батийна спросила внушительным голосом:

— Выходит, Зуракан тоже увели джинны и злые духи?! Букен беспомощно развела руками:

— Все делается по воле аллаха.

Она хотела еще добавить «дитя мое», но не смогла. В душе байбиче не переставала проклинать Батийну. «О шлюха бешеная! Будь у меня пули в глазах, я уложила бы тебя одним своим взглядом! О аллах, да буду твоей рабыней, молю тебя, расправься с ней, с албарсты!»

Батийна оборвала ее так, словно видела все своими глазами:

— Нет! То не воля аллаха,— ваше коварство: вы погубили красавицу Гульбюбю, оговорили вы ее! Теперь вы погубили Зуракан!

Букен ошеломленно вскинулась:

— Боже, не говори так!

— Но теперь новая власть горой стоит за таких, как Зуракан! — Батийна повернулась к Серкебаю: — На этот раз вам не удастся закрыть глаза на злые козни своей байбиче! Если не разыщете Зуракан, немедля составим на вас приговор, под ним каждый бедняк подпишется, и сошлем вас в Сибирь!

Отовсюду раздались голоса:

— Правильно! Дело говорит!

— Зуракан работала, как хороший бык! А распустили слушок, будто она заболела дурной болезнью, которой болеют одна из тысячи женщин.

— Сомневаемся мы!

— Сомневаемся!

— Пусть ответят перед судом!

Никогда до этого не бывало, чтобы всеми почитаемый аксакал и богач, подобно Серкебаю, подвергался допросу «бело-ушей» женщины на глазах у множества людей, на глазах у незнатных женщин.

Вчера Манапбай отправился в ссылку, а сегодня закатилась звезда Серкебая. «О создатель, за что ты караешь нас? Счастье покидает наш народ с тех пор, как белоушие женщины стали править. Дождемся ли мы, когда кости этой надменной бабы будут раскиданы на развилке дорог?» — понутив голову, терзался Серкебай.

Гнев и злоба душили Серкебая, но он не сдавался, искал выхода:

— Сделай так, чтоб нам дали срок, дитя мое, Батийна! Разберись, невестка моя, где белое, а где черное! Возможно, байбиче и допустила что-нибудь такое... накричала на кого или шепнула ненужное. Но ничьей жизни не повредила.

Помахивая указательным пальцем, Батийна ответила:

— Мы вас предупреждаем, бай. Хоть вы таких женщин, как Зуракан, издавна унижаете, у них, мол, лягушачьи головы, но она ни в чем не уступала мужчинам: ни в силе, ни по уму и смелости. Зуракан не согнешь, знайте, бай и байбиче, ни хлесткими ударами камчи, ни злыми наветами. У бедняков тоже болит душа и щемит сердце от несправедливости. Зуракан не решилась бы на побег, она умеет беречь свою честь и достоинство, если б не довели ее до этого. Вы говорите, что она ушла сама. А возможно, вы сбросили ее с обрыва, надеясь, что никто не узнает. Что, если найдутся свидетели?

Батийна думала, что сможет заставить бая и байбиче сказать правду о Зуракан, действуй она пожестче. Поэтому была довольна собой, что сказала убежденно, будто видела все своими глазами:

— Я знаю, какое вы преступление совершили. Человеческую кровь вы не сможете скрыть,— И без особых колебаний поверила своим словам: — Если они довели Зуракан до самоубийства, то нет для них лучшего наказания, чем смерть!

Букен залилась слезами.

— Ну и черная напасть на нас! Что за издевки твои, о боже! Мы всегда были из тех безвредных людей, которые даже мухи не обидят. О растяпа, Текебай, откликнись, где ты? Ведь твой дядя Серкебай заботился о твоей неблагодарной жене, как о своей младшей сестре! Ты же, несчастный, не мог уберечь г/, с которой спал в одной постели. О боже, ведь она сама убежала, потеряв рассудок и заболев дурной болезнью! Я могу поклясться на Коране, обойдя семь раз могилу моего свекра, что каждое мое слово чистейшая правда! Поклянись и ты, Текебай, обойдя семь раз могилу своего отца и держа в руках Коран, если считаешь, что я говорю неправду!

Текебай не вымолвил ни слова, сидел все время пришибленный. Тем сильнее расходилась Букен:

— О-о, боже! Не мучай нас, верных своих рабов. Не Текебай, а я поминала каждый четверг его отца и мать, нажарив поминальных лепешек или зарезав скотину. Это ли моя вина, Текебай?! Есть у тебя язык? О чтоб тебя покарал

дух предков! Откуда мне знать, что на душе у твоей жены, с которой ты вместе спал? Разве ты не знаешь, она точно взбесилась, не признавала тебя за мужа и зарилась на других мужчин. Каждую ночь под пятницу она металась, как сумасшедшая, брызгая слюной! Небось и вам приходилось видеть, дорогие аилчане, как эта женщина, потеряв всякий стыд, вместе с парнями скакала на бычке? Скажите свое справедливое слово...

Распалившаяся Букен, вероятно, обрушилась бы во всем на Батийну, только б ее не перебивали. Она бы сказала: «Это ты, мол, взбаламутила глупую женщину! Подлая салбар, чтоб мне видеть тебя при смерти! Хватит моих проклятий, чтоб ты околела, пусть даже ты побывала не то что в Москве, но и в самой Мекке! Пусть исчезнет само имя Букен, если так не свершится! Ты хочешь, наверное, отомстить всем мужчинам за то, что Алымбай оставил тебя в салбарах. Ты — дьявольское отродье, что сбивает толпу простодушных женщин, прожужжав уши: «Не позволяйте, мол, продавать себя за калым, не выходите замуж за стариков. Токолы, бросайте своих мужей!» Когда женщины теряют совесть, рушатся и обычаи. В небе начинают царить, размахивая крыльями, джинны и шайтаны, а взбесившиеся женщины распускают подолы своих платьев. Лучше уходи отсюда, не мути женщин, живущих в мире и покое!»

Если б Букен не перебивали, уж она бы с пеной у рта неутомимо доказывала бы свое и, возможно, склонила бы кое-кого из наивных людей на свою сторону.

Но Батийна разгадала коварный ход Букен и решила применить противоядие. — Хватит вам разоряться,— резко оборвала ее. Букен сразу уподобилась наивному ребенку.

— Э... боже мой, а что значит — разоряться?

Толстые щеки у Букен налились кровью так, что посинели, сделались почти черными, помутневшие глаза выпучились.

«Цапнуть бы тебе лицо ногтями, грязная салбар! Ишь, разоряешься, говорит!» — лишь подумала Букен, задыхаясь в бессильной злобе.

Батийна говорила спокойно, с достоинством. Неслышно вздыхая, женщины сидели с сияющими лицами:

«Ведь она верно говорит! Мы сами, женщины, тоже виноваты. Чем перечить мужу и упрячиться до тех пор, пока лепешка не прогорит, не лучше ли беречь его, отца твоих детей, да быть поласковой к нему? Тогда и мужчины будут уважать нас. Говори, дорогая! Докажи, что белоушие женщины ни в чем не уступят золотоголовым мужчинам, если получат свободу! Ах, непутевые мужчины, чтоб бог проучил вас! Если вы скакуны, то мы — ваши сердца, дающие вам силу! Если вы — хваткие соколы, то мы — ваши крылья, дающие вам взмыть ввысь!»

Старики в больших тебетеях понуро молчали, ковыряя землю концом камчи. Молчал и Серкебай, угрюмо покачивая бородой, удивительно похожий сейчас на* белоголового* козла.

«Что возразить на столь справедливые речи? Да, был грех: женился на токол. Случалось, замахивался на беспомощных бедняжек. Э-э... Недомыслие наше. Действительно, согласие между мужем и женой равно достоянию большого города с золотыми воротами. О мужчины, из-за каких особых достоинств мы возомнили себя выше женщин, наших святых матерей, сотворивших нас из ничего, вырастивших нас людьми?»

Дрогнуло сердце Серкебая от нахлынувших воспоминаний. Он как-то смягчился, слушая умную речь Батийны, и почувствовал, как улетучивается предвзятая ненависть, с которой он пришел на сход. Он вспомнил свою юную жену Гульбюбю... Разве не загублена была их любовь, ее жизнь. Что правда, то правда. А виноват во всем он, Серкебай...

Повевают свежий ветерок, пестрые тени разорванных в клочья, подобно белой верблюжьей шерсти, тонких облаков скользят по лицам сидящих. В глубине меж облаками синее небо. Со всех сторон искрятся зубчатые вершины Великих гор, подняв на себе хребты, обширные горные долины, сверкающие озера, равнины, реки, что тянутся кровяными жилами во все концы, лесные чащи, отвесные скалы, спящие Ледники,— подняв все на свете, движется незаметно великанша Земля, вздымая груди, выгибая спину, несет она, родная наша Земля, катясь словно гранитный шар, и совершает в бесконечных просторах вселенной свой нескончаемый путь, несет безостановочно, разрезая небо острыми зубьями своих вершин, точно гигантская пила.

Если б кто взглянул с высоты вселенной на нашу Землю, что кормит своей грудью все живое, она показалась бы ему маленьким яичком, завернутым в белый пух. Прекрасна, щедра, вечна она! О люди! Оставьте вы свои споры и ссоры, зависть, неприязнь друг к другу, будьте великодушны, справедливы и могучи, как мать Земля, окропляйте землю чистым потом, созидайте * сокровища, которые вы оставите своим потомкам!

Батийна поправила косынку:

— Нас угнетают не только мужчины, которые придерживаются стародавних обычаев. Нас мучает тяжкий гнет и таких женщин, как Букен. Недаром говорится, козней одной дурной женщины хватит, чтоб нагрузить сорок ишаков, а коварных хитростей Букен байбиче вполне хватило бы, чтоб сломить хребет могучего верблюда.

Наступили новые времена, родились новые законы... Голос Батийны звенел все крепче. Сжав кулаки, она рассекала воздух рукой:

— Эти новые законы отрубят топором корни жестокости между людьми! От имени всех сидящих здесь отцов, матерей, братьев и сестер я, Батийна, требую — пусть Серкебай во что бы то ни стало разыщет Зуракан и отдаст ей с Текебаем все ими заработанное да предоставит им свободу!

Со всех сторон раздались голоса:

— Правильно, правильно!

— Пусть так и сделает!

— Мало отдать то, что заработали. Раз бай считает Текебая своим племянником, пусть выделит его долю!

— Если бай не разыщет Зуракан живой или мертвой, предлагаю составить приговор на бая и его байбиче, заклеить их как жестоких тиранов, которые издеваются над человеком злей, чем над скотиной. Под этим приговором все подпишемся или приложим свои пальцы и будем просить у новой власти, чтоб их привлекли к полной ответственности. Кто за это предложение, поднимите руку!

— Что она сказала? — спросила, оглядываясь по сторонам, глуховатая старушка.

Зашевелилась вся родня Серкебая. И дружно взметнулись сотни рук.

«ПОЛЮБИЛА — ВЫШЛА!»

Прошли месяцы.

Из поездки в Чуйскую долину Серкебай вернулся не столько перепуганным, смятенным, каким казался до того, сколько озлобленным.

Серкебай отправлялся в это путешествие не по доброй воле, а из-за скандального дела, грозившего ему крупными неприятностями.

Многочисленные родственники, сваты и соседи, все, кто жил и кочевал вместе с Серкебаем, узнав, что он вернулся, пришли в его юрту. Для тех, кто не влез, вынесли шырдаки и кошмы во двор.

Серкебай сидит посреди знатных аксакалов в больших тебетях, с покрасневшими от неунявшейся обиды глазами и цедит сквозь зубы:

— Эх, что спрашивать, родные мои! В свое время были мы богатыми. Ко мне даже бык с острыми, как клинки, рогами не смел подступиться. Но эта комолая серая корова, начисто лишенная стыда и совести, вынудила отправиться в Чуйскую долину меня, золотоголового. Да еще по такому ничтожному делу. Поехал я разыскивать женщину, которая взбесилась и ушла искать себе другого мужа. Но там ее не оказалось. Говорят, попутно эта бестия себе нашла дядю. Хоть бы сперва разошлась со своим мужем, с которым связана священным браком. Эта развратная сука, говорят, успела подхватить другого, согласно закону — «полюбила — вышла!».

Поерзав на месте, Серкебай посмотрел вдаль, словно человек, у которого улетела куда-то ловчая птица.

— Единоплеменники мои, земля наших предков, горы и скалы как будто прежние. Но только эта серая комолая корова взбаламутила наших простодушных женщин... Я привез бумагу от самого большого пишпекского начальства.

Порывшись в карманах, Серкебай достал сложенное вчетверо свидетельство, удостоверяющее, что Зуракан вышла замуж за полюбившегося ей человека. Серкебай потряс в руке лист бумаги, высоко поднял его:

— Вот законы вашего уруята! Женщина, оказывается, вольна выходить замуж сразу за двоих, хоть за семерых — на то ее воля. Все мы, темные киргизы, никогда не закрывали своих дверей на замок. Зачем? Разве убегала от кого-нибудь жена? Теперь же это обычное дело. У любого из объятий может выпорхнуть, словно птичка, законная жена. И никакие решетки на дверях вам

не помогут, киргизы мои. Если среди вас еще остались настоящие мужчины, готовьте железные двери да привяжите своих жен серебряными путами. Серкебай засмеялся притворным смехом.

— Бай, а что делать тем, кто не добудет серебряных пут?— поинтересовался кто-то из сидящих.

— Тогда что ж... Ослих хватает... Сядешь на какую да поедешь по дрова...

Серкебай смеялся не в шутку и не от скуки,— в нем прорвалось желчное злословие человека, сгорающего от обиды и жажды мести. Лицо его выражало ярость, глаза налились кровью.

— Когда-то я был барсом, даже клыкастого льва не страшился, а тут дал себя укусить паршивой сучке. Эй, бессовестная шлюха, смутившая народ, настанет ли день, когда можно будет расправиться с тобой?

Сидячие давно догадались, в кого метит бай. Бессильная злоба мучила не одного Серкебая или Тазабека, но и стариков, кто женился на девушках, надеясь согреть свои дряхлые кости, и многих байбиче, и тех мужчин, что у себя дома держали токол и притворялись, что согласны с новыми законами и готовы им подчиниться.

Серкебай с притворным смирением заговорил:

— О единоплеменники мои! Власть эта не от бога, но не слабее бога, разве мы можем послушаться ее, когда она требует дать женщинам свободу?! Дело, если будет делаться без ума, может скверно кончиться. Недолго и в бездну провалиться. Лучше посоветуемся, узнаем сначала: как смотрит священный шариат на новые законы? Обойдемся без аильных недоучек, пригласим настоящего муллу из большого города и расспросим насчет законов шариата. Священный шариат, по-моему, не может свернуть с пути, по которому идет испокон веков. О единоплеменники мои, если шариат будет на нашей стороне, женщина-начальница побрыкается - побрыкается да перестанет. Разве когда-нибудь строптивая лошадь уносила джигита в пропасть?

Не прошло и недели после этого разговора, как в город отправили нарочного с запасным конем, и он привез оттуда муллу-татарина.

Не только среди людей четырех родов, населяющих долину Карасаз, но и среди соседствующих родов по беспроволочному телеграфу «длинного уха» разнеслась весть:

«Серкебай, ездивший в Пишпек на розыски распутной работницы, вернулся, говорят, с важной бумагой от больших начальников центра. Если не будем придерживаться наряду с законами священного шариата и законов новой власти, то все носители тебетеев рискуют остаться без жен. Потому что у нас, киргизов, женщины испокон веков вместе с мужчинами проводили свои дни на конях. Женщины горячее, напористей нас. Стоит им внушить: «Возьмите в свои руки поводья да поведите людей к свободной жизни», как все белоушие понесутся очертя голову. И некому будет рожать детей и хозяйствовать дома. Сам Серкебай сказал это. А большой мулла, вызванный из города, будто заявил, что начальники из центра повелели ему улаживать все женские дела по законам священного шариата. Мулл*, говорят, татарин».

Всюду, куда донеслась эта весть, мужчины не сидели сложа руки. То из одного, то из другого аила прибывали к Серкебаю гонцы на взмыленных конях:

— Из верхних аилов к вам едут все мужчины во главе с Мамытом-аке! Они сказали: «Передай баю, чтобы дожидался нашего приезда на сходку!»

— Э... хорошо, если бы они не опоздали.

Не успевает Серкебай ответить одному, на вороном жеребце уже другой гонец с бородкой клинышком и носом с горбинкой:

— Мужчины нижних аилов едут во главе с Зарпеком-аке. Велел сказать: «Без нас сходки не открывать!»

— Вот оно! Все едут ко мне. Разве кто в силах опорочить мое доброе имя?! Серкебай распахнул грудь, откинул ворот белой шубы и, взгромоздившись на светло-серого жеребца, властно распорядился:

— Эй, пусть съедутся мужчины четырех родов и соберутся у Зеленого холма на берегу извилистой Иири-Су. Там всегда обдувает ветерок — кони под защитой от оводов и мух. Да и вода близка: есть где совершить омовение, кто захочет помолиться. Слышите, наша сходка, скорее всего, затянется. У кого дойные кобылы, те привезут с собой большие чаначи кумыса! У кого овцы, не забудут приторочить к седлу по туше барашка!

Не случайно Серкебай почувствовал себя опять в седле. Находясь в Пишпеке, он ночевал у какого-то человека «новой власти». Серкебай не совсем разобрался, какой он пост занимает, но узнал, что тот приходится двоюродным братом Букен байбиче. Объяснив, по какому делу приехал в такую даль, Серкебай осторожно спросил:

— Скажи, поставлен хоть какой-то предел свободе этих белоуших? А то приехала в наши края женщина-начальница и затуманила всем головы. Родственник пробовал втолковать баю:

— Теперь запрещено иметь токол. Старому человеку нельзя жениться на молодой девушке. Кладется конец и калыму...

— Возможно, так будет в дальнейшем. Но как поступят с теми, кто все это сделал раньше?

Не желая огорчать Серкебая, родственник успокоил его:

— Каждый имеет право поступать, как его душе угодно. Если токол любит своего бая, она может и дальше жить с ним.

Серкебай почувствовал облегчение: «Э, давно так сказал бы! В самом деле, власть, которая дала свободу женщинам, не может обидеть меня. Надо только самому крепко постоять за себя, и все будет нерушимо».

Именно это убеждение — надо только самому крепко постоять за себя, и все будет нерушимо — придавало силы Серкебаю. Поверив в свою правоту, бай вместе со старейшинами четырех родов и муллой-татарином направился к Зеленому холму.

Почтенный мулла, горожанин, в жизни не ездивший верхом, хоть и посадили его на коня смирнее коровы, держался весьма неуклюже, всю дорогу

хватаясь одной рукой за луку седла, а другой поддерживая прижатую под мышкой сумку со священной книгой.

Иные шутники похихикивали над ним:

— Смотри, как сидит в седле святой человек! Что с ним будет, ес^и согрешит ненароком и придется ему проезжать по волосяному мосту ада.

Подножия Зеленого холма заполнили привязанные друг к другу оседланные кони, а самый бугор сплошь облепили люди, словно пень, на котором роятся пчелы.

«Народ весь в сборе. Ну, молдоке, говорите ясно, да выкладывайте всю правду!» — только хотел было так начать Серкебай, как вдруг запрокинул голову, словно увидел пожар, и запальчиво крикнул:

Эй, мужчины, кто попроворней — по коням и скажите вон тем бабам, чтобы они повернули назад. Там, где собрались почтенные аксакалы и толкуют о священном шариате, нет места белоушим!

Все разом повернулись в сторону хребта и увидели женщин, конных и пеших. Передние уже спускались в низину, тогда как задние еще находились за бугром. Нарядно одетые, в элечеках и платках, женщины заполнили долину, расцветив ее, словно мальвы.

Покачивая мясистыми боками, главарь нижних аилов Зарпек решил подшутить над Серкебаем:

— Сам ты, бай, говорил: «Красота долины в цветах, красота семьи — в женщине». Когда на сходке одни мужчины, мы похожи на грифов, зарящихся на падаль. Пусть садятся вместе с нами эти Умай-эне в нарядных одеждах. От такой издевки у Серкебая глаза налились кровью. Всадник, помчавшийся навстречу женщинам, вскоре прискакал назад.

— Бай-аке, их ведет сама женщина-начальница! Подавшись вперед, Серкебай обратился к мулле:

— Скажи откровенно, почтенный молдоке, дозволено ли женщинам присутствовать там, где толкуют о законах священного шариата?

Мулла, сидевший посреди аксакалов на мягком стеганом одеяле, держась за свою чалму, кивнул головой:

— Алла, женщины, у которых кончились месячные, могут здесь находиться.

На мгновение воцарилась тишина. Кто-то горестно забормотал:

— О боже милосердный! Попробуй теперь приподнять подола ртим женщинам!

Со всех сторон всплеснулся смех.

Батийна подъехала на вислобрюхой гнедой кобыле, впереди женщин на кобылах-четыrehлетках. В толпе было несколько мужчин в поршнях и серых шубах.

Кое-кто приехал на быстроходных бычках. Видно, горячка езды захватила и этих «рогатых скакунов»: задрав морды, они неслись напропалую, словно спешили растоптать сидящих.

Особенно горячился черный бычок с лысиной. На нем сидел молоденький пастух с жесткими усами и пунцовыми щеками. Казалось, стоит щелкнуть по

ним, как брызнет кровь. Размахивая хвостом, черный бычок хлестал пастуха по полам его серой шубы. Он с ходу врезался в толпу, роняя тягучие струи пенистой слюны.

Сидевшие с краю испуганно повскакали, а один мужчина замахнулся камчой: — Эй, сейчас же поверни назад своего бычка!

Не смея сказать что-либо Батийне, у которой вид был слишком строгий, люди набросились на пастуха:

— Что за озорство?

— Разве не видишь сидящих аксакалов?

— Эй, парень, поверни-ка назад свою корову! Серкебай с посиневшим от гнева лицом начал громко:

— Что за шутки, дитя мое Батийна! Что за шалости! Кто вам позволил бесчинствовать на сходке, собираемой по поручению власти, и появляться на коровах? Тут собрались сплошь белобородые и седобородые. Среди нар и дамбылда, он приехал затем, чтоб разъяснить нам законы шариата.— Серкебай нарочно назвал его дамбылдой, чтоб возвысить муллу на людях. «Эта белоушая злодейка может опозорить меня на глазах у народа»,— подумал он, идя на попятную.—Раз вы приехали, надо вести себя потише, повежливей..,

Батийна выпрямилась в седле и, в упор глядя на Серкебая, сказала:

— Вот и приехали мы тихо, вежливо, бай-аке! Простите, если наш приезд считаете грубостью. Мы узнали, что из города приглашен ученый мулла.

Потому-то и решили явиться на этот мажлис, который обсудит по законам шариата, какой брак чист и какой не чист.— Повернувшись к мулле, Батийна продолжала: — Молдоке, браки совершаются не между теми, кто в тебетях, а между мужчинами и женщинами. Раз так, почему вы не пригласили на этот мажлис и тех, кого зовут подругами жизни мужчин?

Уткнув глаза в свою бородку, мулла с растерянной торопливостью ответил:

— Не я созывал этот мажлис, дитя мое. Меня самого пригласили сюда.

Мажлис этот созвали присутствующие аксакалы.

Батийна обратилась ко всем собравшимся:

— Сейчас не положено, чтобы люди делились между собой: отдельно белобородые и чернобородые, отдельно женщины, отдельно чернопятая беднота. Мужчины и женщины, старые и молодые, должны собираться, советоваться вместе, а не шушукаться каждый сам по себе. Здесь речь пойдет не о тяжбе из-за скота, а о людской свободе, о любви, о честном браке. Но разве можно, молдоке, вырастить дерево, отделив ствол от корней? Вы не какой-нибудь захолустный мулла из среды темных серошубых киргизов. Вы городской, ученый человек, я считаю вас муллой не одних тольков сартов и ногаев, живущих торговлей и ремеслом, я считаю вас справедливым муллой справедливого народа, который строит города, дома, крепости, выращивает скот, засекает землю, знает, где черное и где белое. Мулла закивал головой, потряхивая бородкой:

— Иншалла... Иншалла дочь моя.

Батийна указала рукой на людей, что толпились позади нее.

— Мы готовы поверить в вашу «иншаллу», если здешние аксакалы дадут рядом с собой место этим женщинам, пастухам и батракам!

— Садитесь, садитесь,— сказал мулла скороговоркой. Прошелестел глухой шепот:

— Хорошо... Как раз вовремя приехали вы. Садитесь, дорогие...

Батийна слезла с коня и, волоча по земле конец камчи, подошла к мулле, села напротив него, скрестив по-мужски ноги под себя, почти рядом с Серкебаем.

Слезли с коней и остальные женщины, оживленно переговариваясь между собой, звякая чачучтуками и сверкая серьгами. Одни, как и Батийна, не стеснялись, другие застенчиво глядели в землю.

— Вы что стоите? — подчеркнуто громко обратилась Батийна к женщинам.— Молдоке и остальные аксакалы разрешили вам садиться. Когда бываете одни, всегда шумите, словно козы под дождем: мы, мол, токолы, не хотим жить со своими мужьями-стариками! А тут заробели, словно припертые к обрыву коровы! Никто не говорит, чтобы не чтили старших, но тоже в меру. Иначе сладкое становится горьким. Наша чрезмерная робость сделала нас бессловесными — на всю жизнь сковала нас! Хватит нам принижаться! Без стеснения выходите вперед, садитесь рядом со всеми. Послушайте хорошенько законы шариата. Каждая из вас вправе задавать мулле любые вопросы и получать от него ответы.

Звонкий голос Батийны словно расколол небо. Не один Серкебай, не один Тазабек, а все белобородые и чернобородые переполошились. Уставившись глазами в землю, зашептали про себя молитву:

«Лай-лав-ха иллалла! О аллах, разве было хоть раз, чтоб шумели, безобразничали, когда слушают законы шариата? О создатель, какой горький осадок на душе у знатного человека, когда на него лает белоушая женщина, а глупый пастух толкает, теснит его? За что ты так низко опустил нашу звезду, обломил наши ветви, о творец всемогущий?»

Стрелой вонзились слова Батийны в сердца простых людей, наивно полагавших, что обычаи и правила предков будут не-

Иншадла — если угодно аллаху, если бог даст.

рушимо, нескончаемо жить, как Великие горы, увенчанные белыми чалмами.

Все, кто гордился мужским званием и существом^священ-ным от рождения, сочли себя оскорбленными, а Тазабек, свирепея, чуть не закричал:

«О создатель! Если жива еще карающая сила наших седин, если наши проклятья не утратили смертоносной остроты, сделай так, чтоб шлюха околела еще до утра от наших проклятий. Эта неистовая албарсты посеяла в народе смуту, скоро одинаково, что женщины, что мужчины, лишатся своей теплой постели, творец!»

Серкебай быстро подался вперед, но не смог встать. Хотел было погладить свою окладистую бороду но не погладил, а остался в застывшей позе, подперев кулаком подбородок и до боли прикусив губы.

— Скажите правду, мой дамбылда, скажите откровенно, ведь уруят, щедро наделивший свободой женщин, не обделит, надеюсь, и мужчин? Уруят, щедрый для всего народа, не обойдет и меня... Уруят желателен для всех. О создатель! Но женщины, возгордившись, что уруят дал им равные права, начисто забыли про стыд и бессовестно стали перепрыгивать через головы своих мужей, связанных с ними священным браком. Объясните, мой дамбылда, что говорит об этом шариат? Неужели так просто: захотела женщина уйти — и может бросить мужа? Или у шариата есть на этот счет свое слово, скажи нам истину, святой дамбылда?

В напряженной тишине собравшиеся повернулись к мулле. Все, кто до того ковырял рукояткой камчи землю, подняли головы, не отрывая глаз от мุลлы. Одни застыли, держась рукой за кончик бороды, другие — опираясь руками о колени, третьи — словно собираясь шепнуть своему соседу что-то секретное. Сидя на сложенном вчетверо одеяле, мulla хранил свое высокое достоинство. Время от времени вскидывая рыжие брови, он оглядывал собравшихся зоркими, чуть прищуренными глазами.

Бывает же, когда одна лишь пара глаз, глянувших на тебя в упор, невидимыми путями дает тебе ощутить свою силу, свой гнев или доброту, свою радость или досаду. А тут в мullу нацелилось множество широко открытых, полных ожидания глаз. По их совокупным, направленным на него отовсюду лучам мulla пытался узнать помыслы каждого.. Мulla обдумывал, каким неувовимо хитроумным ходом расположить к себе ожидающих от него ответа мужчин и женщин и- вместе с тем, не восставая против новых законов, остаться верным шариату.

— Слава аллаху. Слава аллаху... — чуть покачиваясь, произнес он негромко и, взяв лежащую на подушке какую-то книгу, стал ее перелистывать.

Кажется, он начал читать стихи из

Корана — зашевелил губами, прищурив глаза и мерно покачиваясь. Вскоре он достал из висевшей у него под мышкой сумки крохотную, чуть больше спичечной коробки, книжечку в позолоченном переплете. Положив ее на ладони, он прикоснулся к ней лбом, после чего поднес книжечку к губам, целуя ее. Раскрыв книжку на какой-то странице, почитал про себя, шевеля губами, и наконец заговорил о шариате.

Как только в руках у муллы оказалась позолоченная книжка, все зашевелились, подобно тому, как густая пшеница еще секунду назад стояла не шелохнувшись, изнывая от знойной духоты, и вдруг начинает шуршать, шелестеть, раскачиваться от малейшего дуновения ветерка. Люди оживились было, но как только заговорил мulla, все застыли, словно неподвижные изваяния. Они, казалось, были убаюканы мелодичным, протяжно-грустным голосом муллы. Он звучал сейчас проникновенно, не так, как при обычном чтении сур из Корана в часы намаза.

Простодушные люди старались понять и запомнить все, что говорил ученый мulla. Ни Серкебай, ни Батийна и никто из собравшихся не прервал хода мыслей муллы.

«Вот оно как! Не делаю ли я противное шариату, когда толкаю женщин на развод?» — засомневалась Батийна в своей правоте. — Что, если он скажет: «У уруята, мол, свои пути, у шариата — свои. Мы не против того, что ты услышала на большом съезде. Но и вы не вмешивайтесь в дела шариата. Если женщине, связанной с мужем священным браком, муж не даст разводную, согласно законам шариата, она не вправе уйти от него». Что тогда? Пожалуй, эти мерзавцы еще растопчут меня... Если мулла повернет так, надо тотчас разоблачить лживость его слов и прямо заявить: «Мы не признаем законов шариата!»

Батийна отбросила мелькнувшие было сомнения.

Мулла, прокашлявшись, продолжал:

— Священный шариат ставит перед супругами — мужем и женой — три условия: первое — согласие родителей, второе — чувство расположения, любви супругов друг к другу, третье — священный брак.

По рядам сидящих прошло едва уловимое движение, чуть слышный шепот. Батийна облегченно вздохнула:

«Если применить правильно, то и законы шариата, значит, на нашей стороне!»

— Так вот, — заключил почтенный мулла, — если нарушено хоть одно из этих условий, то брак не получил благословения. Тем самым надо признать, что совершается насилие над судьбой женщины.

Многие из мужчин не уразумели, насколько приемлемо для них то, о чем толковал мулла.

«Как же могут перечить родители, если получают от меня калым честно нажитым скотом?»

«Посмеет ли противиться жена, если мулла свяжет ее со мной священным браком?»

Не хуже осенних въедливых туманов эти мысли угнетали душу каждого, скребли сердце.

Серкебай чувствовал себя на распутье, не совсем уверенный, надо ли держаться строго тех трех условий, о которых говорил мулла.

— Э... да будут истиной ваши слова, мой дамбылда! — Он с наигранным восторгом хлопнул себя обеими ладонями по ляжкам. — По-моему, среди сидящих тут нет ни одного мужчины, который бы женился, не связавшись со своей женой Священным браком. Признайтесь, кто из вас взял себе жену — пусть это будет байбиче или токол — насильно, без ее согласия? Или... — Серкебай замолк, приподняв руку до уровня плеч, и оглядел сидящих: — Признавайтесь, кто взял жену насильно? Не таитесь и те, кто живет с женой нечистым путем, без брака.

С места раздались мужские голоса:

— Среди нас нет ни одного человека, кто бы насильно взял себе жену.

— Мы уплатили за своих жен честно нажитым скотом и взяли их с согласия родителей.

— Жена, которой противен ее муж, не согреет постель. Такую жену первой прогонит сам муж...

«Ишь ты, прогонит сам муж, говорит! Какая издевка, а?!» — раззадорилась Батийна и энергично подняла руку:

— Чего молчите, женщины? Скажите, от кого зависит, чтоб постель была теплой,— от мужей или от жен? Разве жена может одна согреть постель, еще ее холодит муж? Теперь не такое время, чтобы молчать, опустив головы к земле! Скажите, не таясь, зачем вы приехали сюда?

— Зачем спрашивать у нас, эжеке? — взяла слово белолицая молодуха со смеющимися глазами, в драном, заношенном платье.— Ответьте, молдоке, я задам вам три вопроса: разве отец и мать согласятся выдать свою дочь за плохого мужа, если тот не пригонит свой скот, подвязав на челку лучшего коня пучок ваты? Разве я согласилась бы лечь в одну постель с ненавистным мне человеком, который годится мне в отцы, если б меня не связали ватой по рукам и ногам, да внушили к тому же: «Таков наш прапрадедовский обычай»? Разве мулла не благословит брак, если свидетели при бракосочетании скажут за меня: «Да», хотя я заливаюсь слезами?.. Молдоке, люди говорят, что вы большой дамбылда, приехали из города. Если вы справедливо, честно соблюдаете законы шариата, взвесьте должным образом мои слова и дайте мне справедливый ответ.

Слова молодухи были совершенно неожиданны, будто ливень, разразившийся в ясный день. Ее слова: «взвесьте должным образом» и «дайте правильный ответ» не на шутку озадачили муллу,— он очень дорожил своей репутацией и мечтал уехать отсюда с честью. Это заставило его подыскивать изворотливые слова:

— Никто не может сказать: «Ты не бери калым» или «Ты не давай». Это воля каждой из сторон. Так вот, шариат не допускает, чтобы родители выдавали свою дочь замуж за человека, к которому у нее душа не лежит. Еще, дочь моя, никто не может благословить брак, пока девушка трижды не подтвердит: «Я согласна!»

Игривые, быстрые глаза молодухи засмеялись веселее прежнего:

— Уруят говорит нам, чтоб мы выходили за того, кого любим, а что говорит шариат, молдоке?

Мулла приумолк, как бы досадуя: «Ничего не поделаешь», и, словно кто-то вынуждал его, кивнул головой:

— Священный шариат тоже связывает браком лишь тех, кто пришелся по душе друг другу.

Молодуха засияла от радости:

— Масла вам в уста, молдоке, если правда то, что вы говорите! Если и уруят и шариат разрешают.— Схватив за руку стоявшего рядом пастуха, того самого, что приехал на строптивом бычке, молодуха прямо-таки взмолилась со слезами на глазах: — Я была байской токол, не по своей воле выходила за него. Никакое богатство не может заменить женщине любимого человека. Бай не смог согреть сердце мне. А с этим байским пастухом мы пришли по

душе друг другу. Прошу вас, молдоке, разведите меня с баем по законам уруята да обвенчайте меня с любимым по законам шариата.

Будто запруда взорвалась. Аксакалы, до того угрюмо молчавшие, вспыхнули пламенем:

— Что за бесстыдство такое!

— Что за наглость!

— Дамбылда, вы извращаете законы шариата!

— Поправьте сами!

— Мы не согласны с этим!

— Если все так обнаглеют, мы лишимся жен!

— Дайте сказать, аксакалы и все остальные почтенные люди! — Овладев собою, Батийна явно старалась говорить спокойно, как человек, одерживающий верх.— Просьба этой молодухи—путевая просьба! Невежества и наглости тут нет и в помине! пастух и молодуха отстаивают свое право.

Если хотите, чтоб наш народ процветал и наш край шел в гору, дайте волю этим любящим друг друга молодым людям. Да будет у них свой очаг!

Будто жеребец, повалившийся на земле, вскочил Серкебай и, глядя в упор налившимися кровью глазами, обратился к Батийне:

— Эй, молодуха! Ты была невесткой не одного только Кыдырбая, а всех четырех наших родов. Ты тоже не гаси свой очаг! Никто тебе еще не давал разводную! Распустилась ты! Мало того, сбиваешь всех белоуших на дурной путь! — Он затрясся, словно его ожгло на пожаре: — Дитя мое!

Предупреждаю тебя: если хочешь на том и на этом свете остаться с чистой совестью, сверни, пока не поздно, с неверного пути, присоединяйся к людям! Перестань кружить головы глупым недоумкам, дитя мое...

Сквозь сдержанный гнев Батийна сказала спокойно:

— Не торопитесь, бай-аке! Никто не кружит головы белопла-точным, и никто не распускается. Получив свободу, они находят себе друзей по сердцу...

Серкебай поспешно вытащил из кармана привезенную из города справку. Багровый, он потряхивал листом бумаги:

— Знаешь, что это такое, дитя мое? Если бы ты не кружила головы, если бы ты не сбивала с пути, разве Зуракан убежала бы в Чуйскую долину, бросив своего мужа, предназначенного ей богом? Может, по-твоему, Текебай, который ничуть не хуже любого джигита, не ровня твоей Зуракан?

Приехав в эти места, Батийна расспрашивала о Зуракан, говорила наедине и с Текебаем. Она узнала, что Зуракан относилась к Текебаю ласково и уважительно.

Текебай сильно загоревал с того дня, как ушла от него Зуракан. Выпасая стадо, приткнется где-нибудь на склоне и, не отрывая глаз от голубого неба, проливает горячие слезы. Порой отправится вместо Зуракан за дровами и орошает слезами траву... Как высота горы виднее издалека, так образ бесследно пропавшей жены все ясней представал перед ним. Он не находил себе места, словно навалилось на него небо, и в отчаянии бил себя кулаком

по темени: «Дурья моя голова поддалась изворотам этой белой змеи Букен! О бесценная моя Зуракан! О птица моя звонкоголосая!»

И всякий раз, когда видел Букен, Текебай готов был растерзать ее, но вынужден был сдерживать себя. Со временем он перестал беспрекословно подчиняться байбиче и был несказанно растроган, когда встретил Батийну. «Теперь мне все равно. Пусть заберут меня к себе духи родителей. Пусть меня бранят. Но я расскажу Батийне всю правду».

— Заворожила меня белая змея, затуманила мне голову. Мне тогда показалось, что Зуракан на самом деле заболела дурной болезнью... Некому меня убить, Батийна-эже, а то я подставил бы голову, чтобы ее отрубили. Вернется разве Зукеш ко мне? За кого бы она ни выходила, пусть будет счастлива.

Батийна выслушала рассказ Текебая с болью и горечью, словно утопая в отравленном озере, и спросила:

— Говорила она тебе, что хочет уйти? Текебай разрыдался сильнее прежнего:

— Ах, эжеке, зачем спрашиваете? Конечно, говорила. Мало того... Чего только не пережила она, бедная, из-за меня. А я хуже пня был заодно с той сворой псов, которую белая змея Букен подбила надругаться над моей Зуракан...— Рассказывая, несчастный батрак то и дело постукивал себя по голове.— В изодранном платишке, обливаясь слезами, она звала меня с собой: «О несчастный мой, забитый, пришибленный,— умоляла она,— я не буду таить обиду на тебя, подадимся вместе в Чуй-скую долину». А я, глупец, даже с места не поднялся... Эх, эже-ке, не спрашивайте...

В ту ночь Батийна не могла заснуть,— долго щемило сердце: как разоблачить злодейство Букен и Серкебая?

На Зеленом холме, где собрались аксакалы, старейшины родов, муллы, Батийна говорила смело о коварстве Букен байбиче, оказавшейся опаснее самого Серкебая. Обстоятельно, не спеша, словно вытягивая подгнившую нить, напомнила и о той кровавой расправе, которую учинила байбиче над несчастной Гульбюбю. Будто вывернула черную шубу, подбеленную снаружи мелом. И многие, кого еще недавно одолевали сомнения, теперь не могли не прислушаться к голосу Батийны.

— Разве неправду она говорит?

— Мы и сами видели многое своими глазами.

— Человек начисто потеряет совесть, если правду не назовет правдой.

— Байбиче погубила ни в чем не повинную Гульбюбю, так она, думаете, пожалеет свою работницу Зуракан?

— Как-никак Гульбюбю была ее соперницей, второй женой у Серкебая... А чем провинилась перед ней бедная Зуракан?

— Напрасно, подружка, думаешь, будто подобные женщины способны творить зло лишь своим соперницам! У таких людей жестокость в самой крови...

— Вот так, бай-аке,— вмешалась Батийна.— Если хотите знать, где коварство, ищите его рядом с собой. Если не знаете, где несправедливость, ищите

поближе у себя! Но все равно корни жестокости будут вырублены! Девушки и женщины, все угнетенные бедняки добьются свободы! — Батийна высоко подняла руку.— Токолы, страдающие у баев, молодые женщины, отданные насильно за стариков, вам дали свободу! Учитесь, полубайте знания! Пусть любящий найдет себе любимую! Будьте счастливы!

В ПУТИ

Целую неделю после собрания Серкебай ходил мрачный, будто затянутое тучами небо. Он понадеялся на муллу-татарина из города, что у него хватит мужества сказать: «Законы власти пойдут своим путем, священный шариат — своим». А при таком повороте Серкебай без особого труда надеялся доказать свою правоту этой беспутнице, попирающей обычаи предков.

Серкебай никак не ожидал, что шариат вступит в противоречие с его мыслями и желаниями. Оттого, что мулла, несмотря на оказанные ему почести, высказался в пользу таких подстрекательниц, как Батийна, Серкебай лопался от злости, словно из рук у него выпорхнула птица счастья:

— Эх, разве не досадно, Тазабекбатыр? То ли мы оплошали, то ли наш мулла — кривая душа. Как услышал имя Батийны, сразу сник. Видно, перед законной властью отступил наш святой человек. Иначе разве он стал бы потакать бросившей мужа токол или зазнавшемуся пастуху? — возмущался Серкебай, хлопая себя по ляжкам.— До чего же низко упала моя звезда, если эта обнаглевшая сука посмеивается и смущает простодушных людей...

Тазабек, ты один из тех, кто в состоянии усмирить само озеро, если б оно разбушевало. Скажи свое слово, батыр! Неужели наше время позади?

Серкебай то багровел, то бледнел, словно кто душил его.

Тазабек терзался: «Неужто мы, знатные люди четырех наших аилов, отойдем себе в сторонку и не совладаем с одной-единственной сукой?!» Досада и злоба томили Тазабека. Он не показал, однако, вида и засмеялся притворно: — Как же мы с тобой, бай, попрём против закона, если его боится даже большой мулла, а уж он-то считается самым верным рабом всемогущего аллаха? Лучше нам жить спокойно, отдав им в руки наших токол, на которых зарятся они. Это самое лучшее, что перепадет от нас новой власти... Берите их себе на доброе здоровье!

Серкебай, которому обычно токол помогала подняться с места, вскочил с проворством джигита:

— О боже! Неужто не найдется в Великих горах камня, которым бы завалило кости вонючей албарсты, или не найдется реки, которая бы ее унесла?!

Он торопливо зашагал туда и обратно и, как бы возражая кому-то, громко воскликнул:

— Что ты?! Хватит и того, что я в таком возрасте исколесил Чуйскую долину вдоль и поперек, и безрезультатно. Не хочу больше унижаться.

Качаясь, словно набивший себе ноги конь, Серкебай направился к реке.

Порой человек пожалеет даже свирепого великана, попавшего в беду. Был Серкебай грозным львом, а сегодня — жалкий мышонок. Не осталось в Серкебае ни прежней ярости, ни спесивой важности. Нынешний Серкебай

скорее напоминает мышонка-заморыша, упавшего в бездонный колодец и едва вылезшего оттуда.

«Он побежден,— подумала Батийна, но тут же всполохнулась: — Не исчезло бы теперь мое счастье, время которого присйело. Если только вернутся старые унижения, тогда совсем меня затопчут».

Батийна старалась не заморить коня, которого ей доверили как аманат: человек, которому доверен аманат — будет ли это деньги или скот,— должен беречь его крепче, чем свое; это нигде не записанный, но свято оберегаемый, впитавшийся в кровь людей обычай отцов.

Жалея ослабевшего светло-гнедого, Батийна ехала медленно. Да и спешить было незачем. Словно угадывая мысли Батийны, конь трусил, опустив уши и однообразно стуча копытами по жесткой дороге: «тып-тып... «Эх, был когда-то молодым, поездил на мне хозяин на козлодрание, на игры, а нынче посадили на меня женщину и вручили как аманат»,— казалось, думал про себя смирный светло-гнедой.

Не совсем безопасно ездить среди серых холмов. Тут встречаются люди, которые могут выскочить из укрытия и оглушить одним ударом любого молодца, не то что женщину, и увести лошадь... Батийна не поехала бы одна, если б остерегалась. Неторопливый шаг светло-гнедого увел ее память назад, и перед глазами потянулся, извиваясь арканом, пройденный жизненный путь с тех пор, как она начала помнить себя.

О, как он мотал ее, заставляя то карабкаться по отвесной круче, то скатываться по головокружительному спуску куда-то в бездонную пропасть! «Чего только не пережила бедная моя голова! Сколько раз горела я в адском огне! О создатель!.. Мечта человека поит его медом, а жизнь подносит ему яд. Не знает человек до последней минуты, когда стрясется с ним беда. Я была старшей в семье. Когда родители умирали, мне не пришлось даже подать им глоток воды. Хотя я жила безбедно, но вырваться к ним не сумела. Не смогла я помочь отцу, когда после бунта люди бежали в горы, хотя и знала, что он с моими братьями и сестрой тащится пешком... Не догадалась помочь, не отдала своего жеребца...»

Поглощенная горькими думами, Батийна совсем позабыла, что одна-одинешенька едет по пустынной дороге. Представляя себе отца и мать, Батийна тяжело вздыхала: «Мучились же они. И меня вспомнил, наверное, отец перед смертью...»

, Казак с семьей вернулся на родину. Но на аилы обрушился голод, свирепствовал тиф. Многие юрты опустели. Некому стало ни закрыть, ни откинуть тюндюк В эти годы и умер в своем сенном шалаше охотник Казак. Отощавшая, изнуренная тифом Татыгуль, крепко подпоясав свой старый чапан, варила похлеб-ку-джарму из горсти толокна. Однажды Татыгуль не поднялась больше с постели. Она лежала неподвижно, с лицом бледнее вылинявшего полотна, с открытыми глазами, словно молила о чем-то...

Батийна, задумавшись, и не заметила, что миновала ущелье; и поднимается в гору. Вдруг пятнистая змея пересекла ей дорогу и уползла в нору под

четырехгранный, как сундук, камень. Батийна пожалела, что не сразу соскочила с коня, не рассекла змею надвое и не разбросала голову ее и хвост по обе стороны дороги, как требует обычай.

Вздрыгнул неожиданно светло-гнедой. Он шел все время, опустив голову, медленной равномерной трусцой. Может, скука одолела его, небось и на скотину находит... Заржал что-то. И ту же два всадника, словно из-под земли, выскочили и поравнялись с Батийной.

«Сохрани бог! Вид у них недобрый: не похожи на простых путников... Кто же они?»

С перепугу Батийна не смогла вымолвить и словечка.

Двое мужчин грозно посмотрели на Батийну. «Постой! Мы затаили зло на тебя, сейчас ты попалась нам!» — казалось, говорили они своим видом.

Похоже, готовились они к скачке, челки у рослых, быстрых коней перевязаны пучком и хвост стянуты в узел. Оба в одинаковых желтых кожаных штанах, у обоих рукава засучены до локтей, и в тороках у того и другого -туго связанные узелки, концы волосяных чумбуров обмотаны вокруг луки седел и в руках сплетенные под «телячьи зубы камчи.

Они ехали, туго натянув поводья и упираясь в стремяна с укороченными ремнями, на голове — узкополые китайские кал-паки, подвернутые спереди. Батийна опасливо оглядела их: «Люди эти покончат со мной да еще возьмут светло-гнедого, доверенного мне как аманат...»

Ее окликнул пронзительно-грубый голос:

— Жива ли ты, здорова, джене?! » Батийна сделала веселое лицо, точно увидела старых знакомых:

— Будьте и вы живы-здоровы, сверстнички... Тот, кто окликнул ее, подъехал вплотную:

— Э?! Наконец-то мы с тобой встретились, баба!.. «Добром эти мерзавцы не отпустят меня... Но что бы там ни было...»

Желая понять, что за люди и скрадывая в то же время свой страх, Батийна заговорила в шутовском тоне:

— Я не раз слыхала: «Учтивый спросит путника о коне, а умный поинтересуется, что за человек и какого имени-звания» А вы куда, сверстнички, путь держите? =

«Никогда, никогда раньше не видела этих всадников. Под ляжкой у каждого прижат грозный чокмор¹, тонкий конец которого подвешен на петельках к луке седла, а на толстом увесин[^] стый набалдашник».

Горластый схватился за чумбур ее коня:

— Спрашиваешь, кто мы такие, баба?! Нам очень повезло — тебя встретили в пустынном месте. Помолись! Мы осчастливим тебя сейчас!

Батийна уже не правила своим конем, хотя издали казалось, что она вполне свободно едет между двумя всадниками. Один вел ее коня за чумбур, другой хлестал камчой по крупу. Они уводили ее куда-то в сторону серого

каменистого распада. «Эй, шлюха, смущающая народ! Теперь тебе не вырваться из наших рук, даже если ты спустившийся с неба ангел, а не женщина-начальница!», «Надо эту албарсты, которая смущает людей, завалить камнем раз и навсегда, чтоб никто не отыскал...» — так, казалось, говорили они своим грозным видом.

Батийна уже видела неминуемую смерть, однако изо всех сил норовила вырвать чумбур из рук мужчины.

— Если вы разбойники, так постыдитесь отнимать коня у женщины! Если же цель у вас другая, меня вы можете убить, но и ваши головы не уцелеют. Скроетесь хотя бы под землю — новая власть все равно вытащит вас за волосы, поднимется на небо — она и оттуда стянет за ноги.

— Заткнись, сука!

— Пожалейте самих себя, несчастные. Вас науськивают враги... Я не сделала вам ничего дурного.

Откуда-то издалека послышалось что-то похожее на звон колокольчиков: дынг-дынг. Мужчины, кажется, растерялись. Крепко упершись обеими руками в стремена, Батийна потянула к себе чумбур светло-серого. Но в этот миг ее оглушил невероятный грохот, словно разверзлось небо. В глазах засверкали молнии, в ноздри шибануло запахом крови. Батийна почувствовала, что летит в бездонную пропасть. Наступила ночь для нее.

Понеслась куда-то, словно брошенный с высоты камень, загудело, засвистело у нее в ушах. Впились щупальца спрута, то стискивая ей тело, то разрывая на части. И, не дав опомниться ни Батийне, ни разрывающему ее спруту, тьма поглотила их.

О смерть, бесчувственная смерть! Да, так и есть. Но сколько времени Батийна находится в ее объятиях? Черная бездна то втягивала ее в себя, то раскачивала, как в лодке, то несла по какому-то грязному, зловонному течению, кружила, как щепку в водовороте, то тискала, мяла, колотила чем-то. Батийна рассыпалась, словно кусок глины, без души и без крови. Возможно, в глубине едва тлеющего сознания возникал вопрос: «Что со мной? Куда меня несет?» Подав признаки жизни, Батийна опять впадала в беспамятство, превращалась в бесчувственное тело. И лишь время от времени чуть слышно стонала. «Где это я? Есть ли хоть одна живая душа возле меня? Пить! Пить!» — хотела она попросить, но голоса ее не было слышно.

Время течет.

Повеяло свежестью, в лицо ей брызнули мелкие капли теплого дождя. Словно просыпаясь от глубокого сна, женщина вдруг раскрыла глаза. Засияло голубое небо, за клубились белые, как вата, пышные облака.

«Вот диво, сон это или явь?» — не успела подумать Батийна, как опять впадала в беспамятство.

Очнувшись после долгих дней забытья, она ясно ощутила, что лежит завернутая в белоснежную простыню. Не слышно звона дынг-дынг.

Над ней стоял неизвестный человек, глядя на нее, как на старую знакомую:

— Опомнись! Приди в себя, дочка! Человек весь был в белом, как ангел. «Где я нахожусь? Кто вы?» — вопрошающе посмотрела на него Батийна. Врач мягко коснулся рукой ее лба.

— Не бойся, дочка. Поправишься.

Как ни силилась Батийна заговорить, язык не слушался.

ВОЛЯ

Ошур ехал молча, все туже натягивая поводья справному, с лоснящимся крупом мулу, да время от времени обливал руганью погонщиков. С потрескавшимися губами, волоча по земле тяжеленные поршни из телячьей кожи, они понимали, что хозяин, привыкший всегда из копейки делать две, злится, потому что опаздывает к базару.

Ороз в уме пробирал Ошура: «Этой жадной собаке не хватает барышей. Ему еще выиграть надо было! Не-ет... Погибну, но ни за что не уступлю ему свою находку — жену. Аллах! Я из тех верных рабов твоих, кому ты посылаешь удачу. Совсем неожиданно вручил ты мне в руки эту женщину на безлюдном перевале. Э, аллах, верни мне ее».

Ошур с Орозом немало порыскали по базарам Кашгара, Ак-Су, Турфана, Андижана, Оша, Намангана; торговали, когда везло в торговле, а то играли вместе, когда начинало больше везти. Вместе кутили и спускали добытое в игорных домах, но каждый мог независимо поставить на кон свою долю барыша и проиграть ее.

Все-таки Ошур чувствовал себя хозяином над Орозом, который считался у него как бы джигитом. Дело в том, что Ороз пристал к Ошуру, сбежав из родных мест после совершения убийства. «Был я львом, точившим зубы на луну, а теперь скорее схож с грифом, зарящимся на мышь!» Ороз, который мог одним ударом свалить с коня сильного джигита, досадовал на судьбу, поставившую его в зависимость от какого-то торговца, которому под стать ездить разве что с бязью и ситцем на муле. Но Ороз не выдавал своих тайных дум. Хитроумно-ловкий, словно первоклассный фокусник, умеющий замазать глаза любому, Ороз считал себя равным Ошуру.

Зуракан не подозревала, что ее сейчас разыграли, как приз в азартной игре. Она беспечно радовалась тому, что спаслась от жадных волков и прибилась к людям. Не имея понятия, о чем договариваются эти двое, Зуракан молилась святому Баабедину за свое избавление и, терпеливо перенося жгучую боль в руке, предвкушала радость: «Скоро-скоро я буду в объятиях отца и матери!» Но стоило вспомнить, как почти голая шагала навстречу мужчинам, у нее загорались щеки. «И-ий, какой срам. Ну что ж, они простят мне. Попадись в такую беду иной мужчина, он выглядел бы, пожалуй, еще хуже».

Прежде Зуракан, хотя сама служила у Серкебая, не раз подсмеивалась над торговцами, что те ездят на мулах. А сегодня такие разъезжие торговцы перевязали ей рану, надели на нее халат, прикрыли ее наготу и посадили на низенького мула.

— Эй, торгоша, никогда киргизы не садились на ишака, если даже нищими бродили по свету. Давайте лучше я пойду пешком! — попросила она.

Но Ошур сказал повелительным тоном:

— Эй, хотун!¹ Разве человек тот, кто отказывается ехать на таком муле? Езжай себе, моя дорогая хотун.

Зуракан приняла слова Ошура за шутку:

— Эй, сарт в приплюснутой шапочке! Как понять твои слова? Какая я тебе хотун? Будь поосторожней.

— И-э, хотун-ян! Не слишком зазнавайся— Приосанившись, Ошур поправил шапку и весело брякнул: — Погоди, приедем в город. Даст бог, в шелка укутаю тебя, приласкаю.

Зуракан громко рассмеялась:

— Наберется ли еще у тебя столько шелку!..

Она продолжила бы шутки, но никак не могла приладиться к езде на муле.

Неужто все мулы такие? Каурый, с длинными вислыми ушами, с толстой короткой шеей, был так неуклюж — что при спуске, что при подъеме, ну, совсем бревно. Зуракан все казалось, что она вот-вот свалится с него. Хоть бы седло какое, чтоб держаться за луку, или бы гриву подлинней этому проклятому мулу!

Если б Зуракан не измоталась, пока переваливала через высокие хребты, борясь с голодными волками, она ни за что бы не согласилась сесть на мула, пусть бы даже подвели его к ней под золоченым седлом. Одна мечта теперь у нее — как бы скорее с этим торговым караваном добраться до своих близких. А дальше видно будет, какая жизнь уготована ей судьбой.

Что-то будет с Зуракан, когда она узнает, что поступила в собственность алчного торговца, выигравшего ее у Ороза? Может, она грохнется оземь с мула, на котором с таким трудом едет сейчас? Или же применит всю свою отвагу и вырвется из их рук и докажет этим незадачливым мужикам, что она бесстрашная тигрица?

Зуракан еще и на ум не приходит, о чем там шепчутся между собой игроки. Она едет себе спокойно, обращаясь то к работникам, то к Ошуру-хозяину, что восседает на сером муле, то к своему «дяде» Орозу.

Слыша, как смело держится Зуракан, хромой погонщик, что тащился в тяжелых поршнях, надвинул на лоб затасканный китайский калпак, мысленно пожалел ее: «Эх, несчастная молодуха! Ты и не подозреваешь, что стала теперь содержанкой бай-бачи Ошура. Не откровенничай ты слишком с мужчинами. Ошур еще приревнует тебя к нам. Над тобой надругается, а нас прогонит».

Сутулый погонщик хмуро понукает мула:

— Хи... чу... хи... чу...

А Зуракан не терпит поговорить с людьми. Она запекает то тихонько, себе под нос, то во весь голос, и горы отзываются эхом. >

— Эй, джигиты! Песку вы в рот набрали, что ли? Или голод измотал вас?

Давно ли вы уничтожили до крошки сартовскую лепешку с добрый кетмень. Хоть бы кто подал голос. Как не запеть среди вольных гор. А может, ваш байбача не любит песен?

Ошур оборвал ее:

— Эй, хотун! Поосторожней! Зуракан ответила с веселым смехом:

— Осторожно или нет — это мое дело! А все-таки почему вы не можете развеселить единственную женщину среди вас?

— О аллах всемогущий! Что она говорит, эта шлюха?! Зуракан резко натянула поводья мулу, который едва семенил под ней:

— Эй, сарт! Поосторожней трепи языком! Кто тебе дал право обзывать меня шлюхой, а? — Зуракан думала пристыдить Ошура.

Но, задетый ее независимым тоном, Ошур угрожающе произнес:

— Кто бы ни дал, а у меня есть право распоряжаться тобой...

— Ай-ий... Почему бы это? Мной может распоряжаться только мой муж, с которым меня свел бог, если б он сидел сейчас на твоём длинноухом муле. А ты, сарт, не смеешь помыкать мной.

Ошур затряс своей курчавой бородой.

— Сука безмужняя! Воткну кинжал... разрежу это самое твоё место да всыплю туда перцу...

Зуракан даже задохнулась от неожиданности. Проворно соскочив с мула, она пнула его ногой, но тот, опустив голову и уши, понуро остался стоять возле нее.

— Уходи прочь, несчастная сартовская скотина! Да поразит тебя дух твоего отца! Этот жадный торгаш считает, наверно, меня своей должницей, что посадил на длинноухого осла!

Бесстрашно уставившись в самые зрачки взбешенного торговца, продолжавшего сидеть на сером муле, она крикнула:

— Ну, слезай! Почему не слезаешь?! Верно, слишком загордился своими ситцами да бязью, что навьючены на десяти мулах! Давай посмотрим, кто кому разрежет да насыплет перцу. А твои погонщики пусть будут свидетелями. Подойди-ка поближе ко мне, прихвати свой кинжал и перец, и я заткну своим абалаком твой вонючий рот!

Торгаш опешил немного, не ожидая подобной выходки от Зуракан, но тут же разъярился, точно наступил голыми пятками на горящие угли.

Вытащив из-за пазухи обоюдоострый сверкающий кинжал с белой рукояткой, Ошур поднял его над головой.

Ороз, все время следивший за ним, сбросив с себя халат, одним прыжком, словно барс, метнулся к Ошуру. Схватив торговца за ворот, он потянул его на себя. В руках Ороза сверкнул в точности такой же близнец-кинжал.

— Э-эй, дурень! Ты, похоже, понятия не имеешь, с кем связался? Я сейчас выпущу из тебя кровь. Ты этого добиваешься? Хочешь, сейчас отрублю тебе голову и швырну ее, как камень, в кусты и поведу торговлю сам? Нет, так слушай меня! Я стою сейчас на своей земле, вижу дым наших аилов. Такое же богатство, что у тебя, есть и у меня. Правда, ты обыграл меня, и ты получишь приз... Но дай отыгаться, если ты мужчина! У меня есть что поставить на кон: всякого добра не меньше, чем у тебя. Могу поставить и живую душу, не уступающую твоей добыче. Только дай отыгаться. Не то я отрублю тебе голову!

Встретив такой отпор, Ошур оторопел:

— Каюсь аллаху моему! Каюсь аллаху моему!

— Если каешься, дай мне отыграться. А пока приз пусть остается при мне.

Ошур затрясся.

— Не может он остаться при тебе!

— Нет, останется! Не согласишься — знай, смерть твоя ждет тебя на кончике моего кинжала!

— Стало быть, ты нарушаешь уговор. Разве не так?

— Это я-то нарушаю? Не торопись слишком! Потерпи до конца, если ты настоящий мужчина...

Ошур уступил:

— Ну ладно. Потерплю. Но и ты стой твердо на своем слове. Не вертись на этот раз туда-сюда.

Зуракан все еще не понимала, из-за чего они препираются, о каком призе идет речь. Простодушному человеку трудно бывает раскусить чужие умыслы, пожалуй, даже труднее, чем разглядеть змею, заползшую в глубокую нору. Дневная жара начала заметно спадать, на долину вдоль реки уже ложились тени, повеяло свежим ветерком. Мулы пошли быстрее. Приободрились, ускорили свой шаг и погонщики, напоминая воронье, что спешит на ночлег. И тут раздался голос Ороза:

— О-о, племянница моя милая, что-то ты примолкла, не поешь, спой-ка нам.

Зуракан весело рассмеялась:

— Могу и спеть, дядя. Думаете, что мои песни выдохлись, как мулы вашего торговца? Нет, они разнесутся далеко вокруг, стоит мне запеть...

Уже в первый день встречи с Зуракан, когда Ошур испугался, приняв ее за страшный призрак, а Ороз, смело подойдя к ней, надел свой халат, уже тогда у Ороза возникла вожденная мысль: «Находка! Суцая находка! Не отдам ее Ошуру. Ни за что не отдам». Все свои уловки, всю хитрость пушу в ход, всю напористую мужскую ненасытную силу, а ее завоюю!..»

Но Зуракан, помня о своем муже-тихоне, решила про себя: «От волков отбилась, неужели не сумею уберечь свою честь?.. О несчастный мой Текебай! Если б мы были вместе, разве посмели бы напасть на нас волки? Разве посмеют позариться на женщину мужчины, если б рядом со мной, согревая меня своим телом, лежал муж мой. О несчастный мой Текебай, мой глупый недотепа...»

Стемнело. Зуракан легла на мягкую траву, но все ворочалась с боку на бок, не в состоянии забыться. Она лежала на опушке лесной чащи у быстрой речки, под развесистой елью, глядя сквозь полуприкрытые ресницы на голубую звезду, что мерцала над едва виднеющейся во тьме скалой, и думая: «Эх, если бы эта ярко горящая звезда была моей звездой!», как вдруг чья-то сильная рука сдавила ее тугую грудь...

Дремота вмиг соскочила с Зуракан.

«Что за наваждение? Кто это? Что этому человеку от меня надо? Вообразил, верно, что я из податливых».

А тот мял ее круглую, как яблоко, грудь. Зуракан притворилась, что крепко спит. «Посмотрю, что дальше будет, не стану пока трогать дурака жеребца. А если что — так хвачу по одному месту, взревет, как медведь». Чувствуя, что ее начинает одолевать смех, она перевернулась на правый бок. Чуть слышно, будто со сна, медленно глубоко передохнула. Опытный в любовных утехах, неукротимый Ороз ни минуты не сомневался, что достигнет своей цели: «Э-э.. племянница дорогая! Пусть ты даже бога-тырша, придушившая волка, но имя-тебе женщина. Не можешь ты не загореться, не расплавиться от жаркого дыхания мужчины».

Он осыпал шею Зуракан горячими поцелуями, щекоча щетиной жестких усов и бороды.

— Племянница, дорогая... Птица моя, найденная на перевале.

Смех, подмывавший Зуракан, сразу улетучился, она хотела ударить Ороза кулаком в грудь и... не смогла. Словно этот медведь мгновенно забрал всю ее богатырскую силу. Это ошеломило Зуракан. «Что мне делать? Что мне делать? Видно, не отпустит меня живой, негодяй... Извелся, видно, без женщины».

— Как может дядя сунуть руку за пазуху своей племянницы? — В голосе Зуракан вместо гнева слышался мягкий укор.

— Брось ты, племянница... — прошептал Ороз полным мольбы голосом, притянул Зуракан к себе, отчего она задрожала всем телом. — Я такой же тебе дядя, как эта вот ель родственница арче... Не назовись я твоим дядей, твоим близким, проклятый торгаш забрал бы тебя в любовницы.

— Да вы что оба думаете? Что я — какой-нибудь серый мул, которого можно увести куда угодно? — И Зуракан оттолкнула от себя руку Ороза. — Пойди пропись!

— Не говори так, душа моя! Обласкаю, убаюкаю тебя, как дитя... Я пришел к тебе не затем, чтобы сделать тебя своей утехой на один день. Я хочу стать тебе другом на всю жизнь... Любовь моя! Родная моя! Ведь ты теперь едина душой со мной.

«Апей, что он говорит? С каких это пор я стала единой с ним душой?»

Раздражение Зуракан стало утихать. «Да в своем ли он уме?»

— Родная! Услада моя!

С неукротимой жадностью он опять стиснул в своих объятиях Зуракан, целуя ее в щеки, в губы, в шею. Отстраняясь, Зуракан ткнула его в подбородок:

— Уйдите! Не то закричу, и вы будете опозорены... Вернитесь на свое место!

— Мое место — в твоих объятиях, любовь моя! — не отставал Ороз, все больше наглея. «Не теряться, действовать! Действовать! Любая недотрога не сможет устоять, почувствовав тепло мужчины...» Сильные руки скрутили руки Зуракан. Могучее мужское тело бросало в дрожь, мутило сознание. Он скрутил руки Зуракан.

— Не вздумайте применить силу! Плохо будет вам... — Зуракан пустилась на угрозу.

— Я —раб твой, раб... Не пикну, если даже ударишь ногой в лицо. Я люблю тебя!

— Нет, нельзя любить меня. Я женщина замужняя,—уже мягче зазвучал голос Зуракан.

— Э, не говори так, душа моя! Разве может считаться твоим мужем человек, не сумевший оценить такую золотую женщину, как ты, и пославший тебя на смерть, выпустив из своих объятий.

«А и в самом деле, разве это неправда?» — подумала Зарукан.

«Эта, видно, крепкий орешек, не из тех податливых женщин, которых можно вмиг уломать. Придется сначала растопить ее, как масло, а только потом уж скрутить ее в своих объятиях». И Ороз прибежал к своим самым искусным, самым соблазнительным уловкам, стал бить огнем по кремню своей лживой любви, осыпая ее искрами сердце Зуракан. А потом сжал пылающее тело женщины в своих жарких объятиях, шепча Зуракан ласковые слова...

В забытии, пьянея, Зуракан затрепетала всем своим существом, в сознании смутно мелькнуло:

«Что я наделала! О несчастный Текебай, где ты, бедняга? Теперь ты навсегда лишился меня, навсегда... Грешница я, грешница...»

Преисполнившись внезапной нежностью к Орозу, она сама, по своей воле, крепко, до боли, прижала его к груди.

— Ах, негодник мой, зажегший мое заledenевшее сердце! Голодный волк мой неотвязный! Ты, оказывается, можешь расплавить даже камень, чтоб тебя кровью рвало! Но берегись, если нарушишь свое обещание быть мне навсегда другом жизни. Я достану твою мать даже из-под земли, положу тебя в одну постель с ней и перепрыгну через твою голову!

— Делай что хочешь, душа моя...

Словно довольная счастьем застенчивой молодухи, голубая звезда разгоралась все ярче, сияя и трепеща над темной скалой и как бы придвигаясь все ближе.

Но женщина, пылающая в огне мужской ласки, забыла о ней.

Убаюканная однообразным бормотанием реки, воздухом, напоенным запахом трав и цветов, Зуракан лежала в сладкой дреме. «А чего мне бояться? Кого стыдиться? Он не любовник мне, в огонь не бросит... Он ведь дал мне клятву, что будет верным другом жизни, мужем моим. Сам поклялся, от всего сердца. Пусть он семь раз обманщик, соблазнитель, подлец, от своей клятвы он не может отказаться».

Умиротворенная Зуракан чувствовала себя крошечным птенчиком в бескрайней вселенной. Ее вспухшая рука нежно обнимала шею Ороза. Дыхание любимого мужчины, его тепло, его ласки, казалось, приглушили ноющую боль. Да и пусть себе болит рука, пусть немеет, лишь бы не нарушить сон спящего проказника. Эта рука не уставала, когда выворачивала пни на склонах гор, возила с реки лед...

О несчастный Текебай, я тоже была наивной бедняжкой, считая тебя своим мужем. Что бы тебе быть таким напористым, как этот ненасытный бедокур!

Тогда мы не унижались бы перед змеей байбиче и ее баем. Давно был бы у нас очаг, и мы нашли бы свою долю! О бедняга ты мой! Теперь ты совсем лишился меня, останешься несчастным навсегда. Что ж я могу поделать? Пеняй на себя. Бог и духи умерших простят мне. Да, простят! Разве мало ждала я тебя, звала с собой? Но не смог ты стать мне настоящим спутником, хоть и называешься золотоголовым мужчиной».

Мысли ее стали путаться. Гранитные скалы, что ночью как бы колыхались во тьме, казалось, ожили, закачались, словно вот-вот рухнут вниз. Но разве могут одушевиться, ожить гранитные глыбы? Это только почудилось Зуракан, потому что она слишком долго смотрит на них. А вот высокие вершины раскидистых пышных елей оживились на самом деле, потянулись вверх и вонзились, подобно черным стрелам, в серо-голубое небо с редящими звездами. Повеял предрассветный ветерок. Зашумела, загудела быстрая вода в реке, словно вот-вот выплеснется из нее. «Сохрани бог! Что, если это глубокое ущелье, поросшее густой елью и арчой, затопит вода и все, что растет и живет в нем, понесется вниз вместе с пенящимся, грохочущим потоком? Началось бы невиданное, страшное бедствие, светопреставление... Не только люди, мулы, тюки с товаром, но и гордые могучие ели, камни величиной с корову, с дом, звери и птицы ущелья — все, все вместе с кровью и потрохами, корнями и листьями, стеблями и ветками смешалось бы в бурлящем водовороте... Не приведи бог увидеть такое! Что было бы с моим Орозом, если бы начался такой ужас? Не-ет, нет! Пока хватит у меня сил, буду тащить его в своих объятиях. Подняв высоко над землей, я унесу его на дальнюю вершину, куда не достигнет вода. Ни за что не отдам его бурлящему потоку».

Зуракан передернулась всем телом, и невольное движение это отдалось резкой болью в руке, на которой лежала голова Ороза. Стиснув зубы, Зуракан превозмогла боль. Обняв Ороза сзади, она поцеловала его в ухо:

— Золото мое, найденное нежданно-негаданно! Во сне или наяву бог дал мне тебя? Ах, негодный мой толстяк! Не отворачивайся от меня...

Разморенный Ороз не мог сбросить с себя мертвецкого сна и невнятно бормотал:

— Хватит, не надо, что ты... э-и-их...

— Спи, спи, утешение мое... Устал ты, дорогой, ослаб совсем. Спи...

Баюкая Ороза, Зуракан и сама забылась. Предутренний сон сладок. Ее разбудила чья-то брань, крики. Вскочив с места, она увидела, что Ороз и Ошур ухватили -друг друга за ворот. Оба были в исподнем, босые... «Как бы Ороз не напоролся на колючку!» Не успела она подумать об этом, как в руке Ошура блеснул знакомый ей обоюдоострый кинжал... Ороз был безоружен. Схватив Ошура за руку, в которой был зажат кинжал, он, собрав все силы, старался вырвать его.

Зуракан кинулась к Ошуру:

— О торгаш проклятый! Ты это что?! Брось сейчас же кинжал!

Позабыв об Орозе, с которым он никак не мог справиться, Ошур глянул на нее гневными глазами:

— Эй, бесстыдница! Знаешь, чья ты?!

Вне себя от ярости, Ороз ударил его кулаком в подбородок:

— Заткнись, собака ненасытная! Будешь зарезан четвертым у меня!

Зуракан отпрянула от мужчин, словно ее окатили ледяной водой.

— Ии-ий, боже^ что он говорит?! Неужто ты зарезал человека, Ороз?

Ошур яростно кричал Орозу:

— Не имеешь права. Договорились ведь? Она теперь моя. Зачем суешь свою поганую руку за пазуху моей жены?

Зуракан спросила недоуменно:

— Что значит «жена»? Кого это он называет женой? Эй, мужчины, скажите?

— недоумевала Зуракан.

Погонщик, до того все время молчавший, буркнул с досадой:

— Э... Ты бестолковая совсем баба, как я погляжу. Да ведь это тебя называют женой байбачи-аке!

— Что?! — вздрогнула Зуракан.—Эй, Ороз, выкладывай-ка правду, кому из вас я прихожусь женой?

Пригрозив торговцу, чтоб тот молчал, Ороз высвободил руку и, повернувшись к Зуракан, поглядел на нее с видом побитой собаки:

— Что я тебе говорил, а?... Он хочет отнять тебя у меня, потому и называет тебя найденной женой...

Зуракан смело встала между ними.

— Я не какая-нибудь скотина, чтобы спорить из-за меня. Я — человек! Я вышла в путь, чтоб отстоять свои права, свою свободу, равенство, но набрела на стаю волков. Я обрадовалась, когда увидела вас. «Вот,—подумала,—наконец-то встретила людей. Теперь не пропаду». Ну, кто из вас хочет сделать меня своей содержанкой, встать поперек моего пути? Один из вас или оба? Признавайтесь!

Ороз приложил руку к груди, как бы удостоверяя верность клятве:

— Зукеш, ты знаешь, что в моей душе... Как я могу позволить, чтоб ты стала чьей-нибудь содержанкой...

— Врет! — крикнул Ошур, дрожа от негодования.— Мы с Орозом — давние приятели. Вместе побывали в Турфуне, в Андижане, Коканде и еще во многих других городах, торговали вместе!.. Были неразлучны... Эти люди свидетели тому... Прибыли и убытки всегда делили пополам. Но торговля торговлей, а игра-игрой. В игре такое правило: отдай, если даже проиграл родную мать! Отказываться не имеешь права! Мы с твоим дядей

Орозом, сидя за угощением у одного кабацкого бая, начали игру в «томук катмай» и договорились: выигравший получает у того, кто проиграл, любое на выбор. Выиграй твой дядя Ороз, он взял бы у меня все, чего бы его душа пожелала. Но выиграл я. Как раз когда мы нашли тебя в пути, он снова проиграл мне. А я решил, как победитель, взять племянницу у дяди! Что скажешь на это, жена моя?

У Зуракан мелко задрожали губы.

— Неужто это верно, Ороз? Скажи правду!

— Да, было такое дело, но теперь ни за что не хочу отдавать тебя...

— Никуда не денешься, если был такой уговор в игре: раз проиграл, обязан отдать, мой несчастный. Избавилась от одного несчастного, а ты оказался еще несчастней его! Теперь отдавай меня ему! — И, словно и в самом деле чувствуя себя довольной и счастливой, Зуракан даже нашла в себе силы улыбнуться торговцу:—Ты и вправду выиграл меня, байбача мой, муж мой. Теперь мне некуда деваться, я стала твоей. Об одном прошу тебя: приодень меня как следует и корми три раза в день тем, чего моя душа желает. И еще у наших горцев обычай: богатый муж, как ты, должен пойти с поклоном к родителям своей жены, поднести им подарки, попросить прощения у них. Что стоит для такого богача, как ты, поднести им весь товар, что на этих десяти мулах? — вскинув подбородок, Зуракан показала на тюки.— Прикажи, чтоб сейчас же все это добро доставили не на базар, а моим родителям. Ну, живей!

— Э, нет, я не глупец, чтобы разбрасываться добром ради женщины, которую выиграл! — сказал с раздражением Ошур.

Державшаяся до того внешне смиренно, Зуракан вспыхнула:

— О! Жадные псы! Не позволю ставить меня на кон! О, вы стоите друг друга, псы поганые! Меня зовут Зуракан, я — сестра богатырши Сайкал, что поборолла самого великана Манаса! — Упершись руками в бока, Зуракан продолжала:— Эй вы, собачьи души, выходите бороться, если не трусите. Если уж очень страшно, берите в руки по кинжалу. Возьмет меня в жены тот, кто победит меня в схватке! Выходите же, бессовестные собаки!..

Ороз угодливо засуетился:

— Чем же я-то виноват, Зукеш? Ведь я дал слово... Зуракан гневно его оборвала:

— Нет, не может быть слова у бесчестного игрока! Я ухожу от вас. Сейчас же! Ну, что же вы?!

Уходя, Зуракан готова была сбросить с себя бязевый халат и швырнуть его в лицо торговцу: «На, возьми, торгаш! Нате, жадные собаки!» Но сдержалась, боясь показать этим мужланам свою наготу. Ни Ороз, поклявшийся быть пожизненно ее другом, ни Ошур, упорно твердивший, что она досталась ему как выигрыш, не осмелились остановить Зуракан. Как прикованные, свирепо косились друг на друга, словно волки, из пасти которых вырывают добычу. Зуракан все же досадовала, что Ороз слова не проронил. «Может, окликнет. Скажет, что уйдет со мной»,— ждала она, затылком, казалось бы, ощущая горячее дыхание Ороза. Но поступь ее была решительной, она не оглядывалась, хотя с каждым шагом обида жгла все сильнее.

«Батийна-эже, где ты, встречусь ли когда с тобой? Встреться мне, встреться! Найди меня, несчастную! Укажи верную дорогу, умная моя эже! Обманута я, кругом обманута. Стала женой на одну ночь какому-то пройдохе. Сколько еще таких же, как я, простушек попало на его удочку, о боже? Как я могла

поверить этому подлому игроку, как я могла отдать ему на поругание свою честь и достоинство? О лжец, обманщик... Хоть бы сделал несколько шагов вслед и хоть бы единственный разок окликнул меня, чтобы немного смягчить обиду. Всего и дела, что мужской спеси, мужского бахвальства прибавится. Будет хвастать, что поступил со мной этак!..»

Опомнившись, Зуракан посмотрела по сторонам широко раскрытыми, полными слез глазами. «Не-ет, уж нет! Не дам больше себя обманывать... Тьфу, тьфу! Забудется ли когда-нибудь эта отвратительная встреча!.. Как зовут этого пройдоху? Ороз... Да, Ороз... Лучше не вспоминать это имя. Не смогу, наверное, забыть его! Нет, забуду, забуду. О милая Батийна-эже, прости мне мой грех, дорогая эже! Где ты сейчас? Найди сбившуюся с пути глупую сестру свою...»

Она шла, спотыкаясь и горько рыдая.

СМЕРТЬ ЗАБРАЛА ТОГО, КОГО ХОТЕЛА

Глядя на часы, врач с седоватой бородкой торчком, словно хвост куропатки, щупает пульс у Батийны, считает удары. Кладет руку ей на лоб. Ладонь у него мягче ваты. Даже после того, как он уходит из палаты, Батийна ощущает тепло его рук и чувствует облегчение. «До чего мягкая рука у него...

Полегчало сразу,— мысленно говорит она, глядя в потолок.— Он сказал, чтоб я много не думала. Попробую-ка не думать... За-/Тылок все болит у меня. Отчего это? Мозг, наверное, поврежден».

Батийна в палате одна. Чисто, светло, тихо. Даже муха не прожужжит. Да откуда взяться мухе в этой солнечной светлой комнате? Батийна помнит, как, распухая, валялась на сером войлоке, когда Адыке избил ее до полусмерти за побег из дому. Помнит, как досаждали ей мухи, каждая волосинка, липнувшая к исполосованному камчой, окровавленному телу. Сердобольная Кенжекан металась, чтоб умиловить разгневанного Адыке, делала все, чтоб поставить Батийну на ноги. И не раз она вырывалась из жадных когтей смерти...

«Дорожи жизнью, Батийна. Надо беречь ее,— словно кто-то в глубине души все время обращается к Батийне и поддерживает в ней силы.— Ты осталась живой после избиения Адыке. Ты не погибла от ударов камчи Алымбая-медведя. Тебя не смог унести тиф в том тяжелом году. Неужели ты, Батийна, погибнешь от разбойничьей дубины? Выдюжишь и в этот раз. Крепись, бейся за жизнь!»

Батийна уже поднималась самостоятельно, стояла, держась за спинку кровати. Скорее бы выйти отсюда, взглянуть на небо, на горы, посидеть у арыка, что тянется за окном вдоль улицы, окунуть руку в журчащую воду. Интересно, есть ли там мята, тысячелистник? Кто знает, растет ли зеленая трава у городского арыка?

Порой, впадая в забытие, она подолгу лежит с закрытыми глазами. Бесшумно открывается дверь; кто-то тихо, словно дуновение ветерка, мягкими кошачьими шажками подходит к Батийне, смотрит на нее:

«А-а, спит она... Пусть спит...»

И столь же бесшумно исчезает. Батийна никого не видит, ничего не слышит, где-то в глубине сознания у нее шевельнется мысль:

«За какой-то темной киргизской женщиной ухаживают, как за родной дочерью. Никогда не забуду добро, что сделали мне. Не забуду...»

Потом засыпает...

Весть о том, что почтовики доставили полуживую Батийну в больницу, немедля дошла до Темирболотова, а от него — до Ко-пыловой. И лучшие врачи города окружили киргизскую женщину заботой. Батийна почувствовала облегчение. То Валентина, то Рабийга приходили к ней через день с булками, сдобным печеньем, с вареньем и молоком. Приносили букеты пламенеющих пионов и гладиолусов.

Батийна любовалась цветами. «Они совсем не похожи на мелкие горные... Не убила меня разбойничья дубина. Теперь проживу долго. Ничего не страшно. А что с тобой, богатырша Зуракан? Где ты, бедная Гульбюбю? Где Овчинка-Биркорпе? Так и осталась, наверное, забитой, пришибленной».

Батийна смотрит в потолок, не отрывая глаз.

Навестила Батийну и Ракийма, она жила на окраине города.

— О Батийна, жива ли ты, светильник мой? — бормотала женщина.

Обе половины куржуна, который она на себе принесла, наполнены мясом, эджигеем, маслом, каймаком,— еды, пожалуй, хватило бы целой семье на несколько дней.

Подавая Батийне подвздошную кость молодого барашка, Ракийма говорила обо всем подряд:

— Ты, наверное, соскучилась по домашней еде. Все, что дают в больнице, не очень вкусно. Ешь это жирное мяско! Ты молода, одолеешь болезнь. Ах, мерзавцы!.. Ну что за подлые люди!.. У тебя, конечно, были враги. Они-то и подослали тех, кто стукнул тебя. Или это на самом деле были разбойники? Ешь дочиста, сало молодого барашка, аж тает во рту. По правде говоря, начальники послали тебя чересчур далеко. А я никак не могла уехать, оставить детей, провела собрание в своем аиле. Рассказала женщинам о нашем большом съезде. Словом, не могу жаловаться, что не ценят мою работу. Недавно в городе проходило обширное собрание женщин. Его вел сам Темирболотуп. Люди в глухих аилах считаются с законами лучше, чем городские. А в городе — всякий народ. Люди в городе к тому же с ранних лет привыкают к дурному. Сын, глядишь, умнее отца, а дочь — разбитней своей матери. Много тут обману, хитростей. Тут много мулл, но среди них обманщиков больше, много тут и ходжей, но ловкачей больше. Сарты прячут своих жен в ичкери, кашгарцы уж очень ревнивы. Ты знаешь, на людях иной ревнивец воткнет женщине нож в сердце...

Батийна порывалась вставить что-то свое, но Ракийма не дала ей говорить:

— Ешь, дорогая, ешь, ты ведь соскучилась по домашней еде. Так вот, сарты не разрешили своим женам пойти на собрание. Только Анархон и еще пять-шесть сартовских жен были, может, и того меньше. Нехорошо. Говорят, с тех пор, как Анархон вернулась с большого съезда, муж не один раз ее избивал,

набрасывался с ножом. Иногда женщина боится ночевать дома. Ах, Анархон, Анархон! Пожелтела воя, исхудала в последнее время...

Батийна учуяла что-то недоброе.

— Ах, бедная! Вот как, оказывается... Валентина, Рабийга приходят часто ко мне. А Анархон еще ни разу не показывалась. Жива ли она? — встревожилась Батийна.

«Она еще не знает, что стало с нашей Анархон. Лучше промолчу. Валентина расскажет, если разрешит доктор», — подумала Ракийма, щуря глаза и глядя подбородок дрожащими пальцами.

— Разве с Анархон что случилось? Не скрывайте, скажите, > Ракийма-эже.

— Нет, нет, что ты, дорогая... Как прошло то городское собрание, я ее не видела... И ничего не слыхала дурного... не <шаю... Отведай-ка ты домашнего каймаку, дорогая. Бог с ней, со здешней докторской едой. Даже здоровый человек на такой еде далеко не уйдет. Наверное, тебя скоро выпустят отсюда. Я заберу тебя к себе домой. А'до того сварю бузу из молодого проса. Попьешь дней пять подряд, наберешься сил...

Батийна долго и терпеливо лечилась и выздоровела.

Возможно, уже сегодня ее выпишут из больницы. Она пораньше умылась, причесалась и пришла в такое хорошее настроение, словно собралась на той. Поела все, что принесла няня, и взялась за жареное просо с маслом, принесенное Ракиймой, запивая молоком. «Хорошо, что появился аппетит. Если б сейчас Ракийма-эже принесла выдержанной бузы, я бы чашки две враз выпила, да в полдень горячего мясного отвару...»

Из-за двери донесся стон. Послышались разговоры, топот ног. Но никто не заходил.

Батийна вышла из палаты. Склонившись, как белые голуби, врачи шептались меж собой в дальнем углу, — кого-то жалеют, хотят спасти- В коридоре необычно пусто, — нет прогуливающих больных. Батийне стало не по себе. Один из врачей, увидев Батийну, сказал строго:

— Ну-ка, Казакова, вернись в свою палату!

Одна из сестер подошла с горестным видом к Батийне и, не говоря ни слова, ввела ее в палату и бесшумно захлопнула за ней дверь.

Кто-то умер? Или нависла опасность над жизнью человека? А то бы врачи тепло поздоровались. Батийна в последнее время, словно девчонка, увидев свою мать, сияла при их появлении. А сейчас никто не обратил на нее внимания.

Батийна вздремнула на кровати, укрывшись халатом. Вдруг дверь в палату распахнулась, послышался громкий голос Копыловой: «Казакова... Где Казакова?» Она была не похожа на себя: одета по-военному, на боку кобура с револьвером. В руке вместо обычного букета — какой-то узелок.

— Айда, Казакова, одевайся скорее! Анархон растерзали. Зарезали ножом. Доктора не смогли спасти ее, умерла сейчас — Швырнув узелок на стол, она громко заплакала. — Все пойдем ее хоронить. Классовые враги натравили на

Анархон еже мужа... Пекарь, он едва сводит концы с концами, чтобы прокормить семью...— Она то и дело утирала слезы и качала головой. С улицы донеслись горестные вопли молодой женщины. С щемящим сердцем Батийна оделась.

— Вон, смотри — сестра нашей Анархон,— Копылова показала рукой на улицу.— Ей всего семнадцать лет. Недавно вышла замуж за парня. Он работает у торговца кожей. Хозяйка заперла Чинорхон в ичкери и заставила надеть паранджу. Когда я узнала об этом, я сейчас же взяла с собой пятерых солдат и нагрянула к купцу. Арестовала его вместе с женой. Надо проучить тех, кто прикрывается старыми законами и издевается над женщинами. Пойдем, товарищ Казакова, выступишь на траурном митинге. Будут сожжены все паранджи, которые заслоняют свет женщинам. Заодно с нашей Анархон зароем в землю и дурные обычаи, что веками сжимали -в тисках женщин Востока! Пойдем, дорогая Батийна!

У Батийны темнело в Глазах, дрожали руки и ноги, мысли путались. «Добрая, ласковая подруга моя! Она была благородной, чистой, светлой женщиной. Как у мужа поднялась рука на нее? Конечно, подлые люди натравили его на Анархон...»

— Что хорошего видела она в жизни, бедняжка? Ведь она только-только просыпалась! Чистая, как текучая вода. Хоть бы раз возразила, огрызнулась на мужа. Даже назвать имя его не осмеливалась! Ни дома, ни тогда, в Москве... Что делать? Не могу я стоять в стороне от этого!

— Скажи свое слово на митинге! Скажи, что ты думаешь!

— Скажу, еще как скажу,—уверенно ответила Батийна.— Я потребую наказать всех подлых человечков, которые, надев на голову чалму, корчат из себя святых, а на деле совершают злодеяния. Я пристыжу отцов и матерей, что продают родных дочерей за калым. Я выставлю на позор тех бесстыжих стариков, которые смиренно поглаживают свои бороды, а в жены берут девушек, что годятся им в дочери... О, у меня много есть чего сказать на митинге в память моей Анархон, ради женщин Востока, отстаивающих свою свободу! — И закончила твердо:— Товарищ Копылова! Хорошо бы собрать на траурный митинг всех жителей города.

Стянув потуже свой ремень, Копылова взяла из рук Батийны узелок:

— Не только всех жителей города, мы созвали народ из окрестных сел! Ведь Анархон — одна из первых сняла паранджу, открыла лицо лучам солнца! Все женщины, все люди скорбят по ней.

Улицы запружены людьми. Медленно движутся брички. Плачет оркестр, от похоронных маршей прохватывает мороз по коже.

Когда гроб поставили на возвышение перед трибуной, солдаты местного гарнизона дали три винтовочных залпа.

Сидевшие на конях джигиты завопили разом, упираясь камчами в бока:

— О сестра моя! Где я теперь увижу тебя?!

Анархон, видимо, долго боролась с убийцей, защищая свою жизнь: она была доставлена в больницу с семнадцатью ножевыми ранами. Из рта струей

лилась кровь —у нее вырезали язык. Хотели, видимо, превратить Анархон в бессловесное существо. Преступник надеялся, что Анархон будет безгласна. Но над ее гробом говорили, негодовали, требовали возмездия ее друзья, ее единомышленники.

В конце митинга слово взяла Батийна.

— О безмолвная подруга моя, погасшая во цвете лет, родная сестра моя, делившая со мной хлеб-соль на пути к свободе, Анархон Ташбай кызы! Ты пала от руки подлых людей, разрывая черные сети старой жизни. О бесценная, благородная Анархон! Мы отомстим за тебя! Клянемся над твоим прахом, что исполним все твои мечты и желания! Пусть сгорят в огне все йаранд-жи, что застыт женщинам солнечный свет! Бросайте в огонь свои паранджи, женщины! Да здравствует свобода! Да здравствует свет! Со всех сторон, словно черные сита, полетели в зажженный костер паранджи. Солдаты, подняв ружья вверх, снова дали три залпа. Со всех сторон неслось: — Да здравствует советская власть!

— Да здравствует свобода женщин и девушек!

— Пусть сгинет тьма! Да здравствует негасимый свет!

слово о любви

После того как Батийна выписалась из больницы, долго еще давали о себе знать последствия сотрясения мозга. Темирболотов получил заключение врачей: Батийна должна соблюдать строгий режим, чтобы полностью восстановить здоровье.

— Надо как следует поправиться, Батийна,— сказал Темирболотов.—

Здоровье — самое ценное богатство. Хорошо бы отдохнуть тебе где-нибудь в тихом аиле.

— Нет, не поеду в аил! — отказалась Батийна.— Я уже поправилась, но работы не прошу. Над прахом Анархон я поклялась: «Исполню то, чего ты не успела. Буду учиться». Пошлите меня на курсы в Алма-Ату!

Темирболотов хотел было напомнить ей, что врачи предостерегали против всяких перегрузок, небезопасных для ее здоровья, но Батийна опередила его: — Доктора говорили, чтоб я не слишком много работала головой. Я не забыла их совета. Постараюсь думать поменьше, буду просто учиться.

— А как можно учиться, не думая, Батийна?

— Можно! — ответила Батийна в шутку. Темирболотов промолчал, выражая этим свое согласие. Ясно,

что она будет учиться прилежно, если только не заболеет. Упорная, самолюбивая. Лишь бы не навредила своему здоровью.

Батийна утаила от Темирболотова, что порой ее тревожили головные боли. Возможно, она не стала бы скрывать, если бы придавала этому особое значение.

— Пошлите меня на курсы. Хватит, пожила в темноте. Хоть научусь читать книги и газеты, уясню себе получше законы советской власти. После того, как погибла Анархон, я стала путаться во многом. Раньше я считала горожан добрее, справедливее темных горцев. Теперь вижу, что жестокость таится и в

городе. Эти муллы в чалмах, байбачи, что разъезжают в фаэтонах на резиновом ходу, купцы и торгаши прячут свои темные замыслы в железных сундуках под черным замком. Я не знала этого... Если и дальше останусь такой наивной, то дубина невежества совсем затуманит мне голову. Помогите мне, товарищ Темирболотов... Пока не поздно.

На курсах в Алма-Ате, несмотря на досаждавшие ей головные боли, Батийна жадно стремилась узнать то, чего не знала. Женщине глубоко запали в душу слова преподавателя, что знания приобретаются не только на уроках и из прочитанных книг. Приглядываясь к окружающей жизни, человек познает многое.

Иной раз, просидев над книгой, любила она побродить по барахолке или скотопригонному рынку в Алма-Ате. Подолгу простаивала у лавок жестянщиков, слушая звенящий перестук молотков. Безбоязненно глазела и на драчливых шалопаев. Батийна как бы познавала город изнутри, наблюдая и за тeneвыми его сторонами. Исподволь узнавала душу города. Словом, женщина из глухого аила, недавно разбуженная и поздновато начавшая учиться, торопилась все, что можно было, увидеть и узнать с ненасытным любопытством, словно только что вылупившийся из яйца птенец.

Жизнь тогдашних горожан имела мало сходства с жизнью горцев. Горожане умели делать многое, сознание их было как будто выше по сравнению с жителями глухих горных аилов, горожане выглядели крепче, смелей, проворней и смекалистей, словно пришли из другого мира. В те дни, когда захлопнулась пестрая страница истории и открывалась новая ее страница, словно взвилась над миром некая птица счастья с лучезарными крыльями. Батийне казалось, что свобода и равенство, о которых всегда мечтала сама, уже у нее в руках. На поверку вышло не так. Раньше Батийна думала: «Боже ты мой, до чего горожанам живется и беспечно, и весело. Когда мы так заживем?» Теперь она успела побывать, помимо маленького городишка в горах, даже в Москве, Ташкенте, слава о которых всесветна. Конечно, женщине, приехавшей в город из далекой глуши, не под силу заглянуть во все углы и закоулки в тех городах, познать думы и мысли горожан, их жизнь, свойственные им привычки и нравы. Во всяком случае, она поняла, что иные женщины еще прячутся в ичкери, закрывают себе лицо паранджой и не видят светлых лучей солнца. Она с недоумением хватала себя за ворот: «Что это такое, боже? Почему горожане, которые считаются развитыми людьми, так ревниво прячут своих жен, ограничивают их права? Боже мой, где бы мы ни бывали, везде унижают нас. Неужели причина в самой природе женщин?» Батийна долго не могла найти ответа на свой вопрос.

«Что со мной происходит? Разве не сбудутся мои мечты? Ведь советская власть дала нам свободу и равенство. Хочет раскрыть нам глаза и сделать нас людьми. Разыщи-ка, Батийна, былую красавицу Гульбюбю, направь Канымбюбю учиться. Разведай, что стало с несравненной богатыршей Зуракан. Она, наверное, сейчас на равной ноге с мужчинами. Силы у нее

хватит, пожалуй, не то что раскорчевать целую долину, но и отвести от себя удар мужа».

Наступило справедливое время, и человек не встретит больше преград на пути к своей мечте. Но сейчас у Батийны возникло опасение: а сумеют ли женщины, получившие свободу, оценить ее так, чтобы не выплеснуть свое счастье, не обречь себя на унижение? Тьма и свет, они рядом. Сладкое и горькое тоже... «Попробуй женщина жить одинокой, ее будут преследовать сплетни и пересуды. А к мужчине никакая хула не прилипнет. Его не осудят, даже если он пойдет по кривой дорожке. Он еще будет кичиться, что совратил невинную душу. О подлецы, не знающие меры и поганяющие священные человеческие чувства! Даже при равных с вами правах, когда мы трудимся рядом с вами, бережем свое достоинство и чистоту, вы иной раз сболтнете: тоскует, мол, по мужчине, бесится! Неужели так просто оговорить беззащитную женщину? Или женщина сама унижает свое достоинство? О нет! Попадаются и такие, но очень редко... А что, если я вовсе забуду, что я женщина, не пойду замуж и поведу борьбу за честь наших сестер и дочерей! Если мне удастся оградить женщин от порочащих пересудов и сплетен, я брошу мужчинам в лицо: «Видите, гордецы, какие мы чистые и благородные! Не смейте же суесловить и хулить нас...» А если мне это не удастся? Тогда я откровенно скажу женщинам: «Хоть и получили вы, белолаточные, свободу и равенство, все равно вы какими были, такими остались,— всегда будут вас унижать и оскорблять! Виной тому прежде всего вы сами! С того дня, как матери ваши родили вас девочками, судьба обрекла вас на такую жизнь!» А себя я посчитаю навеки несчастным человеком, которому никогда не достичь своей цели.

слово о жизни

Вернулась Батийна с курсов из Алма-Аты больной. Она поселилась у Копыловой, доброй, громкоголосой и немного угловатой.

Укладывая Батийну на ночь, Валентина накрывала ее, укутывала ноги.

— Спать тебе надо в тепле, дорогая Батийна. Крови у тебя маловато.

Замерзнешь! — предупреждала она каждый раз.

По утрам потчевала ее лекарствами из пузатой склянки, заставляла запивать кипяченой водой.

— Сырую тебе нельзя пить. А ты, мама, присматривай за Батийной, когда меня нет дома. С нее станется, уйдет еще куда глаза глядят... Потом этот ребенок опять захворает.

Надежда Сергеевна, мать Валентины, грузно переваливаясь с боку на бок, бормотала:

— Конечно, за ней нужен глаз ей глаз, дочка. Вскочит с постели, как горная козочка, да шмыгнет на улицу в легкой одежонке... А я бежать за ней с чапаном в руках. Купчиха, что напротив, не может на это спокойно смотреть. Она нарочито шумит, чтоб я услышала: «Ишь мать большевички лебезит перед вонючей киргизкой. Эх, недостойные, роняете честь русского человека!.. Прислуживают какой-то туземке!»

Повернувшись к матери, Валентина спросила:

— А тебя, мама, больно уязвила ругань этой ведьмы? Надежда Сергеевна усмехнулась:

— Ничуть, дочка. Ты — большевичка, Батийна — тоже. Вы — друзья...

— Вот именно, мама! Чего только не наговорит про нас эта купчиха. Ее муженек, купец Мельников, был правой рукой у начальника уезда. Ты хорошо знаешь, мама, сколько у него было магазинов в городе, сколько на него батрачило людей за кусок хлеба-- Она повернулась к Батийне.— Он отца нашего избил на базаре до полусмерти. А в пятнадцатом году пристрелил киргиза, который проезжал мимо его пасеки! Ух, этого Мельникова я бы...— Валентина зашагала взад-вперед, скрипя солдатскими сапогами.— Это подлое отродье может не тревожиться насчет чести нашего народа!..

— Ну ладно, доченька,— попыталась успокоить ее Надежда Сергеевна,— излишняя вспыльчивость тебе не на пользу. Покойный твой отец совсем не жаловался нам. Не будь у него выбиты зубы и не увидь я синяков на теле, я и не знала бы, что его немилосердно избили. Он только махнул рукой: ушибся, мол, о дерево. Я ему не поверила. Расспросила хромого Митьку, он дружил с твоим отцом. Тот рассказал, как было дело. Отец заступился за батрака Ивана, а Мельников набросился на отца, избил его, а потом оклеветал. Твой отец умер в тюрьме.— У старухи задергалось веко.— Загубили его...— Она всхлипнула,— Его приписали к бунтовщикам против белого царя. Но я что-то не замечала за ним... Не знала, что Петр Алексеевич был большевиком.

— А как же! — сказала Валентина.— Помнишь, что писали его товарищи в письме, где сообщалось о смерти отца? Пусть, мол, это тяжелое горе не согнет вас, будьте достойной мужа-революционера. Еще я помню, они писали: «И пусть ваша Валентина пойдет по пути отца». Я запомнила эти слова.

— Ладно, дочка моя... Только все-таки будь поосмотрительней! — глядя вслед Валентине, выходящей из дому по-военному быстрыми, четкими шагами, сказала Надежда Сергеевна.— Остерегайся озлобленных людей... Прошу тебя.

Надежда Сергеевна присела возле Батийны.

— Ох... Как бы ты ни крепилась, горе подтачивает силы, дочка. Сердце мое стало совсем никудышное. Ты тоже ослабла... И учеба подкосила. Еще то, что с малых лет ты жила в горах, а городской воздух тяжелый для тебя.— Надежда Сергеевна мешала киргизские слова с русскими, но Батийна чувствовала ее материнское участие к себе, слушала, то поддакивая, то вставляя свое словечко.— Береги себя, дочка. Если не поправишь здоровье, не сможешь добиться того, что задумала. Плохо человеку без здоровья. Небось видишь, как начало болеть у меня сердце, не могу даже на базар сходить. Ты молода еще. Тебе надо, ты сама говоришь, выволить женщин, что маются у баев, и девушек, проданных за калым! — Надежда Сергеевна сострадательно покачала головой.— Ой, ой, дочка моя. Нелегкое дело — вывести их на путь свободы. Нужна своего рода революция! — Разводя руками,

она особенно веско сказала:— А в городе ты закружишься, еще заболеешь, не дай бог, чахоткой. Очень скверная болезнь. Источает легкие. Человек, заболевший чахоткой, днем и ночью кашляет беспрестанно, худеет, мучается... потом... говорить даже не стоит. Кончается худо...—Пристально глядя на Батийну, Надежда Сергеевна посоветовала:— Как поправишься, поезжай в аил. Поживи привычной для тебя жизнью, поешь вдоволь мяса молодого барашка, попей кумысу, дорогая. Тогда наберешься силы. И сможешь выполнять работу, которую тебе поручит новая власть.

— Спасибо вам, Надежда-эне,— Батийна благодарно кивнула головой.

— Ты поняла меня?

— Поняла, Надежда-эне, хорошо поняла. Я сделаю так, как вы говорите.

— А теперь попей, попей лекарства. А я схожу помою ложку.

Приподнявшись на локтях, Батийна сказала:

— Ложка чистая, Надежда-эне.

— Эге-ге... Откуда, если она лежала открытой? Ведь в комнате летает много пыли... Сейчас, сейчас, дочь моя... Сейчас я тебя напою. Тебе еще надо поспать... Лежи в тепле. Скоро поправишься...

И Надежда Сергеевна пошла вперевалку.

В те далекие дни, когда Батийна была с короткой челочкой, она, как и все дети аила, полагала: «На небе — звезды, на земле — одни киргизы». Теперь она постигла, что мир бесконечно широк, что на земле много разных народов, не схожих цветом лица, но одинаковы их жизнь, страдания и чаяния. Батийна то удивлялась, то радовалась,— у нее появилась даже уверенность, что ее мечты и надежды сбудутся. Она дошла до этого не сразу. Было время, когда она терзалась* горькой мыслью: «Неужто так слаб, беспомощен человек? Согнусь я, наверное, пропаду совсем». На помощь ей пришли такие же, как она, пытливые, ищущие люди, рождая в ней надежду и желание двигаться вперед. В ее зыбкую, неустойчивую душу влилась ясная твердость, без которой ей бы не выбраться на широкую дорогу жизни. Она лежит бледная, почти не дышит, упрется в одну точку полными слез глазами,— ее неотступно преследуют, быть может, самые мучительные воспоминания, как ушли на тот свет, так и не видя добра, отец Казак и мать Татыгуль.

«Разве у меня одной родители погибли от мук и страданий? Разве только мы, киргизы, терпели беды? В тот год, когда нас хотели истребить и мы бежали в Кашгар, спасаясь от царских карателей, разве мы не видели, как уйгуры страдают от своих правителей? И все-таки простые дехкане делились с киргизами всем, что у них было, и многих спасли от голодной смерти. По дешевке продавали свой хлеб, свой скот, не давая нам погибнуть. А русские? Они тоже делятся меж собой на два стана, многие, многие были угнетены и унижены, а немногие правили да глумились над ними. Те же правители, те же начальники, богачи и купцы, которые глумились над собственными бедняками, топтали и нас, киргизов... Тот же Мельников, что застрелил киргиза, проезжавшего на быке мимо его пасеки, убил и отца Валентины... А

Валентина Копылова со своей матерью, которая сама ходит с трудом, ухаживает за мной, как за родной дочерью».

Надежда Сергеевна вошла, держа в руке только что вымытую ложку. — Кипяченой воды не осталось. Пришлось кипятить. В холодной воде микробы не погибают...

Не поняв, что говорит старуха, Батийна нахмурила брови:

— Кто, говорите, не погибает, Надежда-эне?

— Микробы! Микробы!

Впервые услышав это слово, Батийна недоумевает:

— А кто это такой «Мироп», Надежда-эне? Купец, что ли, вроде Мельникова, да?

Забыв, что в руке у нее ложка, Надежда Сергеевна хлопает себя пухлыми ладонями по бедрам:

— Хо-хо-хо... Микроб — это не человек, дочка...

— А как он может тогда убивать людей?

— Доктора говорят, что микроб — это мелкая, неразличимая глазом тварь.

Она попадает в кровь от грязной пищи, от грязных вещей и воды. Попав в кровь человека, заражает его болезнью, валит с ног, мучает, терзает и в конце концов убивает его. Чтобы спасти человека от этого самого микроба, доктора изобрели вот это лекарство. На-ка, выпей! Да спи спокойно.

Лекарство истребит все микробы в твоей крови.

> Батийна улыбнулась:

— Раз так, пусть они исчезнут, эти враги. Не по ложке, а по целому стакану давайте мне вашего лекарства-Слова Батийны рассмешили Надежду Сергеевну.

— Погибнут все микробы, если этого лекарства будешь пить хотя бы по ложке. Станешь совсем здоровой, дорогая моя. Потом найдешь себе молодого, красивого, умного мужа! Что *к... Одно дерево — не лес, одинокому человеку счастья не найти, дочка моя. Это пустые слова вы с Валентиной говорите, что собираетесь жить без семьи. Создала нас природа женщинами. Чего там мудрить? Будешь рожать детей, сажать цветы вокруг дома! Иначе как может продолжаться человеческий род? Нам, женщинам, цены не будет, если мы добьемся действительного равенства и не будем стесняться отстаивать свои права... Наговорила я тебе много лишнего. Лежи спокойно, поправляйся скорее. Батийна улыбнулась.

— Разве я сама должна искать себе мужа, Надежда-эне?

— А как же в теперешнее-то время...

Надежда Сергеевна вышла из комнаты, бормоча что-то себе под нос. У Батийны стало легко, радостно на душе, как у человека, почувствовавшего материнскую ласку. Она блаженно вытянулась на кровати.

СЛОВО О БОРЬБЕ

Как только Батийна пробует ходить, у нее рябит в глазах и кружится голова. Валентина Копылова не раз водила ее к врачу.

Врач, с рыжей бородкой, с пристальными серыми глазами, долго сквозь стекла пенсне осматривал Батийну. Обходительность врача, его осторожные

движения, шуршащий халат, от которого пахло не то лекарством, не то каким-то диковинным благовонием, мягкие, ватные руки, низкий ровный голос — вив это смутило Батийну: «Срам какой, совсем незнакомый русский человек смотрит на меня, голую...»

«Повернитесь-ка»,—хотел, наверное, сказать доктор и сделал движение рукой, задев острый сосок ее груди. Батийна вся передернулась, словно впервые в жизни мужские руги коснулись ее тела.

Доктор сказал Валентине, словно кого-то упрекая:

— Эта киргизка может скоро заболеть чахоткой. Пусть едет в привычные для нее горы, попьет кумыса, поест мяса. Подышит чистым воздухом...

Еще он хотел сказать: «Если человека с гор будете держать в городе, он исхудает, истощится и в конце концов умрет», но промолчал, опасаясь гнева Валентины Копыловой. Он был знаком с ее прямоотой и горячностью.

Валентина явно озлилась на доктора и ушла, не попрощавшись. На улице она ни с того ни с сего сердито проворчала:

— Белоручка, интеллигент!

— Кто это белоруска интеллигент, Валентина? — удивилась Батийна.

— Доктор, который тебя осматривал. Не приди советская власть, он бы нас с тобой к себе и во двор не пустил.

— А доктор мне кажется, неплохой человек. Чем он так не понравился тебе, Валентина?

— Разве я не сказала тебе? — раздражилась еще больше Копылова.— Он, этот доктор, лечил беляков во время восстания. Теперь ему некуда деваться: пришла я — и он стал осматривать тебя.

— А почему его поставили сюда, если он против советской власти?

— Черт его знает! Будь моя воля, я б его выгнала отсюда-Целый квартал они прошли молча.

Сзади слышался голос: «Дорогу! Берегись!» Фаэтон с парой запряженных рыжих коней поравнялся с ними. Рядом с незнакомым человеком, по виду начальником, сидел Темир-болотов. Обернувшись, он сказал:

— Товарищ Копылова, приходите в канцелярию! Есть срочное дело.

Убийство Анархон потрясло Батийну. Что это за человек, поднявший нож на свою жену? Кто он? Было известно, что муж Анархон служил в чайной у байбачи, продавал манты и самсу, бегая по улицам с деревянной чашей, завернутой в замасленную тряпку, на голове, и кричал: «Э, жирный манту, горячая самса!»

В тот день, когда провожали Батийну и Анархон в Москву, именно он подбежал к ним с радостным, вспотевшим лицом. Угощая Батийну самсой, от чистого сердца напутствовал: счастливой вам дороги, аяши!

«О несчастный, сбитый с толку! Что заставило тебя пойти на это? Кто заморочил тебе голову?»

Батийна еще не знала, что он поднял нож на свою Анархон в страхе перед законами шариата, перед косными обычаями предков. Он был обманут теми, кто, неузнаваемо перекусав свое обличье и закутавшись невидимым

чапаном старого адата, сбивал с толку и запугивал фанатичными призывами: «Она преступила священный брак, отвергла мужа и отдала свою душу нечестивцам. Убей ее! Иначе ты совершишь вину перед аллахом! Запомни это!»

Недавно еще Батийна, окрыленная мыслью добиться своей цели — отстаивать свободу женщин, могла без опаски ехать одна по безлюдной дороге, а теперь, находясь в городе, даже рядом с Копыловой, шагающей по-солдатски четко, она порой ^вздрагивала ни с того ни с сего и опасливо настораживалась. «Почему я не боялась побоев медведя Алымбая, а здесь не могу избавиться от безотчетной тревоги?» — сердилась она на себя порой. Но, как человек, напуганный в детстве змеей, вздрагивает каждый раз при встрече с нею, так и у Батийны каждый раз сжималось сердце, стоило ей вспомнить, как сочилась кровь изо рта мертвой Анархон.

17 Т. Сыдыкбеков

Она то й дело спрашивала:

— Скажи, Валентина, удастся ли наказать мерзавцев, что натравили мужа на Анархон? Не упрятались ли куда в щель эти изверги?

— Конечно, попрятались! — сказала Валентина. — Раньше они выступали открыто. Но не думай, Батийна, пощады им не будет. В девятнадцатом, двадцатом годах у нас многие богачи, кулаки, выдав себя за большевиков и действуя от имени советской власти, преследовали коренных жителей... Но их коварство не осталось безнаказанным. Из Ташкента пришла телеграмма от Фрунзе, Куйбышева и Рыскулова с требованием положить конец бесчинствам шовинистов. Революционная законность защищает справедливость. А враги советской власти ведь уже готовили мятеж. Товарищ Темирболотов организовал из батраков отряд. Из центра приехал член ревкома Степанов с декретом, подписанным Лениным. Было приказано разоблачить мятежников и обезвредить их... Так вот, врач, который тебя осматривал, был замешан в мятеже. Он служил богатым и хочет им служить. Однажды был такой случай. Бедный уйгур, бакалейщик, принес к нему больного ребенка. Представь себе — этот злодей выпустил на них свою собаку, вместо того чтобы оказать помощь. Моему отцу стало известно об этом случае. Он написал Селезневу письмо. Я помню его хорошо: «Вы с восхищением смотрели, как ваша собака набрасывается на бедных людей. Я, как и другие честные русские люди, не могу вас считать после этого порядочным человеком и врачом, долг которого — охранять жизнь людей. Подобными шовинистическими выходками вы восстанавливаете против русского народа людей других национальностей, возбуждаете в них ненависть к нашему доброму, трудолюбивому и многострадальному народу». Покойный отец мой ни перед кем не трусил. Он прочел письмо маме. Мама взмолилась: «Не посылай его, ради бога, ты накличешь беду на свою голову!» Но он не послушался ее. И что, ты думаешь, было дальше? Селезнев сообщил уездному начальнику. С тех пор и начали преследовать моего отца. Вышло, как предвидела мать. А теперь этот подлец прячет свой хитрющий взгляд за стеклами пенсне в золотой оправе.

Он боится меня, потому что я знаю о его прошлых преступлениях. Будь моя воля, я бы нашла на него управу! Сколько раз я писала в уком! Но у нас не хватает специалистов, поэтому его и держат. Ничего не поделаешь.—

Валентина развела руками.

«Справедливая она, хорошая,—подумала Батийна.—Ухаживает за мной, заботится, как родная сестра, болеет не только за меня, а за всех угнетенных женщин. Зачем я стонала, жаловалась, утруждала ее лишним раз? Эх, избавлюсь ли когда-нибудь от проклятой болезни, смогу ли опять ездить по аилам? Или согнусь?»

Валентина перебила мысли Батийны:

— Муж Анархон оказался жертвой врагов советской власти. Чего он добился? Она погибла. Он осужден. Но кое-кто из тех, что направил его, ушли от наказания. Продолжают вредить, настраивать бедняков против новой жизни. Вот такие враги и на тебя организовали покушение. Это наверняка Серкебай подговорил тех глупцов, которые ударили тебя дубинкой по голове. Он внушил им: «Ваши, мол, жены испортились, зарятся на чужих мужей. Смотрите, уйдут у вас. Это женщина-начальница их совратила. Надо убрать ее. Тогда все жены остепенятся, и вы будете их настоящими мужьями!» ОГПУ выловило их! Они получили по заслугам.

Батийна побледнела.

— Ты что, Батийна? Устала?

Батийна скрыла, что идет с трудом.

— Нет, Валентина... Знаешь если пошлет кантком, я поеду в аил. Это, наверное, будет правильно?

— Конечно.

— Когда поправлюсь, поведу всех самых бойких токол на курсы.

— Прежде всего ты подлечись как следует.

— Может, я скорее окрепну, если займусь делом. А то повадишься по докторам ходить, совсем измотаешься. В старину киргизские воины лечились, говорят, не слезая с коней! Любая болезнь отстанет, только надо держаться. За разговором не заметили, как очутились у канткома. В приемной толпился народ. Немного времени спустя из кабинета послышался голос

Темирболотова:

— Если появятся Копылова и Казакова, пусть немедленно зайдут ко мне!

Батийна насторожилась: «А, наверное, по поводу еще какой-нибудь пострадавшей женщины».

первый вопрос

В кабинете Темирболотова они увидели старика.

— Э, сынок дорогой! — говорил старик, обращаясь к Темирболотову.— У меня было семь сыновей и пять дочерей. Самого младшего — Ашима — я женил на дочери музыкантши Толгонай, что играла на темир-комузе. Святая своему сыну дочь знаменитой булбул¹, я мечтал: «На наше счастье, невестка, может, пойдет в мать, и среди моих потомков, глядишь, тоже появится свой булбул. И выросли у меня внучки—мастерицы на все руки, искусницы, жаворонки

певучие. Хотелось услышать от людей: «Ах, какие внуки у Байтерека, одна искусно вышивает, узоры у нее словно Живые» другая играет на темир-комузе так, что заслушаешься...»

О чем только не мечтает человек дитя мое! О многом мечтает он. А создатель подрезает ему крылья... Один из моих сыновей погиб по вине белого царя, другой в реке утонул, спасая женщину, третий остался в китайском плену, схваченный по чьим-то наветам, когда батрачил в Текесе, не зная ни сна, ни покоя, чтоб прокормить нас. Стоит ли говорить, дорогие мои, о страданиях, которые перенес я? Раз человек родился на свет, он стремится утолить свой голод, если выжил, когда гибли все, то он цепляется за жизнь, стремится пустить поглубже корни... Остался я без сыновей, без невесток. Наконец похоронил свою жену, с которой думал прожить весь свой век. Холмик серой земли у устья Кекилик, поднявшийся среди множества могил, навсегда разлучил меня с моей доброй женой. Когда горе сваливается на человека, он не может его сбросить одним махом, хотя часто мнит, будто в силах подпереть собой мир.

Когда черная моя борода совсем побелела, словно лебединое крыло, остался я одинешенек с внучкой Чолпон. Чолпон-жан моя стала уже обшивать, обстирывать меня, кипятить мне чай. Когда подыметесь на ноги моя светлая звезда, мечталось мне, я отшвырну подальше от себя черное горе, которое гнетет меня. Я молил бога, чтоб он оставил меня в живых, пока не выведу в люди единственную утеху мою, хотел, чтобы она училась в школе, которую открывает новая власть...

Словно капли пота, падающие с лица косаря в жаркий летний день, из печальных, почти немигающих глаз старика катились горошинки горьких слез.

— Не знаю, какие глупые родители соглашаются продать свое родное дитя за калым... Не раз приходили ко мне сваты: «Ваша внучка уже на выданье. Давайте, мол, свататься». Но я отвечал, что буду учить внучку, хочу ее вывести в люди. И вот, дети мои, я лишился единственного моего светильника, моей Чолпон. Кто ее увел? В чьих руках она, звезда моя? Жива или мертва? Не знаю. Подломились крылья у меня, не нахожу себе места. Три дня, три ночи я брел сюда, опираясь на эту палку.— Старик погладил дрожащей ладонью палку, прислонив ее к ноге.— К биям я бы ни за что не пришел. От них помощи не жди. А к вам я пришел со своей бедой. Мужчина не должен показывать своих слез.— Старик положил ладонь на грудь.— Простите мне, несчастному, что окропил слезами свою седую бороду... Если вы вправду власть народа, наша власть, так отыщите мою Чолпон, не дайте ей натерпеться унижений! Я проклиная бога и все обычаи предков, проклиная, даже если попаду в ад за эти мои проклятья! Я теперь не испугаюсь и не подчинюсь никаким адатам, никаким порядкам, которые установлены в этом мире царями, пророками и муллами. На все пойду ради моей Чолпон! Только найдите мне ее!

— Подозреваете кого-нибудь, аке? — спросил Темирболотова

— Нет... По правде говоря, голова у меня не на месте сейчас.

— А кто посылал к вам сватов?

Старик Байтерек призадумался: «Как бы не нагрешить на безвинных людей. Кого назвать, коль самому неясно».

— Один человек из нашего аила, не из бедных, сватал Чолпон своему сыну. А ему уже под пятьдесят, борода седая.— Байтерек покачал головой.— Я и ответил: «Как я могу обречь на горе свою внучку, ведь жених в отцы ей годится, а тут еще новая власть разбудила женщин, зовет выходить на свет...»

— Вы правильно сделали, отец! — вмешалась Батийна.— Ясное дело, товарищи. Если б все отцы были такими сознательными, не страдали бы их дети.

— Да пропади оно пропадом, это ясное дело! — вспыхнул старик.— Из-за него-то я потерял свою Чолпон!

—Мы найдем вашу Чолпон! — сказал Темирболотов.—Не горюйте, аке! А виновные понесут наказание по всей строгости революционных законов.— Темирболотов стукнул кулаком по столу.— Ну, товарищи Казакова и Копылова, вам придется поехать! Начальник милиции пошлет с вами своих людей. Даем вам три дня сроку. Через три дня девушка и виновники должны быть тут!

Начальник милиции Белеков хотел было возразить:

— Три дня будет, пожалуй, маловато! Но Темирболотов резко прервал:

— Ты что хочешь, чтобы они дольше издевались над девушкой? Вы едете не к чужим людям. На месте немедленно обратитесь к комсомольцам, они помогут вам отыскать иголку на дне колодца! Батийна и Валентина, вы по душам, как старые знакомые, поговорите с женщинами... Будьте готовы отправиться этой же ночью!.. Аке! — Темирболотов обратился к старику.— Поезжайте с ними, будете провожатым. Пусть кое-кто почувствует, что советская власть принадлежит бедноте! Держитесь мужественней! Товарищ Белеков, проследите лично, чтоб почтенному аксакалу оседлали подходящего коня! Сев на коня, Батийна сразу почувствовала облегчение, словно сбросила тяжелый чапан. Вернулась веселая бодрость в теле.

Не успев выехать из города, всадники поскакали рысью. Чем больше кони входили в азарт, тем свободней отпускали им поводья. Отъехав от города, припустили коней вскачь. Сытые, застоявшиеся, они помчались неудержимо, не слушаясь седоков, утягивавших поводья; скакали, наострив уши, поднимая кверху морды с раздувающимися ноздрями.

Дорога гремела от топота копыт. Охваченные пылом бега, кони неслись, опережая друг друга, свистя гривами и хвостами.

Валентина в желтом полушубке, подпоясанном широким ремнем, на котором висела деревянная кобура с маузером, крепко держалась в седле. Из-под серой ушанки выбивался у нее пучок светлых волос.

Старик Байтерек скакал вместе со всеми, хлопая лапами своего чапана, то и дело вглядываясь вперед.

Яростно хлеставший ветер вырвал из уст старика и унес его мольбу:

— О дорогие мои! Помчимся быстрее! Люди в аиле еще не лягут спать, если не собьемся с хода. Скорей! Скорей! Жива ли моя звезда?

Багрянец вечернего солнца коснулся вершин гор.

Хотя в аил приехали поздно и улеглись далеко за полночь, Батийна проснулась на заре. Она шла по краю аила и с восхищением смотрела на горные склоны.

Женщина доила корову у крайней, стоявшей чуть поодаль от других, юрты с изношенным покрытием. Она доила с завидным умением и ловкостью.

Батийна уловила, что женщина посмотрела на нее с любопытством. Батийна улыбнулась ей, словно встретила старую знакомую:

— Богатого надою вам, сверстница!

— Спасибо на добром слове!

— Молодая телка у вас? Первый год, наверное, отелилась? — спросила Батийна.

— Да, дорогая, сколько раз молилась я богу и Занги-бабе¹, пока у нас не завелась своя корова. Месяц, как отелилась. Соски у нее еще твердые.

— Молочная она у вас. Доите ее три раза на дню. Время от времени мажьте ей вымя сливками. За хороший уход скотина отплатит с лихвой...

«Боже, эта женщина, оказывается, повидала жизнь...»

— Да,—произнесла Батийна, как бы разгадав мысли новой знакомой,— если ухаживать как следует, она молока год от года дает больше. И потомства от нее подходящего дождетесь. По ее породе видно...

— Первый раз вдоволь напился молока мои ненаглядные дети!

— Еще бы лучше, если бы и взрослые пили молока вволю! Женщина засмеялась от всего сердца:

— Что правда, то правда, подруга. Отец у нас часто спорит со своими малышами из-за молочной пены.— Подумав, что сказала что-то не совсем уместное, она поспешила поправиться: — От радости делает он это, от радости.

«Видать, добродушная, откровенная женщина»,— подумала Батийна. И пока она мялась, не зная, как начать разговор, женщина спросила:

— Слушайте, подруга, вы не рассердитесь на меня, если я задам вам один вопрос.

Батийна ответила с готовностью:

— Разве можно сердиться за то, что тебя спрашивают? Отняв руки от коровьего вымени, женщина повернулась к

Батийне:

— Говорят, вы приехали разыскивать пропавшую внучку несчастного старика. Правда это?

— Правда! Разве хорошо, подруга, если в наше время пропадает человек?

Женщина словно чего-то испугалась.

— Да провались они с этим их делом! Разве когда пропадал человек?

Уловив в словах женщины какую-то недомолвку, Батийна насторожилась и, чтоб не вспугнуть ее, спросила с наивным видом:

— Про кого это вы сказали: «Да .провались они с ихним делом?»

Доильщица будто не расслышала вопроса Батийны:

— Вы уже нашли девушку, которую ищите?

— Пока нет.

— Есть хоть какие-нибудь следы? — усмехнулась женщина.

— Вчера ездили в верхний аил. Проводили собрание членов Союза кошчу² и комсомола. Говорили с каждым активистом в отдельности. Но никаких следов не нашли.

— Эх, подруга,—сказала женщина с досадой,—бедняки боятся почтенных людей аила и не скажут ничего открыто на собрании.

Батийна прибегла к хитрости, чтоб вызвать доильщицу на откровенность:

— А что сделали почтенные люди, подруга? У всех женщин — одна честь.

Чего только мы не пережили в то проклятое время! Прошное пусть останется прошлым. Но что хорошего в том, что нынче крадут девушек, когда советская власть зовет женщин повернуться к свободе, раскрыть глаза и получать знания...

— Говорят, мол, новая власть дала свободу, равенство всем. Богачи и бедняки — равны, мол, теперь. Раньше баи водились только с баями. А теперь, мол, все смешались...— начала женщина и примолкла: «Сказать или нет? Эти скоро уедут, а я могу пострадать, могу лишиться единственной коровы, которую с таким трудом мы завели. Болтливый язык у меня...»

Батийна тихо сказала:

— Не скрывайте. Вы что-то знаете, подруга! Женщина пробурчала не совсем внятно:

— А вы спросите начальника... Барскана.

В первые дни, следуя примеру Батийны и других, многие девушки и женщины порвали с шариатом, адатом и, согласно закону «полюбила — вышла!», стали выходить за тех, кто был по сердцу. Но были случаи, когда байские сынки, насильно увезя девушку, уговаривали ее сказать: вышла, мол, замуж по любви.

Чтобы выгородить насильника, пострадавшая говорила:

— Пришла я сюда по своему желанию. Полюбила и вышла. Никто меня не крал!

Обманутая, она подчиняется правилу: «Камень остается там, куда упал...»

Благо, если девушка и джигит сойдутся характером и она станет хозяйкой в доме, матерью. Но беда, если она вдруг надоеет своему жениху.

— Раз сама пришла, сама и уходи! Ведь ты не выходила за меня честь по чести, не заставляла платить калым,—поиздевается над нею муж, прежде чем выгнать.

Она бы не прочь уйти от него, но боится прослыть «презренной салбар», покинутой, меняющей мужей. Нет, кажется, несчастней женщины, отвергнутой мужем, попранной, брошенной! Даже аильские сплетницы не

преминут унизить ее: «Эх, несчастная, отвергнутая мужем!» А сердитые мужья станут поругивать своих жен: «Эх, жена, будь подальше от этой презренной женщины».

Одним словом, взять под защиту подобную женщину, вышедшую замуж «по своему желанию» и ушедшую от мужа, становится делом все более щекотливым, требующим особой душевной тонкости. Так и остается она поруганной, обесчещенной, не смея в то же время просить помощи у закона и стыдясь показаться на глаза отцу и матери.

Не мудрено, что Батийна серьезно тревожилась за судьбу неизвестно куда пропавшей Чолпон, хотя не теряла уверенности, что рано или поздно девушку разыщут. «Что, если успели заморочить голову Чолпон и она скажет нам: «Вышла замуж по своему желанию, теперь мой дом здесь и никуда я отсюда не уйду»? Допустим, в горячке мы запрем в каталажку тех, кого заподозрили в умыкании. Потом Чолпон придет к своему дедушке да взмолится, обнимая его колени: «Ата, прости меня»... Ее могут уговорить на это. А дедушка возьмет да скажет: «Прощаю. Будь счастлива, солнышко мое!» Что тогда? Можно сказать: «Вашей внучке заморочили голову. Мы не оставим ее здесь. Заберем с собой. И она будет учиться». Допустим, это правильно. Но ведь у каждого человека свой путь. Что, если Чолпон непонятлива и учиться не сумеет? Потом снова выйдет замуж, может, опять неудачно. Чем утешить тогда старика, если он со слезами на глазах станет корить нас: «Зачем было срывать ее с теплого места? Такого ли счастья вы хотели для моей внучки?» Ведь не скажешь ему: «Сама внучка у вас плохая». А старик на это: «Зачем же вы обещали учить, воспитать, сделать ее человеком, если она плохая! Где ваше слово?» Старик вполне может упрекнуть нас. И мы же виноваты будем, что не сумели направить девушку по правильному пути...»

Мысли Батийны путались.

Валентина Копылова, столкнувшись с непонятными для нее обстоятельствами, перестала горячиться и то и дело обращалась к Батийне: — Как быть теперь, Батийна? Неужели замешан Барскан?

— Вполне возможно. Он сын Шаймердена — самого влиятельного человека в роду.

— Что ж, он плюет на законность? Неужели он не понимает, что натворил? Батийну тоже ставили в тупик заслуги Барскана перед советской властью. Будь в этом деле замешан кто другой, привлечь его немедленно к ответу по закону было бы не так-то трудно. А вот отец Барскана Шаймерден верой и правдой служил в прежнее время белому царю.

Как только новая власть свергла царя, Барскан, говорят, по совету своего отца связался с бандами и стал атаманом. Немного спустя, предвидя неминуемый разгром банд, Барскан подался, опять же по совету отца, к красным. Подался не просто. Связав атамана, он помог красным захватить всю банду. Облачившись мгновенно в овечью шкуру, он получил в награду

маузер с надписью «За заслуги перед революцией» и вскоре стал командиром отряда.

Услышав имя Барскана Шаймерденова, милиционеры сразу сникли. А до того они были настроены по-боевому, грозились проучить — пусть он даже будет самым богом! — преступника, похитившего дочь старика Байтерека. Однако стоило им узнать, что человек, укравший молодую девушку, приходится родным братом Барскану Шаймерденову, и милиционеры упустили головы: «Как это мы подыдем руку на любимого ората товарища Шаймерденова. К тому же он попросту не даст арестовать себя».

Валентина возмущенно дернула повод и хлестнула камчой по ляжке, хотя конь ехал довольно споро.

— Айда! Черт с ним, с Барсканом! Закон все равно на нашей стороне!

Они поскакали в аил Барскана, взяв с собою председателя Союза кошчи Джусупа.

Когда Байтереку сказали, что его внуку выкрал сын Шаймердена, у старика потемнело в глазах. Кто другой на его месте, может, был бы польщен, что его дочка выйдет замуж за столь видного человека. Но мудрый Байтерек, хорошо знавший весь род Шаймердена и всю их подноготную, нисколько не обрадовался, напротив, он впал в отчаяние, словно на него свалилось расколотое небо.

— Дорогой Джусупжан, открой мне всю правду. Я еще надеялся, что моя Чолпон в руках у людей, а она, оказывается, в пасти у дракона. Удастся ли по закону новой власти вырвать у этого страшилища бедную мою девочку?

Скакавший легкой рысью на гнедой трехлетке раскрасневшийся под солнцем Джусуп посмотрел ласково на старика и сказал:

— Не бойтесь, аке! Каким бы почтенным и сильным ни был Шаймерден, он один. А нас много! Все эти люди посланы властью. Я, к примеру, секретарь Союза кошчи, избранный от бедняков большой Кунгейской долины.

Попробуй-ка Шаймерден не считаться с нами!

Кони рысят, обгоняя один другого, стремя звякает о стремя, Байтерек, запуганный еще с молодости, трясется от страха. Что значат для Шаймердена эти две женщины? Он и при царе Николае никого не боялся. Так и лебезили перед ним аксакалы. Этот человек ни во что не ставил айльных аткаминеров, волостных и мелких биев. Кто из них осмелится тягаться с Шаймерденом?

Больше всего водился он с купцами, теми, кто торговал в Андижане и Ташкенте — на западе, в Кашгаре и Кульдже — на востоке, да с уездным начальством и с чиновниками покрупнее.

От четырех жен у Шаймердена было восемнадцать детей. Семь дочерей, остальные — сыновья. Сыновья старших его жен были женаты, дочери вышли замуж, все обзавелись своими юртами. К старости байбиче с детьми отделились от него. У каждой — свой аил. Самая младшая, любимая токол Шаймердена, Джибек, родила и вырастила двух сыновей и ни одной дочери. «Львица рождает двоих, собака — семерых», — ласкаясь к гордому мужу, хвастала токол.

— Что, если мои сыновья, следуя вам, вырастут сотками^ и будут гонять перед собой ваших черных воронов. А, батыр?

Младший ее сын, Мурза, которого она прочила в соколы, вырос вздорным баловником,— он привык невозбранно делать все, что взбредет на ум. Соберет вдруг со всей округи охотников с ловчими птицами, неделями вместе с ними бешено охотится. Не повезет, он мог бесцеремонно сказать, что подбитая другим охотником косуля его трофеей. Однажды охотник, решивший было увезти свою добычу без ведома Мурзы, в отместку был наказан заодно со своими сородичами. Короче говоря, пора было шалопаю Мурзе прекратить свои безобразия да понести законное наказание, но этого не произошло. Вместе с сыновьями и родственниками Шаймерден пребывал в почете. Он не отказался от своих затаенных вожделений стать патриархом всех единоплеменников, пользуясь авторитетом своего высоко взлетевшего сына Барскана. Убедившись в том, что с помощью белых банд и басмачей не достичь ни власти, ни славы, Барскан подался к красным и, замечая следы, старался во что бы то ни стало втереться в доверие. И это ему вполне удалось: хорошо зная местность, повадки и намерения беляков и басмачей, Барскан оказал помощь красным. Теперь авторитет Барскана, «красного командира», послужил на пользу его отцу Шаймердену, сородичам и особенно его младшему брату, проходимцу Мурзе.

«Вода течет в том же арыке, где текла и раньше»,—любил повторять Шаймерден, гордый своим влиянием и почетом благодаря хитроумному сыну. Он по-прежнему без всякой опаски мог нахмурить брови и заставить слушаться себя простодушных доверчивых айльчан. Всякое начальство, приезжавшее в горы, прежде всего попадало в дом Барскана Шаймерденова. Шаймерден принимал высоких гостей с отменным радушием. И молва разносила славу Шаймердена и его ветвистой семьи.

— Вот это здорово! Начальник отряда, из центра, говорят, пожал руку Шаймердену-аке!

Доверчивые люди сами возносили Шаймердена, и хитрый волк продолжал править в горном захолустье. А его Мурза, которому приглянулась Чолпон, внучка Байтерека, вместе с пятью безотказными джигитами выкрал ее.

По правде говоря, эта выходка Мурзы не очень-то понравилась отцу. Шаймерден помрачнел, затрудняясь решить — то ли ему обругать озорника, то ли одобрить? К тому же в последнее время усилились разговоры: «Как были притеснителями, так и остались. Барскан только считается красным командиром, а не хочет положить конец проделкам своего отца, братьев и родственников. Наоборот, сам же советует им, как отбояриться».

И Барскан тоже не одобрял баловника брата. Но что можно было сделать? Сослаться на то, что озорник поступил своевольно, и отправить девушку назад? Но тогда Шаймерден был бы разоблачен, как человек, продолжающий насильничать, издеваться над людьми. И новая власть вправе была его наказать.

— Пусть дурак расплачивается головой за то, что сделал руками. Сейчас, отец, не то время, чтобы можно было отвергнуть девушку лишь за то, что она не из знатной семьи. Напротив, если начнут обвинять нас, что мы, мол, украли дочь старика, нам вполне удобно ответить: «Видите, как любим серошубых бедняков!» Пусть ваш шалопай, которого не может вразумить сам бог, проживет свой век с дочерью безродного нищего! Надо сделать так, чтоб не обидеть, не разозлить ее, чтоб она сказала: «Сама полюбила, сама и вышла за него замуж. Кого захотела, того и нашла». Когда же все поутихнет, ваш баловник — его и сам аллах не укротит — выпроводит эту нищенку за порог, и все обойдется. А я пока что махну отсюда, — ничего, мол, не видел и не слышал. О ата, будьте осмотрительны! Не вздумайте лезть на скандал. Повторив несколько раз свое предостережение, Барскан собрался в город. Шаймерден был вполне согласен с советом всепонимающего сына. Но, дорожа своей отцовской честью, Шаймерден самолюбиво прикрикнул на Барскана перед его отъездом:

— Э-эй, аке! Не учи отца, словно нашел его где-то на дороге, уезжай себе. Лучше спасай свою собственную голову, поешь вволю мант своей байбиче. Обойдемся без твоих советов...

Шаймерден с виду держался грозно, но сомнения не покидали его. «Не дай, боже, моей голове стоять с повинной перед новой властью! Не дай скатиться на землю звезде моего рода!» После отъезда Барскана Шаймерден на некоторое время встал перед соблазном страшной мысли: «А что, если столкнуть с обрыва дочь голодранца, чтоб никто не видел?!»

Он скрипел зубами, жаждая крови. Казалось, старик не откажется от жуткой затеи. Но людям уже было известно, кто припрятал Чолпон. Втихомолку покончить с ней не удастся. Шаймерден это понял. И бесился еще сильнее. Тут-то как раз нагрянули к нему милиционеры с Батийной и Валентиной. «О, что за насмешки? — вспылil Шаймерден. — Хоть бы приехали настоящие начальники. А то каких-то писклявых баб прислала ко мне власть безродных голодранцев. Жалкий сын Темирболота хотел, наверное, чтобы эти бабы надругались над моей золотой головой! Погоди, дрянь! Да, власть в твоих руках. Но на моей стороне — духи предков... Если их не покинула прежняя сила, прежняя святость, прежние чары, я еще выпью твою кровь, паршивец! Погоди!..»

Из белой юрты Шаймердена вывели на середину двора и принялись допрашивать всенародно. Без особого почтения к аксакалу преклонных лет первой начала дознание Копылова.

— Эй, старик! Твой сын украл внучку вот этого человека. А ты ему потакаешь, как злостный феодал. Мы арестуем твоего сына. И заберем с собой девушку. — Мой сын ничью внучку не крал! — С виду Шаймерден не испугался. — Она пришла по своей воле, сама к нему привязалась. Разве мужчина может бросить женщину, которая цепляется за него? Не стражайте меня! Я вам не какая-нибудь шкура серого быка. Я проливал кровь за советскую власть. Эй,

русская женщина, ты не запугаешь меня. Я имел дело и с большими русскими начальниками,— прохрипел Шаймерден.

Его внушительный голос заставил было присмиреть Валентину с Батийной.

— Ваши заслуги, если они есть, отметят, где надо. Но девушку заберем. По силе закона. Вы не должны этому противиться.

— Если уж требует ваш закон... общитесь, попробуйте найти, тогда и увезете ее! Никогда в своем благородном доме я не прятал чьих-либо поганых выроdkов,— сказал Шаймерден.

Байтерек вскочил с места. Ухватив кончик своей тонкой бородки и глядя прямо в глаза Шаймердену, старик отчитал его:

— Шаймерден, мои дети не могут стать погаными выроdkами только потому, что у меня один-единственный конь да рваная шуба. Это правда, что ты...— не сдержав гнева, он назвал Шаймердена на «ты»,— что ты в почете. Ты силен, богат. Много у тебя детей, родичей. Правда, что ты в прежние времена перемолол своими клыками да выплюнул не только мою внучку, но и меня самого. Слава аллаху, настал мой черед, и я нынче стою на равной ноге с таким бешеным верблюдом, как ты!..

Голос Байтерека звучал уверенно и решительно, разносился далеко за красную скалу, испещренную кудрявой арчой:

— Нынче мои дети куда чище твоих! Пора тебе знать это! Ты не смеешь считать меня ниже себя, а я могу теперь тебя презирать! Твой шалопай недостоин моей невинной, как ангел, девочки, слышишь, бай? Я преступлю твои обычаи!.. Слышишь, затопчу их! Заберу свою внучку! Она будет учиться в школах советской власти... Добьется того, о чем мечтает! Верни мне мою внучку!

Шаймерден готов был, как в былые времена, наброситься со всей яростью на Байтерека, но руки у него стали коротки: он задыхался, словно старый гриф, от бессильной злобы, хватая ртом воздух: «О аллах немилосердный! Что за насмешки? Что за издевки? Не то что несчастный старик, самые могучие властители киргизов не осмеливались смотреть мне прямо в лицо! О, советская власть показала мне, что она власть безродных!.. * Что делать, что делать? Не прирезать ли эту собаку вместе с его внучкой да скрыться в горах? О Барскан, ты спасаешь только свою шкуру, да накажет тебя бог! Я этого негодяя при царе Некелее отдал учиться по-русски. Думал, что он будет мне опорой. А он — трус! Еще он, дурак, красный командир у них, носится с мечом рядом с этими безродными. Теперь заставил меня выслушать брань выжившего из ума старика...»

Шаймерден затрясся всем телом.

— Как я могу снести все это, а? О старая собака, что ты сказал? Повтори-ка! Что нынче твои дети чище моих, да? — И Шаймерден заорал во все горло: — Раз так, ты от меня свою внучку не получишь! Желаю иметь потомство от такой благородной женщины, как твоя внучка!..

Перед глазами Батийны, которая до того разговаривала с Шаймерденом снисходительно, с оглядкой на заслуги его сына-командира, возник вдруг образ кровожадного Адыке.

— Обыскать! Найти Чолпон! — приказала она и посмотрела на Шаймердена:

— Вы как были, так и остались кровопийцей. Нечего возиться с вами.

Скажите, чтоб оседлали коня! Мы заберем вас с собой!

«О боже, боже, неужто теперь погонят меня белоголовые бабы?! О, что за издевки твои, творец! Что я слышу?!»

Чолпон в юрте не обнаружили. Узнав, что внучку не нашли, Байтерек заметался в отчаянии:

— О дорогие мои, дорогие мои! Нет моей Чолпон. Неужто я не найду единственную свою звезду? О, дорогие милыйса. Этот зулум¹, наверное, хочет запутать нас... Обыщите-ка получше...

Словно из-под земли послышался глухой стон. Черная сука с белой шеей повыла, подняв морду вверх, и отошла в сторону. На берегу речки курился тонкой струей дыма ыштык². Потерявший надежду Байтерек устремился туда. Торопливо отбросив куски старого войлока, которыми был прикрыт ыштык, он с отчаянным криком упал на него...

...Услышав весть о том, что милиционеры с женщинами-начальницами едут искать Чолпон, старшая жена Шаймердена Джипар приказала:

— Припрячьте пока эту куклу. Обыскивать они могут только юрту. Разве станут они обыскивать ыштык, где окуриваются саба. Сбавьте дым в ыпгытке, оставьте небольшую щель, лишь бы она не задохнулась, да привяжите ее к шесту.

Возможно, Шаймерден считал, что Чолпон отсиживается где-то в кустах.

Увидев пожелтевшую и мучимую рвотой Чолпон, испугался даже Шаймерден:

— О неладная Джипар, это, наверное, дело твоих рук?! Я, Шаймерден, ни перед кем не склоню головы. О Джипар! Зачем ты сделала это, а? Из-за тебя я не могу смотреть в глаза этим женщинам-начальницам...

Байбиче передернула плечами.

— Э, что так расплакался, бай?! Неужели я придумала все это? Нет. Сама невестка попросила: «Меня могут забрать. Спрячьте пока туда!..»

Валентина не выдержала и заплакала.

— Ах-х, Батийна, Батийна, какая, какая жестокость! Им, видно, было все равно, что она могла умереть от угара. Ай, ай, бедная девушка! Бедная девушка...

— Ничего, Валентина, разве свобода придет без борьбы? — сказала Батийна, поворачиваясь к стоявшим с растерянным видом мужчинам. — Скажите, чтоб оседлали коня и для байбиче. Ее тоже заберем.

— Страсти-напасти! Куда вы хотите забрать меня?

— Будете держать ответ перед законом!

— Не говори так, дорогая, какое дело закону до меня? Батийна заставила замолчать байбиче:

— Постыдитесь, байбиче, если хоть крупинка совести в вас осталась.

Тонкие губы байбиче смертельно посинели.

— Не так уж виновата я... поверьте...

ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ

Зуракан шагала без оглядки, злость и досада угнетали ее. «Скорей, скорей уйти подальше от этих мерзких торгашей, даже если погибну».

Вдруг что-то грохнуло под ногой у нее. На узкой тропинке извивалась черно-пестрая змея и шипела, подняв голову, как бы заволакивая ее. Отскочив назад, Зуракан подняла шершавый камень, а змея тем временем уползла в придорожную траву. Подойдя поближе, Зуракан со всего размаха ударила камнем. Змея забилась в траве, закружилась, силясь уползти, но не смогла и осталась лежать, судорожно извиваясь и блестя лощеными боками.

Распластав убитую змею на камне, Зуракан разрубила ее другим камнем надвое и разбросала по обе стороны дороги.

— Не хочу, чтоб твой змеиный дух преграждал дорогу людям!

Даже как-то полегчало у нее на сердце, высохли слезы.

Миновав широкую лощину, сплошь покрытую кустарником, она вышла к прозрачной речке. Присела у самой кромки, торопливо помыла лицо, руки, прополоскала рот, напилась вволю чистой холодной воды, отдохнула. Словно вспомнив что-то, она вскочила с места. Перешла речку, прыгая с валуна на валун, и быстрыми шагами пошла дальше по открывшейся перед ней широкой долине.

Зуракан почувствовала, хотя и не оглядывалась назад, что за ней кто-то следует, и заторопилась. Кто это? Ороз? Ошур? Один из погонщиков или просто путник? А может, это какой-нибудь хищник? «Будь что будет! Пусть это самый лютей враг, который безжалостно всадит нож в спину, пусть даже родной отец взмолится: «Милое дитя мое, обернись!» — все равно не оглянусь».

Уже отчетливо слышался топот. Похоже, верховой на коне или зверь какой-то.

Зуракан незаметно для себя убыстрила шаг.

«Схвачусь, если что... Так просто не дам».

Никак это топот мула. Да, это мул. Вон он зафыркал, продолжая скакать.

«Кто это? Ороз или Ошур?»

Зуракан подгоняла вспыхнувшая с новой силой обида.

Преследующий не окликал ее. «Наверное, хочет сломить меня. Но я не оробею, подлый игровишка, наглец!..»

Мимо проскакал Ороз на своем муле и остановился в нескольких шагах. Соскочив с Мула, Ороз направился к ней с повинной: на шее у него повис конец волосяного чумбура.

— Виноват я перед тобой, тигрица моя! Прости мне, безмозглому дураку! Прости!

Он так и не подымал головы, не зная, казнит его Зуракан или помилует.

— Зукештай моя, неужто ты оставишь меня из-за подлого языка этого торгаша, которому захотелось поспорить нас с тобой? Ведь мы поклялись друг другу стать мужем и женой. Неужто забудем нашу клятву? Я не дам тебя в

обиду, поверь. Пожалей меня, Зукеш. Не дай упасть моей звезде, не унижай меня, Зукеш. Разлучившись с тобой, лучше не жить. Сам святой Кы-зыр свел нас. Провалиться мне на этом месте, если я вру, милая моя!

Женщина, которая всегда очень чувствительно принимала к сердцу любую грубость мужчины, но еще скорее податливая на дасковое слово, и в этот раз отошла, смягчилась.

Прошли годы.

Как и обещал Ороз, жизнь сложилась у них безбедная. Словно ставшая почти незаметной рана, сгладилась, забылась отметина прошлого и на сердце Зуракан. По пятницам, прифранченные, в костюмах и хорошенько умывшись, причесавшись, они отправлялись вдвоем на базар. Ороз перебросится веселой шуткой с одетыми, как настоящие байбачи, джигитами, вполголоса перемолвится с ними о чь!-то для Зуракан непонятном. Потом в харчевне берут по десятку сочных мант, бутылку-другую синеголовой и долго прохлаждаются. Наконец Ороз говорит: «Байбиче, ступай-ка, приготовь чего-нибудь повкусней!» А сам направляется к своим шумным друзьям.

С базарными закупками Зуракан возвращается домой, в свою крохотную комнатенку. Они поселились с Орозом в большом дворе, полном людей и всякого скота. Это был один из старых мрачных дворов, огороженных высокими глинобитными стенами и облепленных низкими мазанками с плоскими крышами и узкими окошками. Стоит закрыть изнутри низкие ворота и калитку,

как он превращается в обособленный глухой мир. Каждый, кто пришел по делу, прежде постучится в ворота, позовет того, к кому явился, громко переговорит через ворота и уйдет, так и не заходя во двор.

Случается, что Ороз входит во двор, не постучавшись предварительно в ворота. Мгновенно все женщины, находящиеся во дворе с открытым лицом, скрываются кто куда. А старая хозяйка взвизгивает, кокетливо двигая бровями:

— Ой, чтоб тебе голову оторвало, Ороз! Как ты смеешь заходить во двор, не подав голоса, когда тут женщины с открытым лицом?

Вначале это казалось Зуракан странным. Постепенно она привыкла к повадкам живущих в ичкери женщин. И сама могла соблазниться, когда во дворе появлялись чужие мужчины, кокетливо взвизгнуть: «Ой-ай... чтоб тебя убило! Ты что заморгал своими буркалами!»

Проскучав весь день у себя в комнатенке, потешая Ороза, Зуракан любила передразнивать дворовых женщин. Она дергала бровями, вытягивая шею и надрываясь не своим голосом на их манер:

— Ну, табариш Ороз скажи, твоя жена может стать артис? Может, да? — сквозь смех спросит Зуракан.

Ороз до слез смеялся, катаясь по шырдаку:

— Ну, Зукеш-жан, представь еще раз байбиче нашего друга. Допустим, я киргиз, приехал из аила. Вошел во двор, а в ворота не постучался. Вот я кашлянул раз, ну, пожалуйста, представь еще раз байбиче...

Зуракан повторно изображала хозяйку, кокетливо вздергивая бровями. Ороз хватался за живот.

— Будь ты неладна! Точь-в-точь она! — восхищался он. Потом, посерьезнев, вдруг говорил:—Эй, жена! Скажи, может, у тебя самой не все как надо? Может, ты ловко пускаешь мне пыль в глаза? Получаешь подарки от торгашей, а?

Зуракан, увлеченная затеянной шуткой, игриво отвечает:

— Э, негодник этакий! Ты же не докладываешь мне, где пропадаешь дни и ночи подряд со своими мирзами в куньих те-бетеях? Я тоже не сию просто так, когда остаюсь одна, с четырех сторон подпертая серыми стенами.— Зуракан склонилась к мужу, словно собираясь сказать что-то серьезное:— Знаешь соседа, что живет напротив, того дунганина, который чесноком торгует? Эх, какой же у него сын! До чего смазлив парень!.. Я иногда подморгну ему глазами... А он, милый, приходит ко мне, когда никого во дворе не остается... Ороз настораживается:

— Ты это всерьез? Такими вещами не шутят, будь ты неладна.— Он выисдательно смотрит — то ли верить, то ли нет.

— Не хмурься, мой дорогой. Уже три года, как я заперта в этих глухих стенах. Кроме голубого неба, ничего не вижу. Верно, мы живем самостоятельно. Не батрачим. И ты приходишь с полной пазухой денег. Неизвестно, чем торгуешь. Но мне это совсем не нравится. Мои отцы и деды ненавидели торговлю. Торгаш всегда изворачивается, кого-то обманывает, чтоб из копейки сделать две...

Зуракан умолкла. «Что еще она скажет, черт бы ее побрал?» — насупленно думал Ороз.

— Силы хватит у нас обоих! Мы горы свернем сообща. В городе нечего делать. Я тебе давно говорю: давай поедem в аил, будем хлеб сеять, разводить скот да жить, как все люди. А ты все оглядываешься то на одно, то на другое. Скажу честно: деньги, которые ты добываешь неведомыми путями, застревают у меня в горле. А ты еще сомневаешься во мне, как бы я не моргнула кому глазом... Хочешь сохранить меня чистой? Едем в аил. Земля не губит напрасно труды человека: возвращает с лихвой. Если ты не согласишься, то я, наверное, совсем изведусь среди этих глиняных сартовских стен. Бурлят во мне силы. А девать их некуда. Скучно мне! Скучно! Оставшись одна, я запеваю песню. Жена твоего дружка подбегает: «Ой, Зуракан, что с тобой?» И она откровенно говорит о таких проделках женщин, что ни одному мужчине невдомек. Иногда хочется сделать так, как они.

— Что это значит: «Хочется сделать так, как они?»

— Женщина взаперти очень быстро портится. Знаешь, что делают женщины, когда томятся от скуки? Если хочешь, расскажу.

— Ладно, расскажи...

— К ним приходят любовники в парандже. А мужьям своим они говорят: «Ой, не заходи, хозяин! Тут у меня гостя». Муж остается во дворе, ставит самовар

и, когда он вскипает, передает его в ичкери. А любовники, наверное, не теряют времени...

Ороз растерянно глядел на жену.

— Давай, Ороз, уедем отсюда, иначе от скуки... Я уже стала засматриваться на сына дунганина, того, что торгует чесноком... Как бы не пришлось тебе кипятить нам чай...

— Думаешь, я не посмею зайти туда, где вы сидите? Зуракан расхохоталась:

— Заходи сколько угодно. Но что ты увидишь, если и зайдешь? Я поняла за это время, что хитростей у самой глупой женщины хватит на сорок ишаков навьючить. Хочешь знать, я могу прямо на глазах у тебя наставить тебе рога. Завтра же отсюда в аил! Подальше от греха...

С каждым разом Зуракан, стараясь убедить Ороза, выдумывала одну историю несуразнее другой.

Она внушала себе: Ороз поверит, что кто-то меня совращает, и начнет ревновать. Тогда, может, оставит свое грязное ремесло и согласится переехать в аил. Дождусь, возможно, что он скажет: «Оставлю всякую торговлю. Уйду из города. Осточертела она мне. Возьмем себе полдесятины земли в аиле. Будем пахать, сеять, вот и покажешь тогда свою силу, тигрица моя!»

Как иной картежник томится по игре, так Зуракан тосковала по земле, неудержаемо тянуло ее добывать хлеб своим трудом. И чтоб подбить Ороза порвать с городом, она сплела целую небылицу в лицах:

— Иду сегодня на базар, вдруг из-за угла появляется какой-то черный рябой мужчина. «У-у, ханум! Если не согласишься стать моей женой, я зарежу и тебя и твоего мужа», — пригрозил он мне. Я еле отделалась от него...

— Что ты ему ответила? Что? Дала слово? — пристал Ороз. Будто от смущения, Зуракан сказала прерывающимся голосом:

— Дала или не дала слово, не знаю, как сказать. Ульстила его кое-как, только чтоб он не убил...

Ороз посмотрел на нее сердито:

— Что это значит — «ульстила его кое-как»? Ты что, дала скрутить себя?

— Брось ты, негодник этакий, как можно прямо на улице? Ороз разгорячился не на шутку:

— Может, ты была б совсем не прочь, лишь бы не на улице?

Зуракан подлила масла в огонь:

— А что мне было делать, он грозился, и в руке у него сверкнул кинжал...

Ороз аж затрясся:

— Тебя кинжалом не испугать! Да еще на базаре, где тьма-тьмущая людей. Ты не заробела в безлюдном ущелье... Тогда у нас тоже были кинжайы.

Зуракан посмотрела на мужа вопросительно, будто ничего не поняла.

— Ой, непонятливый ты, Ороз! Да будь у тебя хоть пушка, не то что кинжал, никогда ты не применил бы против меня. Ты мой любимый муж, посвятил мне свою жизнь. А кто тот, что выскочил из-за угла с кинжалом? А вдруг это отпетый головорез, которому ничего не стоит убить человека? Всадит мне

нож в сердце, и, пока ты прибежишь с базара, где гоняешься за барышами, он прикончит меня. И прости прощай наша с тобой любовь!..

Ороз, бледнея, сидел, не прикоснувшись к еде, потом вышел из дому. Он поверил Зуракан. «Пугал жену кинжа-; лом, конечно, один из джигитов Ошура,— решил Ороз.— Он не прочь убить меня, чтобы взять в жены Зуракан. Но сила и кинжал есть и у меня. Если он, глупец, не перестанет тягаться со мной, я расстрою ему всю торговлю да еще покажу, как носиться с кинжалом!.. У-ух! Поганая свинья! Я покажу тебе, как зариться на мою жену!»

Последнее время Ороз стал приводить в дом каких-то босых, бледнолицых людей, которых Зуракан никогда до того не видала. Они пьянствовали. Говоря загадочными намеками, дерзко хохотали. Когда гости уходили, Ороз грозился кому-то, шатаясь от хмеля. Потом изводил Зуракан руганью: «Эх, беспутница, беспутница, сама виновата, сама ты приманиваешь их!..» Зуракан не препиралась с пьяным мужем. Лишь когда становилось невозможно от его ядовитой ругани, корила сама себя:

«Зачем было злить беспутного шалопа! Понадеялась, дуреха, что он насторожится, засовестится и скорее послушается меня. А он окончательно сбился. О боже, неужто я всю жизнь обречена унижаться перед мужчинами? Нет, нет... Никогда не позволю унижать себя, никогда. А слабохарактерного Текебая я все-таки уважала за его покладистость и добродушие, доверчивость, потому и терпела все издевки белой змеи Букен. А этого нашла я сама... Полюбила. Но если он изменит нашей любви, тогда ему не удержать меня...»

День ото дня Зуракан охладевала к мужу. Изменился и Ороз. Ни прежней ласки, ни доброго слова.

Ороз приходил домой то грязный, смертельно-бледный, то с сияющим потным лицом, чисто одетый и с полной пазухой денег. Он уже не говорил, как раньше: «Вот тебе деньги, тигрица моя! Чего твоя душа желает? Бери сколько хочешь, покупай себе обнову!», а только: «Припрячь подальше! Они пригодятся! До копейки чтоб целы были. Иначе тебе несдобровать...»

«Да пусть делает, что угодно! Может, казну грабит? Ничего спрашивать не буду...»

Щедрая осень уже кончала раздавать дары. В один из дней Ороз захлопотал так, словно собирался устроить праздничный той. Принес много коньяку, всякой снеди. Зарезали жирного двухлетнего валуха.

— Придут такие гости, каких тебе не приходилось видеть. Из тех, кого ты знаешь, будет один Ошур. Сегодня мы рассчитаемся с ним. Насмотришься потехи. Те деньги, которые спрятаны у тебя, я не украл где-нибудь в банке. И не лез в чужой карман. Я их добыл своим умом, своей ловкостью и хитростью, это деньги честные! Слышишь, жена?

Зуракан отмолчалась, как бы говоря: делай, мол, что хочешь.

— Слушай меня! — добавил Ороз.— Приготовь угощение на славу! Сегодня ты увидишь, на что я способен.

Под вечер пятеро дюжих мужчин бесшумно появились в доме. Привел их в комнату Ороз, он встречал их у ворот.

Зуракан поставила на огонь казан с мясом, накрыла дастар-хан и принесла чаю. Они очень быстро осушили пиалы. Попили коньяку по одному кругу, после чего рослый мужчина с широченной голой грудью и черной бородой подал знак Орозу большой, сильной рукой.

Ороз тотчас приказал Зуракан:

— Забери свой дастархан! Живо!

Как только освободилось место, они наметанными глазами посмотрели на оголившийся кусок глиняного пола, один из них воскликнул, ударяя себя в грудь:

— О аллах, пошли мне удачу!

Зуракан вела себя осторожно. «Говорили, что новая власть преследует бездельников и жуликов. Позвать милицию, что ли, арестовать их? Но пойдут сплетни, что ехидная, мол, женщина, выдала своего мужа, затаив на него зло...»

Зуракан отвратно было смотреть на их игру. Четвертый раз уже по голому полу разбрасывают они свои четыре альчика.

— Вывози, милая! — рыкнул кто-то.

Невольно повернувшись туда, Зуракан увидела, что рослый бородач гребет своими ручищами кучу денег к себе.

— Давай коньяку, жена, — потребовал Ороз.

Выпив по стопке, опять принялись разбрасывать альчики.

Зуракан вышла на улицу. Постояла, полная бессильного негодования, и вернулась домой.

И Ошур успел подгрести к себе лежавшую посредине на полу кучу денег.

Ясно, Ороз проигрывает. «Хоть бы ты продул сегодня все свои деньги, добытые нечистым путем!» — подумала Зуракан. На этот раз муж не стал просить коньяка. Лишь надсадно крикнул:

— Жена, денег!

Не показывая возмущения, Зуракан открыла сундук в дальнем углу комнаты, достала оттуда кипу денег и небрежно швырнула к ногам мужа.

Игроки пожирали глазами возникшую перед Орозом кучу денег.

— Слава аллаху! Оказывается, он с деньгами, — пробормотал один себе под нос.

На лбу у Ошура выступили крупные капли пота. Бородач с волосатыми ручищами посмотрел с вожделением на кипу денег и легким, изящным движением пальцев разбросал по полу четыре альчика.

Он выиграл и этот кон. Как человек, неожиданно набредший на золотой клад, бородач истово, горласто воскликнул:

— Ва! Давай их сюда! — И он опять сгреб все деньги. Ороз задрожал и свирепо посмотрел на Зуракан:

— Коньяку, жена!

Никто не считал, сколько проиграл Ороз и который раз он просил коньяк. Давно погас очаг, переварилось мясо и остыл бульон в казане. Он совсем забыл об угощении своих «гостей». Словно задыхаясь от жары, он снял с себя пиджак, сбросил рубашку, и, когда ударял увесистым кулаком себе в грудь, видно было, как играют у него запотевшие мускулы. Он угрюмо молчал, точно ему завязали язык. Долго, упорно смотрел то на одного, то на другого игрока и невменяемо кивал головой. А Ошур и краснолицый с курчавой бородой тем сильнее чувствовали себя счастливыми и азартно восхваляли аллаха.

Вдруг Ороз обмяк, беспомощно опустил руки и уставился куда-то мутными глазами.

Екнуло сердце у Зуракан. Забыв гнев и обиду, она бросилась к мужу:
— Что с тобой, а?

Ороз, бессмысленно водя глазами, промычал, словно сумасшедший:
— Ковры, ковры... все барахло, что у меня в доме... все ставлю на кон, Ошур...

Бородач с мохнатыми руками как-то примирительно сказал:

— Опомнитесь, Ороз-аке! Может, прекратим игру? Зуракан охватило отчаяние. Горько было, что считала этого человека своим мужем, надеялась на него, а сейчас вынуждена угощать обнаглевших пройдох, готовых живьем, кажется, проглотить один другого.
— Ва! Ва! — стонал Ороз.

Вспомнив что-то, он встал на колени и, глядя на Ошура с торжествующим видом, крикнул:

— Жену свою ставлю на кон, жену! Ошур! Если мать родила тебя настоящим мужчиной, ставь на кон все, что ты выиграл сегодня!

— Хватит играть Ороз-аке,—зашумели игроки с показным сочувствием.--
Давайте лучше кончать...

Словно желая утолить свою месть, Ошур кивнул:

— Ладно! Пускай по-вашему! Но уж на этот раз, в случае проигрыша, чтоб держать свое слово! Иначе этот кинжал решит нашу тяжбу.

Ошур вытащил кинжал и, подержав в руке, сунул его обратно в ножны.

— Да покарает меня дух игры! — мрачно поклялся Ороз.— Ставлю жену!

— Ладно! Разбрасывай...

Ороз успел только положить четыре альчика себе на ладонь, собираясь их разбросать, как стукнулся головой об пол. Зуракан в ярости рванула к себе конец шырдака из-под сидевших игроков. Все враз покатались по полу.

Зуракан перешагнула через мужа и . устремилась к выходу.

— Подлец, забывший свою клятву! Ишь, захотел меня на кон! — громыхала Зуракан.— Проиграл свое поганое добро! Сам становишься на кон, если уж такой азартный! А моей чистой душой не дам тебе распоряжаться! Прошли те времена!

любовь после полудня

Шаймерден, его любимая токол Джипар и сын-баловник Мурза — все трое, обвиняемые в умыкании Чолпон, были взяты под стражу.

Арест отца, матери и брата поразил Барскана, как выстрел. В тот же день, до полупьяна напившись и прицепив к поясу свой именной маузер, он явился к Темирболотову.

— Товарищ Темирболотов, вы должны бы знать меня, как красного командира, пролившего кровь за советскую власть. Более того, вы должны знать меня, как работника ОГПУ, который и сегодня борется с контрабандистами, торгующими опиум.

Темирболотов нарочно молчал — дал ему выговориться. «Знает ли он,— обдумывал Темирболотов,— кто у него отец? И кто он сам? Знает ли, что отец его не порвал со старыми своими ухватками?»

— Если сегодня же не освободите моих родителей и моего брата, я напишу в Москву.

— Пишите, ваше дело!

— Что? Думаете, я не могу написать?

— Можете. Если вы на самом деле честный человек, напишите, что ваш отец был зулумом, кровопийцей, а вы сами служили у белых...

— Ложь! — вскочил Барскан.— Не служил я у белых, не защищал белого царя. Я...

— Садитесь! — И Темирболотов пристукнул карандашом по столу.— Если вы скроете, что ваш отец мечтает вернуть феодальные порядки, что даже при советской власти он потворствует краже малолетних дочерей у бедняков, выступает против закона, то мы ни на йоту в дальнейшем не будем верить вам.

Из приемной шумно ввалился в кабинет Джусуп с завязанной головой.

Взглянув на Барскана, потом на Темирболотова, он, чуть не плача, пожаловался:

— Аксакал, братья и сородичи Шаймердена вчера окружили наш аил и многих избили. А дехканин Барман,— он доводится дальним родственником старику Байтереку,— лежит без сознания. Сам я еле-еле спасся. «Ишь ты,— грозят мне,— секретарь Союза кошки. Как ты посмел выдать нашего аксакала? Тебе что, не известно, кто такой Шаймерден и его сын Барскан?» Они душили меня и ударили камнем по голове.

Барскан заерзал на месте, собираясь уйти, но Темирболотов его остановил:

— Напиши еще, о чем здесь доложил этот избитый бедняк. Напиши, что ты не красный командир, служивший советской власти, не работник ОГПУ, а сын феодала, который по-прежнему насильничает в аилах. Не скрывай своего происхождения. Если ты честный человек, признайся в тех преступлениях, которые совершает твой отец. Напиши, что ты сам накажешь тех, кто напал на бедняцкий аил.— Темирболотов погрозил пальцем: — Если же будешь упорствовать, то мы не посмотрим, что ты красный командир, и привлечем к законной ответственности тебя и твоих родственников, которые, полагаясь на

тебя, нарушают революционный порядок. Запомни это и левым и правым ухом!

Прошло несколько месяцев.

Джусуп лежал в больнице, пока не зажила рана на голове. Батийна и Валентина не раз навещали его.

За эти несколько месяцев джигит сильно сдал, побледнели когда-то красные щеки, остался едва заметный румянец на скулах, поблекли губы. Но настроение было ничуть не омраченное, если судить по его сияющим озорным глазам, в которых светилась явная нежность к Батийне.

Еще в тот год, когда Батийна ездила по аилам Длинного Кунгея, выступая с речами о свободе женщин и девушек, она приглянулась Джусупу. Но Джусуп был слишком робок и считал себя во всех отношениях недостойным смелой, решительной женщины-начальницы. Он шептал ей издали ласковые слова, но близко подойти к ней не хватало духа. Наедине, тайно Джусуп загорался страстью, еще и еще вспоминал карие задумчивые глаза, порывистые движения, строгую походку. Джусуп не придавал особого значения тому, что Батийна старше его на девять лет и что она немало перевидавшая и испытывавшая женщина.

Батийна продолжала дружить с Валентиной Копыловой. Однажды она рассказала ей об Абыле, о их любви.

— Эх, дорогая Батийна! — Валентина вздохнула. — Как людские судьбы схожи! У меня тоже была несчастной первая любовь. Его звали Владимиром. Он любил меня. Мы думали, вот-вот поженимся. Помнишь, я тебе рассказывала о мятеже? Володя был в отряде Темирболотова. Его и двух красноармейцев белые заманили в ловушку. Отрезали им носы, уши. Потом... Потом сожгли живьем... Вскоре я поступила в отряд вместо Володи, — Помолчав, Валентина сказала: — Я решила посвятить себя мужскому, солдатскому делу. Личная жизнь мне не нужна...

Прошла зима.

К Валентине, которая не признавала права на личную жизнь, все же стал приходить из солдатской казармы молодой командир в длинной шинели, в островерхом сером шлеме. Чуть суровый, всегда задумчивый, говорил он мало, но улыбка его очень красила. Тоже Владимир. Оставив Батийну одну, они уходили куда-то. Так жизнь управляла ими, вела их за собой. А разве Батийна не говорила, что пронесет через всю свою жизнь образ Абыла и никогда не пойдет в объятия другого мужчины?

О всегда сложная, таинственная, тревожная, скупая и в то же время щедрая, великодушная, могучая жизнь! Твое величие, твоя скупость, твоя неисчерпаемая щедрость толкают все живое бороться за существование, тянуться к теплу, к счастью...

Человеческая жизнь, словно родник, бьющий из-под скалы, незаметно для самой себя, часто меняет свое русло, то журча тонкой медленной струей, то несясь бурливой рекой. То могуча она, то бессильна... Батийна чувствовала,

хотя и не смела себе в этом признаться: «Да, рановато решила, что проживу жизнь одна, вечно неся в сердце образ Абыла».

Батийну затронули письма Джусупа.

«Аяш, вы не считайте меня зеленым юнцом. Я рано остался без родителей и тоже хлебнул горя. Нет нужды подробно говорить... Кто согласился бы отдать свою дочь за меня замуж в те времена, когда за невесту надо было платить калым? Родственники порешили оженить меня на овдовевшей джене, хотя я всеми силами этому противился. Мы с ней обоюдно уступали, терпели друг друга, но огня любви между нами не было. Наверное^ из-за того, что в молодости я пережил горечь сиротства и бедности, стал я очень быстро стариться... Вы тоже немало испытали.

Батийна, я влюбился в ваш характер, он очень близок к мужскому. Давайте соединим наши жизни. Не отвергайте меня. У меня есть думка учиться в городе. Так что буду рядом».

— Бедный парень... Пишет, что влюбился... Но осталось ли во мне, непутевой, хоть щепотка огня, чтобы согреть его сердце? — бормотала Батийна, улыбаясь уголками губ.— Я назвала себя непутевой. Что во мне осталось от женщины? Даже Джусуп любит во мне мужской характер... О бедный джигит, сбившийся с толку! Зачем я ему нужна? Кажется, не смогу я стать ни женой, ни матерью его детей... Никогда уже не смогу!

Подсев к подоконнику и перечитывая горячие слова влюбленного, она ловила себя на шальных мыслях проникавших впервые в ее сознание.

Она придирчиво пыталась Джусупа сравнивать с Абылом. «Похож ли он хоть сколько-нибудь на моего Абыла? Где там! У Абылжана лицо белое. А у этого джигита лицо красноватое, но когда он вышел из больницы, щеки у него очень побледнели. Он показался мне чуточку похожим на Абыла... У этого джигита привычка склонять голову набок, когда думает о чем-то... О, смотри, какой пылкий! Желторотый юнец влюбился в женщину, которая годится ему почти в матери! Скорее всего, мужская спесь заставляет его терять голову. Допустим, ты — мужчина, я — женщина. Ну и что из этого? Я уже старею, всю жизнь промечтала о друге, который бы завоевал мое сердце!»

«Времена, когда за невесту надо было платить калым». Дрожь пробил ее, когда прочитала еще раз эту строку. Двадцать лет назад они вынуждены были расстаться с Абылом, почему в нынешнее время не сбыться мечте Джусупа? «Он самом деле тоскует по мне... Каждое его слово идет от сердца. Он все сильнее напоминает мне, что я женщина. Меня любит мужчина!»

Разве не может греть солнце и после полудня? Человек всегда хочет видеть солнце. Лучи солнца желанны что утром, что в полдень, что и вечером.

День за днем, день за днем, а Джусуп что-то не шлет писем и не показывается. Или не может работу оставить? Может, охладел, не дождавшись ответа и решив, что эта испытывавшая и хорошее и дурное женщина не в состоянии его оценить? Как бы там ни было, Джусуп не подавал голоса.

То и дело воскрешая в памяти облик краснолицего джигита, потерявшего голову, Батийна старалась внушить себе: «Пожалуй, я была бы довольна, исчезни он совсем из моей памяти!» В этой суровости скрывались досада, огорчение и грусть. Как ни пыталась Батийна сохранить стойкое равнодушие, сердце все равно щемило от чувства досады.

«Я все заранее предвидела,— тихо вздохнула Батийна.— Уже давно я не молодка, где мне зажечь сердце мужчины. Настоящей женщиной меня не назовешь».

На курсах, организованных для женщин, почти сто человек. Общежитие, питание за счет государства.

Среди курсанток — такие, как Чолпон, пострадавшая внучка старика Байтерека, и многие токол. Были женщины, молоденькими проданные старикам за калым, а потом бежавшие в город учиться. Всех отыскивали и приняли на курсы Батийна и Валентина Копылова.

— Вы, Батийна, добились того, чего хотели. Учитывая вашу просьбу, советская власть открывает курсы девушек и молодых. Курсами будете руководить вы! — объявил Темирболотов.— Если возникнут вопросы, обращайтесь в любое время. Отдел народного образования выделит преподавателей. Там уже все известно. Никто из нас не родился руководителем. Вы, несомненно, справитесь с этим делом. Наладите его! Под общежитие был предоставлен конфискованный дом Мельникова.

Девушки и молодые, поступившие на курсы, за год должны были овладеть грамотой. Наиболее способных обещали послать дальше учиться в город. Остальные по окончании курсов вернутся в свои аилы вести работу среди женщин.

Батийна стала директором курсов, а Рабийга — заведующей учебной частью. Шефство над ними взяла на себя от канткома Валентина Копылова.

Однажды из-за чрезвычайной загруженности врачи городской поликлиники не успели вовремя осмотреть курсанток. Батийна пошла с рапортом в кантком. Прочитав его, секретарша Темирболотова сказала:

— Врачи очень заняты сейчас. Придется отложить осмотр. Батийна требовательно посмотрела на секретаршу:

— Врачи осматривают моих девушек в первую очередь. Стоит заболеть одной — и двое пропустят уроки.

— А почему двое?

— Разве вы не знаете?.. Все мои девушки с малых лет знают, что такое горе, и очень жалеют друг дружку.

Из канткома Батийна направилась в общежитие. Заглянула во все комнаты, проверила, как они убираются, как заправлены койки, в каком состоянии наволочки, простыни.

— Сегодня все до единой сходите в баню! Придут доктора, санитарная комиссия,— предупредила она курсанток.— Не стесняйтесь, не бойтесь, все пройдете осмотр. Если у кого какая болезнь, не скрывайте, скажите доктору. Доктора не волшебники, не могут догадаться о ваших болезнях с первого

взгляда. Они поинтересуются, чем болели ваши предки до седьмого колена. Отвечайте толком.

Рассмешив курсанток, Батийна в приподнятом настроении направилась в свою канцелярию, состоявшую из одной-единственной комнаты. У двери неожиданно встретил ее Джусуп. По тому, как он улыбался, Батийна поняла, что он чувствует себя счастливым.

И почему-то кольнуло в сердце: потому, мол, и чувствует себя счастливым, что женился и пришел теперь извиниться передо мной.

Джусуп словно угадал ее мысли:

— Батиш, вы не ответили на мое письмо. Поэтому решил прийти... Я не зеленый юнец, как вам, быть может, думается, давно уже вышел из этого возраста. То, что пережили вы, пережил и я. Сейчас я не хочу слышать от вас слова «нет». И не отстану, пока не получу ответ только «да»!

«Все-таки мужчина. Уже по-настоящему наступает...»

Батийна чуть склонила голову к его плечу, чувствуя прилив нежности к Джусупу, но заставила себя держаться по-серьезному.

— Ты что, Джусуп, думаешь, я с маху дам свое согласие, если будешь так напирать? Пойдем, а то девушки увидят...

Джусуп и Батийна долго сидели наедине. Все, что назрело, было сказано. Батийна не утаила от Джусупа и такое, что могло его разочаровать.

— Ты сам знаешь, я старше тебя на девять лет. Это нехорошо. Женщина должна быть моложе своего мужа. Эти девять лет встанут преградой между нами, если даже мы сойдемся с тобой и по характеру и своими мыслями. Сейчас ты признаешься в своей любви вгорячах. А там начнешь остывать понемногу, одумаешься. Если даже сдержишь свое слово, твои друзья и сверстники будут вечно подкусывать тебя... Послушайся ты меня, парень.

— Нет, не послушаюсь! — вспыхнул Джусуп. — Послушался однажды своих родственников и за это крепко расплатился. Теперь сам распоряжусь своей жизнью. Исполню то, чего мое сердце хочет. Я полюбил тебя. — Он впервые обратился к ней на «ты». — Ничем тебе не избавиться от своего Джусупа. Не заставляй меня долго умолять! Не привередничай! Если ты окончательно заупрямишься, так и знай, пойду с жалобой к самому Темирболотову!

Она от души расхохоталась.

— Хорошо, подумаю, только не ходи с жалобой. Сжимая мягкую руку Джусупа, Батийна сказала:

— Рука человека — божья печать, часто говорил мой отец. Когда я была цветущей девушкой, ни я сама, ни отец не смогли распорядиться моей судьбой... Я не скрою. Моя любовь, мой милый Абыл, всегда со мной. Готов ли ты стать другом Абыла в моем сердце? Если ты поддашься мужской гордости и разбередишь мне рану, в тот же день мы расстанемся с тобой. Еще договоримся не унижать друг друга. Довольно унижались киргизские девушки и джигиты. Давай, парень, дорожить свободой, которая нам дана!

— Поклянемся хлебом-солью, Батиш! — воскликнул Джусуп.— Когда тяжело — нести тяжелое вместе, сменяя друг друга, когда легко — нести легкое. Никогда не лицемерить, жить в полном согласии!

А перед глазами Батийны стоял Абыл. Он раздумчиво играл на комузе и что-то напевал с тоской. Джусуп беспокойно сказал:

— Батийнаш, не вздыхай так тяжело, ведь я рядом с тобой! Она посмотрела на Джусупа сияющими глазами: обнять, расцеловать бы его. Но не решилась. — Я давно отучилась шептать мужчине ласковые слова,— И Батийна нежно погладила Джусупа по его чистому лбу,— Давно отучилась... Не обижайся на меня... Когда мне захочется, я буду гладить тебе лоб, как своему любимому брату. А ты дай слово не грубить мне, как иные мужчины: «Ой, баба! Слышишь, баба?!» Согласен?

— Это зависит от будущих наших отношений...

— Что... твою гордость задела, да?

Они посмотрели друг на друга и от души засмеялись. Держа руку Джусупа, Батийна сказала:

— Моя Валентина тоже нашла себе друга, красного командира. В воскресенье они справят свадьбу...

Джусуп заметил, что Батийна замялась.

— Что ты хотела сказать, Батийнаш?

— Так вот... А что будем делать мы?

— Мы тоже справим свадьбу! У нас найдется кого пригласить...

«Сам Темирболотов придет»,— про себя подумала Батийна.

«Нет радости в доме без мужчины. Эх, одиночество, одиночество...

Валентина, найди себе мужа! Мне очень тревожно, что ты живешь одиноко»,— жаловалась Надежда Сергеевна.

А сегодня весело, оживленно у нее во дворе. Под тенью яблонь и груш длинный ряд столов со всякой снедью. Ракийма испекла четыре татарских свадебных пирога, одну пару в честь Батийцы и Джусупа, другую — в честь Валентины с Владимиром.

Ракийма привезла с собой из аила полный куржун всяких печений и варений, приготовленных ее щедрыми руками. Рассыпая боорсоки по длинному ряду столов, словно кишмиш, она приговаривала:

— Да будет их жизнь сладкой, как эти боорсоки!

— Эх, будь жива Анархон, она бы первой прискакала на твою свадьбу, правда, Батийна? — Ракийма прослезилась.

— Ракийма-апа, вместо Анархон пришла сюда ее сестра Чи-нархон. Вот она, познакомьтесь,— донесся чей-то веселый голос.

Ракийма даже опешила, увидев молодую улыбчивую женщину с умными большими глазами под иссиня-черными бровями, очень напоминавшую Анархон.

— А, милая моя... Это ты — Чинархон? Анархон часто говорила о тебе. Вот какая ты! Дай тебе бог долгой жизни, дорогая...

— Апа! — окликнула Ракийму Валентина.— Когда враги убили нашу Анархон, мы вырвали сестру вместо нее из рук мулл! Рекомендовали ее в комсомол. Теперь она ответственная в кантоме комсомола. Работает, не жалея себя, ради счастья угнетенных в прошлом своих сестер! Одобряешь ты это, апа? — Конечно, дорогая Валентина, одобряю. Я была в годах, когда поехала в Москву. А что молодым? Дай бог им здоровья!

Гости, усевшиеся вокруг столов, стали пить за счастье новобрачных. Командир, в лихо заломленной папахе, из-под которой выбивался густой рыжий чуб, растянул гармошку. Начались танцы. Киргизы, кому это было внове, удивлялись: «Оказывается, у них свадьба начинается с пляски». Джусуп почувствовал неудобство, будто сидел не на месте.

— А почему мы не танцуем? — шутливо спросила Батийна.

— О... нет, нет,— произнес Джусуп.— Не умею... И онк улыбнулись друг другу.

Рабийга вышла танцевать со своим русоволосым мужем. Джусуп ласково сжал руку Батийны:

— Куда ты удалилась, Батийнаш?

— Сижу рядышком с тобой, мой милый...

«Мой милый»! Все же вырвалось у нее это слово! Он встретился ей, когда певучий жаворонок молодости уже не может заливаться звонкой песней... И все же на сердце теплело...

Усевшись после танца за стол, гости выпили еще по рюмгс другой и захмелели. Полная женщина с раскрасневшимися щ< ками вскочила вдруг, словно что-то вспомнила, и закричала:

— Горько! Горько-о! Другие подхватили:

— Горько!

Валентина поднялась и машинально провела рукой по поясу, словно поправляя ремень: забыла, видимо, что сегодня на ней женское платье.

— Ну, Владимир Петрович! Что требуется от нас, чтоб гостям не горчило?

Ну...— И она смущенно обернулась к улыбающемуся жениху.

Когда они поцеловались на глазах у всего народа, Джусупу это показалось странным, и он шепнул Батийне на ухо:

— А мы придержимся своих обычаев. Разве можно целоваться при таком многолюдье?

Гости повернулись к Джусупу и Батийне:

— Горь-ко!

Батийна тотчас поднялась, не желая утруждать их.

— Дорогие! — обратилась Батийна к гостям.— Не заставляйте целоваться нас! У нашего народа нет такого обычая, чтоб молодожены целовались при народе.

Со всех сторон раздались голоса:

— Правильно, товарищ Казакова! Полная женщина продолжала настаивать:

— Не-ет, дорогая Казакова, старое пора бросить, поцелуйтесь!..

Пожилой мужчина с тонкой красивой бородой прервал ее:

— Садитесь, Мария Петровна! Батийна и Джусуп поступают правильно... Не стоит слишком настаивать.

Шум тотчас замолк.

— Раньше женщины выходили замуж с плачем, с причитаниями...

Октябрьская революция дала нам свободу. Угнетенные женщины Востока выходят на путь свободы. Мы учимся наукам и ремеслам. Находим себе мужей по сердцу.— В голосе Батийны послышалась дрожь.— Мы с Джусупом тоже пришли по сердцу друг другу! Пусть наша жизнь всегда будет радостной, как этот свадебный праздник! — Батийна обратилась к своему жениху: — Ну, Джусуп, давай протянем руки и поклянемся перед дорогими гостями, пришедшими на наш той, что мы друзья навсегда.

Джусуп поцеловал ей руку.

— Руйу твою, надеюсь, не возбраняется поцеловать,— сказал он, будто кто его спрашивал, можно ли целовать руку жене.

Гости шумно поддержали его.

— Ну и хитрющая ты, Батийна,— заметила Валентина. Время уже перевалило за полночь.